ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Крот Максим Николаевич

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОМ ДИСКУРСЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.

Специальность 5.6.1. Отечественная история

Диссертация
на соискание ученой степени доктора исторических наук

Том 1

Научный консультант:
доктор исторических наук
А.И. Нарежный

Ростов-на-Дону – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Том 1

Введение 4

Глава I. Идейные основы отечественного консервативного дискурса второй половины XIX – XX в. и опыты его научного осмысления..... 76

1.1. Основные подходы к изучению русского консерватизма в отечественной и зарубежной историографии 76

1.2. Научное осмысление роли отечественного национально-консервативного дискурса в выработке имперского политического курса в отношении северо-западных окраин России..... 127

1.3. Консерватизм как социокультурный и интеллектуальный феномен модернизирующегося общества 166

Глава II. Концепции российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе 214

2.1. Имперское сознание российского общества как идейная основа отечественного национально-консервативного дискурса 214

2.2. Консервативная концепция русской политической нации как основы российской имперской государственности..... 254

2.3. Национально-православная концепция трансформации российской имперской государственности..... 294

Глава III. Проблема интеграции Северо-Западного края в общероссийское политическое и культурное пространство в отечественном национально-консервативном дискурсе 334

3.1. Формирование концептуальных основ политики обрусения Северо-Западного края..... 334

3.2. Конструирование Западного края как составной части имперского пространства в отечественном национально-консервативном дискурсе..... 370

3.3. Отечественные консерваторы о причинах низкой эффективности правительственной политики обрусения Северо-Западного края..... 425

Том 2

Глава IV. Формы и методы «духовно-нравственного завоевания» Северо-Западного края в отечественном национально-консервативном дискурсе..... 3

4.1. Пути решения конфессионального вопроса в Северо-Западном крае в отечественном национально-консервативном дискурсе..... 3

4.2. Образовательная политика как форма неконфликтной интеграции Северо-Западного края в общероссийское культурное пространство 63

4.3. Деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения» как форма практической реализации консервативной доктрины «нравственного завоевания» Северо-Западного края 110

Глава V. Остзейский вопрос и проблема укрепления российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе в конце XIX – начале XX в..... 145

5.1. Актуализация Остзейского вопроса в русском национально-консервативном дискурсе 1860-х – 1880-х гг. 145

5.2. Прибалтийская окраина, как часть российского государственного пространства в воззрениях русского прибалтийского публициста Е.В. Чешихина 195

5.3. Проблема укрепления российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе на рубеже XIX – XX вв. 231

Заключение..... 289

Список источников и литературы 307

ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине XIX века Россия вступила в новый этап модернизации, связанный с процессами осовременивания государственных и общественных структур, приведения их в соответствие с западноевропейскими стандартами развития того времени, формирования в стране элементов гражданского общества, создания социальных условий для развития капиталистических отношений. К этому времени стало очевидным, что традиционная управленческая система сложносоставной многонациональной Российской империи, содержавшая в себе значительные архаичные пласты и чрезвычайную пестроту административных практик, перестала отвечать требованиям современности, что делало чрезвычайно актуальным вопрос ее реформирования. Российская империя, внутренняя гетерогенность которой к середине XIX века не только не была преодолена, но и по ряду параметров еще более усиливалась, столкнулась с мощным вызовом национализма, который поставил на повестку дня необходимость выработки целостной и внутренне непротиворечивой концепции развития имперской государственности в условиях усиливавшихся модернизационных процессов.

Порождаемые данными явлениями многообразные конфликты между традиционными ценностями и инновациями, а также осознаваемая угроза демонтажа сложившейся в России государственной и управленческой системы приводили к усилению в общественном сознании консервативного императива, благодаря которому инновации осмысливались и усваивались через своеобразные «фильтры» представлений об идеальном устройстве государства и общества, вырабатывавшихся в рамках консервативного дискурса. Консерватизм, имманентно присущий общественному сознанию как вневременная действительная система универсальных ценностей, в период трансформаций, нарушавших привычную модель развития социума и грозивших размыванием собственной идентичности, утрачивает свой латентный характер. Происходила рефлексия консервативного

мировоззрения, превращение его в идеологическую систему, особое направление общественно-политической мысли, являвшееся интеллектуальной реакцией на вызовы эпохи.

Особенностью второй половины XIX века также являлось то, что значительно выросшая в интеллектуальном и культурном отношениях российская общественность постепенно переставала довольствоваться ролью безучастного и безмолвного наблюдателя и объекта происходящих в стране процессов и трансформаций. Его просвещённые круги стремились не только высказать своё отношение к окружающей их реальности, но и повлиять на неё, оказывая интеллектуальное воздействие на власть и широкие массы. Русская общественная мысль постепенно превращалась в мощный фактор социально-политической жизни, который власть не могла игнорировать, в силу его непрерывно возраставшего общественного влияния.

При изучении русского консерватизма и его интеллектуального наследия следует обратить внимание на его диалектическую двойственность, состоявшую в том, что с одной стороны, он был интеллектуальной реакцией на происходившие в обществе трансформации, зачастую выступая по отношению к ним в качестве некой «охранительной оппозиции» или даже «фронды». С другой стороны, русский консерватизм сам являлся порождением модернизационных процессов, происходивших в России в эпоху нового времени, поскольку во многом основывался на европейском интеллектуальном и философском опыте, который стремился адаптировать к российским реалиям. В силу этого, при изучении консервативной доктрины следует окончательно отказаться от сохраняющихся до сих пор стереотипов о «косности» и «архаичности» идейного наполнения данного течения общественной мысли. Русские консерваторы стремились «модернизировать, сохраняя»; совершенствовать различные стороны реальности, сберегая базовые ценности отечественной цивилизации. Как и любая концептуальная доктрина, консерватизм не оставался неизменным, трансформируя конкретное содержание своих идей под воздействием происходивших в

обществе изменений. Во второй половине XIX века под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов его традиционные мировоззренческие основы были в значительной степени дополнены национальной составляющей, что привело к складыванию национально-консервативного направления, отстаивавшего собственную концепцию развития российской имперской государственности. В рамках отечественной консервативной доктрины национализм приобрел охранительные черты, связанные на ментальном уровне с русским патриотизмом, противостоявшим как архаичным сословным детерминантам, так и модерным автономно-федералистским концепциям.

Примечательным является то, что в национальном вопросе и проблемах, связанных с выработкой оптимального механизма управления российским имперским пространством представители национально-консервативного направления выступали сторонниками широких преобразований, направленных на преодоление архаики в системе управления национальными окраинами империи. Среди широчайшего спектра сюжетов, связанных с управлением многочисленными и разнообразными по уровню своего развития и степени «проблемности» окраинами, особое внимание отечественных консерваторов уделялось северо-западным окраинным территориям, включавшим в себя западнорусские земли, Литву и Прибалтику, которые рассматривались как один из стержневых, «империообразующих» регионов Российского государства, от обладания которым во многом зависело сохранение его статуса великой державы и целостности государствообразующего русского народа.

Все это делает чрезвычайно важным выявление концептуальных основ национально-консервативных представлений о сущности российской имперской государственности и анализ воззрений представителей данного направления в отношении развития и дальнейшей интеграции ее северо-западной окраины в условиях надвигавшейся эпохи модерна.

Актуальность представленной темы исследования обусловлена рядом как сугубо научных, так и общественно-политических факторов.

В первую очередь, следует отметить, что в настоящее время на постимперском и постсоветском пространстве, вокруг рубежей современной России существует множество острых межгосударственных и межнациональных очагов напряженности, перерастающих порой в открытые силовые противостояния. Основы и предпосылки данных противоречий своими корнями уходят в эпоху зарождения и формирования «вызова национализма», поставившего под сомнение закономерность существования сложносоставных государственных образований имперского типа и вызвавшего к жизни концепт национального государства. Высокий конфликтогенный потенциал отдельных узлов противостояний, сущностным ядром которых являются традиционные межэтнические или межконфессиональные противоречия, побуждает обращаться к опыту прошлого в оценке характера и поиске путей разрешения конфликтных ситуаций.

Данные обстоятельства вызывают в российском обществе заметный всплеск национальной рефлексии и широкий интерес к национально-имперской проблематике, государственным и общественным концепциям и проектам эффективного управления сложносоставным имперским государством, разрабатываемым и реализуемым в российском имперском прошлом. При этом повышенный общественный интерес направлен именно на осмысление консервативных воззрений по данному вопросу, что обусловлено переживаемым российским обществом в настоящий период «консервативным поворотом», суть которого состоит в отказе от комплекса европейских либеральных ценностей, стремлении сохранить свою цивилизационную и культурную самобытность в условиях стремительных процессов глобализации, а также в поиске альтернативных путей общественного развития. Данный интерес также актуализируется общественным запросом на отказ от радикального реформировании и

переход к стабильному и умеренному поступательному развитию в рамках существующей политической системы.

Изучение интеллектуального наследия отечественной национально-консервативной мысли второй половины XIX – начала XX в., посвященного поиску оптимальных путей интеграции в российское государственное и культурное пространство регионов, выступавших в воззрениях ее представителей неотъемлемой частью «Русского мира» в этноконфессиональном и политическом отношении, в настоящее время обладает значительной общественно-политической актуальностью. Она обусловлена тем, что в общественном сознании и публичном дискурсе сложился крайне искаженный образ русских консерваторов, как односторонних и фанатичных приверженцев жесткой политики русификации окраинных сообществ, под которой понималась их полная ассимиляция и национальное угнетение. Данные оценки, не учитывавшие всей сложности и идейного многообразия консервативной доктрины, были во многом обусловлены длительным доминированием марксистско-ленинских, а затем западнических либеральных догматов в общественном сознании. Взвешенный анализ отечественной национально-консервативной доктрины призван «очистить» ее сторонников от приписываемых им этнонационалистических и шовинистических стереотипов и рассмотреть отстаиваемые ими интегративные методы и практики, не утратившие своего значения до настоящего времени.

Актуальность изучения проблематики, связанной с северо-западными окраинами России в отечественном национально-консервативном дискурсе второй половины XIX – начала XX в. обусловлена потребностью в формировании объективной картины исторического прошлого региона, способной стать основой для современной системы взаимодействия политических субъектов на постимперском и постсоветском пространстве. Обращение к историческим сюжетам, посвященным осмыслению места и значения северо-западных окраин в структуре российского имперского

пространства, также связано с необходимостью противодействия националистическому дискурсу, сформировавшемуся в интеллектуальной сфере политических субъектов, возникших на постсоветским пространстве. В его рамках предлагается искаженная версия исторического прошлого региона, связанная либо с крайне негативной характеристикой имперского периода, как эпохи притеснения и угнетения национальной самобытности со стороны русского самодержавия, либо с сознательным смысловым «вытеснением» русских начал из исторических нарративов и массовых представлений о прошлом, исключающим любое упоминание о позитивном воздействии государственного центра на развитие национальных окраин.

Данные оценки сформировались во многом благодаря длительному господству в европейской публичной и научной среде представления об архаичности и обреченности имперской государственности, противостоящей и «подавляющей» национально-государственную модель, трактуемую как априорно прогрессивный нормативный идеал. Односторонний характер подобных характеристик, зачастую являющихся благовидным научным прикрытием для далеко идущих агрессивных политических целей, нуждающихся в респектабельных исторических обоснованиях, способствует формированию устойчивых русофобских настроений в сопредельных с Россией сообществах, основу противодействия которым должны составлять не аналогичные идеологические выпады, а опора на объективные исторические факты и характеристики.

Современная Российская Федерация продолжает оставаться сложносоставным многонациональным государством, вынужденным противостоять многочисленным внешним агрессивным воздействиям, направленным, в том числе, на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, внутренний раскол русского мира, являющегося ядром российской государственности, и на создание крайне негативного образа России как новой «тюрьмы народов» в глазах мирового сообщества. В данных условиях представляется необходимым обратиться к

интеллектуальному наследию и опыту отечественных национально-консервативных дискурсивных практик, ключевые элементы которых могут быть использованы при формировании культурно-исторических основ политического курса современной России. Выработанные представителями национально-консервативного направления русской общественной мысли подходы к проблеме интеграции северо-западных окраин в настоящее время не утратили своего значения и могут быть адаптированы к современным реалиям.

Научная актуальность темы исследования определяется отсутствием комплексного исследования, посвященного проблеме северо-западных окраинных регионов в отечественном национально-консервативном дискурсе, осмыслению их исторического прошлого, места и роли в имперском государственном пространстве, а также выработке методов и путей их интеграции. Данные сюжеты составляют значительную и чрезвычайно значимую часть обширного и до настоящего времени в полной мере не изученного творческого наследия русского консерватизма второй половины XIX – начала XX века. Национально-окраинные сюжеты являются наименее исследованным аспектом отечественной консервативной мысли, оттенявшимся более глобальными вопросами, связанными с представлениями о внутриполитическом развитии России в пореформенный период, привлекавшими к себе наибольшее внимание исследователей. Во многих работах, посвященных русской консервативной мысли, национальная тематика неоправданно и механически соединяется с религиозным вопросом, создавая не совсем точное представление о консервативной доктрине, представлявшей собой достаточно неоднородное явление и включавшей в себя, наряду с религиозно-церковным направлением, вполне секулярную политическую доктрину. Вследствие этого именно в осмыслении данного сюжетного поля отечественной консервативной мысли до настоящего времени в наибольшей степени присутствуют традиционные оценочные

стереотипы и суждения, порожденные острой идейной борьбой различных течений общественной мысли и исследовательскими идеологемами.

Изучение идейных основ российского консерватизма не только дает возможность более взвешенно охарактеризовать воззрения его представителей по национальному вопросу, но и рассмотреть их взгляды под углом интеллектуального осмысления явления империи, ее исторических корней в России, выявления ее социально-политической и духовной сущности, а также приписываемой ей вневременной интегрирующей и цивилизаторской миссии. Данное исследовательское направление открывает новые возможности для приращения знания о понятиях «империя» и «имперскость», позволяет более четко и последовательно определить имперские признаки в деятельности государства, а также проследить зарождение и развитие дискуссий, посвященных сущности и перспективам развития российской имперской государственности в пространстве «мозаичной» империи Романовых. Следует признать тот факт, что оценка степени влияния воззрений представителей русской консервативной мысли на имперскую политическую практику в настоящее время является недостаточно изученной, что делает оправданным обращение к данным сюжетам в настоящем исследовании.

Научная актуальность представленной темы обусловлена не только недостаточной изученностью рассматриваемого аспекта отечественной консервативной повестки, но и тем обстоятельством, что ее анализ позволяет составить более точное и полное представление о внутренней структуре отечественного консервативного дискурса, в котором четко выделяются центральный и «периферийный» уровни, находящиеся в тесном идейном взаимодействии, взаимодополняющие и взаимообогащающие друг друга в интеллектуальном отношении.

Современными исследователями признается неоднородный характер отечественного консерватизма, включавшего в себя ряд четко определяемых течений, разграничение которых проходит на основании различных

критериев. Изучение северо-западных окраинных сюжетов, обсуждавшихся в рамках национально-консервативного дискурса, позволит выявить и проанализировать ряд концептуальных и мировоззренческих аспектов идейных противостояний, имевших место внутри отечественного консерватизма, являвшихся интеллектуальным отражением социокультурных трансформаций, происходивших в модернизирующемся русском обществе, что, в свою очередь, существенно дополнит и расширит представления о проблемном поле общественных дискуссий, происходивших в этот период в среде русской общественности.

Помимо этого, обращение к данной проблематике выводит исследователя на новый уровень понимания общественно-властных взаимодействий в рассматриваемый период, характер и особенности которых определялись ситуативными обстоятельствами и зависели как от персонального состава взаимодействующих акторов, так и от взаимного соответствия отстаиваемых и реализуемых моделей развития окраинных регионов, что позволяет рассматривать их как форму субъект–субъектных отношений. Расхождения между правительственным курсом в отношении северо-западных окраин и представлениями национально-консервативной общественности по данному вопросу способствовали возникновению активных дискуссий, анализ которых позволит составить представление о характере взаимодействия консервативной общественности с верховной властью, выявить конфликтные точки и области соприкосновения выдвигаемых ими моделей развития региона, а также показать степень влияния консерваторов на выработку правительственного курса.

Степень научной разработанности проблемы проанализирована в первом и втором параграфах первой главы данного исследования. Специфика объекта, предмета и ключевых проблем исследования обусловила выделение трех крупных историографических блоков. Первый из них включает в себя исследования, посвященные консервативному направлению русской общественной мысли второй половины XIX – начала XX в. Второй

составляют работы, освещавшие политику российских властей в отношении северо-западных окраин Российской империи, в контексте анализа которой затрагивается влияние русской консервативной общественности на выстраиваемую траекторию имперского воздействия на регион. Третий блок представлен непосредственными исследованиями идейного содержания и составных элементов отечественного национально-консервативного дискурса, посвященного северо-западным окраинам России.

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и комплексном анализе национально-консервативной концепции интеграции северо-западных окраин России в единое государственное и культурное пространство, являвшейся составной частью консервативной программы укрепления целостности и развития российской имперской государственности во второй половине XIX – начале XX века.

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:

- рассмотреть основные подходы к изучению русского консерватизма в отечественной и зарубежной историографии, определить степень изученности сюжетов, посвященных имперской проблематике и интеграции северо-западных окраин России, представленных в отечественном национальном-консервативном дискурсе;
- выявить мировоззренческие и ценностные основы русского консерватизма, определявшие специфику отечественной национально-консервативной доктрины и её подходы к имперско-окраинной проблематике;
- определить место и значение национально-окраинной проблематики в идейном комплексе русского пореформенного консерватизма и ее связи с другими актуальными проблемами эпохи, обсуждаемыми представителями русской общественной мысли;
- рассмотреть основные направления, сформировавшиеся в отечественном национально-консервативном дискурсе во второй половине XIX века, выявив их общие идейные основы и различия в понимании

сущности российской имперской государственности, ее исторических основ и особенностей;

- охарактеризовать процесс выработки концептуальных основ и основных направлений интегративной политики в отношении северо-западных окраинных регионов в отечественном национально-консервативном дискурсе в середине XIX века;
- рассмотреть исторические обоснования и концептуальные основы политики обрусения и деполонизации Северо-Западного края в отечественном национально-консервативном дискурсе;
- выявить и проанализировать конкретные практические меры, предлагаемые сторонниками национально-консервативной доктрины, направленные на укрепление русских государственных и культурных начал в Северо-Западном крае;
- определить степень влияния национально-консервативного дискурса на выработку и трансформацию имперской политики в отношении северо-западных окраинных регионов в рассматриваемый период;
- выявить причины недостаточной эффективности проводимой правительством политики интеграции Северо-Западного края, определяемые в отечественном национально-консервативном дискурсе и проанализировать предполагаемые способы их преодоления;
- охарактеризовать способы решения конфессионального вопроса в Северо-Западном крае, обсуждаемые в отечественном национально-консервативном дискурсе;
- проанализировать предлагаемые русскими консервативными деятелями пути развития образовательной сферы на северо-западных окраинах как основной неконфликтной формы их интеграции в общеимперское культурное пространство;

- рассмотреть деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения» как примера практической реализации доктрины «нравственного завоевания» Северо-Западного края;
- определить роль общественных деятелей национально-консервативной направленности в актуализации Остзейского вопроса во второй половине XIX века и выработке программы русификации прибалтийских губерний;
- охарактеризовать особенности регионального уровня отечественного национально-консервативного дискурса на примере воззрений и общественной деятельности русского прибалтийского публициста Е.В. Чешихина;
- проследить эволюцию национально-консервативных воззрений по вопросу интеграции северо-западных окраин в контексте проблемы укрепления и развития российской имперской государственности на рубеже XIX – XX вв.

Объектом исследования выступает отечественный национально-консервативный дискурс второй половины XIX – начала XX века;

Предметом – воззрения представителей национально-консервативного направления русской общественной мысли, посвященные осмыслению места и роли северо-западных окраин в общей структуре российской имперской государственности, а также проблеме их интеграции в государственное и культурное пространство России.

Методология исследования представлена сочетанием методов классической парадигмы исторического исследования и неклассической модели историографии, основанной на междисциплинарном подходе. Необходимость данного методологического синтеза обусловлена многообразием когнитивных практик, представленных в современной исторической науке, превращающим ее в «мультипарадигмальную» дисциплину[1].

[1] Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования / отв. ред. Ю.Г. Волков – М.: Издательство «Социально-гуманитарные знания». 2005. С. 7, 322; Ментальные программы и

Для классической модели характерно изучение консервативных воззрений в контексте конкретных исторических условий и причинно-следственных связей, что предполагает единство исторического и логического, исходящее из принципов историзма, объективности и системности.

Среди специальных методов исторического познания в работе использованы:

- *историко-генетический*, при помощи которого прослеживается становление и эволюция национально-консервативной концепции развития имперской государственности, зарождение и формирование отечественного национально-консервативного дискурса, концептуальных основ программы интеграции северо-западных окраин и их развитие под воздействием комплекса внешних и внутренних факторов, характеризуются отдельные события в их особенности при неразрывной связи с общим и закономерным;

- *историко-сравнительный*, позволяющий проанализировать сходства и различия в воззрениях различных представителей русской консервативной мысли по вопросам имперской политики в отношении национальных окраин. Данный метод также позволил раскрыть особенности различных течений в отечественной консервативной доктрине путем сопоставления сходств и различий присущих им идейных установок, определить общее и особенное на уровне общероссийского и регионального измерений национально-консервативного дискурса, сопоставить представления русских консерваторов о явлениях и процессах, протекавших в отдельных окраинных регионах. Ориентация на компаративный анализ предлагаемых отечественными консерваторами моделей развития северо-западных окраин России дает возможность типологического обобщения эмпирического материала, получаемого в ходе исследования конкретных проблем и вопросов, обсуждаемых в рамках отечественного национально-

---

модели социального поведения в российскомобществе / отв. ред. А.В. Лубский. Ростов н/Д.: Фонд науки и образования, 2016. С. 15, 20–21.

консервативного дискурса, и позволяет сформулировать общую национально-консервативную концепцию интеграции и развития края в общей структуре российской имперской государственности. Конечная цель данного анализа выходит далеко за рамки изучения локального регионального сюжета в отечественном национально-консервативном дискурсе и состоит в постижении сложной совокупности идей, принципов и концепций, составлявших его теоретическую сущность, позволяя скорректировать сложившиеся генерализации и составить новую картину национально-окраинного сегмента отечественной консервативной мысли.

- *историко-системный метод*, позволяющий рассмотреть российской консервативный дискурс как систему, включающую разнообразные составные элементы, убеждения, мировоззренческие установки, идейные концепты, тексты и высказывания, нацеленные на коммуникационное действие и находящиеся в состоянии взаимодействия и взаимовлияния;

- *историко-типологический метод*, дающий возможность вычленить из общей совокупности идей и теоретических построений, имевших место в отечественной общественной мысли, комплекс воззрений национально-консервативной направленности и проследить применение его ключевых идейных положений в отношении общегосударственной и региональной проблематики.

В работе также активно применяется *историко-биографический метод*, имеющий большое значение при изучении истории мысли, с учетом личностного начала в данной области человеческой деятельности. Необходимость использования данного метода обусловлена тем, что без анализа биографического измерения интеллектуальной жизни невозможно полноценное понимание идей[1]. Его применение позволяет ответить на вопросы, требующие выхода на иные уровни социокультурного анализа и связанные с выявлением факторов, обуславливавших и определявших

[1] Репина Л.П. Персональная история и интеллектуальная биография // Диалог со временем. 2002. Вып. 8. С. 5–10.

содержание теоретических воззрений тех или иных персоналий в конкретных исторических условиях, мотивов и целеполагания их практических действий, соотношения воздействия внешних факторов и внутренних побуждений, определявших итоговое содержательное наполнение идейно-теоретического комплекса и программы конкретных действий, отстаиваемое отечественными интеллектуалами. Анализ конкретных текстов и высказываний в соотношении с определенным этапом жизненной и карьерной траектории их авторов, рассматриваемом в контексте конкретной социальной и культурной ситуации, позволяет выявить не только мотивы их формирования, но и широкий социокультурный контекст, определявший динамику, направленность и идейное наполнение творческой активности личности. Применение данного метода в отношении отечественных консервативных деятелей также обусловлено тем, что последние в течение долгого времени выступали в качестве «наиболее негативно мифологизированных персонажей отечественной истории», изучение воззрений которых как в прошлом, так и в настоящем неизбежно сопровождалось политизацией темы, в связи с чем представляется необходимым выявление искажающего влияния идеологических пристрастий, характерных для многих исследований, посвященных проблематике отечественного консерватизма.

Методы неклассической модели исторического исследования во многом способствовали определению теоретико-методологической ориентации исследования и формированию его понятийно-категориального аппарата, обеспечившего устойчивые и организованные принципы исследовательского процесса. Рассмотрение консервативных представлений о развитии и проблемах российской имперской государственности осуществляется в рамках концепции модернизации, теоретико-методологические основы российского варианта которой были изучены в работах В.В. Шелохаева, А.Н. Медушевского, А.С. Ахиезера[1].

[1] Шелохаев В.В. Модернизация России как теоретико-методологическая проблема // Шелохаев В.В. На разные темы. М.: РОССПЭН, 2016. С. 29–39; Медушевский А.Н. Ключевые проблемы

Модернизационные процессы, сопровождавшиеся комплексом социокультурных трансформаций, охватывавших, в том числе, и имперские окраины, способствовали росту интереса к национальному вопросу и обеспокоенности судьбой сложносоставной Российской империи, сталкивавшейся во второй половине XIX – начале XX века с разнообразными вызовами современности.

Анализ пространства коммуникации власти и консервативной общественности осуществляется в рамках теоретических установок концепции публичной сферы и коммуникативного подхода, разработанных Ю. Хабермасом и К. Дойчем, в соответствии с которыми налаживание диалога между коммуникантами опосредовано персональными текстами и выражается в ряде форм социального взаимодействия[1].

Для анализа текстов, созданных в процессе публичной и непубличной коммуникативной активности, были использованы методологические установки «истории понятий»[2] и тесно взаимосвязанной с ней проблемно-ориентированной интеллектуальной истории, позволяющие, с одной стороны, рассмотреть зарождение и формирование консервативных идей в историческом контексте, а, с другой – определить их влияние на общественно-политические процессы и властные решения в отношении северо-западных окраин. Данный подход позволяет обратиться к проблеме развития исторических идей, учитывая политический, социальный и идеологический контексты их возникновения, «авторское намерение», интересы и мировозренческие ориентации создателя текста[3]. В частности,

---

российской модернизации. Курс лекций. М.: Директ-Медия, 2014. С. 126–127; Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России): В 2-х т. Т. I: От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 221–228.

[1] Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1991.

[2] Козеллек Р. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века: сборник научных работ. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге; Алетейя. 2006. С. 33–53; Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века: сборник научных работ. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге; Алетейя. 2006. С. 9–32.

[3] Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 1: Regarding Method. Cambridge: Cambridge University Press, 2002; Уотмор Р. Что такое интеллектуальная история? М.: Новое литературное обозрение, 2023. С.

проблемно-сопоставительный метод позволил посредством сопоставления контекстов употребления значимых социально-политических понятий национально-окраинной проблематики выявить общие представления о проводимом политическом курсе и особенности осмысления наиболее актуальных проблем развития окраинных регионов.

При анализе взглядов и предложений консерваторов, направленных на решение внутриполитических проблем имперской государственности и вопросов окраинной политики, применялись методы, разработанные представителями Кембриджской школы изучения политических языков (К. Скиннер), позволяющие «распаковать» смысл понятий, выявить идеологические и политические установки, которые повлияли на их использование, тем самым проанализировав составляющие имперского политического устройства, выявив оценку культуртрегерской миссии империи с позиции консервативной общественной мысли[1].

В исследовании также применяются теоретико-методологические установки истории идей, разработанные О.А. Лавджоем, позволяющие проанализировать воззрения отечественных консерваторов в социокультурном контексте, обращаясь к анализу, как самых популярных и влиятельных концептов, так и к стереотипам, предрассудкам, интеллектуальным «мифам», характерным для интеллектуальной культуры рассматриваемого периода[2]. В рамках парадигмы истории идей используемые подходы позволят воссоздать «биографию» отдельных идей в консервативном дискурсе.

Решению исследовательских задач способствует применение такого социокультурного конструкта как «символический капитал культуры» (П. Бурдье), который позволяет проследить особенности семиотического

81; Репина Л.П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 8.

[1] Skinner Q. Language and Political Change // Political Innovation and Conceptual Change. Cambridge, 1989. P. 6–23; Скиннер К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, перспективы // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 55–66.

[2] Лавджой А.О. Историография идей // История философии. 2005. № 12. С. 159–168.

конструирования имперского ментального пространства и вклад в этот процесс представителей консервативной общественной мысли[1]. Репрезентация ключевых имперских образов и символов, как единой знаковой системы, осуществлялась посредством публицистики, коммеративных практик, имперской политики памяти, выстраивая коммуникацию по линии имперский центр – окраины. Накопление и трансляция символического капитала культуры осуществлялись представителями национально-консервативной общественности, которые внесли весомый вклад в обоснование комплекса общеимперских ценностей и идеологических констант.

При анализе периодической печати, источников личного происхождения и публицистики применялись методики дискурс-анализа, позволяющие выявить скрытую информационную плоскость нарративных источников. Анализ дискурсивной формации российских консерваторов с применением методологических установок, заложенных М. Пеше и Л. Альтюссера[2], позволит реконструировать понимание имперской государственности как артикуляции предзаданных социокультурных установок коммуникантов – представителей консервативной общественности.

При работе с материалами периодической печати, составлявшими значимый элемент источниковой базы настоящего исследования, широко использовались также методы контекстуализации, генерализации и типологизации[3], при помощи которых определялось место и значение различных центральных и региональных периодических изданий в общей структуре отечественного консервативного дискурса, их взаимодействие и взаимное идейное влияние, а также степень воздействия на общественное мнение. Контекстуализация позволила определить влияние внешних

[1] Бурдье П. О символической власти // Бурдье П. Социология социального пространства. М., СПб.: 2007. С. 87–96.
[2] Althusser L. Idéologie et appareils idéologiques d'État. Paris: Les Éditions sociales, 1976; Pecheux M. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969.
[3] Pandel H.-J. Geschichtstheorie Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2017. S. 128–142.

обстоятельств и ситуативного контекста на тематику публикаций, их содержание и тональность, характер целевой аудитории, роль цензурного и коммерческого факторов в общем характере редакционной политики определенных изданий. Генерализация и типологизация способствовали выявлению присущих определенным группам периодических изданий общих черт и индивидуальных особенностей, выяснению того, насколько та или иная публикация являлась типичной или специфической для конкретного издания в общем контексте его редакторской политики и посредством этого давали возможность структурировать периодические издания в соответствии с их идейным направлением, проследив его трансформацию.

Понятийно-категориальный аппарат

Специфика темы исследования обусловила необходимость характеристики ряда базовых понятий, используемых в работе, точное определение содержания которых позволяет придать им статус научных определений и установить порядок в используемой терминологии.

Невозможность характеристики идей в отрыве от сложной совокупности форм их репрезентации, многоуровневой системы социальных коммуникаций, посредством которых они превращаются в политическую и социальную реальность, сделала целесообразным применение широко распространенного в современной гуманитарной науке понятия ***дискурс***, включающего в себя не только идейно-мировоззренческую составляющую, но и различные формы ее репрезентации и социально-коммуникативного бытия. В рамках данного исследования в качестве аналитической концепции будет использовано одно из направлений в истолковании данного понятия, позволяющее фреймировать и упорядочить собственное исследовательское пространство.

Категория «дискурс» довольно часто используется в социогуманитарных и исторических исследованиях, допуская значительное количество научных трактовок. Более того в исследовательской литературе не раз отмечалась невозможность выработки единого общепринятого определения термина

«дискурс». Нередко посредством термина «дискурс» описываются различные виды коммуникации, а его выявление и объяснение ориентирует на анализ совокупности текстов, погруженных в ситуацию общения и рассматриваемых как «целенаправленное социальное действие»[1]. Наиболее распространенным является определение, данное Т. ван Дейком, который понимает дискурс, как сложное коммуникативное событие, отличающееся единством «языковой формы, знания и действия»[2]. Ученый-лингвист отошел от «формалистического» подхода к понимаю дискурса, обратившись к анализу конкретных социальных и культурных – экстра-лингвистических факторов, влияющих на коммуникативную ситуацию, таких как мнения, установки и намерения создателя текста. Другие исследователи сближают данное понятие с современными определениями идеологии, подразумевая под ним «способ представления мира, придания ему определенных значений, изменяемых в зависимости от текущих контекстуальных условий», включающий в себя достаточно ограниченные наборы утверждений, устанавливающих «пределы того, что имеет значение, а что значения не имеет»[3]. Значимым в контексте данного исследования представляется культурологический подход, разработанный исследователем Ши Сю, при котором дискурс анализируется с его связи с историческим контекстом и культурной традицией[4].

В настоящей работе дискурс понимается как совокупность письменных и устных текстов, производимых в рамках реализации разнообразных повседневных практик – в области социального взаимодействия, организационной, творческой или интеллектуальной деятельности. Дискурс является самостоятельным смысловым полем, развивающимся по собственным символическим законам, которые, при этом, зависят от характера интеллектуального развития и форм его воплощения,

---

[1] Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136–137.
[2] Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 121–122.
[3] Филипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс анализ: теория и метод. Харьков: Издательство гуманитарного центра, 2004. С. 31, 219.
[4] Shi-xu. Chinese Discourse Studies. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

существующих в том обществе, в рамках которого он функционирует. Дискурс является значимым элементом формирования интеллектуальной групповой идентичности, определение которой невозможно по формальным внешним признакам, таким как, например, принадлежность к определенному сословию или конкретной политической партии. Поскольку те или иные направления общественной мысли социально не детерминированы и не имеют внешних символических маркеров принадлежности, определяемых по формальным признакам, то, соответственно, они фактически не существуют, пока не конструированы в разнообразных дискурсивных практиках. Другими словами, именно репрезентация в дискурсе является важнейшим условием идентификации того или иного направления общественной мысли в отношении конкретной проблемы или области осмысления.

Таким образом, дискурс, помимо всего прочего, является также особой формой социальной практики, в рамках которой не только вырабатывается интеллектуальная репрезентация различных сторон бытия, но и осуществляется конструирование идеальных моделей общественного развития, анализ содержания которых при помощи различных критериальных маркеров позволяет классифицировать их, выделив те или иные направления, группы или категории. При всей условности данной классификации, именно содержание и анализ дискурса позволяет связать воедино интеллекуальный продукт, вырабатываемый общественными или государственными деятелями с тем влиянием, которое он оказывает на социально-политическую практику.

Дискурсивные практики являются не только порождением социальной действительности, существующим в форме интеллектуальной рефлексии на происходящие события и явления, выраженной в виде различного рода нарративов или публичных заявлений, но и выступают в качестве самостоятельного социального субъекта, конструирующего реальность и порождающего те или иные общественные реакции и управленческие решения. Они не только способствуют воспроизводству социального и

политического порядка, но и могут вести к существенной социальной трансформации, являясь идейно-концептуальным обоснованием как планируемой и проводимой правительством политики, так и многих стихийных перемен в общественной жизни.

Национально-консервативный дискурс необходимо понимать как совокупность идей, обладающих информационной связностью и выражающих позицию ее создателей в определенных историко-культурных условиях социального бытия[1]. Вместе с этим необходимо учитывать, что, как и любой другой тематический дискурс, он создает своих идеальных адресата и отправителя, транслирующего общие ценностные установки, подбиравшего наиболее значимые понятия и использующего некие языковые сигналы. Одновременно дискурс, выступая коммуникативным действием, нацеленным на взаимопонимание, формируется на основе социально значимой проблематизации и попыток снятия конфликта путем обмена мнениями и обоснования позиции его участников[2]. При данном подходе национально-консервативный дискурс составляют взаимодействие, идейные контакты и полемики между разным течениями в рамках отечественного консерватизма, выраженные в различных нарративах. Рассматривая национально-консервативный дискурс с семантической точки зрения можно выявить образ реальности, конструируемый им и отраженный в текстах его носителей – представителей отечественной национально-консервативной мысли, которые конституируют себя посредством развиваемого ими дискурса. Для определения объема понятия национально-консервативный дискурс, используемого в данном исследовании, применяется содержательно-тематический принцип, позволяющий выявить свойственные ему положения в том или ином тексте, а также особо учитывается его авторство с точки

[1] Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. М.: РАН ИНИОН, 2000. С. 9; Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 525.

[2] Kleimann B. Konfliktbearbeitung durch Verstandigung. Uberlegungen zu Begriff und Funktion des Diskurs // Diskurs: Begriff und Realisierung. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000. S. 128.

зрения субъекта речевого действия или адресанта. Это позволяет при анализе национально-консервативного дискурса в рассматриваемый хронологический период обращаться к текстам, созданным непосредственно «столпами» отечественной консервативной мысли как из бюрократической, так и общественной среды, официальным документам, письмам, запискам, публицистическим и научным статьям, включающим консервативные коннотации. Использование методологических принципов концепции дискурса позволяет посредством анализа нарративных источников охарактеризовать отличительные черты носителей национально-консервативной доктрины на конкретном историческом этапе, выявить основные факторы, способствовавшие формированию развиваемого ими дискурса и его сценарно-стереотипных элементов.

Одним из ключевых понятий, используемых в настоящей работе, является понятие ***регион***, в рамках применяемой исследовательской парадигмы выступающее не как данность, а как искомое, внутреннее единство которого обнаруживается посредством сопоставления и типологизации. Значение данного понятия, определяемое в рамках многочисленных междисциплинарных региональных исследований, посвященных его теоретическому наполнению, а также локальному измерению властных отношений и региональных культур и идентичностей[1], в настоящее время остается внутренне противоречивым. Подходы к его определению и критерии их выделения во многом зависят от конкретных целей исследований, проводящихся в рамках различных областей знания.

Следует отметить, что в конце XIX века, когда этот термин стал вводиться в отечественный научный и общественно-политический оборот, отношение к нему было в значительной степени отрицательным, вследствие

[1] Issues of Regional identity / Ed. by E. Royle.Manchester: Manchester University Press, 1998. Storm. H.J. Regionalism in history, 1890–1945: The cultural approach // European History Quarterly. 2003. Vol. 33. № 2. P. 251–267; Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999; Клемешев А.П. Регион в условиях глобализации // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. 2005. № 2. С. 22–38; Лагутина М.Л., Михайленко Е.Б. Регионализм в глобальную эпоху: обзор зарубежных и российских подходов // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2020. Т. 20. № 2. С. 261–278.

того, что связанные с ним идеи политического регионализма расценивались как угроза национальному и государственному единству России[1]. В последующем, вышедшее из экономической географии определение, в сложившейся исторической традиции утратило негативные коннотации и стало трактоваться как определенное жизненное пространство, сформировавшееся в процессе длительного исторического развития, определяемое совокупностью относительно устойчивых экономических, политических, культурно-исторических и национальных особенностей[2]. В философско-культурологическом измерении регион описывается при помощи более «объемного», нежели территория, понятия «пространство» с приданием ему социально-исторических, национальных и культурных характеристик[3]. Бесконечное региональное разнообразие давало основания для определения его, как аналога особого «мира» с присущими ему уникальными традициями, менталитетом, образом мысли, мировоззрением и мироощущением[4]. Особое значение региональные сюжеты, связанные с определение данного понятия в конкретно-исторических условиях, имеют в рамках имперской истории, позволяя взглянуть на отношения имперского центра и периферии под иным углом зрения, направленным на децентрализацию исторической перспективы[5]. Следует подчеркнуть, что трактовка региона, как простой составной части государства, как отдельного элемента более крупного целого, представляется неправомерной, поскольку история государства и региона лежат в разных аналитических проекциях и

---

[1] Смагина Л.А. Регион как проект политической практики современного государства // Власть. 2007. № 2. С. 24.

[2] Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М.: Издательство РГГУ, 1997. С. 324–326.

[3] Орешина М.А. Регион как объект социально-гуманитарных исследований // Политическая наука. 2003. № 3. С. 143–144.

[4] Макарычев А.С. Влияние зарубежных концепций на развитие российского регионализма: возможности и пределы заимствования // Сравнительный регионализм: Россия – СНГ – Запад. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет, 1997. С. 97.

[5] Имперский строй России в региональном измерении (XIX – начало XX в.) М.: ЗАО «Первый печ. Двор», 1997; Российская империя в сравнительной перспективе. М.: Новое издательство, 2004.

связаны с разным бытийным наполнением исторического времени[1]. Как в зарубежных, так и в отечественных характеристиках данного понятия в качестве одного из критериев его определения рассматривается «общность исторической судьбы», составлявших его территорий, а также определенная «политическую самобытность»[2].

Не углубляясь в анализ многочисленных определений понятия «регион», формулируемых в рамках различных трансдисциплинарных исследований на основе выделения общего набора свойственных ему содержательных характеристик, следует отметить, что главным предметом полемики в исследовательских кругах является вопрос об определении региональных границ, которые могут конструироваться в соответствии с различными критериями и являются центральным моментом порождения региона и появления регионального сообщества. Несмотря на то, что в результате «культурного поворота» в социогуманитарном знании, в регионально-исторических исследованиях приоритет переходит от формальных (политических и экономических) критериев к выявлению культурной специфики региональных сообществ, многие из них и в настоящее время продолжают определяться по их территориально-административным границам, обозначаясь по официальным наименованиям входящих в них областей[3]. Более продуктивным представляется подход, согласно которому региональные границы носят ментальный характер, существуя как «воображаемое» явление, продукт социального или символического конструирования, определяясь пониманием охватываемой ими территории как целостного идейно-смыслового континуума и объекта приложения определенных политических и социокультурных концептов. В

---

[1] Зубков К.И. Структурный метод в региональных исторических исследованиях // Историческая наука и историческое образование на рубеже XX – XXI столетий. Екатеринбург: Банк культ. информ., 2000. С. 22.

[2] Смагина Л.А. Регион как проект политической практики современного государства. С. 26; Володин А.В. О политической субъектности регионов РФ // Власть. 2012. № 6. С. 121.

[3] Репина Л.Н. Региональные нарративы в сетевой модели «новой имперской истории» // Региональный нарратив имперской провинции: современные методологические подходы и исследовательские практики. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. С. 78.

рамках данных представлений создаются разграничения между «своими» и «чужими», определяя процессы включения и исключения[1].

Критериальная неопределенность региональной локализации обусловила стремление к характеристике регионов в первую очередь, как пограничных областей или контактных зон, характерными признаками которых является совместное проживание различных этнических групп на протяжении длительного исторического времени, сосуществование различных культурных, религиозных, административных и иных систем, своеобразная языковая ситуация и неопределённость границ соприкосновения[2]. Данный подход представляется особенно значимым для изучения окраинных территорий как пространства разнородных коммуникаций и столкновения различных идентичностей.

Указанные подходы дают основания для выделения северо-западных окраин Российской империи, включавших в себя территории Виленского генерал-губернаторства (с примыкавшими к нему белорусскими губерниями) и Остзейского края, как особого региона, внутреннее единство которого обуславливалось не только общими особенностями и закономерностями его исторического и социокультурного развития, но и целостностью национально-консервативного восприятия его как неотъемлемой исторической части русской государственной области, являвшейся зоной столкновения русских цивилизационных начал с пришлыми инородными элементами, препятствовавшими естественному процессу его слияния с коренной Россией.

Еще одним понятием, традиционно характеризующим как основную направленность правительственной политики в отношении национальных окраин в рассматриваемый период, так и ориентацию отечественного национально-консервативного дискурса, является понятие ***русификация***. В

---

[1] Paasi A. Constructing Territories, Boundaries, and Regional Identities // Contested Territory: Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire. Aldershot: Edward Elgar, 1995. P. 48.

[2] Контактные зоны в истории Восточной Европы: перекрестки политических и культурных взаимовлияний. М.: ИРИ, 1995. С. 4.

настоящее время данный феномен является объектом оживленной научной дискуссии, общий вектор которой направлен на расширение и усложнение трактовки охватываемых им процессов, применение ситуативного подхода к рассматриваемому явлению, отказ от априорных негативно-оценочных коннотаций при его использовании[1]. Феномен русификации, включающий в себя самые разнообразные социально-политические и дискурсивные практики, не может быть сведен к единому, строго очерченному определению в силу своей сложности и внутренней разнородности. Однако отказ от использования данного понятия при описании явлений, имевших место в позднеимперский период российской истории, представляется принципиально неоправданным, поскольку данное определение активно использовалось современниками при содержательной и качественной характеристике не только правительственной политики и имперской стратегии в отношении национальных окраин, но и этносоциальных процессов, происходивших в различных регионах империи.

В самом общем смысле под русификацией следует понимать сложный комплекс процессов, правительственных мер и общественных инициатив, направленных на унификацию регионального административного устройства Российской империи, образовательной сферы, создание единого государственного правового поля, распространение русского государственного языка, аккультурацию инородческого населения

[1] Chimiak L. Gubernatorzy rosyjscy w Kro'lestwie Polskim. Szkic do portretu zbioronego. Wroclaw. 1999. С. 42–43; Каппелер А. Россия - многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М.: Традиция–Прогресс, 2000. С. 85; Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 108; Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 55–61; Кудряшов В.Н. Консервативно-утопическая интерпретация русификаторской политики в конце XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 296. С. 96; Киштымов А. Русификация как историографическая проблема // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2015. С. 115–119; Сумарокова О.Л. Языковая политика Российской империи и «русификации»: к вопросу о методологии исследования // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 2-4. С.126–127; Лопатина Е.Б. Русификация как инструмент интеграционной политики Российской империи (На примере Привислинского края) // Перспективы. Электронный журнал. 2018. № 4(16). С. 104–110; Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли: словарь понятий. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. С. 28–55.

национальных окраин и его ограждения от внешних ассимиляционных устремлений. Русификация стала одним из проявлений процесса модернизации, активно проходившей в России во второй половине XIX – начале XX вв., и состоявшей в переходе от архаично-традиционных форм организации государственного пространства к более современной гомогенной государственной структуре. Русификаторская политика и риторика, значительно активизировавшаяся во второй половине XIX столетия, включала в себя два основных компонента – административный, направленный на унификацию всех частей империи в административной, институциональной и правовой сферах, и национальный, состоявший в укреплении национальных «русских начал» на окраинах, ключевыми маркерами которых выступали русский язык и православие.

Отношение к политике русификации и наполнение ее смысловым содержанием во многом зависело от политических воззрений участников дискуссии, в которую вовлекались как государственные деятели, так и представители разных направлений русской общественной мысли. При этом необходимо подчеркнуть, что формирование концепции русификации происходило, в первую очередь, именно в отношении северо-западных окраин, где имперский центр был вынужден взаимодействовать с сильными в экономическом и культурном отношении сообществами, обладавшими традициями государственности, и превосходившими представителей титульной нации по целому ряду показателей. Здесь имперские власти должны были противостоять конкурирующим ассимиляторским проектам, исходившим со стороны польской и немецкой элит, ограничение прав которых стало важнейшей составной частью русификаторской политики.

Безусловно, термин «русификация», характеризующий окраинную политику российских имперских властей и основу содержательной направленности отечественного национально-консервативного дискурса второй половины XIX – начале XX вв. является весьма условной дефиницией, включая в себя не столько программу обрусения населения

окраин страны, сколько концепцию их административной и языковой унификации. В первую очередь, она предполагала комплекс мер, направленных на ослабление политического и культурного влияния местных элит, которые рассматривались как «пришлые», поработившие народные массы, тяготевшие к России. Данный комплекс мер в Северо-Западном крае обозначался устойчивым определением «деполонизация», предполагавшим элиминацию польского элемента из государственно-публичной сферы, мотивированную открытыми проявлениями политической нелояльности. В Прибалтийских губерниях данная политика не носила дикриминационно-репрессивного характера, обосновываясь необходимостью модернизации традиционных органов управления и правовых норм.

Подчеркиваемая необходимость ограждения западнорусского населения и примыкавших к нему «недоминирующих» коренных сообществ от конкурирующих ассимиляторских проектов, обусловила определение отстаиваемой российскими властями и национально-консервативными кругами русификации как «оборонительной» политики, направленной, в первую очередь, на защиту от внешних угроз, ставивших под сомнение целостность и единство имперского государственного пространства.

Для анализа предлагаемых сторонниками отечественной национально-консервативной доктрины неконфликтных методов интеграции северо-западных окраин в государственное пространство России в исследовании используется междисциплинарный концепт ***«мягкой силы»***, введенный в научный оборот американским ученым Д. Наем и широко используемый в современном политическом дискурсе в качестве характеристики определенной модели международных отношений, связанных, как правило, с воздействием доминантных субъектов мировой политики на недоминирующие общности и государства[1].

[1] Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 6–7; Звягина Д.А. «Мягкая сила»: структурный анализ // Инициативы XXI века. 2012. № 3. С. 136; Коротина Н.Ю. Подходы к измерению «Мягкой силы» // Дискурс-Пи. 2014. Т. 11. № 4. С. 57; Лебедева М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 3.

Концепт «мягкой силы» применим не только к международным отношениям, но и к внутриполитической стратегии управления сложносоставными гетерогенными государствами, включающими в себя разнородные составные элементы и сообщества. Программа интегративной политики, разрабатываемая в государственных и общественных кругах, может включать в себя, наряду с административно-принудительными управленческими практиками, используемыми всеми политическими системами, широкий комплекс неконфликтных методов интеграции и конструирования единого государственного пространства, ориентированных на выстраивание диалога, выработку форм взаимовыгодного партнерства через формирование горизонтальных связей между имперским центром и северо-западными окраинными территориями в плоскости субъект-субъектных отношений в культурно-просветительской, образовательной, мемориальной и других неполитических социально значимых сферах. Анализ содержания национально-консервативного дискурса, посвященного северо-западным окраинам России, позволяет характеризовать отдельные элементы разработанной в его рамках интегративной концепции как стратегию «мягкой силы», определяемой ее сторонниками как «нравственное завоевание» края.

Путем вычленения концептуального «ядра» из теоретико-методологического конструкта сложившейся в отечественной и зарубежной гуманитаристике концепции «soft power» в исследовании предлагается собственное определение данного понятия, состоящее в том, что стратегия «мягкой силы» представляет собой концепцию, отстаивающую стремление гетерогенных государственных образований, какой являлась Российская империя, привлекать и кооптировать входящие в них элементы посредством формирования предпочтений «других» через создание собственного позитивного символического капитала и привлекательности.

С. 215; Макаревич Э.Ф. Структура и возможности «мягкой силы» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2017. № 1 (778). С. 27–37. С. 30.

Научная новизна исследования определяется особенностями избранного предмета исследования, содержанием поставленной проблемы и способами ее научного решения. В диссертационном исследовании предложено уточнение отечественной консервативной доктрины национальной направленности как совокупности текстов и высказываний, производимых в процессе социального взаимодействия, организационной, творческой или интеллектуальной деятельности и связанных между собой в идейном и смысловом отношении. Данный подход позволил характеризовать указанное направление общественной мысли как особый дискурс, представлявший собой не только внутренне цельное смысловое поле, но и своеобразный элемент интеллектуальной групповой идентичности, формировавшейся у части русской центральной и региональной общественности.

В работе проведен комплексный историографический обзор широкого круга отечественных и зарубежных исследований, посвященных консервативному направлению русской общественной мысли второй половины XIX – начала XX века и поднимаемой ею окраинной проблематике, впервые осуществленный в едином контексте с анализом изучения роли национально-консервативной общественности в выработке политического курса в отношении северо-западных окраин России. В результате были выявлены проблемные и малоизученные аспекты современного историографического поля изучаемой проблематики, а также определены новые тенденции в исследовании властно-общественных отношений в позднеимперской России.

Впервые в историографии осуществлено комплексное изучение отечественного национально-консервативного дискурса второй половины XIX – начала XX века, посвященного осмыслению места и роли северо-западных окраинных регионов в составе Российской империи, в результате чего выявлено существование целостной концепции их интеграции в единое государственное и культурное пространство России, а также определены

конкретные формы реализации данной цели. Данная проблема рассмотрена в контексте анализа национально-консервативных представлений об особенностях российской имперской государственности, способах ее сохранения и реформирования в условиях вызова национализма и совокупности внешних и внутренних угроз, ставивших под сомнение ее территориальную целостность и первенство на ее окраинах русских государственных начал.

Проанализирована концепция «исконной русскости» Северо-Западного края, элементы которой использовались участниками национально-консервативного дискурса также в отношении Прибалтики, и установлено, что формирование данной концепции являлось составной частью процесса интеллектуального конструирования региона, как неотъемлемой и составной части русского государственного пространства и имело своей целью трансформацию его восприятия и репрезентации в русском общественном сознании.

Проведен комплексный анализ национально-консервативных концепций реализации конфессиональной и образовательной политики на северо-западных окраинах, которая рассматривалась как важнейший механизм их «нравственного завоевания» и вытеснения инородного культурного господства. В результате проведенного анализа были обнаружены существенные различия в методах и способах достижения поставленных целей, предлагаемых различными участниками национально-консервативного дискурса, которые были впервые рассмотрены в прямой связи с концептуальным наполнением отстаиваемых сторонниками данного направления русских начал и пониманием стратегических задач, стоящих перед имперскими властями в регионе.

В работе предпринят до настоящего времени не проводившийся анализ выявляемых представителями русской национально-консервативной общественности причин недостаточной эффективности правительственной политики в отношении Северо-Западного края, позволивший определить

точки идейного соприкосновения и противоречия между реализуемой здесь административной практикой и отстаиваемой отечественным национально-консервативным дискурсом моделью интеграции региона.

Выявлены общие направления идейного взаимодействия центрального и регионального уровней национально-консервативного дискурса по проблеме интеграции северо-западных окраин, обусловившего его наполнение региональной спецификой, проявлявшейся в деятельности местных периодических изданий и общественных организаций национально-консервативной направленности, часть которых впервые попала в фокус исследовательского внимания.

Впервые в отечественной историографии проанализирована деятельность и интеллектуальное наследие таких региональных акторов национально-консервативной направленности, как Виленский отдел Общества ревнителей русского исторического просвещения и единственная частная русская газета Прибалтики «Рижский вестник», которые являлись точками консолидации русской региональной общественности и источником распространения русских национальных и консервативно-охранительных ценностей. Анализ деятельности данных акторов позволил уточнить содержание регионального уровня русского национально-консервативного дискурса и определить его роль в формировании и практической реализации концепции интеграции северо-западных окраин России.

Определена роль отечественного национально-консервативного дискурса в трансформации имперской политики в отношении Прибалтийских губерний и в выработке программы проводимых здесь преобразований. Изучены формы и механизмы воздействия представителей региональной и центральной национально-консервативной общественности на власть в контексте решения Остзейского вопроса, важнейшие из которых состояли в подготовке необходимой информационной и морально-психологической почвы для преобразований, выработке их исторических обоснований, интеллектуальном конструировании угроз, связанных с сохранением

существующего положения и формировании соответствующего общественного мнения.

Впервые проанализирована трансформация осмысления проблемы интеграции северо-западных окраин России, происходившая в ходе «смены поколений» в национальном направлении отечественной консервативной мысли на рубеже XIX – XX веков, что позволило уточнить национально-консервативное понимание теоретической сущности и практического содержания русификации, продолжавшей в данный период рассматриваться в качестве основного направления окраинной политики российских властей. В результате данного анализа также были установлены новые общемировые факторы и тенденции, такие как этнонационализм и империализм, рассматривавшиеся отечественными консерваторами в качестве важнейших угроз для целостности и бесконфликтного развития российской имперской государственности.

Выбор **хронологических рамок исследования** обусловлен периодом, во время которого сюжеты, посвященные месту и роли северо-западных окраинных регионов в государственном пространстве России, а также проблемам их интеграции, обладали наивысшей степенью значимости в отечественном национально-консервативном дискурсе.

Нижняя хронологическая граница исследования относится ко второй половине 50-х годов XIX века. В это время угроза успешной реализации конкурирующих ассимиляционных проектов, реализуемых на северо-западных окраинах польской и немецкой элитами, воспользовавшимися значительной либерализацией внутриполитического курса, стала впервые ясно осознаваться в общественных и правительственных кругах, что нашло свое воплощение в появлении соответствующих текстов и проектных документов, адресуемых к верховной власти. В указанный период начинается формирование концептуальных основ интеграции данных регионов в единое имперское пространство путем укрепления здесь русских государственных и национальных начал и нейтрализации инородческого культурного и

экономического господства. Содержание основных положений данной доктрины, складывавшейся во второй половине 1850-х – начале 1860-х гг., является критерием выделения формирующегося национально-консервативного дискурса из общего спектра русской общественной мысли данного периода.

Следует отметить, что поиск его идейных истоков и предтеч в вопросах, связанных с осмыслением места и значимости северо-западных окраин в российском имперском пространстве, а также стремление проследить эволюцию данной проблематики в ее динамическом развитии под влиянием различных внешних факторов обусловили необходимость некоторого выхода за указанные нижние хронологические границы и обращения к сюжетам, относящимся к более раннему периоду, без анализа которых представление о зарождении идеи унификации северо-западных окраин России было бы неполным.

Значимой вехой в становлении национально-консервативного дискурса стали события Январского восстания 1863 – 1864 гг., охватившие Северо-Западный край и превратившие проблему противодействия полонизму, угрожавшему целостности российских западных регионов, и поиска оптимальных путей их обрусения в значимую часть актуальной общественно-политической повестки, активно обсуждаемой в публичной среде. Вплоть до начала XX века данная проблематика с разной степенью интенсивности обсуждалась отечественными консерваторами, идеи и концепции которых постепенно внедрялись в сознание не только широких кругов российского общества, но и представителей имперской администрации, ложась в основу государственной политики в отношении северо-западных регионов страны.

Верхняя хронологическая граница исследования относится к 1904 г. и связана с завершением относительно мирного и эволюционного этапа развития российской имперской государственности и вступлением ее в стадию революционного кризиса, существенно трансформировавшего не

только характер имперской политики в отношении рассматриваемых регионов, но и содержание национально-консервативного дискурса, посвященного данной проблематике. Общественно-политическая сфера России с этого времени стала приобретать модерные черты, состоявшие в изменении характера деятельности различных общественных сил, их институционализации и значительной трансформации содержания рассматриваемых вопросов. Проблематика северо-западных окраин империи стала неотъемлемой частью национального вопроса в программах формирующихся консервативно-охранительных партий и движений, рассмотрение которых выходит за рамки настоящего исследования.

Географические рамки работы определяются особенностями исследовательского объекта, творческое наследие и публичная активность участников которого, осуществлявшаяся на всей территории России, ограничивается географическими, административными и ментальными границами предмета, осмысливаемого и обсуждаемого ими. Они охватывают Северо-Западный край, включавший в себя территории Виленского генерал-губернаторства (Виленская, Ковенская, Гродненская губернии) и примыкавших к нему трех белорусских губерний – Минской, Могилевской и Витебской, а также Прибалтийские губернии – Эстляндскую, Лифляндскую и Курляндскую, составлявшие так называемый Остзейский край.

Данные географические границы обусловлены тем, что в воззрениях отечественных консерваторов указанные территории выступали в качестве ключевого элемента российского имперского пространства, без сохранения и интеграции которого в административном, правовом и культурном отношениях целостность Российской империи и ее статус великой державы ставились под сомнение. В качестве объекта интеллектуального рассмотрения и обсуждения данные территории наделялись общими чертами и свойствами, представляя собой область цивилизационного противостояния между Россией и конкурирующими с ней политическими образованиями и ассимиляционными проектами, изначально относившуюся к русскому

политическому и культурному пространству, которую надлежало «вернуть», освободив от гнета «пришлых» элементов. Данные обстоятельства обусловили высокую степень внимания, уделяемого данному региону в отечественном национально-консервативном дискурсе, через призму обсуждения проблем которого в исследуемый период рассматривались проблемы и перспективы развития российской имперской государственности в целом.

Указанные географические рамки обусловлены также местом проживания и службы участников регионального уровня национально-консервативного дискурса, рассматриваемого в работе, определявшим его сюжетное содержание и пространство дискурсивных практик.

Положения, выносимые на защиту:

- Во второй половине XIX века под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов, важнейшим из которых был вызов национализма, обусловивший необходимость сглаживания присущей Российской империи гетерогенности, в русской общественной мысли сложилось национально-консервативное направление, основная цель которого состояла в сохранении целостности имперского пространства и укреплении русских государственных и культурных начал на ее национальных окраинах. Важнейшим элементом формируемого им общественно-политического дискурса стала проблематика, посвященная северо-западным окраинным регионам России, актуализация интереса к которым была тесно связана с влиянием повстанческого экстремума 1863 – 1864 гг. на русское общество.
- Отечественный национально-консервативный дискурс включал в себя два направления, основным критерием разграничения которых являлись различия в смысловом наполнении отстаиваемых ими русских национальных начал. Первое направление, в идейном отношении возглавляемое М.Н. Катковым и кругом его единомышленников, придавало данным началам преимущественно политическое значение, рассматривая их как основу русской «имперской нации», формируемой на основе политического и

культурно-языкового единства различных этнических групп. Другое течение, сформировавшееся в результате развития славянофильских идей, призывало к укреплению имперской государственности посредством формирования русского «национального ядра», строившегося, в первую очередь, на конфессиональной основе. Данное размежевание оказывало значительное влияние на характер предлагаемых сторонниками указанных направлений конкретных мер и вело к острым дискуссиям относительно форм и методов интегративного воздействия имперского центра на национальные окраины и населявшие их сообщества.

- В рамках отечественного национально-консервативного дискурса была выработана доктрина русского имперского национализма, представлявшая собой концепцию сохранения империи как единственно возможной формы российской государственности и ее эволюционной модернизации, направленной на преодоление присущей ей гетерогенности путем унификации ее окраинных территорий, распространения на них государственного языка, укрепления русских культурных ценностей.
- Реализация данной доктрины на северо-западных окраинах Российской империи должна была осуществляться посредством разработанной идеологами национально-консервативной направленности стратегии «мягкой силы», включавшей в себя, наряду с административно-силовыми средствами защиты русских государственных интересов, широкий комплекс методов «нравственного завоевания» окраинных территорий.
- Различия в понимании сущности отстаиваемых русских национальных начал, имевшие место в отечественной национально-консервативной доктрине, вели к возникновению разных подходов к реализации конфессиональной и образовательной политики на северо-западных окраинах России, рассматривавшейся как основное средство «нравственного завоевания» края. Если часть представителей данного направления, исходившая из принципа неразрывности православного вероисповедания и русской народности, настаивала на приоритете православных начал в

реализации «русского дела», то сторонники катковской концепции политической нации ориентировались, в первую очередь, на распространение русского языка как главного маркера принадлежности к русской национальности, допуская сохранение конфессионального многообразия в регионе.

- Отечественный национально-консервативный дискурс, посвященный северо-западным окраинам России, включал в себя центральный и региональный уровни, тесно взаимосвязанные между собой в идейно-концептуальном и практическом отношениях. Если участники первого из них вырабатывали общую стратегию окраинной политики и формировали общественное мнение, воздействовавшее на правительственный курс, то на региональном уровне осуществлялось наполнение общих идей региональной спецификой и формирование информационного фундамента, необходимого для выработки конкретных предложений и мер, направленных на укрепление русских государственных и культурных начал на северо-западных окраинах.
- Северо-западная окраина Российской империи, включавшая в себя несколько крупных административных единиц, в отечественном национально-консервативном дискурсе рассматривалась как стержневой, «империообразующий» регион, от успешной интеграции которого в единое государственное и культурное пространство зависело сохранение как территориальной целостности России, так и ее имперского статуса.
- В рамках национально-консервативной доктрины северо-западный регион характеризовался как неотъемлемая историческая часть русской государственной области, исторически тяготевшая к России в политическом и культурно-конфессиональном отношении и насильственно отчужденная от нее пришлым иноземным элементом. Историческим обоснованием данных тезисов служила активно используемая в национально-консервативном дискурсе концепция «исконной русскости» региона, ключевые концептуальные положения которой применялись не только в отношении Северо-Западного края, но и в отношении Прибалтики.

- Рассматривая северо-западные окраины Российской империи как единое ментальное и символическое пространство, сторонники национально-консервативной доктрины выступали за применение в отношении Северо-Западного края и Прибалтики общих интегративных методов и практик, построенных на единых концептуальных основах, направленных на ослабление политического, социально-экономического и культурного господства «пришлых» инородческих элит, приобщение местных народных масс к русским государственным и культурным началам, установлении первенства имперских идентификационных маркеров в самосознании и самоидентификации окраинных сообществ при безусловном сохранении их политической лояльности имперскому центру.
- Широко используемые в национально-консервативном дискурсе термины «русификация» и «обрусение» наделялись, в первую очередь, политическим и социокультурным, а не ассимилятивно-этническим содержанием, трактуясь как аккультурация инородческого населения. В отношении региона характеризуемая данными терминами политика носила «оборонительный» характер и была направлена на противодействие альтернативным ассимилятивным проектам, активно реализуемым на северо-западных окраинах и грозившим в перспективе их полным отмежеванием от государственного и культурного пространства Российского государства.
- В рамках обсуждения путей интеграции северо-западных окраинных регионов России и противодействия конкурирующему инородческому влиянию происходила выработка представлений о русской национальной идентичности, которая в национально-консервативном дискурсе определялась не только посредством языковых и конфессиональных маркеров, но и была напрямую связана с консервативно-монархическими политическими установками.
- Основное значение отечественного национально-консервативного дискурса в Остзейском вопросе состояло в том, что в его рамках целенаправленно и последовательно проводилась идея унификации

Прибалтийских губерний, оказывавшая значительное воздействие на политику имперских властей в отношении региона. Представители национально-консервативного направления акцентировали внимание российской общественности на «ненормальном» положении края, подготовив необходимую информационную и морально-психологическую основу для преобразований, направленных на его интеграцию в единое государственное пространство империи.

- На рубеже XIX – XX веков осмысление проблемы интеграции северо-западных окраин России в национально-консервативном дискурсе встраивалось в общие представления о перспективах развития российской имперской государственности, чье сохранение и укрепление напрямую связывалось с сохранением монархического строя и всесторонним развитием титульной государственной нации. Консерваторы стремились уберечь Россию от крайностей двух наиболее значимых тенденций в развитии мирового сообщества – национализма и империализма, выступая за «серединный» путь, при котором пресекались бы разрушительные для многонационального государства крайности этнонационализма, без попыток стирания, с другой стороны, национальной и культурной самобытности народов, составлявших единое содружество во главе с титульной государствообразующей русской народностью.

Источниковая база исследования

В основу предпринятого исследования положена информационно насыщенная источниковая база, формирование которой осуществлялось в процессе изучения обширного корпуса как опубликованных, так и неопубликованных материалов и документов различной видовой принадлежности. Последние были выявлены в ходе изысканий, проводившихся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного исторического архива (РГИА), Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ),

Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), Национального исторического архива Беларуси (НИАБ). Согласно видовому принципу, вся совокупность использованных в ходе исследования источников может быть разделена на несколько крупных групп: нормативно-правовые акты, документы организационно-распорядительного характера, делопроизводственные материалы, публицистика, историографические источники, материалы периодической печати, источники личного происхождения, включающие в себя обширные эпистолярные материалы, воспоминания и дневники.

Специфика исследования, в центре которого стоит не политика правительства в отношении северо-западных окраин, а ее осмысление в отечественном национально-консервативном дискурсе, определила ограниченное использование в качестве источников нормативно-правовых актов и документов организационно-распорядительного характера, содержащих информацию о правовом регулировании и управленческих решениях органов власти относительно данного края. Обращение к такого рода документам, разработанным центральными органами власти, а также местными учреждениями – канцеляриями виленского генерал-губернатора, губернаторов Северо-Западного края и Прибалтики, администрацией Виленского и Дерптского (Рижского) учебного округов, представляется необходимым в контексте рассмотрения властно-общественных взаимоотношений и достигаемых компромиссов (либо отсутствия таковых) между центральной и региональной администрацией с одной стороны и национально-консервативной общественностью – с другой[1].

[1] Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. (1825 – 1881) гг. (в 55 томах). Т. 52. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1879. № 57101; Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1881–1913 гг. (в 33 томах). СПб.-Петроград, 1885–1916: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1894. Т. 11. № 7665; 1895. Т. 12. Ч. 1. № 8486; Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ: Ч. 2. СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К°. 1862; Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: сборник документов и материалов. Тарту: Eesti Ajalooarhiiv, 2000.

Прямое взаимодействие русской консервативной общественности с центральной и региональной имперской администрацией, а также факт ее влияния на выработку управленческих решений в отношении северо-западных окраин России обусловили высокую значимость официальных делопроизводственных материалов, которые содержат ценные сведения не только о ситуации в регионе и конкретных управленческих практиках, применяемых в его отношении, но и о системе взаимодействия общественных и официальных кругов, реагировании последних на различные общественные заявления и инициативы, роли общественного дискурса в формировании региональной правительственной политики.

Основной массив данной группы источников, использованный в ходе исследования, сосредоточен в профильных фондах Российского государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), а также в фондах Национального исторического архива Беларуси (НИАБ). В документах фондов Департамента общих дел МВД (Ф. 1284), Канцелярии министра внутренних дел (Ф. 1282), Общей канцелярии министра финансов (Ф. 560), Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД (Ф. 821), канцелярии Святейшего Правительствующего Синода (Ф. 796), Департамента народного просвещения (Ф. 733) и других постоянных или временно действующих государственных учреждений Российской империи, находящихся в РГИА, содержатся ценные сведения, позволяющие составить более полное и точное представление о влиянии национально-консервативной доктрины на политику имперских властей в отношении северо-западных окраинных регионов, взаимодействии конкретных акторов в процессе ее выработки, а также о формах практического воплощения в жизнь разрабатываемых в административных и общественных кругах идей и проектов, направленных на обрусение и интеграцию региона в единое государственное пространство[1].

[1] РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 684; Оп. 2. Д. 329, 354, 1900; Оп. 3. Д. 240; Ф. 1284. Оп. 190. Д. 82, 100; Ф. 560. Оп. 16. Д. 214; Оп. 22. Д. 222; Оп. 26. Д. 352; Ф. 821. Оп. 10. Д. 64; Оп. 138. Д. 19, 45; Оп.

Материалы, выявленные в фондах Канцелярии минского губернатора (Ф. 295), минского уездного предводителя дворянства (Ф. 321), Канцелярии генерал-губернатора витебского, могилевского и смоленского (Ф. 1297), минской духовной православной консистории (Ф. 136), дирекции народных училищ Минской губернии (Ф. 458) Национального исторического архива Беларуси, позволяют составить представление не только о практической реализации правительственной политики на северо-западной окраине, но и о различных формах деятельности местной русской общественности, идеи и суждения представителей которых, являвшиеся составной частью регионального уровня русского национально-консервативного дискурса, отражались на страницах различных ведомственных документов, донесений и отчетов[1].

Обращение к отчетной документации, представленной регулярными губернаторскими и генерал-губернаторскими отчетами, отчетами о реализации конкретных мероприятий, таких как ревизия прибалтийских губерний сенатора Н.А. Манасеина, а также сведениями, собираемыми региональными органами охранных учреждений и направляемыми в III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (ГАРФ. Ф. 109) и Департамент полиции МВД (ГАРФ. Ф. 102), позволяет составить представление как об основных проблемных точках в развитии региона, на которые было обращено внимание властей и общественности, так и о предложениях и инициативах, идущих «снизу», позволяя составить более полное представление об «анатомии» управления имперскими окраинами и характере взаимодействия региональной и центральной бюрократий[2].

---

125. Д. 277; Оп. 150. Д. 584; Ф. 796. Оп. 165. Д. 659; Оп. 205. Д. 440, 581, 945; Ф. 733. Оп. 66. Д. 918; Оп. 194. Д. 374; Оп. 225. Д. 424.

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1899, 1907, 2169, 3107, 4335, 5987, 7292; Ф. 321. Оп. 1. Д. 229; Ф. 1297. Оп. 1. Д. 24628; Ф. 136. Оп. 1. Д. 31411; Ф. 458. Оп. 1. Д. 194.

[2] Муравьев М.Н. Всеподданейший отчет по управлению Северо-Западным краем // Русская старина. 1902. № 6. С. 487–510; Отчет Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Каханова по управлению Северо-Западным краем с 14 января 1884 по 1 августа 1886 г. // РГИА. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 758.; Замечания по всеподданнейшему отчету Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора за 1902 – 1903 годы // РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 352; Политический обзор по Виленской губернии за 1902 г. // ГАРФ. Ф.102. Оп. 101. 3-е

В работе использовались также разнообразные опубликованные документы и материалы, непосредственно связанные с событиями польского восстания 1863 – 1864 гг. и отражавшие реакцию на них русских административных и общественных кругов, в которых вырабатывались различные концепции «замирения» края и его последующего развития[1].

Позиция конкретных государственных деятелей по различным аспектам управления северо-западными окраинными регионами и общим перспективам их развития, отношение к воззрениям общественных кругов по данному вопросу и степень готовности использовать их идеи в управленческой практике отражена в материалах личных фондов императоров Александра II (Ф. 678) и Александра III (Ф. 677), а также центральных и региональных администраторов, чья деятельность так или иначе была связана с ними – великого князя Константина Николаевича (ГАРФ. Ф. 722), М.Н. Муравьева (ГАРФ. Ф. 811), П.Д. Святополк-Мирского (ГАРФ. Ф. 1729), К.П. фон Кауфмана (РГИА. Ф. 954), П.А. Валуева (РГИА. Ф. 908), И.П. Корнилова (РГИА. Ф. 970), П.П. Альбединского (ОР РНБ. Ф. 16), П.Н. Батюшкова (ОР РНБ. Ф. 52) и других.

В контексте рассматриваемой проблематики особое значение имеют материалы, связанные с деятельностью центральных и региональных национально-консервативных периодических изданий и их редакторов, выявленные в фондах различных цензурных ведомств – Главного управления по делам печати МВД (Ф. 776), Главного управления цензуры Министерства народного просвещения (Ф. 772), Центрального управления по цензурному

делопроизводство. 1903 г. 1 ч. 41 л. А; Политический обзор по Гродненской губернии за 1902 г. // ГАРФ. Ф.102, Оп. 101, 3-е делопроизводство, 1903 г. 1 ч. 63 л. А; Всеподданнейший рапорт сенатора Н. Манасеина по ревизии Лифляндской и Курляндской губерний // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 553.

[1] Сборник документов Музея графа М. Н. Муравьева. Т. 1 / Сост. А. Белецкий. Вильна: Русский почин, 1906; Архивные материалы муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. / Сост. А.И. Миловидов // Виленский временник. Кн. VI. Вильна. Губернская типография. 1913; Муравьев М.Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края 14 мая 1864 года // Русский Архив. 1885. № 6. С. 186–197; Муравьев М.Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края // Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. II. СПб: Тип. М. Стасюлевича. 1898. С. 300–312; О введении русского языка в римско-католическое богослужение. СПб.: Синодальная тип., 1867.

ведомству МВД (Ф. 775)[1]. Содержащаяся в них ценная информация проливает свет на достаточно неоднозначную политику имперских властей в отношении печатных изданий «русской направленности», позволяя пересмотреть многие устоявшиеся тезисы о характере взаимодействия русской национально-патриотической печати с властями и определить ее роль в информационном обеспечении, разработке и практической реализации программы интеграции северо-западных окраинных регионов.

Значительный интерес для исследования также представляют протоколы заседаний и иные документы, связанные с деятельностью культурно-просветительских и научных организаций Северо-Западного края, таких как Виленская археографическая комиссия[2] и Виленский отдел «Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III»[3], в состав которых входило большое количество представителей местной русской общественности, участвовавших в формировании научного обоснования правительственного курса в отношении региона. Особое значение имеют впервые вводимые в научный оборот материалы, освещающие деятельность местного отдела «Общества ревнителей…», поскольку содержащиеся в них сведения позволяют составить представление о характере общественной деятельности русской национально-консервативной общественности Северо-Западного края и формах ее взаимодействия с верховной властью в начале XX века.

Для решения поставленных в настоящем исследовании задач первостепенное значение имеют публицистические источники, отражавшие воззрения отечественных консервативных деятелей по различным актуальным общественно-политическим вопросам. Особенностью публицистики XIX века в России, активное развитие которой было

---

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 64, 123, 124, 300; Оп. 14. Д. 116; Оп. 20. Д. 430; Ф. 772. Оп. 1. Д. 1376, 5713; Ф. 775. Оп. 1. Д. 8.

[2] Протоколы заседаний Археографической комиссии. Вып. 3. 1850–1868 г. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых,1892.

[3] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 1, 59 а., 80; Устав общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1895.

обусловлено «установлением коэкзистенциональных связей между личностью, обществом и различными социальными группами»[1], стало ее сращивание с периодикой, что породило определенные расхождения в ее определении как особого вида исторических источников. В течение длительного времени публицистика рассматривалась как особая область литературы, посвященная актуальной злободневной общественно-политической тематике[2], важнейшее назначение которой состояло в формировании общественного мнения[3]. Публицистика неразрывно связывалась с периодической печатью, со страниц которой авторы обращались к читателям, доводя до них свою точку зрения по различным вопросам действительности. В настоящее время публицистика как особый вид исторического источника определяется, в первую очередь, через его целеполагание, напрямую связанное с публичным выражением мнения какой-либо личности или социальной группы по общественно значимой проблеме[4]. Феномен публицистики неразрывно связан с общественной сферой, в рамках которой он представляет собой реакцию на актуальные проблемы современности, выраженную в различных формах – от острополемических памфлетов и интеллектуальной рефлексии по поводу происходящих событий до предлагаемых программ переустройства отдельных сфер жизни либо глобальных общественно-политических преобразований.

Публицистика, безусловно, является наиболее значимым источником для изучения общественной мысли, выступая в качестве важнейшего

---

[1] Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. М.: Росс. гос. гум. ун-т, 2004. С. 322.

[2] Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XXVa. СПб.: Типо-Литография И.А. Ефрона. 1898. С. 746; Дмитриев С.С. Проблемы источниковедения русской отечественной периодики. М.: Б/и, 1972. С. 6; Жилина Л.В. О понятии «публицистика» // Актуальные проблемы отечественной истории XVI - начала XX в. Омск: 2005. Вып. 2. С. 208–215.

[3] Прохоров Е.П. Публицист и действительность. М.: Издательство Московского университета, 1973. С. 113.

[4] Плавская Е.В. Публицистика как вид исторических источников: проблема определения // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Исторические науки». 2008. № 4. С. 90.

элемента дискурса как особой формы социальной практики, в рамках которой происходит интеллектуальная репрезентация различных сторон действительности и конструирование идеальных моделей общественного развития. В условиях второй половины XIX – начала XX века, когда публицисты становились настоящими «властителями дум», не только выражая, но и формируя общественное мнение, социально-политическая значимость публицистических произведений значительно выросла, что делает их ценными источниками сведений об интеллектуальных и социокультурных процессах и трансформациях, происходящих в обществе, на основании материалов которых можно решать разнообразные исследовательские задачи.

Основу публицистических материалов, использованных в исследовании, составили сочинения наиболее видных теоретиков национально-консервативной направленности, а также труды многочисленных центральных и региональных публицистов, не только отстаивавших и развивавших их воззрения, но и выдвигавших собственные оригинальные идеи и проекты[1]. Наряду с публицистикой, затрагивавшей общие проблемы развития национальных начал в условиях сохранения имперской

[1] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: РОССПЭН. 2010; Тихомиров Л.А. Что такое национализм // Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М.: «Москва», 1999. С. 210–213; Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение // Тихомиров Л. А. Критика демократии. М.: «Москва», 1997. С. 541–549; Тихомиров Л.А. Что такое Отечество? // Тихомиров Л. А. Апология веры и монархии. М.: «Москва», 1999. С. 19–42; Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М.: ГУП «Облиздат», 1999; Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. 6: Статьи и публичные лекции о национальном вопросе. Славянский вопрос и война 1877 года. Польский вопрос. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1901; Леонтьев К.Н. Племенная политика, как орудие всемирной революции // Собрание сочинений. Т. 6. М.: Издание В.М. Саблина, 1912. С. 145–193; Харузин Н.Н. К вопросу об ассимиляционной способности Русского народа. М.: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1894; Восторгов И.И. Полное собрание сочинений. Т. 4. Статьи по вопросам миссионерским, педагогическим и публицистическим. 1887–1912. М.: Книгоиздательство «Верность», 1916; Сыромятников С. Н. Опыты русской мысли. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1901; Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. Берлин. Б/и. 1899; Шарапов С.Ф. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010; Шарапов С.Ф. Русские исторические начала и их современное приложение. М.: Свидетель, 1908; Юзефович Б.М. Самодержавие или государственное самоуправление? Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1904; Кулжинский И.Г. Вот кто первый хлопотал о восстановлении и размножении церковно-приходских училищ в России. Письма и заметки по этому предмету И. Гр. Кулжинского. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1895; Будилович А.С. По вопросу об окраинах России. СПб.: Тип. Воейкова, 1906; Менделеев Д.И. Заветные мысли. СПб.: Тип. М.П. Фроловой, 1903 – 1904; Менделеев Д.И. К познанию России. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1907.

государственности, особое внимание уделялось работам, непосредственно посвященным интеграции северо-западных окраинных регионов в общегосударственное пространство, которые отражали общественную позицию по данному вопросу, зачастую не совпадавшую с официальным правительственным курсом[1]. Данные тексты публиковались на страницах периодической печати, а также выходили отдельными изданиями, что накладывало на них определенные цензурные ограничения, которые необходимо учитывать при работе с указанными материалами.

Значительная часть идейного и публицистического наследия крупнейшего представителя национального направления русского консерватизма М.Н. Каткова изложена в передовых статьях возглавляемых им «Московских ведомостей», а также публикуемых на страницах других изданий[2]. Вне зависимости от того, являлся ли консервативный мыслитель их непосредственным автором, либо ограничивался общей редакцией, они отражают сумму его воззрений по самым разным аспектам окружающей действительности, значительное место среди которых занимала имперская проблематика, осмысление места и роли северо-западных окраинных регионов в государственном пространстве России, а также отстаивание национально-консервативной модели окраинной политики, основные принципы которой излагались публицистом на страницах своей газеты. Дополняли и развивали идеи Каткова публицисты его «круга», близкие к ним

---

[1] Фудель И.И. Наше дело в Северо-Западном крае. М.: Университетская тип., 1893; Кулжинский И.Г. О зарождающейся так называемой малороссийской литературе. Киев: Тип. И. и А. Давиденко. 1863; Крачковский Ю.Ф. Пятидесятилетие воссоединения западнорусских униатов с православной церковью (1839–1889 г.). Вильна*:* Типография А.Г. Сыркина, 1889; Владимиров А.П. Из новейшей летописи Северо-Западной России (1865 г.). История плана располячения католицизма в Западной России // Русская старина. 1885. Т. 48. Вып. 10 (октябрь). С. 99–123; Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае // Русское обозрение. 1894. № 7. С. 217–241; № 8. С. 748–767; № 9. С. 171–192; Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики // Исторический вестник. 1892. Т. 47. № 3. С. 752–765; Харузин М.Н. Балтийская конституция. М.: Тип. А.А. Левенсон, 1888.

[2] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863–1887. Т. 1–25. М.: Издание С.П. Катковой, 1897–1898; Катков М.Н. Русский вопрос // Русский вестник.1863. Т. 43. С. 923–941; Катков М.Н. Что нам делать с Польшей? // Русский вестник. 1863. Т. 44. С. 469–506; Катков М.Н. Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009; Катков М. Н. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011.

в идейном отношении региональные авторы, а также те, кто считал себя «последователем» и «продолжателем» его дела, чье творчество, хотя и не отличаясь идейной оригинальностью, тем не менее, представляется значимым для понимания региональной интерпретации и эволюции концепции политического национализма в отношении общих перспектив российской имперской государственности и путей интеграции ее северо-западных окраин[1].

Важнейшим элементом отечественного национально-консервативного дискурса, представляющим огромный интерес для данного исследования, является публицистическое наследие представителей русского славянофильства, наиболее видными из которых в рассматриваемый период являлись И.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин. Анализ их философско-мировоззренческих воззрений, концептуальных построений, а также конкретных идей и проектов, относящихся к северо-западным окраинным регионам, излагаемых как на страницах периодических изданий, так и в виде самостоятельных сочинений, позволяет составить представление о характерной для них особой стратегии укрепления российской имперской государственности и интеграции национальных окраин[2]. В работе также было использовано богатое публицистическое наследие видного русского поэта и мыслителя Ф.И. Тютчева, внесшего значительный вклад в формирование русской национальной мысли и осмысление сущности российской имперской государственности[3].

---

[1] Щебальский П.К. Польско-русский вопрос // Забытые страницы польского вопроса. Антология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 113–124. Юзефович М.В. Народность и государство. Киев: Университетская тип., 1867; Юзефович М.В. О значении личности у нас и на Западе. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1906.

[2] Аксаков И.С. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1886; Сочинения И.С. Аксакова 1860–1886. Т. 2-3: Славянофильство и западничество: Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891; Самарин Ю.Ф. Революционный консерватизм. Berlin: Behr`s Buchhanlung (E. Bock), 1875; Самарин Ю.Ф. Современный объем польского вопроса // Забытые страницы польского вопроса. Антология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2022; Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 9. Окраины России. М.: Т-во типографии А.И. Мамонтова, 1898; Самарин Ю.Ф. Православие и народность. М.: Институт русской цивилизации, 2008.

[3] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. М.: Вече, 2000; Тютчев Ф.И. Россия и запад. М.: Институт русской цивилизации, 2011.

Значительным информационным потенциалом, позволяющим раскрыть содержание и идейное наполнение регионального уровня отечественного национально-консервативного дискурса, а также интерпретацию его ключевых идей в осмыслении и практической деятельности одного из наиболее типичных «рядовых» сторонников данного направления, обладает публицистическое наследие попечителя Виленского учебного округа И.П. Корнилова, представленное как опубликованными[1], так и неопубликованными материалами[2]. Последние представлены не только письмами к различным корреспондентам, в которых детально излагаются воззрения их автора, но и многочисленными рукописями и черновиками различных записок и статей, посвященных проблемам обрусения северо-западных окраин России, в первую очередь, посредством образовательной сферы, а также анализу различных «механизмов торможения», препятствовавших ее реализации.

Среди неопубликованных материалов фонда И.П. Корнилова значительный исследовательский интерес также представляют записки и проекты одного из его ближайших сподвижников и видных членов виленского круга русских деятелей – инспектора виленского учебного округа В.П. Кулина, посвященных не только поиску механизмов и путей распространения русского образования в Северо-Западном крае, но и чрезвычайно актуальной проблеме отделения полонизма от римско-католического вероисповедания[3]. Взгляды Корнилова и деятелей его круга, изложенные как в неопубликованных документах, так и на страницах региональной и центральной печати, не являются теоретически оригинальным элементом отечественного национально-консервативного

---

[1] Корнилов И.П. Общие замечания о положении учебно-воспитательного дела в Виленском учебном округе в 1867 году. СПб.: Печ. В. Головина, 1868; Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901; Корнилов И.П. Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем. СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 1902.

[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 67, 73, 81, 138, 152, 162, 163, 173, 180, 185, 189, 193, 898; ОР РНБ. Ф. 377. Ед. хр. 11, 360, 597.

[3] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 877, 878, 884.

дискурса, представляя интерес, в первую очередь, как пример адаптации его основных положений к региональной практике и интеллектуальной рефлексии, вызванной трудностями реализации поставленных целей.

В работе также было использовано публицистическое наследие представителей высшей государственной администрации, придерживавшихся национально-консервативных позиций, в рамках которого излагался их собственный взгляд на цели и задачи имперской окраинной политики и вырабатывался комплекс рекомендаций по повышению ее эффективности[1]. Так, в частности, заметки и размышления бывшего министра финансов Н.Х. Бунге содержат взвешенный анализ правительственной политики в отношении северо-западных окраин и предложения, направленные на углубление интеграционной политики, адресуемые им к монарху и новым поколениям русских государственных деятелей[2].

В отдельную группу источников следует выделить исторические сочинения, принадлежащие перу как профессиональных, так и непрофессиональных исследователей национально-консервативной направленности, посвященные истории северо-западных окраинных регионов России, происхождению и культурным особенностям местных народностей, политическому развитию данных территорий и их интеграции в состав Российского государства. Данные историографические источники, представляя собой одно из проявлений социокультурной и интеллектуальной практики, отражавшей актуальные потребности и общественно-политические запросы своего времени[3], содержат в себе значительную информацию о

---

[1] «Кто и что теперь Россия?» Записка графа Д.А. Толстого, 1865 г. // Вопросы истории. 2012. № 8. С. 75–82; Победоносцев К.П. Московский сборник. М.: Синодальная типография, 1901; Победоносцев К.П. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010; Зиновьев М.А. Труды покойного лифляндского губернатора М.А. Зиновьева. Рига: Типография В.Ф. Геккера. 1906.

[2] Бунге Н.Х. Загробные заметки // Судьбы России. Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX века). М.: Лики России. 1999. С. 191–264.

[3] Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М.: Высшая школа, 1987. С. 120.

социально-политическом целеполагании его автора и общей направленности презентации и позиционирования исторических сведений, сообщаемых им, что делает их значимой частью актуального общественно-политического дискурса[1].

В настоящем исследовании были использованы исторические сочинения Н.Г. Устрялова, М.П. Погодина, П.В. Кукольника, М.О. Кояловича, Ю.Ф. Крачковского, П.Н. Батюшкова, А.И. Миловидова, Ю.Ф. Самарина, Е.В. Чешихина[2] и других исследователей и общественных деятелей, объединяемые общим стремлением к нахождению исторических обоснований принадлежности территорий Северо-Западного края и Прибалтики к русскому государственному пространству, посредством доказательства «первичности» присутствия здесь русских государственных и культурных начал, естественного тяготения к ним местного населения, «насильственного и пришлого» характера господствовавшего в крае инородческого элемента. Именно в них была сформулирована и обоснована концепция «исконной русскости» северо-западных окраин России, активно презентуемая и ретранслируемая при помощи различных средств государственными и общественными деятелями национально-

[1] Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Источниковедение историографии как предметное поле интеллектуальной истории // Мир историка: историографический сборник. Вып. 11. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. С. 89–91; Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив как вид социально ориентированного историописания // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. № 4. 2015. С. 127.

[2] Устрялов Н.Г. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? СПб.: Тип. экспедиции заготовления государственных бумаг, 1839; Погодин М.П. Польский вопрос: собрание рассуждений, записок и замечаний. 1831–1867. М.: Тип. газ. «Русский», 1867; Кукольник П.В. Исторические заметки о Литве. Вильна: Тип. А. К. Киркора, 1864; Коялович М.О. Документы, объясняющие историю западнорусского края и его отношения к России и к Польше. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1865; Коялович М.О. Чтения по истории западной России. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1884; Батюшков П.Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-Западного края. СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1890; Крачковский Ю.Ф. Старая Вильна до конца XVII столетия. Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1893; Миловидов А.И. О положении православия и русской народности в Пинском удельном княжестве и городе Пинске до 1793 года. М.: Тип. А. И. Снегиревой. 1894; Миловидов А.И. Исторические основы латино-польской политики в Северо-западном крае. Вильна: Тип. Вил. св.-дух. братства, 1901; Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края: Т. I–III. Рига: Тип. А.И. Липинского, 1876–1882; Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I–III. Рига: Типо-литография А.И. Липинского, 1884–1887; Чешиихин Е.В. Граф Ф.Ф. Буксгевден и Лифляндская ландрагская коллегия в 1805 г. // РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 2. Ед. хр. 335; Чешихин Е.В. Эстляндская губерния 1819 г. // РГАЛИ. Ф. 553. Оп. 1. Ед. хр. 1238.

консервативной направленности. Анализ идейной сущности рассматриваемого исторического нарратива, позволяет выявить концептуальную основу национально-консервативного дискурса, посвященного данной проблематике, а также ключевые аргументы и тезисы, используемые для обоснования предлагаемых практических мер в отношении края.

Следующим видом источников, обладающим чрезвычайно высоким репрезентативным потенциалом, являются материалы периодической печати, размещенные как в центральных, так и региональных изданиях. Следует отметить, что характеристика периодической печати как определенного структурного феномена до настоящего времени является дискуссионной проблемой, суть которой заключается в отсутствии единого мнения об определенной типовой и видовой принадлежности самих периодических изданий и размещенных в них публикаций. Согласно традиционному подходу, периодическая печать считается самостоятельным видом письменных исторических источников, основными критериями для выделения которого является особая, присущая только ему, форма публикаций, большой тираж, позволявший получать и усваивать информацию значительному числу читателей и «невиданная действенность публикуемых в газетах фактов, идей, лозунгов»[1]. К данным критериям относятся также особые функции периодики, состоящие в формировании и структурировании общественного мнения, осуществлении идеологического воздействия как со стороны государства, так и определенных направлений общественной мысли и политических организаций, информационном обслуживании экономической деятельности, а также в установлении обратной связи в системе управления[2]. В рамках представления о периодической печати как об особой группе источников предлагались

[1] Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: Наука, 1975. С. 227.
[2] Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. М.: Росс. гос. гум. ун-т, 2004. С. 451.

различные формы группировки повременных изданий в соответствии со сферой их применения и идейно-политической направленностью[1].

Другой подход состоит в разграничении собственно прессы как места и способа публикации различных по характеру материалов и содержавшихся в ней конкретных текстов-публикаций[2]. Данное разграничение обусловлено применением различных исследовательских методов в отношении указанных объектов изучения, а также характером информации, получаемой в ходе их анализа. Вследствие этого, ряд исследователей предлагает рассматривать в качестве самостоятельного источника не конкретное издание в целом, а каждую отдельную публикацию, обладающую специфическими видовыми признаками и содержательным информационным потенциалом[3]. Данный подход характерен и для зарубежных исследований, посвященных методологическим вопросам изучения периодики, которая рассматривается как один из родов публицистики наряду с другими печатными изданиями (книгами, листовками, плакатами и т. д.)[4]. В его основе лежит принцип функционально-целевого назначения того или иного документа, предназначенного для официального, общественного или приватного употребления[5]. Положительным следствием данного подхода является отказ от подмены анализа конкретных материалов, размещенных в периодическом издании, анализом самих последних, хотя, безусловно, влияние характера, целевой аудитории и общественно-политической направленности конкретной газеты или журнала на содержание и форму публикации нельзя не учитывать,

---

[1] Селезнев М.С. О классификации исторических источников в связи с построением курса источниковедения в вузах // Источниковедение истории советского периода. М.: Наука, 1964. С. 320–342.

[2] Дмитриев С.С. Периодическая печать // Источниковедение истории СССР / Под ред. И. Д. Ковальченко. Москва: 1981. С. 331–332.

[3] Рынков В.М. Периодическая печать: место в системе исторических источников // Отечественные архивы. 2010. № 3. С. 45.

[4] Oldenbourg Geschichte Lehrbuch. Neueste Zeit / Herausg.: A. Wirsching. München: Oldenbourg Verlag, 2009. S. 363–365.

[5] Eckert G. Historisch arbeiten: Handreichung zum Geschichtsstudium. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2019. S. 67–68; Marwick A. The new nature of History. London: Macmillan, 2001. P. 164–165.

что не позволяет полностью отказаться от их общей характеристики при изучении размещаемого в них информационного и идейного контента.

В настоящее время предлагаются различные принципы классификации материалов периодической печати, наиболее продуктивным критерием которой представляется не их видовая принадлежность, а ключевые содержательные признаки, такие как тематика, авторство, географическая направленность, описываемые сюжеты и явления и т.д.[1] Значительная часть данных материалов по своей форме и содержанию относится к публицистике, которая по самой своей природе и характеру является, в первую очередь, газетно-журнальным видом источников. Это в особенности относится к передовым редакторским статьям, определяющим общую направленность издания и его отношение к различным сторонам действительности. Однако многие другие публикации, размещаемые, в первую очередь, на страницах газет, включавшие в себя различные заметки, обзоры, очерки, информационно-повествовательные материалы, сопровождавшееся оценочными комментариями, корреспонденцию, полемику с другими изданиями и т.д., обладают своей особенной спецификой, характерной исключительно для материалов средств массовой информации, что дает основание выделить их в отдельную группу источников.

При изучении материалов периодики необходимо учитывать как внешние факторы, определявшие тематическую направленность, содержание и общий характер публикаций, к которым относится общий исторический контекст, конкретная политическая обстановка в определенный период времени, цензурное воздействие, так и внутренние обстоятельства, обусловленные общественно-политическими воззрениями возглавлявших издания лиц и привлекаемых ими корреспондентов. Для определения общественной значимости публикуемых материалов следует также обращать

[1] Костякова Ю.Б. О типовой и видовой принадлежности прессы и ее материалов // Документ. Архив. История. Современность: материалы V Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 5-6 декабря 2014 г. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. С. 250.

внимание на круг читательской аудитории рассматриваемого издания, его тираж, уровень влияния в общественной среде, а также характер его восприятия и отношения к нему со стороны верховной власти.

Угол зрения, под которым рассматриваются материалы периодики, безусловно, зависит от стоящих перед исследователем целей и объекта его изучения. В контексте анализа общественной мысли и общественно-политического дискурса первостепенное внимание уделяется не столько приводимым в газетах и журналах фактическим сведениям, сколько их интерпретациям, оценкам, характеристикам, а также изложению и аргументации позиций, отражавших воззрения определенного общественно-политического направления. Вследствие этого, свойственная материалам периодической печати тенденциозность, идеологизированность и субъективность представляются не недостатком, снижающим репрезентативный потенциал газетных и журнальных публикаций как исторических источников, а их уникальным свойством, позволяющим составить представление об идейной направленности издания, его руководителей и авторов, а также концентрировавшихся вокруг него общественных деятелей.

В контексте исследуемой проблематики в настоящей работе первоочередное внимание уделяется материалам периодических изданий национально-консервативной направленности, наиболее значимыми из которых являлись «Московские ведомости», «Русский вестник», «День», «Москва», «Москвич», «Русь», «Новое время», «Русский мир», «Русское дело», «Русский труд», «Русское обозрение», «Свет». Сюжеты, связанные с северо-западными окраинами России, занимали значительное место среди материалов данных газет и журналов, наиболее видными фигурами среди редакторов которых были крупнейшие теоретики национально-консервативного направления русской общественной жизни – М.Н. Катков и И.С. Аксаков. Помимо передовых статей, периодически посвящаемых проблемам северо-западных окраинных регионов и имевших

публицистический характер, здесь размещалось большое количество различных материалов, под определенным углом зрения освещавших реализацию правительственной политики в регионе, обосновывавших необходимость его обрусения и интеграции в единое государственное пространство, а также содержавших различные предложения и суждения, направленные на его сближение с великорусскими территориями. Огромное внимание на страницах данных изданий уделялось формированию образа врага, препятствовавшего успешной реализации русских государственных задач на северо-западных окраинах, а также выявлению «механизмов торможения», снижавших эффективность правительственных мер. Ментальный образ северо-западных окраин как неотъемлемой части русского государственного пространства и связанных с ним акторов с их устойчивыми яркими оценочными характеристиками, выстроенный на страницах крупнейших отечественных периодических изданий национально-консервативной направленности, получил широкое общественное распространение, став устойчивым стереотипом, через призму которого в русском обществе проходило восприятие данного региона и связанных с ним реалий. Важную информацию для исследователя содержит простой количественный подсчет числа публикаций, посвященных северо-западным окраинам, отражавший динамику роста или спада общественного интереса к данной проблематике, а также траектории редакторской политики конкретных изданий, зависевшие во многом от позиции, занимаемой возглавлявшими их лицами.

Большое значение для понимания особенностей регионального уровня национально-консервативного дискурса имеют материалы окраинных изданий данной направленности, центральное место среди которых занимает газета «Виленский вестник». Со второй половины 1860-х годов на протяжении нескольких десятилетий газета с большей или меньшей энергией и последовательностью отстаивала русские национальные и государственные интересы в Северо-Западном крае, уделяя значительное внимание

обоснованию его исконной русскости, развитию русского образования в регионе, проблемам, с которыми здесь сталкивалась реализация «русского дела». Значительный интерес представляет разворачивавшаяся на его страницах полемика о внедрении русского языка в католическое богослужение, обсуждение проблем формирования русского землевладения в крае, путей и методов приобщения местного белорусско-литовского населения к русской культуре. Многочисленные корреспонденции с мест, подбор которых в содержательном отношении строился в соответствии с общей идейной направленностью газеты, представляет интерес в контексте анализа обоснования ключевых тезисов национально-консервативной программы обрусения края, стремившейся опереться на местные материалы и запросы.

В идейном отношении близкую к «Виленскому вестнику» позицию занимало одно из наиболее массовых и популярных русских региональных периодических изданий – газета «Киевлянин», среди публикаций которой наибольший интерес представляют материалы, посвященные проблемам деполонизации Западного края, рассматривавшегося руководством газеты как неотъемлемая часть русского государственного и культурного пространства.

Важные сведения для понимания национально-консервативной концепции «исконной русскости» Северо-Западного края и ее научно-исторического обоснования содержат в себе материалы журнала «Вестник Западной России», издававшегося в Киеве, а затем в Вильне, значительное место среди которых занимали публиковавшиеся исторические документы, подобранные и выстроенные в соответствии с отстаиваемой доктриной. Данное печатное издание также отражало общественно-политические воззрения национально-консервативно ориентированной части русской бюрократии и общественности Северо-Западного края, представляя значительный интерес в контексте анализа идейной борьбы, которую представители «русского направления» вели не только с местным

«полонизмом», но и с русскими сторонниками дворянско-сословных приоритетов в развитии региона.

Определенный интерес для настоящего исследования также представляют материалы, публикуемые на страницах главного православного церковного издания Северо-Западного края – «Литовских епархиальных ведомостей» посвященных православно-католическим отношениям и путям укрепления роли православной церкви, рассматривавшейся главным проводником русского образования и культуры в регионе.

Эволюция регионального национально-консервативного дискурса в начале XX века нашла отражение на страницах газет «Западный вестник» и «Белорусский вестник», стремившихся в своих публикациях отстаивать «русское направление» в условиях назревавшего революционного кризиса, ставшего главной причиной быстрого закрытия данных изданий.

«Русский взгляд» на ситуацию в Остзейском крае во второй половине XIX в. и проблему их интеграции в российское государственное и культурное пространство представлен в материалах единственной частной русскоязычной газеты, выходившей в Прибалтике с 1869 г. – «Рижском вестнике». «Строго национальное направление» газеты, ориентировавшейся на «пробуждение самосознания в местном русском обществе» и отстаивание «интересов русского государства в отношении прибалтийской окраины»[1], было напрямую связано с воззрениями и социальной позицией ее создателя – видного русского прибалтийского общественного деятеля Е.В. Чешихина. Не изменилось оно и после прихода на пост редактора газеты его единомышленника Л.Н. Витвицкого в 1880-е годы.

Несмотря на информационный характер издания, ставшего с 1870 г. ежедневным, оно содержало в себе значительный публицистический компонент, основной идеей которого была борьба с немецким засильем в регионе. В редакторских статьях, принадлежащих перу Чешихина, и

[1] Рижский вестник. 1883. № 287. 31 декабря.

публикациях других постоянных корреспондентов, последовательно проводилась идея укрепления русских государственных начал в крае и освобождения коренных прибалтийских народов от немецкого господства. Той же цели были подчинены публикуемые корреспонденции из различных уголков Прибалтики, а также традиционная газетная полемика с местными немецкоязычными изданиями и многочисленные переводы из эстонско-латышской национальной периодики. Отдельный интерес представляют публикуемые исторические материалы, служащие научным обоснованием отстаиваемой газетой общественно-политической позиции. Наличие данных материалов, содержащих уникальные сведения и оригинальные подходы к решению «остзейского вопроса», делает публикации «Рижского вестника» значимым элементом регионального уровня отечественного национально-консервативного дискурса и важным источником для его изучения.

Специфический характер материалов периодической печати, представлявших собой адаптацию концептуальных положений, выработанных теоретиками и ведущими публицистами национально-консервативной направленности, к конкретно-событийному полю повседневной реальности, их популяризацию и аргументированное отстаивание в ходе неизбежной газетной полемики с оппонентами, делает их значимым и чрезвычайно насыщенным в информационном и идейно-смысловом отношении источником для изучения отечественного национально-консервативного дискурса.

Личностное восприятие явлений и процессов, относящихся к проблематике исследования, как их непосредственными участниками, так и сторонними наблюдателями нашло свое отражение в источниках личного происхождения. Их значимость обусловлена не столько фактографическим содержанием, которому присущи вполне объяснимые неточность и оценочно-субъективный характер суждений, сколько социокультурным наполнением, связанным с тем, что материалы личного происхождения представляют собой феномен культуры, в котором фиксируются впечатления

от взаимодействия с Другим, знакомства с иным способом восприятия, конструирования и оценки реальности[1]. По мнению ряда исследователей, важнейшей функцией данной группы видов исторических источников является установление «межличностной коммуникации в эволюционном и коэкзистенциальном целом и автокоммуникации»[2].

В соответствии с данным подходом, субъективность, свойственная переписке, мемуарам и дневникам, представляется не недостатком, а достоинством, позволяющим изучить внутреннюю интеллектуальную жизнь личности, проследить процесс формирования воззрений их авторов по различным вопросам, их истинное отношение к явлениям окружающей действительности, а также проанализировать взаимосвязь между их публичной деятельностью и внутренними убеждениями.

Эпистолярные источники, используемые в рамках данного исследования, как опубликованные, так и хранящиеся в личных и ведомственных архивных фондах, в соответствии с общепринятой классификацией[3], могут быть разделены на три основные группы: публицистические тексты, имеющие эпистолярную форму, созданные в расчете на немедленную или последующую публикацию и широкое общественное распространение; деловые письма, содержание которых раскрывает официальные отношения между учреждениями или отдельными лицами; частные письма, являвшиеся актами личного общения.

Наиболее высоким репрезентативным потенциалом обладают эпистолярные по своей форме, но в содержательном отношении тяготеющие к публицистике письма, записки и обращения конкретных лиц, как

---

[1] Иванова Н.И. Видовая и внутривидовая классификация источников личного происхождения: проблемы источниковедческого анализа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 3. С. 105.

[2] Румянцева М.Ф. Источники личного происхождения // Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998. С. 466–467.

[3] Прохоров Е.И. Издание эпистолярного наследия // Вопросы текстологии. М.: Издательство АН СССР, 1964. Вып. 3. С. 6–60; Кобак И.В. Письма как исторический источник: задачи и приемы изучения // Вестник СПбГУ. История. 2012. Вып. 2. С. 142.

подписанные, так и анонимные, направляемые к представителям власти, различным организациям, периодическим изданиям, либо конкретным лицам, в которых авторы отстаивали свои позиции, обосновывали необходимость определенных мероприятий, либо, напротив, стремились предотвратить их, излагали свои взгляды и отношения к различным сторонам действительности, стремясь убедить адресат в своей правоте и рассчитывая на распространение своих убеждений. К такого рода материалам можно отнести, например, всеподданнейшую записку митрополита Иосифа (Семашко), в которой излагались его взгляды на прошлое и настоящее Северо-Западного края, записки А.П. Заблоцкого-Десятовского, содержавшие развернутую программу преобразований в крае или пространную записку М.Н. Каткова с характеристикой роли возглавляемых им «Московских ведомостей» в общем «движении русской журналистики»[1]. Сведения о настроениях русской общественности Прибалтийских губерний в период, предшествующий проводимым там в период правления Александра III преобразованиям, содержатся в крайне любопытном анонимном воззвании о материальной помощи газете «Рижский вестник», которая должна была стать рупором русских государственных интересов в регионе[2].

Письма общественных деятелей к представителям имперской администрации разного уровня, вплоть до самих императоров, отложившиеся в личных фондах последних, помимо содержащегося в них изложения их взглядов, интересны тем, что позволяют составить представление о характере и особенностях властно-общественных отношений в контексте рассматриваемых в данном исследовании вопросов[3].

---

[1] Всеподданнейшая записка митрополита Иосифа (Семашко) 26 февраля 1859 г. // Забытые страницы польского вопроса. Антология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 55–62; РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3, 4; ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58; Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103.

[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512.

[3] ГАРФ. Ф. 677 (Александр III). Оп. 1. Д. 608, 823; Ф. 1729 (Святополк-Мирские). Оп. 1. Д. 223, 241, 371, 982, 1157,1480, 1576, 1657, 1802; ОР РГБ. Ф. 169 (Милютины) К. 42. Д. 1; ОР РНБ. Ф. 531 (А.С. Норов). Д. 51; РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 945; Ф. 908 (П.А. Валуев). Оп. 1. Д. 271, 309; Ф. 954 (Кауфманы фон). Оп. 1. Д. 38, 52; Ф. 1574 (К.П. Победоносцев). Оп. 1. Д. 85; Ф. 1604 (И.Д. Делянов). Оп. 1. Д. 337, 758; НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1899, 1907; Письма Победоносцева к

Личная переписка, содержащая данную информацию в значительно меньшем объеме, интересна, в первую очередь, для более полного понимания общего уровня интеллектуальной культуры, мировоззрения и общественно-политической позиции конкретных персоналий[1]. Государственные и общественные деятели в своей личной переписке были намного более откровенны, не ограничиваясь жесткими цензурными рамками, которые они вынуждены были учитывать при публикации своих сочинений. Личные письма позволяют выявить многочисленные неформальные каналы связи, механизмы влияния и источники информации, существовавшие в общественных и государственных кругах. Так, например, представления о воззрениях, связях и общественной деятельности М.Н. Каткова существенно дополняются хранящимися в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки материалами его обширного фонда, значительную часть которого составляет переписка с различными государственными и общественными деятелями, в ходе которой редактор «Московских ведомостей» и его корреспонденты высказывались по различным актуальным для своего времени вопросам[2].

В наиболее полном объеме воззрения общественных деятелей определенной направленности проявляются в полемике с оппонентами, которая может осуществляться как в публичном пространстве, на страницах периодических изданий, так и в личной переписке. Во втором случае степень репрезентативности писем как источника во многом зависела от характера отношений автора со своими корреспондентами, общественного положения и

Александру III. Т. I–II. М., Новая Москва, 1926; Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу 1869–1878 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

[1] ГАРФ. Ф. 681 (Алексей Александрович, Великий князь). Оп. 1. Д. 30; Ф. 641 (Мария Александровна, Императрица). Оп. 1. Д. 115; Ф. 730 (Н.П. Игнатьев). Оп. 1. Д. 1825; Ф. 1099 (Т. И. Филиппов). Оп. 1. Д. 1884; ОР РГБ. Ф. 308 (Ф.И. Тютчев). К. 1. Д. 10; Ф. 126 (Киреевы и Новиковы). К. 8479. Д.10; ОР РНБ. Ф. 377 (И.П. Корнилов). Ед. хр. 11, 360, 579; Ф. 629 (В.Ф. Ратч). Ед. хр. 247; РГАЛИ. Ф. 345 (Новикова О.А.) Оп. 1. Ед. хр. 746; Переписка И.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина (1848–1876). СПб.: Пушкинский Дом, 2016; Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1888; Достоевский Ф.М. Письма. Т. 2. 1867–1871. М.-Л.: Госиздат, 1930.

[2] ОР РГБ. Ф. 120 (М.Н. Катков). К. 2, 7, 20, 21, 24, 36, 47, 49.

интеллектуального уровня последних, а также от общей цели проводимой переписки. Отстаивая свои взгляды перед оппонентами, отводя и парируя их аргументы, мыслитель в наибольшей степени раскрывает себя и свои воззрения, выходя за рамки сугубо теоретических построений и их последовательного, логически выверенного изложения, характерных для научно-публицистических трудов. Так, например, составить более полное представление о взглядах Ю.Ф. Самарина на место и роль национального начала в имперском государстве, а также по его «излюбленной» теме, связанной с ослаблением немецкого засилья в Прибалтике позволяет его переписка с баронессой Э.Ф. фон Раден, придерживавшейся твердых сословных убеждений и выступавшей за сохранение привилегий остзейских немцев[1].

Чрезвычайно высоким репрезентативным потенциалом в контексте изучаемой проблематики обладают письма различных лиц и выдержки из них, собранные в фонде III Отделения Императорской канцелярии в результате перлюстрации частной корреспонденции, систематически проводимой сотрудниками тайной полиции. Негласный досмотр переписки, являвшийся, наряду с агентурными сведениями и результатами гласного надзора, главным источником сведений правительственных органов о настроениях в обществе, циркулировавших в нем толках и слухах, позволял вычленить из общего потока информации, содержавшейся в письмах различных корреспондентов, наиболее значимые сведения, касавшиеся различных актуальных и злободневных вопросов, волновавших общество, полноценное обсуждение которых в публичной сфере было невозможно, либо существенно ограничено цензурными рамками. В рамках рассматриваемой темы особый интерес представляют письма, в которых затрагивались сюжеты, связанные с общественно-политической обстановкой с Северо-Западном крае и Прибалтийских губерниях, проводимой там

[1] Переписка Ю.Ф. Самарина с баронессою Э.Ф. Раден. 1861–1876 г. М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1893.; Я любил вас любовью брата...: переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Раден (1861-1876). СПб.: Русская мысль, 2014.

правительственной политикой, отношением к ней местного населения и русского общества, анализ которых позволяет составить представление как об общественных настроениях в регионе, так и о формах восприятия связанных с ним вопросов в центральнорусских общественных кругах[1].

Значительное число писем, многие из которых носили анонимный характер, содержало не только рефлексию в отношении наблюдаемых в регионе явлений, но и конкретные мнения и предложения в отношении проводимой в крае политики, мер по укреплению русских государственных начал, поиск более эффективных форм интеграции региона, критику или поддержку проводимых в крае правительственных мер. Особое звучание данные сюжеты приобретали в письмах, адресованных лицам, возглавлявшим крупные региональные или центральные издания, либо имевшим к ним доступ, формируя информационный фон, необходимый для публичного озвучивания данных вопросов в периодике. Анализ содержащихся в такого рода письмах предложений и проектов позволяет отнести их авторов к сторонникам того или иного направления общественной мысли и проследить ситуативное преломление общих стратегических доктрин (например, «обрусения») в локальном региональном измерении.

Наряду с множеством безвестных корреспондентов, среди материалов данного фонда, использованных в настоящем исследовании, встречаются письма известных общественных деятелей консервативной направленности – М.Н. Каткова, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, П.М. Леонтьева, Д.И. Иловайского, Н.П. Гилярова – Платонова, Т.И. Филиппова, В.П. Мещерского, Е.В. Чешихина, изучение которых позволяет существенно дополнить представления об их воззрениях в отношении северо-западных

[1] ГАРФ. Ф. 109. с/а. Оп. 1. Д. 2222; Оп. 2. Д. 356, 357, 360, 368, 432, 433, 434, 460, 635, 637, 639, 646, 647, 653, 655, 667, 668, 700, 701, 702, 703, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 734, 738, 740, 741, 744, 754, 755, 758а; Оп. 3а. Д. 109, 122,127, 128, 270, 1001, 1009, 1041, 1255, 1260, 1268, 1271, 1272, 1280а, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1287, 1288; Оп. 36 (1 экспедиция 1861 г.). Д. 303; Оп. 38. (1 экспедиция 1863 г.). Д. 23; Оп. 39. (1 экспедиция 1864 г.). Д. 82; Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103; Оп. 223. Д. 34.

окраин России, а через их призму и общую картину их общественно-интеллектуальной деятельности.

Эпистолярные материалы, таким образом, составляют значительную часть национально-консервативного дискурса, посвященного различным сюжетам, связанным с северо-западными окраинами, среди которых значительное место занимают размышления об особенностях региона, его значении для России, оценочные характеристики правительственной политики в его отношении, а также собственные представления о желательном характере ее направленности и реализации.

Мемуары и дневники общественных и государственных деятелей различного уровня, как непосредственно связанных с реализацией политики в отношении северо-западных окраин и ее публичным обсуждением, так и являвшихся сторонними наблюдателями, также обладают существенным информационным потенциалом в контексте рассматриваемых в настоящем исследовании проблем. Содержащиеся в них сведения не только предоставляют информацию о ситуации в регионе в рассматриваемый период, но и позволяют получить представления об отношении различных общественных и административных кругов к связанным с ним проблемам[1]. Так, например, значительный интерес для исследования представляет до настоящего времени полностью не опубликованный дневник А.А. Киреева, материалы которого использовались в работе, где не только дается точная характеристика происходивших в стране событий, но и присутствуют яркие оценки видных государственных и общественных деятелей. Также данный

[1] Дневник Александра III // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 300; А. А. Киреев. Дневник // ОР РГБ. Ф. 126. Д. 1, 9. Т. 1; Воспоминания А. Н. Куломзина «Пережитое». Т. I. Ч. 4 // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 188; Воспоминания В.В. фон Валя. «Вильна» // РГИА. Ф. 916. Оп. 1. Д. 13; Сан-Стефано. Записки графа Н.П. Игнатьева с примечаниями А.А. Башмакова и К.А. Губастова. Петроград: Тип. Т-ва А.С. Суворова – «Новое время», 1916; Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1878 – 1883). М.-Л.: Госиздат, 1927; Воспоминания Льва Тихомирова. М.-Л.: Госиздат, 1927; Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896: Воспоминания. М.: Новости, 1991; Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879. СПб.: Нестор-История, 2005; Березин Н.И. Восемь лет в Северо-Западном крае. Воспоминания бывшего мирового посредника // Русский вестник. 1896. № 1. С. 139–168; Мосолов А.Н. Виленские очерки, 1863 – 1865. (Муравьевское время). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1898.

документ позволяет проследить эволюцию взглядов и отношений ко многим явлениям окружающей действительности самого автора.

Несмотря на то, что наиболее видные представители национально-консервативного направления не оставили после себя значимых мемуаров и дневников, в которых излагалась бы их позиция по проблеме интеграции северо-западных окраин России, выражая свои взгляды по данному вопросу преимущественно в процессе обширной переписки, либо в рамках своего публицистического творчества, их воззрения и общественная деятельность нашли свое отражение в воспоминаниях многих современников, значительная часть которых в настоящее время опубликована, уделявших немаловажное значение их роли в изменении правительственного курса в отношении северо-западных окраинных регионов России[1].

Значительный интерес представляют характеристики воззрений и общественной активности представителей «русского направления», содержащиеся в дневниках и воспоминаниях их идейных оппонентов, таких как П.А. Валуев, В.П. Мещерский, К.Ф. Головин, значение которых, помимо содержащихся в них ценных фактических сведений, обусловлено тем, что они позволяют взглянуть на отечественный национально-консервативный дискурс со стороны противостоящего ему сословно-консервативного лагеря[2].

Использованные в исследовании источники различной видовой принадлежности носят комплексный и репрезентативный характер. Для определения степени достоверности содержавшейся в них информации применялись общепринятые приемы критики, а также методы сравнения различных по характеру происхождения, содержанию и направленности источников. Опора на всю совокупность выявленных в них сведений

---

[1] Воспоминания о М. Н. Каткове. М.: Институт русской цивилизации, 2014; Иван Аксаков в воспоминаниях современников. М.: Институт русской цивилизации, 2014; Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. М.: Институт русской цивилизации, 2016; Телохранитель России: А.С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж: Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2001.

[2] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 1–2. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961; Мещерский В.П. Мои воспоминания. М.: Захаров, 2003; Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. I–II. СПб.: Типо-литография Т-ва «Свет», 1910.

представляется необходимым условием для глубокого и всестороннего анализа осмысления проблем, связанных с северо-западными окраинами Российской империи в отечественном национально-консервативном дискурсе.

Теоретическая значимость исследования заключается в приращении теоретического знания об отечественном национально-консервативном дискурсе и в возможности использования применяемых подходов для изучения других направлений русской общественной мысли XIX – начала XX века, а также для анализа всей совокупности интеллектуальных процессов, происходивших в России в данное время и более поздние исторические периоды. Выводы, сделанные в диссертации, представляют значимость для понимания механизмов властно-общественной коммуникации и использования богатого теоретического наследия отечественного национально-консервативного синтеза в процессе выработки политического курса, направленного на интеграцию окраинных территорий в единое государственное пространство России и укрепление ее территориальной целостности. На их основании могут быть разработаны рекомендации по выработке концептуальных основ политики в отношении интегрируемых в состав России новых регионов и общих траекторий идеологического и информационного противодействия искажению их исторического прошлого.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты могут быть востребованы про проведении научно-исследовательской деятельности, направленной на дальнейшее изучение, как отечественного консерватизма, так и проблематики, связанной с политикой российских имперских властей в отношении национальных окраин и ее осмысления в общественных кругах государственного центра и регионов. Материалы исследования, расширяющие представления об идейном наполнении русского консерватизма второй половины XIX – начала XX в. и его взаимодействии с верховной властью в контексте обсуждения

проблематики, связанной с северо-западными окраинами, могут быть использованы в педагогической деятельности при подготовке и чтении вузовских лекционных курсов, спецкурсов и спецсеминаров, а также при написании монографий, научных статей, учебников и учебных пособий по истории России, русской общественной мысли, а также истории российских северо-западных окраин и политических субъектов, сформировавшихся на постимперском пространстве.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Проблематика и выводы диссертации соответствуют шифру научной специальности 5.6.1 – Отечественная история, и, в частности, следующим областям исследования: п. 4 (История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных институтов России и ее регионов), п. 9 (История общественной мысли. Интеллектуальная история. Историческая имагология. История образования и образовательных институтов), п. 10 (Национальная политика Российского государства и ее реализация. История национальных отношений), п. 17 (Личность в российской истории, ее персоналии. История российских элит), п. 24 (История государственной и общественной идеологии, общественных настроений и общественного мнения).

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертации представлены автором в 50 опубликованных научных работах, в том числе в монографии «"Модернизировать, сохраняя…" Консервативное направление русской общественной мысли второй половины XIX–начала XX в.» (Ростов-на-Дону, 2018); коллективной монографии «Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли» (Ростов-на-Дону, 2020), в 15 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, а также в 10 статьях, включенных в международные базы цитирования (WoS/Scopus).

Положения диссертационного исследования были апробированы в докладах на 35 международных, всероссийских и межвузовских конференциях, в том числе: VII международной научной конференции «Гришаевские чтения. Переселенческое общество во времени и пространстве». (г. Красноярск, 7–8 ноября 2024 г.); всероссийской (с международным участием) научной конференции «Новое прошлое-6. Человек и общество переходных эпох» (г. Ростов-на-Дону, 27–28 сентября 2024 г.); всероссийской научно-практической конференции «Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и актуальные проблемы исторической науки. К 105-летию со дня рождения выдающегося российского ученого» (г. Ростов-на-Дону, 21–22 марта 2024 г.); всероссийской научной конференции «Новое прошлое-5. Империя и национализм в свете политической теологии» » (г. Ростов-на-Дону, 21–23 сентября 2023 г.); VI международной научной конференции «Гришаевские чтения. Реальные и воображаемые окраины в истории России, Сибири, Евразии». (г. Красноярск, 29–30 ноября 2023 г.); II Международной научно-практической конференции «Политические и социокультурные аспекты развития стран Запада, Востока и России в XVIII–XXI вв.» (г. Орел, 8–9 декабря 2023 г.); IX Международных чтениях по истории русской философии (г. Санкт-Петербург, 22–24 сентября 2022 г.); II Петербургском историческом форуме (г. Санкт-Петербург, 10–16 октября 2022 г.); международной конференции «Интеллектуалы и власть в конфликтах переломных эпох» (г. Москва, 3–5 октября 2022 г.); международной научно-практической конференции «Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России Империей» (г. Калининград, 4 июня 2021 г.); всероссийской научной конференции «Мифология российской модернизации» (г. Ростов-на-Дону, 19-20 октября 2021 г.); IV международной научно-практической конференции «"Долгий XIX век" в истории Беларуси и Восточной Европы (г. Минск, 4 декабря 2020 г.); международной научно-теоретической конференции «Пичетовские чтения-2019: университетская историческая

наука и историческое образование в Беларуси XX- начала XXI в.» (г. Минск, 23–24 октября 2019 г.); международной научной конференции «Соседей не выбирают: Восточная Европа как зона культурной конвергенции» (г. Ростов-на-Дону, 24–25 сентября 2018 г.) и др.

Результаты диссертационной работы нашли отражение в ходе реализации научно-исследовательских проектов, поддержанных Российским научным фондом – проект № 17-78-20117 «Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли» (исполнитель), проект № 22-28-01912 «"Мягкая сила" империи: неконфликтные формы и практики интеграции западных регионов России в 1881-1904 гг.» (руководитель).

Структура диссертации обусловлена спецификой объекта и предмета изучения, основными направлениями научного анализа и объемом поставленных исследовательских задач. Она состоит из введения, пяти глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА 1. ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ДИСКУРСА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в. И ОПЫТЫ ЕГО НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕННИЯ

1.1 Основные подходы к изучению русского консерватизма в отечественной и зарубежной историографии

Специфика объекта, предмета и ключевых проблем исследования обусловила выделение трех крупных историографических блоков, в рамках которых затрагивались различные стороны и аспекты исследуемой проблематики.

Первый и наиболее крупный из них включает в себя многочисленные исследования, посвященные консервативному направлению русской общественной мысли второй половины XIX – начала XX в., анализ которых позволяет составить общее представление об эволюции исследовательских подходов и основных направлениях изучения феномена русского консерватизма и составлявших его идейно-сюжетных узлов, в том числе и окраинной проблематики, занимавшей в воззрениях его представителей немаловажное место.

Второй блок составляют работы, освещавшие политику российских властей в отношении северо-западных окраин Российской империи, в контексте анализа которой затрагивалось влияние русской консервативной общественности на выстраиваемую траекторию имперского воздействия на регион, анализировались отстаиваемые ею методы его интеграции, а также отношение к проводимым в крае преобразованиям. Анализ данного историографического блока позволяет составить представление об оценках роли и значения русских консерваторов в разработке и реализации северо-западного сегмента окраинной политики имперских властей.

И, наконец, третий блок представлен непосредственными исследованиями идейного содержания и составных элементов

отечественного национально-консервативного дискурса, посвященного северо-западным окраинам России, их месту и значению в общей структуре Российской имперской государственности, а также путям и методам их интеграции.

Комплексное изучение обширного массива исследований различной целевой и сюжетной направленности, составляющих указанные историографические блоки, позволяет не только сформировать полное и всестороннее представление о рассматриваемом в настоящем исследовании аспекте отечественной национально-консервативной доктрины, но и понять ее мировоззренческие и идеологические основы, место в общем спектре русской общественной мысли рассматриваемого периода, а также степень и характер ее воздействия на политику имперских властей.

Приступая к анализу трех указанных уровней историографического поля обозначенной темы, следует отметить, что, не ставя знак равенства между субъективным восприятием обществом своего исторического прошлого и собственно научной историографией, тем не менее, нельзя не признать значительного влияния на последнюю исторической памяти, зачастую получавшей соответствующее политическое санкционирование, что вело к ее трансформации в историческую политику, оценивавшую события прошлого под определенным идеологическим и ситуативным углом. Данное влияние, как в отношении отечественного национально-консервативного дискурса, так и по вопросу поднимаемой им окраинно-имперской проблематики имело весьма значительный характер, придавая острополемическое политическое звучание научным исследованиям, проводившимся в данной области.

Историография русского консерватизма и анализ опытов его научного осмысления могут стать темой самостоятельного исследования. Специфика данного направления русской общественной мысли XIX – начала XX в., персональный состав его представителей, высокая степень их влияния на государственную власть и проводимую ею политику в отношении различных сфер жизни общества и регионов Российской империи – все это обусловило

высокую степень влияния политической конъюнктуры и общественно-политических настроений на изучение русского консерватизма. Начиная с 1990-х гг. наблюдается стремительное увеличение численности, как научных, так и разного рода научно-популярных публикаций, посвященных феномену отечественного консерватизма и различным аспектам его политической доктрины, что вело к необходимости анализа формирующегося историографического поля русского консерватизма. Первый широкий обзор отечественной и зарубежной литературы посвященной данному феномену был сделан В.Я. Гросулом в предисловии к монографии «Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика»[1]. Здесь была предпринята попытка общего анализа круга исследований, в которых в той или иной степени говорилось о консервативной политике и идеологии в России XIX – начала XX веков. Большое значение также имел выход первого фундаментального библиографического обзора отечественных исследований, посвященных истории русской консервативной мысли и его наиболее видным представителям[2]. Основные теоретико-методологические проблемы, связанные с изучением консервативного феномена на современном этапе, были раскрыты в статье В.В. Шелохаева, посвященной характеристике общего историографического поля российского либерализма и консерватизма[3]. Исследователь выявил наиболее актуальные аспекты изучения данной проблематики, к которым были отнесены необходимость прояснения мировоззренческих истоков русского консерватизма, разработки четкого понятийного аппарата и терминологии, изучения опыта либерально-консервативного синтеза и других аспектов отечественной консервативной доктрины.

---

[1] Гросул В.Я., Итенберг Б.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М.: РОССПЭН, 2000. С. 8–13.

[2] Беленький И.Л. Консерватизм в России XVIII – начала XX вв. (Библиографический обзор отечественных исследований и публикаций второй половины XX в.) // Россия и современный мир. 2001. № 4. С. 283–313; 2002. № 1. С. 253–272; № 2 С. 267–279; № 3. С. 226–242.

[3] Шелохаев В.В. Состояние современного историографического поля российского либерализма и консерватизма // Шелохаев В.В. На разные темы. М.: РОССПЭН, 2016. С. 407–416.

Важнейшие тенденции в изучении русского консерватизма в постсоветской историографии раскрыты в детальных обзорах А.Ю. Минакова, М.Д. Суслова, А.В. Репникова, в которых рассматриваются и анализируются основные направления и проблемы осмысления данного феномена, связанные, в том числе, с радикальной и зачастую некритической сменой акцентов при характеристике его важнейших представителей и идейных положений[1]. Проявлением возросшего интереса к данной проблематике, через призму которой рассматривались существенные изменения в развитии исторической науки в России, стал выход специального номера реферативного журнала «Russian studies in history», издаваемого в США, полностью посвященного обзору новейших достижений в области изучении русского консерватизма, представленных в статьях А.Ю. Миинакова, А.В. Репникова, И.А. Христофорова, И.В. Омеленчука, ранее опубликованных в российских изданиях[2].

Непрерывное расширение объема изданных трудов, посвященных истории русского консерватизма и различным аспектам консервативной философии и социально-политической теории, обуславливают необходимость продолжения и углубления его историографического анализа.

Научное осмысление российского консерватизма в своем развитии прошло несколько этапов, каждый из которых имел свои характерные особенности. Первый из них (конец XIX – начало XX веков) характеризуется постановкой основных вопросов и проблем, определением места консерватизма в общем спектре российской общественно-политической мысли, оценкой его влияния на общественно-политическое развитие России. Подлинно научный анализ феномена консерватизма на данном этапе был

---

[1] Минаков А.Ю. Русский консерватизм в современной историографии: новые подходы и тенденции изучения // Вопросы истории. 2005. № 6. С. 133–142; Суслов М.Д. Новейшая историография российского консерватизма, его исследователи, критики и апологетики // Ab Imperio. 2008. № 1. С. 269–270; Репников А.В. Современная историография российского консерватизма // Консерватизм и традиционализм на юге России. Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ. 2002. С. 5–28; Репников А.В. Русский консерватизм и современное мифотворчество: историографический аспект проблемы // Интеллигенция и мир. 2008. № 3. С. 27–45.

[2] Russian Studies in History. Vol. 48. No. 2.

крайне затруднен в силу вовлеченности исследователей в общественно-политическую жизнь страны, неотъемлемым элементом которой он являлся. Вследствие этого, анализ консерватизма неизбежно приобретал оценочно-полемическую форму, придавая позициям авторов, вне зависимости от их политической ориентации, публицистический характер. Характеристика консерватизма и его места в общественно-политической и духовной жизни России в той или иной степени присутствует в сочинениях многих отечественных дореволюционных философов, публицистов и богословов – Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкого, И.И. Восторгова, И.И. Фуделя, П.А. Флоренского, А.В. Амфитеатрова, Б.В. Никольского, Н.Н. Страхова и других, рассматривавших его не как исторический объект, а как определенную мировоззренческую систему, с которой они вступали в неизбежную полемику, подвергая критике, либо поддерживая те или иные консервативные постулаты с позиции своего индивидуального мировосприятия.

Примечательно то, что на данном этапе о консерватизме и его представителях писали преимущественно их политические оппоненты из либерального лагеря, вследствие чего в отечественной историографии сложился устойчивый критический подход к осмыслению консервативной доктрины, оцениваемой, в первую очередь, как препятствие на пути либеральной модернизации страны и ее следованию по пути западной цивилизации, который воспринимался как априорно прогрессивный.

Данную традицию заложил либеральный исследователь отечественной общественной мысли и общественных движений А.Н. Пыпин, являвшийся автором концептуального определения «официальная народность». В его рамках мыслитель объединял все консервативно-охранительные начала в жизни государства и общества, противостоящие, по его мнению, истинно прогрессивным тенденциям, в основе которых, согласно гегелевской концепции, всецело разделяемой отечественными либералами, должна была

лежать идея чистой народности[1]. Во многом благодаря Пыпину, а также поддержавшим его схему своим авторитетом литературоведу С.А. Венгерову и историку А.А. Корнилову устойчиво отрицательная маркировка консервативных явлений в различных областях жизни получила широкое распространение, устойчиво ассоциируясь с противодействием всяческому прогрессу, стремлением к сохранению архаичных, отживших форм социальной жизни, беззаконием и произволом верховной власти, религиозным обскурантизмом.

Как общественно-политическое течение, оказывавшее серьезное влияние на правительственную политику, консерватизм рассматривался в работах дореволюционных либеральных исследователей Л. Барриве, А.А. Корнилова, С.Г. Сватикова, Н.В. Щелгунова, посвященных общественному движению, происходившему в России в пореформенные десятилетия[2]. В этих исследованиях консерватизм оценивался преимущественно как антиреформационная тенденция, которая, воспользовавшись естественной реакцией общества на широкие преобразования 1860-х годов, стремилась воспрепятствовать движению страны по пути становления конституционно-правовых отношений.

Более глубокий анализ феномена консерватизма присутствует в работах Н.А. Бердяева, рассматривавшего его с философской и культурологической точки зрения[3]. В его статьях, посвященных данному вопросу, прослеживаются попытки объяснить возникновение консерватизма в России,

---

[1] Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов: исторические очерки. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906; Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб.: Академический проект, 2001.

[2] Барриве Л. Общественное движение в царствование Александра II. М.: Образование, 1911; Корнилов А.А. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России. СПб.: Общественная польза, 1905; Сватиков С.Г. Общественное движение в России (1700 – 1895 гг.). Ростов-на-Дону: Изд. Н. Парамонова «Донская речь», 1905; Шелгунов Н.В. Наша наука и консервативная печать // Шелгунов Н.В. Очерки русской жизни. СПб.: О.Н. Попова, 1895. С. 473–490.

[3] Бердяев Н.А. Судьба русского консерватизма // Sub specie acternitatis. Опыты философские, социальные и литературные. (1900 – 1906) СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1907. С. 227–236; Бердяев Н.А. О консерватизме // Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Институт русской цивилизации, 2012. С. 118–134.

осмыслить его место в модернизирующемся обществе, рассмотреть перспективы его дальнейшего развития, выявить его взаимодействие с верховной властью. Мыслитель разграничивал консерватизм как вечное религиозно-онтологическое начало человеческого общества и как политическое направление, в практической деятельности которого консервативные принципы могли существенно искажаться.

Следует отметить, что в работах, написанных в первые годы XX столетия, в отношении отечественного консерватизма Бердяев придерживался позиции, свойственной большинству русских либеральных мыслителей, подчеркивая, что практическое воплощение консервативной доктрины в России состояло лишь в том, чтобы «задержать ход жизни, погасить поставленные жизнью и мыслью проблемы», а сама консервативная доктрина, растворившаяся в государственной системе представляла собой «организованное, нигилистическое отрицание культуры, религии, философии…, всего духовного содержания человеческой жизни»[1]. Примечательно то, что истинной консервативной идеологией ученый считал отечественное славянофильство, стремившееся гармонично соединить в своем учении неограниченное властное начало и начало свободы. Основной проблемой русского консерватизма, препятствовавшей ему превратиться в полноценное, самостоятельное направление общественной мысли Бердяев считал его слияние с государственной «казенщиной», лишенной всяческой религиозно-философской составляющей, возлагавшей решение всех задач человеческой жизни исключительно на верховную власть, абсолютизируя ее значение в общественной жизни[2].

В последующем характеристики консервативного феномена, даваемые философом, стали более взвешенными, лишившись налета воинственной либеральной публицистичности. Мыслитель отказался от его трактовки исключительно как препятствия на пути общественного развития,

[1] Бердяев Н.А. Судьба русского консерватизма С. 233, 236.
[2] Там же. С. 231.

сосредотачиваясь на организующих и консолидирующих началах консерватизма, обеспечивающих преемственность между прошлым и будущим, без которой нормальное и здоровое существование и развитие общества представлялось невозможным[1]. Бердяев одним из первых попытался разграничить «отрицательный» консерватизм, задерживающий движение жизни, дискредитирующий консервативную идею, отталкивая от нее живые общественные силы, и консерватизм «истинный», который, сохраняя и защищая преемственность в общественном и духовном развитии, обладал мощной преображающей энергией[2]. Господство «ложного» консерватизма, направленного исключительно на противодействие всему новому, по мнению Бердяева, неизбежно порождает «истребляющий прошлое революционизм», вследствие чего мыслитель считал его столь же опасным и вредным для общественного развития, как и нигилизм. Характеризуя истинное консервативное начало общественной жизни, Бердяев писал: «Консервативное начало само по себе не противоположно развитию, оно только требует, чтобы развитие было органическим, чтобы будущее не истребляло прошедшего, а продолжало его развивать»[3]. Отделение консервативной доктрины общественного развития от односторонней охранительной реакции, проведенное Бердяевым, стало ключевым элементом в понимании сложного и многоуровневого характера консервативного феномена, который не мог быть описан посредством односторонних оценочных суждений.

Первый значительный шаг в типологизации консерватизма и определении его взаимосвязи с другими общественно-политическими направлениями был предпринят либерально-консервативным мыслителем и ученым А.Д. Градовским в его статье «Что такое консерватизм?»[4]. В этой работе впервые в отечественной науке была предпринята попытка

[1] Бердяев Н.А. О консерватизме. С. 119.
[2] Там же. С. 124–125.
[3] Там же. С. 133.
[4] Градовский А.Д. Что такое консерватизм? // Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. III. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. С. 313–323.

теоретического обоснования разделения таких понятий, как консерватизм и реакционизм, либерализм и прогрессизм. Автор статьи заявлял, что в основе консервативной доктрины общественного развития лежит определенное миросозерцание, совокупность мыслей, чувствований и стремлений, ключевым из которых является убеждение в годности основных начал данного общественного устройства, понимая при этом, что их сохранение во многом зависит от правильного видоизменения их форм, соответствующих условиям времени[1]. Главным теоретическим выводом А.Д. Градовского было признание того, что консерватизм и прогрессизм не являются несовместимыми противоположностями, совместно работая над реализацией двух условий нормального исторического роста – обновлением и капитализацией государственных и общественных институций.

Таким образом, уже в трудах дореволюционных мыслителей признавалась возможность существования консервативной модели модернизации, ориентированной на постепенное органическое обновление различных сфер жизни общества с сохранением исторической преемственности.

Дореволюционный период можно считать начальным этапом осмысления сущности отечественного консерватизма, характерной чертой которого является дискретность его восприятия, расщепляемого на оценки общественно-политических и религиозно-философских взглядов отдельных наиболее видных мыслителей и государственных деятелей, по тем или иным признакам относимым к консервативному лагерю. В этот период появляются специальные работы, посвященные таким крупным представителям отечественного консерватизма, как К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, прошедшие в своем развитии путь от формата некролога до попыток создания полномасштабных интеллектуальных биографий[2]. Данные

[1] Градовский А.Д. Что такое консерватизм? С. 316.

[2] К.П. Победоносцев: Pro et contra: Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб.: Издательство РХГИ, 1996; Любимов Н.А. М.Н. Катков и его историческая

работы также не были лишены оценочно-публицистического характера, зачастую представляя собой изложение субъективного отношения авторов к описываемой персоне и его роли в общественной жизни страны, причем либеральные оценки и характеристики со свойственной им резкой критичностью в отношении роли консервативных деятелей в общественном развитии России оказывали существенно большее влияние на отечественный общественно-политический дискурс, нежели мнения их апологетов, что способствовало формированию устойчивых стереотипов, перекочевавших в более позднюю литературу. Так, крайне негативный, совершенно «мертвящий» образ К.П. Победоносцева, созданный либеральным публицистом и литератором А.В. Амфитеатровым, назвавшим влиятельного государственного деятеля «нелепой галлюцинацией, диким кошмаром русской истории», стал нарицательным, заслонив собой все многообразие деятельности и неоднозначных воззрений «русского Торквемады»[1].

Не менее резкие оценки давались другой одиозной фигуре отечественного консерватизма – К.Н. Леонтьеву, названному Н.А. Бердяевым «философом реакционной романтики», в чьих взглядах многие современники усматривали лишь поверхностное «охранительство», выраженное в желании «подморозить» Россию, не достигая глубин его «реакционного мистицизма». Философско-религиозные опыты Леонтьева рассматривались и анализировались преимущественно философами и богословами, оставлявшими за пределами внимания значительную часть его государственно-политических воззрений, что не способствовало формированию целостного образа одной из наиболее интеллектуально

заслуга. СПб.: Общественная польза, 1889; Розанов В.В. Катков, как «государственный человек» // Розанов В.В. Литературные очерки. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899. С. 125–131; Неведенский С. Катков и его время. СПб.: Тип. А.С. Суворина. 1888; Сементковский Р.И. М.Н. Катков, его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих. 1892.; К.Н. Леонтьев: Pro et contra: личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг.: Антология: Кн. 1-2. СПб.: Издательство РХГИ, 1995.

[1] Амфитеатров А.В. Победоносцев // К.П. Победоносцев: Pro et contra. С. 316–349.

одиноких фигур отечественного консерватизма[1]. Большую часть отечественных интеллектуалов отталкивали откровенно выражаемые мыслителем призывы к сохранению строгой социальной иерархии, стремление к сильной государственности, жесткой дисциплине, резко критическое отношение к господствующим либеральным ценностям и демократизму, что снискало ему славу «изувера и мракобеса». Лишь разделявший многие из взглядов Леонтьева Л.А. Тихомиров стремился опровергнуть представление о нем как об однозначном реакционере, указывая на отстаиваемую им концепцию органического развития России[2].

Из всех дореволюционных русских консерваторов, в чьих воззрениях государственно-имперская проблематика занимала значительное место, безусловно, наибольшее внимание исследователей привлекала к себе фигура одного из величайших отечественных публицистов XIX столетия – Михаила Никифоровича Каткова. Осмысление исторической роли консервативного мыслителя и значения его творческого наследия началось буквально сразу после его смерти в рамках многочисленных некрологов, опубликованных практически всеми значимыми периодическими изданиями России.

Характерные для дореволюционного периода трактовки публицистической деятельности и политических взглядов Каткова, обусловленные общественно-политической направленностью их авторов, представлены в работах С. Неведенского (С.Г. Щегловитова)[3] и Р.И. Сементковского[4]. Первый из них, признавая «отсутствие цельности» во взглядах публициста, затруднявшее целостную характеристику его воззрений, «непоследовательность и невоздержанность его литературных мнений», снискавшие ему многочисленных недоброжелателей[5], стремился

---

[1] К.Н. Леонтьев: Pro et contra: личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг.: Антология: Кн. 1-2. СПб.: Издательство РХГИ, 1995.

[2] Тихомиров Л.А. Русские идеалы и К.Н. Леонтьев // К. Леонтьев, наш современник. СПб.: Изд. Чернышева. 1993. С. 377–391.

[3] Неведенский С. Катков и его время. СПб.: Тип. А.С. Суворина. 1888.

[4] Сементковский Р.И. М.Н. Катков, его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих. 1892.

[5] Неведенский С. Катков и его время. С. III–IV.

дать максимально объективную картину становления и развития публицистической деятельности Каткова, относясь к ее содержанию с сочувствием. Работа же Сементковского написана в традиционном русле либеральной трактовки творчества редактора «Московских ведомостей», анализ которого приводит автора к выводу о неподготовленности и неспособности публициста к «зрелому обсуждению государственных и общественных вопросов», вследствие чего «ни один серьезный исследователь русской государственной жизни не может искать для себя ни поучения, ни указания в статьях Каткова», поскольку последний, по мнению исследователя, никогда не руководствовался потребностями народной жизни, исходя в своих суждениях из абстрактных соображений «высшей политики»[1]. Сементковский, а за ним и многие другие отечественные исследователи, придерживавшиеся либеральных воззрений, указывали на «несамостоятельность» и «крайнюю переменчивость» воззрений Каткова, который, по их мнению, лишь воспроизводил мнения видных государственных деятелей, доводя их до крайностей вследствие своей неумеренности и оторванности от реалий жизни[2].

В отдельную группу следует выделить исследования, посвященные русскому славянофильству, за которым закреплялось первенство в постановке национального вопроса в России. В дореволюционный период были заложены основы полемики о политической направленности данного течения общественной мысли и природе консервативно-охранительных тенденций, имевших место в его доктрине и связываемых со славянофильским прочтением национальной проблематики. Либеральные исследователи указывали на неоднородность данного направления и на его постепенную эволюцию во второй половине XIX в. в сторону консервативного охранительства, выражавшуюся в возобладании «идеалов ретроградного национализма» над идеями прогресса и универсализма,

[1] Сементковский Р.И. М.Н. Катков, его жизнь и литературная деятельность. С. 5, 78–79.
[2] Там же. С. 79.

изначально присущими ему[1]. Данная тенденция, по мнению ученых, вела к тому, что в практической плоскости славянофилы превратились в адептов реакции, оправдывающих и обосновывающих политику жесткой русификации национальных окраин России[2]. На изначальную «реакционность» и полную политическую «благонамеренность» славянофильства указывал А.Н. Пыпин[3], полемизировавший с его представителями по поводу неправомерности свойственного им отрицания достижений «петербургского периода» в деле территориального объединения России[4]. Либеральный ученый отмечал постепенное сближение славянофильских изданий с позицией «Московских ведомостей» в национально-окраинных вопросах, подвергая критике характерную для позднего славянофильства национальную нетерпимость и «притязание на господство и обрусение»[5]. Пыпин, являвшийся последовательным противником славянофильского панславизма, подчеркивал, что он подразумевал националистическое и великодержавное по своей сущности стремление к первенству русского начала в славянском сообществе. Характеризуя взгляды И.С. Аксакова, как наиболее видного представителя пореформенного славянофильства, ученый указывал на принципиальную несовместимость его призывов к подъему национального самосознания русского народа с идеей всеславянского братства[6].

М.О. Гершензон полагал, что консерватизм был присущ идее славянофильства лишь в контексте отстаивания нравственной законности традиции от посягательств отвлеченного ума, однако современники (как разделявшие эту идею, так и возражавшие ей) существенно выхолостили ее,

---

[1] Милюков П.Н. Разложение славянофильства. Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев. М.: Типолит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1893; Трубецкой С.Н. Разочарованный славянофил // Трубецкой С.Н. Собрание сочинений. Т. I. Публицистические статьи. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1907. С. 178–179.
[2] Трубецкой С.Н. Разочарованный славянофил. С. 182.
[3] Пыпин А.Н. Из истории панславизма // Вестник Европы. 1893. № 9. С. 311–312.
[4] Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем (1878). СПб.: Колос, 1913. С. 109–112.
[5] Там же. С. 113.
[6] Пыпин А.Н. Из истории панславизма. С. 294–295.

актуализировав наиболее «осязательную и прикладную» ее часть – православно-националистическую и консервативную программу, что привело к ее превращению в идеологию, консолидировавшую вокруг себя наиболее реакционные силы страны[1]. Возникавшее в результате этого совпадение правительственной и славянофильской программ ученый считал «противоестественным» и обусловленным постепенным «выветриванием» из последней живого религиозного духа и ее приближением к «программе механического охранительства», проводимой властью[2].

Следует отметить, что позицию дореволюционных либеральных мыслителей, акцентировавших внимание на консервативно-охранительных тенденциях в пореформенном славянофильстве, в последующем подвергал сомнению Н.А. Бердяев, указывавший на оппозиционный характер славянофильской доктрины, противостоящей теории официальной народности и правительственному национализму, а также подчеркивавший ее стремление к освобождению русской народности от чуждого западного рационализма и государственного абсолютизма[3].

Таким образом, уже в дореволюционной историографии сложились все необходимые предпосылки для изучения концепций развития российской имперской государственности, предлагаемых различными направлениями русской консервативной мысли; были сделаны важные шаги в раскрытии сущности консерватизма, его типологизации. Однако для большинства дореволюционных работ, посвященных данной проблематике, характерна значительная степень публицистичности, субъективность, связанная со стремлением исследователей посредством характеристики консервативного направления выразить свои собственные общественные воззрения, что препятствовало объективному осмыслению роли и значения изучаемого явления.

---

[1] Гершензон М.О. Исторические записки (О русском обществе). М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. С. 139–140.
[2] Там же. С. 143–146.
[3] Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: Ymca – Press, 1955. С. 25.

Советская историография русского консерватизма может быть разделена на два неравных по своему значению периода, первый из которых охватывает временной отрезок с 1917 г. до конца 1960-х гг., а второй – с конца 1960-х по вторую половину 1980-х гг. Отечественными исследователями предлагаются и иные варианты периодизации основных этапов изучения отечественного консерватизма в данный период, критерии выделения которых, на наш взгляд, вызывают некоторые сомнения в силу того, что в них происходит смешение отечественных исследовательских тенденций и изучения рассматриваемой проблематики в трудах представителей русского зарубежья и иностранных исследователей[1].

Следует подчеркнуть, что объективное изучение консервативного направления общественной мысли дореволюционной России в советский период было чрезвычайно затруднено, вследствие господства в исторической науке марксистско-ленинской идеологии, которая отвергала любые нереволюционные варианты модернизации общества и рассматривала все политические течения, кроме революционного, как классово антагонистические, враждебные прогрессу. Вследствие этого, длительное время оценки русского консерватизма в советской исторической литературе строились в основном через негативные определения. Само понятие «консервативное направление общественной мысли» подменялось определениями «охранительство», «ретроградство», «реакция».

В первые послереволюционные десятилетия ключевые тезисы консервативной доктрины о нерушимости и позитивном значении самодержавного политического строя в России, необходимости укрепления цельности и государственного единства Российской империи представлялись настолько не актуальными и устаревшими, что их серьезный научный анализ казался излишним. Упоминания о консервативных государственных или общественных деятелях, рассматривавшихся в качестве адептов свергнутого

[1] Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М.: СигналЪ, 1999. С. 8–31.

«ненавистного царского строя», носили фрагментарный и, зачастую, памфлетный характер. Даже в наиболее взвешенных публикациях, выходивших в данный период, консерваторы изображались как «проповедники черной реакции», отстаивавшие совершенно омертвелые социально-политические и духовные формы бытия, как мракобесы и ретрограды, обуреваемые стяжательством и стремлением к власти, а также желанием любой ценой покончить с политикой буржуазного либерализма и его достижениями[1]. Консервативные доктрины и воззрения рубежа XIX – XX вв. стали отождествляться с идеологией европейского фашизма и национал-социализма в их стремлении бороться против всякого прогресса во имя «возврата к средневековью»[2]. Воззрения консерваторов на государственное устройство Российской империи, оценивавшиеся в соответствии с представлениями о последней как о «тюрьме народов», определялись как «великодержавный шовинизм», стремившийся к подавлению национальной самобытности «порабощенных» ею народов.

К безусловным достижениям данного периода, пожалуй, можно отнести лишь введение в научный оборот документальных материалов, связанных с деятельностью видных государственных и общественных деятелей консервативной направленности – К.П. Победоносцева[3], М.Н. Каткова[4], К.Н. Леонтьева[5], Л.А. Тихомирова[6], публикация которых, помимо сугубо

---

[1] Преображенский П.Ф. Александр Герцен и Константин Леонтьев (сравнительная морфология творчества) // Печать и революция. 1922. Кн. 2 (5). С. 86–88; Фирсов Н.Н. Победоносцев. Опыт характеристики по письмам // Былое. 1924. № 25. С. 247–270; Готье Ю.В. К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович. 1865–1881 // Сборник (Публичной Библиотеки им. В.И. Ленина). № 2. М.: Соцэкгиз, 1928. С. 107–134; Готье Ю.В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. // Исторические записки. 1938. Т. 2. С. 240–299.

[2] Мещеряков Н.Л. У истоков современной реакции // Литературное наследство. 1935. Т. 22–24. С. 432.

[3] К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1–2. Novum regnum. М.-Петроград: Гос. изд., 1923; Письма К.П. Победоносцева к Александру III. Т. 1–2. М.: Новая Москва,1924-1926; Письма К.П. Победоносцева к гр. Н.П.Игнатьеву // Былое. 1924. № 27-28. С. 50–89.

[4] Вождь реакции 60-80-х гг.: неизданные письма М.Н. Каткова Александру II и Александру III // Былое. 1917. № 4 (26). С. 140–169; М.Н. Катков и Александр Ш в 1886-1887 гг. // Красный архив. 1933. Т. 3 (58). С. 58–85.

[5] Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба // Литературное наследство.1935. Т. 22-24. С.433–485.

[6] Тихомиров Л.А. 25 лет назад. Из дневников Льва Тихомирова // Красный архив.1930. Т. 1-5. С. 20–69; Воспоминания Льва Тихомирова. Б.м. Гос. изд., 1927.

научного значения, призвана была разоблачать «реакционность и мракобесие» авторов приводимых материалов, что отражалось в сопутствующих публикациям статьях и очерках. Несмотря на оценочно-негативную интерпретацию, данные материалы имели большое научное значение, позволив в будущем продолжить изучение русского консерватизма как фактора, оказывавшего значительное влияние на политику самодержавия.

Более взвешенно консервативные тенденции в развитии русского общества и государства второй половины XIX века начинают исследоваться только в 1960 – 1970-е годы в контексте анализа внутренней политики самодержавия в пореформенный период, политического кризиса рубежа 1870 – 1880-х годов, подготовки и проведения «контрреформ» в исследованиях П.А. Зайончковского, Л.Г Захаровой, В.Г. Чернухи[1]. Большинство советских исследователей исходило из того, что консервативная доктрина являлась определяющим элементом в выработке политического курса правительства в 70-90-е годы XIX века. Поэтому консервативная концепция общественного развития зачастую раскрывалась через характеристику консервативно-охранительной политики правительства по отношению к отдельным сферам жизни общества – периодической печати, церкви, образованию[2]. Развивая тезисы В.И. Ленина, указывавшего на произошедший в 1860-е годы поворот прежде либеральных кругов русской общественности к реакции, «национализму, шовинизму и бешеному черносотенству»[3], советские исследователи стремились выявить причины и обстоятельства данной

---

[1] Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-80-х гг. М.: Издательство Московского университета, 1964; Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М.: Мысль, 1970; Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М.: Издательство Московского университета, 1968; Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х годов XIX в. Л.: Наука, 1978; Чернуха В.Г. Борьба в верхах по вопросам внутренней политики царизма (середина 70-х годов XIX в.) // Исторические записки. Т. 116. М.: Наука. 1988.

[2] Балуев Б.П. Политическая реакция 80-х гг. XIX в. и русская журналистика. М.: Издательство Московского университета, 1971; Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ. (II половина XIX – начало XX вв.). М.: Наука, 1969; Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М.: Наука, 1976.

[3] Ленин В.И. Карьера // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 22. М.: Издательство политической литературы, 1968. С. 44.

идейной эволюции, характерной для многих видных общественных деятелей пореформенного периода, хотя и происходившей в разное время[1].

Характерной особенностью советской историографии по данному вопросу было выявление классовой сущности консервативных кругов. Русские консерваторы признавались носителями и выразителями интересов дворянско-крепостнических кругов. Продворянские тенденции в консервативном направлении общественной мысли, практическая деятельность консерваторов по укреплению положения дворянского сословия затрагивались в работах советских исследователей пореформенного дворянства – А.П. Корелина и Ю.Б. Соловьёва[2].

В 1970-е годы изучение отечественного консерватизма фактически превращается в отдельное направление историографии русской общественной мысли, что выразилось в появлении крупных исследований, специально посвященных общественно-политической деятельности и воззрениям русских консерваторов, рассматривавшихся ранее исключительно в контексте более широкой проблематики – внутренней политики самодержавия, печати и публицистики, литературы и философии. Данное обстоятельство было обусловлено, с одной стороны, необходимостью «ответа» на ряд публикаций, посвященных русскому консерватизму, вышедших из под пера зарубежных «буржуазных» ученых, а с другой – стремлением изучить идеологические основы «исторически обреченного» самодержавного строя, доказав его идейную несостоятельность и бессилие перед лицом более прогрессивных концепций общественного развития.

Среди данных исследований, безусловно, наиболее значимым трудом являлась работа В.А. Твардовской, посвященная публицистической деятельности М.Н. Каткова, в которой впервые в отечественной историографии детально рассматривался механизм влияния консервативно-

[1] Китаев В.А. От фронды к охранительству. Из истории русской либеральной мысли 50-60-х годов XIX века. М.: Мысль, 1972; Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.: Издательство Московского университета, 1986.

[2] Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. М.: Наука, 1979; Соловьёв Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л.: Наука, 1973.

охранительной публицистики на политику самодержавной власти, которая в пореформенный период стала остро нуждаться в своем идеологическом обосновании и программе консервативного развития страны[1]. Данная работа замечательна не только своим новаторским подходом к изучению идеологии пореформенного самодержавия, стремившегося приспособиться к реалиям буржуазной эпохи, но и максимально взвешенной объективной оценкой творчества консервативного публициста, который, будучи защитником самодержавного строя, признаваемого автором «исторически несправедливым и обреченным на гибель», тем не менее, оценивался как «незаурядный, одаренный, весьма образованный и талантливый» деятель[2].

В поисках основного триггера эволюции политических взглядов М.Н. Каткова в консервативном направлении советская исследовательница указывала на решающее значение Польского восстания 1863 – 1864 гг., которое признавалось не только важнейшим фактором в становлении государственных воззрений публициста, но и ключевым обстоятельством, способствовавшим росту его политического влияния[3]. Она отмечала, что восстание сыграло определяющую роль в его становлении как «идеолога пореформенного абсолютизма», выработавшего программу сохранения империи, как важнейшего условия существования самодержавной власти в новых пореформенных социально-политических реалиях. Важнейшей идеологической составляющей данной программы, по мнению Твардовской, стал концепт «народности», который публицист наполнил новым смыслом и значением, трактуя его как сознательное признание самодержавия народной властью, защищавшей интересы широких народных масс и пользовавшейся их полной поддержкой[4].

Таким образом, в исследовании Твардовской впервые в отечественной историографии проблемы единства и целостности империи, а также поиск

---

[1] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М.: Наука, 1978.
[2] Там же. С. 270.
[3] Там же. С. 30–31.
[4] Там же. С. 72–73.

оптимальных путей ее «внутреннего слияния» были рассмотрены как значимый элемент русского консервативного дискурса, в котором Катков играл одну из наиболее видных ролей.

Помимо Каткова, значительное внимание советских исследователей в этот период стало уделяться фигуре К.Н. Леонтьева и его воззрениям, что было напрямую обусловлено ростом интереса к его творческому наследию на Западе. В полемической статье исследователя А.Л. Янова, представлявшей собой «ответ» на работы «реакционных» европейских исследователей, впервые за долгое время в тезисном виде был представлен весь комплекс воззрений русского консервативного мыслителя, рассматриваемый в сопоставлении с идеями отечественных славянофилов[1]. Основополагающим принципом русского консервативного мировоззрения признавался проявлявшийся в различных аспектах консервативной доктрины «деспотический стереотип», противостоящий прогрессу, который ассоциированному консерваторами с разложением и конечной гибелью всей человеческой цивилизации. В статье подчеркивалось, что в наиболее полном и завершенном виде данная идея была изложена в воззрениях Леонтьева, который стоял особнякам, как от пореформенных славянофилов, так и от консервативных «государственников-националистов», постепенно превращавшихся в простых апологетов российской великодержавности. По мнению советского исследователя, стержневой мыслью Леонтьева была идея «культурной независимости» от влияния «разлагавшейся» европейской цивилизации, противостоять которому можно было лишь путем единения неограниченной монархическо-имперской государственности с христианским мистицизмом и мессианством[2]. Примечательно, что Леонтьев как мыслитель и интеллектуал характеризовался Яновым весьма комплиментарно, как «блестящий полемист», «ярчайший из интеллектов, которым когда-либо располагало среди своих адептов русское

[1] Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев (Русская консервативная мысль XIX в. и ее интерпретаторы) // Вопросы философии. 1969. № 8. С. 97–106.
[2] Там же. С. 104.

самодержавие», не востребованный «бездарной системой», обреченной на историческое умирание, в чем состояла трагедия не только Леонтьева, но и русского консерватизма как интеллектуального течения в целом[1].

Данные работы являлась ярким проявлением роста научного интереса к представителям русского «охранительства», сопровождавшегося выходом ряда исследований, посвященных деятельности и воззрениям наиболее заметных представителей отечественного консерватизма, оказывавших значительное влияние на правительственный курс или предлагавших собственные концепции развития государства и общества, чаще всего характеризуемые, как «реакционные» и препятствовавшие прогрессивному развитию России[2]. Возникновение охранительной идеологии рассматривалось в контексте марксистской концепции общественного развития как одна из форм проявления феодально-аристократической реакции на буржуазное развитие общества, главным проявлением которого стали буржуазные реформы 1860 – 1870-х гг. Советские исследователи подчеркивали нацеленность русских консерваторов на восстановление дореформенных порядков, их противодействие реализации буржуазных преобразований, отмечая, что отстаиваемые ими концепции общественно-политического развития России носили «реакционный» характер, поскольку строились на необходимости сохранения в России самодержавного строя, обреченного, по их мнению, на неизбежный крах «естественным» ходом исторического развития страны.

---

[1] Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев. С. 105–106.

[2] Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Р.А. Фадеев, С.Ю. Витте и идеологические искания «охранителей» в 1881–1883 гг. // Исследования по социально-политической истории России. Л.: Наука, 1971. С. 299–327; Эвенчик С.П. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России // Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. 1969. № 309. С. 52–338; Гайденко П.П. Наперекор историческому прогрессу (К. Леонтьев – литературный критик) // Вопросы литературы. 1974. № 5. С. 159–205; Бочаров С.Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике (Константин Леонтьев о русской литературе) // Контекст: литературно-теоретические исследования. 1978. Т. 1977. С. 142–193; Гальцева Р.П., Роднянская И.Б. Раскол в консерваторах: Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев в споре об общественном идеале // Неоконсерватизм в странах Запада, Социально-культурные и философские аспекты. Ч. 2. М.: 1982. С. 227–295; Авдеева Л.Р. Проблема «Россия и Европа» в воззрениях Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 1982. № 3. С. 74–86.

Необходимо отметить, что в работах советских исследователей, затрагивавших различные аспекты проблемы российского консерватизма, был накоплен богатый фактический материал, освещающий практическую деятельность русских консерваторов, показана их роль в определении политического курса России во второй половине XIX века и выработки концепции национальной политики самодержавия. Однако объективному изучению консервативной доктрины и, в особенности, консервативной модели национально-окраинной политики препятствовали господствовавшие в исторической науке идеологические догматы и классовый подход. Вследствие этого, в советской историографии закрепился комплекс устойчивых стереотипов, согласно которым воззрения отечественных консерваторов по данному вопросу зачастую сводились к лозунгу «Россия для русских!» и характеризовались как крайнее проявление русского национализма и великодержавного шовинизма, настаивавшее на необходимости насильственной русификации окраин, насаждении православия, подавлении национальных и конфессиональных особенностей народов, входивших в состав Российской империи. Позиция консерваторов некритически соотносилась с правительственной политикой в данной области без выделения отдельных течений и точек зрения на данный вопрос, имевших место в консервативной среде.

Существенные изменения в изучении отечественного консерватизма и отдельных аспектов его доктрины произошли в постсоветский период в условиях глобальной смены исследовательской парадигмы и устранения сковывающих свободное развитие исторической науки идеологических догматов. Формированию методологии изучения отечественного консерватизма в новых общественно-политических условиях, определению круга актуальных проблем и направлений в осмыслении его места и роли в общем спектре русской общественной мысли способствовали проводимые различными журналами в первое постсоветское десятилетие междисциплинарные дискуссии и круглые столы, в которых, наряду с

историками, принимали участие специалисты в области философии, политологии, социологии, культурологии[1]. Их целью являлось определение консерватизма как феномена русской общественной жизни, выявление причин и особенностей его формирования в России, сопоставление отечественного консерватизма с его европейскими «аналогами» и выявление характерных для нашей страны особенностей, обусловленных спецификой политического и социального строя. Также на данном этапе предпринимались первые попытки классификации отечественной консервативной доктрины и выявления «базовых концептуальных постулатов» и основных признаков, позволявших отнести тех или иных государственных и общественных деятелей к консервативному лагерю.

В 1990 – 2000-е годы в отечественной историографии происходило фактически новое «открытие» русского консерватизма, связанное не только с изменением исследовательских оценок и акцентов в его изучении, но и с началом всестороннего анализа различных аспектов теоретического и общественно-политического наследия отечественных консерваторов, превращавшихся в полноценный объект изучения. Веяния эпохи, безусловно, не могли не повлиять на данный процесс, придав ему на начальном этапе значительную степень публицистичности, обусловленную актуальными общественными запросами и тесной связью проблематики с происходившими на постсоветском пространстве политическими процессами. Общественные и политические деятели, позиционировавшие себя как «новые консерваторы», стремились отыскать исторические корни отстаиваемых ими идей в дореволюционном прошлом, апеллирование к урокам которого становится общим местом общественно-политического дискурса данной эпохи. Данные явления обусловили резко возросший интерес к феномену консерватизма как политическому, социальному,

[1] Русский консерватизм (Круглый стол) // Социологические исследования. 1993. № 1. С. 43–61; Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (Материалы круглого стола) // Полис. Политические исследования. 1995. № 4. С. 33–59; Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол» // Отечественная история. 2001. № 3. С. 103–133.

философско-онтологическому явлению цивилизационного порядка, его зарождению, распространению в Европе и России. В публикациях А.А. Галкина, П.Ю. Рахшмира, К.С. Гаджиева, Л.М. Мираняна, В.Н. Гарбузова и других исследователей были предприняты первые попытки проанализировать сущность консервативного феномена и выделить ценностные основы консервативной идеологии, что осуществлялось, в том числе, посредством обращения к опыту его дореволюционного изучения и привлечения теоретических наработок зарубежных ученых – К. Манхейма, С. Хантингтона, Ю. Хабермаса, М. Оукшота, Р. Кирка, Г.-К. Кальтенбруннера, К. Росситера и других[1]. В данных работах впервые происходило сопоставление теоретических основ и практик отечественного и зарубежного консерватизма, позволившее выявить их родственность, обусловленную поисками ответов на вызовы современности, одним из которых был вызов национализма.

Первичное обобщение накопленного опыта изучения консерватизма как общемировой идеологии и политической практики было предпринято в работе А.М. Руткевича с характерным названием «Что такое консерватизм?»[2]. В ней излагалась система базовых принципов консервативной мысли, давалось консервативное понимание таких важнейших политических и социокультурных понятий как традиция, власть, свобода, нравственность, национализм. Характеризуя последнее определение, автор подчеркивал его либерально-демократическую природу, отмечая, что национальную окраску консерватизм приобрел лишь в конце XIX в. с целью защиты государственных интересов перед лицом внешних

[1] Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. Л.: Наука, 1987; Гаджиев К.С. Консерватизм: современные интерпретации. М.: ИНИОН, 1990; Гаджиев К.С. Современный консерватизм: опыт типологизации // Новая и новейшая история. 1991. № 1. С. 55–74; Мигранян Л.М. Переосмысливая консерватизм // Вопросы философии. 1990. № 2. С. 114–122; Современный консерватизм. М.: Наука, 1992; Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // Полис. 1995. № 4. С. 60–68; Шелохаев В.В. Социально-философские корни консерватизма // Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический семинар. Выпуск 2 (23). М.: Фонд развития политического центризма, 2000. С. 39–43.

[2] Руткевич А.М. Что такое консерватизм? М.–СПб.: Университетская книга, 1999.

вызовов. Идеология же национальной исключительности и крайний шовинизм, связываемый зачастую с консервативной доктриной, по мнению автора, не имеет с ней ничего общего, являясь наследием «национал-либерализма» XIX столетия[1]. Попытка рассмотрения консерватизма как особого мировоззренческого стиля и целостного социокультурного феномена, а также выявления его проявлений не только в политике, но и в других сферах жизни общества – философии, науке, искусстве предпринята в работе политолога Э.Ю. Абелинскаса, рассматривающего консерватизм как ответ на кризисные явления европейской модерности, в том числе и в национально-государственной сфере[2]. В исследованиях М.М. Федоровой консервативная идеология рассматривалась в контексте ее соотнесения с феноменом традиционализма и представлялась как явление, свойственное исключительно модернизирующемуся обществу, когда существующие традиции поставлены под угрозу[3].

Всестороннему изучению отечественного консерватизма способствовало возникновение соответствующих научных центров, в рамках деятельности которых проводились междисциплинарные исследования различных аспектов консервативной идеологии и практики. Новатором в данной области стал научный центр под руководством П.Ю. Рахшмира в Перми, в рамках которого были заложены важнейшие теоретические и методологические основы изучения консервативного феномена в России и мире. С 2008 г. при социологическом факультете МГУ действует Центр консервативных исследований, на регулярно проводящихся заседаниях и круглых столах которого консерватизм рассматривается как феномен русской общественной мысли с XIX века до современной эпохи и предпринимаются попытки разработки основных положений консервативной доктрины актуальной на сегодняшний день. Аналогичный исследовательский

[1] Руткевич А.М. Что такое консерватизм? С. 112–119.
[2] Абелинскас Э. Консерватизм как мировоззрение и политическая идеология. (Опыт обоснования). Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 1999.
[3] Федорова М. М.Традиционализм как антимодернизм // Полис. 1996. № 2. С. 143–160.

центр также в течение многих лет действовал на историческом факультете Воронежского государственного университета, сотрудники которого – Л.М. Искра, М.Д. Карпачев, А.Ю. Минаков, А.И. Филюшкин и другие внесли значительный вклад в изучение отечественной общественной мысли дореволюционного периода. Одним из наиболее значимых результатов научной деятельности центра стала реализация крупного исследовательского проекта, воплотившегося в издании сборника «Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее», в рамках которого были опубликованы исследования различной тематической направленности, объединенные стремлением выявить разнообразные проявления консервативной теории и практики в российской и зарубежной истории, проанализировать основные историографические подходы, а также определить наиболее актуальные и перспективные направления в его изучении[1].

Следует отметить, что имперская проблематика и вопросы национально-государственного устройства России в рамках консервативной доктрины в это период рассматривались в наименьшей степени, заметно уступая обсуждению его мировоззренческих и политических основ. Взаимосвязь консервативной идеологии и имперской модели российской государственности проводилась преимущественно в публицистической плоскости, в рамках злободневных на тот момент интеллектуальных поисков путей сбережения русской нации и русского национального пространства, в ходе которых начинается поиск идейных предтеч выдвигаемых тезисов о том, что «имперский порядок – единственно возможен для организации пространства исторической России»[2].

Наряду с общетеоретическими работами, посвященными консерватизму как общемировой политической идеологии и выявлению его отечественных особенностей, в первые постсоветские десятилетия начинается детальное научное изучение русского консерватизма XIX – начала XX в. как

[1] Консерватизм в России и мире: в 3 ч. / под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004.
[2] Савельев А.Н. Время русской нации. М.: Книжный мир, 2007. С. 49, 56–58.

политической идеологии и практики, главная направленность которого на первом этапе во многом состояла в «реабилитации» данного идейного течения, подвергаемого в недавнем прошлом острой идеологической критике. Указанная тенденция не могла не привести к возникновению определенной апологетики в отношении русских консервативных деятелей и отстаиваемой ими доктрины, в не меньшей степени препятствовавшей объективному научному анализу русского консерватизма, чем его недавняя критика.

Повышенный интерес к истории консервативной мысли дореволюционной России, обусловленный как научными, так и общественно-политическими факторами, нашел свое выражение в переиздании сочинений крупнейших представителей русской консервативной мысли, сопровождавшихся более или менее детальными сопроводительными статьями[1], а также в выходе множества научных и научно-популярных работ, посвященных персоналиям российских консерваторов, их вкладу в формирование политического курса российского самодержавия[2], различным локальным проявлениям консервативной теории и практики, политико-правовым аспектам русской консервативной идеологии, рассматриваемым в двух эпистемологических плоскостях: творческой деятельности ее представителей и в общеисторическом контексте[3]. Особое внимание

---

[1] Тихомиров Л.А. Критика демократии. М.: «Москва», 1997; Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М.: Москва, 1999; Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М.: ГУП «Облиздат», 1999; Катков М.Н. Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009; Катков М.Н. Собрание сочинений в шести томах. СПб.: Росток, 2011; Победоносцев К.П. Государство и церковь: в 2-х томах. М.: Институт русской цивилизации, 2011; Самарин Ю.Ф. Православие и народность. М.: Институт русской цивилизации, 2008; Аксаков И.С. Наше знамя – русская народность. М.: Институт русской цивилизации, 2016.

[2] Долгих А.Н. К вопросу о роли К.П. Победоносцева в определении внутриполитического курса российского самодержавия в середине 90-х гг. XIX века // Историки на перепутье: поворотные точки и альтернативные пути. Воронеж: Нестор, 1995; Ермашов Д.В., Пролубников А.В., Ширинянц А.А. Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века: Л.А. Тихомиров. М.: Книжный дом Университет, 1999; Черникова Н.В. Князь Владимир Петрович Мещерский (к портрету русского консерватора) // Отечественная история. 2001. № 4. С. 126–139; Лебедев С.В. Охранители истинно русских начал: идеалы, идеи и политика русских консерваторов второй половины XIX века. СПб.: Нестор, 2004.

[3] Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма. М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999; Тимошина Е.В. Политико-правовая идеология русского пореформенного

уделялось типологизации отечественного консерватизма и определению критериев, служащих основанием для выявления различных идейных оттенков и течений, существовавших в его структуре[1]. Следует отметить, что публицистический налет, характерный для изучения феномена консерватизма в первое постсоветское десятилетие, на данном этапе постепенно исчезает, уступая место его взвешенному объективному осмыслению. Среди различных сюжетов, связанных с возникновением и развитием консервативной модели развития России в XIX – XX вв. исследовательское внимание обращается на изучение консервативной концепцией российской имперской государственности и консервативного видения перспектив ее дальнейшего развития, который на данном этапе рассматривается преимущественно через призму характерной для консервативной мысли апологии самодержавия[2]. Консерватизму как собственно «имперской идеологии», осмысливавшей взаимодействие государственного центра и окраин и предлагавшей собственные способы их интеграции в имперское пространство, в рамках данных работ уделяется недостаточное внимание.

Большой интерес у исследователей русского консерватизма вызывает период правления Александра III, когда консервативная идеология стала фактически определять политический курс правительства. Характеристике роли консервативной идеологии в формировании политического курса самодержавия, изучению хода и перспектив консервативной модернизации России в 80-90-е годы XIX века, а также анализу участия отечественных консервативных мыслителей в выработке программы правительственной политики в отношении национальных окраин посвящено значительное

консерватизма: К.П. Победоносцев. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000; Начапкин М.Н. Русский консерватизм XIX – первой половины XX в. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2002.

[1] Начапкин М.Н. К вопросу о типологизации русского консерватизма XIX - начала XX в. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3. Общественные науки. 2008. № 57. Вып. 5. С. 89-100.

[2] Репников А.В. Консервативная концепция Российской государственности. М.: СигналЪ, 1999.

количество исследований[1]. Большинство ученых приходят к выводу о значительной степени влияния консервативной доктрины как на внутреннюю политику самодержавия в целом, так и, в особенности, на ее национально-окраинный сегмент, который в последние десятилетия XIX века существенно трансформировался в соответствии с представлениями наиболее видных отечественных консервативных деятелей.

Большое научное значение имеет обобщающая монография В.А. Гусева, в которой отечественный консерватизм рассматривается на всём протяжении его существования – от зарождения до современной стадии развития[2]. Давая подробную характеристику консервативной идеологии, автор стремится выделить как её общие принципы, так и специфические особенности, возникавшие на основе различных национальных традиций. К безусловным заслугам автора необходимо отнести глубокий анализ «предконсервативных» идей, существовавших в России в период средних веков, и оригинальную классификацию русской консервативной мысли второй половины XIX века.

Значительной вехой в изучении русского консерватизма стал выход первой обобщающей монографии, посвященной формированию и эволюции данного общественно-политического феномена с последней трети XVIII до начала XX века[3]. Авторским коллективом данного исследования, включавшим в себя видных специалистов по отечественной истории имперского периода и русской общественной мысли, была предпринята в целом успешная попытка рассмотрения не только основных этапов развития русского консерватизма, но и консервативных подходов к решению наиболее актуальных общественно-политических вопросов: модернизации социального строя страны, проблеме политического переустройства,

---

[1] Лукоянов И.В. Конец царствования Александра III: была ли альтернатива «контрреформам»? // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX – XX веков. СПб.: Издательство Алетейя. 1999. С. 247–258; Пронкин С.В. Идеология контрреформ // Власть и общество в истории России. М.: Б/и, 1999. С. 48–75; Боханов А.Н. Император Александр III. М.: Вече, 2007; Дронов И.Е. Император Александр III и его эпоха. М.: Академический проект, 2017.

[2] Гусев В.А. Русский консерватизм: основные направления и этапы развития. Тверь. 2001.

[3] Гросул В.Я., Итенберг Б.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

преобразованиям важнейших сфер жизни общества. К безусловно положительным сторонам работы следует отнести отказ от односторонне критического или апологетического подхода к характеристике взглядов и концепций отечественных консерваторов, свойственный подавляющему большинству исследований советского и многим работам постсоветского периодов, выявление и анализ идейного влияния европейского консерватизма на его российский аналог, отказ от характеристики русского консерватизма как единого и неизменного направления, рассмотрение влияния консервативных идей на формирование политического курса самодержавия, особенно заметного в период царствования Александра III. Одним из наиболее важных выводов исследования является утверждение В.А. Твардовской об отсутствии в русском консерватизме идейного единства, что было характерно для него даже в периоды его максимального общественного влияния, и наличии острых противоречий по ряду внутриполитических вопросов между консервативно настроенными представителями российской бюрократии и общественности. Данный вывод дает основание для пересмотра устойчивого представления об односторонней поддержке консерваторами правительственного курса. Также обращает на себя внимание тот факт, что воззрения представителей пореформенного славянофильства – И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова, отстаивавших свои взгляды на страницах газет «Русь» и «Русское дело» соответственно, характеризуются как консервативные, что существенно дополняет «круг» представителей данного направления[1].

При всей значимости и фундаментальности данного исследования, оно не лишено ряда недостатков, к которым можно отнести предпочтение, отдаваемое авторами раскрытию консервативной практики, в то время как мировоззренческие основы консервативной идеологии были затронуты в меньшей степени. Внеся значительный вклад в общее изучение русского консерватизма, авторы рассматриваемого исследования, к сожалению,

[1] Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. С. 251–252, 287.

совершенно недостаточное внимание уделили проблемам, связанным с государственным устройством Российской империи и унификацией национальных окраин, занимавшим значительное место в отечественной консервативной доктрине. Консервативный поворот в настроениях российской общественности, произошедший под влиянием Польского восстания 1863 – 1864 гг. и акцентировавший ее внимание на национально-окраинной проблематике, равно, как и острая полемика между сторонниками национально-государственного и сословно-аристократического направлений отечественной охранительной мысли остались практически за пределами авторского внимания. Национальному вопросу в работе посвящен лишь небольшой раздел, ограниченный хронологическими рамками царствования Александра III, причем рассматривается он исключительно в контексте характеристики религиозной политики правительства, сводящейся к насаждению православия и притеснению иноверцев. Консерваторы характеризуются в традиционно-критическом духе, как защитники лозунга «Россия для русских», разрушавшем имперское государственное единство, что, безусловно, неоправданно упрощает и во многом искажает историческую действительность[1]. Значительная часть консервативного дискурса, посвященная проблемам сохранения государственного единства России, характеру и разновидностям русификации национальных окраин, методов проведения унификации имперского пространства, авторами не затрагивалась, что дает основание сделать вывод о неразработанности указанных сюжетов на данном этапе изучения отечественной консервативной доктрины.

Следует отметить, что рассмотрение национально-государственного сегмента отечественной консервативной идеологии исключительно в контексте анализа религиозно-конфессиональных воззрений русских консерваторов, мотивируемое тем, что «религиозный и национальный вопрос были тесно связаны в консервативной концепции», свойственно многим

[1] Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. С. 333–340.

отечественным исследованиям, посвященным изучению русского консерватизма[1]. Не отрицая данного тезиса, необходимо заметить, что данный подход неоправданно сужает многообразие точек зрения и концепций, входивших в структуру отечественного консервативного дискурса, посвященного имперской проблематике, априорно задавая ему одностороннее религиозно ориентированное направление, в то время как многие консервативные мыслители, уделяя должное конфессиональной проблематике, не ставили ее во главу угла при формировании концепций развития российской имперской государственности и реализации политики в отношении окраинных регионов.

Вслед за данной попыткой первого комплексного исследования русского консерватизма стали выходить другие работы, посвященные различным аспектам отечественной консервативной доктрины. Дворянское крыло отечественного консерватизма и ее влияние на внутриполитическое развитие России в эпоху Великих реформ было детально изучено И.А. Христофоровым[2]. Зарождение отечественной консервативной доктрины и начальные этапы ее развития, связанные с постепенным перерождением ее из интеллектуального течения в государственную идеология нашло отражение в исследованиях А.Ю. Минакова[3]. Преемственность в развитии консервативных идей в дореволюционной, советской и постсоветской отечественной общественной мысли стремился проследить В.М. Камнев[4].

Высокий уровень интереса к изучению различных сторон отечественного консервативного феномена на всем протяжении 2000-х и 2010-х годов подтверждается значительным количеством защищенных в этот

---

[1] Репников А.В. Консервативные модели российской государственности. М.: РОССПЭН, 2014. С. 306.

[2] Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М.: Русское слово, 2002.

[3] Минаков А.Ю. Русский консерватизм первой четверти XIX в. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011; Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти XIX века. М.: Институт Русской Цивилизации, 2013.

[4] Камнев В.М. Хранители и пророки: религиозно-философское содержание русского консерватизма. СПб.: Наука, 2010.

период диссертаций, посвященных политическим и правовым аспектам консервативной идеологии в их приложении к проблемам развития российской государственности[1], соотношению традиционных начал и модернизационных концепций в воззрениях отечественных консерваторов[2], трансформации и преемственности классических консервативных принципов в современных условиях[3]. Обращает на себя внимание тот факт, что русская консервативная мысль становится объектом изучения не только историков, но и политологов, философов, юристов. Особого внимания заслуживают диссертационные исследования, посвященные национальным сюжетам в русской консервативной мысли и воззрениях отдельных ее представителей[4]. Среди диссертаций, посвященных персоналиям отечественных консерваторов, традиционно повышенное внимание привлекает к себе фигура ведущего консервативного интеллектуала и публициста второй половины XIX века – М.Н. Каткова, творческое наследие, система воззрений, общественно-политическая деятельность и связи которого на протяжении долгого времени продолжают оставаться объектом изучения и оживленных

---

[1] Начапкин М.Н. Эволюция российской государственности (XIX- начала XX века) и её отражение в консерватизме: автореф. дис. ... д-ра полит. наук. Екатеринбург, 2004; Котов А.Э. Проблема государственного строительства в русской консервативной печати 70-90-х гг. XIX века: дис. ... канд. ист. наук, СПб.: 2006; Попов Э.А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика: дис. ... д-ра филос. наук. Ростов н/Д, 2006; Карпов А.С. Правовая идеология русского консерватизма: II половина XIX - начало XX века: дис. ... д-ра юр. наук. М.: 2008; Асонов Н.В. Политические доктрины российского самодержавия: генезис, эволюция и современный дискурс: дис. ... д-ра полит. наук. М.: 2009; Комова Н.Б. Монархическая власть в государственно-правовых учениях России XVIII – XX вв. дис… д-ра юр. наук. Н. Новгород, 2012.

[2] Кишенкова О.В. Концепция общественной модернизации в политической доктрше российской консервативной мысли XIX - начала XX века: дис. ... канд. ист. наук. М.: 1996; Сергеев С.М. Идеология творческого традиционализма в русской обшествеиной мысли 80-90-х гг. XIX века: дис. ... канд. ист. наук. М.: 2002; Суслов М.Д. Российская консервативная утопия на рубеже XIX - XX веков: дис. ... канд. ист. наук. Пермь, 2003; Крот М.Н. Консервативный вариант модернизации России во второй половине XIX века: дис. ... канд. ист. наук. Ростов-на-Дону: 2004.

[3] Шестаков С.А. Консервативная политическая идеология в постсоветской России: дис. ... д-ра полит, наук. М., 2003; Блинов В.В. Политико-психологический анализ консервативных ценностей в современной России: дис. ... канд. полит, наук. М.: 2007.

[4] Кудрящев В.Н. Национальный вопрос в русской общественно-политической мысли второй половины XIX в. дис. ... докт. ист. наук. Томск, 2013; Аверьянов А.В. Национальный вопрос в доктрине и политической практике русского консерватизма в конце XIX – начале XX вв. дис. ... канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2007; Линькова Е.В. Национально-консервативная идея в творческом наследии Ф. И. Тютчева. дис. ... канд. ист. наук. М.: 2008.

дискуссий[1]. Значительное внимание диссертантов уделяется и другим видным общественным и государственным деятелям консервативной направленности, чьи образы в ходе их всестороннего исследования становятся более рельефными и многогранными[2].

Большое значение для формирования обобщенных представлений об отечественном консерватизме, персональном составе его представителей, философско-мировоззренческих основах данного направления общественной мысли, круге рассматриваемых им проблем, а также предлагаемых им моделях и путях общественно-политического развития России имеют энциклопедические и справочные издания соответствующей тематики. Первые опыты такого рода, выполненные в жанре биографики, были посвящены исключительно персоналиям отечественных государственных деятелей консервативной направленности, которые «открывались» широкому общественному вниманию путем анализа их практической деятельности и воззрений по наиболее актуальным общественно-политическим вопросам, проводимого в контексте изложения ключевых вех их жизненного пути[3]. Особенность данных работ состоит в том, что, наряду с раскрытием индивидуальности личностей консервативных деятелей, осуществляемым в соответствии с требованиями биографики путем их социологизации –

---

[1] Шипилов С.Н. Эволюция идеологии русского пореформенного консерватизма: этнокультурные и политические аспекты (по произведениям М.Н. Каткова). дис. ... канд. ист. наук. М.: 2009; Котов А.Э. Консервативная печать в общественно-политической жизни России 1860-х – 1890-х годов: М.Н. Катков и его окружение. дис…. д-ра ист. наук. СПб., 2016; Перевалова Е.В. Система консервативных ценностей в отечественной периодике: М. Н. Катков и его издания (вторая половина 1850-х – 1880-е гг.). автореф. дис. ... д-ра. фил. наук. Воронеж. 2023.

[2] Рясенцев К.В. Политический консерватизм М.П. Погодина: 1800–1875. дис. …. канд. полит. наук. М.: 2007; Милевский О.А. Л.А. Тихомиров: из истории формирования консервативной мысли в России в конце XIX – начале XX веков. дис. ... д-ра ист. наук. Томск: 2007; Дронов И.Е. Разработка консервативной концепции развития России в творчестве В.П. Мещерского (вторая половина XIX - начало XX вв.) дис. ... канд. ист. наук. М.: 2007; Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. дис. ... д-ра. ист. наук. М.: 2010; Бадалян Д.А. И.С. Аксаков и газета «Русь» в общественной жизни России. дис. ... канд. ист. наук. СПб.: 2010.

[3] Российские консерваторы. М.: Русский мир, 1997; Смолин М.Б. Очерки Имперского Пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX – первой половины XX века. М.: «Москва», 2000; Лукоянов И.В. Российские консерваторы (конец XVIII – начало XX вв.). СПб.: Нестор-История, 2003; Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005.

изучения их социокультурного опыта, обусловленного происхождением, характером деятельности и внешними историческими условиями[1], исследователи стремились сформировать комплекс общих идейно-теоретических критериев, позволяющих отнести ту или иную персону к «государственно-традиционалистскому, или консервативному направлению в общественной жизни России»[2]. Следует отметить, что указанные цели не были достигнуты в полном объеме, о чем свидетельствует, в частности, необъяснимое отсутствие среди представленных в подготовленной авторским коллективом ИРИ РАН под руководством А.Н. Боханова коллективной монографии государственных деятелей фигуры одного из «столпов» отечественного консерватизма К.П. Победоносцева.

Энциклопедические и справочные материалы, посвященные отечественному консерватизму, содержащие не только биографический, но и общетеоретический контент, стали появляться в 2000-е годы первоначально в структуре изданий, посвященных русской общественной мысли имперского периода в целом[3], а затем и в виде самостоятельной энциклопедии русского консерватизма[4]. Данное энциклопедическое издание, выход которого стал значимой вехой и отправной точкой для дальнейшего изучения русского консерватизма, представляет собой не только обширное собрание всесторонней информации о нем, но и полноценное исследование, в котором рассматривается происхождение и основные этапы эволюции отечественной консервативной доктрины, ее теоретико-методологические, политические и социокультурные основания, анализируемые в контексте общемировых и российских модернизационных процессов. Важным выводом, к которому приходят А.Ю. Минаков и А.В. Репников, выступившие в качестве авторов теоретической статьи, посвященной общим особенностям русского консерватизма, является утверждение о том, что отечественный

[1] Вахромеева О.Б. Биографика как метод исторического исследования. СПб.: Издательство СПбГУ, 2004. С. 10.
[2] Российские консерваторы. С. 5.
[3] Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005.
[4] Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2010.

консерватизм на всем протяжении своего существования не являлся единой универсальной идейной конструкцией, теоретические элементы которой можно было бы достаточно четко атрибутировать. При этом подчеркивается значительный реформационный потенциал данного общественно-политического течения, готового идти на компромисс с происходившими в стране модернизационными процессами и предлагавшего свой вариант «консервативной модернизации», суть которого состояла в совмещении традиционалистских установок с неизбежными инновациями[1].

Несмотря на огромное научное значение и многочисленные достоинства, которыми обладает данное справочное издание, оно не лишено существенных недостатков теоретико-методологического характера, не позволивших ее составителям ответить на чрезвычайно значимый вопрос о существовании в России консерватизма как идеологии[2]. Также к серьезным недостаткам данной энциклопедии можно отнести отсутствие в разделе, посвященном основным концептам, составлявшим идеологическое ядро российского консерватизма, статьи о национализме, который являлся одним из ключевых элементов отечественного консервативного дискурса.

Заметной и общественно значимой площадкой для публикации результатов исследований, а также для научных дискуссий, посвященных консерватизму, как особой универсальной модели мышления и различным его проявлениям в области отечественной философии, идеологии и политической практики, в настоящее время является альманах «Тетради по консерватизму», на страницах которого регулярно выходят материалы, содержащие новейшие достижения в области научного осмысления данного феномена. Разнообразие представленных в альманахе рубрик и широта тематического охвата позволяет данному изданию не только претендовать на комплексность в изучении отечественного и зарубежного консервативного дискурса, но и играть роль справочного издания, вследствие огромного

[1] Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия. С. 6–11.
[2] Китаев В.А. Большая история русского консерватизма: решения и проблемы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. История. 2012. № 4 (1). С. 285.

разнообразия содержащихся в нем материалов, связанным внутренним тематическим единством. В контексте рассматриваемой в настоящем исследовании проблематики особое значение имеют тематические выпуски альманаха, посвященные имперскому измерению отечественной консервативной доктрины, а также ее северо-западным окраинным регионам, являвшимся объектом осмысления русских консерваторов и практического приложения создаваемых ими концепций государственного строительства и разрабатываемых интегративных практик, направленных на реализацию отстаиваемой ими рациональной организации евразийского пространства и приобщения множества народностей к уникальному цивилизационному механизму, олицетворяемому русскими культурными началами[1].

Одним из наиболее крупных исследователей консервативного феномена русской общественной мысли в постсоветской историографии является А.В. Репников, чьи работы представляют собой попытку комплексного осмысления сущности и различных аспектов отечественной консервативной идеологии конца XIX – начала XX в.[2]. Одна из важнейших задач его исследований состоит в том, чтобы «очистить» русских консерваторов от многочисленных ярлыков и субъективных оценочных суждений, «нормализовав» их как идеологов и разработчиков одной из реальных моделей развития российской государственности, а не односторонних реакционеров и сторонников «контрреформ». Данная направленность позволяет отнести его работы к выделяемой некоторыми современными учеными «ревизионистской школе» исследований русского консерватизма[3].

В своих многочисленных монографиях и статьях, посвященных русскому консерватизму, Репников обосновывает существование особой консервативной концепции модернизации России, которая, по его мнению,

---

[1] Тетради по консерватизму. 2020. № 2; 2022. № 1, № 2; 2023. № 3, № 4.

[2] Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX – начало XX веков). М.: Готика, 2006; Репников А.В. Консервативные модели российской государственности. М.: РОССПЭН, 2014.

[3] Суслов М. Новейшая историография российского консерватизма: его исследователи, критики и апологеты // Ab Imperio, 2008. № 1. С. 266.

представляла собой наиболее оптимальный для страны «серединный путь» развития, учитывавший и «необходимость социально-политического реформирования, и ценность традиционных мировоззренческих установок»[1]. В работах ученого предпринята попытка дать всесторонний анализ консервативной доктрины начала XX века, включая её малоисследованные аспекты, такие как внешнеполитическая доктрина «евразийства», концепция построения сословно-корпоративного государства, социально-экономические воззрения, программа решения рабочего вопроса и ряда других. Несмотря на то, что автор рассматривает воззрения множества общественных деятелей, публицистов и политиков начала XX века, основу теоретических положений русского консерватизма, характеризуемых Репниковым, составляют тезисы работ К.Н. Леонтьева и Л.А. Тихомирова, чьи воззрения относятся к предшествующей эпохе развития русского консерватизма. Это отчасти косвенно указывает на тот факт, что консерваторы начала XX века не создали собственных теоретических положений, продолжая пользоваться в новых политических условиях интеллектуальным багажом своих более крупных и основательных предшественников.

В то же время, необходимо отметить то, что автор не стремится к апологетической оценке русского консерватизма, указывая на его слабые стороны, предопределившие в итоге его политический крах – отсутствие четкой национальной доктрины, слепое следование принципу неограниченности самодержавной власти, трактуемому как непреходящая религиозно-политическая константа, слабость социальной программы, что обусловило острый дефицит социальной поддержки.

Репников неоднократно подчеркивал тесную связь религиозного и национального вопросов в консервативной концепции развития России, что, видимо, и обусловило соединение данных проблемных блоков в рамках

[1] Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М.: Academia 2007. С. 7.

одной главы в ряде его исследований[1]. Сопоставляя национальное и имперское начало в отечественном консервативном мировоззрении, исследователь неоднократно подчеркивал приоритет последнего, являвшегося для русских консерваторов залогом сохранения государственного единства многонациональной Российской империи. Ученый подчеркивает, что консервативное понимание национальности не было напрямую связано с русской этнической однородностью, подразумевая более широкую культурную или конфессиональную ассоциацию, поскольку, по его мнению, этнический национализм принципиально противоречил самой сущности отечественного консерватизма, стремившегося к обоснованию и сохранению имперской формы государственности[2]. Исходя из этого, Репников, вслед за рядом других исследователей русского консерватизма, стремился развенчать устойчивый стереотип о поддержке его сторонниками девиза «Россия для русских», указывая не неприятие многими консервативными мыслителями проводимой имперскими властями политики русификации национальных окраин[3].

По мнению другого ведущего современного исследователя русской консервативной мысли А.Э. Котова, ключевым идейным противостоянием в отечественном консервативном дискурсе второй половины XIX в., посвященном государственно-имперской проблематике, являлась полемика между представителями национального и сословно-аристократического направлений русского консерватизма, которая, по мнению ученого, представляла собой «основной «разлом» русской политической культуры Нового, а возможно и Новейшего времени»[4]. Исследователь считает, что обе стороны данного противостояния являлись сторонниками укрепления и

---

[1] Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. С. 274–350; Репников А.В. Консервативные модели российской государственности. С. 289–354.
[2] Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России. С. 196, 224.
[3] Там же. С. 188–189; Репников А.В. Консервативные модели российской государственности. С. 309–311.
[4] Котов А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века. СПб.: Владимир Даль. 2019. С. 279; Котов А.Э. «Народность» и «сословность»: два полюса русского консерватизма // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 288–306.

дальнейшего развития российской имперской государственности, предлагая модели государственного строительства, отличавшиеся друг от друга лишь методами и формами их осуществления, а также социальной принадлежностью ключевых акторов реализации имперской политики.

Значимым явлением в изучении национального дискурса в отечественной общественной мысли является предпринятая В.Н. Кудряшовым попытка комплексного подхода к анализу различных концепций решения национального вопроса, предлагавшихся представителями различных направлений общественно-политической мысли[1]. Ученый пришел к выводу о том, что в российской общественной мысли второй половины XIX – начала XX в. сформировалось несколько альтернативных национальных проектов, представлявших собой сочетание интерпретаций заимствованных зарубежных теорий и самобытных интеллектуальных построений, исходивших из анализа российских особенностей и реалий. Многомерность русского национального дискурса, по мнению исследователя, обуславливалась различиями в определении маркеров этнической и национально-политической идентичности русского народа и его места в государстве, среди других народов империи. Характеризуя проекты национально-государственного устройства России, предлагаемые сторонниками различных общественных течений, ученый предпринял попытку выделения ключевого критерия определения его формата, состоящего, по его мнению, в этническом или политическом наполнении понятия русской нации, что определяло также отстаиваемые ими принципы национальной политики и системы межнациональных отношений[2].

---

[1] Кудряшов В.Н. Идея русской нации в общественно-политической мысли России второй половины XIX века // Сибирские исторические исследования. 2013. № 1. С. 58–66; Кудряшов В.Н. Концепт русской нации в общественно-политической мысли России второй половины XIX века. Томск: Издательство Томского университета, 2017.

[2] Кудряшов В.Н. Идея русской нации в общественно-политической мысли России второй половины XIX века. С. 63.

Изучение отечественной консервативной доктрины и входящей в ее структуру национально-государственной проблематики в настоящее время продолжает осуществляться через призму персональных историй и анализа общественной деятельности и воззрений конкретных исторических персоналий, характеристика идейных представлений которых позволяет отнести их к консервативному лагерю.

Из всех представителей отечественной консервативной мысли пореформенного периода наибольшее внимание современных исследователей привлекает к себе, безусловно, фигура М.Н. Каткова, который в настоящее время рассматривается уже не только (а порой, и не столько) как консервативный публицист, но как великий деятель русской интеллектуальной культуры, достойный включения в пантеон особо чтимых представителей «золотого века» России[1]. В многочисленных исследованиях, выходящих в последние годы, детально анализируются различные аспекты многогранного творчества консервативного публициста и мыслителя, изучается становление и эволюция его воззрений, связанных как с различными вопросами современной ему действительности, так и с общефилософскими проблемами, выявляются различные формы взаимодействия с верховной властью и степень его влияния на правительственный курс[2]. Редактор «Московских ведомостей» рассматривается как своеобразный «идейный учитель» и центр притяжения целого круга общественных деятелей – «катковцев», близких к нему в идейном отношении и в практической деятельности[3]. Анализ олицетворяемой и отстаиваемой ими «катковской идеологии», трактуемой

[1] Поляков Л. Слово к читателю // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 9.

[2] Санькова С.М. Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект. СПб.: Нестор, 2007; Санькова С.М. Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856). М.: АПК и ППРО, 2008; Попов Э.А., Велигонова И.В. Когда Слово повелевает Империей. М.: РИСИ, 2014; Котов А.Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17). С. 174–186.; Котов А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова: идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016; Лубков А.В. Михаил Катков: молодые годы. М.: МПГУ, 2018.

[3] Котов А.Э. Птенцы гнезда Каткова. СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2013.

А.Э. Котовым как «бюрократический национализм»[1], не только существенно дополняет образ и идейный облик видного русского публициста, но и позволяет составить более полное представление о русской публичной политической культуре второй половины XIX в. и атмосфере, в которой развивался отечественный консервативный дискурс.

Символической и значимой вехой в изучении творческого наследия М.Н. Каткова стал выход специального номера уже упомянутого альманаха «Тетради по консерватизму», приуроченного к двухсотлетию со дня рождения русского консервативного публициста[2]. В нем были представлены результаты исследований наиболее видных отечественных ученых, стремящихся отойти от полярных оценочных суждений в его отношении и раскрыть все стороны «аутентичного Каткова». Если в предшествующий период ученые акцентировали свое внимание на роли публициста в формировании концепции «контрреформ», его активном интеллектуальном противодействии либеральной и радикальной доктринам развития России, то в настоящее время фокус исследовательского внимания смещается в сторону анализа его вклада в становление идеологии русского национализма и отстаивание целостности российской имперской государственности перед лицом вызовов надвигавшейся эпохи модерна. Катков характеризуется как идеолог и выразитель имперского сознания[3], соединивший его с им же сформированной и теоретически обоснованной концепцией политического национализма, превращенной в цельную и последовательную идеологию, отстаиваемую посредством публичного слова, ключевые элементы которой были приняты на вооружение верховной властью[4].

Ряд исследователей рассматривали становление политических взглядов Каткова в общем контексте эволюции консервативного направления русской общественной мысли, для которого Январское восстание 1863 г. стало

[1] Котов А.Э. Птенцы гнезда Каткова. С. 25–26.
[2] Тетради по консерватизму. 2018. № 3.
[3] Лубков А.В. Михаил Катков: молодые годы. С. 237.
[4] Холмогоров Е.С. Национализм центростремительного движения. Политическая метафизика Михаила Каткова // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 155.

знаковой вехой, обусловившей формирование в отечественном консервативном дискурсе сюжетов, связанных с необходимостью сохранения и укрепления национально-государственного единства Российской империи. Видный современный исследователь отечественного консерватизма И.В. Лукоянов одним из первых отказался от характерной для советской историографии характеристики Каткова как «реакционера», заменив это определение термином «империалист». Ученый отмечает, что события 1863 г. не привели к кардинальному повороту в его политических взглядах, а лишь способствовали их более «четкому и жесткому» определению, вследствие чего его консервативно-охранительные предпочтения окончательно определились, а имперская идея, направленная против каких-либо национальных движений за целостность и неделимость российского государственного пространства стала одним из стержневых элементов воззрений публициста[1]. Воронежский исследователь Л.М. Искра также полагал, что выступление Каткова в период польского восстания было бы целесообразнее связывать не с изменением его политических ориентиров, а с актуализацией национально-государственной проблематики, активно обсуждаемой редактором «Московских ведомостей», выступившим на страже государственных интересов Российской империи[2].

Характеризуя М. Н. Каткова как первого русского политика нового типа, превратившего печать в инструмент политической борьбы, А.Э. Котов по характеру и значению политической деятельности русского консервативного публициста довольно смело сопоставляет его с В.И. Лениным, сходство с которым определяется сочетанием политического оппортунизма с фанатической одержимостью своим рожденным из немецкой философии теоретическим замыслом и своеобразным «культом» его личности,

[1] Лукоянов И.В. Российские консерваторы (конец XVIII - начало XX вв.). С. 27–28.
[2] Искра Л.М. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, истории. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1995. С. 41.

распространившемся среди следовавшего за ним поколения консервативных публицистов[1].

Повышенный научный интерес к личности и творчеству другого видного представителя русской общественной мысли – И.С. Аксакова, споры о принадлежности которого к консервативно-охранительному лагерю не умолкают по сей день, вызван чрезвычайно богатым творческим наследием мыслителя и значительным вкладом, внесенным им в осмысление национальной проблематики. Современные авторы постепенно отказываются от попыток точного определения его воззрений как либеральных или консервативных, осознавая несовершенство и ограниченность категорий европейской политической мысли при описании российских интеллектуальных явлений столь сложного масштаба[2]. Первостепенным объектом изучения становится осмысление Аксаковым русской народности как государствообразующего элемента и связанных с этим представлений о политическом и национально-государственном устройстве России[3]. В связи с этим заметно смещение исследовательского внимания на заключительный этап творчества публициста, традиционно связываемый со значительной трансформацией его взглядов в сторону консервативного охранительства и крайнего национализма[4].

---

[1] Котов А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века. С. 14; Котов А.Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17). С. 178.

[2] Бадалян Д.А., Руднев Д.В. Аксаковская газета «День» и цензура в 1863 – 1865 годах (к истории борьбы придворных партий) // Иван Аксаков и его наследие: сборник статей и материалов. СПб.: Российская национальная библиотека, 2024. С. 54.

[3] Тесля А.А. Иван Аксаков и его роль в истории русского национализма // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16). С. 196–204; Емельянов Е.П. Национальный вопрос в переписке И.С. Аксакова и Н.И. Костомарова // Научный диалог. 2013. № 6(18): История. Социология. Этнография. С. 21–29; Сосенков Ф.С. Проблемы территориальной целостности России и противодействия сепаратизму в политико-правовых воззрениях братьев Аксаковых // Вестник ВГАВТ. 2015. Вып. 42. С. 27–38; Нарежный А.И. И.С. Аксаков о «качественной силе» русского народа // Historia provinciae – журнал региональной истории. 2022. Т. 6. № 3. С. 755–795; Иван Аксаков и его наследие: сборник статей и материалов / составление и научная редакция: Д.А. Бадалян. СПб.: Российская национальная библиотека, 2024.

[4] Корякина М.А. «Поздний» И.С. Аксаков в отечественной историографии // Вестник Нижегородского университета им. И.И. Лобачевского. Серия История. 2006. Вып. 2 (6). С. 124–128; Бадалян Д.А. «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х – первой половины 1880-х гг. СПб.: Росток, 2016.

К значимым достижениям современной историографии можно отнести анализ «первого российского национального проекта», в разработке и концептуальном обосновании которого решающую роль сыграл И.С. Аксаков. Его главная заслуга, по мнению исследователей, состояла в «актуализации» славянофильского учения, его преобразовании в политическую программу и установлении связи характерных для него представлений о народности с этничностью, конфессиональностью и монархией[1]. Успешным опытом сочетания исчерпывающей интеллектуальной биографии мыслителя с широким очерком общественно-политической и интеллектуальной картины эпохи является монография А.А. Тесля, в которой значительное внимание уделено отстаиваемой Аксаковым национально-государственной концепции, а также его отношению к проблеме Западного края и связанному с ним польскому вопросу[2].

Русский консерватизм второй половины XIX – начала XX века исследовался и зарубежными авторами, рассматривавшими данный феномен в неразрывной связи с процессом общественной модернизации. Большое значение для изучения различных аспектов отечественной консервативной мысли имеют работы, посвященные консерватизму в целом, его основополагающим ценностям, генезису, важнейшим трансформациям, перспективам развития[3]. Главным достижением зарубежных исследователей стал всесторонний анализ феномена консерватизма, который, по их утверждению, первоначально существовал как «вневременная действительная система универсальных ценностей», являясь духовно-психологической основой человеческой цивилизации[4]. Большое внимание в их работах уделяется тому моменту, когда этот «универсальный консерватизм», как его характеризовал К. Манхейм, начинает теоретически

[1] Тесля А.А. Первый русский национализм... и другие. М.: Издательство «Европа», 2014. С. 87.
[2] Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова. СПб.: Владимир Даль, 2015.
[3] Манхейм К. Консервативная мысль // Социс. 1993. № 1. С. 126–138; Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: Прогресс, 1990; Оукшот М. Что значит быть консерватором // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 65–90.
[4] Kaltenbrunner G.-K. Der schwirige Konserwatismus // Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn. 1973. № 49. S. 25–39.

оформляться, переходя из латентного состояния в форму самостоятельной идеологической системы[1]. Рассмотрение консерватизма как общечеловеческого явления цивилизационного уровня, предпринятое зарубежными учеными, помогает понять пути складывания отечественной консервативной доктрины, ее место и роль в модернизирующемся обществе. Особого внимания заслуживают специальные исследования, посвященные русскому консерватизму XIX века.

Крупнейшим из западных ученых, занимавшихся данной проблематикой, является американский историк-русист Р. Пайпс, известный своими многочисленными исследованиями, посвященными истории и особенностям российской государственности. В своем докладе «Русский консерватизм во второй половине XIX века», сделанном на XIII международном конгрессе исторических наук в Москве, американский исследователь дал общую характеристику русской консервативной мысли и предложил всеобъемлющую классификацию, охватывавшую весь период ее многовекового существования. В качестве ее главного критерия выделялась последовательная смена различных социальных групп, чьи интересы в тот или иной период в наибольшей степени отстаивались консерваторами – духовенства, дворянства, интеллигенции[2]. Вторую половину XIX века автор считал временем преобладания «интеллигентского» консерватизма, что обусловило формирование в этот период теоретической основы данного направления мысли. Идейный кризис, переживаемый русским консерватизмом в конце XIX века, Р. Пайпс связывал с его вступлением в «бюрократическую» стадию, когда консервативная идеология была сведена к охранению существующего порядка и открытой реакции, не имевшей никаких перспектив развития и обреченной на поражение в борьбе за общественное влияние с другими идеологическими доктринами[3].

---

[1] Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
[2] Пайпс Р. Русский консерватизм во второй половине XIX века. М.: Наука, 1970.
[3] Там же.

По мнению Р. Пайпса, русские консерваторы, подобно их либеральным и революционно-демократическим оппонентам, в своих идеях и концепциях были не оригинальны, творчески перерабатывая и встраивая в отечественные реалии теоретические веяния Запада, в рамках культурной и интеллектуальной традиции которого они формировались как мыслители[1]. Выявляя факторы, способствовавшие широкому распространению консервативных настроений в российском обществе и активизации его интеллектуальной рефлексии, американский ученый придавал особое значение Польскому восстанию 1863 г., трактуемому как «европейская атака на Россию», которая не только обострила осознание русскими своих «национальных черт», но и способствовала внедрению в российский консервативный дискурс проблемы национализма и имперской целостности, придавая ему «все более отчетливый оборонительный характер»[2]. Представителей русского пореформенного славянофильства, Р. Пайпс также относил к консервативному лагерю, отмечая наличие ярко выраженных националистических элементов в их воззрениях, со временем все больше усиливавшихся[3].

Проблема консервативного варианта развития России затрагивалась в работе Э. Тадена, посвященной консервативному национализму[4]. Автор отмечал, что российское общество XIX века во многом сохраняло черты традиционного и, вследствие этого, из всех возможных вариантов развития наиболее приемлемым для него был именно консервативный путь. Консервативные воззрения русского дворянства затрагивались в исследовании Т. Эммонса, главной темой которого является участие дворян в отмене крепостного права[5]. Большое внимание зарубежные исследователи

---

[1] Thaden E. Review by: Richard Pipes. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia // Slavic Review. 1966. Vol. 25 No. 4. P. 696.
[2] Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики. Исследование политической культуры. М.: Новое издательство, 2008. С. 159.
[3] Там же. С. 164.
[4] Thaden E. Conservative nationalism in nineteenth century Russia. Seattle. 1964.
[5] Emmons T. The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861. London: Cambridge university press, 1968.

уделяли деятельности наиболее видных представителей русского консерватизма, отмечая не только их влияние на политическое развитие России, но и вклад в развитие общемировой консервативной мысли[1].

Роль вдохновителя и идейного лидера российского консервативного дискурса, посвященного имперской проблематике и вопросам русского политического национализма, большинство зарубежных исследователей также отводило М.Н. Каткову, чьи взгляды традиционно характеризовались как «реакционные». Как и их советские и российские коллеги, западные ученые указывали на значительное «закулисное» политическое влияние консервативного публициста, не только освещавшего политику российских властей в информационном пространстве, но и оказывавшем существенное влияние на ее формирование[2]. Исследователь русской культуры Д. Биллингтон, отмечал, что в решительном повороте, произошедшем во внутренней политике царизма со второй половины 1860-х годов от либеральных преобразований к политике официального национализма, значительная заслуга принадлежит редактору «Московских ведомостей», характеризуемому американским ученым как главный теоретик «реакционного панславизма», «воинствующего национализма» и «великодержавного шовинизма»[3].

При этом, следует отметить, что ряд зарубежных исследователей русской общественной мысли отказывали М.Н. Каткову в праве называться консервативным мыслителем, рассматривая его лишь как твердого и влиятельного «политического деятеля», талантливого и одаренного публициста, сторонника традиционного государственного национализма,

---

[1] Byrns R.F. Pobedonostsev: His Life and Thought. Bloomington and London: Indiana University Press, 1968.

[2] Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики. С. 160.; Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich, 1855-1875. Beitrage zur Geschichte Osteuropas,.Vol. 31. Köln, Weimar, Wein: Böhlau, 2000 S. 255–261; Валицкий А. История русской мысли: От Просвещения до марксизма. М.: Канон+, 2013. С. 313.

[3] Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. М.: Рудомино, 2001. С. 467.

опиравшегося на силу[1]. Основанием для такой характеристики служил «журнализм» катковских взглядов, некоторая непоследовательность и противоречивость отстаиваемых им принципов, а также недостаток тщательно разработанного и систематически изложенного консервативного мировоззрения[2].

Зарубежные исследователи указывали на существенные расхождения взглядов Каткова с позицией национально-патриотических мыслителей славянофильской направленности – И.С. Аксакова и Н.Я. Данилевского, отстаивавших идеи панславизма и «внутренней русской нации», приближавшиеся к этническому национализму и не имевшие широкой общественной и властной поддержки[3].

По мнению немецкого историка А. Реннера, концептуальные основы российской национальной политики второй половины XIX в., важнейшим элементом которой являлась русификация западных окраин империи, были разработаны не имперской администрацией, а патриотически настроенной русской общественностью, наиболее видное место среди которой занимал М.Н. Катков[4]. Исследователь считал, что отстаиваемая консервативным публицистом идея «народности» как основы государственного единства, носила примордиалистский характер, основываясь, в первую очередь, на общности языка, культурных ценностей, исторического происхождения и понятий[5]. А. Реннер отмечал наличие существенных сходств между проанализированной им концепцией «цельного государства» Каткова и моделью «политического национализма» современных ему европейских стран, предполагавшей объединение вокруг государственной нации

---

[1] Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века). М.: Русский путь, 2012. С. 224.

[2] Масарик Т.Г. Россия и Европа: Эссе о духовных течениях России. Т. II. Кн. 2. Ч. 2–5; Кн. 3. Ч. 1. СПб.: Издательство РХГИ, 2004. С. 235.

[3] Morrison J.D. Katkov and Panslavism // Slavonic and East European Review. 1968. Vol. 46, No. 107. P. 422–441; McReynolds L. The News under Russia's Old Regime: The Development of MassCirculation Press. Princeton: Princeton University Press, 1991.

[4] Renner A. Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the 'Invention' of National Politics // Slavonic and East European Review. 2003. Vol. 81. No. 4. P. 661.

[5] Ibid. P. 667.

разнообразных в этническом и конфессиональном отношении сообществ, скрепляемых политической лояльностью и единством государственного языка, выступающего в роли ключевого маркера гомогенезации населения страны[1]. Главная историческая заслуга Каткова, который, по словам немецкого ученого, «не был политическим деятелем и никогда не причислялся к классическим представителям русской национальной культуры», состояла в том, что он своей публицистической деятельностью способствовал превращению нации, трактуемой в политическом значении, в активный субъект, а также в формировании «общества дискурса», широкого общественного мнения, оправдывавшего и поддерживавшего правительственный курс[2].

Подводя некоторый итог проведенному анализу историографического поля, посвященного различным аспектам истории отечественного консерватизма второй половины XIX – начала XX в. следует отметить, что его изучение вышло далеко за пределы начального этапа «накопления фактов», постепенно преодолевая стадию «реабилитации» и изучения «вширь» путем обнаружения «забытых имен» русской консервативной мысли и простой трансляции их творческого наследия, что было характерно для первых десятилетий свободного от идеологического гнета изучения данного феномена. В настоящее время изучение русского консерватизма представляет собой активно развивающееся самостоятельное историографическое направление, постепенно освобождающееся от налета субъективизма и публицистичности.

Тем не менее, несмотря на значительные успехи в деле изучения русского консерватизма указанного периода в последние годы, многие аспекты этой проблемы по-прежнему остаются малоизученными. Консервативное направление общественной мысли, как и прежде, не рассматривается во взаимосвязи с модернизационными процессами,

[1] Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875. Beitrage zur Geschichte Osteuropas,.Vol. 31. Köln, Weimar, Wein: Böhlau, 2000. S. 315–317.
[2] Renner A. Defining a Russian Nation. P. 659, 676.

происходившими в России во второй половине XIX века. Недостаточно исследованным представляется вопрос о консервативной модели модернизации, ее мировоззренческих и ценностных основах на стадии предшествующей эпохе политической активизации российского общества в начале XX столетия. Нарастание исторического нарратива далеко не всегда сопровождается глубоким анализом раскрываемых фактов и их концептуализацией. Не полностью преодолена рефлексия оценочных подходов к консервативному направлению общественной мысли, характерных для недавнего прошлого, когда его оценки варьировались от традиционных для советского периода крайне негативных характеристик, до пришедшей им на смену односторонней апологетики. На настоящее время отсутствует научное сопоставление в рамках единого исследования различных направлений консервативной мысли, что могло бы способствовать его всестороннему пониманию и раскрытию многих неизвестных сторон данного феномена. При наличии обширного круга работ, посвященных различным аспектам отечественной консервативной доктрины, следует отметить свойственную историографическому полю национального дискурса в отечественной консервативной мысли вторичность и дискретность. Проблема развития имперской государственности и выработки оптимальной модели управления национальными окраинами рассматривалась в большинстве случаев либо в рамках общего анализа политических представлений русских консерваторов, либо в контексте изучения идейного наследия того или иного конкретного представителя отечественной консервативной мысли, не становясь объектом самостоятельного комплексного изучения, что не позволяло обобщить опыт конструирования концепций решения национального вопроса в отечественной консервативной традиции имперского периода. В связи с этим, изучение данных аспектов истории русского консерватизма второй половины XIX – начала XX века представляется весьма актуальной научной задачей и может служить темой для широкого исследования.

1.2 Научное осмысление роли отечественного национально-консервативного дискурса в выработке имперского политического курса в отношении северо-западных окраин России

Значимый историографический блок, анализ которого позволяет составить представление об уровне изученности проблематики, связанной с северо-западными окраинами России, поднимавшейся в отечественном национально-консервативном дискурсе, включает в себя исследования, посвященные имперскому измерению российской истории, национально-окраинной политике властей, в которых затрагиваются общественно-политические дискуссии, разворачивавшиеся в исследуемый период вокруг тех или иных вопросов, связанных с практикой имперского управления и решения национального вопроса.

Следует отметить, что имперская проблематика всегда испытывала значительное влияние политической конъюнктуры, что отражалось на характере оценок ее роли в жизни многонационального российского народа. Уже в дореволюционную эпоху сложилось две диаметрально противоположные точки зрения на характер российской имперской государственности и на ее историческое и цивилизационное значение, которые определяли общую тональность оценок проводимой властями национально-окраинной политики. Часть мыслителей, среди которых значительное место занимали представители правящих кругов, указывали на безальтернативность имперской модели государственности в России, подчеркивая цивилизующую и созидательную роль имперского начала в жизни многих народов, входящих в ее состав.

Другая часть российской общественности видела в имперской государственности исключительно механизм подавления и насилия, препятствовавший свободному социально-политическому и культурному развитию народов. Данная оценка в наибольшей степени относилась к эпохе Александра III, которая рассматривалась либеральными историками, как

время расцвета «воинствующего национализма» в России, достигшего своего «апогея» на имперских окраинах[1].

Концепт – «Российская империя – тюрьма народов», сложившийся еще в дореволюционный период среди части российской интеллигенции, оказался весьма востребован радикальными националистическими кругами и получил значительное развитие в рамках новой идеологической парадигмы, восторжествовавшей в нашей стране после 1917 года. Свергнутое самодержавие, заклейменное как антинародная система эксплуатации и угнетения народных масс, неразрывно связывалось с великодержавным русским шовинизмом и имперской государственностью, низвержение которых трактовалось как прогрессивный акт. Характеризуя национальную политику имперских властей в последние десятилетия XIX – начале XX в., советские исследователи подчеркивали, что «в это время великорусский шовинизм принимает особенно нетерпимые воинствующие формы», проявляясь «в гонениях на национальную культуру, в национальных преследованиях и ограничениях и, наконец, в насильственной русификации путем обращения в православие инаковерующих»[2]. Данные оценки, неразрывно связывавшие национально-русскую ориентированность царствования Александра III с «разнузданной реакций», проявлением которой стали административная русификация и религиозный гнет на национальных окраинах, некоторое время сохранялись и в постсоветский период[3]. Отечественная консервативная идеология, отстаивавшая необходимость сохранения самодержавного строя, в рамках данного подхода механически сливалась с правительственной политикой, рассматриваясь исключительно как идейное обоснование проводимой властями «насильственной русификации» национальных окраин[4]. Даже признавая неоспоримые научные заслуги национально ориентированных мыслителей и

[1] Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М.: Высшая школа, 1993. С. 410.
[2] Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX века. М.: Мысль, 1970. С. 117–118.
[3] Чернуха В.Г. Александр III // Вопросы истории. 1992. № 11-12. С. 62; Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций. М.: Высшая школа, 1997. С. 327.
[4] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М.: Наука, 1978. С. 31, 36–37.

ученых, таких, как видный западнорусский историк М.О. Коялович или деятелей, входивших в состав Виленской археографической комиссии, советские исследователи не могли отказаться от в целом негативной характеристики их общественной и научной деятельности, трактуемой как идейное «служение царизму», жестоко подавлявшему национальную самобытность народов Российской империи[1].

В настоящее время оценки характера политики российских имперских властей в отношении национальных окраин и всего связанного с ней национально-имперского дискурса становятся более взвешенными. Начиная с 1990-х годов в отечественной историографии происходит постепенный отказ от крайне упрощенных оценок политики Российской империи в отношении национальных окраин и господствовавших в русской интеллектуальной среде воззрений как односторонне русификаторских. Им на смену приходит представление о более сложном и неоднородном характере российского общественно-политического имперского дискурса, в котором выделяются различные направления и оттенки, представлявшие собой особые модели политики в отношении национальных окраин.

Исследователи подчеркивают, что проводимая правительством во второй половине XIX в. русификация представляла собой не попытку ассимиляции окраинных национальных сообществ, а политику интеграции всех частей империи в единое правовое, административное, культурное и экономическое пространство, что являлось характерным для любого модерного государства[2]. Наряду с этим признавалось и проведение определенной культурно-языковой унификации в форме усвоения инородцами русского языка как средства межэтнического общения, однако ее масштабы, по мнению современного российского историка Б.Н.

---

[1] Шчарбакоў В. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. Гістарыяграфічныя нарысы. Мінск: Выдавецтва Беларускай акадэміі навук, 1934; Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М.: Наука, 1973. С. 64–123.

[2] Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX вв.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 37–39.

Миронова, для которого свойственна «оптимистическая» интерпретация истории Российской империи, в научной литературе сильно преувеличены, поскольку ее реализация не обуславливалась массовой потребностью в русском языке на окраинах и не была обеспечена необходимыми материальными средствами[1]. Исследователь считает, что в позднеимперской России практически полностью отсутствовала этническая дискриминация и имела место широкая практика сотрудничества с местными элитами, обладавшими определенными преимуществами в правовом положении сравнительно с русским населением. По мнению Б.Н. Миронова именно данная стратегия взаимодействия с окраинами способствовала их успешному интегрированию в имперское пространство и обеспечивала длительное сохранение его целостности[2].

Следует заметить, что данные выводы свойственны не только представителям «оптимистического» подхода. В последние десятилетия подавляющее большинство исследователей, работающих в рамках империоведения, признает, что имперский центр, представленный как бюрократическими, так и общественными кругами, отвечая на вызов национализма, на всем протяжении «долгого» XIX века был поставлен перед необходимостью не только выработки общих принципов национальной и культурно-религиозной политики, но и приспособления их под особенности развития конкретных регионов[3]. В ряде компаративных исследований коренному пересмотру подвергся тезис о репрессивных принципах государственной организации гетерогенного имперского пространства и было признано, что политика в отношении окраинных регионов имела

---

[1] Миронов Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи. СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. С. 427.

[2] Миронов Б.Н. Об этнической дискриминации в позднеимперской России // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2017. Т. 62. Вып. 1. С. 164–185.

[3] Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М.: Традиция-Прогресс, 2000. С. 19; Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Издательство «Европа», 2007. С. 18; Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 13; Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. С. 7.

значительный конструктивный потенциал[1]. На основе сравнительного анализа управленческого опыта империй рассматривались меры по обеспечению лояльности национальных меньшинств, проживавших в западных окраинных регионах России, налаживанию сотрудничества между центральным имперским правительством и местными нерусскими элитами[2].

Одним из ключевых вопросов, стоящих в центре многих отечественных и зарубежных исследований, посвященных российской имперской проблематике, является определение причин поворота в национальной политике Российской империи во второй половине XIX века. Основным фактором трансформации имперской политики, по мнению большинства ученых, являлся комплекс внешних и внутренних вызовов, наиболее значимым из которых выступал «вызов национализма», проявлявшийся в процессах национальной консолидации, охватывавших как недоминирующие этнические сообщества империи, так и саму титульную нацию. Детальное рассмотрение данных процессов, свойственных большинству империй эпохи предмодерна, нашло свое отражение в обширном сборнике, вышедшем под редакцией А.И. Миллера и Ш. Бергера, основная цель которого состояла в пересмотре отношений между национализмом и империями в европейской истории и отказе от жесткой дихотомии имперской и национальной государственности, долгое время господствовавшей в историографии[3]. Редакторы сборника подчеркивают, что процесс национализации империй, способствовавший существенной трансформации проводимой ими политики

---

[1] Барзилов С.И. Российское историческое пространство в имперском и региональном измерениях // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. С. 15; Кэмпбелл (Воробьева) Е.И. «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской идеологии самодержавия // Там же. С. 208; Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли / Под ред. А.Т. Урушадзе. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. С. 25; Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу // Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей (Библиотека журнала «Ab Imperio). Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С. 429.

[2] Западные окраины Российской империи / Науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 7, 217, 266, 271.

[3] Berger S., Miller A. Introduction: Building Nations In and With Empires – A Reassessment // Nationalizing Empires / Ed. S. Berger and A. Miller. Budapest; New York: CEU Press, 2015. P. 2.

в отношении их составных элементов, не был направлен на их распад или превращение в национальные государства, а, напротив, имел своей целью укрепление и расширение империи посредством формирования в его ядре «имперской нации»[1]. Исходя из этого, учеными делается принципиальный вывод о том, что империи не только не сдерживали, но, напротив, активно способствовали процессу нациестроительства, представлявшему собой целенаправленную имперскую стратегию, являвшуюся ответом на вызов национализма.

Проблема соотнесения российской имперской государственности и национализма как интеллектуального феномена, выработанного, в том числе, в рамках отечественного консервативного дискурса стоит в центре исследований одного из крупнейших современных специалистов в области империоведения А.И. Миллера. В качестве альтернативы национальному и региональному подходам к изучению империи как полиэтнической структуры им был предложен ситуативный подход, позволяющий сосредоточить внимание не на отдельном географическом или хронологическом фрагменте имперской истории, а на ситуации взаимодействия различных акторов. Преимущество данного подхода состоит в том, что он не только позволяет понять логику и мотивацию всех участников взаимодействия (в том числе и общественных деятелей разного уровня), но и дает возможность выявлять как разнообразные, так и повторяющиеся имперские практики, препятствуя неосознанной самоидентификации исследователя с близкими ему акторами и их «правдой»[2].

В своих работах Миллер отмечает сложную динамику взаимоотношений русского национализма и империи, которая, с одной стороны, в течение всего XIX в. активно использовала националистический ресурс, а с другой – упорно сопротивлялась «национализации», вследствие чего русская

[1] Berger S., Miller A. Introduction. P. 3–4.
[2] Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 27–29.

националистическая доктрина могла выступать как союзником самодержавия, так и в некоторых аспектах его противником[1]. Исследователь подчеркивает, что дискурс национального проекта, не совпадавшего по своим территориальным масштабам с границами империи, оказывал существенное влияние на планирование и характер имперской политики на западных окраинах[2].

Большой вклад в развитие новых подходов к изучению отечественной национальной доктрины, сформировавшейся в общественной среде, в рамках имперских исследований внес коллектив журнала «Ab imperio» (С.В. Глебов, М.Б. Могильнер, А.М. Семенов), который является институциональной базой для развития «новой имперской истории» в России. Исследователи занимаются разработкой теоретико-методологических вопросов имперских исследований, анализом влияния имперских управленческих практик на развитие отечественного национализма. Ими был выдвинут ряд теоретических установок, в соответствии с которыми сделан вывод о том, что имперские управленческие практики стимулировали процесс конструирования национальной идентичности и способствовали развитию национализма. В своих исследованиях команда журнала также развивала значимый тезис о толерантности имперского государства, которое, управляя разными народами и территориями, вынуждено было учитывать важный фактор этнического, конфессионального и социокультурного «разнообразия»[3]. При этом со временем «имперский синтез» был признан по своей сути механическим, что обосновывалось и в среде российских интеллектуалов второй половины XIX века, которые приходили к новому

[1] Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. С. 10.
[2] Miller A. I. The Romanov Empire and the Russian Nation // Nationalizing Empires / Ed. S. Berger and A. Miller. Budapest; New York: CEU Press, 2015. P. 338.
[3] Герасимов И.В., Могильнер М.Б., Семенов А.М. Введение. В поисках ясности в исторической природе национализма и империи // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство, 2010. С. 7–26.

понимаю «нации», как постоянно развивающегося единства, чью лояльность империи необходимо формировать и постоянно поддерживать[1].

В настоящее время одним из актуальных исследовательских направлений, связанных с рассматриваемой проблематикой, является изучение процесса формирования национально-государственного нарратива, как особой формы социально ориентированного историописания, лежавшего в основе конструирования собственной национальной идентичности и определения ее традиционных исторических границ. Включение в данные границы определенных окраинных территорий (таких, как Северо-Западный край и Прибалтика) обуславливало создание соответствующих исторических исследований, научно обосновавших право политического субъекта на обладание ими. Указанное направление реализовывалось в теоретико-методологических исследованиях С.И. Маловичко[2], отмечавшего, что в данной практике историописания социальные задачи доминируют над собственно научными, вследствие чего исследователь не стремится быть нейтральным к прошлому, а предлагает обществу его образ, «выверенный» с политической точки зрения[3]. Предложенный автором подход позволяет выявить сосуществовавшие, как в прошлом, так и в настоящем типы историописания, различающиеся своим целеполаганием и выделить из общей массы научных исследований те работы, создание которых обусловлено необходимостью решения актуальных общественно-политических задач, стоящих перед обществом в конкретный исторический период.

Проблемы формирования и идейного наполнения русского национального дискурса затрагивались многими отечественными и зарубежными исследователями в контексте изучения влияния национальных

---

[1] Maiorova O. From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870. Madison: The University of Wisconsin Press, 2010. P. 6.

[2] Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив как вид социально ориентированного историописания // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. № 4. 2015. С. 125–135; Маловичко С.И., Румянцева М. Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание / отв. ред. Л. П. Репина. Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013.

[3] Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив как вид социально ориентированного историописания. С. 127.

идеологий, переживавших в XIX веке стадию активного становления, на политику сложносоставных имперских государственных образований, неизбежность распада или трансформации в модерное национальное государство которых признавалась неизбежной.

Взаимосвязь между трансформацией национальной политики российского самодержавия во второй половине XIX в. и модернизационными процессами была проведена одним из наиболее видных зарубежных исследователей, занимавшихся изучением различных аспектов имперской истории России А. Каппелером, указывавшим на то, что осознаваемая после поражения в Крымской войне необходимость обновления всех сфер жизни русского общества не могла не затронуть и сущность традиционного устройства российской имперской государственности[1]. Ученый отмечал высокую степень влияния русской национальной публицистики на политику российских имперских властей в отношении западных окраин, подчеркивая, что в отдельных случаях (как, например, в Прибалтике) именно она инициировала вопрос о необходимости форсированной интеграции окраинных регионов в единое государственное пространство. Интегральный или «крайний» имперский национализм, носителями которого во второй половине XIX в. становятся не только представители интеллектуальной элиты, но и довольно широкие круги населения, характеризуется Каппелером как вызов самодержавию, которое при всей соблазнительности его использования для стабилизации режима сохраняло к нему амбивалентное отношение[2].

Указывая в своих исследованиях на чрезвычайную структурную неоднородность и этническое многообразие Российской империи, Каппелер сделал ценное методическое замечание о том, что она может рассматриваться в качестве чрезвычайно удобной «экспериментальной площадки» для

---

[1] Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М.: Традиция – Прогресс, 2000. С. 204.
[2] Там же. 179, 190.

исследования национализма и разнообразных типов национальных движений[1].

Большинство современных исследователей отмечает значительное влияние отечественной национально-консервативной мысли, представленной, в первую очередь, М. Н. Катковым и близким к нему кругом публицистов, а также поздними славянофилами на политику российской администрации, искавшей в их доктринах идеологическую поддержку и обоснование проводимой имперской унификации[2]. Опора правительственной политики на концептуальные основы русской национально-консервативной доктрины, по мнению британского исследователя Б. Андерсона, привела к практической реализации в России модели «официального национализма», в рамках которого правящая династия стала определять себя в национальных терминах, искусственно соединяя два противоположных политических порядка – династический и национальный[3]. Данное усиление национальных тенденций в политической практике Российской империи чаще всего трактуется как ситуативная реакция на активизацию массовых национальных движений нерусских народов Российской империи во второй половине XIX – начале XX века[4].

Одним из наиболее крупных зарубежных исследований, посвященных проблеме формирования идеологии национализма в среде российской общественности середины – второй половины XIX в. является работа

---

[1] Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. М.: Новое издательство, 2005. С. 398.

[2] Каппелер А. Национальные движения и национальная политика в Российской империи опыт систематизации (XIX век – 1917 год) // Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений. М.: Наука, 1999. С. 100–110; Янов А.Л. Патриотизм и национализм в России. 1825-1921. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. С. 267; Иванова С.И. Оформление национальной идеи в философско-культурном и историческом пространстве России (IX-XIX вв.) // Актуальные вопросы современной науки. 2015. С. 229–230; Тесля А. А. «Истинно русские люди»: история русского национализма. М.: Рипол-Классик, 2019.

[3] Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 108.

[4] Суни Р.Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теория империи // Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007. С. 71.

немецкого исследователя А. Реннера[1]. В ней прослеживается эволюция национальной доктрины в период царствования Александра II, становление которой напрямую связывается с формированием достаточно широкого круга русской читающей публики и распространением печатного слова в этот период. Ученый подчеркивает, что формирование и всестороннее интеллектуальное осмысление данной доктрины происходило именно в общественной, а не бюрократической среде. Как и большинство других исследователей, Реннер указывает на решающую роль Польского восстания 1863 – 1864 гг., бросившего вызов территориальной целостности империи, в концептуальном оформлении русского национализма, переставшего быть идеологией имперского правительства и поставившего принципиальный вопрос о сущностном наполнении определения «русский»[2]. Рассматривая конкретные идейные проявления русской национальной доктрины не только применительно к «польскому», но и к ставшему актуальным в 1870-е годы «остзейскому» вопросу, немецкий ученый уделяет значительное внимание известной полемике Ю. Самарина и К. Ширрена, усматривая в ней противостояние двух моделей развития имперской государственности и проявление амбивалентности в развитии российского общества данного периода. Анализируя эволюцию русского национализма, исследователь указывает на постепенное усиление его «непримиримости», которая в перспективе ставила под сомнение территориальную целостность самой Российской империи.

Важные методологические установки в изучении культурных практик в управлении западными окраинными территориями России были сформулированы А. Рибером, который выделил сопротивление и приспособление, как основные стратегии взаимодействия имперского центра и покоренных народов в мультикультурных империях. Практическое выражение стратегии приспособления рассматривалось также в контексте

[1] Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875 Beitrage zur Geschichte Osteuropas,.Vol. 31. Köln, Weimar, Wein: Böhlau, 2000.
[2] Ibid. S. 210–235.

становления «имперской культурной системы»[1]. В рамках данного подхода сформировалось исследовательское направление, в котором произошло смещение акцентов изучения с административно-правовой на культурную составляющую политики в отношении окраинных регионов, вследствие чего объектом исследования стало имперское сознание, имперские идеи и мифы[2].

Польским исследователем В. Родкевичем были выделены две основные модели российской национально-окраинной политики в период с 1863 по 1905 г. – имперской стратегии и бюрократического национализма. Каждая из них, по мнению ученого, имела своих сторонников среди представителей имперской администрации и русской общественности, образовывавших своеобразные «партии», полемика между которыми составляла сущность российского национально-окраинного дискурса[3]. Более традиционная для российской государственности сословно-имперская стратегия ориентировалась на укрепление наднациональных связей между политическим центром империи и окраинами на основе их политической лояльности правящей династии и государству, апеллируя, в первую очередь, к региональным элитам, вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности. Национальная стратегия, по мнению Родкевича, определяла русскую нацию в этноконфессиональных категориях, отстаивая необходимость всесторонней защиты ее интересов и укрепления ее положения в имперском пространстве посредством комплекса административных мер, направленных на постепенную «трансформацию многонациональной Российской империи в Российское национальное государство»[4]. Польский исследователь считает, что после 1864 г. в рассматриваемый период имперская стратегия лишь эпизодически

---

[1] Рибер А. Борьба за евразийское пограничье: от империй раннего Нового времени до конца Первой мировой войны. (Реферат) // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: сб. обзоров и рефератов. М.: РАН. ИНИОН, 2019. С. 21.

[2] Burbank J., Cooper F. Empires in world history: Power and the politics of differrence. Princeton, 2010. p. 12.

[3] Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863–1905). Lublin: Scientific society of lublin, 1998. P. 13–16.

[4] Ibid. P. 14.

проявлялась в правительственной политике, в то время как бюрократический национализм, пользовавшийся широкой поддержкой в кругах русской общественности, являлся доминирующей моделью национальной политики России[1].

О сосуществовании двух параллельных подходов к интеграции западных регионов также говорит отечественный исследователь Л.Е. Горизонтов, выделяющий традиционную полицейско-бюрократическую управленческую модель, предполагавшую доминирование силовых практик, и альтернативный подход, характеризуемый им как «либеральный», для которого характерна ориентация на использование неконфликтных методов воздействия. Попеременная смена данных подходов, обусловленная сложным комплексом внешних и внутренних обстоятельств, имевшая место на всем протяжении XIX – начала XX века, характеризуется ученым как «парадоксы имперской политики»[2].

Поистине «роковой» для России польский вопрос являлся одной из центральных тем общественно-политических дискуссий «окраинной» направленности в российском обществе XIX – начала XX в., привлекающих к себе повышенное внимание исследователей. Для русской общественности он выступал в качестве «жизненного вопроса», связанного не столько с обоснованием имперского «владения Польшей», сколько с проблемой территориального и социокультурного разграничения польского и русского, что неизбежно связывало его с дискуссией о западнорусских губерниях и «западнорусском народе». Его осмысление было неразрывно связано с определением статуса присоединенных к России в результате разделов Речи Посполитой западных губерний и поиском компромисса с польской общественностью, актуализированным либеральным поворотом начала 1860-х гг. В этом контексте польский вопрос являлся точкой притяжения различных сюжетов имперской и национальной политики, включавшей в

[1] Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire. P. 16.
[2] Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX–начало XX в.). М.: Индрик, 1999. С. 217.

себя проблему формирования национальных идентичностей, перспектив развития имперской государственности, создания национальных нарративов[1].

Особенности осмысления польского вопроса российской «консервативно-патриотической элитой» в период Январского восстания 1863 – 1864 гг. и после его подавления представлены в работах белорусского историка А.Ю. Бендина. По его мнению, в контексте патриотического подъема, охватившего русское общество в период польского мятежа, православным западнорусским населением и русским консервативным обществом были сформулированы представления о единстве этническом – общерусском и единстве общенациональном – российском[2].

Большое внимание общественным дискуссиям 1860-х годов, спровоцированным «польским вызовом» и направленным на поиск оптимальной модели имперской политики в отношении полиэтнического и поликонфессионального населения северо-западных окраин, в своих научных работах уделяет литовский исследователь Д. Сталюнас[3]. Ученый подчеркивает, что в центре российского официального и общественного дискурса, посвященного данной проблематике, стояла проблема переосмысления содержания понятия «русскость», которое во второй половине XIX века все более встраивалось во вполне современную концепцию нации, важнейшим критерием определения которой выступал язык. Вследствие этого приоритетным направлением в исследованиях литовского историка являются языковые инструменты русификации, занимавшие, по его мнению, центральное место в правительственной

---

[1] Аржакова Л.М. Польский вопрос в России XIX в. (трактовка и время возникновения) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2014. № 3. С. 4–17; Котов А.Э. Польский вопрос на страницах «Вестника Юго-Западной и Западной России» (1862–1864 годы) // Научный диалог. 2019. № 8. С. 258–272; Забытые страницы польского вопроса: Антология. / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. С. 6–8.

[2] Бендин А.Ю. Рождение «русской идеи» и её политическая реализация в подавлении польского мятежа и реформировании Северо-Западного края (1863–1865) // Тетради по консерватизму. 2020. № 2. С. 85.

[3] Staliūnas D. Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam–New York: Rodopi, 2007; Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. М: Новое литературное обозрение, 2022.

политике в отношении Западного края. Уделяя большое внимание анализу русского национального дискурса, обосновывавшего и описывавшего основные направления правительственной политики в регионе, ученый указывает на существенные расхождения между его содержанием и повседневными административными практиками имперских властей, имевшими, по его мнению, устойчивую ассимиляторскую тенденцию[1].

Значительный интерес представляет и польская точка зрения на данный вопрос, изложенная в работах польских ученых Г. Глембоцкого и М. Банашкевича[2]. Значимость первой из них обусловлена тем, что фокус исследовательского внимания здесь обращен не на достаточно хорошо изученную политическую практику, а на разворачивавшиеся в рассматриваемую эпоху в русском обществе дискуссии, в ходе которых и была выработана возобладавшая в последующем модель российской государственной политики в отношении поляков, направленная, по мнению автора, на их «русификацию». Польский ученый отказывается от традиционного для зарубежной историографии подхода, связывавшего ухудшение отношения русской общественности к полякам исключительно с восстанием 1863 – 1864 годов, подчеркивая, что трансформация характера русского общественно-политического дискурса по данному вопросу произошла уже в 1861 г., когда обнаружилось стремление польского дворянства к слиянию Западного края с Царством Польским. По мнению Глембоцкого, именно польский вопрос, переросший в открытый конфликт, рассматривавшийся русскими интеллектуалами, как «покушение» на русские земли, способствовал усилению русского национализма, приобретшего на польских землях характер социального радикализма, направленного на

[1] Staliūnas D. Making Russians. P. 21.
[2] Głębocki H. Fatalna sprawa: Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznejros. (1856-1866). Krakow: Arcana, 2000; Banaszkiewicz M. The Eastern Borderland in Polish Collective Memory // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 1. С. 297–309.

разъединение народных масс и элиты посредством аграрно-социальной политики[1].

Сосредотачивая свое внимание на польском восприятии западных губерний Российской империи, рассматривавшихся исключительно как Кресы – восточное пограничье исчезнувшей Речи Посполитой, М. Банашкевич характеризует данную область как воображаемое пространство, ментальное конструирование которого в польской национальной памяти было обусловлено восприятием конфликта с Россией как экзистенциального противостояния двух цивилизационных систем[2]. Данное исследование встраивается в традиционную дискуссию о роли польского и русского факторов в становлении и развитии сообществ, возникших на постимперском пространстве, которая в настоящее время имеет не только научное, но и актуальное общественно-политическое звучание.

В отдельную группу могут быть выделены исследования, посвященные рассмотрению различных аспектов политики имперских властей в отношении северо-западных окраин, в которых особое внимание уделяется мерам по обеспечению лояльности национальных меньшинств, налаживанию взаимодействия между центром и местными элитами, модернизации устаревших правовых норм, не соответствовавших новым политическим и социально-экономическим реалиям. Затрагивая отдельные сюжеты, связанные с осмыслением имперской национальной политики представителями русской общественной мысли, авторы данных работ, в то же время, не ставили их воззрения в отношении северо-западных окраин Российской империи в центр своих исследований. Сюжеты, связанные с анализом воздействия консервативной общественности на властные органы в деле выработки ими комплекса мер по управлению данными окраинными регионами, рассматривались лишь в качестве общественного фона, на котором осуществлялось принятие управленческих решений. Однако,

[1] Głębocki H. Fatalna sprawa. S. 402–408.
[2] Banaszkiewicz M. The Eastern Borderland in Polish Collective Memory. C. 297–309.

несмотря на это, исследователи указывали на наличие определенного влияния общественных настроений и разворачивавшихся по данному поводу дискуссий на характер и содержание принимаемых решений[1].

Примером этого может стать сюжет, связанный с описанием борьбы вокруг попыток пересмотра правительственной политики в отношении крестьян Северо-Западного края, предпринятых администрацией генерал-губернатора А.Л. Потапова, излагаемый А.А. Комзоловой в своем фундаментальном исследовании[2]. Детально раскрывая ход данного противостояния, исследовательница подчеркивает, что на ее окончательный итог значительное влияние оказала публикационная деятельность М.Н. Каткова, способствовавшего привлечению широкого общественного мнения к данному вопросу и продемонстрировавшего значительно возросшее влияние общественности на правительственную политику в отношении окраинных регионов.

Если кадровая политика российского правительства в Северо-Западном крае традиционно привлекает к себе пристальное внимание исследователей, рассматривающих особенности служебной деятельности имперской бюрократии в регионе[3], то общественные дискуссии о путях

---

[1] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М.: Наука, 2005; Западные окраины Российской империи / Под ред. М. Долбилова, А. Миллера. М.: Новое литературное обозрение, 2006; Федосова Э.П. Граф М.Н. Муравьев-Виленский (1796–1866): жизнь на службе империи. М.: Институт российской истории РАН, 2015; Krot M.N., Narezhny A.I. P.A. Valuev and the Formation of Government Policy in Relation to the Western Territory (1861–1865) // Bylye Gody. 2019. Vol. 1, No. 51. P. 262–271; Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

[2] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. С. 266–274.

[3] Луговцова С.Л. Кадровая политика российских властей на территории Беларуси после подавления восстаний 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг.: (попытка сравнительного анализа) // Российские и славянские исследования: Науч. сб. Минск: БГУ, 2014. Вып. 9. С. 28–38; Кузьмин А. Д. Конфессиональный и национальный состав чиновничества белорусских губерний в 1864–1914 гг. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. «Гуманитарные науки». 2018. № 1. С. 81–88; Киселев А.А. Особенности прохождения государственной службы в губерниях Северо-Западного края (1863–1917 гг.) // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2018. № 2 (11). С. 36–49; Крот М.Н. Губернаторские отчеты: рапорт о проделанной работе или программа развития края? // Новое прошлое. 2021. № 1. С. 246–256; Комзолова А.А. Особые полномочия виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева: кадровый аспект // Тетради по консерватизму. 2023. № 4. С. 44–52. Крот М.Н. «Местная власть не соответствует действительным потребностям времени…»: имперская администрация Северо-Западного края

совершенствования регионального административного аппарата и повышения его эффективности длительное время не являлись объектом специального изучения. Данный пробел, не позволяющий адекватно оценить участие общественных сил в выработке проектов административного переустройства управления окраинными регионами, открывает перед учеными новое исследовательское поле, значимым сегментом которого является освещение дискуссии о судьбе института генерал-губернаторства на западных окраинах.

Один из первых всплесков общественного интереса к данному вопросу, отраженный на страницах консервативной периодической печати, проанализирован исследователем А.Э. Котовым, сосредоточившим свое внимание на газетной дискуссии 1888 года, развернувшейся между сторонниками и противниками сохранения данного «чрезвычайного» института. Рассматриваемая полемика трактуется ученым как частное проявление глобального противостояния национального и сословного направлений в русском консерватизме, дискутировавших о степени умиротворенности края и социальной опоре российских властей в нем[1]. Обращение к данному сюжету позволяет составить более полное представление о вопросах, волновавших русское общество в период спада общественной активности и видимого торжества национальных начал в последние десятилетия XIX века, когда закладывались новые тенденции в осмыслении путей развития Северо-Западного края в составе Российской империи.

Повышенный исследовательский интерес к образовательной политике российских властей, реализуемой на северо-западных окраинах России, обусловлен признанием ее огромной роли в деле аккультурации окраинных сообществ и их приобщения к русским историко-культурным ценностям.

России в условиях роста социальной напряженности начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2024. № 91. С. 24–34.

[1] Котов А.Э. Газетная полемика об институте генерал-губернаторства на западнорусских окраинах // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2023. Т. 68. Вып. 4. С. 858–874.

Вследствие этого данная сфера привлекала к себе наибольшее внимание представителей русской общественности, стремившихся оказать интеллектуальное содействие власти в деле выработки приемлемых для окраинных регионов образовательных моделей и практик. Этим обстоятельством объясняется преобладающая в настоящее время исследовательская траектория, направленная на анализ властно-общественного взаимодействия в образовательной среде и роли отдельных интеллектуалов в контексте концептуального оформления и практической реализации образовательной политики в Западном крае[1]. Исследователи признают большую роль русской национально-консервативной общественности в деле деполонизации образовательной сферы региона[2]. Острые общественные дискуссии, разворачивавшиеся как в общероссийском научно-педагогическом сообществе, так и среди региональных общественных деятелей, педагогов и публицистов по разнообразным вопросам, связанным с выбором преобладающей формы образовательных учреждений, языком преподавания, региональной спецификой, также привлекают повышенное внимание исследователей[3]. Анализ данных дискуссий, являвшихся составной частью актуальной общественно-политической повестки, помимо всего прочего, позволяет выйти на новый

[1] Майорова Н.А. Педагогические аспекты межнационального противоборства в Северо-Западном крае Российской империи // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2014. № 4. С. 124–127; Лухверчик В.Н. Особенности становления педагогического образования в дореволюционной Беларуси. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. 2018. №. 15. С.13–16; Комзолова А.А. Митрополит Иосиф (Семашко) и реформы народной школы в Северо-Западном крае // Российская история. 2020. № 2. С. 159–173; Комзолова А.А. Учебники для народной школы в Виленском учебном округе в 1860-х гг. // Российская история. 2021. № 6. С. 127–137; Комзолова А.А. Западный комитет и народная школа в Северо-Западном крае (1862–1864) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2021. № 6. С. 61–77; Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб.: Владимир Даль, 2022. С. 188–258.

[2] Котов А.Э., Федоров Д.А. Киевские консервативные публицисты о проблемах образования в позднеимперской России // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2023. Т. 68. Вып. 4. С. 875–889; Крот М.Н. «Русское образование сильнее русского штыка...»: образовательная политика как элемент стратегии «мягкой силы» в западных окраинных регионах Российской империи во второй половине XIX – начале XX века // Научная мысль Кавказа. 2023. № 3 (115). С. 59–69.

[3] Каштанова О.С. Языковая политика в сфере образования в западных губерниях России и Царстве Польском в XIX в. // Центральноевропейские исследования. 2020. № 2 (11). С. 180–208.

уровень понимания процессов, происходивших в интеллектуальной сфере пореформенной России.

Культурно-просветительская политика имперских властей в северо-западных регионах России, важнейшим элементом которой являлась образовательная сфера, также выступает объектом изучения современных белорусских и литовских исследователей, большинство из которых указывают на доминирование в ней «обрусительного» компонента, репрессивные элементы которого затрагивали народные массы[1]. Ими отмечается, что российская государственность не обладала достаточным цивилизационным потенциалом для того, чтобы успешно русифицировать край и стать привлекательной для местного населения, выступая в качестве архаичной силы, препятствующей поступательному культурному развитию местных народов по либерально-европейским образцам.

В противовес данным подходам, продолжающим эксплуатировать тезис о Российской империи, как «тюрьме народов», актуализированный в условиях современной политической повестки, в отечественной историографии происходит перенос фокуса исследовательского внимания с одностороннего изучения репрессивно-силовых управленческих практик на перманентно присутствовавшие в управленческой деятельности имперской администрации и русской общественной мысли неконфликтные методы формирования социокультурного ландшафта в рамках полиэтнического многообразия населения западных регионов империи. Акцент, делаемый на них в отечественном национально-консервативном дискурсе, а также достаточно системная реализация данных методов на практике дает основание при описании теоретически разрабатываемой и практически реализуемой имперской управленческой стратегии в отношении западных окраин использовать концепт «мягкая сила», применимый не

[1] Эйдинтас А., Бумблаускас А., Кулакаускас А., Тамошайтис М. История Литвы. Вильнюс: Eugrimas, 2013; Смалянчук А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864 – люты 1917 г. СПб.: Неўскі прасцяг, 2004; «Краёвая ідэя» ў беларускай гісторыі: зборнік навуковых артыкулаў / Аляксандр Смалянчук. Мінск : Зміцер Колас, 2017; Сталюнас Д. Польша или Русь? С. 149–152, 198–206.

только к международной политике, но и к внутриполитической модели управления сложносоставными гетерогенными государствами, включающими в себя разнородные составные элементы и сообщества. Выявляемая исследователями стратегия неконфликтной интеграции западных окраинных регионов, по их мнению, реализовалась в форме отказа от наиболее одиозных дискриминационных мер в отношении национальных и конфессиональных сообществ западных окраинных регионов, в применении культурно-просветительской и образовательной политики, направленной на формирование позитивного символического капитала имперского начала в сознании местного населения, и государственной мемориальной политики, реализуемой с целью создания единого пространства памяти[1].

В рамках указанного исследовательского направления рассматриваются, в том числе, частные проявления данной стратегии, одним из которых стало возникновение Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III», представлявшего собой легальную площадку для консолидации русских интеллектуальных сил края национально-консервативной направленности, стремившихся к ретрансляции консервативных идейных ценностей и культурно-интегративному воздействию на местное население[2]. Особое

[1] Крот М.Н., Завьялова О.О. Неконфликтные формы интеграции западных регионов России в позднеимперский период// Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2023. Т. 68. Вып. 4. С. 890–905; Крот М.Н., Завьялова О.О. Интеграционная политика в Северо-Западном крае Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков // Научный диалог. 2023. Т. 12. № 7. С. 374–392; Завьялова О.О. Интеллектуальные истоки «мягкой силы» Российской империи: публицистическая деятельность А.Г. Киркора // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2023. Т. 10. № 1 (37). С. 18–28.

[2] Крот М. Н. «Мирное завоевание умов и сердец силою просвещения…»: деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III» // Электронный научно-образовательный журнал "История". 2022. Т. 13. № 2 (112); Крот М.Н. «Северо-Западный край… особенно нуждается в русском историческом просвещении»: отчет Виленского отдела Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III за 1903 год // Новое прошлое. 2022. № 3. С. 174–189; Юй Цзе Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III: коммеморативные практики и политическая конъюнктура, 1895–1914 годы. дис. ... канд. ист. наук. М.: 2023. С. 143–152; Юй Цзе. Народные библиотеки Общества ревнителей русского исторического просвещения на рубеже XIX–XX вв. // Вестник Православного Свято-

внимание уделяется реализуемой его участниками научной и издательской работе, направленной на противодействие польским историческим притязаниям на право владения западнорусскими землями[1].

В фокусе повышенного исследовательского внимания традиционно находится и конфессиональный аспект политики имперских властей в отношении северо-западных окраин Российской империи, являвшийся предметом острых общественных дискуссий.

Проблемы имперской конфессиональной инженерии, как составной части политики русификации западных окраин Российской империи в 1860 – 1870-гг. стоят в центре исследований М.Д. Долбилова, сосредоточившего свое внимание на мотивах и стимулах, которыми руководствовалась центральная и региональная бюрократия при реализации религиозного сегмента «русского дела» в регионе[2].

Усматривая цель имперской конфессиональной политики, проводимой в данную эпоху, в формировании новой общегосударственной идентичности, ключевым элементом которой стала бы более осознанная, эмоционально переживаемая и более контролируемая лояльность, исследователь указывает на резко возросшую роль общественности, действующей зачастую в тесном тандеме с чиновными кругами, в выработке основных направлений и новаторских решений в рамках данной политики. Долбилов не ставит под сомнение тот факт, что русификаторская политика являлась творением авторитарной государственной воли, что в полной мере соответствовало идеологии «русского дела», превозносившей унификаторскую и

Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2023. Т. 111. № 2. С. 102–116.

[1] Крот М.Н. «Употребить все силы на всестороннее исследование Муравьевской эпохи…»: муравьевские сюжеты в деятельности Виленского отдела Общества ревнителей русского исторического просвещения // Тетради по консерватизму. 2023. № 4. С. 144–151.

[2] Долбилов М.Д., Сталюнас Д. «Обратная уния»: проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865 – 1866 годы) // Славяноведение. 2005. № 5. С. 3–34; Долбилов М.Д. Русскоязычное католическое богослужение в Западном крае империи: практика перевода (1860 – 1870-е гг.) // Петербургские славянские и балканские исследования. 2008. № 1(3). С. 40–60; Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

цивилизаторскую миссию империи на западных окраинах, указывая при этом на ее обусловленность множеством долгосрочных и ситуативных факторов, среди которых немаловажную роль играло влияние культурного и интеллектуального «климата», формируемого набиравшим силу общественным мнением, а также прямое воздействие прессы, публицистики, духовной и научной среды[1]. При этом бросается в глаза тот факт, что в работах данного исследователя комплекс воззрений представителей местной и центральной русской национально ориентированной общественности, затрагивавший конфессиональный сегмент регионального управления, описывается в ярко выраженном оценочно-негативном ключе, фактически без учета объективной основы формирования данного дискурса в русской административной и общественной среде, связанной с реакцией на мятеж 1863 – 1864 гг. Логика их идеологических построений и конкретных предложений, направленных на ослабление господства католицизма в регионе, сводится к иррациональной и необоснованной «католикофобии», в основе которой лежали устойчивые антипольские и антикатолические стереотипы и предрассудки, а также конспирологические построения, демонстрирующие искаженное восприятие русскими чиновниками и общественной деятелями окружающей действительности[2]. Исследователем создан крайне неприглядный как в идейном, так и в морально-этическом отношении образ русских деятелей Северо-Западного края, односторонне негативное и подчас саркастическое описание деятельности и взглядов которых[3] невольно наталкивает на мысль о стремлении автора к подмене объективного анализа исторических явлений субъективным конструированием образов и представлений о прошлом.

Схожей, хотя и не столь одиозно выраженной позиции по данному вопросу придерживается уже упоминавшийся литовский исследователь Д.

---

[1] Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера. С. 40.

[2] «Круглый стол». Империя, нации и конфессиональная политика в эпоху реформ // Российская история. 2012. № 4. С. 53–55, 67–69, 71–72.

[3] Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера. С. 302–303, 345, 365–366, 441, 452, 458–459,603, 707.

Сталюнас, рассматривавший конфессиональную проблематику через призму анализа языковых инструментов русификации, активно отстаиваемых частью русской национально ориентированной общественности. Распространение модерных представлений о сущности русской нации, не отрицавших включение в нее представителей различных этнических групп, по мнению ученого, обуславливало неприятие значительной частью русской общественности прямолинейных методов русификации края посредством изгнания из него католицизма и вело к возникновению проектов «обрусения» костела и других способов гармоничного «встраивания» католической церкви в формируемую национально-имперскую государственность[1].

Большое внимание конфессиональному вопросу в Северо-Западном крае уделяется белорусскими исследователями, националистически ориентированная часть которых усматривает в попытках обрусения костела стремление имперских властей к «вытеснению» католицизма из региона[2]. Для некоторых из них характерно рассмотрение данного вопроса через призму становления белорусской идентичности, вследствие чего они приходят к выводу о том, что конфессиональная разобщенность белорусов в этот период являлась, наряду с ограничительной политикой имперских властей, значимым препятствием для их национального развития[3].

Совершенно в ином, намного более взвешенном ключе, данные сюжеты рассматриваются современным белорусским исследователем А.Ю. Бендиным, затрагивающим их в контексте изучения феномена веротерпимости как совокупности взаимоотношений религиозного законодательства, религиозной политики и межрелигиозных отношений, а

---

[1] Сталюнас Д. Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католическое богослужение в 60-х годах XIX века // Российская империя в зарубежной историографии. М.: Новое издательство, 2005. С. 570–588. С. 581; Сталюнас Д. Роль имперской власти в процессе массового обращения католиков в православие в 60-е годы XIX столетия // Lietuviu kataliku mokslo akademijos. T. 26. Vilnius. 2005. С. 307–347; Сталюнас Д. Польша или Русь? С. 224–235.

[2] Яноўская В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі 1863–1914 гг. Мінск: БДУ, 2002; Ганчар А.И. Римско-католическая церковь в Беларуси (вт. пол. XIX – нач. XX вв.). Гродно: ГГАУ, 2010.

[3] Смалянчук А. Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. СПб.: Неускі прасцяг, 2004; Линкевич В.Н. Межконфессиональные отношения в Беларуси (1861–1914 гг.). Гродно: Гродненский гос. ун-т, 2008.

также механизмов его практической реализации и духовно-идеологического обоснования на территории Северо-Западного края. В своих исследованиях ученый всесторонне проанализировал комплекс политических, исторических, религиозных и социокультурных аргументов, выработанных имперской бюрократией и русской общественностью для противодействия претензиям на западнорусские земли польского национального движения, активно использовавшего конфессиональный фактор[1].

Давая общую характеристику конфессиональной политике имперских властей на западных окраинах империи, содержание которой в значительной степени определялось интенсивными дискуссиями, проходившими при участии, как чиновной бюрократии, так и представителей центральной и региональной общественности, белорусский и литовский исследователи, при всем расхождении их взглядов по многим вопросам, указывают на ее сохранение в границах общей законности и веротерпимости, подчеркивая ее ситуативный «оборонительный» характер, направленный на защиту православного населения от агрессивного польского религиозного фанатизма и обеспечение единства имперских территорий региона и русской государственную идентичность его населения[2].

Исследователи, рассматривавшие проблему религиозной интеграции западных окраинных регионов в российское государственное пространство и попытки деполонизации католического богослужения, предпринимавшиеся имперской администрацией в 1860 – 1870-е годы, не могли не затрагивать сюжеты, связанные с дискуссией о русскоязычном католицизме в отечественном консервативном дискурсе, указывая на острые разногласия среди его участников, отражавшие значительные различия в представлениях о путях и методах имперской политики. Если в польской и белорусской националистической историографии данные разногласия трактовались исключительно как разные варианты репрессивной политики, направленной

[1] Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). Минск: Издательство БГУ, 2010.
[2] Там же. С. 386; Сталюнас Д. Польша или Русь? С. 243.

против польской национальности и католической веры, и разновидности русской ассимиляционной программы, реализовывавшейся в отношении белорусского и литовского населения[1], то в более поздних отечественных и зарубежных исследованиях указанная полемика связывается с различными трактовками сущности процесса русского нациостроительства, а расхождения во мнениях относительно целесообразности обрусения костела объясняются различной концептуализацией русскости, связывавшейся участниками полемики либо с доминированием русского языка, либо исключительно с православным вероисповеданием[2].

Следует отметить, что в современном исследовательском дискурсе общественность, наряду с имперской администрацией, предстает в качестве значимого актора процесса выработки идейных основ интегративного курса, реализуемого российскими властями в отношении Северо-Западного края. Причем среди всех направлений русской общественной мысли наибольшее внимание современных исследователей вполне закономерно сосредотачивается на анализе воззрений представителей национально-консервативного или «русского» направления по данному вопросу. Эти приоритеты обусловлено не только повышенным интересом к изучению русского консерватизма в современных политических условиях, но и высокой степенью влияния отечественных консерваторов на управление империей во второй половине XIX – начале XX века.

Воздействие отечественной консервативной доктрины на политику имперских властей в отношении западных окраин империи в контексте изучения русского национализма XIX – начала XX в. рассматривается в

[1] Olszamowska-Skawroñska Z. Tentatives d introduire la langue russe dans les églises latines de la Pologne orientale (1865-1903) // Antemurale. 1967. Vol. 11. P. 47–76; Смоленчук А. Попытки введения русского языка в католическое богослужение в Минской и Виленской диоцезиях. 60-70-е гг. XIX в. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 20. Vilnius. 2002. S. 141–154.

[2] Weeks T. Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the Northwest Provinces after 1863 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2001. Vol. 2. Nr.1. P. 87–100; Крот М.Н. Полемика о введении русского языка в католическое богослужение в отечественном национально-консервативном дискурсе во второй половине XIX века // Научная мысль Кавказа. 2024. № 3 (119). С. 53–62.

работах современного российского исследователя А.А. Тесля[1]. Ученый указывает на наличие во второй половине XIX в. трех основных общественно-политических позиций по национальному вопросу – «катковской» программы, определявшей русских как «имперскую нацию», ключевым критерием принадлежности к которой являлась культура; славянофильской концепции, предполагавшей формирование национального ядра на конфессиональной основе и «валуевской» программы, делавшей ставку на традиционную сословную наднациональную политику[2]. Каждая из данных программ, по мнению исследователя, предлагала особую модель имперской политики в отношении Западного края, учитывавшую интересы различных социальных слоев, в то время как правительство, используя в своей практике отдельные элементы предлагаемых моделей, оказалось не готовым следовать национальной политике, опасаясь за сохранность целостности империи.

Новой тенденцией в историографии является обращение к региональному уровню отечественной общественной мысли, который, с одной стороны, представлял собой интерпретацию и творческое осмысление общих тезисов, вырабатываемых ведущими русскими интеллектуалами, а с другой – добавлял в них неповторимый региональный колорит, обусловленный местной спецификой общественно-политической жизни. Происходит переосмысление творческого наследия и воззрений ряда региональных общественных деятелей, чей интеллектуальный образ перестает быть односторонним, выступая во всей сложности и рельефности их общественной деятельности и творчества[3].

---

[1] Тесля А.А. «Истинно русские люди»: история русского национализма. Москва: Рипол-Классик, 2019; Тесля А.А. Дебаты о народности // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 97–119.
[2] Тесля А.А. Дебаты о народности. С. 104.
[3] Игнатов В.К. Гомоновцы и М.О. Коялович. Pro и Contra // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. 2019. №. 15. С. 77–87; Герасимчик В.В. Проблема идентичности белорусов в научной дискуссии 1863–1864 годов о народонаселении «западной России» // Белорусский исторический обзор. 2020. № 4(1). С. 55–106; Завьялова О.О. В борьбе с «бестактным либерализмом»: А.К. Киркор и газета «Новое время» о последствиях Великих реформ в конце 1860-х – начале 1870-х гг. // Historia Provinciae – журнал региональной истории. 2023. Т. 7. № 3. С. 762–809; Завьялова О.О. Пророссийски ориентированная общественность

Общественно-публицистическая деятельность и идейные представления широкого круга интеллектуалов «русского направления», тесная связь которых с западными окраинами России была обусловлена их происхождением, либо творческими и карьерными траекториями, а также публицистика русских периодических изданий, посвященная национально-окраинной проблематике, анализируется в многочисленных публикациях А.Э. Котова[1]. Исследователь признает, что воззрения многих региональных деятелей национально-консервативной направленности не носили оригинального характера, представляя собой авторские интерпретации, концепций, разрабатываемых и декларируемых крупными русскими идеологами данного направления, справедливо отмечая при этом, что именно региональное и ситуативное преломление указанных идей, а также определенная последовательность в их отстаивании делают их интересными для изучения. Значимость данных публикаций состоит в том, что они позволяют составить более полное представление о региональном уровне отечественного национально-консервативного дискурса, включавшем в себя большое количество разноформатных текстов, посвященных интеграции региона в российское государственное пространство, и интеллектуальную рефлексию в отношении правительственной политики в Западном крае и общей обстановки в регионе.

Развернутая характеристика русских интеллектуальных кругов Северо-Западного края, сосредоточенных в Вильне и представленных преимущественно государственными служащими, являвшимися основными

северо-западного края об актуальных проблемах современности на страницах «Виленского вестника» во второй половине 1860-х гг. // Былые годы. 2024. № 19 (1). С. 219–231.

[1] Котов А.Э. М.Ф. Де-Пуле – редактор Виленского вестника //Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2016. № 2. С. 38–43; Котов А.Э. «Нравственный Кавказ» И. П. Корнилова // Российская история. 2018. № 5. С. 46–59; Котов А.Э. Польский вопрос на страницах «Вестника Юго-Западной и Западной России» (1862—1864 годы) // Научный диалог. 2019. № 8. С. 258–272; Котов А.Э. Национальный вопрос на страницах «Литовских епархиальных ведомостей»: 1860–1880-е годы // Тетради по консерватизму. 2020. № 1. С. 206–219; Котов А.Э. «Заветные принципы» Ивана Кулжинского // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2021. № 1. С. 3–24; Котов А.Э. Западнорусский анабасис Ксенофонта Говорского // Российская история. 2021. № 1. С. 84–101.

носителями русской национально-государственной доктрины и двигателями «русского дела» в регионе, дана А.А. Комзоловой, оценивавшей их деятельность как проявление бескорыстного «национального миссионерства», выходившего далеко за рамки их служебных обязанностей и придававшего им черты, свойственные всей русской интеллигенции[1]. Указывая на высокий уровень политизированности интеллектуальной жизни русского общества северо-западной окраины, сосредоточенной вокруг поиска наиболее эффективных путей ослабления польского влияния в крае, исследователь, с одной стороны, отмечала значительный вклад местных деятелей в формирование концептуальных основ и конкретной программы русификации региона, с другой – фиксировала многочисленные трудности и препятствия в ее практической реализации, обусловленные, не столько противодействием полонизма, сколько неприятием отстаиваемых ими идей многими представителями местной администрации и русского общества, а также уязвимостью их деятельности перед сменой политического курса[2].

Для современной белорусской историографии, сосредотачивающейся на поиске интеллектуальных истоков осмысления и обоснования самобытности белорусского народа, и в этом контексте неизбежно затрагивающей идейные искания центральных и региональных мыслителей второй половины XIX – начала XX века, связанные с историческими судьбами и перспективами Северо-Западного края, характерно все более четко обозначающееся размежевание на прозападное националистическое и более традиционное западнорусское направления. Данное разграничение в значительной степени отражается на оценке общественных позиций и исторических воззрений деятелей, чья судьба и творчество были неразрывно связаны с исследуемым регионом, среди которых наиболее значимое место занимает М.О. Коялович. Диапазон оценок его деятельности колеблется от националистически

[1] Комзолова А.А. «Положение хуже севастопольского»: Русский интеллигентный чиновник в Северо-Западном крае в 1860-е гг. // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 117–141.
[2] Там же. С. 129–133.

ангажированных и, вследствие этого, крайне критических трактовок, зачастую сводящихся к обвинениям в политическом «памфлетизме», «ренегатстве» и служении русскому «великодержавному шовинизму»[1] до более взвешенных научных характеристик, представляющих максимально возможную объективную картину их общественно-политической и научной деятельности[2].

Наблюдаемая персонификация прошлого Северо-Западного края выступает в настоящее время значимой исследовательской тенденцией и закладывает основы для написания полноценной интеллектуальной истории этого региона.

Длительное время правительственная политика в отношении Северо-Западного края и Прибалтики, а также затрагиваемые в контексте ее анализа воззрения представителей русской консервативной общественности относительно данных регионов в отечественной историографии рассматривались изолированно друг от друга, что не позволяло выявить общие черты в осмыслении их особенностей и значения в общей структуре империи, а также общие подходы к их интеграции в российское государственное пространство. Попытки рассмотрения северо-западных окраин России как единого объекта приложения реформационных усилий имперских властей и общественных концепций их развития в символическом пространстве империи предпринимались лишь в рамках отдельных сборников статей путем механического совмещения указанных сюжетов[3]. Однако общность проблем и процессов, происходивших в Северо-Западном

---

[1] Цьвікевіч А.«Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі у XIX і Пачатку XX в. Менск: Навука і тэхніка, 1993; Сташкевич Н.С., Козляков В. Исторический путь белорусского народа // Беларуская думка. 2003. № 10. С. 3–13.

[2] Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно: Б/и, 1998; Теплова В.А. М.О. Коялович и русская православная историография // Коялович М.О. История воссоединения западнорусских униатов старых времен. Минск: Лучи Софии, 1999. С. 385–395; Бендин А.Ю. Граф М.Н. Муравьев Виленский и национальное пробуждение белорусского народа в 60-е гг. XIX в. // Исторический поиск Беларуси. Минск, 2006. С. 53–77; Киселев А. Западнорусизм как белорусское национальное движение [Электронный ресурс]. URL: http://zapadrus.su/zaprus/istbl/81-2010-08-02-14-36-53.html (дата обращения: 07.08.24).

[3] Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004.

крае и в Прибалтийских губерниях обуславливает необходимость сопоставления и общего анализа основных тенденций, характерных для всего северо-западного региона.

Если в предшествующие десятилетия исследователи, занимавшиеся изучением правительственной политики в отношении Остзейского края, сосредотачивались на сюжетах, преимущественно связанных с «давлением» имперского центра на окраинные сообщества[1], то в настоящее время фокус исследовательского внимания все больше переносится на осмысление усилий российской администрации, направленных на поддержку и развитие местных недоминирующих этнических групп, а также представителей титульной нации, оказавшихся на окраинах в положении национального меньшинства.

Данная ситуация, характерная для Прибалтийских губерний, находит свое отражение в ряде публикаций, посвященных характеристике позиции русских прибалтийцев, отстаивавших свои права еще до начала широких правительственных преобразований в крае в эпоху Александра III и росту общественно-политической активности национальной интеллигенции в Прибалтике в условиях расширения публичной сферы в начале XX века[2]. При анализе этнополитических процессов, протекавших в Прибалтике, исследователи все чаще приходят к выводу о том, что положение «угнетаемых» здесь занимало местное русское меньшинство, неоднократно обращавшееся к верховной власти с просьбой защитить свои интересы. Научному анализу подвергается общественная деятельность, творческое и публицистическое наследие забытых в настоящее время подвижников русского дела в Прибалтийских губерниях, в течение многих лет боровшихся за права, как русского, так и местного эсто-латышского элемента, против

[1] Thaden E.C. N.A. Manaseins Senatorenrevision in Livland und Kurland während der Zeit von 1882 bis 1883 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1969. Neue Folge. Bd. 17. H. 1. März. S. 45–58; Russifcation in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914 / Ed. by E.C. Thaden. Princeton: Princeton University Press, 1981.

[2] Богов В.А. Этнополитические процессы в Лифляндии в начале XX в. и их отражение в периодической печати // Вестник Вятского государственного университета, 2016. № 6. С. 23–31.

усиливающего германизма, а также способствовавших распространению русского просвещения в крае[1].

«Остзейский вопрос», активно обсуждаемый в правительственных и общественных кругах во второй половине XIX века, в настоящее время рассматривается исследователями не только в контексте изучения национальной политики самодержавия, но и в рамках выявления роли этнических элит в развитии российской имперской государственности[2]. Спор о сохранении особого статуса остзейцев трактуется как проявление общей дискуссии о перспективах развития империи, пространство которой должно было либо унифицироваться, либо сохранять традиционную для него гетерогенность[3].

Современные исследователи, как и многие современники той эпохи, пытаются разобраться в условиях столь долгого сохранения «остзейского феномена» в структуре Российской империи и определить причины откровенной нерешительности и неэффективности любых попыток российского правительства изменить сложившуюся в крае ситуацию. В первую очередь они объясняются сословной детерминированностью самодержавного строя, существовавшими в течение длительного времени ограниченными стратегическими задачами окраинной политики имперских властей, состоявшими исключительно в поддержании общественно-политической стабильности и порядка, а также двойственным положением центральных властей, вынужденных, с одной стороны, отстаивать общегосударственные интересы, а, с другой – опасаться затронуть традиционные права остзейского сообщества, гарантированные на самом

[1] Седова Г.В. Образование русских женщин в Лифляндской губернии и в Латвии в конце XIX – первой половине XX вв. // На пути к гражданскому обществу. 2022. № 4 (48). С. 39–47; Крот М.Н. «Держаться крепко против напора неметчины…»: письмо Е.В. Чешихина Н.П. Гилярову-Платонову о ситуации в Прибалтийском крае в конце 1870-х гг. // Новое прошлое / The New Past, 2023. № 3. С. 283–296.

[2] Этнические элиты в национальной политике России / Отв. ред. В.В. Трепавлов. Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 477 с. С. 263–292.

[3] Там же. С. 290.

высшем уровне[1]. Анализируя мероприятия по внедрению русского языка в официальное делопроизводство, долгое время не приводившие к положительному результату, ученые приходят к выводу, что неудача многих административных начинаний зависела не столько от энергии и последовательности конкретных чиновников, сколько от общей непродуманности и бессистемности в принятии ряда управленческих решений в отношении края[2]. Вместе с тем отмечается, что политика имперских властей постепенно приобретала системный характер посредством накопления актуальной информации о проблемах региона, осуществлявшегося в ходе известной сенаторской ревизии Н.А. Манасеина, которая стала «ответом» правительства, как на глухое брожение народных масс Прибалтики, вызванное усиливающимися притеснениями со стороны остзейцев, так и на воздействие национально-ориентированной части русской общественности, заявлявшей о «ненормальности» положения Прибалтийской окраины[3].

Авторы многочисленных исследований, посвященных политике имперских властей в Прибалтийских губерниях в последние десятилетия XIX – начале XX века, в настоящее время сосредотачивают свое внимание на ее интеграционных аспектах, указывая на то, что она не ставила перед собой цели «подавления» самобытности местных сообществ и ассимиляции коренного населения, а была направлена, в первую очередь, на сближение региона с центром страны и усиление в нем русских государственных и культурных начал, важнейшим символическим маркером которых выступал

---

[1] Могилевский Н.А. Губернская администрация и местное дворянство в Курляндии в середине XIX в. // Вестник МГИМО-Университета. 2022. 15(4). С. 60–80; Андреева Н. С. Революционный кризис 1905 г. и вопрос о реформах в Прибалтийских губерниях // Петербургский исторический журнал. 2023. № 4 (40). С. 38–52.

[2] Назарова Е.Л. Из истории имперской языковой политики в Прибалтийском крае 60-70-х гг. XIX в. // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2017. № 2. С. 26–40; Нарежный А.И., Дмитриева Н.В. О введении русского делового языка в Прибалтийском крае в 60–70-х годах XIX в. // Научная мысль Кавказа. 2023. № 1. С. 74–82.

[3] Пярт И. Прерванный эксперимент? Политика правительства Александра III в Прибалтийских губерниях // Родина. 2015. № 2. С. 78–80; Дмитриева Н.В., Крот М.Н. «К сожалению, не опору, а сопротивление встречает правительство»: сенаторская ревизия прибалтийских губерний // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 3. С. 851–868.

государственный язык, внедряемый посредством перестраиваемой образовательной системы[1]. При этом российские ученые отнюдь не идеализируют методы, используемые имперскими властями при проведении образовательной политики в Прибалтике, указывая на то, что ее прямолинейность и непродуманность препятствовали формированию открытого пространства русско-балтийского культурного диалога, способствуя росту антирусских настроений в прибалтийском обществе, в особенности среди молодого поколения[2]. Отмечается, что проводимая российскими властями «русификация» образовательной сферы вела к двояким последствиям, не учитываемым правительством, не только приобщая латышей и эстонцев к русским культурным ценностям и выводя их из-под немецкого влияния, но, при этом, также способствуя распространению среди них радикальных левых и узко националистических идей[3], отдаленные последствия чего крайне остро ощущаются в настоящее время.

Рассматривая практическую реализацию политики инкорпорации Прибалтийского региона, исследователи не обходят стороной и конфессиональную сторону этого процесса, которая рассматривается как составная часть «имперской русификации». Изучение механизмов взаимодействия представителей региональной администрации и центральных ведомств, а также активных общественных дискуссий, разворачивавшихся вокруг наиболее знаковых мероприятий в этой области, призванных продемонстрировать первенство русских культурных традиций в регионе, позволяет определить роль, которая отводилась господствующей религии в процессе репрезентации империи в символическом пространстве окраинной

---

[1] Чеботарева В.Г. «Русификация» немецкой школы в Прибалтийских губерниях (XIX век) // Вопросы истории. 2004. № 12. С. 40–55.

[2] Киселева Л.Н. Проблемы конструирования и изучения эстонско-русского культурного пространства // Имагология и компаративистика. №. 9. 2018. С. 5–16.

[3] Богов В.А. Межэтнические противоречия и правительственная политика по вопросам образования в Лифляндии XIX в. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований, 2017. № 3(10). С. 6–20.

территории[1]. Большинство исследователей, занимавшихся данным вопросом, вынуждены признавать неэффективность религиозной политики властей в крае, придававшей православию «политический» характер, что способствовало отторжению от него, как от «русской веры» местного населения, а также вело к дестабилизации ситуации в регионе и негативно отражалось на международном статусе России[2].

Сосредотачиваясь на различных аспектах интеграции Прибалтийской окраины в российское государственное и культурное пространство во второй половине XIX – начале XX века, исследователи, безусловно, не могли не отметить факт общественного воздействия на власть со стороны национально-консервативных кругов российской общественности. Отмечается, что роль последних состояла в формировании необходимого информационного фона и общественного настроения, необходимого для проведения преобразований в крае, разработке программы необходимых реформ и «подталкивании» власти к их более решительному проведению посредством интеллектуального конструирования «угроз» имперской целостности со стороны «остзейского сепаратизма»[3].

---

[1] Гаврилин А.В. Рижская епархия и политика правительства в Прибалтийских губерниях в 60 – 90-х годах XIX века // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 92–115; Берташ А.В. Губернатор князь Сергий Шаховской – выразитель политики императора Александра III в Эстляндии и мемориальная Сергиевская церковь в Пюхтицком монастыре // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 3(8). С. 93–105; Дмитриева Н.В. Сакральная новостройка: Александро-Невский собор в Ревеле и проблема распространения православия в Эстляндской губернии в конце XIX – начале XX в. // Новейшая история России. 2022. Т. 12. № 4. С. 906–924.

[2] Гаврилин А.В. Рижская епархия и политика правительства в Прибалтийских губерниях. С. 113–114; Фриз Г. Религиозная политика Российской империи в Прибалтике // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2017. Том 62. Вып. 4. С. 777–806.

[3] Исаков С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 107. Тарту: Тартуский государственный университет, 1961; Емельянов Е.П. Остзейский вопрос на страницах славянофильских газет (1861–1868 гг.) // Документ. Архив. История. Современность. 2014. № 14. С. 225; Шульгин В.Н. Русские свободные консерваторы XIX века об Остзейском вопросе. СПб.: Нестор-История, 2009. Ширинянц А.А., Фурсова Е.Б. Национально-политическое единство и целостность России в истории русской политики и мысли XIX века (И.С.Аксаков о прибалтийском вопросе) // Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века. Материалы Всероссийской научно-общественной конференции (Великий Новгород, 19 сентября 2012 г.). М.: Научный эксперт, 2013. С. 399–414; Пирожкова Т.Ф. «Страшная книга» Ю.Ф. Самарина. («Окраины России» в восприятии современников) // Вестник Московского университета. Сер.10.

Отечественные исследователи, изучавшие воззрения русских консервативных деятелей в отношении Прибалтийских губерний во второй половине XIX в., признавая их общее стремление к более прочному «слиянию» края с коренными русскими территориями, отмечали заметное расхождение в предлагаемых путях реализации данной цели, обусловленное уже упоминаемым столкновением сословной и национальной моделей развития российской государственности, противостояние между которыми наиболее рельефно проявлялось в отношении видения перспектив развития северо-западных окраин России. В большинстве исследований подчеркивается, что представители национально-консервативного направления, в отличие от своих сословно ориентированных оппонентов, ориентировались на поддержку местных народных масс, в которых видели естественных союзников имперской власти и противовес немецкой элите, противодействующей интеграции края[1].

Несмотря на констатируемую общность позиций представителей «русского направления» по остзейской проблематике, отдельными исследователями выявляются определенные оттенки в их подходах, обусловленные различиями в ценностных приоритетах, лежащих в основе российской имперской государственности. В частности, исследователь Е.П. Емельянов справедливо указывал на то, что если боровшийся против остзейских привилегий М.Н. Катков руководствовался, в первую очередь, необходимостью сохранения государственной целостности России, то его славянофильские единомышленники мотивировали свою позицию обеспечением прав русского народа в империи[2].

Журналистика. 2017. № 3. С. 130–150; Фурсова Е.Б. Славянофильский взгляд на Прибалтийский край // Вестник Университета мировых цивилизаций. 2021. Т. 12. № 2(31). С. 51–57.

[1] Кудряшев В.Н. Русско-немецкое противостояние в Прибалтике в освещении русской публицистики второй половины XIX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 46. С. 13–21; Лебедева Г. Н. Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 274–286; Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917). СПб.: 2020. С. 595–596.

[2] Емельянов Е.П. Остзейский вопрос на страницах славянофильских газет. С. 225.

Значимым этапом в изучении проблем, связанных с особенностями российской имперской государственности и выработкой моделей управления различными окраинными территориями (в том числе и северо-западными окраинными регионами), рассматриваемых в едином контексте с анализом осмысления данных сюжетов в русской общественной мысли, включая и ее национально-консервативный сегмент, стал выход коллективной монографии, подготовленной группой ростовских исследователей Южного научного центра РАН[1]. Исследовательский приоритет в ней переносится с господствующего в научной литературе центр-периферийного подхода, согласно которому управление окраинами Российской империи состояло в усилиях центральной администрации по их подчинению и модернизации практик имперского доминирования, на рассмотрение функциональной, преобразующей роли самих окраин. Данный подход, помимо всего прочего, позволил существенно расширить роль акторов, принимавших участие в выработке концептуальных основ окраинной политики, включив в него, помимо представителей высшей имперской бюрократии, многочисленных региональных чиновников различного уровня, а также общественных деятелей центра и окраин, чье осмысление имперской проблематики и локальных окраинных вопросов, выражаемое при помощи различных нарративов, играло значимую роль в борьбе за выбор политического курса империи на ее окраинах.

Авторы монографии отмечают, что публицистические сочинения, газетные публикации, различные научные изыскания, идеи которых нередко излагались в многочисленных обращениях к власти, создавали возможность разобраться в сущности существовавших проблем и таким образом оказывали влияние на правительственные решения[2]. Значительное внимание в исследовании уделяется участию представителей русской консервативной общественности в теоретическом обосновании политики русификации.

[1] Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли / под ред. А.Т. Урушадзе. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020.
[2] Там же. С. 268.

Разделение данного направления на различные течения, предлагавшие разные модели обрусения и унификации окраин, объясняется сочетанием в отечественной консервативной доктрине имперских унитаристских ценностей с сословно-элитаристскими принципами, отказаться от которых значительная часть русских консерваторов во второй половине XIX – начале XX в. была не готова[1].

Проведенный историографический обзор позволяет сделать ряд выводов, выявляющих общие тенденции и формирование новых исследовательских траекторий в изучении рассматриваемой проблематики.

В первую очередь следует отметить тот факт, что в течение длительного времени исследовательские приоритеты при изучении окраинной проблематики сосредотачивались на рассмотрении различных аспектов управленческой деятельности центральной и местной российской администрации и разнообразных форм реакции на нее местных сообществ. Русская общественная мысль, как центральная, так и региональная, формировавшая «образы нации», конструировавшая концептуальные основы политического курса в отношении национальных окраин, оказывавшая значительное воздействие на общественное мнение и стремившаяся влиять на окраинную политику властей, зачастую оказывалась за пределами исследовательского внимания. В наибольшей степени это относится к отечественной консервативной мысли, претендовавшей на роль идеолога и советника самодержавия в деле сохранения существующего политического строя и имперской модели российской государственности, изучение творческого наследия которой осуществлялось в отрыве от анализа характера и степени его влияния на правительственную политику в отношении окраинных регионов. Наиболее значимым окраинным сюжетом, представленным в отечественном консервативном дискурсе, являлась проблема интеграции северо-западных окраинных регионов в единое имперское пространство, научное рассмотрение которого осуществлялось

[1] Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли. С. 375.

лишь фрагментарно, в контексте решения иных исследовательских задач, в то время как сами консерваторы связывали сохранение целостности империи и возможность ее эволюционного развития именно с успешным решением указанной проблемы.

В настоящее время наблюдается тенденция к преодолению изолированности данных сюжетов и рассмотрению имперской политики в отношении северо-западных окраинных регионов в едином контексте с анализом различных форм общественного влияния, оказываемого на нее.

Проведенный анализ отражения данного направления политики имперских властей и ее осмысления отечественными консерваторами в историографии, помимо всего прочего, способствует выходу на новый уровень понимания общественно-властных взаимодействий в рассматриваемый период, характер и особенности которых определялись ситуативными обстоятельствами и зависели как от персонального состава взаимодействующих акторов, так и от взаимного (не)соответствия отстаиваемых и реализуемых моделей развития окраинных регионов, что позволяет рассматривать их как особую форму субъект–субъектных отношений. При этом он также демонстрирует необходимость комплексного изучения отечественного национального дискурса, связанного с осмыслением Северо-Западного края и Прибалтики, как единого пространства, цельность которого обуславливалась применением в его отношении схожих интегративных практик, а также целостностью его восприятия в русской общественной мысли второй половины XIX – начала XX века. Это позволит составить более полное и точное представление о механизмах формирования имперской политики в отношении данного региона и оценить степень влиянии на нее общественного мнения и во многом формировавших его национально-консервативных кругов.

1.3 Консерватизм как социокультурный и интеллектуальный феномен модернизирующегося общества

Характерным признаком эпохи Нового времени является процесс модернизации, представляющий собой в самом общем смысле ускоренный и в значительной степени целенаправленный переход от традиционных к инновационным формам и структурам жизнедеятельности. Данное глобальное явление включает в себя чрезвычайно многообразный комплекс изменений, начинающихся на ментальном уровне, духовно-интеллектуальной переориентации, неизбежным следствием которой с течением времени становятся трансформации в социальной, экономической и политической сферах жизни общества. Модернизационные изменения в духовной сфере включают в себя переход от преобладания традиционного сознания к инновационному, усиление роли личности в жизни общества, распространение светского характера общественной жизни, преобладание инструментальных ценностей, распространение массовой грамотности, формирование активно-преобразующего психологического склада личности, стремящейся к участию в общественно-политических процессах.

Неотъемлемым признаком данного процесса является растущий интеллектуализм общества, стремящегося осознать сущность происходящих процессов, придать им направленный концептуальный характер, соотнести с неким выработанным идеалом. Характер, особенности и темпы модернизационных изменений во многом зависят от особенностей развития того или иного общества, господствующих в нем традиций, политической культуры, системы социальных отношений. В современной науке выделяется два типа модернизаций, первый из которых обозначается как первичный или органический. Происходящие в его рамках трансформации представляют собой результат удовлетворения основных социальных потребностей и отражают происходящие в общественном сознании изменения. Характерной чертой второго типа модернизации, обозначаемого как неорганический или

догоняющий, является следование неким «идеальным» образцам, воспроизводство и следование которым во многом составляет содержание проводимых в государстве преобразований. Такая вторичность неизбежно приводит к конфликту между инновациями и традиционными ценностями, нарушению исторической преемственности в процессе общественного развития, болезненному восприятию «нового», которое зачастую ассоциируется с «чужим», навязываемым насильно извне.

Естественным ответом общества на подобного рода трансформации является консервативная реакция, направленная на инстинктивное стремление сохранить свою самобытность, идентифицировать и защитить ценности, трактуемые как базовые и фундаментальные, пропуская инновации через своеобразные фильтры собственной культуры. Консервативные ценности превращаются в своеобразный стабилизатор социального развития, формирующий определенные «границы» трансформаций, нарушение которых чревато утратой национальной идентичности и самобытности. По выражению современного исследователя, консервативная идея представляет собой психологический элемент социального иммунитета любого государства, потеря которого делает его беззащитным перед лицом множества дестабилизирующих факторов[1].

Впервые термин консерватизм, как политическое понятие стал использоваться для характеристики политических явлений во времена Французской революции, причем применительно как к сторонникам сохранения революционных завоеваний, так и к защитникам предшествующего политического строя. В англо-американском политическом лексиконе этот термин получил распространение несколько позже – с 30-х годов XIX века, в качестве характеристики определенного рода политических убеждений[2]. Причем именно с этого времени под

[1] Смолин М.Б. Имперское мышление и имперский национализм М.О. Меньшикова // Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М.: «Москва», 1999. С. 5–26. С. 7.
[2] Молчанова Е.Б. Проблема определения понятия «консерватизм» и «неоконсерватизм» в западной и отечественной политологической литературе. М.: ИНИОН, 1994. С. 4.

влиянием господствующих в общественном сознании либерально-радикальных теорий складываются устойчивые негативные коннотации, связанные с определением понятия консерватизм.

В отечественной публицистике традиция крайне негативной оценки консерватизма как антипода прогресса и защитника всего отжившего и костного была заложена революционно-демократическими мыслителями, чьи взгляды в течение долгого времени считались определяющими при характеристике многих явлений действительности. Консерватизм объявлялся фактически антинародным явлением, напрямую связанным с властью и интересами враждебных народным массам господствующих классов. В наибольшей степени данный подход характерен для воззрений «властителя дум» отечественной радикально настроенной интеллигенции А.И. Герцена, не скупившегося на критические отзывы и отрицательные характеристики консерватизма, который изображался им исключительно как препятствие для прогресса и развития. Публицист подчеркивал политическую близорукость консерватизма, который своим слепым и ограниченным стремлением к сохранению status quo, сам способствует разрушению старого порядка, достигая этого, в отличие от революции, «не жарким огнем гнева, а медленным огнем маразма»[1]. Теоретик русского народничества П.Л. Лавров также усматривал в консерватизме исключительно реакционные начала, считая его сторонников однозначными противниками прогрессивных перемен и обозначая их как антиподов прогрессистов[2].

Советская историко-политическая наука в силу ее идеологической направленности практически в неизменном виде восприняла данные характеристики, которые приобрели характер неизменной вневременной данности, закрепленной в соответствующих энциклопедических определениях. Отечественные справочные издания советского периода характеризовали консерватизм как «идейно-политическое течение,

[1] Герцен А.И. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 301.
[2] Лавров П.Л. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 202.

противостоящее прогрессивным тенденциям социального развития», характерными особенностями которого являлись «враждебность и противодействие прогрессу, приверженность традиционному и устаревшему»[1], «вражда ко всему новому, передовому»[2]. В строгом смысле научными такие определения назвать, безусловно, нельзя. В соответствии с господствовавшими в советской науке концептуальными установками, ставился знак равенства между «традиционным» и «отжившим», между «новым» и «прогрессивным». Такой ход рассуждений свойственен представлениям о линейно-поступательном характере развития мировой цивилизации, далеко не всегда находившим подтверждение в реальной жизни.

Сама этимология слова «консерватизм» (от лат. Conservare), буквально означающего «сохранять, беречь, оставлять невредимым, хранить», содержит в себе положительные коннотации и не предполагает какого-либо отрицания или противодействия, ориентируясь на уже имеющееся, проверенное и обладающее определенной ценностью. Современная справочная литература, дающая определение понятия консерватизм, отказывается от негативно-оценочных характеристик данного явления, вытекающих из априорного признания прогрессивности любых радикальных преобразований и обновлений, делая акцент на принципах преемственности и постепенности, лежащих в основе консервативных представлений об общественном развитии. Консерватизм определяется как «идейное течение, настаивающее на постепенности изменения общества с учетом устоявшихся, оправдавших себя во времени органических коллективных ценностей и традиций»[3]. Кроме этого, обнаруживается тенденция к разграничению консерватизма как течения общественной мысли, идеологии и консерватизма как социально-психологического явления, представляющего собой важнейший механизм регулирования деятельности общества, сохранности и развития мировой

[1] Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 273.
[2] Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1980. С. 628.
[3] Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2004. С. 392.

цивилизации, которое Н.А. Бердяев характеризовал как «одно из вечных и онтологических начал человеческого общества»[1]. Консерватизм перестал связываться исключительно с политической сферой жизни общества, зачастую определяясь как «умонастроение, присущее достаточно широким общественным группам, оформленным политическим силам, а также определённым индивидам; оно характеризуется приверженностью традициям, стабильности, упорядоченности, отвергает революционные настроения и с сомнением оценивает реформистские импульсы; такое умонастроение полагает принципиально недостижимым установление разумного социального порядка по заранее намеченному плану; склонение к признанию необходимости «органического» строения обществ и «естественного» его развития»[2]. Однако, такое разграничение в понимании консерватизма проводится далеко не всеми исследователями, что обуславливает наличие различных представлений о природе консерватизма как умонастроения и политической идеологии.

Известный американский философ и политический теоретик С. Хантингтон указывал на существование трех наиболее распространенных подходов к определению характера и сущности консервативной идеологии. Первый из них он называл аристократической теорией, которая связывала консерватизм исключительно с одной конкретно-исторической ситуацией – реакцией сторонников феодального строя на Французскую буржуазную революцию конца XVIII века и вызванные ею перемены в жизни европейского общества, обусловленные развитием либерально-буржуазных отношений. В рамках данной теории консерватизм рассматривался исключительно как мировоззрение аристократических кругов отмирающего феодального общества, стремившихся противодействовать силам и явлениям, угрожавшим его господствующему положению – буржуазии и среднему

[1] Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Институт русской цивилизации, 2012. С. 118.
[2] Политология. Энциклопедический словарь. М.: Изд-во Московского коммерческого университета, 1993. С. 197.

классу, индустриализации и индивидуализму, либеральным ценностям и демократии[1].

Второй подход к определению сущности консерватизма американский ученый обозначает как автономный. Согласно ему, консерватизм не имеет генетической связи с какой-либо исторической эпохой или интересами конкретной социальной группы. Их поддержка обусловлена не социальным статусом индивида, а его внутренними качествами и способностью оценить их как истинные и желаемые. Придерживавшийся данного подхода к определению консерватизма немецкий политолог и философ Г. Кальненбруннер характеризовал его как «вневременную действительную систему универсальных ценностей», стоящую на одном уровне с такими общечеловеческими категориями, как традиция, религия, этика, культура[2]. В рамках данного подхода консервативные ценности не связываются с интересами какого-то определенного общественного класса. Вследствие этого, как считал видный американский консервативный мыслитель, политолог и историк Р. Кирк, носителями и сторонниками консервативных ценностей могут быть представители всех классов и профессий[3].

Третье определение консерватизма Хантингтон называл ситуационным, суть которого состоит в том, что консервативная идеология выходит на сцену в специфических исторических условиях, когда возникает реальная и серьезная угроза разрушения существующей социально-политической системы и ее важнейших институтов. Ее сторонники вынужденно приходят к необходимости выработки защитной идеологии, главным принципом которой является обоснование и утверждение ценности существующих институтов[4].

Данная ситуация характерна для эпохи Нового времени (XVI – XVIII вв.), когда в Европе происходили глобальные изменения, связанные с

---

[1] Хантингтон С. Консерватизм как идеология // Тетради по консерватизму. 2016. № 1. С. 231.
[2] Kaltenbrunner G.-K. Der schwirige Konserwatismus. S. 25.
[3] Kirk R. A Program for Conservatives. Chicago: Henry Regnery Company. 1954. P. 22.
[4] Хантингтон С. Консерватизм как идеология. С. 232.

кардинальной трансформацией общественного мировоззрения и началом формирования нового буржуазно-индустриального общества. В это время традиционный общественный уклад начинает расшатываться новым историческим сознанием, порывающим с традиционализмом «естественных» континуумов. В нем превалирует «доверие к разумному дискурсу, рассматривавшемуся в качестве основы легитимизации любого политического господства»[1]. Движение формирующихся оппозиционных слоев, стремящихся взорвать существующий порядок, приводит к мобилизации консервативного сознания, началу его интеллектуальной рефлексии, в результате чего оно вынуждено осмысливать свою историческую роль в новых исторических условиях, включаться в идейную и политическую борьбу, трансформируясь, таким образом, в определенную идеологическую систему[2].

Именно в силу данных обстоятельств большинство исследователей европейского консерватизма связывают его появление с наиболее знаковыми идейно-политическими противостояниями и конфликтами Нового времени – религиозно-политической борьбой, проходившей в рамках процессов Реформации и Контрреформации[3], Английской революцией середины XVII в.[4], либо, что является наиболее распространенной точкой зрения – с Великой Французской революцией[5].

Однако, на наш взгляд, сводить сущность консерватизма исключительно к его существованию в форме политической доктрины было бы не совсем верно, поскольку данный подход выводит за пределы научного осмысления

---

[1] Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М.: Academia, 1995. С. 62.

[2] Манхейм К. Диагноз нашего времени. С. 194.

[3] Галкин А.А. Консерватизм в идеологической системе координат / Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полис. 1995. № 4. С. 36.

[4] Фёдорова М.Н. Традиционализм как суть общественно-политического проекта консерватизма и обращённость его к проблемам истории / Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полис. 1995. № 4. С. 43.

[5] Репников А.В. Консервативная модель переустройства России // Вестник Фонда развития политического центризма. Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический семинар. Материалы. 2000. № 2 (23). С. 5.

ценностно-мировоззренческие установки, лежащие в основе политической программы консерватизма, содержание которой носит исторический характер и зависит от социально-политических особенностей различных стран. Представляется, что расширительная трактовка консерватизма, включающая в себя понимание его и как стиля мышления, и как комплекса поведенческих социокультурных установок, и как порождаемой ими в определенных исторических условиях политической идеологии, более соответствует реальности.

Большинство зарубежных и отечественных исследователей склоняются к выявлению двух сущностных уровней консервативного феномена. Согласно определению видного немецкого философа и социолога, заложившего основы социологии знания, К. Мангейма, первый из них представляет собой «универсальное» явление, имеющее внеисторический характер и обозначается им как традиционализм. Второе же является результатом определенных общественных и исторических обстоятельств, выступая в качестве сознательного противодействия вызовам и угрозам, покушавшимся на существующий традиционный общественный строй и уклад. Данное явление, представляющее собой консервативную рефлексию, Мангейм называет «сознательным традиционализмом», способным под влиянием внешних обстоятельств оформиться в определенную политическую идеологию или программу[1].

Британский философ и политический теоретик М. Оукшот также рассматривал консерватизм как специфическую психоментальную структуру или «диспозицию», изначально укорененную в человеческой природе, которая выражается в характерном для человека сочувственном отношении к наличному состоянию общественного порядка и критическому восприятию разного рода нововведений, меняющих привычный уклад[2]. Данная трактовка связывает консервативный феномен с человеческой архетипикой,

[1] Манхейм К. Диагноз нашего времени. С. 593, 601.
[2] Оукшот М. Что значит быть консерватором // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 65–90.

выполняющей роль константы в различных социальных обстоятельствах. По мнению британского ученого, в определенных политических обстоятельствах в обществе неизбежно начинают доминировать консервативные настроения, что оказывает влияние на деятельность властей, которая приобретает консервативный характер, причем ее конкретное содержание носит ситуативный характер и не может быть соотнесено с конкретными мировоззренческими, идеологическими или религиозными принципами[1].

Возникновение консерватизма как особой системы «воззрений в отношении окружающего мира, типа сознания и политико-идеологических ориентаций и установок»[2], а также как естественной и культурно обусловленной склонности к сопротивлению переменам в привычном образе жизни, обусловленной особым темпераментом и складом характера, находящем свое выражение в привычках, инерции, страхе перед переменами[3], очевидно нельзя связать с какой-то конкретной исторической эпохой, поскольку данные черты имманентно присущи человеку и обществу.

Данное явление, безусловно, не следует трактовать как консервативный инстинкт или простую особенность обыденного сознания, как это имеет место в ряде исследований[4]. Такое объяснение универсальной сущности консервативного феномена приводит к размыванию его смыслового значения и появлению крайне утрированных трактовок, представляющих консерватизм как «инстинкт, имеющийся и у пещерного человека, довольного своим каменным молотком, или у дикаря, слепо следующего обычаям племени»[5]. Универсальный консерватизм представляет собой сложный механизм, с помощью которого человеческая цивилизация могла закреплять и ставить себе на службу все достижения общества. Более того, сама цивилизация, под которой в самом общем смысле понимается

[1] Оукшот М. Что значит быть консерватором. С. 90.
[2] Современный консерватизм. М.: Наука, 1992. С. 66.
[3] Росситер К. Консерватизм // США: консервативная волна. М.: Прогресс, 1984. С. 36.
[4] Пустарнаков В.Ф. Либеральный консерватизм и либерализм в России XIX – начала XX века: различия и сходства // Либеральный консерватизм: история и современность. М.: РОССПЭН, 2001. С. 16.
[5] O`Sullivan N. Conservatism. London: Dent & Sons LTD, 1976. P. 119.

«развивающийся, но устойчивый в своих типологических чертах и архетипах духовный, социокультурный и хозяйственный этнорегиональный комплекс»[1], представляет собой реальное воплощение консервативных принципов, ибо она фиксирует и сохраняет определенную систему социальных, политических и духовных отношений, спасает общество от «войны всех против всех». Для этого в формирующихся цивилизациях создаются «ограничители» в виде системы права, государства, религии. Консерватизм является духовно-психологической основой этих «ограничителей». По словам современного отечественного исследователя М.Б. Смолина, консерватизм представляет собой «психологический элемент» любого государства, ослабление которого неизбежно ведет к тому, что «государственная организация обезоруживается, чахнет и умирает»[2].

Главной особенностью консерватизма как политической идеологии, отличающей ее от иных идеологических систем, является отсутствие у нее того, что можно было бы назвать сущностным идеалом, твердым и цельным доктринальным ядром, изложенном в виде фундаментального нарратива, подобного работам, излагающим основополагающие положения либерализма или социализма. Теоретическое ядро неконсервативных идеологий постулирует общее видение того, как именно должна быть организована политическая жизнь общества, включая характер распределения власти, формы участия общества в политической жизни, отношения между различными социальными, политическими и экономическими институтами. Характеристика данных явлений осуществляется через призму теоретически сформулированных идеалов, содержащих в себе «требования должного», в соответствии с которыми, согласно данной идеологии, должно проходить общественное развитие. Согласно определению С. Хантингтона, такие идеологии носят идеационный или трансцендентный характер и перманентно содержат в себе некоторую долю радикализма, степень которого в

[1] Патракова В.Ф., Черноус В.В. Русская (Российская) цивилизация // Российская историческая политология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 431.
[2] Смолин М.Б. Очерки имперского пути. С. 201.

отношении существующей реальности зависит от ее соответствия теоретическому идеалу[1].

Консервативный политический идеал, выступающий в форме определенной политической системы, включавшей в себя совокупность «консервативных» политических институтов, по сути, отсутствует, что позволяет охарактеризовать консерватизм как «реактивную» политическую идеологию, представляющую собой не устойчивый теоретический комплекс, а реакцию на конкретные политические или социальные перемены в обществе[2]. М. Оукшотт считал невозможным определение консерватизма как некоего умозрительного набора идей, полагая, что осмысление данного явления возможно лишь через понимание его «нрава» в связи с практическим поведением и отношением к тем или иным событиям[3]. Данная особенность придает содержанию и формам проявления консерватизма ярко выраженный ситуационный характер, содержание которого зависит от особенностей того или иного государства и конкретной общественно-политической обстановки. Единственным общим условием актуализации и существования консервативной доктрины является наличие фундаментальной угрозы устоявшемуся порядку, противостоять которой можно посредством выработки идеологического обоснования закономерности и оправданности сохранения существующего строя.

Недоверие по отношению к разного рода политическим теориям и программам общественного переустройства, направленным на воплощение теоретического идеала в жизнь, является одним из наиболее значимых особенностей консервативного мировоззрения. «Антитеоретичность» консерватизма как политической доктрины отмечали многие зарубежные и отечественные исследователи[4]. Американский историк и политолог К. Росситер вполне справедливо замечал, что «в отличие от радикализма и

[1] Хантингтон С. Консерватизм как идеология. С. 232.
[2] Ионин Л.Г. Консерватизм // Логос. 2005. № 3(48). С. 4.
[3] Оукшот М. Что значит быть консерватором. С. 75.
[4] Гаджиев К.С. Политическая философия. М.: Экономика, 1999. С. 139.

либерализма подлинный консерватор неохотно пускается в теоретические спекуляции…, а само намерение выработать теорию консерватизма является не свойственным консерватизму побуждением»[1]. Вследствие этого, многие приверженцы консервативных воззрений при определении своих позиций отказывались от использования термина идеология, предпочитая такие дефиниции, как «консервативный темперамент», «умонастроение, а не идеология», «система принципов» и т.д.[2].

Консерваторы с большой настороженностью относятся к разного рода политическим теориям, выступая против их абсолютизации и стремления реализовать в чистом виде на практике, что, по их мнению, неизбежно ведет к неоправданному слому существующей системы и серьезным социальным потрясениям[3]. Недоверие к универсальным теоретическим конструкциям, свойственное консервативному мировоззрению, свидетельствует о том, что его носители предпочитали руководствоваться реальным опытом политического и социального бытия, нежели отвлеченными абстрактными схемами, сколь бы логичными и стройными они ни казались. По мнению С. Хантингтона, желаемое и истинное для консерваторов существует не в форме общих утверждений, а в форме результатов конкретного опыта, имеющего гораздо большее значение, нежели все производное «чистого» разума – логика, абстракция, метафизика[4]. Любая завершенная рационалистическая концепция фактически отрицает реальность, игнорирует результаты и достижения практики, не приемлет альтернативы, выступая в качестве идеологической доминанты, внедряемой в жизнь радикальными методами. Характеризуя сущность неконсервативных идеологий, Р. Кирк отмечал, что они представляет собой «совокупность фанатично исповедуемых априорно-секулярных доктрин, цель которых – достижение рая земного». В противоположность им, консерватизм – фактически есть отрицание

[1] Росситер К. Консерватизм. С. 42.
[2] Современный консерватизм. С. 50.
[3] Россия в условиях трансформаций. Вып. 2. М.: Фонд развития политического центризма, 2000.С. 83.
[4] Цит. по: Шацкий Е. Утопия и традиция. С. 399.

идеологии, поскольку он «довольствуется человеком таким, каков он есть, и стремится лишь примирить друг с другом естественные слои общества»[1].

Данная особенность препятствовала превращению консерватизма в универсальную наднациональную идеологическую систему, подобную либерализму или социализму, позволяя ему сохранять тесную связь с исторической самобытностью народа, его отстаивающего. Характеризуя эту особенность, отечественный консервативный мыслитель К.Н. Леонтьев подчеркивал, что, в отличие от либерализма, «везде одинакового», универсального в своей «разрушительности» и враждебности «историческим началам, в дисциплине которых вырос тот или другой народ», охранение у каждого народа свое и «имеет характер более или менее обособляющий»[2].

Долгое время «антитеоретичность» консерватизма не рассматривалась как одна из его специфических черт. Это приводило к тому, что исследователи зачастую пытались самостоятельно «сформулировать» универсальную консервативную концепцию по аналогии с другими мировыми политическими идеологиями, абсолютизируя частные явления и руководствуясь при их выборе господствующими стереотипными представлениями, что порождало искаженное представление о консерватизме в целом и его конкретных проявлениях в различных хронологических и географических локациях.

Отрицая существование консерватизма как конкретной политической системы, обладающей собственными принципами организации социально-политического бытия общества, многие его исследователи в то же время указывали на наличие ряда базовых вневременных принципов, свойственных консервативному мышлению. Сущность этих принципов С. Хантингтон напрямую связывал с основными элементами философской концепции английского мыслителя Э. Бёрка, признаваемого родоначальником консервативной идеологии и «консервативным архетипом», взгляды

[1] Кирк Р. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека // Полис. 2001. С. 145.
[2] Леонтьев К.Н. Передовые статьи «Варшавского дневника» // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Сборник статей. Т. 2. М.: Типо-литография И.Н. Кушнерева и К°, 1886. С. 37.

которого трактовались как «определяющие идейные компоненты консерватизма». К таким принципам относилось признание религии основой гражданского общества, вследствие чего существующий законный социальный порядок должен «пронизываться» божественной «санкцией»; идея о поступательности и органичности общественного развития, в котором «право давности» выступает в качестве «самого веского из всех правооснований»; признание того факта, что истина существует не в форме универсальных положений, а в виде конкретного опыта, опора на который была более правомерной, нежели на разум, логику и абстрактные идеалы[1].

Одним из наиболее важных элементов социальной философии Бёрка, во многом определявшим содержание консервативного мировоззрения, являлось признание превосходства сообщества над индивидом, интересы которого должны подчиняться общественным целям. Философия Бёрка признавала естественное неравенство людей, вследствие чего социальная дифференциация и иерархия рассматривались как неотъемлемые признаки общественной структуры. По его мнению, само существование общества было возможно только благодаря наличию иерархии социальных функций, авторитетов, индивидуальных статусов[2]. Умозрительно-рационалистическому пониманию общества, характерному для эпохи просвещения, английский консерватор противопоставлял идею органичности и сложности социума, который рассматривался им не через призму отдельного человека, а как единый организм. Общественный порядок, по мнению Э. Берка, есть не просто произвольная импровизация, но результат медленного исторического развития.

Одной из главных особенностей воззрений Э. Бёрка, вступавших в противоречие со всем идейным наследием XVIII столетия и впоследствии ставшей неотъемлемой чертой консервативного мировоззрения, являлось

[1] Хантингтон С. Консерватизм как идеология. С. 233.
[2] Берк Э. Размышления о революции во Франции, о прениях в некоторых лондонских обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть отправленным некоему благородному господину в Париж. London: Overseas publ. interchange ltd., 1992. С. 104.

скептическое отношение к разуму и абстрактным проектам общественного устройства. Не отрицая роли разума в поступательном развитии общества, английский мыслитель отмечал, что он находит свое истинное воплощение не в индивидуальном сознании, а в историческом опыте столетий[1]. Позиция Э. Бёрка по данному вопросу представляла собой реакцию на ограниченность либеральной интерпретации разума, не учитывавшей его социальной детерминированности. Несовершенство человеческой природы и ограниченность способностей разума вели к тому, что вполне закономерным представлялось превосходство любой устоявшейся схемы правления, даже и обладающей многочисленными недостатками, перед любым неиспытанным проектом.

Из идеи ограниченности разума в познании основных законов развития социума вытекает один из важнейших принципов общественного развития, отстаиваемый английским консервативным мыслителем – принцип ценностной и институциональной преемственности, соблюдение которого, по его мнению, позволит избежать болезненного разрыва между поколениями и будет способствовать эволюционному развитию общества[2]. Именно преемственность в развитии, по мнению Э. Бёрка, может позволить «сохранять и одновременно реформировать», направляя общество по пути истинного, а не мнимого прогресса, важнейшим условием которого является время и опыт.

Практически одновременно с Э. Бёрком, в странах континентальной Европы появились труды, в которых были заложены основы консервативной теории. Их авторами были французы Ж. де Местр, Л. де Бональд, а также их немецкий единомышленник А. Мюллер. В своих работах они отстаивали корпоративный принцип общественного устройства, в котором частные интересы подчинялись «общему благу», анализировали такие

[1] Берк Э. Размышления о революции во Франции. С. 98–101.
[2] Там же. С. 173.

консервативные понятия, как суверенитет власти, легитимность, авторитет[1]. Большой вклад в становление консервативной теории также внесли такие мыслители и общественно-политические деятели, как А. Токвиль, Б. Дизраэли, Ф. фон Баадер, выработавшие основные принципы консервативной политики и наиболее значимые положения консервативной программы развития государства и общества[2]. Таким образом, к началу XIX века в Европе оформилось консервативное направление общественной мысли, представлявшее собой принципиально новый взгляд на характер и пути развития человеческой цивилизации. Это направление стало результатом многовекового развития консерватизма, как социально-психологического феномена, отвечавшего на актуальные вызовы времени и удовлетворявшего одну из важнейших потребностей общества – сохранение и эволюционное развитие вечных основ человеческого бытия.

Р. Кирк, указывавший на невозможность выявления универсальных консервативных социально-политических форм, тем не менее, признавал, что в основе консервативной практики лежит исторически сложившаяся совокупность «мудрых мыслей», определяющих базовые, вневременные принципы обустройства общества.

В первую очередь, по его мнению, свойством консервативного мышления является признание наличия «трансцендентного морального порядка», выступающего в роли высшего непреходящего авторитета, который можно соотнести с божественной волей. Другой принцип, характеризуемый, как «социальная непрерывность», состоит в необходимости сохранения преемственности в общественном развитии, прерывание которого посредством радикальных преобразований или революций признается недопустимым, какими бы благими целями они не оправдывались[3]. Из этого вытекала необходимость следовать

---

[1] Дегтярева М.И. Понятие суверенитета в политической философии Ж. де Местра // Полис. 2001. № 3. С. 113–122.
[2] Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. Л.: Наука, 1987. С. 35.
[3] Kirk R. The Portable Conservative Reader. New York: Penguin Books, 1982. P. XV.

«предписаниям», представлявшим собой коллективный опыт, складывавшийся в прецедент. Консервативная практика, по мнению Кирка, состоит в предпочтении тех решений, которые уже принимались предшественниками и проходили проверку временем, перед инновационным экспериментированием.

Следующий базовый консервативный принцип определялся американским ученым, как «осторожность». В соответствии с ним общественное развитие должно носить поступательный характер, а все общественные трансформации и преобразования проводиться медленными темпами, обусловленными необходимостью просчета долгосрочных последствий предлагаемых мер и отказа от них в случае выявления угроз или неконтролируемых последствий. Раскрывая данный принцип, Кирк писал: «Поступь Провидения неспешна, а вот дьявол – вечный торопыга»[1].

Неотъемлемым свойством любого общества, по мнению ученого, является «принцип разнообразия», предполагавший дробление общества на различные разряды и классы, находившиеся в неравном положении. Сохранение всевозможных видов социального неравенства, к которому должны стремиться консерваторы, по мнению Кирка, не только позволит сохранить «здоровое общественное разнообразие», но и в большей степени будет способствовать общественному прогрессу, нежели в условиях его преодоления или сглаживания.

Ну и, наконец, заключительным консервативным принципом Кирк считал «принцип несовершенства», который состоит в принципиальной невозможности построения идеальной модели общественного порядка, которая бы удовлетворяла всех членов общества. Социальное несовершенство обусловлено несовершенной природой человека, вследствие чего любая попытка построить утопию неизбежно обречена на провал и катастрофу. По мнению мыслителя, консервативный государственный деятель должен стремиться к построению приемлемо упорядоченного

[1] Kirk R. The Portable Conservative Reader. P. XVII.

общества, в котором, тем не менее, неизбежно будет сохраняться определенное неустройство и зло[1].

Уже упоминаемый К. Росситер также указывал на существование ряда базовых принципов, повсеместно отстаиваемых «умеренными правыми силами, достигшими определенной стадии» развития. Важнейшими из также также признавались существование универсального морального порядка, санкционированного и поддерживаемого религией; признание естественного неравенства людей, из чего вытекала необходимость сохранения неравных общественных классов и групп и признание невозможным социального уравнивания посредством закона; недоверие прогрессу и признание традиционных норм главной движущей силой общественного развития; осознание ограниченности человеческого разума и, соответственно, признание значимости традиций, институтов, символов, ритуалов и даже предрассудков; недоверие к демократии, как к тирании большинства, из чего вытекала необходимость опоры на аристократический элемент[2].

Данный набор принципов в том или ином виде повторялся и многими другими исследователями, пытавшимися обнаружить и сформулировать основы консервативной доктрины, признавая при этом невозможность определения конкретных консервативных политических форм и практик, которые носили бы универсальный характер, что препятствовало его характеристике как мировой идеологии, придавая ему ярко выраженный ситуационный характер.

Консервативные начала, лежащие в основе человеческой цивилизации, безусловно, позволяют не только сохранять и воспроизводить сложившуюся эволюционным путем систему общественных и политических отношений, но и развивать ее в соответствии с существующим в данном обществе религиозно-нравственным мировоззрением и системой общепринятых ценностей. Приоритет охранительных начал и настороженное отношение к

[1] Kirk R. The Portable Conservative Reader. Ibid.P. XVIII.
[2] Росситер К. Консерватизм. С. 42–43.

инновациям, характерные для консерватизма как идейного течения, вовсе означали полного неприятия им необходимости преобразований в обществе.

Для правильного понимания консервативного мировоззрения и вытекающего из него комплекса идеологических установок, следует полностью отказаться от чрезвычайно распространенного, столь же устойчивого, сколь и ошибочного стереотипа, у истоков которого стоят различные политические противники консерватизма, согласно которому он является принципиальным противником любых нововведений, всеми силами стремясь к сохранению статус-кво, либо настаивая на возврате к полностью или частично утраченным формам социально-политического бытия. Еще основоположник европейской консервативной идеологии Э. Бёрк, чьи воззрения до настоящего времени признаются определяющими компонентами консерватизма, подчеркивал, что социально-политический организм, не располагающий возможностями для собственного обновления и изменения, лишен возможности и собственного сохранения[1].

Консервативное мировоззрение стремится к сохранению фундаментальных принципов и основ, конституирующих конкретное общество или человечество как таковое, признавая в то же время возможность и даже необходимость периодических преобразований, затрагивающих внешние формы, структуры и институции существующей социально-политической и экономической системы. Данные преобразования должны были служить главной цели, состоящей в сохранении ее неизменного ценностного ядра, покушение на которое были для консерваторов принципиально неприемлемы. Консервативное мировоззрение признавало объективную подверженность трансформациям различных внешних организационных форм, обусловленным вызовами времени и необходимостью совершенствования и модернизации объекта охранения. Более того, консерваторы могли сами становиться инициаторами данных обновлений или трансформаций, отстаивая их перед лицом своих оппонентов

[1] Берк Э. Размышления о революции во Франции. С. 85.

или верховной власти, если были уверены в том, что они будут способствовать сохранению отстаиваемых ими принципов и ценностей. Приверженность консервативной доктрине, таким образом, не сводилась к абсолютизации принципа сохранения всего сущего и не предполагала слепой и однозначной поддержки всех явлений существующего порядка, ценность которых состояла лишь в том, что они представляют собой реальную практику. Консервативные убеждения не исключали возможности резкой критики реально существующих институтов и практик, которая могла воплощаться в достаточно серьезные преобразования, инициированные консерваторами. Это служит подтверждением тезиса о том, что консерватизм не стремится к одностороннему противодействию любым переменам[1]. Консерваторы стремились лишь к тому, чтобы происходившие перемены носили постепенный и управляемый характер, поскольку здоровое и органическое развитие государственного и общественного организма, необходимость которого они отстаивали, не могло происходить форсировано и непредсказуемо. Своим долгом консерваторы считали не остановку или торможение общественного развития, а формирование «правильного русла», для течения общественной мысли и общественного чувства, в соответствии с которыми оно будет проходить[2].

Допуская необходимость общественных преобразований, консерваторы, в первую очередь, стремились к сохранению преемственности между старым и новым, к органическому характеру проводимых инноваций. Характеризуя прогрессизм консервативного начала, Н.А. Бердяев отмечал, что оно само по себе «не противоположно развитию, оно только требует, чтобы развитие было органическим, чтобы будущее не истребляло прошедшего, а продолжало его развивать. Несчастна судьба той страны, в которой нет здорового консерватизма, заложенного в самом народе, нет верности, нет связи с предками. Несчастлив удел народа, который не любит своей истории

[1] Лукьянов М.Н. Консервативная научная интеллигенция и власть (1907 – 1914) // Власть и наука, ученые и власть: 1880 – начало 1920-х годов. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 343–344.
[2] Сыромятников С.Н. Опыты русской мысли. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1901. С. 73.

и хочет начать ее сначала»[1]. О характере и особенностях консервативного реформизма писал и М.Н. Катков, подчеркивавший, что истинный консерватизм не только не противодействует преобразованиям, но и сам должен стремиться к их проведению «в интересе хранения», следя лишь за тем, чтобы в процессе реформирования не были затронуты сущностные начала, ради сохранения которых и проводились преобразования[2].

Признавая возможность и необходимость изменений в жизни общества, консерваторы предъявляют к ним целый ряд требований: во-первых, преобразования должны были являться ответом на внешние, объективные изменения состояния государства (прирост населения, межгосударственные отношения и т.п.); во-вторых, они должны были представлять собой реакцию на потребности больших масс людей; в-третьих, их проведение должно было быть настолько постепенными, чтобы можно было устранить или избежать побочных явлений негативного характера[3]. Все преобразования консерватизм разделяет на два вида: те, которые, в первую очередь, несут разрушение и лишь вероятность улучшения. М. Оукшотт подчеркивал, что сторонники таких изменений не могут подкрепить их будущую благотворность ничем, кроме логически выстроенных умозрительных конструкций. Эти рационалистические выкладки оказываются важнее реальной продуктивности и значимости упраздняемых институтов[4]. Такие нововведения превращаются в грандиозные эксперименты, где общество, его структуры, институты, деятельность являются лишь необходимыми компонентами для их авторов. Исторический опыт в достаточной степени продемонстрировал, что потрясения, которым подвергается социум в ходе таких экспериментов, гораздо значительнее и глубже, нежели достигнутые ими положительные результаты.

---

[1] Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 133.

[2] Катков М.Н. К какой принадлежим мы партии? // Катков М.Н. Собрание сочинений. Т. 2. Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011. С. 38.

[3] Макаренко В.П. Главные идеологи современности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. С. 61.

[4] Оукшот М. Что значит быть консерватором // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 70.

Другой вид преобразований, более предпочтительный для консерваторов, представляет собой ответ на внешние вызовы, реагирование на какие-либо возникающие трудности или недостатки реальной жизни, ставящие под сомнение существующую систему социально-политических отношений. Наличие данных недостатков для консерваторов отнюдь не означает непригодность существующей системы, для сохранения и совершенствования которой представлялось необходимым проведение «управляемых» преобразований. Так, в частности, наличие некоторых недостатков в системе государственного управления Российской империей вовсе не делало очевидным и неизбежным необходимость демонтажа всей имперской системы и отказа от данной модели государственности не только для титульной нации, но и для других народов, входивших в ее состав. Фиксируемые проблемы и вызовы современности указывали лишь на необходимость совершенствования имперской системы посредством комплекса преобразований, носивших при всей модерной форме отдельных нововведений именно консервативный характер, поскольку их общей стратегической целью являлось сохранение имперской формы государственности.

Консервативная модель модернизации не предполагала разрушение существовавших систем, предоставляя эту прерогативу времени и естественному ходу общественного развития. По мнению ее сторонников, искусственные построения, созданные на месте насильственно демонтированных форм социального бытия, не могут быть прочными. Нововведения, в соответствии с консервативными представлениями, должны лишь постепенно и мягко замещать откровенно архаичные явления более современными, внедрение которых должно придать новый импульс развития сохраняемой системе. Для того, чтобы преобразования, рассматриваемые зачастую как «неизбежное зло», носили как можно менее болезненный характер, консерваторы были убеждены в необходимости присутствия в любом преобразовательном блоке своеобразной «консервативной

составляющей», определявшей соответствие проводимых реформ господствовавшему общественному сознанию и существовавшей модели социальных отношений, вследствие чего можно было избежать наиболее радикальных разрывов с настоящим и наиболее одиозных форм политической практики[1].

Таким образом, можно говорить о приверженности консерваторов особому типу преобразований – «консервативному реформированию», характерными чертами которого является вырастание изменений из потребностей традиционного общества; органический, постепенный характер преобразований; их проведение исключительно верховной властью, которая, тем не менее, может прислушиваться и учитывать в своей политике общественное мнение. Соблюдение этих условий являлось главной задачей консерваторов в эпоху общественной модернизации.

Необходимо провести четкое разграничение между двумя зачастую смешиваемыми друг с другом явлениями – консерватизмом и реакцией. Консерваторы хотя и видели идеальные общественные отношения в прошлом, тем не менее, никогда не стремились перенести их в настоящее и, тем более, в будущее, как это длительное время утверждалось (и продолжает утверждаться) целым рядом исследователей[2]. В консервативном мировоззрении прошлое не противопоставляется настоящему. Необходимо согласиться с польским ученым Е. Шацким, заявлявшим, что истинный консерватизм (в отличие от архаизма) принципиально чужд идее какого-либо возврата[3]. Радикальная реставрация не приемлема для консерваторов, поскольку «реанимированные» таким путем явления не будут способны принимать данность и самостоятельно существовать в настоящем. В отличие от консерваторов, стремящихся к сохранению существующего строя и уклада, а также к строгому соблюдению преемственности в его развитии и совершенствовании, реакционность, по выражению упомянутого

[1] Гаджиев К.С. Политическая философия. С. 353.
[2] Сокольская И.Б. Консервативна ли консервативная революция // Полис. 1999. № 6. С. 119–128.
[3] Шацкий Е. Утопия и традиция. С. 395.

американского исследователя К. Росситера, является позицией людей, которые не столько живут настоящим, сколько вздыхают по прошлому и хотели бы попробовать его вернуть[1]. Несмотря на присущую консерватизму ностальгию по прошлому, его мировоззрение и политическая доктрина достаточно хорошо приспособлена к существованию в реальном мире, на вызовы которого она реагирует при помощи современных средств.

Реакционеры, в отличие от консерваторов, ни при каких обстоятельствах не желают смириться с однажды установленным порядком и готовы даже к насильственным действиям, направленным на его разрушение, чтобы попытаться воссоздать хотя бы отдельные элементы прошлого, что в определенном смысле сближает их с радикальными кругами. В российском консервативном дискурсе данное явление характеризовалось как «революционный консерватизм», под которым понималось стремление к радикальным изменениям существующего порядка во имя сохранения основ прежнего общества. Ю.Ф. Самарин, использовавший это определение для характеристики позиции отечественных охранителей, выступавших за пересмотр результатов Великих реформ, чьи воззрения были изложены генералом Р.А. Фадеевым, подчеркивал, что реакционные намерения в сочетании с революционностью рекомендуемых средств и приемов позволяют «нашим доморощенным псевдоконсерваторам смело потягаться с нашими доморощенными нигилистами»[2]. Ф.М. Достоевский, характеризуя русскую революционность, отмечал ее тесную и внешне парадоксальную связь с охранительным началом, называя себя и своих единомышленников «революционерами от консерватизма»[3].

Сторонниками «революционного консерватизма» являются индивиды, наделенные обостренной социальной чувствительностью, испытывающие потребность преодолеть детерминирующее воздействие современной реальности, сознательно игнорирующие внешние обстоятельства,

[1] Росситер К. Консерватизм. С. 39.
[2] Самарин Ю.Ф. Революционный консерватизм. Berlin: Behr`s Buchhanlung (E. Bock), 1875. С. 2.
[3] Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М.: Современник, 1989. С. 255–256.

искажающие их представления о «должном», стремящиеся оторваться от настоящего времени путем сознательного «подталкивания» исторического процесса, либо путем попыток обращения его вспять[1]. Данные мировоззренческие установки составляют сущность введенного в научный оборот К. Манхеймом понятия «консервативный утопизм», характерными чертами которого является наличие устойчивого представления о «должном» или идеальном устройстве общества, некоем непреложном «модусе существования»[2]. Различные явления и вызовы современности, угрожавшие данному модусу и его нравственным устоям, подвергались резкой критике и вызывали активное противодействие со стороны приверженцев «консервативной утопии», существование которой отыскивается либо в идеализированном прошлом, либо в моделируемом будущем. «Консервативный утопизм» свойственен социальным группам и индивидам, не сумевшим адаптироваться к происходившим переменам, утрачивающим свой привычный социальный статус, не принимавшим новую систему ценностей, порождаемою модерным обществом, рассматривавшим современность как определенную стадию разрушения и деградации привычного общественного порядка, который необходимо сохранить любой ценой, в том числе путем разрушения сакрализующей существующий строй мифологии. Данная тенденция может вступать в прямое противостояние не только со сторонниками более или менее радикальных преобразований, но и с консервативными защитниками существующего порядка, считавшими необходимым его поступательное обновление.

Устойчивые представления об утопизме, как наиболее характерной особенности консервативного мировоззрения, были во многом обусловлены его редуктивным характером, состоящим в существенном упрощении картины мира, описываемого в рамках идеалистической патриархально-

[1] Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М.: Наука, 1982. С. 23.
[2] Манхейм К. Диагноз нашего времени. С. 194–200.

архаичной системе координат[1]. Ему свойственна значительная мифологизация реальных персонажей и образов, обусловленная особым пониманием истинного, к которому относилось только то, что в соответствии с религиозными или этическими канонами считалось высоко моральным и нравственным[2]. В результате происходило формирование идеалистической картины мира, на основе которой строились соответствующие консервативные модели социально-политического развития общества, подвергавшиеся критике с позиции усиливавшихся в эпоху Нового времени либерально-рационалистических ценностей.

Несмотря на то, что черты утопизма был присущи многим идейным построениям русских консерваторов, представляется неоправданным его полное соотнесение с отечественным консерватизмом, имевшее место в некоторых исследованиях[3]. Определенный идеализм, свойственный социальным и политическим воззрениям русских консерваторов, не отрывал их от действительности и не препятствовал осознанию необходимости и неизбежности социальных трансформаций, побуждая разрабатывать собственную концепцию развития России в соответствии с новыми явлениями и вызовами современности. Более того, в рамках имперского дискурса, отечественные консерваторы выступали сторонниками и инициаторами обширных преобразований, направленных на модернизацию имперской государственности, что позволяло не только сохранить ее в условиях надвигавшейся эпохи модерна, но и открывало перед ней дальнейшие перспективы развития.

Консерватизм, как социокультурный и политический феномен присущ всем обществам, вступившим в эпоху модернизации. Не являлась исключением в этом отношении и Россия, переживавшая на всем протяжении

---

[1] Суслов М.Д. Принцип редукции картины мира в славянофильской утопии С.Ф. Шарапова // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 4(9). С. 65.

[2] Колосков А.Н. Назад к будущему: о консервативном дискурсе // Studia Culturae / 2011. № 13. С. 96.

[3] Суслов М.Д. Эволюция консервативной утопии в России в XIX веке // Вестник Пермского университета. История. 2003. Вып. 4. С. 85.

эпохи Нового времени стремительно ускорявшиеся модернизационные процессы, охватывавшие все сферы жизни общества. Модернизация социокультурной сферы, ставшая результатом, как правительственной политики, направленной на просвещение российского общества, так и следствием стихийных и естественных явлений духовного и интеллектуального развития социума, способствовала формированию в стране элементов гражданского общества, политического и национального самосознания, идей общественного переустройства, новых общественных институтов и практик. Данные процессы способствовали постепенному формированию достаточного тонкого в численном отношении слоя мыслящей, пишущей и читающей публики, который не может быть выделен в отдельную социальную страту, в силу включенности его представителей в формализованные сословные и государственные структуры. Представители данного круга людей формировали публичную сферу, представляющую собой «виртуальное пространство», в котором обсуждались социально значимые проблемы, формировалось общественное мнение, конструировались и переопределялись коллективные идентичности[1]. Являясь порождением европейского вектора общественного развития, этот круг обладал способностью аккумулировать идеи и формулировать ответы на вызовы европейской цивилизации «модернити».

Понятие «общественность», введенное в отечественный публичный лексикон А.Н. Радищевым и Н.М. Карамзиным на рубеже 1780 – 1790-х гг., первоначально имело достаточно размытое содержание, связывавшееся либо с общественным мнением, либо с гармоничными взаимоотношениями, установившимися среди людей[2]. Современный исследователь В.Я. Гросул,

[1] Малинова О.Ю. Общество, публика, общественность в России середины XIX – начала XX века: отражение в понятиях практик публичной коммуникации и общественной самодеятельности // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. I. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 430.

[2] Завьялова О.О. «Мыслящий класс»: понятие «общество» и «общественность» в публичном дискурсе Российской империи и историографии // Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли. Словарь понятий. Ростов-на-Дону. Издательство ЮНЦ РАН, 2020. С. 62.

опираясь на триаду «власть-общество-народ», трактует общественность, как особый социальный организм, дистанцированный, как от власти, так и от широких народных масс, представители которого, благодаря своему социальному положению и образовательному уровню, могли активно участвовать в общественной жизни страны[1]. По мнению Б. Н. Миронова, под общественностью следует понимать организованную, сознательную часть общества, обладавшую собственным представлением о путях развития страны, мнение которого учитывалось верховной властью при проведении государственной политики. В социальном отношении в ее состав входили представители верхних слоев российского общества – дворянства, духовенства, отдельные представители торгово-промышленных кругов[2].

Невозможность выделить общественность как особую социальную прослойку, имевшую определенный статус в структуре российского общества, аналогичную «гражданским обществам» европейских государств в отношении причастности к власти через представительные институты, привела к сомнению ряда исследователей в целесообразности употребления данного понятия приметительно к российским реалиям и объявлению его «мифологизированным образом», представлявшем собой «очевидный пропагандистский продукт либерального мировоззрения пореформенной эпохи»[3]. Не отрицая определенных оснований для возникновения данного подхода, следует заметить, что односторонняя привязка понятия «общественность» к социально-политической структуре российского общества без учета происходивших в нем духовно-интеллектуальных процессов в значительной степени выхолащивает действительность XIX столетия и представляется неприемлемой.

---

[1] Гросул В.Я. Русское общество XVIII – XIX веков. Традиции и инновации. М.: Наука, 2003. С. 497.

[2] Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т.2. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 210–211.

[3] Андреев Д.А. Размышления американского историка о «Сценариях власти в царской России» // Вопросы истории. 2003. № 10. С. 107.

Следует отметить, что социально-политическая позиция передовых кругов русской общественности во многом обуславливалась особенностями самого самодержавного строя, в котором долгое время отсутствовали институциональные каналы общественного участия во внутриполитической жизни страны, и для которого было характерно крайне недоверчивое отношением к любым, даже верноподданническим, проявлениям самостоятельной гражданской инициативы. Описывая «взаимодействие» власти и русских литературно-публицистических кругов во второй четверти XIX века, наблюдательный современник, литератор и журналист И.И. Панаев писал: «Правительство не только не чувствовало необходимости в пособии литературы, но оно одну мысль об этом сочло бы до крайности дерзкою. Если бы оно узнало, что самовластие его осмеливаются укреплять на каких-то философских формулах, оно наверное бы зажало рот своим непрошенным защитникам… Считаться в это время монархическим публицистом не было никакой выгоды»[1]. Данную оценку подтверждал сам император Николай I, неоднократно указывавший верноподданной общественности ее «место» и заявлявший: «Ни бранить, ни хвалить наши учреждения не согласно с порядком, у нас, к счастию, существующим. Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя»[2].

Во многом, в силу данного положения, одной из характерных черт российской общественности являлось достаточно критическое отношение к верховной власти. Передовые представители образованной части общества, безусловно, стремились не к ниспровержению или ограничению верховной власти, а лишь оспаривали ее исторически сложившееся в России исключительное и монопольное право на выражение интересов населения страны[3]. Необходимо отметить, что данная особенность была характерна не только для либеральной или радикальной общественности, но и для

[1] Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Правда. С. 281.
[2] Цит. по: Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика. М.: Прогресс-традиция, 2000. С. 170–171.
[3] Самоорганизация российской общественности в поледеней трети XVIII – начала XX в. Москва: РОССПЭН, 2011. 886 с. С. 9.

консервативных кругов, воззрения которых по многим вопросам расходились с проводимой верховной властью политикой.

Российское общество, к XIX веку значительно выросшее в интеллектуальном и культурном отношениях, постепенно переставало быть безучастным и безмолвным наблюдателем и объектом происходящих в стране процессов и трансформаций. Его просвещенные круги стремились не только высказать свое отношение к окружающей их реальности, но и повлиять на нее, оказывая интеллектуальное воздействие на власть и широкие народные массы. Русская общественная мысль постепенно превращается в мощный фактор социальной жизни, который уже не мог быть игнорируем властью. Постепенно расширялся круг рассматриваемых ею вопросов, происходило усложнение концепций, поднимаемых и затрагиваемых в интеллектуальных кругах общества. Происходило неизбежное нарастание идейной дифференциации в общественной мысли, проявлявшееся в формировании различных направлений, предлагавших собственную концепцию социально-политического и экономического развития государства и общества. Неизбежным следствием модернизационных процессов стало превращение консерватизма из «дорефлексивной» культурной традиции в самостоятельное идейное направление русской общественной мысли с собственными теоретическими основами, мировоззрением, специфическим отношением к различным явлениям окружающей действительности.

Становление отечественного консерватизма как идеологической системы происходило в первой половине XIX века, когда он, несмотря на нечеткость представлений его сторонников, многочисленные идейные противоречия между ними, а также замкнутость в узком кругу интеллектуалов, тем не менее, все более отчетливо заявлял о себе, начиная оказывать определенное воздействие на правительственную политику и

превращаясь в ее идеологическое основание[1]. Наиболее видными представителями данного направления общественной мысли, чьи нарративы, высказывания и мнения, изложенные, в том числе, в ходе полемики с их идейными оппонентами, способствовали формированию отечественного консервативного дискурса, в этот период были Н.М. Карамзин, А.С. Шишков, М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Н.И. Греч, Ф.И. Тютчев, а также значительное количество менее видных литераторов, публицистов и ученых, по разным мотивам придерживавшихся консервативных убеждений. Самоидентификация данного сегмента российской общественности осуществлялась не столько через комплекс их социально-политических воззрений, сколько посредством общей идентификации «угроз», связываемых преимущественно с «разлагающим» влиянием западных либеральных учений и идей, вследствие чего «антизападничество» стало основным стержнем их внутригрупповой общности. Национально-охранительные приоритеты, выраженные в определении себя как «русской партии», являлись главным связующим звеном в развитии отечественной консервативной доктрины первой и второй половин XIX столетия.

Чрезвычайно широкая трактовка понятия идеология, переживающего в последнее время существенную реконцептуализацию, а также значительная степень условности выделяемых идеологических типов, разграничение которых велось через призму классической либеральной модели публичной сферы, в которой доминировали рационально-критические формы коммуникации, слабо отражавшие реальную картину действительности[2], создает значительные затруднения, связанные с использованием данного определения по отношению российским реалиям XIX столетия. Рассмотрение идей в отрыве от порождавшей их и трансформируемой ими

[1] Минаков А.Ю. Русский консерватизм первой четверти XIX в. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. С. 450; Минаков А.Ю. У истоков русского консерватизма: «русская партия» первой четверти XIX в. // Tractus aevorum: эволюция социокультурных и политических пространств. № 1. Т. 1. 2014. С. 76.

[2] Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука. 2003. № 4. С. 27–29.

реальности, совокупности форм их репрезентации, сложной системы социальных коммуникаций, посредством которых они превращались в политическую реальность, не позволяет раскрыть всю сложность и многообразие интеллектуально-коммуникативных процессов, происходивших в России в этот период. Исходя из этого, при описании отечественного консерватизма представляется целесообразным применение широко распространенного в современной гуманитарной науке понятия дискурс, включающего в себя не только идейно-мировоззренческую составляющую, но и различные формы ее репрезентации и социально-коммуникативного бытия.

Консервативный дискурс представляет собой совокупность нарративов разной жанровой и адресно-целевой направленности, обладающих общественно-политической актуальностью. В их основе лежит единая концептуально-идейная платформа, построенная на базовых ценностях, характеризуемых в конкретный период времени как консервативные. Их целью является аргументированное внедрение консервативных идей, первоначально, в сознание читающей публики, а со временем – и широких масс населения, а также в представление государственных деятелей, ответственных за принятие управленческих решений, посредством стратегической речевой и письменной деятельности, направленной на практическое воплощение в жизнь консервативных моделей общественно-политического и экономического развития.

Диалектическая двойственность отечественного консерватизма состоит в том, что, с одной стороны, он был интеллектуальной реакцией на происходившие в обществе трансформации, зачастую выступая по отношению к ним в качестве некой «охранительной оппозиции» или даже «фронды». С другой стороны, русский консерватизм сам был порождением модернизационных трансформаций, происходивших в России в эпоху нового времени, поскольку основывался во многом на европейском интеллектуальном и философском опыте, который стремился адаптировать к

российским реалиям. В силу этого отечественный консерватизм не следует считать простым идейным «тормозом», противостоящим любым нововведениям, либо односторонним защитником «того, что уже есть».

Русские консерваторы стремились «модернизировать, сохраняя»; совершенствовать различные стороны реальности, сберегая базовые ценности отечественной цивилизации. Как и любая концептуальная доктрина, консерватизм не оставался неизменным, видоизменяя конкретное содержание своих идей под воздействием происходивших в обществе изменений.

Несмотря на отсутствие институциональных структур, аккумулировавших и представлявших консервативную идеологию, во второй половине XIX века складывается устойчивый круг интеллектуалов, в который входили представители, как государственной власти, так и широких кругов общественности, выработавшие своеобразный консервативный проект модернизации, многие положения которого были приняты на вооружение верховной властью и реализовывались в рамках внутриполитического курса пореформенного самодержавия. В этот период происходило стремительное развитие и расширением отечественного консервативного дискурса. В его рамках происходило обсуждение наиболее актуальных вопросов развития российского государства и общества, таких как характер и направленность внутренних реформ, проблема унификации национальных окраин. В контексте обсуждения этих и многих других вопросов формировалась совокупность нарративов соответствующей идейной направленности, осуществлялась устойчивая идейная коммуникация, оказывавшая значительное влияние на характер общественных настроений и содержание управленческих моделей, используемых верховной властью.

Одним из ключевых идентификационных маркеров отечественного консервативного мировоззрения являлось отношение его носителей к общественному прогрессу и понимание его сущности. Вопреки устойчивым

стереотипам, подпитываемым размышлениями консервативных мыслителей о теневых сторонах стремительного научно-технического прогресса, его морально-нравственной «цене» и возможных социальных последствиях[1], отечественные консерваторы, безусловно, не являлись однозначными противниками идеи прогресса. Они лишь стремились к отказу от его односторонней либерально-универсалистской трактовки, настаивая на особых, «охранительных» методах его осуществления[2].

Миссия охранения традиций, возложенная на себя консерваторами и занимавшая в их мировоззрении значительное место, сама по себе не противостояла новациям, не отрицая их в принципе. Русский консерватизм, в отличие от «чистого» традиционализма, безусловно, не представлял собой реакцию вегетативного существования, отвергавшую все «иное» на рефлекторном уровне. В общем модернизационном потоке, который русские консерваторы не могли не признавать, они стремились выделить основополагающие традиции в массиве непосредственного нерасчлененного опыта и следить за тем, чтобы происходящие преобразования не исказили их. Приоритет традиций над инновациями, характерный для консервативного мировоззрения, находил свое проявление в почитании церкви, культе армии, школы и семьи, то есть тех общественных институтов, которые представляли собой хранителей и проводников традиций и традиционных ценностей[3]. Ценностной основой консервативной доктрины общественного развития являлась религия, которая придавала смысл истории и существованию отдельной человеческой личности.

Основу консервативного понимания прогресса составляло устойчивое представление о примате ценностей духовного характера над материальными интересами. Человеческий дух, воплощенный в его характере, согласно представлениям отечественных консерваторов, являлся основным

[1] Репников А.В. Консервативные модели российской государственности. С. 126–129.
[2] Раков В.П. К.П. Победоносцев в контексте политического модерна // Интеллигенция и мир. 2004. № 1/2. С. 75–99.
[3] Минаков А.Ю., Репников А.В. Консерватизм в России // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: энциклопедия. М.: РОССПЭН, С. 6.

движителем мировой истории и всей реальной жизни[1]. Соответственно, именно развитие человеческого духа, его всестороннее совершенствование и составляло суть прогресса, как поступательного движения к совершенству.

Консервативное представление о прогрессе было во многом противоположным его сугубо рационально-материалистической и либерально-буржуазной трактовке, преобладавшей в европейском общественном сознании XIX столетия. Русские консерваторы отвергали весь либеральный пафос прогресса, как линейно-поступательного движения, основным содержанием которого являлось непрерывное удовлетворение растущих материальных потребностей и стремление к глобальному социальному переустройству. Данная модель развития, по их мнению, не содержала в себе никакого созидательного начала, способствуя социальной деградации и разрушению существующей системы ценностей. Отечественные консервативные мыслители считали, что ориентация общественного развития исключительно на улучшение внешних условий быта неизбежно приведет к тому, что непрерывные преобразования станут самоцелью, рассматриваясь как необходимое и перманентное условие существования человеческого общества вне зависимости от их содержания. Данный вектор общественного развития, по их мнению, не только не способен улучшить человеческую природу, но, напротив, ведет к измельчанию помыслов, интересов, стремлений, развращению общества, его духовной деградации[2]. Выступая со своей речью на заседании Совета министров 8 марта 1881 года, на котором стоял вопрос об утверждении проекта М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей общественности к работе высших органов власти, а шире – о продолжении либерального реформирования страны, один из «столпов» русского консерватизма, Обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев подчеркнул, что именно такое ложное, с его точки зрения, понимание общественного

[1] Победоносцев К.П. Дела и дни // Московский сборник. М.: Синодальная типография, 1897. С. 330–331.
[2] Там же. С. 315.

прогресса, лежавшее в основе либеральных преобразований, стало причиной морального разложения русского общества, символическим проявлением которого стало злодейское убийство Государя[1].

Перманентные социальные трансформации, ошибочно трактуемые как прогресс, по мнению другого видного консервативного мыслителя Л.А. Тихомирова, зачастую обусловлены не непригодностью существующих явлений, а стремлением воплотить в жизнь абстрактные теоретические построения, направленные на создание «совершенного» общественного строя, что сопровождается болезненной ломкой привычного уклада, социальными потрясениями и жертвами, в то время, как истинный прогресс состоит не во внешнем изменении институтов, а во внутреннем совершенствовании человеческой личности[2].

Наиболее последовательным и принципиальным противником оптимистической веры во всемогущество буржуазного прогресса среди отечественных консерваторов являлся К.Н. Леонтьев, настаивавший на необходимости его пессимистической оценки, поскольку оптимистически-благодушная вера в прогресс, по его мнению, постепенно неизбежно вытеснит веру в Бога[3]. При этом, следует подчеркнуть, что Леонтьев, как и другие русские консерваторы, признавал закономерность и неизбежность прогресса, отрицая лишь исключительное доминирование в нем «ложных» европейских принципов, таких, как «утилитарно-эвдемоническое, всеполезное благоденственное направление реальной науки», а также его либерально-эгалитарное направление[4]. Европейский утилитаризм, распространение и прямое насаждение которого именовалось прогрессом, по мнению консервативного мыслителя, есть явление прямо ему противоположное, поскольку он нивелирует «цветущее разнообразие»

---

[1] Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1878–1883). М.–Л.: Гос. изд., 1927. С. 39–40.
[2] Тихомиров Л.А. Борьба века // Русские философы (конец XIX – середина XX века): Антология. Вып. 2. М.: Книжная палата, 1994. С. 200–201.
[3] Репников А.В. Консервативные модели российской государственности. С. 122.
[4] Чернавский М.Ю. Религиозно-философские основы консерватизма в России. Мэ: Российский заочный институт текстил. и лег. пром-сти, 2004. С. 67–69.

культурных, политических, нравственных ценностей, достигнутых человечеством, что вызывает неизбежную инволюцию к варварству, примитивизму. Мыслитель был убежден, что человечество, дойдя по этому пути до полного абсурда, неизбежно погибнет либо путем постепенного вымирания, либо в результате глобальной техногенной катастрофы, произошедшей вследствие «прогрессивного физико-химического баловства своего»[1].

Консервативное понимание прогресса, отстаиваемое Леонтьевым, не признавало наличие его органической связи с либерально-демократическими ценностями и расширением «свободы» и «равенства», отмечая, что «истинно великое, высокое и прочное», достигнутое человечеством, может быть выработано исключительно в иерархической среде, «благодаря разнообразию положений, воспитания, впечатления и прав», объединенной верховной авторитетной властью[2].

Следует отметить, что неприятие эгалитарной идеи всеобщего равенства, лежащей в основе либерально-радикальных проектов общественного переустройства является общим свойством консервативного мировоззрения. Иерархизм консервативного сознания обуславливал убежденность его носителей в том, что идея равенства коренным образом противоречит естественным природным законам бытия, в основе которых лежит принцип разнообразия и различия способностей и возможностей. Русские консерваторы отстаивали принцип сословно-корпоративной социальной стратификации как наиболее естественной формы общественного бытия, обеспечивавшей устойчивость существующей политической системы. По мнению К.Н. Леонтьева, сословность, в основе которой лежал фундаментальный принцип «неравноправности» людей и классов, является для благополучного существования и развития государственности даже более важным условием, нежели монархия.

[1] Леонтьев К.Н. Избранные письма. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 501

[2] Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872 – 1891). М.: Республика, 1996. С. 379.

Последняя, по мысли консервативного мыслителя, могла существовать долговечно, только опираясь на прочные сословные ступени, стоящие между Престолом и «своекорыстными, страстными, глупыми, подвижными и легко развратимыми простонародными толпами», представители которых были просто не в состоянии пользоваться теми правами, которыми могут обладать представители высших сословий[1].

Революционному пути развития, к которому призывали не только радикалы, но и либералы, понимавшие прогресс как стремительную ломку привычного уклада жизни, решительные социально-политические преобразования, проводимые в соответствии с умозрительной программой обновления, вызывавшие общественную дезориентацию, деморализацию общества и стремительный упадок морали и нравственности, консерваторы противопоставляли эволюционную или консервативную модель прогресса, носившую органический характер. Отстаивавший ее М.Н. Катков подчеркивал, что «истинно прогрессивное направление должно быть, в сущности, консервативным», поскольку «всякое преобразование, всякое усовершенствование может происходить только на основании существующего с сохранением всех его сил, всех его значительных элементов»[2]. Редактор «Московских ведомостей» доказывал ошибочность тезиса, согласно которому неизбежным элементом прогресса является разрушение и насильственное изгнание из общественной жизни каких-либо существовавших в нем начал, которые неизбежно воспроизведутся в какой-либо новой, вероятнее всего, более уродливой форме. Катков настаивал на «позитивном», созидательном понимании прогресса, задача которого состояла в предоставлении каждому свойственному нормальному развитию общества началу «соответствующего положения и должных пределов», ограниченных законами[3]. В его понимании консервативное измерение прогресса не исключало широких преобразований различных сфер

[1] Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. С. 682.
[2] Катков М.Н. К какой принадлежим мы партии? С. 35.
[3] Там же. С. 36.

общественной жизни. Консервативный публицист строго разделял «общественные формы», которые могут и должны меняться с течением времени, и «начала», понимая под последними системообразующие принципы и ценности общественной жизни, являвшиеся истинным предметом охранения консервативных сил. Мыслитель писал: «Чуткий, понимающий себя консерватизм не враг прогресса, нововведений и реформ; напротив, он сам вызывает их в интересе своего дела, в интересе хранения, в пользу тех начал, которых существование для него дорого; но он с инстинктивной заботливостью следит за процессом переработки, опасаясь, чтобы в ней не утратилось чего-либо существенного»[1].

Данное понимание прогресса отстаивали и многие другие русские консервативные мыслители. Консервативную сущность истинного прогресса выделял также Л.А. Тихомиров, писавший, что «между *прогрессом*, насколько он существует в действительности, и *консерватизмом*… (курсив автора – М.К.), нет решительно никакой противоположности», поскольку они составляют органическое единство жизнедеятельности, вследствие чего основу прогресса должно составлять не разрушение, а поддержание жизнеспособности существующих явлений»[2]. Несколько позднее схожие мысли высказывал и видный консервативный публицист М.О. Меньшиков, утверждавший, что истинный прогресс, как здоровое развитие, отрицает радикальную ломку государственного и бытового строя, неизбежно приводящую к регрессу. Новые явления не могут возникнуть по команде преобразователей, вооруженных хотя бы самой передовой теорией, а должны естественным образом вызреть и корениться. Публицист указывал, что прогрессивным является только то, «что жизненно и что дает наибольшее количество блага. Эволюция в природе вообще идет стихийным, а не

[1] Катков М.Н. К какой принадлежим мы партии? С. 38.
[2] Тихомиров Л.А. Борьба века. С. 218.

катастрофическим путем: чрезвычайно осторожным нащупыванием условий и медленным их синтезом»[1].

Отечественный консервативный дискурс второй половины XIX – начала XX в., представленный совокупностью нарративов различного характера, отражавших воззрения многих представителей русской государственной власти и общественности, включал в себя множество сюжетов, относившихся к различным сторонам окружающей действительности, прошлого и будущего. Под влиянием неизбежной идейной эволюции его представителей, а также множества внешних факторов конкретное их содержание могло претерпевать определенные трансформации, не приводя, однако, к изменению постоянных констант консервативной доктрины, составлявших ее социально-политическую и мировоззренческую основу и служивших критерием ее отделения от других течений общественной мысли.

К таким неизменным принципам отечественного консерватизма рассматриваемой эпохи современные исследователи относят отстаивание незыблемости самодержавия в России, представлявшегося не только оптимальной для страны формой политического устройства, но и религиозно-мистическим идеалом реализации принципа власти на земле, необходимость защиты и укрепления которого допускала проведение преобразований в рамках существующей системы, являвшихся ответом на вызовы времени; наличие концептуальной религиозной (православной) константы, обусловленной идеократическим характером консервативного мировоззрения; характеристику общества как сложной корпоративной системы, неотъемлемым элементом которой является социальная иерархия, обусловленная естественным неравенством человеческих способностей и возможностей; социальный пессимизм, предполагавший скепсис в отношении результатов возможных изменений общественного строя; ориентация на развитие духовной сущности человека, что обусловило особое

[1] Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М.: «Москва», 1999. С. 312.

внимание к образовательной системе и печати; стремление к сохранению исторических традиций и преемственности поколений[1].

Помимо этого, одним из ключевых признаков отечественной консервативной доктрины является всесторонняя критика идеологии европоцентризма, подразумевавшая отказ от идеализации европейской идентичности и абсолютизации философских положений, отстаивающих на основе рационалистической концепции прогресса преимущество европейской цивилизации и присущих ей ценностей над иными, в том числе, и российскими. Данная критика, выстраиваемая на различных теоретических основах, в значительной степени способствовала складыванию в среде русской интеллигенции феномена «просвещенного национализма», возникновение которого на рубеже XVIII – XIX веков являлось отражением формирования русской национальной идентичности[2]. Именно в процессе формирования теоретических основ отрицания европоцентристской идеологии во многом происходило идейное становление русского консерватизма, включавшего в себя широкий спектр философских концепций, лежавших в основе интеллектуального оформления социокультурной идентификации России[3].

Ко всем выше перечисленным идейным константам отечественного консерватизма необходимо также добавить то, что его представители являлись последовательными и принципиальными сторонниками сохранения и укрепления целостности и единства российской имперской государственности, однозначно отрицая возможность существования каких-либо автономных образований в ее структуре и выступая за преодоление свойственной Российской империи гетерогенности посредством всесторонней унификации государственного пространства и активной

---

[1] Реформы в России с древнейших времен до конца XX в. Т. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2016. С. 414–415.

[2] Погодин С.Н. Фенномания и процесс становления национального сознания в Российской империи в XIX веке // Международные отношения и диалог культур. 2015. № 3(2014). С. 347.

[3] Осипов И.Д. Философская критика идеологии европоцентризма в русском консерватизме // Россия в Глобальном Мире. 2016. № 8 (31). С. 545.

интеграции национальных окраин. Хотя сторонниками сохранения «единой и неделимой» России выступали представители и других направлений отечественной общественной мысли, именно в консервативном дискурсе данная концепция была неизменно связана с имперской моделью государственности, основанной на самодержавно-монархическом принципе. При этом, несмотря на то, что на рубеже XIX – XX вв. русский консерватизм стал приобретать национально-религиозную окраску, в его рамках не сформировалась собственная в достаточной степени разработанная доктрина русского этнического национализма, на что указывал Л.А. Тихомиров, отмечавший, что современный ему русский национализм представлял собой, скорее «слово», чем «понятие»[1]. Подавляющее большинство отечественных консерваторов не видело перспектив превращения многонациональной Российской империи в русское национальное государство, что дает основание для характеристики русского консерватизма как последовательной имперской идеологии, лишенной идеи национальной исключительности[2].

Консервативный дискурс как форма социальной практики и интеллектуальной рефлексии не мог быть цельным и монолитным явлением. Анализ содержания присутствующих в нем интеллектуальных репрезентаций различных сторон бытия, методов и форм его совершенствования, а также идеальных моделей общественного устройства и развития, осуществляемый при помощи определенных критериальных маркеров, позволяет выделить в нем различные направления и группы. Безусловно, любая попытка типологизации столь сложного и формально не идентифицируемого явления, как дискурс носит достаточно условный характер, предполагая определенную степень абстракции и упрощения реальной действительности. И, тем не менее, именно репрезентация в дискурсе является определяющим условием формирования интеллектуальной групповой идентичности,

---

[1] Тихомиров Л.А. Что такое национализм // Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М.: «Москва», 1999. С. 210.

[2] Репников А. В. Консервативные модели российской государственности. С. 336–337.

выявление которой по внешним институциональным признакам далеко не всегда представляется возможным.

В качестве ключевого критерия классификации основных направлений отечественного консерватизма выступала либо социальная принадлежность его сторонников, что было характерно для классового подхода, либо его интеллектуальное наполнение, классифицируемое в соответствии с характером осмысления различных сторон действительности. Так, в частности, в советской исторической науке русский пореформенный консерватизм разделялся на два основных течения – дворянско-крепостническое и бюрократическое, позиции которых признавались в равной степени реакционными и различавшимися лишь в вопросе о социальной принадлежности того, кто возглавит «контрреформы» и в чьих первостепенных интересах они будут проводиться[1]. Американский исследователь Р. Пайпс, характеризовавший русский консерватизм, как «идеологию, пропагандирующую авторитарное правительство в России, с властью не ограниченной формальным правом или выборным законодательным учреждением, которое признает только такие ограничения, которые считает удобным наложить на себя само»[2], также связывал ее с выражением интересов конкретных социальных групп, определявшим принадлежность носителей и сторонников данной идеологии. На основании данного тезиса, ученый выделял последовательно сменявшие друг друга церковный, дворянский, интеллигентский и бюрократический типы консерватизма, последний из которых, по его мнению, стал доминировать в России с началом царствования Александра III. Данная схема, признававшая консерватизм на определенном историческом отрезке цельной идеологией с четко определяемым социальным носителем, безусловно, неоправданно упрощала сложную картину отечественной консервативной мысли.

---

[1] Эвенчик С.П. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России // Ученые записки МГПИ. № 309. М.: 1969. С. 59–338; Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М.: Мысль, 1970; Соловьёв Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л.: Наука, 1973.

[2] Пайпс Р. Русский консерватизм во второй половине XIX века. М.: Наука, 1970. С. 1.

Более продуктивным представляется подход, в рамках которого критерием классификации отечественного консерватизма является интеллектуальное содержание его дискурсивных практик. В соответствии с ним, консерватизм может классифицироваться по отношению к характеру и динамике социально-политических преобразований в государстве, разделяясь на умеренный, охранительный и «ультраконсерватизм»[1], либо, что является более распространенным вариантом, на консервативно-охранительное и либерально-консервативное течения[2]. Другим критерием классификации отечественного консерватизма может выступать «объекту» охранения, что приводит к выделению государственно-охранительного, национально-охранительного и православно-охранительного течений[3]. Ряд исследователей склоняется к тому, чтобы классифицировать его в соответствии с пониманием самой сущности отечественной традиции, осмыслением ее назначения и путей дальнейшего развития, что стало основой для разделения русского консерватизма на радикально-охранительный (изоляционистский) и славянофильский варианты[4].

Философская основа отечественной консервативной доктрины, являвшейся составной частью общеевропейской интеллектуальной традиции, некоторыми исследователями разделяется на «беркианский исторический консерватизм», ориентировавшийся на идеал прогресса как накопления блага, возможного только при условии преемственности в развитии, и «консервативный руссоизм», в рамках которого ценностью являлось некое

---

[1] Карцов А.С. Русский консерватизм как интеллектуальная традиция // Консерватизм и либерализм: история и современные концепции: материалы Международной научной конференции 15 февраля 2002 г. СПб.: Издательство СПбГУ, 2002. С. 41–56.

[2] Пустарнаков В.Ф. Либеральный консерватизм и либерализм в России XIX – начала XX века: различия и сходства // Либеральный консерватизм: история и современность. М.: РОССПЭН, 2001. С. 11–28; Крот М.Н. «Модернизировать, сохраняя…» Консервативное направление русской общественной мысли второй половины XIX – начала XX веков. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2018. С. 14; Биюшкина Н.И., Цыганов В.И., Белоусова Е.Е. Особенности возникновения и развития российского консерватизма (конец XVIII – начало XX вв.) // Вестник Академии права и управления. 2017. № 2 (47). С. 18.

[3] Мячин А.К. К. Леонтьев, русский консерватизм и восточный вопрос // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 1998. № 1. С. 56–66.

[4] Раков В.М. Особенности российского традиционализма // Исследования по консерватизму. Выпуск 2. Пермь. Издательство Пермского университета. 1994. С. 70–79.

первоначальное состояние человека и общества, ухудшавшееся по мере активизации человеческой деятельности[1].

Несомненно, наиболее значимые факторы, определявшие формирование основных направлений в отечественном консервативном дискурсе, были связаны с поиском позитивной программы общественно-политического развития России в пореформенный период. Анализ различных вариантов ее содержания, основывавшихся на неизменных консервативных константах, дает основания для выделения бюрократического, религиозного и националистического направлений, центральным сюжетом последнего из которых являлась проблема русского нациестроительства и укрепления государственного единства Российской империи[2]. Вызов национализма и начало масштабных социальных трансформаций, поставивших под угрозу существование сословной структуры российского общества, привели к столкновению двух ключевых элементов консервативного мировоззрения – народности и сословности, нашедшему свое выражение в формировании во второй половине XIX века двух направлений отечественного консерватизма – сословного и национального, имевших различное представление о перспективах социально-политического развития страны и разные «объекты» охранения[3]. Принципы сословно-собственнической солидарности вступали в противоречие с идеями национального единения, сторонники которых предпочитали именовать себя «русским направлением». Данное разделение наиболее рельефно прослеживается в области национально-имперской проблематики, связанной с осмыслением проблем и перспектив развития российской имперской государственности. «Русское» или национально-консервативное направление, являющееся объектом настоящего исследования, уделяло первостепенное внимание сохранению территориальной целостности российской имперской государственности,

[1] Холмогоров Е.С. Национализм центростремительного движения. Политическая метафизика Михаила Каткова // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 182.
[2] Тесля А.А. Дебаты о народности. С. 112–113.
[3] Котов А.Э. «Народность» и «сословность»: два полюса русского консерватизма. С. 289.

национально-государственной унификации имперского пространства и укреплению в нем русского национального элемента.

Природа некоторой терминологической неопределенности, связанная с разграничением данных течений, своими корнями уходит во вторую половину XIX века, когда в ходе острых дискуссий между сторонниками национальной и сословно-имперской моделей развития российской государственности, последние, отстаивавшие интересы денационализированной части правящей элиты, характеризовались современниками как «консерваторы», в отличие от их оппонентов из «русского лагеря». Очевидно, что в данном полемическом контексте в это определение вкладывалось исключительно охранительное сословно-дворянское содержание. Следует признать условный и ситуативный характер терминологического сопровождения указанной дискуссии, участники которой не придавали столь повышенного внимания используемым им определениям, какое уделяется им в современном исследовательском пространстве. Консервативно-охранительная основа обоих направлений, строившихся на общих мировоззренческих принципах и различавшихся лишь в приоритетах «охранения» и структуре свойственной консервативному мышлению ценностной иерархии, не вызывает сомнения.

Национально-консервативное направление, существование которого для современников было вполне осознаваемой реальностью, обусловленной наличием четко выделяемой национально ориентированной модели развития российской имперской государственности, также не являлось монолитным, разделяясь на внутренние течения, по-разному трактовавшие сущность отстаиваемого ими национального начала. Одно из них, представленное М.Н. Катковым и кругом его единомышленников, выстраивало национальную доктрину в контексте идеи формирования русской «имперской нации», объединявшейся на основе культурного и языкового единства различных этнических групп. Другое течение представляло собой развитие славянофильских идей и было направлено на укрепление империи

посредством формирования «национального ядра», в первую очередь, на конфессиональной основе. Наиболее ярко и полно данное идейное размежевание отразилось в сюжетах национально-консервативного дискурса, посвященных северо-западным окраинам Российской империи, которые расценивались как ключевой элемент российского государственного пространства.

Таким образом, следует отметить, что на протяжении второй половины XIX – начала XX в. вследствие переживаемых Россией стремительных преобразований, затрагивавших все сферы жизни общества, происходила значительная актуализация консервативной концепции общественно-политического развития и усложнение структуры отечественного консервативного дискурса. Русский пореформенный консерватизм стремился не только найти компромисс с происходившими в стране переменами, но и предложить свои варианты ее «консервативной модернизации», осуществлявшиеся в рамках существующей социально-политической системы и направленные на сохранение и совершенствование сущностных основ российской государственности. Многообразие вызовов, с которыми столкнулась Российская империя во второй половине XIX века, а также существенное усложнение интеллектуального пространства, в рамках которого происходило развитие отечественного консервативного дискурса, привело к появлению различных направлений и оттенков в отечественной консервативной доктрине. Их строгая и однозначная классификация по единому критерию вряд ли представляется возможной вследствие чрезвычайной сложности и многоуровневого характера комплекса консервативных идей, связанных с различными явлениями стремительно менявшейся окружающей действительности.

Анализ обширного историографического поля, посвященного отечественному консерватизму и регионально-имперским сюжетам, представленным в отечественном консервативном дискурсе, позволил выявить очевидное несоответствие между чрезвычайно высокой степенью

значимости имперско-окраинной проблематики и входящих в ее структуру сюжетов, связанных с северо-западными окраинными регионами для интеллектуального пространства пореформенной России и недостаточным уровнем научного осмысления данных сюжетов на современном этапе. Проблемы политического устройства России, сохранения и обоснования незыблемости самодержавного строя, критика конституционных проектов, обсуждение крестьянского вопроса – эти и другие актуальные вопросы внутреннего развития страны, занимавшие значимое место в отечественном консервативном дискурсе, привлекали первостепенное внимание изучавших его исследователей, вытесняя на периферию их внимания имперские и регионально-окраинные сюжеты. Данное обстоятельство не только привело к существенным диспропорциям и известной односторонности в изучении консервативного направления отечественной общественной мысли, но и способствовало длительному сохранению негативно-оценочных стереотипов в характеристике рассматриваемого сегмента консервативной доктрины. Чрезвычайная многогранность консерватизма как интеллектуального и социокультурного феномена модернизирующегося общества обуславливает необходимость его дальнейшего всестороннего изучения.

В данном контексте очевидной представляется необходимость проведения комплексного исследования, в котором были бы выявлены и проанализированы национально-консервативные представления об особенностях северо-западных окраин Российской империи как неотъемлемой части русского государственного пространства, механизмах их интеграции, моделях оптимальной правительственной политики в отношении населявших их полиэтнических и поликонфессиональных сообществ, а также определена степень влияния национально-консервативной доктрины на формирование и реализацию политического курса российских властей в отношении данного региона.

ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОМ ДИСКУРСЕ

2.1 Имперское сознание российского общества как идейная основа отечественного национально-консервативного дискурса

Ключевой мировоззренческой основой комплекса консервативных представлений о характере российской имперской государственности являлось имперское сознание, представлявшее собой сложный социокультурный феномен, включавший в себя объемный комплекс разнородных идей, концепций, чувствований, вырабатывавшийся исторически под влиянием множества внешних и внутренних факторов на протяжении длительного времени. Имперское сознание составляло ту часть общественного самосознания и политической культуры общества, которая содержит в себе представления о характере, форме и миссии собственного государства, его месте и роли в мире и мировой истории. Его идейными составляющими являются господствующие в обществе идеологические концепты, внешнеполитические доктрины, обосновывающие имперскую политику, религиозно-этические ценности, а также представления о «правде» и справедливом порядке, воплощенном в государстве. Для имперского сознания характерны ценности и установки, связанные с определением своего государства как империи, в основе которых лежит идея сильной неограниченной власти, выступавшей в качестве организующего начала, преодолевающего хаос и непредсказуемость «естественного» состояния. Идея власти имеет колоссальное культурно-философское обоснование, формировавшееся на всем протяжении интеллектуальной истории человечества и обладавшее у различных народов многочисленными специфическими особенностями, обусловленными комплексом долговременных и ситуативных обстоятельств.

Безусловно, под имперским сознанием не следует понимать наличие у некоторых народов какого-то набора уникальных исконных черт, позволяющих им управлять другими, что давало бы основание выделять некие «имперские народы», способные создавать соответствующую их ментальности государственную форму. Созданное в эпоху романтической историографии представление об особых «господствующих народах» (нем. – Herrenvolk), обладающих природным правом править, имеет явный националистический оттенок и не подтверждается характеристиками многих народов, являвшихся титульным ядром имперских государств. Осознание своей принадлежности к высокоорганизованному государственному механизму, воплощавшему собой великую Идею, свойственно, в первую очередь, политической и интеллектуальной элите общества, а не народным массам, обладавшим традиционным архаичным мышлением.

Характер и особенности имперского сознания во многом определяются внешними формами государственного бытия и их интеллектуальным осмыслением, испытывающим на себе значительное влияние государственной идеологии и представлений о месте и роли своей страны в мировой системе. Данная форма сознания могла сформироваться только в среде интеллектуальной элиты, трактующей собственное отечество как империю и осознающей свою принадлежность к имперскому государственному началу. Особенности имперской государственности и своеобразная логика ее существования и развития, становясь объектом интеллектуальной рефлексии, придавали общественному сознанию особый – «имперский» – характер. Для его раскрытия представляется необходимым коснуться сложнейшего и дискуссионного вопроса об определении понятия «империя» и выявлении его признаков, оказывавших значительное влияние на содержание представлений о сущности, характере и функциях имперской государственности.

Необходимо признать, что, несмотря на множество существующих дефиниций и характеристик, в настоящее время никакого общепринятого

определения империи не существует[1]. Связано это с невозможностью вычленения некой неизменной имперской субстанции, то есть носителя качеств рассматриваемого явления в истории. Попытки историков и философов отыскать единую первооснову империй, то есть универсальное обстоятельство, способствовавшее их возникновению, лежащее в идейной или материальной плоскости, заведомо обречены на неудачу, поскольку, пытаясь свести к единому принципу многообразие исторических реалий прошлого, они неизбежно обедняют и искажают его. Следует согласиться с современным отечественным исследователем имперской проблематики А.И. Миллером, настаивающим на необходимости использования ситуационного подхода к изучению империй, который позволяет реконструировать комплекс конкретно-исторических обстоятельств, логику поведения и взаимодействие различных акторов, участвовавших в процессе создания и функционирования империй, во всей ее полноте, без выстраивания зыбких искусственных параллелей и сосредоточения на каком-либо одном доминирующем обстоятельстве или акторе[2]. Другой исследователь феномена империи А.М. Руткевич определяет ее как «гештальт», понимая под ним «такое единство многообразного, которое оставляет свой отпечаток на составных частях». В рамках данного определения также фиксируется отсутствие единой вневременной сущностной субстанции империи, которая не скрывается за ее свойствами, а проявляется в них[3].

Сама этимология слова «империя» (лат. – Imperium), содержит в себе элементы ее характеристики, включавшиеся исследователями в ее определение, означая власть, повеление, полномочия, которые в римском праве связывались с определенной территорией. Данная характеристика, дополненная идейным смыслом, возникшим после падения Западной Римской империи, стала основой всех последующих определений.

---

[1] Миллер А.И. Империя и современный мир – некоторые парадоксы и заблуждения // Политическая наука. 2004. № 3. С. 4.
[2] Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. С. 28–29.
[3] Руткевич А.М. Гештальт империи // Тетради по консерватизму. 2022. № 1. С. 35.

Большинство даваемых определений феномена империи, как правило, носят синдромный характер, заключаясь в определении набора признаков имперской социально-политической системы с последующим выделением среди них наиболее универсальных или «родовых», свойственным всем имперским образованиям вне зависимости от эпохи или географической локализации. Именно такой характер имеет классическое для западной науки определение, даваемое американо-израильским социологом Ш. Айзенштадтом, согласно которому под империей понимается политическая система, «охватывающая большие, относительно сильно централизованные территории, в которых центр, воплощенный как в личности императора, так и центральных политических институтах, образовывал автономную единицу. Хотя империи обычно основывались на традиционной легитимации, они часто использовали некоторые более широкие, потенциально универсальные политические и культурные ориентации, выходившие за пределы того, что было свойственно любой из составляющих империю частей»[1]. Главным критерием выделения имперской политической системы, по мнению ученого, является ограниченная автономия политической сферы, которая выражается в развитии автономных политических целей правителями и представителями правящей элиты, ограниченной дифференциации политической деятельности и ролей, стремлении превратить разнородное политическое сообщество в централизованное единство и специфической организации администрации и политической борьбы[2].

Активная империологическая дискуссия, развернувшаяся в отечественной науке с начала 1990-х годов, преимущественно ориентировалась на определение и характеристику ключевых или «генетических» признаков имперского типа политической организации общества, а также на причины снижения их внутренней устойчивости и итогового распада империй, что было обусловлено необходимостью

[1] Eisenstadt S.N. Empires // International Encyclopdeia of the Social Sciences. Vol. V. New York: Macmillan, 1968. P. 41.
[2] Eisenstadt S.N. The Political Systems of Empires. London: Macmillan, 1963. P. 19.

осмысления и объяснения произошедшего крушения советского проекта, с определенными оговорками относимого к имперской государственной модели. Данная дискуссия также была призвана ответить на вопрос о наличии имперских перспектив у новой российской государственности, что определяло ее злободневный и несколько публицистический характер.

По мнению отечественной исследовательницы Л.С. Гатаговой, ключевыми системными признаками имперской государственности являются такие черты, как сакральный характер власти, перманентная экспансия, ведущая к обширному территориальному масштабированию, наличие четко выраженного центра и периферии, полиэтничность с присутствием доминирующего этноса, общая идеология, распространяемая политическим центром империи, а также претензии на мировое значение, либо даже на мировое господство[1]. К системообразующим или «критическим» признакам имперских государств, выделяемым большинством исследователей, можно отнести сочетание этнокультурной разнородности и стремления к универсализму в их политических практиках, понимаемому как ориентация власти на абстрактно-рациональную и исторически неподвижную «вечную» систему норм и ценностей, а также обширные территориальные размеры империи, достигнутые путем экспансии[2].

Неотъемлемым признаком имперской государственности, выделяемым многими исследователями, является неоднородность или, по выражению отечественного социолога А.Ф. Филиппова, «анизотопность» ее территориального пространства, включающего в себя разнообразные по своим социально-экономическим, политико-правовым и этно-культурным свойствам области, среди которых выделяется государственное ядро, центр и разностатусная периферия[3]. Связь между данными политически и культурно дифференцированными образованиями, сохраняющими в рамках имперской

[1] Гатагова Л.С. Империя: идентификация проблемы // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М.: АИРО-XX, 1996. С. 338.
[2] Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // Полис. 1997. № 5. С. 34, 48.
[3] Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и политическая проблема) // Политическая наука. 2013. № 3. С. 70.

государственности свою относительную изолированность друг от друга, осуществляется посредством «отношений политического контроля, навязанных одними политическими сообществами действующему политическому суверенитету других»[1]. Контроль центра над периферией, осуществляемый в ущерб интересов последней, по мнению ряда исследователей, подразумевает наличие существенных различий в практиках обращения властей с населением центра и окраин, которые могут выражаться в форме культурной или языковой дискриминации и воспринимаются в центре или периферии, как оправданное или неоправданное неравенство, субординация или эксплуатация.[2]

Внутренняя дифференцированность центра и периферии, сохраняющаяся в течении длительного времени и препятствующая полноценному социальному взаимодействию и выработке единых культурных ценностей, рассматривается многими исследователями в качестве определяющей характеристики империи, преодоление которой посредством добровольной или насильственной ассимиляции приводит к утрате государством имперского статуса[3]. Неравномерность развития различных частей империи, объективно связанных и зависящих друг от друга, являвшаяся главной особенностью имперской формы организации пространства, ведет к локальному характеру качественных прорывов в развитии, которые затем распространяются вширь на всю имперскую территорию. Однако в результате данного процесса грань между периферией и центром может стираться, что ведет к постепенному изживанию имперской формы организации пространства[4]. Важнейшим условием сохранения

---

[1] Doyle M. Empires. Ithaca; London: Cornell univ. press, 1986. P. 19.

[2] Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань. Центр исследования национализма и империи. 2004. С. 165, 167.

[3] Motyl A.J. Thinking About Empire // After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: the Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg empires / edited by Karen Barkey and Mark von Hagen. Oxford : Westview Press, 1997. P. 20–21.

[4] Макаренко В.В. Неравномерность развития создает империю, изживание неравномерности ведет к кризису // Восток. 1991. № 4. С. 81.

сложносоставной имперской системы является существование имперского центра, задающего смысловой горизонт политических, социальных и культурных взаимодействий, деструкция которого, имеющая объективный или субъективный характер в восприятии периферии ведет к неизбежной деградации и деконструкции имперской государственности[1].

В силу неоднородного характера имперского государственного пространства в нем гармонично сосуществуют механизмы прямого управления, реализуемые верховной властью в суверенном центре империи, являющимся ее политическим и национальным ядром, и разнообразные управленческие практики непрямого характера, осуществляемые при помощи автохтонных структур, обладающих значительной степенью правовой автономии. Перманентное существование в составе империи разностатусных региональных образований, обладающих элементами автономии или даже политического суверенитета, ведет к тому, что ее территориальная организация представляет собой уникальное сочетание унитаризма, федерализма, конфедерализма, самоуправления и протектората[2]. Несмотря на то, что имперская государственность стремится к постепенной унификации имперского пространства, преодолению или сглаживанию своей внутренней гетерогенности, полное достижение данной цели недостижимо в силу разнородности контролируемых территорий не только в политико-правовом, но и в этно-культурном и социальном плане. Попытки радикальной централизации политико-правового пространства путем трансформации сложносоставной имперской государственности в национальную империю дестабилизируют имперскую организацию и являются прямым путем к ее разрушению. В значительной степени именно данный курс стал причиной многих кризисных явлений в Российской империи на рубеже XIX – XX вв.,

---

[1] Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. М.: РОССПЭН, 2001. С. 69.

[2] Грачев Н.И. Империя как форма государства: понятие и признаки // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 23.

спровоцировав всплеск национальных движений и сепаратистских тенденций, сделавших неизбежным ее распад[1].

В качестве одного из важнейших признаков имперской политической системы, отличавших ее от управленческой модели национальных государств модерной эпохи, выделяется приоритет, отдаваемый непрямым методам управления и контроля, которые активно использовались как империями прошлого, так и в рамках имперских проектов новейшего времени. Американский историк и социолог Ч. Тилли считает механизм непрямого правления родовым признаком империи, реализуемым в двух формах: посредством сохранения или заключения особых соглашений о правлении в каждой области управления, а также в виде реализации властных полномочий через посредников, пользующихся значительной автономией в обмен на лояльность, выплату дани и военное сотрудничество с центром»[2].

В поисках оптимальной модели интеграции присоединяемых чужеродных сообществ в имперский организм, верховная власть, монополизировавшая свое право на политическое управление, стремится создать общеимперскую элиту, в которую кооптировались верхи интегрируемых социумов, на основе установления их личной лояльности и приверженности господствующей имперской идеологии. Таким образом империя создавала своеобразные имперские плацдармы в периферийных сообществах, лишавшие их возможности самостоятельного существования[3]. Данный процесс не исключал сохранение традиционных периферийных элит, необходимых верховной власти для управления окраинами, обладавшими значительными политическими и социокультурными особенностями. Традиционные элиты, являвшиеся важнейшим рычагом механизма непрямого правления империей, выступали в качестве своеобразного буфера,

---

[1] Щербина А.В. К вопросу о специфике Российской империи и имперского типа государственности (по материалам современных исследований) // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2004. № 3. С. 47.

[2] Тилли Ч. Как умирают империи // Политическая наука. 2013. № 3. С. 220

[3] Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи. С. 75.

позволявшего ретранслировать исходившие от верховной власти инициативы, придавая им понятную и не вызывающую отторжения форму, добиваясь, тем самым, необходимого для имперской администрации результата[1].

Другим генетически присущим имперской государственности «родовым» признаком большинство исследователей считает экспансионизм, который вне зависимости от его целей и характера может, как способствовать обогащению и процветанию империй, так и приводить к их упадку и гибели. В отечественной науке одним из первых исследователей, попытавшихся дать описание империи через призму концепции экспансионизма, был известный историк и философ-эмигрант Г.П. Федотов. Задаваясь вопросом о том, когда экспансия государства переходит в стадию, позволяющую говорить о нем, как об империи, он считал невозможным охарактеризовать последнюю, как государство, вышедшее за национальные границы, считая национальное государство в чистом виде довольно редким явлением в истории. По мнению ученого, империя возникает тогда, когда экспансия выходит за пределы «длительно-устойчивых границ», приводит к перерастанию исторически оформленного организма в новую форму[2]. Причем речь идет не о простом завоевании или добровольном присоединении новых провинций, а о происходившем в ходе экспансии качественном изменении характера государственности, лежащим в области политической культуры. Федотов подчеркивал, что «выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но Империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием»[3].

Традиционное объяснение мотивов экспансионизма обычно сосредотачивается на его экономической природе, связанной с

---

[1] Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. С. 54.
[2] Федотов Г.П. Судьба империй // Федотов Г.П. Новый град. Сборник статей. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. С. 171–199. С. 173.
[3] Там же. С. 174.

удовлетворением растущих материальных потребностей господствующих общественных слоев, что порождало необходимость в захватах новых плодородных земель, рабочей силы, торговых путей, установлении контроля над источниками ресурсов и рынками сбыта своей продукции. На экономическую детерминированность имперской экспансии указывается как при объяснении возникновения империй древности, чья рабовладельческая элита в ходе завоевательных войн желала заполучить новые земли и рабочую силу, так и при определении характера движущих сил империостроительства Нового времени, основа которых усматривалась исключительно в стремлении к созданию прочной ресурсной базы, а затем и постоянного рынка сбыта для собственной промышленности. Данный подход характерен и для хорошо известного в нашей стране научно-публицистического экономического очерка В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», в котором стремление империй, достигших стадии «монополистического капитализма» к дальнейшему территориальному росту и колониальным захватам объяснялось избытком капиталов и стремлением к их вывозу, без чего дальнейшее экономическое развитие и само существование капиталистических держав представлялось невозможным[1]. Однако уже в первой половине XX века многие исследователи и экономисты, задававшиеся вопросом о «цене империи», указывали на тот факт, что экспансия и связанные с ней неизбежные затраты на создание местной администрации, инфраструктуры, обороны и прочие необходимые усовершенствования в полном объеме не окупали приобретаемых выгод, из чего делался вывод о невозможности объяснения природы имперской экспансии исключительно экономическими мотивами[2].

Оригинальную социологическую трактовку империалистического экспансионизма Нового времени дал австрийский и американский социолог, экономист и политолог Й. Шумпетер. Он полагал, что его важнейшим

[1] Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма (Популярный очерк) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 27. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 299–426.
[2] Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 183–184.

источником и движущей силой являлись вовсе не экономические интересы буржуазии, чьи позиции во многих государствах имперского типа были довольно слабы и не оказывали существенного влияния на внешнюю политику, а профессиональная военная каста, «порожденная войнами, для которой она и создавалась». Сложившийся еще в докапиталистическую эпоху воинский склад ума и дух данной корпорации, которая с трудом могла найти себе место и опору в стремительно коммерциализирующемся буржуазном обществе, побуждал ее к экспансии ради самой экспансии, к господству над новыми территориями ради того, чтобы править ими[1]. Сохранение имперской государственности и проведение экспансионистской политики в Новое время являлось своеобразным обоснованием правомерности существования аристократии и ее господствующего положения в обществе.

С точки зрения геополитического подхода, широко распространенного в европейской и американской политической науке, имперская экспансия представляла собой реализацию важнейшей обязанности государства, суть которой заключалась в самосохранении и поддержании собственного престижа. Для того чтобы защитить свое население и границы, государство стремится к установлению контроля над теми стратегическими точками, которые реальные или потенциальные противники могут использовать против него. Соответственно, захват новых территорий осуществлялся не вследствие их экономической ценности, а для того, чтобы они не достались соперникам. Установившийся в Европе в Новое время баланс сил побуждал ведущие европейские государства переносить свое соперничество на «неразвитый мир», что вело к появлению новых колоний или полуколониальных владений, которые рассматривались в качестве «активов в борьбе за мощь и статус»[2]. Уделявший значительное

[1] Schumpeter J. Imperialism: Social classes: New York; Scarborough (Ontario): New amer. libr., 1974. P. 18–25.
[2] Fieldhouse D.K. «Imperialism»: An Historiographical Revision. // Economic History Review. 1961. Vol. 14. № 2. P. 204.

внимание изучению сущности политического господства в эпоху Нового времени М. Вебер отмечал, что в это время далеко не всегда торговые интересы указывали направление политической экспансии. По его мнению, гораздо чаще коммерческие и экономические интересы находились в подчиненном положении по отношению к имперским геополитическим устремлениям[1].

Данный подход, освобождавший имперский экспансионизм от экономической детерминированности, носил более универсальный характер, позволяя объяснить расширение империй, не имевших ярко выраженного колониального характера, к которым можно отнести и Российскую империю, чьи территориальные приобретения в XIX веке были направлены преимущественно на укрепление обороноспособности государства и стремление не допустить на присоединяемые земли реальных или потенциальных противников.

Имперский экспансионизм мог носить не только военный, но и иной характер, выражаясь в стремлении к идеологическому, политическому, экономическому и культурному господству над обширными территориями, в результате чего проявляется главное сущностное содержание имперской государственности – метаисторическая реализация доминирующей власти над крупными регионами мира[2]. Реальная имперская экспансия, осуществлявшаяся различными способами, неизбежно сопровождается культурно-ментальной, смысловой экспансией империи как идеи или мифа, которая не только является идеологическим обоснованием расширения имперской территории, но и может выступать в качестве ее субститута, обеспечивая сохранение и воспроизводя имперскую идентичность в течение длительного времени, вне зависимости от меняющихся внешних

[1] Weber M. Structures of Power // From Max Weber: Essays m Sociology. London: Routledge, 1998. P. 164.
[2] Алексеев В.В., Алексеева Е.В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции // Отечественная история. 2003. № 5. С. 5.

обстоятельств[1]. Культурный империализм, сущность которого состояла уже не в захвате территорий, а в подчинении сознания, образа жизни и мышления, навязывании жителям имперских окраин или колоний «более передового», образа жизни, рассматривался как один из элементов «цивилизаторской миссии» империи, вызывая при этом, зачастую большее недовольство местного населения, ощущавшего утрату своей самобытности и культуры, чем военная или экономическая экспансия[2].

При характеристике имперской модели государственности многие исследователи не ограниваются набором материальных признаков и ресурсов, свойственных данному типу политических систем, но стремятся выявить присущие им культурно-метальные и смысловые черты. В стремлении выйти за рамки привычной синдромной характеристики признаков имперской государственности, отечественный исследователь А.Ф. Филиппов предложил феноменологическое социологическое описание империи как горизонта политического пространства. Данный подход позволяет вывести имперский феномен далеко за рамки понимания его лишь как обширного сложносоставного государства, проводящего экспансионистскую политику. Согласно ему, империя трактуется как смысл (и реальность осуществления) большого политического пространства, соположенный смыслу неполитических действий или коммуникаций[3]. Исходя из этого, пространство империи мыслится как двуединое явление, включающее в себя, как собственно государственную территорию, обозначенную актуальной на данный момент государственной границей, так и смысловой горизонт коммуникации, определяемый имперской идеей, которая при соответствии с объективным потенциалом экспансии образовывает идеальную имперскую границу[4]. В основе данного подхода лежит, безусловно, плодотворная идея, согласно которой конкретный

[1] Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. С. 51–52.
[2] Шлезингер А. Циклы американской истории. С. 227–229.
[3] Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и политическая проблема). С. 61.
[4] Там же. С. 71.

политический смысл империи и логика имперских практик имеют глубинное культурное обоснование. Следовательно, это позволяет определить имперский характер политической системы не столько по свойствам и особенностям конкретных политических институтов, сколько по содержанию формирующейся в ней политической культуры, первичной по отношению к институтам, посредством которых она выражается[1].

Главная отличительная особенность имперской государственности заключается в том, что она носит ярко выраженный идеократический характер, опираясь на ключевую «идею-правительницу», лежащую в основе государственной идеологии, поддержка которой является главным элементом лояльности подданных. По мнению А.Ф. Филиппова, залогом существования и устойчивости империи является не ее материальная сила, а именно «представление об имперской миссии», которая направлена вовне, на преобразование и упорядочивание окружающего мира. Ученый сравнивает империю с космосом, стремящимся вобрать в себя все, что лежит вне его[2]. Целью существования империи является метафизическая сверхзадача, заключающаяся в осуществлении на земле божественного проекта. Благодаря наличию данной идеи государство поднимается над своим эмпирическим существованием и становится причастным к трансцендентному, которое существует вечно, вне зависимости от династий и проводимой ими политики. В идейном смысле империя представляет собой земное отражение трансцендентной духовной субстанции, Должного и Истинного, сохранение и распространение которого является вселенской миссией имперского государства[3].

Характер и содержание имперской идеи имеет вариативный характер, зависящий от культурно-исторических особенностей государства и эпохи,

---

[1] Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. С. 29.

[2] Филиппов А.Ф. Империя живет, пока есть представление об имперской миссии // Политический журнал. № 24. 7 июля 2005. [Электронный ресурс] URL: https://www.hse.ru/news/1163627/1122327.html (дата обращения: 18.10.2024)

[3] Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в России. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 45.

однако неизменным является то, что она обусловлена столкновением универсалистских культурных ценностей, воплощенных в конкретных политических ориентациях, с разнообразием и хаотичностью реальности. В основе имперской идеологии лежит «цивилизационная ойкуменическая идея глобального государства», олицетворяющего собой организованный космос, противостоящий хаосу и стремящийся к единению и упорядочиванию различных разделенных частей мирового пространства[1]. Реализация данной идеи, воплощенной в религиозно-мистической или цивилизаторской форме, составляет основу глобальной миссии империи, придавая ей «вселенский», универсальный характер. По мнению отечественного исследователя М.Б. Смолина, империя, как идея, воплощенная в государственной форме, представляет собой развитие национальных государственных идеалов до уровня универсальности, в рамках которой могут свободно себя чувствовать, жить и развиваться многие другие народы[2].

Имперский универсализм выступает в качестве основного средства преодоления хаоса, защита от которого не только себя, но и других народов, не способных на это, рассматривается как важнейшая задача империи, легитимизирующая ее действия по распространению трактуемого в соответствии с имперским культурным кодом порядка на максимально возможные пространства. Государственные границы и суверенитет сопредельных политических образований не останавливают империю в деле исполнения ею данной миссии. Английский исследователь Д. Мерриот подчеркивал, что уже само понятие империи включает в себя не только представление об ответственности перед входящими в нее народами, но и осознание долга перед человечеством в целом[3]. Безусловно, имперская идеократия зачастую может выступать лишь в качестве идеологического прикрытия вполне прагматических экспансионистских, оборонительных или

[1] Исаев И.А. Топос и номос: пространства правопорядков. М.: Норма, 2007. С. 16
[2] Смолин М.Б. Имперское мышление и имперский национализм М.О. Меньшикова // Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М.: «Москва», 1999. С. 5.
[3] Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. С. 28.

откровенно грабительских устремлений. Однако это не снижает ее значимости в деле мобилизации населения империи, принадлежность которого к воплощаемой глобальной идее наделяет смыслом человеческое существование, внедряя в него концепт служения высшему началу. Посредством приобщения индивидуума к реализации глобальной цели, имперская универсальная система способна функционально использовать различные противоречивые свойства человека, не только подавляя его своей мощью, но и вознося на обыденно недостижимую онтологическую высоту, ощущение которой является мощным стимулом для служения общему делу[1].

Идеократия и вытекающая из него сакрализация верховной власти, обладавшей способностью к осуществлению имперской миссии, не мешали империям стремиться к максимально рациональному устройству реальности, противопоставляя имперский «порядок» хаосу, который она была призвана преодолеть. Символами порядка и, одновременно, значимыми имперскими маркерами, унифицирующими смысловое и территориальное пространство империи, выступали единые законы, системы мер и весов, единообразное денежное обращение, календарь, а также единый государственный язык, употребляемый на официальном уровне. Обычаи и традиции входящих в состав империи народов, препятствовавшие данному порядку, подлежали уничтожению, либо должны были приспосабливаться к нему. Империя, не будучи тождественна понятию цивилизация, тем не менее, зачастую определяла ее границы, в рамках которых посредством своих экспансионистских устремлений она насаждала и, тем самым, сохраняла для наследников достижения собственной культуры, а также культурные заимствования, воспринятые у других цивилизаций[2].

Для описания империи не только как особой формы государства, обладающего устойчивым набором признаков, критериальное определение которых является весьма сложным, а как определенной ситуации и состояния

---

[1] Булдаков В.П. XX век. Российская история и посткоммунистическая советология // Российская империя, СССР, Российская федерация: история одной страны? М.: Россия молодая. 1993. С. 9.
[2] Руткевич А.М. Гештальт империи. С. 21-22.

государственности, правомерным представляется использование введенного в научный оборот американским политологом М. Бейссингером понятия «имперскость» (англ. empireness)[1]. Данное определение, на наш взгляд, применимо не только в отношении постколониальной эпохи и современных имперских явлений, активное изучение которых происходит в настоящее время, но и для характеристики империй прошлого, в том числе и российской имперской государственности. Сам автор определения понимает его как важнейшее свойство империй, представляющих собой «ситуацию, в которой претензии на подчинение имперскому контролю становятся широко распространенными, набирают вес и становятся все более гегемонистскими»[2]. То есть, главной чертой имперскости, определяющей логику политического поведения носителя данного свойства, выступает претензия на различные формы господства над другими субъектами.

Немецкий исследователь Г. Мюнклер рассматривает имперскость как определенный набор свойств и характеристик, формирующих империю, которая не подменяет собой государственность, а надстраивается над ней[3]. К ним ученый относит территориальную неравномерность в распределении прав, особенности возникновения, связанные преимущественно с необходимостью победы в борьбе с конкурентами или защиты от них, временную и пространственную протяженность, невозможность соблюдения нейтралитета и особую логику имперского управления. Наиболее значимыми критериями определения имперскости Мюнклер считает два последних признака. Он подчеркивает, что имперская власть не может избегать политической или военной интервенции в пределах контролируемого ею пространства и примыкающих к нему территорий, не ставя под угрозу свой

---

[1] Язовская О.В. Теоретические подходы к понятию имперскости в зарубежных исследованиях постколониализма // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 12. С. 26.

[2] Beissinger M.R. Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse // Ethnic Politics After Communism / ed. by Z. Barany, R.G. Moser. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005. P. 20.

[3] Мюнклер Г. Империи. Логика господства над миром: от Древнего Рима до США. М.: Кучково поле, 2015. С. 27.

имперский статус[1]. Данное обстоятельство определяет характер внешнеполитиеского поведения империй, формируя их «воинственный» имидж, обусловленный приоритетом силовой модели решения проблем в рамках собственной сферы влияния.

Особый характер логики имперского управления, по мнению немецкого ученого, определяется непрерывным стремлением к поддержанию собственного престижа, путем достижения первенства во всех значимых областях жизни – военной, экономической, научной, культурной[2]. В погоне за престижем, символизирующем государственное величие и державность, империи готовы нести огромные затраты, крайне болезненно воспринимая любые неудачи в связанной с достижением данного показателя непрерывной конкурентной борьбе между великими державами. Еще более значимым элементом особой имперской логики управления является необходимость экспансии для обеспечения собственной безопасности и военного самоутверждения перед лицом конкурентов, которая продолжается до тех пор, пока на периферии империи сохраняется политический вакуум и она не наталкивается на противодействие или владение другого имперского государства[3].

Анализируя концепт имперскости преимущественно в отношении современных имперских проектов, немецкий социолог и политолог Р. Риллинг указал на его универсальную составляющую, характерную как для современных форм империи, так и имперских государств прошлого, которая заключается в ярко выраженном разграничении центра и периферии. Классическая структура имперского государства включает в себя единый центр управления, выступающий в качестве политического субъекта, чьи отношения с периферией строятся посредством более или менее эффективного политического контроля, характер и успешность которого являются залогом целостности имперского пространства и самого

[1] Мюнклер Г. Империи. С. 41.
[2] Там же. С. 68.
[3] Там же. С. 81.

существования империи. Взаимодействие между центром и периферией носит строго иерархический характер, основываясь на мощной ресурсной базе империи, включающей в себя материальные и нематериальные капиталы, ее способностью к эффективному присвоению и влиянию, не позволяющему периферийным сообществам покинуть имперское пространство[1]. Управление сохраняющимся внутри империи, несмотря на стремление к унификации, многообразием и множественностью осуществляется, как посредством акторов власти, так и при помощи сторонников из периферийной среды. Как и многие другие исследователи, один из наиболее значимых признаков имперскости Р. Риллинг усматривал в перманентном стремлении к пространственному расширению и качественному усилению характера влияния на входившие в состав империи территории, сохранение власти над которыми обеспечивалось не только силовыми средствами, но и моральными факторами. Высшим же проявлением имперскости, по мнению ученого, является наличие стремления к мировому порядку и объективная способность его установить[2].

По мнению отечественных исследователей, концепт имперскости представляет собой аналитическую категорию, характеризующую принципиальную гетерогенность государственного пространства, сохраняющего свою целостность[3]. Данное свойство выражалось в сознательном сохранении дискретного характера всей совокупности имперских территорий, являвшихся при этом единым полем социальных и политических усилий верховной власти, управлявших многообразием при помощи самых разнообразных методов, сочетавших в себе и жесткие силовые меры и практики «мягкой силы», выбор которых определялся ситуативной логикой.

---

[1] Rilling R. Risse im Empire. Berlin: Dietz, 2008. S. 32.
[2] Ibid. S. 41.
[3] Герасимов И., Могильнер М. Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к чему она идет? // Логос. 2007. № 1. С. 234.

Таким образом, концепт имперскости, рассматриваемый как набор устойчивых качеств или же свойств, характеризующих государство, а также как особая ситуация, при которой происходит аккумулирование данных показателей, вполне точно описывает не только современные имперские проекты и ситуации, но и модели имперской государственности прошлого. Следует согласиться с утверждением, согласно которому империя представляет собой значительно более древнюю форму политической организации, чем нация-государство и на протяжении всей мировой истории является основной формой существования и качественной характеристикой политической практики «великих» держав, с течением времени меняя лишь свои формы и роли[1]. Современные исследователи выделяют три основные имперские модели, существенно различавшиеся по обстоятельствам своего возникновения и организационным формам, но, при этом, в той или иной степени обладавшие вышеперечисленными универсальными признаками имперскости: традиционные континентальные державы, к которым относят Римскую и Российскую империи; колониальные империи XIX – начала XX вв., а также сверхдержавы второй половины XX столетия – США и СССР[2].

Безусловно, при выявлении общих признаков столь различных политических образований, коими являлись империи прошлого и имперские проекты современности, существовавшие в различных условиях и испытывавших на себе воздействие разнообразных факторов, не может не иметь места значительная доля абстракции и универсализации, неизбежная при определении обширных и обобщающих понятий. Однако неоспоримым является тот факт, что большая часть ключевых, присутствующих во всех дефинициях признаков имперских систем имеет место в российской истории. Российскому государству с самого момента его формирования на рубеже XV – XVI вв. были имманентно присущи основные черты имперскости, определявшие общую логику его внешней и внутренней политики и

[1] Миллер А.И. Империя и современный мир – некоторые парадоксы и заблуждения. С. 10.
[2] Руткевич А.М. Гештальт империи. С. 36–39.

оказывавшие значительное воздействие на формировавшиеся государственную идеологию и общественное сознание.

Вопрос о времени и обстоятельствах возникновения имперской идентичности в России тесно связан с выходящей за рамки настоящего исследования фундаментальной проблемой датировки приобретения Российским государством имперского статуса. Не углубляясь в решение данной проблемы, имеющей преимущественно теоретико-концептуальный характер, следует отметить, что, наиболее распространенным представлением, соответствующим сложившейся историографической традиции, является понимание имперского периода, как целостного фрагмента российской истории, выделяемого, в первую очередь, по формальным признакам политического наименования Российского государства и соотносимого с XVIII – началом XX вв. При этом, в зарубежной историографии существует устойчивая традиция, согласно которой возникновение первых признаков имперской государственности и соответствующей политической культуры в России происходит в более ранний период, связываясь чаще всего с завоевательной политикой Ивана IV[1].

Современные исследователи отказываются от рассмотрения имперского периода российской истории как цельного и единого временного отрезка, выделяя в нем начальный этап, относящийся к концу XV – XVI вв., а иногда и к более раннему периоду. Связано это с трансформацией самого понимания имперской государственности, на первое место в котором выходит многообразие народов, культур и вероисповеданий, а также вариативность моделей управления данным многообразием, к которому верховная власть приходит интуитивно, исходя из конкретных ситуативных обстоятельств.

[1] Хоскинг Д. Россия: народ и империя. Смоленск: Русич, 2001. С. 16; Беккер С. Россия и концепт империи // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань. Центр исследования национализма и империи. 2004. С. 67; Keenan E.L. Muscovy and Kazan: Some Introductory Remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy // Slavic Review. 1967. Vol. 26. P. 548–558; Kampfer F. Die Eroberung von Kazan 1552 als Gegenstand der zeitgenossischen russischen Historiographie // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 1969. Bd. 14. S. 7–161.

Большое значение стало придаваться появлению символических имперских маркеров в виде царского титула московских правителей, приравниваемому к императорскому, ритуализации придворного церемониала, призванной подчеркнуть сакральный характер верховной власти, а также складыванию набора имперских инсигний и символов. Идейной основой формирующейся российской имперской государственности стала сложившаяся на рубеже XV – XVI веков концепция «Москва – Третий Рим», объявлявшая Россию политической и духовной наследницей Византии, а московских правителей – единственными защитниками истинной веры на Земле. Данная теория стала ключевой имперской идеологемой, лежавшей в основе внутренней и внешней политики Российской империи на всем протяжении ее существования. Исходя из данного понимания, происходит существенное расширение имперских хронологических границ, вплоть до эпохи первых московских князей, когда закладывались основы реализации управленческих практик в отношении этнически и культурно неоднородного сообщества и имперской идеологии[1].

Современные отечественные исследователи, связывающие начальный этап империостроительства с совокупностью конкретных политических практик и дискурсов, формирующих «имперскую ситуацию», относят ее возникновение в России к XVI – XVII вв., когда территориальное расширение Московского государства привело к выработке принципиально новых управленческих практик и моделей взаимоотношений центральной власти с добровольно или насильственно присоединяемыми сообществами[2]. Одновременно с этим происходит формирование представления об «исконном» государственном пространстве, определяемом «по старине»,

[1] Цимбаев Н.И. Российская имперская государственность: к пониманию проблемы // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. 2004. С. 22–23.

[2] Чуркин М.К. Сценарии и опыт модернизации империи в условиях освоения окраин // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. № 1 (5). С. 5.

владение которым является исторически обоснованным правом верховной власти, что также трактуется как значимый признак «имперской ситуации»[1].

Современный российский исследователь А.И. Филюшкин выделяет особый начальный период российской имперской истории, нижняя хронологическая граница которого связывается с эпохой правления Ивана III. Российскую государственность данного периода ученый определяет как «неонатальную империю», или империю, находящуюся на стадии младенчества, когда уже в целом сформировалось имперское «тело», включавшего в себя нерусские этносы с инородными политическими, социальными и культурными традициями, сложились основные поля внутренней и внешней имперской политики, однако еще не были выработаны имперские дискурсы и имперское мировоззрение, что не позволяло государству говорить и мыслить «по-имперски»[2].

Перерастание такого государства в империю нового времени связано с институциональной и ментальной модернизацией, одним из важнейших результатов которой является возникновение имперского дискурса, включающего в себя ключевые ментальные матрицы самопрезентации и самоидентификации, находившие свое отражение в соответствующих представлениях, политических и исторических нарративах. Знаковым символическим актом, положившим начало этому процессу, стало принятие Петром I императорского титула, которое, однако, не означало автоматической презентации Российского государства как империи. Термин «Российский Империй» (или Империум) первоначально служил обозначением власти российского монарха, не имевшей привязки к определенной территории. Лишь с 1730 – 1740-х гг. понятие «Российская

[1] Чуркин М.К. Сценарии и опыт модернизации империи в условиях освоения окраин. С. 7.
[2] Филюшкин А.И. Московская неонатальная империя: к вопросу о категориях политической практики // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 5–20. С. 6.

империя» окончательно приобретает территориально-государственное значение[1].

Безусловно, следует согласиться с тезисом о том, что проживание и принадлежность к имперскому государству не означает автоматического обладания имперской политической культурой[2]. Попытки отыскать элементы имперского сознания (как и любых других политических представлений) у русских крестьян XVI или XIX веков, составлявших подавляющее большинство населения России, равно как и доказать их полное отсутствие у них, представляются совершенно излишними, поскольку очевидным является то, что сознание основной массы населения традиционного общества имеет архаичный характер, со свойственной ему локальной или конфессиональной идентичностью. Империя, равно как и национальность, во многом относится к воображаемым сообществам в том смысле, что осознание сопричастности к ним является свойством абстрактного политического мышления, свойственного элитарному сознанию. Имперская государственность, идея, мотивация, представляют собой абстрактные понятия, которые не могут быть широко приняты и осознаны, что не мешает им порождать «инерцию фоновых имперских представлений», оказывая влияние на сознание более широких общественных слоев позднеимперского российского общества[3].

Элементы имперского сознания были присущи различным слоям российского общества, включая в себя как его бессознательные «бытовые» проявления, связанные с ощущением превосходства имперской нации над инородцами, дававшим право оказывать на них цивилизаторское воздействие, так и комплекс интеллектуальных рефлексий, постепенно приобретавший системный характер. Безусловно, основным носителем имперского сознания являлось российское дворянство, объединенное идеей

---

[1] Гайда Ф.А. Официальное понимание «империи» в России XVIII – начала XX века // Тетради по консерватизму. 2022. № 1. С. 57–59.

[2] Летняков Д.Э. К вопросу о генеалогии имперского сознания в России // Философский журнал 2015. Т. 8. № 2. С. 114.

[3] Филиппов А.Ф. Другой мир – другая социология // Ускользающий мир. М.: Московская школа политических исследований, 2004. С. 51.

служения Отечеству, сопричастности к государственным делам, культурным и интеллектуальным превосходством над другими слоями общества. Именно российская дворянская культура, не имевшая внутри себя каких-либо этноконфессиональных границ, представляла собой общеимперскую культуру, обладавшую значительным интегративным потенциалом, широко используемым имперскими властями в системе государственного управления.

Формирование имперского сознания в российском обществе началось в XVIII столетии, когда политическая элита стала осознавать вхождение своего государства в число «политичных народов», связанное с ощущением своего цивилизационного превосходства над теми сообществами, которые не достигли этого состояния[1]. Именно в это время в дворянской среде вырабатывается представление о служении Отечеству не как о «тягле», но как о почетном долге граждан, под которыми понимались пока исключительно представители первого «благородного» сословия. Одновременно с этим происходило осознание цивилизаторской миссии России в отношении «диких», либо малых народов, вхождение которых в состав империи рассматривается как неизбежность и благо для них. Рассматривая ментальные трансформации, лежавшие в основе формирования имперского сознания, отечественный исследователь М.Б. Смолин отмечал, что его возникновение является результатом осознания нацией своей великодержавной миссии, состоящей в стремлении донести миру «свои государственные идеи, выраженные в идеалах правды, порядка и справедливого общежития»[2]. По мнению ученого, данные интеллектуальные трансформации свидетельствуют о психологической зрелости нации, сформировавшей свой «идеал правды», лежащий в основе жизнедеятельности государственного организма и создавшей материальные

[1] Вульпиус Р. Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII веке. // Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи (1700 – 1917). М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 15, 29.
[2] Смолин М.Б. Имперское мышление и имперский национализм М.О. Меньшикова. С. 6.

условия его воспроизводства. Многие исследователи указывают на наличие устойчивого и воспроизводимого в течение длительного времени имперского сознания, носителем которого выступает политическая элита и просвещенная часть общества, как на важнейшее условие существования империи и ее перманентного воспроизводства[1].

Одним из центральных имперских принципов, унаследованных Россией от Византии, стала идея универсализма-изоляционизма, в основе которого лежало имевшее религиозную природу разделение мира на упорядоченное пространство, существующее в соответствии с идеалом «должного», и окружавшее ее «пространство хаоса» – грехов и заблуждений, психологически воспринимавшееся как чуждое и враждебное. Имперская государственность рассматривалась как защитный инструмент от внешних материальных и ментальных угроз, а также как механизм единения и распространения универсальных ценностей на максимально возможное пространство[2].

Другим элементом имперского сознания является доминирующая идея сильного и всеобъемлющего государства, стремление к созданию которого могло быть обусловлено экстремальными условиями существования и конкретными кризисными обстоятельствами, связанными с борьбой за собственное существование или конкурентным противостоянием с могущественными соперниками.

Отечественный вариант идеи о сильном государе как воплощении принципа верховной власти парадоксальным образом являлся порождением объективной государственной слабости России, которая на заре своего формирования являлась малонаселенным, бедным ресурсами государством с открытыми неопределенными границами, которым непрерывно угрожали

[1] Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. С. 47.
[2] Лурье С.В. «IMPERIUM. Империя – ценностный и этнопсихологический подход». [Электронный ресурс] URL: https://www.geopolitika.ru/sites/default/files/imperiya_kak_sudba.doc (дата обращения: 10.08.2024).

агрессивные соседи[1]. Только сильный единодержавный правитель мог стать гарантом будущей централизации, жизненно необходимой для страны, в которой практически полностью отсутствовали хозяйственные связи между отдельными регионами, длительное время сохранявшими элементы архаичной автономии. Идея сильной власти также вытекала из особенностей политического и социального строя государственного ядра будущей Российской империи – неограниченных по своему характеру властных полномочий московских самодержцев, государственной службе основанной не на вассалитете, а государственном тягле, замедленном развитии сословного строя, отсутствии полноценного самоуправления, всеобщей несвободе и подавлении личностного начала государством[2].

Идейное обоснование и оправдание российского имперского экспансионизма также было вызвано объективными обстоятельствами исторического развития Московского государства, формирование которого проходило в тяжелой и непрерывной борьбе с конкурентами и враждебными иноверческими соседями. Имперская экспансия России осознавалась как вынужденная мера, являвшаяся прямым продолжением обороны собственной территории от агрессивных посягательств, что позволяло морально оправдывать ее и рассматривать в качестве обязанности и долга верховной власти перед своим народом. Экспансия являлась выражением внутренней потребности в едином объединяющем начале, избавляющем обширный конгломерат различных этнических и конфессиональных общностей от локальной ограниченности, распрей и междоусобиц, являвшихся препятствием для их экономического и культурного развития. Имперская политика заключалась не в простом механическом подчинении разнородных элементов, но и в постепенном преодолении дробности интегрированного

[1] Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Издательство «Европа», 2007. С. 332–333.

[2] Анисимов Е.В. Исторические корни имперского мышления в России. [Электронный ресурс] URL: https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html (дата обращения: 06.08.2024).

социокультурного конгломерата, его универсализации посредством единых нормативных принципов и ценностных ориентиров[1].

Большинство исследователей связывают формирование основ имперского сознания россиян, в первую очередь, с внешнеполитическими факторами. Британский историк Д. Хоскинг отмечал, что именно гордость за просторы и многообразие державы, а также за ее военные победы являлась фундаментом имперского сознания, как российских правителей, так и их подданных[2]. Отечественный исследователь С.А. Никольский, считавший, что мысль об империи являлась «наиважнейшей» идеей россиян, которую они заявляли другим народам, удивляя, восхищая или ужасая их с ее помощью, также указывал, что в ее основе лежало представление о своей стране, как государстве, главным содержанием истории которой являлась «непрерывная цепь территориальных расширений, захватов, присоединений»[3]. По мнению российского историка Е.В. Анисимова, российское национальное сознание неотделимо от имперского, поскольку «раньше, чем русские осознали себя как нацию, они осознали себя империей», что также связывается с активной внешнеполитической экспансией[4].

Отечественная исследовательница С. Лурье, рассматривавшая этнопсихологические основы имперскости, предлагает выделять прагматически-детерминированную экспансию, которую она называет империалистическим действием, направленную, в первую очередь, на получение материальной выгоды и культурно-детерминированную экспансию, мотивированную стремлением распространить собственное идеальное представление о «должном состоянии мира». Вторая разновидность экспансионистской политики, именуемая имперским действием, по ее мнению, в большей степени была присуща России, хотя

---

[1] Ерасов Б.С. Выбор России в евразийском пространстве // Цивилизации и культуры. Вып. 1: Россия и Восток: цивилизационные отношения. М.: Институт Востоковедения, 1994.
[2] Хоскинг Д. Россия: народ и империя. С. 76.
[3] Никольский С.А. Русские как имперский народ // Политическая концептология. 2014. № 1. С. 42.
[4] Анисимов Е.В. Исторические корни имперского мышления в России.

наличие в ней вполне прагматических – военно-стратегических и экономических целей также не исключается[1].

По мнению многих исследователей, складывание Российской империи как государства, обладавшего чертами самобытной цивилизации, стало следствием естественной самоорганизации огромных этнически и культурно разнородных пространств, обусловленной необходимостью противодействия перманентной внешней агрессии. Объединение и мирное сосуществование множества разнородных этнических сообществ, находящихся на различных стадиях общественно-политического развития, стало возможным, благодаря способности русского народа легко вступать в мирный и взаимовыгодный симбиоз с другими народностями, что было обусловлено отсутствием у него чувства национального превосходства[2]. Свойственный многим европейским народам Нового времени национализм, лежавший в основе межнациональных конфликтов и стремления к подчинению других народов, был чужд и русским народным массам, и российской космополитичной элите. Отмечая это качество, Н.А. Бердяев называл Россию «самой не шовинистической страной в мире», населению которой чужды свойственные европейцам национальная самоуверенность и самодовольство. Мыслитель писал: «Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других»[3].

Главной особенностью российской политики в отношении интегрируемых народов была их социальная ассимиляция, предполагавшая вхождение местных элит в состав государственного господствующего сословия с обязательством лояльности и верной службы. Такая интеграция не предполагала этнической, а зачастую и конфессиональной ассимиляции, способствуя формированию разнородной по составу имперской элиты,

[1] Лурье С.В. «IMPERIUM. Империя – ценностный и этнопсихологический подход».
[2] Даренский В.Ю. Империя как подвиг свободы: евангельские основания русской имперской государственности // Тетради по консерватизму. 2022. № 1. С. 111.
[3] Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Издательство МГУ, 1990. С. 8.

связываемой верностью верховной государственной власти. Объективные геополитические обстоятельства, непрерывный поиск новых источников ресурсов, борьба с многочисленными внешними угрозами привели к неизбежному перерастанию единодержавия в великодержавие, что было характерно для большинства европейских государств раннего Нового времени.

Таким образом, системообразующим фактором в имперском сознании российского общества выступала государственная парадигма, ставившая на первое место задачи внешней и внутренней государственной экспансии, сохранение территориальной целостности империи, обоснование «исторического» права владеть теми или иными территориями, а также осуществление ее цивилизаторской миссии, реализация которой была по силам лишь сильной верховной единодержавной власти. Семантика цивилизаторства была тем, что позволяло носителям имперской идеи представлять себе будущее окраин так, как были не в состоянии это сделать сами ее обитатели, оправдывая включение новых территорий в состав империи просвещенным стремлением к распространению «красоты» цивилизации над отсталостью «окраин»[1]. Вследствие этого, любое выступление против российского господства народов, входивших в состав империи, рассматривалось через призму «идеологии державности» и распространенной до определенного времени даже в наиболее просвещенных общественных кругах склонности к сакрализации государства[2].

Российская империя представляла собой традиционную политию, в основе которой лежал династический принцип власти, основанный на подчинении подданных единодержавному правителю. Инородцы, включавшиеся в состав империи, присягали на верность главе государства,

[1] Шперлинг В. «Спящая красавица»: что делать? Империя как понятие, метафора и сеть взаимодействий // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Т. II. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 85.

[2] Хорев В.А. Польское восстание 1830 г. и развитие стереотипа восприятия Польши в русской литературе // Polacy a Rosjanie: Materialy z konf. «Polska-Rosja. Rola polskich powstan narodowych w ksztaltowaniu wzajemnych wyobrazen» / Warszawa-Plock, 14-17 maja 1998 r. Warszawa: Neriton, 2000. С. 105.

связывая себя клятвой верности именно с ним, а не с абстрактным понятием государство, воплощавшемся в институте монарха. Данное обстоятельство обуславливало наличие неразрывной генетической связи между российской имперской государственностью и монархической формой власти. Традиционная Российская империя не могла существовать вне монархического принципа, который являлся стержневой основой сохранения целостности имперского пространства. По мнению британского историка Д. Хоскинга, самодержавие являлось порождением потребностей империи и нуждалось в непрерывном укреплении по мере усиления противоречий между имперским началом и национальным строительством[1].

Характерной черной российского имперского сознания являлось понимание под Россией не только собственно русских губерний, населенных представителями титульной нации (даже в ее расширительном этноконфессиональном понимании, включавшем православных великороссов, украинцев и белорусов), но и всей совокупности имперских территорий, подчиненных власти российского императора, включая отдаленные окраины с нерусским и нехристианским населением. При этом, «коренные» или «природные» русские территории ментально отделялись от периферии, которая рассматривалась, как объект государственной экспансии или колонизации, в силу объективных исторических причин ставший неотъемлемой частью Российского государства. Современники отмечали, что в конце XIX века в представлении «простого русского человека вся территория, взятая войсками русского Белого Царя – есть Россия»[2]. Попадая, к примеру, в Бакинскую губернию эти люди осознавали себя в русской губернии, хотя и были окружены проживавшим здесь инородческим большинством. Данная особенность активно развивавшегося государственного самосознания «широких масс русского народа» противопоставлялась воззрениям на свою страну отдельных представителей

[1] Хоскинг Д. Россия: народ и империя. С. 16.
[2] РГИА. Ф. 1072. Оп. 2. Д. 95. Л. 2.

отечественной космополитической интеллигенции, «отождествлявшими Россию лишь с семью центральными губерниями»[1]. Вне целостного восприятия империи как единого Российского государства находились, пожалуй, лишь Финляндии и Царство Польское, рассматривавшиеся как самостоятельные государственные образования в составе Империи. Такое понимание государственной целостности было обусловлено главной территориальной особенностью Российской империи, отличавшей ее от колониальных империй Нового времени, состоявшей в том, что периферия империи не была географически четко отделена от центра, являясь его продолжением. Окраины рассматривались не как зависимые территории, являющиеся лишь объектом экономической эксплуатации и патерналистского цивилизаторства, а как продолжение метрополии, как составная часть политического сообщества, открытая для русской колонизации[2].

Само использование термина «окраина» в отношении отдаленных от центра регионов империи демонстрировало понимание России как единого государственного образования, каждый элемент которого являлся составной частью неразрывного целого. Такое понимание вело к осознанию необходимости внутренней унификации имперского пространства, как прямого продолжения процесса государственного строительства, а также реализации «цивилизаторской миссии» империи в отношении инородцев.

При этом следует подчеркнуть, что российская имперская идея также не исключала национального и религиозного компонентов, признавая доминирование русской имперской нации, трактуемой, впрочем, преимущественно в политическом смысле, как «стержня» имперского единства и православной веры, как духовной основы России[3]. Эта особенность также была обусловлена объективными обстоятельствами,

---

[1] РГИА. Ф. 1072. Оп. 2. Д. 95. Л. 1.
[2] Беккер С. Россия и концепт империи. С. 70.
[3] Щербина А.В. Имперское сознание и либеральное движение в России // Либеральный консерватизм: история и современность. М.: РОССПЭН, 2001. С. 226.

связанными с тем, что в отличие, например, от другой континентальной империи – Австрийских Габсбургов, большая часть населения Российской империи, включавшая в себя великорусов, украинцев и белорусов, официально определялась как носитель общей с правящей династией этнической идентичности.

По мнению ряда исследователей, российское имперское сознание, окончательно сложившееся в XIX столетии, могло стать прочной основой формирования российского национального сознания, носителем которого являлась бы единая государственная нация, объединяемая, в первую очередь, не этнической или конфессиональной однородностью, а приверженностью существующему политическому строю, служение которому являлось высшей государственной ценностью[1]. Однако достижение этой цели было напрямую связано с превращением титульной нации, являвшейся основой российской государственности, в подлинно имперскую нацию, что предусматривало проведение широких социальных преобразований, результаты которых позволили бы приобщить народные массы к сознательному государственному служению, превратив их в полноправных граждан. Такая перспектива вступала в противоречие с привычной сословно-имперской моделью государственного управления, реализуемой имперскими властями на протяжении длительного времени. Столкновение сословного и национального принципов организации имперской государственности, совпавшее по времени с процессом масштабного реформирования страны в середине XIX в., вывело имперскую проблематику на уровень интеллектуальной рефлексии, субъектами которой выступали представители российской государственной власти и общественности.

Дискуссия о проблемах и перспективах развития российской имперской государственности, происходившая во второй половине XIX – начале XX вв., была напрямую связана со стремлением найти оптимальную форму

[1] Цимбаев Н.И. Российская имперская государственность: к пониманию проблемы. С. 30.

сочетания традиционных имперских управленческих практик с методами модерного государства.

Проникновение разнообразных форм модерности в имперскую политическую и социальную структуру, происходившее на протяжении двух столетий и в значительной степени ускорившееся во второй половине XIX столетия, приводило к постепенному вызреванию модерной государственности в недрах империи[1]. Происходило это во многом вопреки воле верховной власти, поскольку основные ее усилия были направлены не на вхождение в цивилизацию модерности, а на сохранение и упрочение имперской государственности, для чего требовалось привести в более современный и конкурентоспособный вид основные государственные элементы[2]. Для достижения той степени эффективности, которой обладали национальные государства, соперничавшие с империями, последние были вынуждены предпринимать меры, направленные на гомогенизацию имперского пространства и укрепление государственного единства.

Данные усилия наталкивались на серьезные препятствия, связанные с «вызовом национализма», в условиях которого дискурс нации, тесно связанный с притягательными концепциями прогресса и модерности, становился доминирующим для значительной части населения империй, власть которой стала рассматриваться, как угнетение и препятствие на пути свободного развития и экономического процветания народов. Иерархизм, как основной элемент имперской государственности, вступал в острое противоречие с лозунгами народного суверенитета, равенства и демократии, входившими в концепцию нации[3].

В Российской империи на всем протяжении XIX века с разной степенью интенсивности протекали процессы социальной и национальной мобилизации, которые не только не позволяли преодолеть присущую ей

---

[1] Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. С. 44.
[2] Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. С. 6.
[3] Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз. С. 170.

гетерогенность, но даже в определенной степени усиливали ее[1]. Традиционная управленческая система сложносоставной многонациональной Российской империи, содержавшая в себе значительную степень архаики и чрезвычайную пестроту административных практик, столкнулась с вызовом пробуждавшегося национального сознания народов, многие из которых в той или иной степени стали осознавать свое пребывание в составе империи как «несвободу». В недрах империи происходило формирование национальных интеллектуальных элит, в среде которых усиливался интерес к прошлому своих народов, ширилось стремление к получению образования, развитию собственных литературных языков, наблюдалось становление национальных идентичностей, что вызывало растущую обеспокоенность имперской администрации, усматривавшей в данных тенденциях зарождение идей национальной самостоятельности и сепаратизма, угрожавших государственной территориальной целостности.

Другим вызовом, с которым столкнулась российская имперская государственность в середине XIX столетия, являлась необходимость всесторонней модернизации различных сфер жизни общества, обусловленной необходимостью устранения наиболее архаичных явлений и частичного приобщения государства к достижениям модерной цивилизации. Имперская модель модернизации, характерная, в том числе, для России XIX века, обладает целым рядом специфических особенностей, связанных с особым характером преследуемых целей и способов их достижения, что дает основания рассматривать ее как особый историко-культурный феномен[2].

Преследуя стратегическую цель, состоящую в стабилизации и консервации базовых характеристик империи, имперская модернизация, в то же время, вызывала к жизни явления, не входившие в замысел инициаторов преобразований, ставшие неизбежным «побочным» продуктом проводимых преобразований. К ним можно отнести активизацию общественности,

[1] Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. С. 208.
[2] Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. С. 52–54.

обладавшей собственным представлением о перспективах развития имперской государственности, а также начало становления собственно русской национальной идентичности, что было тесным образом связано с освобождением народных масс от крепостной зависимости и дарованием им ряда гражданских прав.

Необходимо учитывать и влияние, оказываемое на имперскую государственность объективными социально-экономическими факторами, связанными с ускоренной капиталистической модернизацией России. Процессы экономической интеграции и развитие рыночных отношений ставили имперские власти перед необходимостью защиты интересов коренного русского дворянства и буржуазии от конкуренции представителей национальных элит, зачастую обладавших большим экономическим, образовательным и культурно-интеллектуальным потенциалом[1]. Данная политика также могла восприниматься в инородческих кругах как угнетение и дискриминация.

Модерные усилия империи, находившие свое воплощение в более или менее масштабных и успешных преобразованиях, неизбежно порождали трудности и многочисленные кризисные явления, связанные с приспособлением традиционных имперских институций к новым методам правления и формам политической организации. Империя, вставшая на путь модернизации, оказалась в ситуации неопределенности, порожденной выходом государства за рамки традиционных форм и моделей управления, а также распространением либерально-эгалитарных ценностей. Ключевым признаком данной ситуации, имеющей онтологический смысл, являлось ослабление институтов и принципов, находящихся в контрарных отношениях с проявлениями хаоса и стихийности – закона, власти, церкви, сословной общественной структуры. Подобные ситуации, перманентно присущие российской истории, обусловленные геополитическими, историко-

[1] Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX вв.). СПб.: «ЛИСС», 1998. С. 27.

культурными и ментальными особенностями генезиса и формирования российской цивилизации, в наибольшей степени проявлялись в периоды глобальных кризисов и трансформаций, ставивших под угрозу целостность государства[1].

Одним из проявлений данной ситуации в рамках гетерогенного имперского пространства стало возникновение обстановки модернизационной вариативности, в условиях которой традиционные и вновь формирующиеся окраинные элиты стремились к реализации собственных вариантов и программ развития, во многом асинхронных внутриполитическому курсу самодержавия, испытывавшему, ко всему прочему, серьезные внутренние колебания. Необходимым условием для этого являлось полное или частичное освобождение от верховного контроля со стороны имперского центра, либо сохранение состояния изолированности и «внутреннего суверенитета», характерного для предшествующего периода развития ряда окраинных регионов империи.

Таким образом, в середине XIX века российская имперская государственность оказалась перед нелегким выбором между тремя альтернативными путями развития, каждый из которых содержал в себе целый ряд угроз и кумулятивных эффектов. Первый из них заключался в сохранении полного статус-кво в виде той архаичной имперской гетерогенности, которая была присуща Российской империи в предшествующий период. Данная альтернатива означала отказ от попыток повышения конкурентоспособности отдельных элементов культурно-цивилизационной системы империи, чреватое ее полным и безнадежным отставанием от соперников, углублением внутренней дифференцированности имперского пространства, препятствовавшей развитию страны в соответствии с требованиями современности.

---

[1] Осипов И.Д. Фактор неопределенности в истории русской культуры // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. Российское государство в историческом измерении. 2013. № 15. С. 73.

Вторая альтернатива состояла в автономизации имперского пространства посредством предоставления широких прав национальным окраинам с перспективой последующей федерализации государства на этнической основе. Данный путь, способствовавший укреплению и всестороннему развитию национальных идентичностей, в том числе и русской, неизбежно вел к размыванию имперского сознания и угасанию центростремительных тенденций. В условиях ослабления верховной власти и легитимности центра империи, распад последней либо катастрофическим конфликтным путем, либо через ряд постепенных последовательных стадий становился неизбежным.

Третья альтернатива, сторонниками которой выступали сторонники национально-консервативной доктрины второй половины XIX – начала XX в., заключалась в попытке сохранить империю в модернизированном виде, придав ему некоторые элементы модерной национальной государственности, достигнутые путем административной и правовой унификации имперского пространства и комбинирования традиционных силовых управленческих практик и неконфликтных методов «мягкой силы». Успешная реализация данной перспективы, по мнению ее сторонников, позволила бы избежать крайне болезненной для российского общественного сознания деконструкции империи, а также успешно решать все актуальные задачи имперского строительства и воспроизводства в новых исторических условиях.

Имперское сознание представляло собой чрезвычайно сложный по своей внутренней структуре феномен, включавший в себя как интеллектуальное осмысление имперской сущности российской государственности, сформированную просвещенной частью общества, так и элементы «бытового» сознания, проявлявшиеся в признании всестороннего первенства русского народа в государственном пространстве России. Системообразующим фактором в структуре имперского сознания русского общества выступала государственная парадигма, в которую были вплетены

национальная и религиозная идеи. Все они были тесно связаны с представлением о самодержавной природе верховной власти в России, незыблемость которой являлась важнейшим залогом социального мира и государственной целостности. В рамках имперского сознания понятия «Российская империя» и «Российское самодержавие» были неразрывно взаимосвязаны.

Империя, равно как и самодержавие, рассматривалась как неизбежная и единственно возможная форма существования российской государственности, обусловленная специфическими историческими обстоятельствами. Имперское сознание объясняло и оправдывало внешнюю и внутреннюю экспансию, увязываемую с миссией государства, состоящей в защите народных интересов от различных угроз и поддержании стабильного мирового порядка. Осознание «правды», лежащей в основе имперской внешней и внутренней политики, обеспечивало ей всестороннюю общественную поддержку. Значительную роль в формировании и воспроизводстве имперского начала в общественном сознании играли представления об особенностях исторического развития России, главным содержанием которого являлось упорядочивание внешнего хаоса путем «собирания» разобщенного и разъединенного, а также созидания целостности из разнородности, что определяло содержание имперской политики. Имперская идеология, основывавшаяся на представлении об особом статусе титульной государственной нации – «русских», т.е. православных, включавших в себя, помимо великороссов, также украинцев и белорусов, представлявших собой этнический стержень имперского единства, а также на первенстве православной веры как духовной основы России, не только являлась идейным основанием имперской политики, но и подпитывала собой великорусский национализм, особенно усилившийся к концу XIX века.

Опора на прошлое, образ которого формировался в определенном идеологическом направлении, а также представление об имперской нации,

как носительнице высших ценностей способствовали выработке осознания морального права империи на владение теми или иными территориями и осуществление на них цивилизаторской миссии. Суть последней понималась в просвещении и аккультурации коренного населения имперских окраин, приобщении его к русским государственным началам, а также в защите от внешних ассимиляционных воздействий. Прямым следствием этого стало осознание необходимости «внутренней экспансии», заключавшейся в сглаживании свойственной Российской империи гетерогенности, правовой и административной унификации, распространении знаковых имперских маркеров, важнейшим из которых являлся русский государственный язык. Курс на построение национальной империи, принятый в период правления Александра III, неизбежно вел к усилению националистического сегмента имперского сознания.

Несмотря на тесную связь между монархическим и имперским сознанием российского общества, следует отметить, что в общественной среде носителями и выразителями имперских ценностей являлись не только представители отечественной консервативной мысли, но и многие сторонники либеральной идеологии, поскольку идеалы общественной и личной свободы, отстаиваемые последними, не являлись имманентно противоположными империи, которая могла трактоваться как «универсальное государство», устанавливающее и поддерживающее «всеобщее согласие»[1]. Однако именно национально-консервативная доктрина, основанная на идеях этатизма и отстаивавшая самодержавный принцип организации власти, неразрывно связываемый с понятием империя и интересами господствующей в ней народности, в наибольшей степени воплотила в себе русские национально-имперские ценности, противопоставляемые идеям европейского этнического национализма и автономизма. Имперское сознание являлось идейной основой отечественного национально-консервативного дискурса, сформировав его концептуальное

[1] Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. С. 503.

ядро, обосновывавшее закономерность и историческую предопределенность имперского характера российской государственности, а также необходимость укрепления и всестороннего развития в ней русских политических и культурных начал.

Следует подчеркнуть, что мнения и точки зрения, высказываемые отечественными публицистами и государственными деятелями по окраинно-имперской проблематике и излагавшиеся в форме различного рода текстов и суждений, составляя содержание отечественного национально-консервативного дискурса, являлись также и выражением до конца не артикулированных, но интуитивно ощущаемых представлений, свойственных различным слоям российского общества. Свидетельством этого являлась растущая читательская востребованность данного сегмента национально-консервативной публицистики в рассматриваемый период и ее непрерывное тематическое и географическое расширение. Национально-консервативное видение проблем и перспектив развития российской имперской государственности во многом соответствовало основным чертам имперского сознания российского общества, интеллектуально оформляя его и преобразуя в конкретную политическую программу.

2.2. Консервативная концепция русской политической нации как основы российской имперской государственности

Возникновение национального компонента, в той или иной степени присутствовавшего во всех направлениях отечественной общественной мысли, как проявления социально-исторического прагматизма, было прямым следствием активных процессов развития русского национального самосознания, происходивших на всем протяжении XIX века и являвшихся составной частью характерного для данной эпохи «вызова национализма», а также реакцией на космополитическую идеологию эпохи Просвещения и

европейских буржуазных революций[1]. Формирование русской национальной идеи было напрямую связано со становлением национальной идентичности и национальными движениями народов Российской империи, что происходило либо в форме ответа на прямой национальный вызов, поставивший под сомнение правомерность русского доминирования на некоторых окраинах, как это было, например, в Западном крае, либо в результате усиления национального компонента в политике российского самодержавия[2].

Особенность отечественного национализма второй половины XIX столетия состояла в том, что, позиционируя себя как «русский», он, в сущности, являлся национализмом «российским», поскольку отстаивал идею государственного первенства и доминирования русского народа в рамках многонациональной Российской империи, не предполагая ее превращения в «Империю русских». Укрепление русского национального начала должно было повысить его конкурентоспособность в борьбе с соперничавшими национальными проектами в рамках государственного пространства империи и, тем самым, способствовать укреплению ее внутреннего единства и теснейшему сближению национальных окраин с государственным центром. Русский национализм, как политическая идеология, представлявшая собой систему определенных убеждений, центральным понятием которой являлся русский народ, стремился к обеспечению первенства его положения и интересов в империи, а также к противодействию «инородческой агрессии», осуществлявшейся в форме различных национальных «интриг», направленных не только на отторжение инородческих окраин от России, но и на всестороннее ослабление российской государственности и ее полное разрушение. Формировавшийся русский национализм XIX века представлял собой идеологию социальной интеграции или нациостроительства, обеспечивавшую теоретическую легитимацию консолидации населения в

[1] Иванов А.А., Казин А.Л., Светлов Р.В. Русский национализм: основные вехи исторического осмысления // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 4. С. 146–148.

[2] Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. М.: Новое издательство, 2005. С. 421.

рамках существовавшей имперской государственности и превращение его в единую однородную господствующую общность – титульную нацию[1]. Последняя в его восприятии представляется единым целым, «национальным субстратом, существующим поверх сословных и классовых барьеров»[2].

Несмотря на существенные различия между идеями европейских националистов и представлениями сторонников русской национальной доктрины, следует указать на неизбежную рецепцию концептуальных основ европейского национализма, в которых отечественные мыслители обнаруживали позитивные примеры выстраивания национальной культурной гегемонии, вполне приемлемые и для российских реалий[3].

Формирование концепции имперской государственности, с доминирующей титульной русской нацией представляло собой составную часть дискурса о русской национальной идее, поиск и осмысление которой охватывает российскую общественность во второй четверти XIX века и не теряет своей актуальности на протяжении целого столетия. Следует отметить, что дискурс о русской национальной идее по своему объему и кругу затрагиваемых вопросов намного превосходит дискурс о национальной идентичности, поскольку, помимо определения пространственных и смысловых границ нации, в его рамках поднимается вопрос о ее ценностных ориентирах и стоящей перед ней исторических задачах, что придает ему, помимо сугубо этнического наполнения, также значимый общественно-политический смысл.

Русская национальная идея на протяжении XIX – начала XX веков прошла длительную эволюцию от воззрений М.М. Щербатова, Ф.В. Ростопчина и П.И. Пестеля, рассматривавших перспективы развития российской государственности через призму русских национальных интересов, до формирования русских националистических организаций и

[1] Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 320 с. С. 17.
[2] Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж: Издательство ВГУ, 2011. С. 377.
[3] Савино Д. Инородческие заговоры: поляки, евреи, немцы и украинцы в представлениях русских националистов начала XX века // Логос. Т. 27. № 4. С. 68.

партий начала XX века, программной основой которых являлась четко сформулированная идейная концепция, направленная на защиту интересов русской нации и укрепление ее ведущей роли в империи.

Следует отметить, что идея нации получила развитие во всех направлениях отечественной общественной мысли XIX – начала XX века, трансформируясь в соответствии с их социально-политическими концепциями. Впервые русский национализм был противопоставлен существовавшему российскому самодержавию, переставшему отвечать интересам русского народа, в идеологии декабристов, отделивших интересы нации от самодержавно-монархического строя, проводившего, по их мнению, антинациональную политику[1]. Мощный национальный компонент включала в себя и идеология русских народников, выступавших за освобождение русской нации от гнета самодержавия и за политическое самоопределение народов империи, которая рассматривалась исключительно как средство национального угнетения. Идея нации стояла в центре европейского революционного движения середины XIX века, которое во многом представляло собой практическую реализацию идеологии национализма[2], вызывая естественную оборонительную реакцию со стороны как русских, так и других имперских властей европейского континента. Принципиальное расхождение национализма с революционной идеологией произошло уже во второй половине XIX века под влиянием эволюции радикальной доктрины и принятием национальной идеологии на вооружение правящими режимами европейских государств[3].

Следует подчеркнуть, что русская национальная идея формировалась и реализовывалась в рамках господствующей имперской идентичности,

---

[1] Сергеев С.М. Восстановление свободы. Демократический национализм декабристов // Вопросы национализма. 2010. № 2. С. 78–118.

[2] Кузнецова А.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию взаимодействия и взаимовлияния национализма и революции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 5/1. С. 36.

[3] Кузнецова А.В. Национализм и революция как взаимообуславливающие политические феномены в эпоху европейских революций 1789–1871 гг. // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 20. С. 405–406.

наложившей значительный отпечаток на доминировавшие в российском обществе представления о характере российской государственности и месте и роли русского народа в его формировании и развитии.

По мнению американского ученого Д. Роули, многовековой опыт существования российской имперской государственности препятствовал формированию элементов сознания и дискурсивных концептов, необходимых для возникновения националистического мышления в России. Русское национальное самосознание с самых начальных этапов его интеллектуальной рефлексии имело универсалистско-имперский характер, существенно отличавшийся от партикуляристского и релятивистского мышления, лежавшего в основе европейского национализма[1]. Если национализм представлял собой, согласно наиболее распространенному и общепринятому определению Э. Геллнера, политический принцип, утверждавший необходимость полного совпадения национального и политического единства, порождавший радость или гнев в случае его осуществления или нарушения[2], то русское политическое мышление никогда не настаивало на идентичности этнического и государственного пространств. Многонациональный характер Российского государства являлся объектом гордости имперских властей, выступая составным элементом государственной идеологии и символики. Российская политическая и интеллектуальная элита осознавала, что для сохранения целостности крайне обширного и чрезвычайно разнородного имперского пространства следовало отказаться от любых попыток преодоления существовавших в нем культурных и языковых различий, признавая право инородцев на сохранение собственной самобытности. Политика русификации, проводимая российскими властями в позднеимперский период, была ориентирована не на построение единой русской государственной нации из разнородных этнических сообществ, составлявших значительную часть населения

[1] Роули Д. Имперский versus национальный дискурс: случай России // Вопросы национализма. 2011. № 1(5). С. 214.
[2] Gellner E. Nations und Nationalism. New York: Ithaca, Cornell University Press. 1983. P. 1.

империи, а, в первую очередь, на удержание власти над стремительно модернизировавшимся государственным пространством посредством усиления административной централизации и унификации системы управления окраинными регионами[1].

Отрицание существования русского национализма европейского типа, тем не менее, не дает оснований утверждать, что в России не сформировалось национальное мышление, основывавшееся на признании первенства и главенства русской нации в многонациональной Российской империи. Однако в русской национальной идее государственное начало всегда превалировало над собственно этническим, что было обусловлено особенностями развития русской государственности, складывавшейся путем объединения многих народностей и племен вокруг великорусского этнического ядра. «Собирание» земель, осуществлявшееся различными методами, не предполагало не только ассимиляции и полного обрусения всего нерусского населения, входившего в состав расширявшегося Российского государства, но и полной гомогенизации государственного пространства в административно-правовом и социокультурном отношениях. Русская политическая и интеллектуальная элита не ставила перед собой таких целей, признавая право инородцев на самобытное развитие в составе империи.

Следует подчеркнуть, что русскому национализму XIX в. были чужды идеи национально-биологической исключительности русской нации, ее природного превосходства над другими народами, обуславливавшие необходимость полной ассимиляции инородческого населения империи. Лишь вначале XX века в русское национальное движение проникает дискурс «почвы и крови», напрямую заимствованный из Европы, где ощутимо присутствовали идеи воинствующего биологического шовинизма, граничившего с расизмом, согласно которому национальное чувство признавалось законом природы, требующим от человека «биологической

[1] Хоскинг Д. Россия: народ и империя. Смоленск: Русич, 2001. С. 411.

добродетели» и верности своим национальным особенностям, наградой за которые и будет являться физическое и душевное здоровье народа, определяющее его величие[1]. Однако даже в это время, несмотря на значительное усиление этнонационального компонента в отечественной национально-консервативной доктрине, русские националисты были, в первую очередь, носителями государственно-имперской идеологии, весьма далекой от классической национальной доктрины, ориентированной на превращение Российской империи в ярко выраженное национальное государство[2].

Обращение к имперско-окраинной проблематике в российской интеллектуальной среде во второй половине XIX века было обусловлено комплексом конкретных исторических условий, вытекавших из общих тенденций развития российской государственности и общемировых процессов, с которыми они были тесно связаны. Первый из таких факторов, определяемый самой логикой и характером империостроительства в России, был обусловлен тем, что к этому времени в целом завершилось территориальное «собирание» Империи, определилась конфигурация ее «ядра» и общего географического пространства, отдельные локальные изменения границ которого не влияли на ее общий характер и представления о масштабе и структуре сложившейся державы. Оформившаяся территориальная и политическая целостность с ярко выраженным государственным ядром и обширными и разнообразными окраинными территориями должна была получить прочное концептуальное обоснование, оправдывавшее ее политическое и моральное доминирование над входящими в ее состав сообществами, в том числе и имевшими в прошлом опыт политической субъектности.

Другой, внешнеполитический фактор был обусловлен началом борьбы за глобальный передел мира между ведущими мировыми державами и

[1] Сикорский И.А. О психологических основах национализма. Киев: Типография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1910. С. 7–9.
[2] Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. С. 153.

складыванием новой расстановки сил, в которой Российской империи предстояло занять свое место, трансформировав в соответствии с новыми вызовами не только свою внешнеполитическую доктрину, но и внутриимперскую политику, направив ее на укрепление государственного единства перед лицом новых внешних угроз. Достаточно архаическая сущность российской имперской государственности, в отдельных регионах которой всецело доминировали местные инородческие элиты, получившие от верховной имперской власти значительный объем управленческих полномочий и навязывавшие местному населению свою модель культурного развития, должна была трансформироваться в соответствии с требованиями и вызовами эпохи, усвоив некоторые элементы модерной национальной государственности.

Вызов национализма, открыто брошенный империи на ее западных окраинах повстанческим экстремумом 1863–1864 гг., стал внешним катализатором указанных факторов и прямым поводом обращения к проблеме интеграции национальных окраин и унификации имперского пространства. При этом была четко определена пространственная зона приоритетного внимания, в которую входили, в первую очередь, северо-западные окраины Российской империи, как область прямого противостояния русских национально-государственных начал господствовавшему там пришлому инородческому влиянию.

Помимо этого, в сугубо теоретическом плане необходимость концептуального обоснования единства и унитарной природы Российской империи в национально-консервативном дискурсе была обусловлена появлением в российских интеллектуальных кругах 1860-х годов федералистских идей и представлений. Их носителями и сторонниками первоначально являлась группа ученых-историков, придерживавшихся в своих исследованиях концепции «провинциализма», состоящей в отказе от господствующих взглядов на русскую историю как историю развития государственного начала и централизации, и уделении приоритетного

внимания изучению истории слагавших Российскую империю областей. Наиболее ярким представителем данной группы был историк А.П. Щапов, пользовавшийся огромной популярностью в студенческой среде, и активно отстаивавший свои взгляды не только с университетской кафедры, но и на страницах столичных периодических изданий[1]. Обосновывая приоритет «областности» при изучении русской истории, он писал: «Русская история, в самой основе своей, есть по преимуществу история областей, разнообразных ассоциаций провинциальных масс народа – до централизации и после централизации. С этой точки зрения, даже вся русская история представляет не что иное, как историческое развитие и видоизменение разнообразных областных общин…»[2]. Помимо Щапова в эту группу ученых входили историки Н.И. Костомаров, П.В. Павлов, К.Н. Бестужев-Рюмин и другие. Осуществляя научные поиски следов обособленной жизни различных областей Российской империи, связь между которыми характеризовалась ими как федеративная, они, посредством активной публицистической деятельности, способствовали формированию в российском обществе критического отношения к принципу централизма и запроса на федералистские идеи и ценности[3].

Историческое обоснование концепции федерализма, которое легко могло быть перенесено из области научных изысканий и споров о прошлом в область современности в виде проектов федеративного переустройства России, не могло не вызвать обеспокоенность властей, усматривавших в интерпретации областной истории в федеративном ключе завуалированную критику существующей системы государственного устройства. Именно этими соображениями руководствовался министр внутренних дел П.А.

---

[1] Щапов А.П. Великорусские области и Смутное время // Отечественные записки. 1861. № 10. С. 579–616, № 11. С. 79–118.

[2] Щапов А.П. Великорусские области и Смутное время // Сочинения А.П. Щапова. Т. 1. СПб.: Изд. М.В. Пирожков, 1906. С. 648.

[3] Боярченков В.В. «Русская история в самой основе своей есть… история областей». Провинциализм, народность и колонизация в историческом дискурсе федералистов эпохи Великих реформ // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 32–34.

Валуев, запрещавший публиковать работы Щапова, по его словам, «пахнущие за версту пугачевщиной»[1].

Федералистские по своей сути взгляды на желательный характер Российской государственности отстаивались также на страницах вышедшей в 1864 г. книги остзейского публициста Ф.И. Фиркса, известного под литературным псевдонимом Шедо-Ферроти «Que fera-t-on de la Pologne?» (Что нам делать с Польшей?»). В данном «этюде» автором, относившимся к либерально-консервативному крылу сословно-аристократической «партии», были затронуты многие вопросы государственного устройства России, выходившие далеко за рамки русско-польских отношений. Шедо-Ферроти отстаивал право каждого племени Российской империи «жить в условиях, вытекающих из его природы, географического положения страны, им обитаемой; исторических воспоминаний, им сохраненных; религиозных верований, какие им приняты», отмечая, что «всякий русский, кроме Императора, отправляясь в Финляндию, в Ливонию, в Польшу, на Кавказ, едет в иностранную землю»[2]. Идея уравнения титульной народности в правах с другими племенами, населявшими империю, единственным связующим звеном которой выступала фигура Императора в условиях польского мятежа и спровоцированного им национально-патриотического подъема была воспринята большинством представителей русской общественной мысли крайне отрицательно.

Федералистский концепт и идеи децентрализации, все шире проникавшие в русское общество являлись дополнительным фактором актуализации имперской проблематики в отечественных интеллектуальных кругах, побуждая идейных противников федерализма к детальному теоретическому обоснованию необходимости сохранения и упрочения государственного единства Российской империи.

---

[1] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 1: 1861–1864. М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. С. 138.

[2] Цит. по: Котов А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века. СПб.: «Владимир Даль». 2019. С. 176.

Наиболее последовательным и убежденным сторонником идеи цельности и внутренней неделимости Российского имперского государства, выведшим ее из состояния некой неосознаваемой априорной данности на уровень публичной теоретической рефлексии, был выдающийся представитель русской консервативной мысли, талантливый публицист и настоящий «властитель дум» пореформенной эпохи, к мнению которого прислушивались в высших кругах российской администрации – Михаил Никифорович Катков.

Влияние Каткова и его изданий на различные направления правительственного курса, достигшее своего апогея в 1880-е годы в период царствования Александра III, трудно переоценить. Ему удалось превратить редактируемые им «Московские ведомости» из скромной университетской газеты во влиятельный политический орган, первым в России продемонстрировавший модерную практику воздействия прессы, как самостоятельной силы, на властные управленческие траектории. Московская газета под редакторством Каткова наиболее ярко иллюстрировала резко возросшее политическое влияние публицистики, присваивавшей себе не только роль выразителя интересов определенных «партий», но и всего общественного мнения. Управляющий делами Комитета министров А.Н. Куломзин в своих мемуарах указывал на огромное влияние газет, регулярно читаемых монархами, на весь ход государственных дел. По его словам, такие издания становились невероятно влиятельными, перед их редакторами заискивали власть имущие и сама цензура, с их помощью «продавливались» те или иные решения, возносились или подвергались опале те или иные администраторы, велась подковерная борьба между министерствами[1]. Министр внутренних дел Д.А. Толстой откровенно заявлял, что может заставить замолчать любое издание в России, но не «Московские ведомости» Каткова, которые, по мнению другого высокопоставленного администратора – министра финансов Н.Х. Бунге, являлись важнейшим источником

[1] Воспоминания А.Н. Куломзина «Пережитое». Т. I. Ч. 4 // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 188. Л. 41–42.

информации императора, получавшего ее под определенным всесильным редактором углом зрения[1]. Безусловно, влияние газеты и ее редактора было ограничено высшей волей самодержца и мгновенно пресекалось в случае расхождения с ней либо при затрагивании предметов «сакрального характера». В умении не переступать эти границы, следовать за волей власть предержащих, при этом оказывая на них подспудное интеллектуально-информационное и идеологическое воздействие, актуализируя наиболее значимые вопросы текущего времени, состоял высший редакторский талант. Все эти черты в полной мере были свойственны М.Н. Каткову и его газете.

«Московские ведомости» разворачивали целые кампании, подхватываемые другими изданиями, по различным вопросам не только внутренней, но и внешней политики, смело вторгаясь в области управления страной, являвшиеся прерогативой не только конкретных министров, но и самого императора. Изредка это приводило к резким «одергиваниям» сверху, но в целом позиция газеты весьма благосклонно воспринималась верховной властью, не только прислушивавшейся к призывам редактора, но и зачастую напрямую следуя его рекомендациям и идеям. Парадоксальным было то, что точка зрения редактора «Московских ведомостей», выступавшего от лица общественного мнения и, по сути, являвшимся этим мнением, а также настойчиво заботившегося о том, чтобы не быть обвиненным в «партийности», воспринималась многими представителями российской бюрократии как руководящий голос высшего правительства, обязательный к исполнению.

Современники по-разному оценивали общественно политическую деятельность Каткова, давая ему диаметрально противоположные характеристики. Его сторонники и почитатели называли его «создателем русской публицистики», «борцом за русскую правду», «носителем русской государственной идеи», единодушно отмечая наличие мощного

[1] Соловьев К.А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 214.

национально-государственного «русского» стержня в его воззрениях, с огромным воодушевлением воспринимаемого обществом, имперское сознание которого обрело в катковской публицистике четко оформленное и эмоционально окрашенное воплощение[1]. Не меньше у редактора «Московских ведомостей» было и противников, которые, помимо содержательной полемики с ним по самым различным вопросам, упрекали его в «невоздержанности», непоследовательности его пламенных воззваний, которые в силу своих крайностей приносили больший вред отстаиваемым им ценностям – самодержавию и имперской целостности, нежели их явные противники[2].

Широкое внимание власти и общественности Катков обратил на себя в период Январского восстания 1863 – 1864 гг., когда им впервые был публично поднят вопрос о проблемах и перспективах развития российской имперской государственности, внешних и внутренних вызовах, угрожавших ее существованию. Своими публикациями данного периода редактор «Московских ведомостей» громко заявил о себе, как об «имперском публицисте», не только отстаивая собственные взгляды, но и чутко улавливая настроения русского общества, переживавшего период становления своего национального самосознания. В последующем имперская проблематика не сходила со страниц его изданий, став одним из ключевых элементов отечественного национально-консервативного дискурса, посвященного данному вопросу. В контексте обсуждения различных сюжетов публицист излагал и отстаивал теоретические основы консервативной доктрины развития России, важнейшим элементом которой являлось необходимость сохранения существовавшей формы российской государственности как целостной системы, сложившейся в результате совокупных усилий народа и власти в ходе ее тысячелетней истории.

---

[1] Сементковский Р.И. М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1892. С. 3.

[2] Лесков Н.С. На смерть Каткова // Лесков Н.С. Собрание сочинений в 11 томах. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 11. С. 159–163.

Несмотря на отмечаемые многими исследователями «переменчивость» и противоречивость суждений Каткова, которые следует относить преимущественно к даваемым им ситуативным характеристикам различных явлений окружающей действительности, в его воззрениях можно выделить неизменные мировоззренческие установки, ключевые из которых заключались в преклонении перед упорядочивающим и созидающим государственным началом, а также в следовании «народной политике», представлявшей собой одну из разновидностей национализма[1]. Данный аспект катковской идеологии характеризуется исследователями как «гражданский»[2], «государственный»[3] или «бюрократический» национализм[4], что отражает фиксируемую ими решающую роль государственно-политического и бюрократического начал в его воззрениях на различные вопросы современности. С первенством данных начал публицист связывал принципиальную возможность практической реализации отстаиваемых им русских национально-государственных интересов.

Ключевым и смыслообразующим элементом государственной системы России Катков считал самодержавие, органично сформировавшееся в процессе исторического развития как наиболее целесообразная форма государственной власти в России. Являясь сторонником органической теории развития общества, свойственной консервативному мировоззрению, и полагая, что любое политическое развитие может прогрессировать только в сторону «собирания и сосредоточения власти в единых руках», публицист видел в самодержавии наиболее важное достижение исторического развития русского общества и государства[5]. Право самодержавия на неограниченность

---

[1] Котов А.Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17). С. 179.

[2] Тесля А.А. «Польский вопрос» в публицистике М.Н. Каткова 1863 года. [Электронный ресурс] URL: http:// www.hrono.ru/statii/2011/tes_katkov.php (дата обращения: 06.08.2024).

[3] Санькова С.М. Государственный деятель без государственной должности. М.Н. Катков как идеолог государственного национализма. СПб.: Нестор, 2007. С. 8.

[4] Котов А.Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова. С. 185.

[5] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881. М.: Издание С.П. Катковой, 1898. С. 224.

обосновывалось мыслителем исходя из исторической логики становления государственности, главный смысл которой, по его мнению, состоял в ее централизации. Катков считал, что именно неограниченность верховной монархической власти позволяет устранить вредное для развития народной свободы «многовластие», выражавшееся в претензиях различных социальных сил и институтов на присвоении себе властных полномочий и посредничество между государем и народом. Он писал: «Собирая и сосредотачивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, верховная власть над всякой властью – вот начало свободы»[1].

Давая развернутое теоретическое обоснование самодержавия как единственно возможной и наиболее целесообразной формы государственной власти в России, Катков также стремился осмыслить ее существование в качестве империи. В воззрениях консервативного мыслителя имперская идея была неразрывно связана с представлениями о государственной мощи, залогом сохранения и укрепления которой являлась единая централизованная государственная власть, гарантирующая территориальную целостность и неприкосновенность государственного пространства, а также духовное единение населения страны посредством формирования общей имперской идентичности. Катков был последовательным и убежденным сторонником тезиса о том, что Российская империя может существовать только как унитарное государство. В воззрениях консервативного публициста унитаризм являлся неотъемлемым элементом единого идейного континуума, описывающего природу и сущность Российской государственности как многосложного системного образования, включавшего в себя, помимо него, монархизм и имперскость. Данные свойства, по мнению мыслителя, являлись неотъемлемыми генетическими признаками, имманентно присущими Российскому государству, отказ от какого-либо из которых неизбежно должен был привести к его разрушению.

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881. С. 224.

Появление федералистских идей и концепций развития Российского государства в новых исторических условиях рассматривалось Катковым как проявление враждебной Русскому государству «интриги», стремящейся к его разрушению. Федералистские концепции, целенаправленно внедряемые в сознание русского общества, по его мнению, являлось ничем иным, как новым, более скрытным и гибким, нежели вооруженное вторжение или провоцирование революционных смут, способом медленного, постепенного и незаметного внутреннего разрушения могущественного государственного тела России. Главная опасность и коварство этого способа заключались в том, что доктрина федеративного разъединения страны маскировалась под личиной прогресса и поиска нового, якобы более эффективного способа управления государством, способного смутить не только незрелые или испорченные умы, но и вполне солидных людей консервативного или либерального образа мыслей[1]. Публицист неоднократно заявлял, что основанная на национальном принципе федеративная идея, предусматривавшая превращение каждой племенной особенности в политическую нацию, пущенная извне, была призвана внести начало розни в среду русского народа, который являлся «наиболее цельным по своему составу народом Европы»[2].

Разоблачая идею федерализации, Катков стремился проанализировать и подвергнуть критике главные аргументы сторонников данной доктрины, состоявшие в том, что для эффективного и успешного управления столь обширным, сложносоставным и многонациональным государством, каким являлась Российская империя, якобы требовалась не только административная, но и политическая децентрализация, а национальные интересы народностей, населявших империю, будто бы требовали ее разделения на отдельные политические субъекты, выделяемые по этническому признаку. Внешне безобидная и «прогрессивная» идея

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864. С. 702–703.
[2] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. 1865. Д. 103. Л. 25.

автономизации национальных окраин России, состоящая в стремлении к расширению их культурной и социальной обособленности, отстаиваемая либеральными оппонентами консервативного публициста, по мнению последнего, вела к постепенной дезинтеграции регионов Российской империи и ее неизбежному последующему раздроблению. Катков ни минуты не сомневался в том, что реализация данных проектов, внедряемых в общественное сознание, зараженное духом ложно понимаемого «прогрессизма», привела бы к последствиям, равным по своему разрушительному эффекту результатам сокрушительного удара извне, либо тяжелейшего внутреннего взрыва, с той лишь разницей, что достигнут он был бы без всяких внешних усилий руками самих русских людей[1].

Идеалом Каткова являлась цельная, гомогенная Российская империя, единство которой определялось, безусловно, не по этническому, а по культурно-политическому критерию. Русская государство, по мнению консервативного публициста, представляло собой не сумму территорий и областей, а внутренне неделимое целое, каждая местность которого – есть его живая часть, в которой отражается целое[2]. Данное представление определяло его взгляды на политику в отношении национальных окраин, в основе которой должно было лежать стремление к постепенной культурной ассимиляции окраин и вовлечении этнически и конфессионально разнообразного населения в единое культурное пространство России. Унификаторский культурный стандарт, распространяемый, в первую очередь, посредством образовательной системы, по мнению Каткова, не должен был иметь никакой этнической окраски, которая препятствовала бы заложенному в нем объединительному началу. Данную функцию должен был выполнять отстаиваемый Катковым классицизм, который не только устанавливал высокий уровень имперской культуры, но и способствовал максимально безболезненной культурной интеграции представителей

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864. С. 711–712.
[2] Катков М.Н. Земля и государство // М.Н. Катков. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 446.

различных этноконфессиональных сообществ, создавая из их представителей, получивших классическое образование, слой имперской интеллектуальной элиты[1]. Осознание унификаторского потенциала данной программы и ее реальное проведение в жизнь, по мнению консервативного публициста, было не по силам одной общероссийской и региональной общественности, пронизанной либеральными и этнонационалистическими настроениями, и могло реализовываться только имперской бюрократией, что и определило соответствующие приоритеты в его воззрениях[2].

Отстаивая идею цельности империи, Катков неоднократно заявлял, что политическое обособление отдельных частей государства, хотя и с сохранением над ними общей верховной власти, равносильно его разложению, приводя в качестве примера опыт Османской империи, допустившей обособление своих национальных регионов и, тем самым, поставившей себя на путь постепенного и неизбежного распада[3]. Любая форма автономизации, связанная с наделением составных частей единого государства элементами политической субъектности и исключительными политическими или этническими привилегиями, трактовалась им как сепаратизм и представлялась совершенно недопустимой, поскольку, приводя к формированию самостоятельных государств в государстве, она обрекала государство на постепенное, но неизбежное разрушение.

Принцип государственной цельности, не допускавший автономных и независимых от государства образований в его составе, имел для Каткова не только территориальный, но и социально-политический смысл, распространяясь на само общество и его институты. Именно этим объясняется неприятие им либерального принципа автономии гражданских учреждений, создаваемых в России в эпоху Великих реформ – земства, суда, университетов, разрушавшего внутреннюю государственную цельность и

[1] Холмогоров Е.С. Национализм центростремительного движения. Политическая метафизика Михаила Каткова // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 157.
[2] Котов А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016. 486 с. С. 88.
[3] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864. С. 711.

создававшего внутри него автономные сообщества. Данный принцип также лежал в основе категорического отрицания консервативным мыслителем славянофильского принципа отделения Земли и наполнявшей его Народности от государства, позволяя ему уверенно заявлять, что «русская земля есть русское государство, а русское государство есть русская земля», принципиально отрицая саму возможность различия их интересов[1].

Характеризуя российскую государственность, Катков отстаивал идею «естественности» и «неизбежности» ее обширного характера, полагая, что Россия как независимое политическое образование может существовать исключительно в современных ему пределах. Он писал: «Русская территория по своим естественным условиям не может не быть громадна; она не может служить поприщем для самостоятельной и сильной государственной жизни иначе как в тех размерах, которые были намечены с точностью при самом рождении Русского государства»[2]. Данному обстоятельству способствовал характер занимаемых страной территорий, их природно-географические особенности, состав народонаселения, политическое окружение. Все эти факторы, по мнению публициста, на протяжении многих веков определяли особенности исторического развития России, основными содержательными элементами которого являлись непрерывная народная колонизация, политическое собирание разрозненных земель и их защита от многочисленных внешних врагов, наиболее эффективным способом которой была территориальная экспансия, проводимая не ради обогащения, но ради самого выживания государственности, продолжавшаяся до тех пор, пока Россия не достигла своих естественных границ, «предназначенных ему Провидением»[3]. Моральное право на владение данными территориями и господство в их пределах, по мнению Каткова, было завоевано русским

[1] Катков М.Н. Истинные задачи комиссии для пересмотра учреждений губернского и уездного правления. Самоуправление в Англии и России // М.Н. Катков. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 451

[2] Катков М.Н. Цельность и однородность Русского государства // М.Н. Катков. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 169-170.

[3] Катков М.Н. Цельность и однородность Русского государства. С. 170.

народом ценой беспримерного самопожертвования в борьбе с многочисленными противниками и конкурентами, «потом и кровью» многих поколений, утвердивших русское государственное единство[1].

Размеры государственной территории России в представлении консервативного публициста не носили случайного характера, а представляли собой строго очерченное ментальное пространство, на котором могло существовать лишь одно государство, «способное к самостоятельному и могущественному развитию». Занятие и политическое единение их, по мнению Каткова, являлось важнейшим элементом всемирного политического предназначения России, первой и наиболее важной частью «нашего исторического дела». Лишь с достижением данных «естественных границ и, стало быть, с занятием всего огромного протяжения своей территории Русское государство могло успокоиться, замириться и открыть возможность для свободного развития человеческой жизни»[2].

Мнение сторонников федерализации России о невозможности эффективного управления и развития столь обширных территорий в рамках единого унитарного государства Катков считал ложным и заведомо враждебным, утверждая, что в условиях современной цивилизации с ее техническими достижениями обширность сплошной территории неизбежно освободится от свойственных ей в прошлом материальных неудобств, а социально-политическое единство и цельность многочисленного разноплеменного населения, по его мнению, должно быть достигнуто посредством последовательной унификационной политики, направленной на развитие единой государственной русской нации. Существование иных наций, помимо русской, в составе Российской империи Катков решительно отрицал[3].

Деструктивная сущность федералистских концепций государственного развития, по мнению Каткова, состояла в исключительно этническом

[1] Катков М.Н. Русский вопрос // Русский вестник. 1863. Т. 43. С. 929.
[2] Катков М.Н. Цельность и однородность Русского государства. С. 170.
[3] Там же. С. 172.

прочтении идеи национализма, принципиальным противником которого он являлся. Этнический национализм, столь активно развивавшийся в Европе с середины XIX века вел к острым конфликтам между народностями, волею исторических судеб вынужденных проживать в рамках одного государства, напрямую угрожая целостности многонационального имперского государства, каким являлась Россия. Консервативный публицист был яростным противником придания этническому началу какого-либо политического смысла, считая невозможным и чрезвычайно опасным определение границ государств или областей внутри них по этнографическим признакам, подчеркивая, что «государство не совпадает с племенем, и государственная область не есть только то пространство земли, которое заселено людьми одного языка»[1].

Редактор «Московских ведомостей» на протяжении всей своей жизни отстаивал идею политической или государственной нации, которая, по его глубокому убеждению, должна была являться основой государственного единства Российской империи. Он неоднократно подчеркивал, что «национальность есть термин по преимуществу политический; какую бы из допускаемых в государстве религий человек не исповедовал и какого бы ни был он племенного происхождения, политическая национальность его определяется его подданством»[2]. Исходя из этого, он утверждал, что в многоплеменной Российской империи может существовать только одна русская государственная национальность, которая «есть не этнографический, а политический термин», поскольку «русский народ есть не племя, а исторически, из многих племенных элементов сложившееся политическое тело»[3].

Агрессивная антиэтничность катковского национализма была обусловлена осознанием огромного разрушительного потенциала этнического начала, возведенного в политический принцип. Катков упорно

[1] Катков М.Н. Что нам делать с Польшей? // Русский вестник. 1863. Т. 44. С. 474.
[2] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1866. С. 292.
[3] Там же. 1882. С. 258–259.

отрицал «многонациональный» характер Российской империи, выступая против проектов ее переустройства в соответствии с абстрактными теориями «множественного суверенитета», в которых небезосновательно усматривал исключительное стремление враждебных России сил к ее ослаблению, достичь которого не внешним ударом, ни внутренней революционной пропагандой представлялось невозможным[1].

Отстаивая необходимость проведения здравой русской национальной политики, мыслитель не вкладывал в это понятие никакого узкого национально-этнического смысла, рассматривая ее как «народную политику», проводимую, в первую очередь, в общегосударственных интересах, что и составляло основную суть катковского национализма[2]. Исходя из этого, «русскость», в понимании Каткова, являлась, скорее оценочным, нежели качественным свойством объекта, не связанным ни с его этническим происхождением, ни с конфессиональной принадлежностью. Первостепенными признаками данного свойства, имевшими решающее значение для публициста, являлись языковая унификация, политическая лояльность и защита русских государственных интересов[3]. Соответственно, в основе государственного единства России, по мнению Каткова, лежало не этническое или конфессиональное начало, первенство которых он решительно отрицал, а, в первую очередь, единая культура, приобщение к которой делало представителей любых этнических групп составной частью государственной национальности. Публицист подчеркивал, что «национальное единство, без которого государство не может крепко стоять и безопасно развиваться, есть идея исключительно политическая, а не церковная, и что католику или протестанту нет надобности быть непременно поляком или немцем, и что тот и другой могут быть русскими»[4].

---

[1] Катков М.Н. Цельность и однородность русского государства. С. 168–169.
[2] Котов А.Э. «Современная нефеодальная монархия»: Русская консервативная печать конца XIX века в поисках национальной идеологии // Тетради по консерватизму. 2015. № 4. С. 132.
[3] Иванов А.А. Трактовка понятия «русские» в российской консервативной мысли (1860-е – 1917 гг.) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2017. № 2 (22). С. 41.
[4] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. 1865. Д. 103. Л. 15 об.–16.

В данном контексте консервативный публицист определял русских как представителей открытой в культурном отношении «имперской нации», ассимилировавшей иные народности, входившие в состав империи[1]. Данная ассимиляция, безусловно, не представляла собой попытку «превращения» инородцев в русских путем лишения их права говорить на родном языке или посредством отрешения от собственной культуры, а носила культурно-гражданский характер, осуществляясь посредством комплекса неконфликтных интегративных мер политического, образовательного и культурно-просветительского характера, осуществляемых как посредством регламентирующей деятельности государственной администрации, так и при помощи общественных инициатив. Как и другие консервативные мыслители, редактор «Московских ведомостей» приветствовал этническое и культурное многообразие, не покушавшееся на гомогенность национально-государственного организма империи, подчеркивая, что «культурные особенности, не заключающие в себе ничего антинационального и никакого антагонизма с устоями русской государственной системы, должны быть уважены, как элемент живого органического разнообразия в общей национальной жизни великого целого»[2].

Превращение же единой русской государственной национальности, складывавшейся в течение всей тысячелетней истории России, в конгломерат наций, определяемых по этническому признаку, многие из которых еще предстоит искусственно создать, по мнению Каткова, станет нарушением естественного исторического развития и приведет к катастрофическим последствиям для Российской государственности[3].

Стремление к всестороннему укреплению единства государственной национальности, сочетавшееся с признанием права этнических сообществ на сохранение своей культурной самобытности, свойственное воззрениям М.Н.

---

[1] Тесля А.А. «Истинно русские люди»: История русского национализма. М.: Рипол-Классик, 2019. С. 228.
[2] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1886. С. 339.
[3] Там же. 1864. С. 703.

Каткова, позволяет согласиться с мнением ряда современных исследователей, отмечавших, что в основе взглядов консервативного публициста на проблему государственного устройства Российской империи лежал принцип сохранения «единства в многообразии», который является ключевым принципом существования сложносоставных государственных образований, включавших в свой состав разнообразные по характеру и уровню развития составные элементы[1].

В соответствии с данной концепцией, Катковым разрабатывалась и обосновывалась программа «оборонительной русификации» северо-западных окраин Российской империи, направленная на укрепление русских государственных начал в тех регионах, где они должны господствовать «по закону», на основании исторических прав. В ее основе лежала необходимость проведения комплекса мероприятий по защите русских интересов от воздействия конкурирующих проектов нациостроительства, отстаиваемых мощными в материальном и культурном плане польскими и немецкими сообществами, проживавшими здесь. Сила этих сообществ была обусловлена, в том числе, ошибочной политикой имперских властей, «покупавших» их лояльность посредством предоставления многочисленных привилегий, что способствовало вызреванию в их среде сепаратистских настроений и угнетению ими народных масс, тщетно искавших защиты от произвола окраинных элит у государственной власти. Данный подход неизбежно вел к критике, как отдельных методов, так и общих принципов правительственной политики в отношении окраин, которая часто звучала на страницах «Московских ведомостей».

Последующие события доказали правоту соратника и единомышленника Каткова – Н.А. Любимова, утверждавшего, что его «борьба с сепаратизмом не была борьбою с ветряными мельницами. Это была борьба с великим злом, грозившим стране распадением и разложением». Трагизм ситуации, по

[1] Кэнсо Я. Политический национализм М.Н. Каткова // Русская политология. 2018. № 1(6). С. 47–48.

мнению Любимова, состоял в том, что «по роковому недоразумению, и чрез ошибки, и чрез обман, центробежное, в существе своем изменническое течение, в глазах множества людей получило значение либерального, цивилизаторского, долженствующего привлекать образованные умы», в то время как защитники государственного единства и русских государственных интересов снискали себе дурную славу ретроградов и националистов[1].

Взгляды Каткова, направленные на укрепление российской имперской государственности и отрицание этнического национализма как политического принципа в значительной степени разделялись и поддерживались достаточно широким кругом его единомышленников и соратников, составлявших так называемое «катковское направление» в отечественной публицистике. Одним из его представителей являлся сподвижник Каткова и многолетний сотрудник «Московских ведомостей», консервативный публицист, известный писатель и литературный критик Б.М. Маркевич. Не выдвигая собственных оригинальных идей в рамках данной проблематики, он выступал фактически в роли «адвоката» своего идейного учителя, защищая его программу от многочисленных нападок со стороны либеральных оппонентов. Маркевич подчеркивал, что отстаиваемая Катковым концепция государственного единства России, предполагавшая необходимость «единого закона, единого управления, единого языка», а также первенство имперской государственной идентичности перед этнической и региональной является залогом не только политической свободы и цивилизации страны, но и условием ее принадлежности к Европе, страны которой также стремятся к сплочению и централизации[2]. С успешной административной, правовой и языковой унификацией окраинных регионов, особое значение среди которых придавалось северо-западным окраинам, публицист напрямую связывал сохранение Россией статуса великой

[1] Любимов Н.А. Михаил Никифорович Катков (По личным воспоминаниям) // Воспоминания о Михаиле Каткове. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 458.
[2] Маркевич Б.М. Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1888. С. 94–95.

державы, на который покушались ее враждебные соседи, представлявшие программу упрочения государственного единства страны в глазах передовых слоев русской общественности, как проявление насилия и обскурантизма[1].

В полном соответствии с представлениями Каткова, Маркевич выступал против первенства национально-этнических начал, развитие которых, по его мнению, вследствие их «инстинктов», со временем неизбежно будет приобретать политический характер, разрушая единство сложносоставных государственных образований. Публицист не сомневался в том, что «каждая национальность, если только потворствовать ее инстинктам, непременно будет стремиться, сначала к автономии, а затем и к полной независимости»[2]. Наиболее опасными для русской государственности национальностями Маркевич считал поляков и немцев, не столько вследствие их высокого материального и культурного уровня развития, сколько из-за их агрессивных ассимиляционных устремлений, которые им, в силу попустительства российских имперских властей, удавалось успешно осуществлять в течение длительного времени.

Следствием этого стало особое внимание, уделявшееся северо-западным окраинным регионам публицистами катковского круга в общем контексте имперской проблематики. Именно с предотвращением польского и немецкого сепаратизма на северо-западных окраинах империи Маркевич, как и многие его единомышленники, связывал сохранение ее целостности и статуса мировой державы, что обуславливало особое внимание к данному региону во всем отечественном национально-консервативном дискурсе. Публицист подчеркивал, что лишь сохранив северо-западные окраины в составе империи и обрусив их в административно-правовом и культурном отношении, можно предотвратить низвержение России в разряд третьестепенных стран, ее отодвигание в Азию, а возможно, и полную утрату

[1] Маркевич Б.М. Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. С. 98.
[2] Там же. С. 111.

политической независимости, к чему настойчиво стремились ее недруги[1]. Апеллируя к дарвиновской теории борьбы за существование, Маркевич писал: «России, дабы не быть поглощенной иностранным элементом, остается только самой поглощать и научиться переваривать иностранные элементы»[2]. Сохранение единой русской государственной национальности, таким образом, становилось важнейшим залогом сохранения самой российской государственности, которая не могла иметь никакой иной формы, помимо имперской.

Идею политической нации, являвшуюся основой концепции надэтнической имперской государственности, отстаивал также видный киевский ученый-археограф, общественный деятель и публицист «русского направления» М.В. Юзефович, вся научная и общественная деятельность которого была направлена против полонизма и зарождавшегося украинского национального движения, по его мнению, в равной степени угрожавших русским государственным интересам.

Воззрения Юзефовича, претерпевавшие определенную трансформацию на протяжении всей его долгой творческой жизни, также нельзя считать оригинальными, поскольку они строились на осмыслении и истолковании государственных идей наиболее видных представителей отечественной национально-консервативной мысли «первого плана» – М.Н. Каткова, братьев Аксаковых и других. Тем не менее, данная «вторичность», характерная для большинства провинциальных администраторов и общественных деятелей, не помешала ученому на протяжении долгих лет последовательно отстаивать имперские и монархические принципы, являвшиеся, по его глубокому личному внутреннему убеждению, важнейшим залогом существования Российской государственности[3].

---

[1] Маркевич Б.М. Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. С. 112–113.
[2] Там же. С. 114.
[3] Котов А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века. С. 153.

В основе государственно-политических воззрений Юзефовича лежало характерное для русских славянофилов представление об особом характере Российского государства-цивилизации, отличавшейся от европейского мира своей внутренней духовно-исторической и религиозной самобытностью, основы которой не были нарушены даже в ходе стремительной вестернизации, переживаемой страной в эпоху Нового времени. Мыслитель неоднократно подчеркивал, что Россия представляет собой особое «самостоятельное звено» между Европой, Азией и Америкой, связующее их, но не сливающееся с ними, вследствие чего попытки следовать заимствованным моделям общественно-политического развития не только противоречат русским национальным интересам, но и «вредят общим интересам истории»[1]. Публицист обрушивался с резкой критикой на европейский космополитизм значительной части русской интеллигенции, представителей которой он иронично называл «нашими европейцами», пренебрегавшими национально-государственными интересами Российской империи во имя отвлеченных либеральных ценностей, практическое воплощение которых поставило под угрозу целостность государственного пространства России и превратило ее политику «из национальной в европейскую». При этом Юзефович подчеркивал, что космополитизм русской интеллигенции менее всего соотносится с духом современной ему Европы, в которой торжествуют национально-государственные интересы и ценности[2].

Несмотря на значительную схожесть его взглядов с воззрениями русских пореформенных славянофилов, проявлявшуюся в ярко выраженном антизападничестве, противопоставлении русского народа европейским, положительной оценке общинного начала, публицисту были чужды свойственные им национально-этнические приоритеты, направленные на укрепление первенства русского этнического начала в империи. Он указывал

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2. Д. 710. Л. 60.
[2] Там же. Л. 60 об.

на органический характер российской государственности, основывавшейся, по мнению Юзефовича, на общинном начале, что делало невозможным существование в стране любой формы деспотического правления, проявления которого были лишь редкими эпизодами русской истории[1]. Исходя из данных принципов, ученый отстаивал первенство государственно-политических начал перед интересами отдельных социальных, сословных или этнических групп, что имело особенное значение в сложносоставных и многонациональных государствах, подобных Российской империи. Также в полном соответствии с общими положениями консервативной доктрины, Юзефович указывал на то, что понятие «государственный интерес» является ценностью первостепенного порядка, возвышающимся над общими понятиями «законности и справедливости», которыми манипулировали «русские европейцы», поскольку закон, по его мнению, являлся не абсолютом, а формулой для решения вызываемых жизнью вопросов[2].

По такому же принципу мыслитель рассматривал и понятие «народность», имевшее, по его мнение, подчиненное значение по отношению к государству. Признавая «исключительное значение» русской народности, ученый, в рамках отстаиваемой им концепции российской имперской государственности, тем не менее, выступал принципиальным противником смешения государственного и народного начал, которое, по его мнению, принципиально «упраздняет» возможность существования объединенного многонационального государства[3]. Юзефович подчеркивал, что Российская империя представляет собой не этнографический, а политический организм, основным элементом объединенного существования которого выступает общая территория, а не племенная однородность. Требование последней мыслитель считал несовместимым с существованием «государственных единиц» по своей площади и сложному неоднородному племенному составу

[1] Юзефович М.В. О значении личности у нас и на Западе. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1906. С. 14–16.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2. Д. 710. Л. 59.
[3] Юзефович М.В. Народность и государство. Киев: Университетская тип., 1867. С. 3.

схожих с Россией[1]. Признание того факта, что Российская государственность должна строиться на основе политического, а не этнического единства, приводила ученого к повторению катковской идеи политической национальности, возвышавшейся над узко-племенными идентичностями и объединявшей их. В качестве основных маркеров политической нации выступали единое имя, определяемое государственным подданством, использование государственного языка в общественном пространстве, к которому мыслитель относил школу, суд, церковь и другие официально-публичные объекты, а также подчинение общегосударственным законам, наличие и обязательность которых для всех подданных являлось непременным условием государственного единства[2]. Для Юзефовича, как и для Каткова, понятие русский означало не этническую принадлежность, а, в первую очередь, политическую национальность, которая может и должна включать в себя любого подданного Российской империи вне зависимости от его племенного происхождения и вероисповедания[3].

Для практической реализации данного принципа Юзефович указывал на необходимость строгого разграничения понятия «русскости» с православным вероисповеданием, что в корне отличало его позицию от воззрений отечественных славянофилов и представителей национально-этнического крыла русского консерватизма.

Признавая в духовном и «строго народном» смысле невозможность оставаться русским, подчинив свою совесть римскому католическому «деспотизму» или протестантской духовной анархии, равно чуждым славянскому духу и основам его исторического развития, ученый, тем не менее, считал неприемлемым применение «русско-православной теории» в реальной государственной политике. По мнению Юзефовича, данный подход способствовал изоляции составных частей государства от центра, не позволяя «русским иноверцам» считаться истинно русскими и искусственно

[1] Юзефович М.В. Народность и государство. С. 2–3.
[2] Там же. С. 3.
[3] Там же.

отделяя их от единой государственной нации[1]. При этом он имел ввиду не только население западных окраинных регионов, русское по своему этническому происхождению, подвергшееся искусственной и насильственной полонизации. Ученый настаивал на том, что любой иноверец, являвшийся верным приверженцем русских государственных начал, лояльный верховной монархической власти, поддерживавший единство и неделимость Российской империи имел полное право называться истинным русским. В одним из своих писем Юзефович подчеркивал, что лишая инородцев права называться русскими, вследствие их этнического происхождения или вероисповедания, их лишают «права на общее отечество», нравственно освобождая, тем самым, «от гражданского долга, оставляя их при одних обстоятельствах формального закона»[2].

Узко-этнический и религиозный подходы к решению вопросов государственного устройства, по его мнению, могли только разобщать, в то время как важнейшая задача «истинно русских» и консервативных сил состояла в примирении разнородных элементов и укреплении государственного единства России. Вследствие этого, Юзефович горячо приветствовал правительственные меры, направленные на сближение с национальны центром сторонящихся его разнородных элементов, в том числе и религиозного характера, резко осуждая любое потворство национальным движениям. При этом он не боялся вступать в открытое противостояние с влиятельными представителями местной имперской администрации, чья деятельность, по его мнению, шла вразрез с отстаиваемой им концепцией наднациональной имперской государственности. Так, например, в 1875 г. Юзефович фактически открыто обвинил киевского генерал-губернатора А.М. Дондукова-Корсакова в поддержке украинофильского движения, в котором он дальновидно усматривал не столько управляемый сверху противовес полонизму, сколько набиравшее силу националистическое движение,

[1] Юзефович М.В. Народность и государство. С. 5.
[2] Цит. по: Котов А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века. С. 170.

являвшееся «измышлением австрийско-польской интриги», заигрывание с которым может привести к непредсказуемым последствиям[1].

Несмотря на порой довольно жесткую риторику, Юзефович прекрасно осознавал, что укрепление государственного единства и слияние входивших в его состав разнородных элементов не могло осуществляться методами «слепого охранительства», насилия и административного произвола. Указывая на противодействие католицизма русским государственным интересам на западных окраинах, ученый, тем не менее, не призывал к его преследованию и силовому «возвращению» населения в лоно православной церкви. Он полагал, что возврат местных ополяченных русских, включавших в себя как народные массы, так и украинско-белорусскую шляхту, к своему родовому началу должен проходить постепенно и бесконфликтно, посредством масштабной культурно-просветительской деятельности, «правильно поставленной» образовательной политики, а также всестороннего распространения русского языка, в том числе и в католическом богослужении[2].

Политический национализм Юзефовича, в полном соответствии с консервативной доктриной возвышавший государственные интересы над ценностями «второго порядка» – сословностью, вероисповеданием и этнической принадлежностью, являлся основой отстаиваемой им концепции имперской государственности, русский характер которой определялся не столько этнической и конфессиональной принадлежностью имперской нации, сколько ее политическим и культурным единством, чьим ключевым маркером выступал господствующий в публичной сфере государственный язык.

К сторонникам данной концепции можно также отнести регионального публициста и литературного критика, придерживавшегося умеренно-консервативных взглядов и в общих чертах разделявшего и отстаивавшего

[1] Миллер А.И. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. С. 189.
[2] Юзефович М.В. Народность и государство. С. 6–7.

катковскую идею «бюрократического национализма», М.Ф. Де-Пуле. Свою принадлежность к «катковскому лагерю» подчеркивал и сам публицист, открыто называвший себя «партизаном «Московских ведомостей», транслировавшем взгляды своего идейного наставника в региональном преломлении[1]. Проблемы российской имперской государственности рассматривались им через призму изучения польского вопроса и связанного с ним поиска оптимальных путей обрусения Западного края, к которым он обращался во время его довольно недолгого пребывания в Вильне. Занимая в течение 1867 г. пост редактора «Виленского вестника», Де-Пуле на его страницах, а также в своих более поздних научных исследованиях, посвященных истории Западного края, стремился осмыслить характер и особенности российской имперской государственности, рассматриваемые им через призму серо-западной окраинной проблематики. Государственным концепциям, в основе которых лежали идеи народности, называемые им «этнографическим романтизмом», он противопоставлял выдвинутую им «великую идею всероссийзма», являвшуюся, по его мнению, истинным проявлением всенародных великорусских государственных устремлений[2]. Данная концепция предполагала слияние и единение различных народностей в рамках Всероссийской Империи, прочности и единству которой препятствовали различные проявления, как польского, так и великорусского этнографического национализма. Именно этим обусловлен пиетет публициста к русским государственным деятелям XVIII столетия – «строгим государственникам», которым были чужды идеи народности, препятствовавшие «государственной спайке» разнородных элементов, входивших в состав Российской империи[3].

Де-Пуле полностью разделял и поддерживал идею приоритета политического единства над этнографическим, в соответствии с которой

[1] Котов А.Э. М.Ф. Де-Пуле – редактор Виленского вестника // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 38–43. С. 40.
[2] Де-Пуле М.Ф. Станислав-Август Понятовский в Гродне и Литва в 1794–1797 гг. СПб.: Типография Майкова, 1871. С. 214.
[3] Там же. С. 118, 218.

любой подданный Российской империи, вне зависимости от его племенной принадлежности и вероисповедания обязан именоваться русским[1]. В данных воззрениях легко угадывается катковская концепция политической нации, поддерживаемая также М.В. Юзефовичем, публикации которого неоднократно цитировались на страницах «Виленского вестника». Отталкиваясь от нее, Де-Пуле трактовал процесс обрусения инородцев, на необходимости которого он неоднократно настаивал, исключительно в гражданско-политическом смысле. Он подчеркивал, что обрусение предполагало, в первую очередь, формирование уважения к тем началам, которые «положены в основу жизни государственной и присущи господствующей народности», их понимание и всестороннее восприятие их влияния, что представляло собой «путь цивилизации», ведущий к взаимопониманию и миру, как с самим собой, так и «со всем русским»[2]. Тем самым, Де-Пуле не отказывал в истинной русскости не только «природным русским» иноверцам, но и всем верным подданным империи любой этнической принадлежности и любого вероисповедания, не придавая данным признакам значения маркеров народности. Отстаиваемая им гражданско-политическая концепция «всероссийзма» противостояла как инородческому, так и русскому этнографическому национализму, нетерпимость и конфликтность которых подтачивали основы государственного единства, чье сохранение являлось целью отечественных консерваторов.

Усиление этнонациональных принципов и начал в общественно-политической жизни современных ему государств вызывало серьезные опасения и у такого видного консервативного государственного деятеля, как К.П. Победоносцев. Обер-прокурор Святейшего Синода вряд ли может быть отнесен к сторонникам идеи русской политической нации, однако свойственное ему неприятие идеалов этнического национализма и весьма скептическое отношение к сословным ценностям сближают его взгляды с

[1] Виленский вестник. 1867. № 134. 18 ноября.
[2] Виленский вестник. 1867. № 10. 24 января.

данной концепцией. Критика этнонациональных начал осуществлялась Победоносцевым в контексте свойственного ему жесткого противодействия любым проявлениям парламентаризма и демократии. Обер-прокурор проводил прямую взаимосвязь между данными «разрушительными» явлениями, подчеркивая, что национализм стал заметным и влиятельным социально-политическим явлением лишь тогда, когда «пришел в соприкосновение с новейшими формами демократии»[1].

В представлении Победоносцева национализм являлся иррациональным началом, «племенным инстинктом», отстаивавшим низшую форму человеческого бытия, организованную и разобщенную на основе принципов крови. Национализм противостоит более высшей – имперской – форме организации человеческого социума, к которой испытывает чувство «страстной нетерпимости», всячески желая его разрушения и превращения каждого племени в политический субъект, основанный на собственной, зачастую мнимой и искусственно создаваемой, культуре[2]. Победоносцев отмечал, что данное инстинктивное стремление, чреватое «великой и сложной» борьбой между народами, итоги которой могут быть самыми непредсказуемыми и катастрофическими, в XIX столетии охватило не только народности, имевшие в прошлом опыт самостоятельной государственности и обладавшие собственными политическими преданиями, но и те, кто никогда не имел таковых[3]. Выход «племенных инстинктов» из латентного состояния в плоскость реальной политической борьбы для Обер-прокурора служил важным аргументом для сохранения отстаиваемого им неограниченного монархического принципа государственного управления, в наибольшей степени востребованного в странах с разнородным в этническом отношении населением. Он подчеркивал, что только неограниченная монархия, обладавшая значительными материальными и моральными ресурсами, была способна устранять или примирять политические устремления входивших в

[1] Победоносцев К.П. Московский сборник. М.: Синодальная типография, 1901. С. 53.
[2] Там же. С. 53.
[3] Там же. С. 54.

ее состав племен, действуя как силой, так и посредством неконфликтных методов, уравнивая их права и отношения между собой под одной общей властью[1]. Внедрение же принципов парламентаризма, последовательным и яростным противником которых являлся Победоносцев, по его мнению, неизбежно превратит националистические инстинкты в разъедающий единое государственное тело элемент. Государственный деятель весьма пророчески прогнозировал, что в условиях парламентаризма племенные представительства, обуреваемые ненавистью к господствующей народности и другим племенам, а также к связывающим их воедино и примиряющим государственным институциям, будут представлять собой оформленный в правовом отношении «законный» источник «нестроения» и сепаратистских устремлений, расшатывающий государственное единство. Консервативный деятель с неподдельным ужасом относился к отстаиваемой русскими либералами идее создания парламентского представительства в многонациональном Российском государстве, которая, по его мнению, неизбежно приведет к его распаду, выражая горячую надежду на то, что такого никогда не случится[2]. Однако, как известно, надеждам «столпа русского консерватизма» сбыться было не суждено.

На опасность возобладания этнических начал для имперской государственности на рубеже XIX – XX вв., когда крен отечественной национально-консервативной доктрины в сторону этнонационального направления становится вполне очевидным, указывал известный консервативный публицист и один из создателей «Русского собрания» С.Н. Сыромятников, публиковавшийся под псевдонимом «Сигма» и стремившийся к определенной трансформации консервативной доктрины под влиянием вызовов времени[3]. Его обращение к данному вопросу произошло в контексте критики лозунга «Россия для русских!», впервые

[1] Победоносцев К.П. Московский сборник. С. 54.
[2] Там же.
[3] Репников А.В. С.Н. Сыромятников: штрихи к портрету // Интеллигенция и мир. 2010. № 3. С. 95–96.

озвученного еще в 1867 г. на страницах консервативной газеты «Весть» и впоследствии ставшего девизом многих русских националистов, вкладывавших в него разнообразные смыслы[1]. В рамках анализа этого расхожего понятия, возведенного в ранг едва ли не ключевого принципа государственной политики и связываемого с пробуждением русского национального самосознания, публицист поставил вопрос о содержании понятия «русский», характер трактовки которого во многом определял содержание национально-консервативного дискурса.

Сыромятников решительно отвергал этнографическое и конфессиональное наполнение «русскости», которое выводило за его пределы пестрое по своему этническому составу российское дворянство, а также верных русскому делу раскольников и сектантов. Указывая на скрытые опасности, таящиеся в этнографической трактовке данного понятия, публицист отмечал, что, в соответствии с ним, «русскость» значительной части великороссов также может быть поставлена под сомнение, поскольку большинство из них имело финско-татарские корни[2]. Строгое следование этническому пониманию нации, по мнению публициста, могло привести к полному «расщеплению» единой русской народности на множество «племен», что, несомненно, было бы на руку противникам России. Исходя из этого, Сыромятников, в полном соответствии с доктриной Каткова, настаивал на государственно-политическом характере определения понятия «русский», которое обозначало «господствующее население империи, употребляющее один государственный язык, управляемое одними законами» и включало в себя представителей разных народностей, объединенных осознанием своей общности, единого исторического пути, зависимости друг от друга, единого общенародного блага[3].

---

[1] Иванов А.А. Консервативная критика лозунга «Россия для русских» (конец XIX – начало XX в.) // Историческая экспертиза. 2016. № 2. С. 57–58.
[2] Новое время. 1896. № 7298. 23 июня (5 июля).
[3] Новое время. 1896. № 7298. 23 июня (5 июля).

Отталкиваясь от политической трактовки «русскости», Сыромятников считал русских истинно имперской нацией, способной аккумулировать в себе лучшие элементы культуры входящих в нее народностей для достижения великой государственной миссии. Ее содержание, по мнению публициста, принципиально отличалось от «цивилизаторских» устремлений иных империй, подавлявших покоренные народы и подгонявших их жизнь под собственные представления о «общем благе», которые, зачастую, являлись лишь прикрытием для откровенно грабительских колониальных целей. Миссия же русской имперской нации состояла в создании условий для гармоничного развития на обширных пространствах Евразии цветущего разнообразия культур, соответствующих природе и характеру проживавших здесь народов, которые могли органически вливаться в ее состав, принимая и разделяя общие государственные ценности[1].

Публицист призывал руководствоваться данными принципами при проведении реальной имперской политики, которая должна была направляться не на ущемление прав и культурных особенностей входивших в состав империи народностей, а на использование их лучших качеств в государственных интересах.

Управление другими народами, создание и поддержание имперской государственности Сыромятников считал тяжким бременем, налагающим на имперскую нацию большие обязанности, затраты и огромную ответственность. По словам публициста, русский народ, воспринявший идею Империи извне, одновременно с Востока и Запада, «всегда думал о себе меньше, чем о своих подчиненных…, которых он вывел на арену истории и которые заговорили его языком»[2]. Российская имперская государственность не имела в своей основе материальных интересов, вследствие чего русский народ мог быть беднее покоряемых им племен, в отличие от колониальных империй, забиравших у покоренных их богатства и презиравших их душу.

[1] Там же; Новое время. № 7305. 30 июля (12 июля).
[2] Сыромятников С.Н. Опыты русской мысли. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1901. С. 106–107.

Имперская миссия русского народа, по мнению Сыромятникова, состояла в именно в возвышении над узкими национально-племенными интересами, свойственными «народам-мещанам», преобразовании и упорядочивании окружающего мира в соответствии с божественным замыслом, для чего он должен был взять все лучшее, что таилось в душе покоренных народов, «развить, преумножить, расширить то, что получил от них, не только на пользу себя, но и им»[1]. Реализовать этот замысел было невозможно без применения силы, однако ее использование публицист оправдывал самим характером целей, во имя которых она должна была использоваться. Сыромятников подчеркивал, что сила, лежащая в основе имперской политики, направлена на добро и применяется во имя всеобщей справедливости[2].

Публицист предостерегал от двух крайностей, возможных при практическом осуществлении имперской политики – от уничтожения духа покоренных, что существенно обеднит господствующую нацию, лишив ее притока свежей энергии и сил, а также от заимствования их права, морали, философии и идеалов, которые всегда более узки и эгоистичны, нежели имперская идея. Сыромятников допускал возможность развития национальных языков и культурных особенностей, которые, наряду с русской культурой, составляли цветущее разнообразие, объединенное в рамках единого политического субъекта. Однако он был твердо убежден в том, что российская имперская государственность должна быть русской по своему названию и духу. Сыромятников писал: «Мы должны быть русскими, – и язык наш должен быть русским, и идеи наши должны быть русскими, широкими идеями народа-государя»[3]. Сохранение и развитие имперской государственности и имперскости русского народа, которому были чужды

[1] Сыромятников С. Н. Опыты русской мысли. С. 107.
[2] Иванов А.А. Консервативная критика лозунга «Россия для русских» (конец XIX – начало XX в.). // Историческая экспертиза. 2016. № 2. С. 66.
[3] Сыромятников С. Н. Опыты русской мысли. С. 109.

приземленные и узкие националистические идеи, по мнению Сыромятникова, является главной составной идеей русского консерватизма.

В широко растиражированном лозунге «Россия для русских», получившем узко националистическое прочтение в русском обществе, публицист усматривал серьезную опасность для имперской государственности. В своих более поздних публикациях по данному вопросу он называл русский этнический национализм «обоюдоострым оружием», способствующим усилению «нерусского национализма», отлучая от России инородцев, составляющих значительную часть населения страны, что может привести к распаду империи, инициаторами которого выступят сами русские[1].

Таким образом, во второй половине XIX века в отечественном национально-консервативном дискурсе была выработана модель надэтнической имперской государственности, в основе которой лежала идея русской политической нации, состоящая в особом понимании русской национальности, трактуемой не в этническом, а сугубо в политическом смысле. Ее авторство в наибольшей степени принадлежит М.Н. Каткову, предложившему довольно смелую для своего времени секулярную политическую модель имперской государственности, свободную от жесткой привязки к этническим и конфессиональным признакам, что должно было позволить избежать прогнозируемых потрясений, чреватых частичным или полным демонтажем имперской государственности, при восприятии ею некоторых черт модерных национальных государств.

В рамках данного подхода русский народ понимался не как особое «племя», составлявшее, хотя и наиболее значительный, но все же не подавляющий элемент населения империи, а как единая политическая сущность, состоящая из множества различных этнических элементов. Важнейшими связующими факторами этого разнородного тела, придающими

[1] Иванов А.А. Консервативная критика лозунга «Россия для русских» (конец XIX – начало XX в.). С. 65.

ему внутреннее единство и крепость, выступали государственный русский язык, знание и публичное использование которого являлось непреложным требованием ко всем сообществам и индивидам, проживавшим на территории империи, а также русское подданство, предполагавшее неукоснительную лояльность и твердую приверженность ключевым принципам, лежавшим в основе политического строя Российского государства. При таком подходе, отвергавшем этнические признаки и конфессиональную принадлежность как основные маркеры народности, в состав русского народа могли включаться представители любых этнических сообществ и вероисповеданий, соответствующие указанным национально-политическим характеристикам. В совокупности с твердым противодействием любым формам политического и культурного сепаратизма и стремлением к унификации разнородных окраинных регионов, данная национальная доктрина составляла основу имперского проекта, представлявшего собой один из путей консервативной модернизации России, направленный на сохранение ее целостности, внутренней стабильности и статуса великой державы.

2.3. Национально-православная концепция трансформации российской имперской государственности

С середины XIX века в отечественном национально-консервативном дискурсе, наряду с концепцией политического национализма, отстаиваемого М.Н. Катковым и его сторонниками, стало формироваться еще одно направление, в основе которого лежала идея укрепления государственного единства Российской империи посредством формирования мощного цементирующего «национального ядра», построенного на конфессиональной основе. «Русские начала», усиление и преобладание которых в государстве отстаивалось его сторонниками, определялись, в первую очередь, религиозным православно-христианским идеалом, составлявшим основу

российской государственности на всем протяжении ее существования. Ключевым маркером принадлежности к титульной нации, определяемой в рамках данного направления как «русская народность», являлось православное вероисповедание, вследствие чего в основе имперской политики, по мнению сторонников указанной концепции, должна была лежать идея укрепления русского религиозно-национального начала в государстве, первенствующая роль которого должна была четко определиться на всем государственном пространстве России.

Несмотря на известную интеллектуальную рецепцию элементов европейского национализма, русская национальная идея изначально существенно отличалась от него, что было обусловлено ее тесной связью с формировавшейся отечественной консервативной идеологией, представлявшей собой во многом протестную реакцию на всестороннюю вестернизацию, охватившую российское общество в имперский период. Характерное для русского консервативного дискурса неприятие европоцентризма было одновременно определяющим свойством раннего русского национализма, что обусловило наличие значительного консервативного компонента в его политической доктрине. В то же время, уже на ранних этапах формирования русской национальной идеи возникают зачатки противоречий между ней и господствующей сословной моделью структурирования общества, поскольку уже в первой половине XIX века нация стала восприниматься как единое политическое тело, возвышавшееся над любыми сословными или классовыми барьерами[1].

С середины XIX века можно говорить о начале складывания национально-православной концепции развития российской имперской государственности, формировавшейся в рамках отечественного национально-консервативного дискурса. Основу данной доктрины составляла идея первенства в Российской империи обновленной русской народности и олицетворяемых ею общественных и духовно-культурных ценностей.

[1] Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX века. С. 377.

Именно в ее всестороннем развитии и совершенствовании, как залоге политического и духовного доминирования, сторонники данной концепции видели важнейшую цель общественно-политического развития России.

Начиная со второй четверти XIX века национальные начала стали составной частью официальной государственной идеологии России, будучи воплощенными в понятии «народность», включенном в знаменитую уваровскую триаду. Исследователи справедливо указывали на стремление подменить модерный и иностранный термин «нация», обладавший ярко выраженными революционно-демократическими коннотациями, понятием «народность»[1], что не только соответствовало происходившей в это время эмансипации русского языка как средства публичной коммуникации, но и наполняло данное определение иным содержанием. Автор триединой формулы, легшей в основу государственной идеологии Российской империи, – министр народного просвещения граф С.С. Уваров всячески стремился придать данному определению консервативно-охранительный характер, связывая его с приверженностью самодержавному строю и лояльностью верховной власти, трактовавшееся как отличительное свойство русского народа. Помимо этого, «народность» напрямую связывалась с самобытностью и неповторимостью развития каждого народа, выступая в качестве «средоточия и святилища народных понятий и нравов», воплощала в себе общий дух народа, который наполнял собою верховную власть и господствующее вероисповедание[2]. Подчеркивая единство самодержавного принципа и русской «народности», министр народного просвещения писал: «Дабы Трон и Церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и чувство Народности, их связующее»[3].

---

[1] Миллер А.И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи (1700 – 1917). М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 60.

[2] Гайда Ф.А. Идея нации в триаде графа С.С. Уварова // Вопросы национализма. 2021. № 1 (33). С. 156–157.

[3] Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I // Река времен. Книга истории и культуры. Вып. 1. М.: Издательство «Эллис Лак». 1995. С. 71.

Безусловно, сам факт появления данного понятия в официальной идеологической формуле Российской империи свидетельствовал о начале «национального поворота» в политике самодержавия, связанного с осознанием необходимости использования определенных элементов националистической политики для стабилизации и консолидации империи. Опасаясь открытого использования национальной риторики, верховная власть, там не менее, стала прилагать определенные усилия, направленные на достижение национальной консолидации в условиях ряда серьезных внешних вызовов[1]. Однако признание существования нации в России и осознание необходимости проведения национальной политики облекалось в форму защиты самодержавия и народной православной веры, непоколебимость которых зиждилась на их «народности».

Постепенно концепт народности стал рассматриваться как фундаментальный и базовый принцип социально-политического бытия Российского государства, включавший в себя как национально-патриотический, так и социально ориентированный смысловые уровни. Отечественную интеллектуальную среду охватило стремление тесным образом связать различные области социальной действительности с национально-народной «почвой», что стало свидетельством не только постепенного отказа от одностороннего европоцентризма в общественном сознании, но и перехода к национально ориентированной государственной политике. Данная тенденция не могла не найти своего отражения в представлениях о государственном устройстве Российской империи и ее окраинной политике, которые все больше начинают связываться с развитием и укреплением русских национальных начал.

Усиление роли концепта народности в государственной идеологии Российской империи и его всестороннее развитие как основополагающего государственного начала стало одним из важнейших элементов концепции

[1] Миллер А.И. «Народность» и «Нация» в русском языке XIX века: подготовительные наброски к истории понятий // Российская история. 2009. № 1. С. 155.

развития российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе.

Данная идея ни в коем случае не предполагала демонтаж имперских структур, разрушение империи или прекращение имперского строительства, несмотря на кажущуюся противоречивость отстаиваемого идеала. Сосуществование имперских и национальных начал обусловливалось уже упомянутым принципиальным отличием русского национализма, носившего ярко выраженный имперский характер, от классического национализма, отстаивавшего интересы гомогенных наций, проживавших на компактной территории и стремившихся к политической суверенитезации. Русский имперский национализм стремился к укреплению национального ядра государства, что автоматически способствовало бы укреплению империи[1].

Одним из первых опытов осмысления духовной сущности российской имперской государственности через ее противопоставление западной цивилизации являлись воззрения великого русского поэта, дипломата и политического мыслителя Ф.И. Тютчева. Если в настоящее время в России имя Тютчева ассоциируется преимущественно с его литературным творчеством, то в середине XIX века он был известен, в первую очередь, как политический мыслитель, чьи воззрения за рубежом рассматривались как официальной выражение политической доктрины Российской империи[2].

В 1840–1850-е годы Тютчевым был разработан широкий геополитический проект, масштабность которого, выходившая далеко за пределы панславистских идей отечественных славянофилов, дает основание характеризовать его как первую декларацию российского панконтинентализма, в основе которой лежит представление о Российской

[1] Миллер А.И. Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки на полях одной статьи А.Н. Пыпина // Российская империя в сравнительной перспективе. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 265–266.

[2] Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х – нач. 1850-х гг. // Литературное наследство. Т. 97. Кн.1. М.: Наука, 1988. С. 231.

империи, как о «другой Европе», противостоявшей европейской цивилизации[1].

Геополитические воззрения Тютчева, анализ которых выходит за пределы данной работы, основывались на его представлениях о сущности понятия империя и понимании особенностей российской имперской государственности, имевшей ярко выраженный идеократический характер. Представления мыслителя об имперском начале встраивались в универсальную идею «Imperium Sacrum» – вселенского государства, олицетворявшего собой трансцендентное начало, никогда не прекращавшего своего существования, лишь переходившего от одного народа к другому.

Имперская идея, по мнению мыслителя, «была душой всей истории Запада», который на протяжении многих эпох узурпировал ее, воссоздавая лишь ее внешнюю видимость, поскольку в любом западном воплощении империя всегда превращалась в захват и присвоение[2]. Именно такой характер приобрела квазиимперия Наполеона, равно, как и формировавшийся при жизни Тютчева германский Второй рейх. Революция же, являвшаяся, по его мнению, главным содержанием европейской истории Нового времени, стала полным отрицанием принципа империи, что и обусловило «кризис и разложение» Запада. Воплощение в жизнь истинного имперского начала произошло не на Западе, а на Востоке, посредством его соединения с христианской Церковью, освятившей Империю и, тем самым, сделавшей ее «истинной и окончательной»[3].

Имперский идеал Тютчева был чрезвычайно многогранен, включая в себя соединенные воедино внешне- и внутриполитические, религиозные и социокультурные установки. Его ключевым элементом являлась «симфония» всеохватной политической власти и христианской идеи, которая проецировалась на все сферы бытия. Раскрывая сущность своего идеала,

---

[1] Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик // Цымбурский В.Л. Поэтика геополитики. Статьи 1991–2000 гг. Т. I. М.: РА, 2013. С. 169.
[2] Тютчев Ф.И. Россия и Запад // Тютчев Ф.И. Россия и запад. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 117–118.
[3] Там же. С. 120.

мыслитель писал: «Что такое Восточная Империя? Это законная и прямая преемница верховной власти Цезарей. Это полная и всецелая верховная власть, которая, в отличие от власти западных государств, не принадлежит какому бы то ни было внешнему авторитету и не исходит от него, а несет в себе самой свой собственный принцип власти, но упорядочиваемой, сдерживаемой и освящаемой Христианством»[1].

Реальным и истинным воплощением имперского принципа, по мнению Тютчева, стала Российская империя, которая рассматривалась им как прямая наследница Византии, являвшейся лишь «слабым, незавершенным наброском» той великой Восточной Империи, в которую России суждено превратиться[2]. Душой и главной идейной основой российской имперской государственности мыслитель считал православную церковь, телом же – славянское племя, которое должно сплотиться под властью России. Именно имперская форма государственности позволила соединить воедино эти начала, что и определило ее величие и мировое первенство. Мыслитель прямо заявлял, что «если бы Россия не пришла к Империи, она не доросла бы до себя»[3].

Характеризуя современную ему Российскую империю, Тютчев особо подчеркивал единство «племенного» и духовного начал, воплощенное в отечественной имперской государственности, заявляя: «Перед нами Империя, волей обстоятельств, не имеющих, наверное, примеров в мировой истории, в одиночку являющая собой две необъятных величины – судьбы целого племени и лучшую, самую здоровую половину Христианской церкви»[4].

Основу истинного имперского начала, по мнению мыслителя, составляла христианская идея, в наиболее полном объеме воплощенная в Православии, которое он называл «более христианским» вероисповеданием,

---

[1] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. М.: Вече, 2000. С. 390.
[2] Тютчев Ф.И. Россия и Германия // Тютчев Ф.И. Россия и запад. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 44.
[3] Там же. С. 118.
[4] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. С. 397.

в меньшей степени подвергшимся воздействию всей предшествующей истории. Именно оно мыслилось Тютчевым в качестве главного элемента государственного своеобразия России и духа, оживлявшего тело российской христианской державы. Русский народ, который рассматривался поэтом, в первую очередь, как «народ христианский», в силу своей приверженности идеалам православной веры и особенностям исторического развития являлся носителем высшей правды и «смиренной красоты» жертвенного самоотречения и бескорыстия[1].

Следует отметить, что племенное, т.е. национальное начало имело для Тютчева второстепенное значение, определяясь в большей степени как среда, а не как основополагающий принцип построения государства. Именно поэтому в поисках «первоосновы» российского имперского начала, Тютчев приходил к выводу о том, что, «Россия гораздо более православная, чем славянская. Именно как православная она заключает в себе и хранит Империю»[2]. Размышляя о великой Восточной Империи, «душой и двигательной силой» которой может стать только Россия, он, безусловно, имел ввиду не этническую, а духовно-историческую связь этой «второй Европы»[3]. Разгул национальных страстей, наблюдаемый им в охваченной революциями Европе середины XIX столетия, вел к многочисленным конфликтам и разобщению народов, усилению «племенного эгоизма», чуждого имперскому государственному началу, горячим сторонником которого был мыслитель.

Российский имперский проект, по мнению Тютчева, являлся залогом сохранения русской и шире – славянской идентичности, самому существованию которой угрожал католический Рим, олицетворявший собой коллективный Запад. Мыслитель отмечал, что ради декларируемого сохранения единства веры Рим исказил саму суть христианства, ввергнув

---

[1] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. С. 400.
[2] Тютчев Ф.И. Россия и Запад. С. 117
[3] Кожинов В.В. Пророк в своем отечестве (Ф.И. Тютчев и история России XIX века). М.: Алгоритм, 2001. С. 240.

половину Европы в ересь, которая, в свою очередь, породила безверие. Латинская церковь в значительной степени деформировала политическое развитие европейских стран, однако наибольшую угрозу она представляла именно для славянских народов, стремясь к полному опустошению их народных сил, что имело место в Чехии, либо к развращению их нравственного духа, примером которого являлась Польша[1]. Одна лишь Россия, по его мнению, была способна противостоять ее разрушительному воздействию, угроза которого стала решающим фактором, приведшим русское государство к имперской форме бытия.

Тютчев отмечал, что в течение длительного времени Запад монополизировал за собой право называться Европой, отрицая сам факт существование другой Европы, являвшейся не просто «законной сестрой христианского Запада», но даже «внутренне более глубоко христианской» дремлющей силой, развитие и созидание которой было покрыто густой завесой. В пору своего могущества у этого, пока еще безымянного мира Запад сумел «вырвать несколько клочков» и с грехом пополам присвоить их себе, исказив их естественные национальные черты[2]. Однако выход на мировую арену новой силы в виде могущественной Российской империи, произошедший в эпоху Петра Великого, позволил остановить это разрушительное движение. Первый российский император в исторической концепции Тютчева, таким образом, предстает не европеизатором России, а государственным деятелем, «исполином», фактически возродившим Восточную империю во всем ее вселенском могуществе.

Последующие военно-политические успехи и территориальное расширение России, оцениваемые ее противниками как «завоевания и насилие», по мнению мыслителя, имели совершенно естественный характер, представляя собой закономерный процесс «необъятного воссоединения». Именно этим, в частности, Тютчев объяснял неизбежность гибели Польши,

---

[1] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. С. 392.
[2] Тютчев Ф.И. Россия и Германия. С. 43.

понимавшееся им не как уничтожение самобытной польской народности, а как сокрушение навязанных ей извне ложной цивилизации и фальшивой народности[1].

В воззрениях Тютчева Европа представляла собой арену борьбы между Западом и Восточной Империей, олицетворяемой Россией. Неромanские и негерманские народы (как славянские, так и неславянские) и заселенные ими земли рассматривались им исключительно как периферийная область, составлявшая переходный континуум между двумя цивилизационными ядрами, которыми они неизбежно будут поглощены. Их будущее сводилось к простой альтернативе – или присоединиться к Российской империи, либо быть полностью и окончательно поглощенными Западной Европой. Для славянских народов Европы эта альтернатива определялась еще более жестко – «или оставаться славянами, став русскими, или превратиться в немцев, оставаясь австрийцами»[2]. И.С. Аксаков, комментировавший это заявление Тютчева, снимал с него многочисленные обвинения в «панславизме старой руки», в стремлении к «государственному закрепощению» и обрусению европейских славян, отмечая, что данный тезис указывал на выбор между тем, чтобы стать гражданами греко-славянского мира, душой которого является Россия или утратить свою нравственную самостоятельность, что означало их окончательную духовную гибель[3]. Тютчев был уверен в том, что свое «историческое бытие» периферийные народы Европы могут получить только от России, которая раньше всего завоевала данное бытие. В силу этого, Россия обладала моральным правом владеть данными территориями, устраняя «противоестественные стремления, правительства и учреждения», насажденные под прямым влиянием чуждого им западного воздействия.

Революционный подъем, охвативший Европу в конце 1840-х годов, для Тютчева означал полное крушение традиционной западной цивилизации, на место которой приходило бесчинство социальных и национальных эгоизмов.

---

[1] Тютчев Ф.И. Россия и Германия. С. 43–44.
[2] Тютчев Ф.И. Россия и Запад. С. 116.
[3] Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1886. С. 215.

Российская империя, по его мнению, теперь противостояла уже не Западу, который при всех его особенностях и враждебности России, все же являлся определенной устоявшейся системой, а настоящему Хаосу. Однако этот хаос представлялся Тютчеву прямым и естественным порождением всей западноевропейской цивилизации нового времени и характеризовался им, как «апофеоз человеческого «я» в самом буквальном смысле слова», дорогу которому проложила Реформация, в свою очередь, порожденная католическим искажением христианства[1]. Необходимость противостояния данному хаосу, чреватому не только политическими потрясениями, но и гибелью культуры, делала еще более обоснованным существование и укрепление вселенской Восточной Империи, сравниваемой поэтом со Святым Ковчегом, поднимавшимся над всемирным крушением.

Большинство исследователей политических воззрений Тютчева в его противопоставлении России и Революции усматривали исключительно «контрреволюционные» мотивы, проявлявшиеся в характерном для консервативно настроенных кругов российского общества страхе перед европейской революционной действительностью и в стремлении защитить идеологические основы изрядно обветшавшего Священного Союза. Его позиция сближалась с идеями французских консервативных публицистов – Шатобриана, де Бональда, де Местра, чьи взгляды представляли собой консервативную рефлексию, вызванную событиями Великой французской революцией, а также с позицией ряда отечественных мыслителей, например В.А. Жуковского, усматривавших «миссию» России в спасении традиционной и легитимной западной цивилизации[2]. Однако, на наш взгляд, в тютчевском отношении к революционным событиям в Европе в большей степени проявлялись его имперские, нежели контрреволюционные пристрастия. Тютчев был весьма скептически настроен относительно

[1] Тютчев Ф.И. Россия и Революция // Тютчев Ф. И. Россия и запад. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 68.
[2] Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. С. 122–124.

возможности спасения или длительного сохранения устойчивости европейской цивилизации после того, как революционный всплеск пошел на спад. Супруга поэта – Элеонора Федоровна Тютчева, излагая в одном из своих писем взгляды своего мужа, отмечала, что, по его мнению, Россия, представляя и отстаивая «великий принцип власти», всегда поддерживала законные и признанные правительства, до тех пор, пока они были жизнеспособны. Однако, если они окончательно рушатся, что и происходило в данный период, то она, «в силу того же принципа, столь же неминуемо обязана будет скорее сама занять их место, чем уступить его революции»[1].

Мыслитель не призывал к спасению гибнущей «цивилизации, убивающей себя собственными руками», а, скорее, настаивал на необходимости воспользоваться данной ситуацией для укрепления и расширения Российской империи, которая теперь могла смело и окончательно отбросить навязываемые ей чуждые европейские ценности и перестать считаться с Европой, полностью дискредитировавшей себя. По мнению ряда исследователей, весь «контрреволюционный» пафос Тютчева сводился к тому, чтобы подтолкнуть российское имперское руководство к захвату славянских владений Австрии[2]. Мыслитель считал, что революционный хаос, воцарившийся в Европе, развязал России руки для расширения имперской экспансии, которая теперь получила дополнительную мотивацию, состоящую в спасении истинно христианских духовных народных сил от разлагающего воздействия «отвратительных» либерально-коммунистических влияний.

Имперский экспансионизм, который Тютчев не только оправдывал, но и к которому призывал, основывался на мессианских идеях «Третьего Рима» воплощенных в новых исторических условиях. Традиционный империализм Тютчева в корне отличался от модерного империализма, в основе которого лежал национальный принцип и экономические интересы. Закономерность

[1] Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. С. 121.
[2] Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик. С. 176.

российской имперской экспансии обуславливалась не захватническими целями, связанными с экономическими выгодами, что было характерно для западных имперских образований Нового времени, а необходимостью воссоздания Восточной Империи, «обновленной Византии», знаковым и символическим центром которой должен был стать Царьград (Константинополь), к «освобождению» которого мыслитель неоднократно призывал[1].

Исходя из убеждения о различной природе российской и европейской государственности, Тютчев настаивал на отказе от опоры на идеи, растущие из чужеродной европейской традиции и от перенесения на русскую почву европейских учреждений, не только чуждых русским государственным началам, но и доказавших свою принципиальную несостоятельность. Мыслитель неоднократно подчеркивал, что Россия «самим фактом своего существования отрицает будущее Запада» и ей необходимо не пытаться следовать по ложному пути, указанному им, а «только оставаться там, где нас поставила судьба». Однако, вопреки этому, русская общественная мысль продолжала оставаться в полной умственной зависимости от западного интеллектуального багажа, содержание которого по самой своей сути было враждебно русским государственным началам. Тютчев писал: «Таково роковое стечение обстоятельств, вот уже несколько поколений отягощающих наши умы, что вместо сохранения у нашей мысли относительно Европы естественно данной ей точки опоры мы ее волей-неволей привязали, так сказать, к хвосту Запада»[2].

Призывы Тютчева к отказу от заимствования западных идей давали основания для заявлений о том, что его политическое мировоззрение «с незначительными модификациями совпадает с учением и идеалами первых славянофилов»[3], хотя большинство исследователей творчества Тютчева как

---

[1] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. С. 243.
[2] ОР РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 10. Л. 20 об.
[3] Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XXXIV. СПб.: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Евфрон, 1902. С. 373.

политического публициста отмечают, что при некоторой внешней схожести его взглядов со славянофильской концепцией, они были несоизмеримо шире последней, используя ее проблематику лишь как «исходный пункт» для решения глобальных вопросов, связанных с перспективами развития Российской империи и ее взаимодействием с Западной цивилизацией[1].

Таким образом, по мнению Тютчева, существование российской имперскости было обусловлено объективной необходимостью противостояния западной католической экспансии, исказившей в своем стремлении к узурпации вселенской власти не только суть христианской веры, но и форму социально-политического бытия многих европейских народов. Этот же тезис давал России право на владение и полную интеграцию «отринутых» у нее территорий, трактовавшихся как неотъемлемая часть Восточной империи, чье население должно было ограждаться от «растлевающего» европеизма, приобщаясь к русским духовным ценностям.

Если в центре воззрений Тютчева стояло обоснование правомерности существования российской имперской государственности, воплощавшей в себе идеал «Imperium Sacrum», то отечественные славянофилы сосредотачивались на составлявшей ее основу народности, рассматривавшейся ими как субъект исторической деятельности.

Большинство отечественных и зарубежных исследователей отмечало наличие ярко выраженного националистического компонента в воззрениях русских славянофилов, что позволяло относить их к «этноцентристскому крылу русского национализма XIX в.»[2]. Принадлежность славянофилов к консервативному лагерю является дискуссионным вопросом, проблемность которого обусловлена отсутствием четкого разграничения между основными направлениями отечественной мысли и неустойчивостью маркеров,

---

[1] Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик. С. 168; Кожинов В.В. Тютчев. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 445.

[2] Кудряшев В.Н. Народность и государство в славянофильской доктрине (1840–1880-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 417. С. 109.

определяющих принадлежность тех или иных общественных деятелей к данным направлениям. Любая классификация политических воззрений молодой русской общественности должна строиться с учетом целого ряда ее особенностей, к которым относится отсутствие в ней устойчивых консервативных традиций, высокая степень критичности в отношении верховной власти, характерная для многих ее представителей, общая западническая ориентация, обусловленная во многом заимствованным идейным наполнением российского просвещения.

Оцениваемые через призму данных характеристик славянофилы, в общих чертах (хотя и с несколько иной расстановкой приоритетов) принимавшие государственные ценности, провозглашенные уваровской триадой, а также стремившиеся к сохранению и развитию национальных самобытных социально-политических форм и институтов, вполне могут быть охарактеризованы как консерваторы[1]. При этом следует подчеркнуть, что ярко выраженные национально-демократические черты славянофильской доктрины, проявлявшиеся в их апологии народности, составлявшей основу российской государственности, в определении общества главным субъектом национального строительства, в противопоставлении русского народно-крестьянского самоуправляющегося общества и западных либерально-демократических институций, дают основание для определения славянофильства как демократического направления в отечественной консервативной мысли[2].

Нация в представлении славянофилов не являлась исключительно этническим сообществом, определяемым только природными племенными параметрами. Ее важнейшим составным элементом, по их мнению, являлась система духовных ценностей, «нравственный закон», уважение и признание

[1] Котов А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века. С. 96.
[2] Котов А.Э. «Народность» и «сословность»: два полюса русского консерватизма // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 293.

которого было основным признаком принадлежности к данному народу[1]. Высшим проявлением нравственного начала народности, по мнению славянофилов, выступала религия, сосредотачивавшая в себе ее духовные основы и выступавшая ключевым идентифицирующим маркером нации. Отстаивая данный тезис, И.С. Аксаков подчеркивал, что «не язык служит исключительным признаком той или другой нации, а непременно вероисповедание»[2].

Главное преимущество русского народа, позволившее ему не только сохранить свое право на независимое существование, но и создать великое и могущественное Российское государство, включившее в себя многие народности, по мнению отечественных славянофилов, состояло в силе и глубине народного духа, просветленного осознанием истинности и правоты своего дела. Духовной основой данной просветленности являлась православная вера, выступавшая консолидирующим началом в русской истории и сыгравшая решающую роль в формировании прочного русского государственного ядра, сложившегося и сохраняемого в результате совокупных усилий русского общества, духовных и светских властей[3]. По мнению одного из основоположников отечественного славянофильства А.С. Хомякова, грандиозные успехи русского государственного строительства были обусловлены внутренним единством русской народности или общества, представлявшего собой тесное взаимодействие и сотрудничество различных социальных слоев и верховной власти, связанных духовно-религиозной общностью[4]. Данная особенность русской народности, несколько поколебленная в имперский период проникновением европейского просвещения, но, тем не менее, сохранившаяся благодаря крепкой приверженности народных масс главному духовному стержню русской

[1] Хомяков А.С. Мнение иностранцев о России // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М.: Университетская типография, 1900. С. 9
[2] Москва. 1867. 10 сентября. № 127.
[3] Хомяков А.С. По поводу статьи И.В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М.: Университетская типография, 1900. С. 230, 237–238.
[4] Там же. С. 224.

государственности – православной вере, давала ей моральное право не только на доминирование в многонациональной и многоконфессиональной Российской империи, но и на постепенное поглощение других народов, входивших в ее состав. А.С. Хомяков прямо заявлял: «Россия приняла в свое великое лоно много разных племен…, но имя, бытие и значение получила она от Русского народа (т.е. человека Великой, Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слиться вполне: разумные, если поймут эту необходимость; великие, если соединятся с этой великой личностью; ничтожные, если вздумают удержать свою ничтожную самобытность»[1].

Укрепление государственного единства Российской империи и сохранение ее территориальной, социально-политической и духовно-ментальной целостности, по мнению отечественных славянофилов, могло быть достигнуто посредством двух параллельно реализуемых направлений имперской политики.

Первое из них состояло в последовательной и твердо проводимой унификации государственного пространства России посредством распространения общероссийских административно-правовых норм и русских национальных маркеров на окраинные регионы империи, а также устранения элементов их архаичной автономности, обусловленных сохранением традиционных сословно-ориентированных управленческих практик. Славянофилы неоднократно подчеркивали, что «целость государства, его сила и величие, наконец, его экономические ресурсы и самый внутренний мир не совместимы с существованием остатков политики расчленения политических, национальных и экономических сил империи»[2].

Другое направление, не менее важное, заключалось в необходимости всестороннего развития русской государственной народности и укрепления ее первенствующей роли в Российской империи. Только обновленная, просвещенная и наполненная чувством своей внутренней духовной правды

[1] Хомяков А.С. Мнение иностранцев о России. С. 27.
[2] Русь. 1885. № 10. 7 сентября. С. 3.

народная сила обладала способностью к органическому соединению разнородных сообществ и племен в рамках единого государства, представлявшего собой лишь «внешний покров народного цельного организма»[1].

Второе направление славянофилами признавалось приоритетным, поскольку не только способствовало укреплению «государственного ядра» империи, но и выводило русский народ на новый уровень развития, способствовавший раскрытию в полном объеме его созидательного и цивилизующего потенциала.

К последовательной реализации двух указанных направлений призывал видный мыслитель и общественный деятель Ю.Ф. Самарин, чьи воззрения стали не только значимой частью отечественного национально-консервативного дискурса, посвященного имперской проблематике, но и во многом легли в основу правительственной политики, проводимой в отношении северо-западных окраин Российской империи.

Проблема государственно-территориального устройства России являлась значимым элементом чрезвычайно обширного и многообразного комплекса воззрений Ю.Ф. Самарина по различным актуальным вопросам современности, испытывавшим на себе влияние его мировоззренческих установок и ценностных ориентиров. Его обращение к данному вопросу, первоначально выражавшееся исключительно в актуализации и фокусировании общественного внимание на локальную проблему «ненормальности» порядков, существовавших в российских Прибалтийских губерниях, с течением времени переходило на уровень общего осмысления состояния российской государственности и перспектив его развития.

Обладая богатым опытом работы на национальных окраинах России, Самарин имел полное представление о проблемах, стоявших перед имперской государственностью, архаичный характер устройства и

[1] Аксаков И.С. Где органическая сила России? // Аксаков И.С. Сочинения. 1860–1886. Т. 2: Славянофильство и западничество: Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891. С. 216.

управления которой не соответствовал новым общественно-политическим реалиям. Поднятый им еще в 1840-е годы вопрос о необходимости значительной трансформации модели имперского управления в условиях модерных усилий, активно реализуемых верховной властью в 1860-е годы, приобрел новое звучание и актуальность. Выработку максимально эффективной системы управления национальными окраинами Самарин считал одной из наиболее важных проблем современности, от успешного решения которой зависело сохранение целостности Российской империи и ее будущность. Мыслитель всеми силами стремился привлечь общественное внимание к окраинной проблематике, подчеркивая необходимость интеллектуального противодействия деструктивным силам, стремившимся к разрушению России как единого целого, сложившегося в результате многовековых объединительных процессов. В 1868 году в письме императору Александру II он писал: «Если бы когда-нибудь русское общество повернулось бы спиною к прибалтийскому краю, махнуло рукой на Польшу, забыло про Кавказ и Финляндию, отучилось вообще интересоваться своими окраинами, это бы значило, что оно разлюбило Россию как целое»[1].

Взгляды Самарина на государственное устройство России могут быть охарактеризованы как национально-имперская позиция, противостоявшая, с одной стороны, наднациональному принципу, игнорировавшему национальную природу государственности, а, с другой – сословно-имперской модели управления, сохранение которой, по его мнению, способствовало консервации свойственной Российской империи гетерогенности, препятствовавшей ее дальнейшему развитию по пути прогресса. В вопросе о месте и роли национального принципа в имперском государстве общественный деятель стремился придерживаться серединной позиции, избегая крайностей, связанных с абсолютизацией государственного или

[1] Цит.по: Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Paris: Societe anonyme imprimerie de Navarre, 1926. С. 204.

национального начала. Он выступал последовательным противником наднациональной имперской модели, при которой государство объединяется исключительно политической властью монарха, называя данную систему управления «лезвием бритвы, прошедшем между сердцем и головой нации», «ядом, впрыснутым в самые чувствительные нервные волокна общества», которые представляют наибольшую угрозу российской государственности[1]. По мнению Самарина, в основе любого самостоятельного государства «лежит народная стихия более или менее цельная, составляющая как бы ядро его, и государственная форма служит одним из проявлений этой стихии»[2]. Следовательно, государство, вырастающее из этого ядра и опирающееся на него, обязано его всячески поддерживать и развивать.

Еще более бесперспективной и неэффективной он считал модель управления сложносоставным государством при помощи наднациональной элиты, выделяемой по сословному признаку. Антиаристократический пафос, свойственный воззрениям Самарина в крестьянском вопросе, которым он активно занимался на рубеже 1850 – 1860-х годов, нашел свое отражение и в его видении модели имперского управления. Будучи настоящим аристократом по происхождению и духу, мыслитель был последовательным противником всяческих привилегий, рассматриваемых им как яркий признак домодерной архаики, основанный на исключении части общества из общего закона посредством покровительства или льгот, что автоматически вело к ограничению прав большинства населения[3].

Полемизируя с газетой «Весть», отстаивавшей сословный принцип организации имперского управления, Самарин при помощи различных аргументов доказывал его архаичность и неприемлемость для России. В первую очередь он указывал на внесословный статус российского государя, который, выступая олицетворением государственного единства, в рамках

[1] Я любил вас любовью брата...: переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э.Ф. Раден (1861–1876). СПб.: Русская мысль, 2014. С. 61.
[2] Самарин Ю.Ф. Современный объем польского вопроса // Забытые страницы польского вопроса. Антология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 221.
[3] Я любил вас любовью брата...: С. 39.

данного подхода искусственно «приписывался» исключительно к первому сословию и тем самым превращался в «царя-дворянина». Мыслитель считал, что это в корне противоречило сложившимся в ходе исторической жизни представлениям о внесословном характере власти русского монарха, позволявшим всем сословиям считать его «своим» в равной степени[1].

Помимо этого принципиального положения, Самарин был весьма скептически настроен относительно способности русского дворянства выступать в роли выразителей всего совокупного народного духа и устремлений. Он подчеркивал, что под гнетом тяжких внешних обстоятельств или под влиянием привнесенных теорий дворянство могло сбиваться с народного пути, на который его возвращала именно народная стихия. Русское дворянство, космополитичное по своему происхождению и воспитанию, во многом искусственно оторванное от народной среды, по мнению публициста, не сохранило в себе веру в народный смысл и в свою народность, уверенность в превосходстве своего вероисповедания, что давало ему основание задать риторический вопрос: «Слыл ли когда-нибудь русский дворянин и вправе ли он себя считать типом русского человека и православного?»[2]. Отрицательный ответ на этот вопрос для Самарина был очевиден.

Антагонизм между дворянской элитой и народными массами был еще более ярко выражен на северо-западных окраинах Российской империи, где он, помимо социальной и духовной природы, приобретал племенной и религиозный характер. В то время как массы тяготели к сближению с русской народностью, местная аристократия, резко дистанцировавшая себя от народа и «силою исторических тяготений» стремившаяся к разобщению с государственным большинством, всячески препятствовала собственному

[1] Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 9. Окраины России. М.: Т-во типографии А. И. Мамонтова, 1898. С. 461–462.
[2] Там же. С. 477.

населению на данном пути, пользуясь полной поддержкой верховной власти[1].

Помимо данных обстоятельств, Самарин указывал на то, что сословно-аристократическая форма социального объединения является пройденным этапом общественного развития, утратившим свою способность быть основой современной государственности, что подтверждалось деградацией и вымиранием аристократии во всех европейских странах. Ее место в XIX столетии стремительно занимало племенное начало, народность, выступавшая в качестве как разлагающего, так и объединяющего начала, которому принадлежала будущность[2]. Даже там, где имперско-аристократический принцип организации государственности был вызван объективной необходимостью, обусловленной отсутствием достаточно крупного государствообразующего племенного ядра, примером чего являлась Австрийская империя, он демонстрировал свою явную неэффективность в условиях роста «начал народности», представлявших собой «первую силу нашего времени». Соответственно, по мнению Самарина, именно на основе данных начал должно осуществляться завершение государственного объединения России, эволюционизируя в сторону народно-монархического типа государства, на который «указывают нам наша история, весь политический склад России, все современное движение Европы»[3].

Помимо этого, Самарин выступал последовательным и принципиальным противником федерализма, в основе которого, по его мнению, лежала западноевропейская либерально-демократическая традиция, совершенно неприемлемая в российских условиях. Мыслитель был убежден, что федеративное устройство, о преимуществах которого в российских либеральных кругах стали рассуждать в 1860-е годы, приведет к неизбежной денационализации России, к обособлению развитых окраинных сообществ,

[1] Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 9. Окраины России. С. 469.
[2] Там же. С. 482.
[3] Там же.

не испытывающих особей преданности к русскому народу, вследствие чего последний будет ощущать себя иностранцем в отдельных регионах собственной страны[1]. Децентрализующей и разрушительной идее федерализма Самарин противопоставлял идею великорусской унитарной империи, существование которой являлось, по его мнению, необходимым условием для органического и самобытного развития русского православного народа. В отстаивании имперского принципа, как средства защиты самобытности русского народа и своеобразной духовной альтернативы Западу исследователи усматривают наиболее яркое выражение антилиберальных, антидемократических, консервативно-охранительных элементов в воззрениях Самарина[2].

Мыслитель призывал к подчинению всей внешней и внутренней политики Российской империи «национальным» интересам, которые понимались, безусловно, не столько в сугубо этническом, сколько в политическом смысле, предполагая отказ от привнесенного из Европы космополитизма и строгое следование собственным государственным нуждам и потребностям[3]. Вскоре после завершения Крымской войны, причины неудачного исхода которой Самариным усматривались именно в неверном характере проводимой государственной политики, мыслитель заявлял, что она «должна быть не консервативная и не революционная, а русская. Иными словами: она должна служить не отвлеченному политическому началу, а историческому призванию России как земли православной и славянской, поставленной Провидением во главе славяно-православного мира»[4].

---

[1] Thaden E.C. Conservative nationalism in nineteenth century Russia. Seattle: University of Washington Press, 1964. P. 134.

[2] Hucke G. Yurij Fedorovic Samarin: Seine geistesgeschictliche Position und politische Bedeutung. München: Sagner, 1970. S. 217–219.

[3] Гердт Я.В. «Национальная политика» в трудах общественно-политических деятелей второй половины XIX – начала XX века. // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 33 (287). Политические науки. Востоковедение. Вып. 13. С. 28–29.

[4] Самарин Ю.Ф. Чем должны мы научиться? // Самарин Ю.Ф. Православие и народность. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 310.

Несмотря на наличие отдельных ярко выраженных «этнических» элементов в доктрине Самарина, выражавшихся, например, в его заявлениях о том, что на внешнеполитической арене Россию должны представлять именно православные русские люди, а не «иноверцы и иностранцы, связанные подданством с Российской империей, но которым чужда русская земля и ее вера»[1], его вряд ли можно назвать «националистически настроенным московитом», как это делали некоторые зарубежные исследователи[2]. Содержание, вкладываемое им в понятие «национальная политика», скорее дает основание характеризовать его как сторонника «реальной политики» («Realpolitik»), определение которой было введено в политический лексикон немецким государственным деятелем и публицистом Людвигом Августом фон Роше в середине XIX в. Ее суть состоит в том, что государство при проведении своей политики, должно подчиняться исключительно «закону выживания», который в его жизни играет столь же ключевую роль, что и закон тяготения в материальном мире, отказавшись от любых идеологических ориентиров в пользу практических соображений и интересов[3]. Следование данным принципам, по мнению Самарина, позволит России перестать быть уязвимой перед лицом враждебных ей европейских государств, отстаивавших собственные интересы и длительное время навязывавших ей космополитические ценности с целью ее ослабления и использования в собственных целях.

Свойственный мыслителю государственный реализм обуславливал его достаточно скептическое отношение к идеям панславизма, которыми были охвачены многие отечественные славянофилы. В создание единого славянского государства под эгидой России он не верил, наблюдая многочисленные противоречия между славянскими народами и их тяготение

---

[1] Самарин Ю.Ф. Чем должны мы научиться? С. 310–311.
[2] Thaden E.C. Conservative nationalism in nineteenth century Russia. P. 181.
[3] Rochau von A.L. Grundsätze der Realpolitik, angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands. Stuttgart: Brrlag von Karl Göpel, 1853. S. 1–2.

к западной цивилизации[1]. По мнению Самарина, Россия должна была поддерживать славянство ровно в той степени, насколько это соответствовало интересам ее национальной политики.

Несмотря на отстаиваемые Самариным «начала народности» в развитии Российской имперской государственности, его взгляды вряд ли можно охарактеризовать как националистические. Следует подчеркнуть, что мыслитель был далек от полной абсолютизации единого национального начала в государстве, которое становилось доминирующим в ведущих европейских странах. Мыслитель подчеркивал, что любое «сложившееся государство не может быть рассматриваемо *исключительно* (курсив автора – М.К.) как облик той или другой народности»[2]. Принцип национальной государственности, возведенный в абсолют, напрямую граничивший с идеей национального превосходства, в рамках которой стремительно складывался культ силы, порождавший войну, вызывал у мыслителя инстинктивное и не до конца осмысленное отторжение. Он интуитивно и пророчески чувствовал исходящую от него угрозу будущих кровавых «расовых» столкновений, отягощенных современными научными и техническими достижениями человечества, в огне которых сложносоставные имперские государственные образования будут обречены на гибель[3].

Взгляды Самарина на проблему соотнесения государственности и народности, как двух тесно взаимосвязанных явлений, хорошо прослеживаются в контексте осмысления им польского вопроса, обострение которого в начале 1860-х годов обусловило необходимость выработки новой модели имперского управления.

На примере поляков, как народа, у которого сложились все условия «народной личности» – собственный язык, литература, «историческая физиономия», бытовые предания и прочее, Самарин указывал на необходимость признания права народностей, входивших в состав более

[1] Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. С. 210.
[2] Самарин Ю.Ф. Современный объем польского вопроса. С. 222.
[3] Я любил вас любовью брата...: С. 193.

обширных государственных образований, на устройство, не нарушающее свободы народной жизни во всех ее проявлениях. К необходимым условиям существования всякой живой народности, которые должны быть обеспечены верховной властью, мыслитель относил свободу вероисповедания, официальное употребление народного языка в делах внутреннего управления и своеобразность гражданского быта[1]. Однако политическая самостоятельность, по мнению Самарина, не входит в перечень неотъемлемых принадлежностей всякой народности, особенности которой не дают ей достаточных оснований претендовать на собственную государственность. Отстаивая данный тезис, мыслитель прямо заявлял, что «не всякая народность и не во всякую эпоху своего существования способна облечься в форму самостоятельного государства»[2]. Одни народы не способны к государственному бытию в силу своей незрелости или численной незначительности, а также отсутствия необходимых для самостоятельного существования внутренних и внешних условий, другие, обладавшие этой способностью в прошлом, в силу ряда внешних и внутренних обстоятельств могли утрачивать ее. Так, например, туземное население Прибалтики – эстонцев и латышей – он считал племенами, не предназначенными к самостоятельному политическому развитию, будущность которых заключается в слиянии с более крупными соседними народностями – русскими или немцами[3]. Поляков же Самарин относил к народам, некогда обладавшим, но безвозвратно утратившим свою государственную способность, чьи претензии на восстановление собственной политической независимости, неразрывно связанные с требованиями возвращения им литовских, белорусских и украинских земель, в которых они некогда господствовали, представлялись ему полностью безосновательными[4]. Общий ход исторического развития и его закономерности, по мнению мыслителя,

[1] Самарин Ю.Ф. Современный объем польского вопроса. С. 221.
[2] Там же.
[3] Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. 9. Окраины России. С. 468.
[4] Самарин Ю. Ф. Современный объем польского вопроса. С. 223.

служили лучшим показателем того, какие народности доказали свое право на политическую самостоятельность, а какие – вынуждены вливаться в состав более крупных государственных образований, признавая политическое первенство других.

Позицию Самарина по вопросу права народности на политическую самостоятельность в полном объеме разделял А.А. Киреев, подчеркивавший, что им могут обладать только те народности, которые «достигли полного политического самосознания и заявили перед историей свою способность к самостоятельному существованию»[1]. Однако народы, устремления которых к политической независимости напрямую связаны с угнетением и властвованием над другими народностями, по его мнению, не имеют на нее права. Именно в силу данного тезиса мыслитель не видел никакого противоречия между отстаиваемым им правом зрелых в политическом отношении народов на самостоятельное политическое бытие и оправданием сохранения российского господства над Польшей, которая стремилась не только к независимости в своих этнических пределах, но и требовала восстановления Речи Посполитой в границах 1772 г., что предполагало восстановления ее власти над миллионами русских людей, освобожденных империей от иноземного гнета[2].

Соседство с государствами, стремившимися к порабощению русского народа, по мнению Киреева, сделало естественным и неизбежным складывание имперской формы государственности в России. Она стала естественной формой защиты от внешней агрессивной среды и недружественных соседей, «подавление» которых было единственным условием сохранения собственной целостности и независимости. Данные соображения были особенно актуальны в отношении поляков, стремившихся к восстановлению своего господства над значительной частью русского народа, чего Россия не могла допустить. Киреев прямо отмечал в своем

[1] Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, С.-Петерб. слав. благотвор. о-ва, 1896. С. 67.
[2] Там же. С. 76–77.

дневнике: «Для того, чтобы самим остаться целу, приходится нападать на целость других. Нам приходится угнетать Польшу, чтобы обеспечить Киев»[1]. «Подавление» Польши, по его мнению, было единственным средством противодействия польскому ассимиляционному проекту, направленному на формирование польской идентичности у населения западных окраин России и вовлечение их в орбиту своей культурной традиции. Киреев отмечал, что поляки всеми силами стремились сблизиться с белорусами и малороссами, внушая последним идею о большей близости их культуры к польско-католическому миру, нежели к России. Элементарная логика сохранения государственной целостности, по его мнению, вынуждала Российскую империю противодействовать данным поползновениям и защищать свои интересы и интересы русского народа[2]. В призывах к «примирению» и «уступчивости», раздававшихся в адрес России с Запада, а также в активном продвижении националистических политических учений, признававших право на политическую самостоятельность за всяким народом, Киреев усматривал стремление ослабить и разрушить Русское государство, сложившееся в результате живого и естественного соединения многих народов, возглавляемых и оберегаемых государственной русской народностью[3].

Одним из наиболее видных и последовательных сторонников укрепления русского национального начала в общей структуре российской имперской государственности, сохранение целостности и успешное поступательное развитие которой напрямую связывалось с укреплением позиций титульной нации, являлся видный представитель второго поколения отечественных славянофилов – И.С. Аксаков.

Отечественные и зарубежные исследователи расходятся в оценке характера его политических воззрений, диапазон трактовки которых

---

[1] ОР РГБ. Ф. 126. Т. 1. Ед. хр. 1. Л. 6 об.
[2] Там же.
[3] Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. С. 74–75.

простирается от характеристики их как «умеренно-либеральных»[1] до ярко выраженных консервативных и «параноидально-националистических»[2]. Однако все они согласны с тем, что национальная идея занимает в его взглядах центральное место, позволяя считать мыслителя одним из наиболее крупных представителей русского умеренного национализма[3]. Более того, подчеркивается, что трансформация его взглядов в сторону консервативного охранительства в 1870–1880-е гг., способствовала фактическому «низведению» славянофильства до роли «стилистического орнамента великодержавного национализма»[4].

Обращение И.С. Аксакова к проблемам национально-государственного строительства и оценке перспектив развития имперской государственности в России произошло, с одной стороны, под влиянием эволюции его представлений о роли народного начала в историческом развитии, а, с другой – вследствие осознания серьезности внешних угроз, ставивших под сомнение целостность Российского государства. В отличие от своего старшего брата Константина, разграничивавшего понятия «русский народ» и «Российское государство», Иван Аксаков подчеркивал наличие тесной органической связи между этими явлениями, образующими единое неразрывное целое. Это единство достигалось, по мнению Аксакова, посредством формирования «общества», представлявшего собой среду, где происходила сознательная внутренняя деятельность народа, направленная на выработку его самосознания, способствовавшего его переходу на новую, более высокую ступень развития[5]. Политическая и государственная будущность народа,

---

[1] Иванов А.А., Казин А. Л., Светлов Р. В. Русский национализм: основные вехи исторического осмысления // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 4. С. 150.

[2] Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно - политической мысли XIX века. М.: Издательство Московского университета, 1986. С. 109; Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики. Исследование политической культуры. М.: Фонд «Либеральная миссия»: Новое издательство, 2008. С. 175.

[3] Эткинд А. Внутренняя колонизация. М.: Новое Литературное Обозрение, 2013. С. 254.

[4] Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 571.

[5] Аксаков И.С. О том же // Сочинения И.С. Аксакова 1860–1886. Т. 2: Славянофильство и западничество: Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891. С. 33.

соответственно, зависела от уровня его общественного развития, выраженного в силе народного самосознания, являвшегося залогом его устойчивости по отношению к внешним вызовам и способности оставаться сплачивающим компонентом сложносоставного многонационального государства. Таким образом, сохранение имперского значения русского народа и его национального потенциала ставилось в прямую зависимость от развития его духовных сил, реализуемых в «высшей области мысли и знания»[1].

Аксаков проводил прямую взаимосвязь между характерными особенностями различных народов, периодически проявлявшиеся в ходе их исторического развития, и их политическим положением и будущностью. Как и Самарин, он отмечал, что право на историческое бытие принадлежит лишь тем народностям, которые обладают внутренней органической силой, верой в себя и в свое право на существование. Утратившие же эти свойства народы, по его мнению, теряли способность к дальнейшему самостоятельному развитию и были обречены на неизбежное перерождение и исчезновение с исторической арены[2]. Следствием этого являлся кризис и разложение созданного и олицетворяемого слабеющей народностью государства, которое, несмотря на свое внешнее могущество и единообразие государственных форм и учреждений, было обречено на более или менее стремительную деградацию и гибель. Исходя из указанной взаимосвязи, Аксаков приходил к принципиальному выводу о том, что никакое государство не могло существовать без господствующей народности, чье доминирующее положение было обусловлено наличием у нее внутренней органической силы, позволявшей поглощать другие племена, либо подчинять их своей воле[3]. Данное утверждение, безусловно, не означало, что мыслитель являлся однозначным сторонником жесткой ассимиляционной политики в

[1] Аксаков И.С. В чем сила народности? // Там же. С. 93.
[2] Аксаков И.С. Условия государственного единства и силы // Сочинения И.С. Аксакова 1860–1886. Т. 2: Славянофильство и западничество. С. 242–243.
[3] Там же. С. 243.

отношении недоминирующих этносов, вхождение которых в состав государства с иной доминирующей народностью неизбежно предполагало их культурное и этническое растворение в ней. Аксаков не только допускал, но и считал вполне естественным сохранение данными народностями своего «типа» – культурной и этнической самобытности, существование которой в рамах единого государства признавалось абсолютно безопасным до тех пор, пока они не «пересиливают основного элемента»[1].

Наиболее значимым фактором, обуславливавшим господствующее положение русского народа среди подчиненных ему племен, Аксаков считал не его материальную силу, а присущие ему нематериальные, духовные качества, особенности самосознания, веры, осознания своей исторической миссии. Мыслитель подчеркивал, что ни один народ в мире «не одарен таким богатством сил и таким могуществом естественного органического сращения и притягательности», как русский, который сумел подчинить своему нравственному влиянию другие народности, не прибегая к насильственным и искусственным мерам. Именно это свойство русского народа, по мнению Аксакова, обуславливало его гармоническое и неконфликтное доминирование над другими племенами, являясь одновременно залогом сохранения целостности и дальнейшего развития многонационального Российского государства[2].

Высокая степень способности к естественной ассимиляции народов признавалась свойством русской народной стихии, не связанной с государственным началом. Объяснение последующих трансформаций в данной сфере, даваемое Аксаковым, встраивалось в его исторические представления о роли «петербургского периода» в развитии русской народности. Ученый полагал, что постепенная утрата народной самобытности, происходившая в имперский период, вела к снижению ассимиляционного потенциала русского народа, на место которого

[1] Аксаков И.С. Условия государственного единства и силы. С. 243.
[2] Там же. С. 248.

приходила имперская объединительная политика, опиравшаяся, в первую очередь, на материальную силу и сословные принципы, что кардинальным образом изменяло характер государственного строительства. Относительно мирные и «естественные» ассимиляционно-колонизационные процессы стали подменяться практиками «имперского поглощения», в результате чего Российское государство стало приобретать гетерогенный характер. На смену «живому сращиванию» составных элементов государства пришли искусственные административно-правовые связи. Русская государственная элита, превращавшаяся в сословно-космополитическую аристократию, стала утрачивать живую органическую связь с собственным народом, что в значительной степени снижало его ассимиляционные возможности, выражаясь «в сомнении в самом себе, в своем призвании, в своем нравственном праве на самостоятельное духовное развитие». Прямым следствием данных тенденций, по мнению Аксакова, стало то, что русский народ утратил способность «претворять инородцев в свою органическую сущность, и сам поддается и подчиняется вере крепчайшей другого народа»[1].

Таким образом, указывая на прямую зависимость политической устойчивости и прочности государственной системы от состояния и положения господствующей государственной народности, Аксаков фактически определял магистральное направление государственной политики России, состоящее во всестороннем материальном и духовном развитии русской народности, направленном на укрепление его органических сил, от успеха которого зависело сохранение государственного единства России.

Сама идея русского единства понималась Аксаковым не в узком смысле, как сохранение политического контроля над суммой территориальных единиц, подверженного «историческим случайностям и определяемого временными политическими границами», а как внутренняя и органическая цельность, достигаемая нравственной крепостью «того народного

[1] Сочинения И.С. Аксакова 1860–1886. Т. 3: Славянофильство и западничество. С. 245.

исторического типа, в котором заключается причина и смысл политического бытия страны» – «высшее единство всей Русской земли в пределах и вне пределов Российской империи»[1]. Территориальная целостность государства и незыблемость его политического единства ставились мыслителем в прямую зависимость от цельности и нравственной прочности государственной народности, без чего любое сложносоставное политическое объединение было обречено на дезинтеграцию, вне зависимости от предпринимаемых властями объединительных усилий, без живого содействия здорового народного организма приобретавших искусственный либо насильственный внешний характер[2].

Опираясь на данное понимание сущности государственного единства, Аксаков сопоставлял механизмы объединения Московского государства допетровского периода и имперской России, указывая на совершенно различные принципы формирования государственного пространства в эти эпохи, следствием чего являлась разная степень прочности и интегрированности присоединяемых территорий. Если в допетровской Руси, где символом государственного единства была Москва, воплощавшая в себе политическую и нравственную силу русского народного элемента, по мнению Аксакова, окраины неразрывно сращивались с центром «не столько действием внешних искусственных мер, сколько действием народного духа, силою духовной цельности народного организма», то в имперский период приобретаемые территории не удается не только обрусить, но даже прочно закрепить за империей по причине «глубокой внутренней болезни», поразившей русское общество в петербургский период его истории и расколовшей «духовную цельность нашего народного организма»[3]. Достижение прочного государственного единства в условиях утраты духовной цельности народного исторического типа, сформировавшего

[1] Москва. 1867. № 1. 1 января; Москвич. 1867. № 2. 24 декабря.
[2] Москвич. 1867. № 2. 24 декабря.
[3] Там же.

данное государство, Аксакову представлялось невозможным без глобального духовного перерождения всего русского общества.

Духовную основу российской государственности, определявшую ее сакральный вселенский характер, отечественные славянофилы видели, в первую очередь, в православной вере и Церкви, которая, по мнению А.А. Киреева, не только выполняла сугубо религиозную миссию относительно каждого христианина, но и обладала высшим онтологическим правом освящать Российское государство, возводя его на более высшую ступень – от могущественного и обширного политического образования к «Святой Руси» – «государству-церкви»[1].

О первенстве религиозных факторов в определении сущностной основы русской народности, доминирование которой в многонациональной и многоконфессиональной Российской империи было связано с выполнением его важнейшей исторической задачи, заключавшейся в защите и укреплении православной веры, говорил и писал один из крупнейших представителей консервативного крыла высшей имперской бюрократии К.П. Победоносцев. Его позиция была обусловлена не только занимаемым им в течение долгого времени постом Обер-прокурора Святейшего Синода, но и глубоким внутренним убеждением в том, что именно религия является единственной истинной основой государственного порядка, общественного быта и нравов, а любые попытки создания исключительно секулярной этики и идеологии неизбежно приводят к хаосу[2]. Консервативный администратор указывал на наличие неразрывной связи между национальным, племенным началом и его вероисповеданием, которое, проникая в толщу общественной жизни и сливаясь с общественным сознанием, становится составной частью национальности. Победоносцев подчеркивал, что неуловимая сущность

[1] Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. С. 4–5.
[2] Полунов А.Ю. Национальное и религиозное в системе имперского управления: к вопросу о деятельности и политических взглядах К.П. Победоносцева // Государственное правление. Электронный вестник. 2012. Вып. 34. [Электронный ресурс] URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__34._oktjabr_2012_g./iz_istorii_upravlenija/polunov.pdf (дата обращения: 23.12.2024).

церковного верования, его самая существенная часть неразрывно сплетена «множеством таких тонких корней с психической природой каждого племени и с общими, сложившимися в нем началами нравственного миросозерцания, что невозможно отделить одно от другого»[1]. Поскольку именно русский народ представлялся истинным носителем православной веры, которая в ходе многовековой истории неразрывно срослась с народным сознанием и бытом, то его господствующее положение в православном государстве виделось администратору вполне естественным и закономерным.

Убежденность в неразрывной связи национального и религиозного начал, характерная для взглядов Победоносцева, вела к осознанию им угрозы для целостности Российского государства со стороны входивших в ее состав этнических групп. Последние в его глазах являлись не просто носителями неправославных исповеданий, чье существование на государственном пространстве России допускалось и защищалось законом в соответствии с принципами имперской политики веротерпимости, но потенциальными источниками их распространения, чему, по мнению Обер-прокурора, следовало всячески препятствовать. Отпадение от православной веры представлялось ему тягчайшим преступлением, в первую очередь, потому, что неизбежно отрывало человека от его национальных корней, превращая в «отрицателя России и всего русского», на что и были направлены устремления враждебных русским государственным началам сил, действующих посредством религиозной пропаганды[2]. Безусловно, это не означало, что Победоносцев настаивал на распространении православия на все население империи или преследовании за исповедание иной веры. Являясь представителем высшей администрации многоконфессионального государства, Обер-Прокурор отстаивал принципы имперской веротерпимости: «Сохрани Боже, порицать друг друга за веру; пусть каждый

[1] Победоносцев К.П. Московский сборник. М.: Синодальная тип., 1899. С. 234.
[2] ОР РГБ. Ф. 126. К. 8479. Ед. хр. 10. Л. 17 об.

верует по-своему, как ему сроднее»[1]. Однако, допуская веротерпимость, Победоносцев был непреклонен в вопросе о первенстве православного вероисповедания в Российском государстве, которое неизбежно обуславливало и доминирующий характер в нем русского народа. Консервативный администратор был принципиальным противником установления равенства вероисповеданий в России, неизбежно ведущего, по его мнению, к обострению религиозной конфронтации и, в конечном итоге, ослабляющего не только православную веру, но и Российское государство в целом.

Следует отметить, что, несмотря на существенные расхождения с позицией М.Н. Каткова и его соратников, отстаивавших идею политической национальности и основанную на ней концепцию надэтнической и надконфессиональной имперской государственности, сторонники национально-православных приоритетов в ее развитии во главе с И.С. Аксаковым неоднократно указывали на единую основу их воззрений, по-разному направленных на достижение общей цели – защиту русских национальных интересов и укрепление государственного единства России. Русских деятелей, стремящихся к этому хотя и различными способами, но в равной степени словом и делом работавших на благо страны, он противопоставлял тем представителям отечественной интеллигенции, которые не смогли освободиться от преклонения перед обобщенными космополитическими идеями и рассуждениями «неопределенного либерализма и гуманизма», внедренными в сознание посредством поверхностной европейской образованности. Эти «интеллигентные силы», монополизировавшие за собой право отстаивать народные интересы, оторванные от реалий русской жизни и подвергавшие осмеянию «господство узких патриотических понятий», укреплявшееся в России, Аксаков считал своими непримиримыми противниками.

---

[1] Победоносцев К.П. Московский сборник. С. 235.

Так, в письме к известному поэту А. М. Жемчужникову, проживавшему в Германии и сотрудничавшему с руководством либерально настроенных изданий «Санкт-Петербургские ведомости» и «Отечественные записки», на страницах которых «московская непогрешимость государственного патриотизма» Каткова и его сторонников подвергалась резкой критике, Аксаков демонстративно солидаризировался с позицией редактора «Московских ведомостей», подчеркивая внутреннее единство отстаиваемых ими целей перед лицом общих противников[1]. Единство это было обусловлено тем, что их воззрения, при всей концептуальной разности, основывались на «положительной почве» практических потребностей современной России, необходимость удовлетворения которых определяла содержание отстаиваемой ими консервативной программы развития страны. Аксаков писал: «Как ни достойны бичевания напыщенность Каткова и К°, узость их точки зрения, их теория государственной национальности…, он силен потому, что стоит на положительной почве, отвечает многим практическим потребностям настоящей эпохи, подвигает решение многих практических задач»[2].

Сторонники наднациональной концепции российской имперской государственности и те, кто, полемизируя с ними, апеллировали к «интересам русской народности, его духовной сущности и историческим началам», по мнению Аксакова, имели общего противника также в лице аристократической «польско-немецкой петербургской партии», «партии Шуваловых, Потаповых и им подобных», успеху которых вольно или невольно содействовали либеральные критики «русского направления», не способные сформировать положительную программу развития российской государственности и маскировавшие свою несостоятельность общими и бессодержательными либерально-гуманистическими заявлениями[3]. Мыслитель не сомневался, что победа «антинациональной партии» и ее

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 1. Д. 2222. Л. 1–3.
[2] Там же. Л. 3.
[3] Там же. Л. 3 об.–4.

союзников с их «гуманистической» фразеологией несомненно приведет к распаду российской имперской государственности, к утрате Россией своих национальных территорий, к тому, что «Вильна и Киев обратятся в польские города, в Варшаве воцарится какой-нибудь Принц Наполеон, а Латыши преданы будут онемечению»[1].

Истинными патриотами России Аксаков считал не представителей той или иной «партии», а истинно преданных своей земле и ее интересам деятелей, чья любовь к ней измерялась практическим служением ее нуждам, разделением с ней всех ее трудов, страданий и надежд[2]. В этом отношении сторонники концепции надэтнического единства русской политической национальности, возглавляемые Катковым, были намного ближе Аксакову, нежели его оппоненты, являясь частью единого национально-консервативного идейного континуума, отстаивавшего русские национальные интересы и государственное единство. Следует отметить, что и для современников, не углублявшихся в тонкости идейных противоречий между представителями «русского течения», все они представлялись единым общественно-политическим и интеллектуальным направлением, отстаивавшим в целом общую программу развития России[3].

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что складывание национально-консервативного направления русской общественной мысли было обусловлено сложным комплексом внешних и внутренних факторов, связанных с развитием русского национального самосознания, стремлением осмыслить внутреннюю сущность русской народности, ее место и роль в России и мире, а также с внешними вызовами, обусловившими необходимость поиска путей сохранения существовавшей формы государственности и преемственности в ее развитии. Мировоззренческой основой национально-консервативного направления являлось имперское

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 1. Д. 2222. Л. 4 об.
[2] Там же, Л. 5 об.
[3] Котов А.Э.«Царский путь» Михаила Каткова: идеология бюрократического национализма в политической публицистике1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016. С. 18.

сознание, интуитивно свойственное просвещенной части русского общества, стремившегося в рассматриваемый период к ее интеллектуальной рефлексии, которая привела к складыванию особой национально-имперской доктрины. Ее сторонники, вполне четко обозначившие национальный принцип, как ключевой элемент государственной политики, тем не менее, не выступали за создание русского национального государства, что должно было предполагать либо федерализацию империи, неизбежно ведущую к демонтажу существующего государственной структуры, либо утопическую идею инкорпорации в русскую этничность всего населения страны. Консервативная составляющая данной доктрины проявлялась в стремлении сохранить многонациональную имперскую государственность с господством русских государственных начал на всем пространстве империи. Ключевыми символическими маркерами данных начал являлись русский язык, распространение которого на все публичные сферы государственной жизни должно было символизировать первенство его носителя в отношении других народов империи, и православное вероисповедание, сосредотачивавшее в себе духовно-нравственные основы русской народности. Полемика о приоритетах среди указанных начал, определявших смысловое наполнение отстаиваемой «русскости», и обусловила складывание двух направлений в рамках отечественного национально-консервативного дискурса.

Ключевое концептуальное положение первого из них может быть охарактеризовано как империоцентризм, суть которого заключалась в признании первенства русского государственного начала над интересами составлявших его отдельных этнических, конфессиональных и социальных групп. Национализм данного направления, наиболее ярким представителем которого являлся М.Н. Катков, носил сугубо политический, государственный характер, далеко выходя за рамки узких этноконфессиональных границ. Русская имперская государственность в представлении сторонников данного направления должна была иметь строго надэтнический характер, обеспечивавший гармоническое развитие всех многочисленных народностей,

постепенно сливавшихся под воздействием последовательной интегративно-унификационной политики имперских властей в единую русскую политическую нацию.

Второе направление, представленное, в первую очередь, отечественными пореформенными славянофилами, отстаивало национально-православную концепцию трансформации российской имперской государственности, которая в их представлении была неразрывно связана с первенством русского народа и православной веры, воплощавшей в себе сущность и духовную основу России. Сторонники данной концепции вплотную подошли к идее национального русского имперского государства, формирование которого, безусловно, не предполагало полной ассимиляции всех инородцев, а состояло в превращении русской народности посредством всесторонней русификации империи в господствующую национальную группу, доминирующую в политико-правовом и культурном отношениях на всем его пространстве, включая национальные окраины.

Следует подчеркнуть, что оба указанных направления выступали за отказ от архаичной сословной ориентированности российской имперской государственности, на смену которой должны были придти русские национальные начала, понимаемые не столько в узко-этническом, сколько в идейно-политическом смысле. Несмотря на многочисленные разногласия, связанные с различным определением оптимальных путей русского нациестроительства, общность стратегических целей данных направлений, их стремление к национально-русскому «переформатированию» российской имперской государственности, которое позволило бы не только сохранить ее, но и придать ей новые импульсы к развитию, обусловили восприятие современниками всех участников национально-консервативного дискурса как единого в политическом и интеллектуальном смысле «русского течения».

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНО-КОНСЕРВАТИИВНОМ ДИСКУРСЕ

3.1 Формирование концептуальных основ политики обрусения Северо-Западного края

Северо-западные окраинные регионы, включавшие в себя территории Виленского генерал-губернаторства (Виленскую, Ковенскую, Гродненскую губернии) и примыкавших к нему трех белорусских губерний – Минской, Могилевской и Витебской, а также Прибалтийские губернии – Эстляндскую, Лифляндскую и Курляндскую, составлявшие так называемый Остзейский край, были включены в состав Российской империи в течение XVIII века в результате военно-дипломатических усилий российского правительства. Их присоединение было большим геополитическим успехом России, позволившим ей решить проблему выхода к стратегически важному Балтийскому морю, а также завершить процесс «собирания» исконно русских земель, длительное время находившихся под властью иных политических субъектов. В то же время включение в состав России данных территорий, обладавших длительным опытом иногосударственного существования, устойчивыми социально-политическими и культурными особенностями, во многом связанными с разной этнической и конфессиональной принадлежностью местной элиты и народных масс, поставило перед имперскими властями вопрос о формах и методах их интеграции в политическое и культурное пространство империи. Если в Прибалтийских губерниях, отторгнутых от Швеции и населенных этническими группами, не относившимися к русской народности, имперские власти в течение всего XVIII и значительной части XIX века стремились к сохранению статус-кво, обусловленного гарантиями и законодательно

закрепленными привилегиями местной немецкой элиты, то на землях, «возвращенных» от Речи Посполитой, они изначально были поставлены перед выбором между сословно и национально ориентированными приоритетами в управленческой деятельности.

Вплоть до середины XIX века правительство придерживалось традиционной сословно детерминированной линии в отношении данного региона, которая в своей основе не была поколеблена даже после Ноябрьского восстания и русско-польской войны 1830 – 1831 гг. Только во второй половине столетия под влиянием все более заметного «национального поворота» во внутренней политики самодержавия, происходит постепенное выкристаллизовывание общих целей, стоящих перед имперскими властями в регионе, для полного осознания которых властью и обществом потребовался открытый вызов в виде повстанческого экстремума 1863 – 1864 гг. Лишь после этого окончательно была осознана необходимость последовательной и полной интеграции западных окраин в единое имперское пространство посредством установления первенства имперских идентификационных маркеров в самосознании и самоидентификации местных сообществ, при одновременном укреплении их лояльности имперскому центру. Перед имперскими властями встала непростая задача замены европейской идентификации региональных элит северо-западных окраин и традиционной территориально-конфессиональной идентификации местных народных масс на формируемую единую имперскую идентичность. Достижение данной цели осложнялось тем, что российским властям предстояло осуществить указанную «идентификационную подмену» у сообществ, обладавших сложившейся политической культурой и самоидентификацией. Невозможность осуществления задуманного исключительно принудительно-силовыми методами воздействия требовала от имперской администрации значительной гибкости, готовности идти на компромисс, чтобы стать привлекательной для местного населения. В силу данных обстоятельств интегративный процесс в регионе должен был сопровождаться

соответствующим интеллектуально-идеологическим обеспечением, имевшим огромное значение в условиях усиливавшегося на всем протяжении XIX века информационного противостояния между российскими имперскими интересами и противодействующими им внешними и внутренними силами.

К середине XIX века проблема интеграции западных окраин уже довольно долго обсуждалась на разных уровнях имперской администрации и в общественных кругах. Острота и сложность данного вопроса была обусловлена тем, что перед правительством стояла задача не только сохранить в своем составе территории бывшей Речи Посполитой, обеспечив лояльность польских подданных и предотвратив новые вооруженные выступления. Гораздо сложнее было противостоять тому мощному польскому культурному влиянию, которое сохранялось на территориях западных губерний, охватывая широкие круги местного населения, чей родственный и единоверный характер стал осознаваться и обосновываться первоначально в русской научно-интеллектуальной и общественной среде, а затем и на государственно-политическом уровне.

Следует заметить, что Западный край представлял собой не столько географическую область, сколько идеологический конструкт, воображаемое пространство, созданное российской политической и интеллектуальной элитой в целях закрепления данного региона в составе империи и формирования основы для самоидентификации местного населения. Главным стимулом для формирования концепции Западного края являлось наличие альтернативного польского дискурса, в рамках которого была сформирована совершенно иная ментальная карта региона, лежащая в основе шляхетских политических стремлений и требований[1]. Противодействие этим враждебным устремлениям и «интригам» должно было облекаться в форму интеллектуального противостояния, цель которого состояла в доказательстве несостоятельности польских претензий и утверждении тезиса об «исконной

[1] Сталюнас Д. Северо-западный край в ментальных картах имперских властей и недоминирующих этнических групп // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 246–247.

русскости» данного региона, дававшего моральное право не только на его существование в составе империи, но и на укрепление в нем «русских начал». Данный интеллектуальный контент должен был стать основой политики российских властей в регионе, определяя ее основные направления и формы взаимодействия с местным населением.

Практически на всем протяжении XIX столетия Западный край в российском восприятии представлялся ареной непрерывной борьбы между насильственно внедрившимся в политическое и культурное пространство края польским элементом, главными акторами которого выступала католическая церковь и шляхта, и русским началом, носителем которого провозглашалось белорусское и украинское население края, рассматривавшееся как неотъемлемая часть единой русской народности. Имперская власть позиционировала себя как защитницу русских народных масс, «возвращенных» в лоно их исторической родины, одновременно стремясь привлечь на свою сторону и недоминирующие этнические группы края, которые долгое время не рассматривались в качестве самостоятельной силы, обладавшей собственной региональной самоидентификацией. Указанные особенности нашли свое отражение в официально используемом в первой половине XIX века обозначении региона, как «края, возвращенного от Польши», призванном подчеркнуть его исконную «русскость». С течением времени данное обозначение было заменено более универсальным определением – «Западный край», лишенным явных иногосударственных коннотаций, но, при этом, не отрицавшем наличие значительных особенностей в развитии региона, который на данном этапе своего развития не мог быть в полной мере отождествлен с коренными русскими территориями[1].

Следует отметить, что логика николаевской модели имперского управления состояла не только в ограничении доминирующей в регионе

[1] Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 55–56.

польской культуры, но и в недопущении развития местных национальных начал, в которых не без основания усматривались ростки будущих национальных движений. В силу этого особое внимание уделялось символическим маркерам, в значительной степени определявшим статус региона. Показательным в этом отношении являлось вышедшее в июне 1840 г. высочайшее повеление Николая I о запрещении наименования западных губерний «белорусскими» или «литовскими»[1], в связи с чем последовало особое предписание переименовать выходившую в Вильне официальную газету «Литовский вестник» в «Виленский вестник»[2].

Конструирование имперской ментальной карты Западного края сопровождалось формированием «образа конкурента» – поляка, необоснованно претендующего на политическое и культурное господство на территориях, воспринимаемых им исключительно как Кресы – пространство польской политической и культурной экспансии, этническое и культурное многообразие которых сознательно игнорировалось.

В российском общественном сознании XIX века «польскость» связывалась не столько с этнической, сколько с социальной принадлежностью к шляхетскому сословию – «панству», дополненному фанатичной приверженностью католицизму. Помимо социальной маркировки, уже с конца XVIII века поляки стали устойчиво ассоциироваться с латентной нелояльностью, революционной угрозой, «якобинством», перманентной склонностью к бунтарству и «политическим безумствам», что предопределяло крайне настороженное отношение к ним в консервативно-патриотических кругах российского общества[3]. Данная трактовка в первой половине XIX века приобрела стереотипный характер не столько вследствие агитационно-идеологических усилий имперских властей, сколько в силу

[1] Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 1825–1881 гг. (в 55 томах). СПб.: Тип. II Отделения Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии,1841. Т. 15. Отд. 1. № 13678. С. 515.
[2] РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 1376. Л. 1–1 об.
[3] Долбилов М.Д. *Поляк* в имперском политическом лексиконе // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Т. II. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 297.

реальной политической практики, выражавшейся в антирусских выступлениях польской элиты. Сложившийся стереотип поляка как вольнодумца и бунтаря регулярно подкреплялся результатами наблюдений за настроениями польских общественных кругов западных окраинных регионов со стороны сотрудников III Отделения, в отчетах которых подчеркивалась ненадежность поляков как подданных, обусловленная их «природным легкомыслием», «склонностью к занятиям политикой», «памятью о прежней вольнице», а также «врожденной неприязнью к русским»[1].

После Январского восстания термин «поляк» окончательно становится социокультурным маркером, употребляясь в четко обозначенном неэтническом значении и приобретая откровенно негативные коннотации не только в русском общественном сознании, но и в официальной государственной риторике и делопроизводстве. Общественные или религиозные деятели западных регионов, находящиеся в оппозиции к имперской администрации, вне зависимости от их этнического происхождения могли именоваться «поляками по образованию», что было призвано обозначить их социокультурную идентичность и характер политических убеждений, как это было, в частности с епископом Тельшевской епархии М. Волончевским, который, будучи «жмудином» по происхождению, в официальных документах характеризовался как «совершенный поляк по образованию»[2].

Поляки исторически воспринимались как «чужеродные агрессоры», коварно подчинившие себе значительную часть русских земель, угнетавшие православную веру и справедливо наказанные за свою агрессивность и некоторые природные свойства своего национального характера – «кичливость» и «неблагодарность» – самой историей. Данный образ в течение XIX века был дополнен сюжетом польского «предательства», относившимся не ко всему польскому народу, а лишь к его «злому гению» –

[1] «Россия под надзором»: отчеты III отделения. 1827–1869. М.: Российский фонд культуры, 2006. С. 353.
[2] РГИА. Ф. 821.Оп. 138. Д. 45. Л. 330.

шляхте, и проявлявшемся как в политическом измерении, связанном с нарушением данной ими присяги и восстаниями против своего нынешнего законного монарха – Российского императора, так и в цивилизационно-конфессиональном, выразившимся в фанатичной приверженности католицизму и измене славянскому делу[1]. Русские консервативные публицисты характеризовали представителей польской шляхты как «вечных изменников», неоднократно предававших собственное отечество, «покидавших на поле битвы королей своих», пренебрегавших интересами собственного государства и «нещадно губивших свой добрый славянский народ», что и сделало закономерным гибель польской государственности[2].

Сюжет «предательства» распространялся и на полонизированную элиту западных губерний, которая, согласно официально-консервативному дискурсу, состояла из русских по крови и историческому происхождению дворян, «изменивших священной памяти предков», вследствие чего на официальном уровне они характеризовались как «ренегаты» или «бывшие русские», отделяясь от «польских пришельцев» в крае[3]. Отдельные сторонники радикальной деполонизации Западного края считали их «более виновными» в бедствиях западнорусских земель, чем даже «польские чужестранцы», поскольку они «предались в латинство, отреклись от отечества и провозгласили себя поляками, чтобы вместе с последними угнетать и грабить свой народ»[4]. Эта продолжавшаяся из рода в род «измена» людей, являвшихся русскими не только по своему подданству, но и по крови и по происхождению, давала основания поступать с ними гораздо строже, чем с пришлыми иноземцами.

---

[1] Неменский О.Б. Поляки и русские: народы разных времен и разных пространств // Вопросы национализма. 2010. № 3. С. 27.

[2] Катков М.Н. В чем состоит национальная политика России и какого отношения требует к славянам // Катков М.Н. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 282.

[3] Муравьев М.Н. Всеподданейший отчет по управлению Северо-Западным краем // Русская старина. 1902. № 6. С. 510.

[4] Цит. по: Долбилов М.Д. *Поляк* в имперском политическом лексиконе. С. 315–316.

Данный нелицеприятный образ подкреплялся содержанием польского нарратива о Западном крае, диаметрально противоположным его имперскому восприятию, который не являлся тайным, открыто декларируясь его носителями. Эти представления, сильно задевавшие русское национальное чувство и способствовавшие закреплению сложившегося негативного образа поляков, звучали, в том числе, в официальных обращениях к императору Александру II с верноподданнически окрашенными, но, тем не менее, весьма настойчивыми просьбами о включении ряда западных губерний в состав Царства Польского. В одном из них данное требование мотивировалось ссылками на добровольный характер Люблинской унии «Руси и Польши», являвшийся системообразующим элементом польских государственных представлений, а также тем, что на данных территориях «образованность и общественная жизнь с незапамятных времен запечатлены характером исключительно польским», препятствие дальнейшему развитию которого со стороны верховной власти, ведущее к общественным «раздорам», должно быть немедленно устранено[1].

Такому позиционированию региона, трактовавшему польскую элиту как источник просвещения и культурных ценностей, распространяемых ее представители среди «темных» народных масс, необходимо было противопоставить альтернативный имперский нарратив, подкрепленный научными данными и опиравшийся на исторические материалы, доказывавшими древность и первенство русской политической и культурной традиции в крае. Данная задача, наряду с поиском оптимальной модели восстановления искаженной «русскости» белорусского и украинского народов и их защиты от враждебного польского ассимиляционного проекта составили основу отечественного национально-консервативного дискурса, посвященного Западному краю Российской империи. Следует указать на то, что уже во второй четверти XIX в., задолго до начала пореформенного национального подъема в нем отчетливо присутствовали черты

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 440. Л. 8.

консервативного демократизма, проявлявшиеся в стремлении обосновать исконно русский характер данного региона, опираясь на начала народности, рассматривавшиеся в качестве важнейшего критерия его национально-государственной принадлежности.

Потребность в историческом обосновании права Российского государства на владение Западным краем возникла еще в первой половине XIX века после подавления Ноябрьского восстания в условиях подготовки идеологической платформы для упразднения Униатской церкви и воссоединения униатов с православием. Данная мера, рассматривавшаяся как первый шаг в деле преодоления негативных последствий польского господства в регионе, обосновывалась, в том числе и тем, что униаты никогда не переставали осознавать себя частью русского народа и русской церкви, вынужденной заключить временный «федеративный союз» с католической церковью[1]. По аналогии с конфессиональным единством западнорусского и великорусского народов следовало обосновать их социально-политическое и культурное родство, обусловленное наличием единого исторического корня, разделение которого в силу ряда объективных причин, не привело к утрате их родового единства.

К подготовке соответствующего исторического нарратива привлекались профессиональные историки консервативно-охранительной направленности, чьи научные изыскания были призваны продемонстрировать историческую общность Западного края и коренной России, развивавшихся в течение длительного исторического периода как составные части средневековой русской цивилизации. Создателем исторической концепции, согласно которой Великое княжество Литовское, чьи земли составили основную часть Западного края, являлось «Русским по своему началу, по своему составу, по массе народа, по вере и по языку» стал видный русский консервативный историк Н.Г. Устрялов, являвшийся фактическим преемником Н.М.

[1] Романчук А.А. Предпосылки упразднения Унии в Российской империи в 1839 г. // Труды Минской духовной академии. 2017. № 14. С. 265.

Карамзина в роли главного официального историографа Российской империи. Рассмотрение им исторических судеб западнорусских и литовских земель строилось через призму концепта народность, ставшего составной частью официальной консервативной доктрины. Именно господство русской народности, интересы которой могла представлять политическая элита, находившаяся с ней в рамках единого культурного кода, являлась ключевым признаком «русскости» данных территорий.

Исследователь заявлял, что рубежами русской народности являлись границы Древнерусского государства, сформировавшиеся при первых Рюриковичах и простиравшиеся на западе «до гор Карпатских, до Бреста, Гродно и Динабурга»[1]. Несмотря на политическую раздробленность, все земли и княжества, существовавшие на данных территориях, являлись неотъемлемыми частями ментального русского пространства, стремление к единению которого составляло ключевую политическую идею русской интеллектуальной традиции на протяжении многих веков. Устрялов считал Литву вторым, наряду с Москвой, крупнейшим центром объединения русских земель, этническое литовское ядро которого, в силу своего значительного политического и культурного отставания от населения русских земель, растворялось в массе русского народа, заимствуя от него религию, язык и основные политические понятия[2]. Данное обстоятельство давало историку основание считать Великое Княжество Литовское фактически вторым русским государством, сформировавшимся в области исторического расселения русской народности, чьи интересы и исторические предания сохранялись в нем не в меньшей (а порой – и в большей) степени, нежели в Московском княжестве, находившемся под властью Ордынских ханов.

Органическая траектория развития Литовского государства, связанная со следованием интересам и культурным ценностям господствовавшей в нем

[1] Устрялов Н. Г. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? СПб.: Тип. экспедиции заготовления государственных бумаг, 1839. С. 14.
[2] Там же. С. 16–17.

русской народности, по мнению Устрялова, была нарушена в результате его сближения с чуждым по языку, культуре, вероисповеданию и социально-политическим отношениям Польским королевством, которое началось с конца XIV века и завершилось подписанием Люблинской унии в 1569 г. Данное событие, вкупе с угасанием династии Гедеминовичей – «государей русской крови», привело к тому, что «неприкосновенный в продолжение многих веков священный залог народности» перестал оберегаться. «Западная Русь сделалась добычей иезуитов, старавшихся истребить в ней все русское и к концу XVII века она действительно утратила многие черты своей национальности: русские законы уступили место польским; язык был искажен, нравы и обычаи изменились; уния поколебала и веру православную»[1]. Объединение Русско-Литовского княжества с Польшей, по мнению Устрялова, имело огромное негативное значение для русской истории сразу по нескольким причинам. В первую очередь, оно стало источником тягостного иноземного ига для значительной части русского народа, существенно замедлившим процесс слияния западной и восточной Руси, который мог завершиться еще в конце XVI века. Помимо этого, данное событие вовлекло в пределы Русского мира чуждую государственность и культуру, которая оказалась настолько тесно связана с русско-литовскими землями, что после их присоединения к Российской империи ее самостоятельное существование оказалось невозможным[2].

Устрялов указывал на наличие не только династического права правителей Русского государства на владение данными землями, как своей родовой вотчиной, принадлежавшей их предкам, но и на их стремление к объединению разобщенной русской народности, находившее живой отклик и сочувствие у различных слоев русского населения, подвергавшегося в Речи Посполитой культурному и религиозному угнетению.

---

[1] Устрялов Н.Г. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? С. 19–20.
[2] Там же. С. 38–39.

Отстаивая тезис о «русскости» Великого Княжества Литовского, Устрялов указывал на господство искаженного представления о его историческом происхождении и природе, которое, благодаря усилиям польской интеллектуальной традиции получило широкое распространение не только в европейских, но и русских интеллектуальных кругах. В частности, он вступал в полемику с отечественными исследователями, которые, подобно Н.А. Полевому считали Литву «самобытным» государством, возникшим на развалинах западных русских княжеств, сумевшим существенно преобразовать нравы и обычаи тамошних «руссов», превосходившим Москву своей образованностью и являвшимся совершенно чуждым ей по своей вере и политической системе[1]. Подобные неверные, с точки зрения Устрялова, представления о характере Литовского государства, обуславливали дальнейшую необходимость детального изучения и публичного освещения его истории, к которому ученый в целях восстановления исторической справедливости призывал русскую интеллектуальную общественность.

Актуализация польского вопроса и перенос его в поле открытой общественно-политической дискуссии, в которой принимали участие, как представители государственной власти, так и общественные деятели, стала следствием происходивших в стране после смерти Николая I изменений. Общественно-политический подъем, охвативший Россию во второй половине 1850-х гг., связанный с началом подготовки широких преобразований во всех сферах жизни общества, не мог не затронуть проблемы западных окраин. Верховная власть в лице Александра II и сложившегося вокруг него круга либерально настроенных государственных деятелей, хотя и не изменила своего настороженного отношения к польскому населению региона, тем не менее, была готова идти на значительные уступки ради сохранения его лояльности в условиях назревавших реформ, которые охватывали как

[1] Полевой Н.А. История русского народа. Т. VI. М.: Тип. Августа Семена. 1833. С. 11.

административную, так и культурно-просветительскую сферу[1]. В свою очередь, общая либерализация режима, проведенная амнистия и другие меры нового правительства порождали в польском обществе надежды на возрождение автономии и убеждение в том, что чем более сильное давление на имперские власти будет оказываться со стороны польской общественности, тем на больший объем уступок она сможет рассчитывать. В своем развитии данная ситуация неизбежно вела к конфликту, постепенная эскалация которого происходила в 1860 – 1862 гг., приведя в итоге к мятежу 1863 г.

Если по вопросу о политике в отношении Царства Польского в русском обществе и правительственных кругах не было единого мнения, то откровенно высказываемые польские притязания на западнорусские территории не могли не вызвать интеллектуального противодействия в русской общественной среде. Оживление польского элемента в условиях либерализации режима и снятия жестких стеснений предшествующего царствования побуждало приступить к разработке комплекса мер по ограничению польского влияния на западных окраинах империи.

О возможных негативных последствиях примирительной политики имперских властей и дальнейших уступок польским требованиям в отношении западных губерний одним из первых открыто заявил митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко), известный своей активной ролью в воссоединении униатов с православной церковью в 1839 г. и укреплением позиций православной церкви в Северо-Западном крае.

Еще в начале 1855 г. в письме Обер-прокурору Синода графу Н.А. Протасову он указывал на неблагонадежность значительного числа чиновников края, подавляющее большинство среди которых составляли

[1] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М.: Наука, 2005. С. 21–22.

поляки-католики[1]. Политика примирения с местной польской элитой, проводимая в первые годы царствования Александра II, вызывала все большие опасения православного иерарха, усматривавшего в стремительно растущих польских претензиях угрозу нового витка полонизации края. В феврале 1859 г. митрополит направил императору Всеподданнейшую записку, в которой изложил свои взгляды на историю польского вопроса, подчеркивая тот факт, что в результате разделов Речи Посполитой Россия лишь возвратила «свое древнее достояние – достояние Св. Владимира, составившее Литву после татарского погрома», в то время как настоящие польские и некоторые русские провинции были разделены между Пруссией и Австрией[2]. По мнению священника, включение в состав России польских земель, восстановленных в виде Царства Польского, было ошибкой, поскольку стало не только основой для польских надежд на возрождение государственности, но и «передовым постом» для всех недоброжелательных России государств и источником полонизма, простирающего свое влияние на «исконно русские» западные губернии. Автор записки задавался осторожным вопросом – а не лучше было бы, чтобы это проблемное «яблоко раздора» было разделено между Австрией и Пруссией, которые проводили бы по отношению к нему свою жесткую, «антинациональную» политику?[3]

Гораздо более важной задачей, нежели устройство Царства Польского, митрополит Иосиф считал освобождение от польского влияния западных губерний и их прочное слияние с «единокровною Россией». Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи, обусловленную подавляющим численным превосходством православного населения, иерарх указывал на серьезные препятствия на пути ее решения, состоящие в культурном и материальном превосходстве польско-католического меньшинства, моральной и

[1] Киприанович Г.Я. Высокопреосвященный Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский: очерк его жизни и деятельности по воссозданию западнорусских униатов с православной церковью в 1839 г. Вильна: Тип. И. Блюмовича, 1894. С. 81–82.
[2] Всеподданнейшая записка митрополита Иосифа (Семашко) 26 февраля 1859 г. // Забытые страницы польского вопроса. Антология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 56.
[3] Там же. С. 58–59.

информационной поддержке, которая оказывалась ему католической церковью и европейскими противниками России, а также недостаточно высоким уровнем подготовленности русской бюрократии в западных губерниях, зачастую уступавшей польско-католическому влиянию[1]. Предчувствуя, что потворство «польской партии» может привести к крайне негативным последствиям для региона и всей России, митрополит Иосиф призывал монарха открыто провозгласить свою приверженность предшествующей системе управления, направленной на унификацию западных губерний, откровенно заявить о «тщете» усилий польской партии, потворство которой «поощряет ее к вредным проискам… и поставляет в самое тяжелое положение приверженцев всего русского и православного» в крае[2]. Другими словами, митрополит настаивал на необходимости отказаться от колебаний и заигрываний с «польской партией», дестабилизирующих обстановку в крае, и четко обозначить границу польских претензий и неприкосновенную «русскость» западных губерний, влияние полонизма на которые воспринимались православным иерархом особенно болезненно.

О необходимости строгого разграничения польских интересов на землях бывшего Царства Польского и их претензий в западных губерниях в это время заявлял и известный публицист и историк, входивший в круг единомышленников и сподвижников М.Н. Каткова, активно публиковавшийся на страницах журнала «Русский вестник», П.К. Щебальский. Безосновательность польских притязаний на культурное и политическое господство в Северо-Западном и Юго-Западном краях публицист обосновывал не с позиции «исторических преданий» или «права меча», а с точки зрения этнографических границ «народной семьи русской», в пределы которых входят находившиеся под долгим чужеземным политическим игом земли Белоруссии, Волыни, Подолии и Галиции[3].

[1] Всеподданнейшая записка митрополита Иосифа (Семашко) 26 февраля 1859 г. С. 59–60.
[2] Там же. С. 61–62.
[3] Щебальский П. К. Польско-русский вопрос // Забытые страницы польского вопроса. Антология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 118.

Воссоединение русских земель, совершившееся в силу сложного комплекса политических обстоятельств, по его мнению, было великим «народным делом», обеспечивать и оберегать которое есть прямая задача российского имперского правительства. Прогрессивно-национальную основу российской политики, направленной на гражданское развитие народных масс, воссоединение разобщенного народа и воссоздание его попранных культурных и религиозных традиций на западных окраинах, Щебальский противопоставлял феодальной логике мышления представителей польской шляхты, смотрящих на западнорусское население исключительно как на своих холопов, полонизация которых выставлялась ими как реализация цивилизаторской миссии. Публицист «Нового времени» выступал против любых попыток насильственного ассимиляционного воздействия, предполагавших стирание национальных особенностей по отношению ко всем народностям, проживавшим в Российской империи, требуя от них не более чем соблюдения необходимых условий гражданского общежития. Это касалось, в том числе, и польского ассимиляционного проекта в отношении русских народных масс западных губерний, на возобновление которого в новых политических условиях претендовало польское меньшинство и которому российские власти должны были воспрепятствовать. Обращаясь к своим польским оппонентам, Щебальский заявлял: «Вы хотите нас цивилизовать, но то же самое германцы говорят относительно Познани и Торна. Нравится ли это вам? ... Довольно насилия во имя цивилизации. Европа не забыла еще Наполеона и его орлов, трепавших Германию и Испанию во имя свободы. Если в вас такой переизбыток цивилизации, показывайте ее дома, подавайте пример, а мы позаимствуем; но не принуждайте нас к этому»[1].

Начиная с 1862 г. схожие идеи отстаивал другой видный публицист и ученый Западного края – К.А. Говорский, неоднократно публиковавший на страницах редактируемого им «Вестника Юго-Западной и Западной России»

[1] Щебальский П.К. Польско-русский вопрос. С. 123.

многочисленные исторические документы, призванные свидетельствовать о «русском прошлом» региона и призывавший к непримиримой борьбе против шляхетского элемента края, который, наряду с католической церковью, рассматривался им в качестве главных угнетателей западнорусских народных масс[1]. Еще накануне Январского восстания публицист, являвшийся униатом, добровольно перешедшим в православие, указывал на огромное значение информационного противодействия «злонамеренным искажениям» истории западной России, исходящим от многочисленных внешних и внутренних «врагов русской народности», которое должно осуществляться силами западнорусских интеллектуалов и публицистов[2].

Таким образом, на данном этапе в русской национально-консервативных кругах преобладали умеренные настроения, не предполагавшие проведения каких-либо специальных мер, направленных на русификацию северо-западных окраин, и не призывавшие к каким-либо формам репрессивного воздействия в отношении местного «польского элемента». Подчеркивалась лишь необходимость противодействия дальнейшей полонизации края, на продолжение которой в новых политических условиях рассчитывала местная шляхта.

Обострение политической ситуации в Царстве Польском и Северо-Западном крае в 1861 – 1862 гг. сопровождалось усилиями представителей польской аристократии по поиску неформальных каналов воздействия на имперскую элиту с целью поиска союзников в деле восстановления конституционного строя в Польше и положений Литовского статута, снятия всех запретов на использование польского языка в образовании и делопроизводстве, возрождения Виленского университета, укрепления связей между Царством Польским и Западным краем. Наибольшую активность проявляли представители умеренных кругов польской

[1] Котов А.Э. Западнорусский анабасис Ксенофонта Говорского // Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб.: Владимир Даль, 2022. С. 265.

[2] Образчик международного миролюбия и правдолюбия поляков (ответ львовской «Народной газете») // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1862. Август. Отд. III. С. 33–47.

аристократии, стоявшие на «угодовой» позиции, выразителями идей которых перед лицом имперских властей стали гродненский и минский губернские предводители дворянства В. Старжинский и А. Лаппа, а также виленский епископ А. Красинский. Они вступали в контакты с теми представителями имперской администрации, которые придерживались компромиссной позиции в отношении Польши, надеясь через них воздействовать на императора. Так, в сентябре 1861 г. упомянутые польские деятели неоднократно встречались с министром внутренних дел П.А. Валуевым, излагая ему свои «претензии» в довольно резкой и требовательной форме[1]. В 1862 г. Старжинский встречался с наместником Царства Польского Великим князем Константином Николаевичем и императором Александром II, стремясь убедить их в том, что польская аристократия края является благонадежным и консервативным союзником верховной власти, которая может смело передоверить ей некоторые управленческие функции в регионе.

Следует отметить, что в российских правящих кругах в данный период отсутствовала единая точка зрения на разрешение обострявшегося польского вопроса, чем и стремились воспользоваться польские аристократы. Можно выделить две позиции, которых придерживались представители центральных и региональных имперских управленческих структур: одна из них состояла в поиске взаимовыгодного компромисса с умеренной польской оппозицией, достижение которого даже ценой значительных уступок польской стороне позволило бы избежать дальнейшей эскалации конфликта; другая же заключалась в отказе от удовлетворения быстро растущих требований поляков и ставке на административно-силовые методы противодействия растущему польскому влиянию. Противоречия между данными точками зрения хорошо иллюстрируются различным отношением их сторонников к графу В. Старжинскому, на некоторое время ставшему своеобразным посредником между имперскими властями и польской умеренной элитой в

[1] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 1. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961. С. 116.

Северо-Западном крае. Если Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов, выступавший против заигрываний с польскими аристократами, предлагал немедленно снять Старжинского с должности гродненского предводителя дворянства и установить за ним негласное полицейское наблюдение, как за лицом, придерживавшемся идей «в духе противодействия и сопротивления правительственным распоряжениям»[1], то Валуев, считавший графа с его «неопределенными ожиданиями» весьма «небесполезным», не давал генерал-губернатору санкции на «официальные меры» против него[2].

Нерешительность имперских властей и отсутствие у них, по словам Валуева, «установившегося плана действия и даже установившегося взгляда» на польскую проблему[3] стимулировало польское дворянство к выдвижению все более решительных и дерзких требований. Так, осенью 1862 г. дворяне Подольской и Минской губерний выступили с всеподданнейшими адресами, в которых просили об административном присоединении своих губерний к Царству Польскому, открыто декларируя, тем самым, польскость всего западного края, поскольку ни одна из обозначенных губерний не имела с царством общих границ[4]. Помимо этого, польские дворяне настаивали на передаче в их руки надзора за народным образованием в крае, предоставлении им права открытия начальных школ, обучение в которых должно было вестись на польском языке. Авторы многих писем, адресованных к представителям имперской администрации в это время, призывали к немедленному «исправлению роковой ошибки» разделов Речи Посполитой, снятию любых ограничений, препятствовавших возрождению последней, подчеркивая, что достигнутое таким образом преодоление вековых русско-польских распрей позволит двум странам защититься от

---

[1] Письмо министра внутренних дел генерал-губернатору относительно увольнения графа Старжинского от должности предводителя дворянства // Архивные материалы муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863 – 1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. Вильна. Губернская типография. 1913. (Виленский временник. Кн. VI). С. 163.
[2] Там же. С. 164.
[3] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 1. С. 116.
[4] Западные окраины Российской империи. С. 164.

реальной общей угрозы, исходящей со стороны усиливавшегося германизма[1]. При этом авторы писем едва ли не шантажировали русскую администрацию, откровенно угрожая возможным вооруженным выступлением, поддержанным европейскими странами и гарантируя полную лояльность и «верность» в случае удовлетворения выдвигаемых требований[2].

Активизация местного польского дворянства заставила правительство приступить к разработке действенной программы противодействия полонизации края. Одним из первых представителей имперской администрации, открыто заявившим об усилившейся угрозе полонизации Северо-Западного края, чреватой в будущем полным культурным отторжением этих исконно русских земель от империи, и предложившим стратегию противодействия данной перспективе, был Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов. Вступив на пост главы Северо-Западного края в конце 1855 г., он первоначально выступал символом наступившей «оттепели» и политики «примирения» с поляками, стремясь найти в их лице поддержку преобразовательному курсу правительства. Однако уже спустя несколько лет Назимов резко переменил свое отношение к ним, сетуя на «коварство и неблагодарность» поляков, которыми они отвечали на все добрые намерения правительства, побуждая его к ужесточению курса[3].

Свою новую позицию, ставшую ответом на наиболее одиозные претензии польского дворянства, он изложил в двух записках, поданных летом и осенью 1862 г. на имя управляющего министерством народного просвещения А.В. Головнина и министра внутренних дел П.А. Валуева.

Главная особенность точки зрения Назимова состояла в том, что он открыто противопоставлял «пришлое» польское дворянство края, местным белорусским и литовским крестьянским массам, разграничивая их по этноконфессиональному признаку. Генерал-губернатор особо указывал на то, что, стремясь удержать за собою ускользавшую из рук власть над местным

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 357. Л. 13.
[2] Там же. Л. 9–11.
[3] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 36. (1 экспедиция 1861 г.). Д. 303. Ч. 1. Л. 49.

населением, шляхта усиленно навязывала ему «идею единокровности и единоплеменности» местного дворянства и народных масс. Делалось это для того, чтобы продолжить «польскую пропаганду» и, посредством укоренения польского языка и образования, «заявлять свои права на этот народ», «отторгнуть его от России и отделить Западный край от Русского государства»[1]. Глава края считал, что правительство должно всеми силами противостоять этим устремлениям, освобождая местное население от «цепей трехвекового рабства», способствуя его просвещению не в рамках навязываемой ему привнесенной польской культуры, а на основании коренных самобытных традиций. Разоблачая лицемерный характер декларируемой заботы польского дворянства о народном просвещении, Назимов подчеркивал крайнюю степень угнетения и эксплуатации народных масс, «доведенных им до крайней степени нищеты, до умственного и нравственного застоя…, до состояния безгласного существа, работающего и днем и ночью, наравне с домашним скотом»[2].

Генерал-губернатор соглашался с рядом положений записки минского губернского предводителя А. Лаппы о необходимости реформы народного образования в крае, об открытии университета в Вильно, сети реальных и агрономических училищ, однако принципиально настаивал на том, что преподавание в них должно вестись на русском языке. Обосновывая это требование, генерал-губернатор апеллировал к историческому прошлому края, к эпохе Великого Княжества Литовского, в котором русский язык имел доминирующее значение «в народной, литературной и юридической жизни здешнего населения». Российский администратор прямо заявлял, что «Литва – не Польша, а, составляя издревле часть России и, бывши отторгнута в

[1] Отношение Виленского генерал-губернатора управляющему министерством народного просвещения по поводу записки Минского губернского предводителя дворянства о реформе народного образования в крае // Архивные материалы муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863 – 1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. Вильна. Губернская типография. 1913. (Виленский временник. Кн. VI). С. 108–109, 110.
[2] Там же. С. 108.

течение более двух веков от нее, должна возвратиться к тому языку и элементу, который составлял прежде его жизнь и преобладание»[1].

В своих записках Назимов не ограничивался указанием на необходимость противодействия польским дворянским претензиям. Виленский генерал-губернатор был одним из первых представителей российской администрации, кто выступил за укрепление недоминирующих окраинных этносов, которые при поддержке правительства должны были стать противовесом враждебному (в данном конкретном случае – польскому) культурному влиянию. Традиционной дворянско-сословной ориентации имперской системы управления, характерной для предшествующего периода, он противопоставлял модерный консервативно-демократический принцип, согласно которому народные массы из пассивного объекта управленческой политики превращались в силу, содействовавшую имперским властям в деле умиротворения и интеграции края в единое имперское пространство.

Превращение местного крестьянства в «действенного союзника» правительства, по мнению Назимова, могло осуществиться лишь посредством всестороннего укрепления его материального положения, чему должно было способствовать максимально скорейшее освобождение крестьян от власти помещиков. Помимо этого, администратор призывал к содействию «нравственному возрождению» местных народных масс посредством развития их просвещения, что должно было коренным образом изменить устоявшийся стереотип, согласно которому здешний поляк ассоциировался исключительно с образованным и культурным человеком, в то время как «русский» олицетворял собой грубость, рабство, нищету и невежество[2]. Назимов настаивал на том, чтобы извлечь народное просвещение из рук польского дворянства и католического духовенства, поставив его под строгий государственный контроль, пресекавший

---

[1] Отношение Виленского генерал-губернатора управляющему министерством народного просвещения по поводу записки Минского губернского предводителя дворянства... С. 109, 111.
[2] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 38.(1 экспедиция 1863 г.). Д. 23. Ч. 175. Л. 9–9 об.

внедрение в сознание учащихся какие-либо «чуждые местной народности идеи»[1].

Осенью 1862 г. генерал-губернатор предложил издать особый Манифест, в котором провозглашалось бы право каждой народности на самобытное развитие и на получение образования на собственном языке в районах своего проживания. Данная мера, по его мнению, должна была привести к «разъединению польской и русской народностей», стратегической целью которого являлось выведение местных народных масс из-под доминировавшего здесь долгие годы польского влияния, распространяемого посредством языка народного обучения. Развития литовской и белорусской народностей и формирования их самобытной идентичности генерал-губернатор не опасался, рассчитывая на их неизбежное тяготение к России[2]. Негативно относившийся к Назимову Валуев указывал, что этот манифест «в честь народностей», со злой иронией названный им «манифестом a le Garibaldi», был направлен на то, «чтобы во имя и с помощью литвинов, русинов и т.п. противодействовать польской пропаганде»[3].

Незадолго до Январского восстания Назимов указывал на необходимость создания благоприятного для правительства общественного настроения и соответствующего информационного пространства, которое бы объясняло и оправдывало действия властей. Подчеркивая недопустимость подачи официальных адресов на имя императора, имеющих откровенно провокационный характер, в которых под верноподданнической риторикой скрывались совершенно неприемлемые домогательства польской шляхты, Назимов призывал строжайшим образом воспретить их, угрожая в случае неповиновения закрытием выборов в губернские дворянские собрания и их роспуском. Свою позицию он мотивировал крайне неблагоприятным впечатлением, вызываемым негативной правительственной реакцией на подобные провокации у европейского и российского общественного мнения,

[1] ОР РГБ. Ф. 169. К. 42. Д. 1. Л. 3.
[2] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. С. 35.
[3] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 1. С. 190.

в глазах которого польские демагоги выступали самоотверженными защитниками народных интересов, а правительство – их противником[1].

Отстаивая свою позицию, Назимов впервые обратил внимание на равнодушие русского образованного общества к проблеме «векового спора за обладание Западным краем» и существование в его среде ошибочного сочувствия интересам польской партии, вызванного притворно-почтительным тоном польских адресов, выражавших внешнюю преданность и верность Монарху, а также некоторым «призраком гражданского мужества», подвигнувшим дворян на обращение к Государю[2]. Тем самым, он недвусмысленно указывал на необходимость не только административного, но и всестороннего информационного противодействия польской агитации, посредством привлечения на сторону правительства если не зарубежного, то хотя бы отечественного общественного мнения.

Для реализации большинства из указанных мер была необходима твердая административная воля и широкое общественное содействие, которых Назимов не имел, чем и была обусловлена его отставка с занимаемого поста в условиях начавшегося мятежа. Однако его заслуга состояла в том, что он одним из первых на высшем государственном уровне актуализировал проблему далеко зашедшей полонизации западных окраин Российской империи, поставив вопрос о необходимости разработки комплекса мер противодействия этой угрозе. Его усилия привели к созданию осенью 1862 г. Западного Комитета, в котором на межведомственном уровне должна была разрабатываться правительственная политика в отношении западных окраин. Генерал-губернатор впервые открыто высказал явные «полонофобские» взгляды, трактуя польские устремления в контексте противодействия политике развития гражданских отношений,

---

[1] Докладная записка Виленского генерал-губернатора г. министру внутренних дел о предстоящих дворянских выборах в г. Минске и предполагаемом ходатайстве дворян о присоединении Минской губернии к Царству Польскому 17 октября 1862 г. // Архивные материалы муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863 – 1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. Вильна. Губернская типография. 1913. (Виленский временник. Кн. VI). С. 434–435.

[2] Там же. С. 435–436.

проводившейся российским правительством. Требуя решительно пресечь растущие претензии польского дворянства, выдвигаемые им от имени всего «народа», настаивая на исконной русскости Северо-Западного края и отстаивая концепцию развития этнического самосознания недоминирующих окраинных сообществ под руководством правительства, Назимов, фактически, закладывал первый камень в фундамент политики «оборонительной русификации», обсуждение которой являлось ключевым сюжетом в отечественном национально-консервативном дискурсе.

Полноценная программа «деполонизации» и «оборонительной русификации» Западного края впервые стала разрабатываться членами «милютинского кружка» чиновников и общественных деятелей на рубеже 1850 – 1860-х годов во многом под прямым влиянием процесса подготовки и начала проведения крестьянской реформы, а также под воздействием усиливающихся претензий польского дворянства. Подробный проект усиления русского влияния на западных окраинах был разработан в начале 1862 г. и изложен в виде нескольких записок, адресованных к верховной имперской администрации, видным государственным и общественным деятелем, ученым-экономистом, одним из идеологов крестьянской реформы – А.П. Заблоцким-Десятовским.

Предлагаемая им программа представляла собой национально-консервативную альтернативу как реформам, проводившимся в крае по инициативе и под руководством маркиза А. Велепольского, имевшим ярко выраженную «примирительную» направленность, так и деполонизаторским проектам либерального характера, отстаиваемым, в частности, крупным общественным деятелем и ученым, близким к либеральным правительственным кругам, Б.Н. Чичериным[1]. С содержанием записок Заблоцкого-Десятовского были ознакомлены сочувствовавшие его идеям председатель Комитета министров и Государственного Совета граф Д.Н. Блудов, военный министр Д.А. Милютин, а также многие другие

[1] Западные окраины Российской империи. С. 138.

высокопоставленные чиновники, входившие в кружок Великой княгини Елены Павловны, обладавший в начале 1860-х гг. огромным политическим влиянием и ставший неформальной дискуссионной площадкой, где проходило обсуждение самых разнообразных актуальных вопросов внутренней и внешней политики России. Через этих лиц с содержанием программы был ознакомлен и Александр II, испытывавшие в это время серьезные колебания в выборе политического курса в отношении западных окраин.

Будучи выходцем из Черниговской губернии, Заболоцкий-Десятовский хорошо представлял себе ситуацию в Западном крае, его особенности и проблемы. Его программа отталкивалась от принципиального тезиса о том, что западные губернии – есть исконно русские территории, попавшие под власть «пришлого» польского меньшинства, сумевшего убедить европейскую и русскую общественность в своем праве на владение этими землями. Исконный русский элемент, к которому мыслитель относил местное белорусское и малороссийское население, в течение многих лет подвергался систематическим притеснениям, являясь объектом польско-католической религиозной и культурной пропаганды, что привело к значительной «полонизации» края. Однако причину ослабления русского начала в крае Заблоцкий-Десятовский усматривал не только в деятельности польского элемента, но и в «ошибочной системе действий правительства», которое в своей политике руководствовалось не национально-религиозными, а сословно-бюрократическими принципами[1]. Ошибочность, по мнению мыслителя, состояла во всяческом «потакании» шляхетскому меньшинству – «элементу пришлому и завоевательному», способствовавшим усилению его власти над народными массами, которые являлись главной опорой русской власти в регионе и тщетно пытались найти у ней защиту от польского господства и произвола. Это относилось не только к православным белорусам и украинцам, но и к литвинамм, не питавшие вражды к русским и

[1] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 16.

стремившимся, за исключением полонизированной элиты, к освобождению от «польского культурного плена» и развитию собственных культурных начал[1].

Заблоцкий-Десятовский указывал, что залогом господства польского элемента в крае, которое не смогли поколебать ни народные восстания, ни возвращение его в состав Российского государства силой русского оружия, ни строгие правительственные меры эпохи правления Николая I, является высокий образовательный и культурный уровень, а также материальное благосостояние местной польской шляхты. Благодаря этому поляки господствовали в административной, экономической, образовательной сферах, имея возможность воздействовать на народные массы посредством института мировых посредников, находящегося в руках местных польских помещиков, а также через органы волостного правления, куда назначались преимущественно грамотные выходцы из польской среды. Используя эти средства, поляки распространяли в народе «нужные им мысли и стремления», конечная цель которых состояла в «возбуждении против правительства, охлаждении к православной вере, распространении польского языка и совершенном «ополячивании» вначале всего того, что сколько-нибудь возвышается над уровнем массы, а потом и сей последней»[2].

Данные негативные тенденции обуславливали необходимость формирования «плодотворной и прочной системы противодействия полонизации» западных окраин России, от эффективности которой, по мнению Заблоцкого-Десятовского, зависел исход вековечной борьбы польского и русского начал в регионе и окончательное разрешение вопроса – «быть ли этому краю польским или русским». Разрабатываемая система должна была носить комплексный характер и включать в себя как административные меры, так и усилия по «возбуждению русского населения

[1] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 20–21 об.
[2] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 3.

к деятельности, к развитию в материальном и умственном отношении», что позволило бы ему успешно противодействовать полонизации[1].

В отличие от либеральных проектов переустройства западных окраин, предполагавших возможность привлечения лояльной части местной польской бюрократии к вопросам местного управления, Заблоцкий-Десятовский настаивал на необходимости полного устранения поляков от «всякого правительственного официального значения» в регионе. По его мнению, в коренных русских губерниях поляк в силу своего культурного и образовательного уровня «может быть способным и полезным чиновником», однако же, на западных окраинах он делается вредным «по влиянию в пользу польской национальности, по патриотическим замыслам, которые нередко направляют его действия»[2]. Мыслитель особенно настаивал на удалении поляков с должностей, имеющих непосредственное соприкосновение с народными массами – мировых посредников, волостных писарей, земской полиции. Эти места, по его мнению, должны были в обязательном порядке заниматься исключительно лицами православного вероисповедания. Чрезвычайно актуальный для данного времени крестьянский вопрос, решение которого в Западном крае имело свои особенности в силу сословно-этнической специфики стратификации местного населения, по мнению ученого, следовало в обязательном порядке изъять из рук помещиков-поляков, использовавших свое положение для продолжения угнетения западнорусского и литовского крестьянства, передав его в руки правительства[3].

Таким образом, Заблоцким-Десятовским предлагалось подменить сохранявшуюся вотчинную власть польского дворянства над крестьянской массой административным контролем со стороны уездных начальников, которые должны были стать во главе уездного правления и назначаться из русских чиновников не ниже пятого класса с повышенным денежным

[1] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 3 об.
[2] Там же. Л. 4.
[3] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.

окладом[1]. Предвидя затруднения с кадровым наполнением административных должностей в западном крае, мыслитель предлагал использовать методы стимулирования, апробированные на других окраинах, в частности, на Кавказе – повышенные денежные оклады и более ускоренное продвижение по службе, считая, что неизбежный рост расходов не должен становиться препятствием в таком важном деле, как укрепление русского влияния на имперских окраинах.

Важнейшим условием русификации западных окраин империи Заблоцкий-Десятовский считал создание в регионе мощного русского землевладения. Для достижения данной цели он призывал особым правительственным распоряжением запретить полякам из Царства Польского переселяться на казенные и помещичьи земли Северо-Западного и Юго-Западного краев, а также создать благоприятные условия для приобретения земель в крае русскими «капиталистами»[2]. По мнению автора записок, правительство должно было содействовать созданию особого товарищества или акционерного общества, скупавшего земли в крае и перепродававшего их русским землевладельцам. Свободные казенные земли предлагалось при непосредственном содействии правительства продавать по сниженным ценам русским людям среднего состояния или передавать в награду заслуженным чиновникам православного вероисповедания[3].

Таким образом, административные меры, предлагаемые Заболоцким-Десятовским, носили преимущественно «оборонительный» характер, направленный на противодействие расширению польского влияния и «развитию польской национальности» в западных губерниях.

Однако для того, чтобы сделать западные окраины «вполне русскими» административных мер было недостаточно. Без подъема и развития русского населения края «в материальном и нравственном отношении» успешная борьба с польским влиянием в регионе представлялась невозможной.

---

[1] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 7 об.
[2] Там же. Л. 6.
[3] Там же. Л. 7.

Заблоцкий-Десятовский писал: «Без упрочения материального благосостояния тамошнего простого народа, представляющего собой православный русский элемент в том крае, невозможно в нем никакое развитие нравственного сознания, никакое противодействие польским стремлениям»[1].

Заблоцкий-Десятовский был твердо убежден в том, что крестьянские массы западных губерний, являются естественными союзниками правительственной политики деполонизации края. Данную поддержку следовало закрепить посредством всестороннего учета народных интересов в ходе проводившейся в стране крестьянской реформы. Являясь убежденным сторонником решительной и скорейшей отмены крепостного права, Заблоцкий-Десятовский стремился придать крестьянской реформе на западных окраинах ярко выраженный демократический и национально-религиозный оттенок, подчинив ее общим деполонизаторским устремлениям[2]. Именно поэтому он настаивал на максимально быстром выведении освобождаемых крестьян из-под власти помещиков-поляков посредством немедленного перевода на выкуп[3].

Ключевым проводником русского влияния на западных окраинах Заблоцкий-Десятовский считал православную церковь, которая была призвана защищать народные массы от посягательств католицизма и способствовать духовно-нравственному развитию народа, выступая по отношению к нему не только в качестве религиозного, но и первичного культурного института. Однако мыслитель был вынужден констатировать, что культурный, образовательный и материальный уровень местного православного духовенства стоял много ниже своего призвания, значительно уступая уровню католических ксендзов.

---

[1] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 38.
[2] Памяти Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского // Русская старина. 1882. Т. 33. Кн. 2. С. 549.
[3] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 19 об.

Административные меры, направленные на улучшение материального положения здешнего православного духовенства, по мнению Заблоцкого-Десятовского, были крайне неэффективны, поскольку накладывали дополнительные тяготы на местное население, что никак не способствовало росту авторитета православной церкви. Мыслитель указывал, что предоставление православным приходам земельных владений, обрабатываемых крестьянами, а также введенный киевским генерал-губернатором И.И. Васильчиковым сбор в 2-3 копейки с десятины, доходы от которого должны были формировать церковно-строительный капитал (расходуемый на нужды церковного строительства всех конфессий) вызывали недовольство и без того задавленного налогами сельского населения, многочисленные столкновения и споры, наносившие непоправимый нравственный вред православному делу и использовавшиеся католической пропагандой в своих целях[1].

Для того чтобы православная церковь смогла стать эффективным рычагом распространения русского влияния, а ее служители – «истинными духовными пастырями народа», проникнутыми «ревностью миссионерства без фанатизма и нетерпимости» Заблоцким-Десятовским предлагался ряд мер, включавших в себя восстановление старинных православных братств, существовавших в прошлом при западнорусской церкви и сыгравших важную роль в сохранении православной веры в период польско-католического господства; активизацию общественной деятельности православного духовенства путем предоставления ему права свободного избрания благочинных и организации съездов по благочиниям; ограничение «деспотического обращения» архиереев в отношении местного духовенства, путем запрета их вмешательства в избрание и деятельность благочинных и церковных братств[2].

[1] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 9 об., 12–13.
[2] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 10 об.–17.

Особое внимание уделялось материальному содержанию православного духовенства, которое предлагалось увеличить, уравняв его с жалованием католических священников. Дополнительная материальная поддержка западнорусской церкви могла осуществляться путем частных пожертвований, в том числе через Общество для вспомоществования церквям и монастырям, а также посредством ссуд из Государственного казначейства, идущих на восстановление или строительство православных храмов[1].

Являясь противником традиционной сословно ориентированной политики в отношении западных окраин, мыслитель выступал за переход к новой стратегии, направленной на укрепление недоминирующих этнических групп региона, способных при поддержке властей стать мощным противовесом доминирующему здесь польскому меньшинству. Их «правильное развитие» в духе русских национальных и государственных интересов, по его мнению, позволило бы не только привлечь народные массы на сторону правительства, но и «вырвать весь край, лежащий между Неманом и Двиной» из польских рук, навечно привязав его к России[2].

Опасения того, что «развитие литовской, белорусской и малорусской народных стихий» приведет к зарождению в их среде сепаратистских настроений он считал безосновательными, поскольку ни одна из этих народностей, по его мнению, не имела «залогов самобытного государственного существования»[3].

Для привлечения местных народных масс на сторону правительства и превращения их в его сознательную опору Заблоцкий-Десятовский настаивал на необходимости развития народного просвещения, поощряя при этом местные культурные и языковые особенности. В рамках реализации данной программы предлагалось увеличить в регионе численность элементарных народных училищ, допустив в них обучение на местных языках – литовском

[1] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 14 об.–15 об.
[2] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 4. Л. 99–100.
[3] Там же. Л. 29–29 об.

(жмудском), белорусском и украинском, издавать и распространять книги на этих языках, а также разрешить их изучение в местных средних и высших учебных заведениях[1]. Правительственные распоряжения и указы, публикуемые в западных губерниях, должны были в обязательном порядке переводиться на литовский, а при необходимости – и на белорусский и малороссийский языки, дабы избежать искажения их смысла. Предлагалось также допустить выпуск статей на местных языках в губернских газетах, а при Виленской официальной газете издавать особый «Листок» на литовском языке, где будут публиковаться правительственные распоряжения. Мыслитель призывал не подвергать выходящие на местных языках литературные произведения каким-либо особым цензурным стеснениям, выходившим за рамки тех ограничений, которые распространялись на все, что печаталось на великорусском языке[2]. Для ограничения католического влияния, распространяемого на местное население посредством школьного образования, Заблоцкий-Десятовский предлагал активно создавать сеть православных начальных училищ в местностях с преобладанием православного населения, дабы избавить его от необходимости получать образование в католических школах, проводивших активную миссионерскую деятельность[3].

Как видно из вышеизложенных предложений, Заблоцкий-Десятовский не настаивал на русификации края в культурной и языковой сферах. В его записках не предлагалось никаких ограничительных мер по отношению к польским образовательным учреждениям или католической церкви. Предлагаемая им программа фактически представляла собой реализацию стратегии «мягкой силы», в рамках которой должны были гибко сочетаться силовые меры, направленные на административное ограничение польского влияния, и неконфликтные управленческие практики, способствовавшие формированию позитивного символического капитала имперского начала,

[1] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 17 об.–18.
[2] Там же. Л. 19.
[3] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 37.

несущего местным народам прогресс и культурное развитие. Поощрение местных национальных культур, языков, образования со стороны имперских властей, по его мнению, будет являться более действенным противовесом польскому культурному влиянию, нежели принудительные и репрессивные меры, способные привести лишь к дальнейшей эскалации конфликта на западных окраинах, в котором, по выражению мыслителя, «гибнет и материальное благосостояние России и ее умственное и нравственное значение»[1]. Отстаивая свою позицию, Заблоцкий-Десятовский писал: «Необходима рациональная система действий, основанная не на полицейских мерах, а на разумных политических началах, на силе нравственного влияния»[2].

Для успешной реализации данной программы нужны были хорошо подготовленные, «ясно понимающие положение страны, взаимные отношения в ней народностей…, наши в ней политические интересы, способные воспользоваться заключающимися в самом обществе нравственными силами» люди, на выбор которых мыслитель призывал обратить особое внимание правительства[3].

Для выработки более детальной программы развития «русских начал» в Западном крае, а также для консолидации представителей правительственных и общественных кругов, в том числе и регионального уровня, способных выступить в качестве экспертов и оказать реальную помощь в деле «нравственного и экономического развития туземного населения западных губерний России», Заблоцкий-Десятовский уже несколько позднее, после начала Январского восстания выступил с проектом создания Западнорусского общества, которое должно было стать дискуссионно-консультативной институциональной площадкой по данному вопросу. В основе его инициативы лежало убеждение в необходимости актуализации проблемы западных окраин в русском обществе и призыва

[1] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 3 об.
[2] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3. Л. 41.
[3] ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 58. Л. 23

широких общественных сил к ее обсуждению и решению[1]. Мыслитель с горечью указывал на равнодушие подавляющего большинства российской общественности к нуждам русского населения западных губерний, на которые в России зачастую смотрели, как на чужую землю. Он был убежден в невозможности защиты западнорусской народной стихии от давления польского элемента исключительно правительственными мерами без моральной и интеллектуальной поддержки русской общественной среды[2]. Именно поэтому в предлагаемое им общество должны были входить «лица, тесно связанные сочувствием к делу православия и русского народа в Западном крае», к которым относились бы как представители российской общественности, так и «местные деятели»[3].

Одной из важнейших задач Общества должно было стать «пробуждение» национального сознания местных народностей посредством культурно-просветительской деятельности и духовного развития, способствовавшего «упрочению их нравственного единения с общим Отечеством» и ограждавшего их от польско-католического влияния, из-за которого эти народы в течение долгого времени находились в состоянии настоящего умственного «летаргического сна»[4].

В Совет Западнорусского общества должны были войти видные литераторы, ученые и общественные деятели, такие как Ф.И. Тютчев, К.Н. Бестужев-Рюмин, А.Ф. Гильфердинг, П.П. Семенов-Тян-Шанский, К.К. Грот и другие.

Председатель Государственного совета Д.Н. Блудов, ознакомившись с данным проектом, нашел его «чрезвычайно полезным и заслуживающим внимания правительства»[5]. Однако, несмотря на поддержку многих высокопоставленных лиц, проект создания данного Общества в итоге так и не был утвержден Александром II, что было вызвано традиционным

[1] РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 4. Л. 92 об.
[2] Там же. Л. 87–87 об.
[3] Там же. Л. 93.
[4] Там же. Л. 99.
[5] Там же. Л. 115.

недоверием правительства к подобного рода общественным инициативам и началом реализации в крае системы М.Н. Муравьева.

Программа усиления русского влияния на западных окраинах империи, предлагаемая Заблоцким-Десятовским, носила весьма умеренный характер, ориентированный не столько на прямое репрессивное воздействие в отношении польского меньшинства, сколько на подъем противостоящих ему русских и местных этнических элементов, потенциально лояльных властям. Оборонительные цели в ней явно преобладали над русификационными устремлениями наступательного характера. Автор не призывал к «обрусению» местного населения путем принудительной языковой русификации или распространения православной веры, он вообще отрицал целесообразность силовых, полицейских мер, которые, не давая значительного положительного эффекта, могли привести лишь к усилению сопротивления русскому влиянию, отталкивая при этом потенциальных союзников политики деполонизации.

В то же время предлагаемая программа, имевшая ярко выраженный антипольский характер, должна была положить конец колебаниям правительства и продемонстрировать его готовность отказаться от сословно-имперской модели управления в регионе, придав своей политике национальную окраску. Ее реализация была призвана положить предел новому всплеску шляхетской активности, нашедшему свое выражение в требованиях расширения прав местного дворянства, передачи ему права надзора за народным образованием края, а также административного присоединения западных губерний к Царству Польскому. Основные направления деполонизации западных окраин России, методы и средства ее реализации, изложенные в записках Заблоцкого-Десятовского, наряду с положениями других программных документов, направленных на противодействие польскому влиянию в крае, составили концептуальную основу политики имперских властей в регионе на многие десятилетия вперед, реализовываясь не только в условиях культурного и экономического

противодействия польского элемента, но и открытого вооруженного столкновения с ним.

Дальнейшая эскалация конфликта в Царстве Польском и Северо-Западном крае, завершившаяся открытым польским мятежом, внесла значительные коррективы в концепцию русификации западных окраин, разрабатываемую представителями политической элиты и общественности, побуждая наполнять ее значительным репрессивно-силовым компонентом в отношении поляков, отсутствовавшим в предшествующий период, когда сохранялась надежда на достижение взаимовыгодного компромисса с польским обществом.

3.2 Конструирование Западного края как составной части имперского пространства в отечественном национально-консервативном дискурсе

До начала 1860-х годов национально-окраинная проблематика практически не привлекала внимания широкой русской общественности, занятой обсуждением иных вопросов. Имперское сознание русского общества еще не вступило в стадию своей интеллектуальной рефлексии, переход к которой был возможен в условиях серьезных внешних и внутренних вызовов, угрожавших базовым имперским ценностям. Поражение в Крымской войне, нанесшее мощный удар по престижу Российской империи и крайне болезненно воспринятое русским обществом, в совокупности со сменой внутриполитического курса после вступления на престол императора Александра II способствовало невиданному общественно-политическому подъему, в условиях которого происходило осмысление многих актуальных проблем внутреннего развитии России, решение и обсуждение которых до недавнего времени было исключительной прерогативой правительства. Разразившийся в этих условиях польский мятеж 1863 – 1864 гг. вызвал невероятный общественный резонанс, став настоящим

«событием перехода» в отечественной интеллектуальной среде, представлявшим собой «слом баланса и выход в постравновесное пространство», формирующее новое проблемное измерение[1].

Мятеж, вызванный не усилением гнета со стороны имперских властей, а, напротив, напрямую связанный со смягчением правительственной политики в отношении польского элемента западных окраин, представлял собой национально-мобилизационный вызов польского этнического сепаратизма и имел ярко выраженный экспансионистский характер, поскольку был вызван стремлением восстановить утраченную государственность в границах 1772 г., что предполагало включение в состав Царства Польского западных губерний, рассматривавшихся как часть русской национальной территории. Вследствие этого, в русском обществе он рассматривался как прямое покушение на единство и целостность Российской имперской государственности, а стремление европейских стран выступить «посредником» в решении польского вопроса воспринималось как угроза интервенции.

Разразившееся восстание также поставило под сомнение правомерность либеральной политики, проводимой правительством на западных окраинах, воспринимавшееся в радикально настроенных польских кругах не иначе, как проявление слабости, что во многом и спровоцировало вооруженное выступление. Правительственный курс, направленный на «примирение» и сотрудничество с польской аристократией, способствовал новому витку полонизации западных русских земель, национально-культурная принадлежность которых к России вновь была поставлена под сомнение. Русские консервативные мыслители проводили прямую взаимосвязь между либерализацией правительственной политики и стремительной дестабилизацией ситуации на западных окраинах России, вылившейся в вооруженный мятеж, за национально-освободительными лозунгами которого

[1] Вайман С.Т. Размышления о художественном переходе // Переходные процессы в русской художественной культуре. М.: Наука, 2003. С. 171–172.

скрывалось стремление к отторжению от России ряда ее исконных территорий. Вспоминая события 1863 г. князь В.П. Мещерский отмечал, что польское восстание было «прямым последствием не польской работы, но общей политической атмосферы того времени у нас», настроений правительства и общественности, охваченных «болезнью воли, болезнью энергии, болезнью русского чувства долга и достоинства», в основе которого лежал «культ либерализма, ободрявший и бравший под свою протекцию идею национального сепаратизма»[1]. Вооруженный мятеж, по словам консервативного мыслителя, «замечательный столько же своей глупостью, сколько своей дерзостью», способствовал отрезвлению русского общества, «здоровые и национальные» силы которого смогли поднять голову и громко заявить о себе[2].

Угроза государственной целостности вызвала в русском обществе интеллектуальную и эмоционально окрашенную рефлексию его имперского сознания, результатом которого стал национально-консервативный поворот в общественных настроениях, способствовавший становлению русской национальной идентичности. Это проявилось в повышенном внимании к национально-имперской проблематике и осознании необходимости защиты интересов русского народа и целостности империи от покушений сильных в материальном и культурном отношениях этнических групп, доминирующих на окраинах и фактически являющихся инородными элементами в рамках российского имперского пространства. Именно поэтому М.Н. Катков считал, что события 1863 – 1864 гг. по важности их значения для истории страны и развития народного самосознания не уступают отмене крепостного права, поскольку они положили начало освобождению русской правительственной политики и общественной мысли от власти «отвлеченных понятий и посторонних примесей», придав им «твердый национальный характер»[3]. Редактор «Московских ведомостей» сравнивал Январское восстание с

[1] Мещерский В.П. Мои воспоминания. М.: Захаров. 2003. С.153–155.
[2] Там же. С.155.
[3] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 13 об., 18.

«очистительной грозой», усматривая пользу подобных критических ситуаций в том, что они позволяют увидеть «слабости, ошибки и заблуждения прежних взглядов» и вовремя избавиться от них[1]. Консервативный публицист рассматривал данное событие в широком контексте перспектив развития пореформенной России, нуждавшейся в твердых и крепких основах законного порядка, недостаток которых, обусловивший возникновение мятежа, являлся главным препятствием движения страны по пути истинного прогресса[2].

О «благотворном» влиянии польского мятежа на русское общество говорил и М.В. Юзефович, отмечавший, что он способствовал отрезвлению просвещенных русских людей, освобождению их от преклонения перед ложными учениями, навязываемыми ему извне заграничными пропагандистами, от постыдного самобичевания и очернения всего русского. «Польское повстанье раскрыло нам глаза, – писал Юзефович на страницах газеты «Киевлянин», – Едкое слово Герцена вместе с пустозвонным словом Огарева явились в глазах проснувшегося русского человека тем, чем они были на самом деле: или плодом личного озлобления, или плодом непростительной страсти рисоваться, или, что еще хуже, словом человека, изменяющего святейшим интересам народа русского»[3]. Кроме этого, польза мятежа, по мнению публициста, состояла в том, что он продемонстрировал истинные намерения польского элемента в западнорусском крае, состоявшие в его полной полонизации и отторжении от России. Открытое вооруженное противостояние позволило русскому обществу «очнуться, открыть глаза и обнаружить многочисленные ветви подкопа, искусно веденного в течение многих лет в западном крае», отказавшись от «примирения» с элементами, покушавшимися на целостность Российского государства[4].

---

[1] Московские ведомости. 1863. № 128. 12 июня.
[2] Московские ведомости. 1863. № 97. 5 мая.
[3] Киевлянин. 1865. № 63. 1 июня.
[4] Там же.

Положительное значение польского мятежа И.С. Аксаков усматривал в том, что он вызвал к жизни широкое общественное движение, заставившее «подвергнуть поверке и оценке крепость и прочность тех внешних уз, которые связуют между собой различные части русского государства», раскрыв «ряд вопиющих безобразий в отношениях наших окраин к центру»[1]. Отечественная общественность впервые задумалась о прочности российской имперской государственности, ее насущных проблемах и перспективах развития, увязывая эти вопросы с общим характером развития страны и путями ее модернизации.

Одним из первых представителей русской консервативной мысли, поставивших вопрос о необходимости проведения целенаправленной и комплексной политики русификации северо-западных окраин империи, с успехом которой связывалось само дальнейшее существование России как имперского государства, был М.Н. Катков. Благодаря своему недюжинному публицистическому таланту он сумел не только привлечь внимание общественности к «роковому» польскому вопросу, но и заявить о необходимости выработки единой концепции правительственной политики в отношении северо-западных окраин, целью которой должно было стать усиление в них «русских начал», существенно ослабленных пришлым польским элементом.

Несмотря на то, что обстановка на западных окраинах нагнеталась в течение длительного времени, открытый вооруженный мятеж стал для русского общества полной неожиданностью. Официальная информация о происходящих здесь событиях была очень ограничена и отрывиста. В этих условиях газета «Московские ведомости», редактором которой незадолго до этого стал Катков, фактически превратилась в главный источник информации о ходе восстания и его подавления. Находясь в непосредственном контакте с государственными чиновниками и военными, усмирявшими мятежный край и разрабатывавшими программу его

[1] Москвич. 1867. № 2. 24 декабря.

русификации в целях окончательного предотвращения угрозы нового восстания, он мог получать информацию из первых рук, анализировать ее и представлять на суд российской общественности. Призывая отказаться от традиционной практики замалчивания событий противоправного характера, в письме к Виленскому генерал-губернатору М.Н. Муравьеву Катков отмечал: «Всякая весть оттуда ожидается с величайшим нетерпением, и правильная хроника событий, записываемая способным пером и совершающихся в том духе и смысле, который по убеждению всех сообщит им Ваше управление, были бы истинной услугой для отечественного дела»[1]. Необходимо отметить, что Катков в своих живых и ярких публикациях не только подробно информировал русскую общественность о ходе подавления мятежа, разъясняя и обосновывая необходимость и неизбежность жестких карательных мер, придавая борьбе с польскими инсургентами значение национальной борьбы и защиты «общенародного русского дела»[2]. Не ограничиваясь этим, он фактически выступил в роли организатора русского общественного мнения, практически единодушно осудившего восставших поляков, усмирение которых рассматривалось как залог сохранения единства и целостности России, ее права называться великой державой, а также продолжения следования по пути «мирной гражданственности и общественной свободы»[3].

Публикации Каткова оказывали значительное воздействие не только на общественность. Нельзя не согласиться с утверждением, согласно которому публицист, «находясь вне правительства, диктовал ему программу, побуждая к решительным практическим действиям» в разрешении польского вопроса[4].

В условиях постоянных колебаний правительственного курса в отношении Польши накануне восстания и в первые его месяцы, отстаиваемая реактором «Московских ведомостей» твердая линия на жесткое подавление

[1] ОР РГБ. Ф. 120. К. 49. Д. 45. Л. 1–1об.
[2] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863. М.: Издание С.П. Катковой, 1897. С. 109.
[3] Там же. С. 113.
[4] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М.: Наука, 1978. С. 30.

мятежа, отказ от каких-либо уступок инсургентам и установление диктаторского режима на западных окраинах находила все больше сторонников как в общественных, так и в правительственных кругах. Так, например, статьи Каткова, посвященные реакции русского общества на события польского восстания – массовым панихидам по русским воинам, погибшим в Польше, молебнам во славу русского оружия, в которых принимали участие представители самых разных общественных слоев, верноподданническим адресам, провозглашавшим единство русского народа и Престола перед лицом «польских смут»[1], вызвали одобрение и сочувствие влиятельного государственного деятеля, главы Польского комитета графа Д.Н. Блудова[2]. Число читателей и почитателей Каткова в высших правительственных сферах в течение 1863 – 1864 гг. непрерывно росло, о чем свидетельствуют многочисленные письма к редактору, в которых упоминается о полном сочувствии и одобрении представителями российской политической элиты и придворных кругов той твердой «русской позиции», которую отстаивал публицист[3]. Даже министр внутренних дел П.А. Валуев, который, по отзывам осведомленных современников, весьма неодобрительно относился к решительным заявлениям московского публициста и «более сердился на партию *русских* (курсив автора – М.К.), коих представителями тогда были Муравьев и Катков, чем на поляков в польском вопросе»[4], не мог не признавать огромного влияния «Московских ведомостей», конфиденциально предлагая их редактору сотрудничество. Благодаря покровительству представителей высшей бюрократии, газета Каткова имела доступ к секретной информации, закрытой для других русских изданий, что свидетельствовало о высокой степени идейного влияния воззрений консервативного публициста на правительственные круги[5].

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863. С. 142–144.
[2] ОР РГБ. Ф. 120. К. 20. Ед. хр. 3. Л. 178.
[3] Там же. Л. 176; К. 21. Ед. хр. 2. Л. 22–22 об., Ед. хр. 4. Л. 35.
[4] Мещерский В.П. Мои воспоминания. С. 165.
[5] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. С. 60.

В этом контексте, представляется бесспорным тот факт, что жесткая бескомпромиссная «национальная» позиция, занятая Катковым в отношении восставшей Польши, поддержанная широкими общественными и правящими кругами России, оказала значительное влияние на окончательное определение траектории правительственной политики на западных окраинах не только в условиях мятежного экстремума, но и в последующий период. По мнению зарубежного исследователя А. Реннера, вообще вся «российская национальная политика, требовавшая «русификации» окраин, была придумана снизу, а не внутри царской бюрократии», причем решающую роль, в этом сыграл именно редактор «Московских ведомостей», актуализировавший окраинную проблематику в контексте польского мятежа 1863 – 1864 гг.[1].

Одним из первых и наиболее ярких проявлений этого влияния стало назначение на пост Виленского генерал-губернатора и командующего Виленским военным округом М.Н. Муравьева, чью кандидатуру горячо поддерживал Катков. Александр II, предоставивший Муравьеву широкие полномочия в деле усмирения восстания, пошел на этот шаг во многом вынужденно, вопреки мнению сложившейся при дворе и в правительстве «антимуравьевской» партии, на значительное политическое влияние которой указывали многие современники[2], под давлением обстоятельств и растущего национального общественного мнения, идейным центром которого являлся редактор «Московских ведомостей». Невзирая на многочисленных недоброжелателей и колебания императора, не желавшего отказываться от примирительной политики в отношении мятежной Польши, Катков на страницах своей газеты настаивал на назначении Муравьева, защищая и обосновывая необходимость жестких мер в отношении мятежных окраин. В противовес критике, которая обрушивалась на генерал-губернатора за его «варварские методы» со стороны либеральных кругов российской

[1] Renner A. Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the «Invention» of National Politics // Slavonic and East European Review. 2003. Vol. 81, No. 4. P. 661.
[2] Мещерский В.П. Мои воспоминания. С. 172.

общественности, Катков писал: «Генерал Муравьев поднял русское. В течение двух лет оно боролось в Вильне с польским элементом, не поддерживаемое начальством, которое заискивало польских симпатий… С прибытием генерала Муравьева русские люди ожили. Они опасались еще за себя, за свое имущество, за свою жизнь, но за русское дело они уже не боялись»[1]. Впоследствии, оценивая деятельность Муравьева, публицист подчеркивал, что, среди прочих его заслуг, важнейшая состояла в том, что он сумел твердо и уверенно проводить «русское дело» под градом ругательств и проклятий, сыпавшихся на него со всех сторон, не побоялся принять на себя «всю ненависть как внутренних, так и внешних врагов единства и целостности России». Деятельность генерала привела к «возрождению русской народности, до того времени забитой и загнанной в западном крае России, положила начало вступлению ее в законно принадлежащие ей права»[2].

Роль Каткова и его публикаций, вызывавших одобрение значительной части русского общества, в переходе от политики поиска компромиссов и «примирения» к реализации твердого правительственного курса, направленного на сохранение целостности государственного пространства Российской империи на ее западных окраинах, трудно переоценить. М.Н. Муравьев, осознававший огромное значение публикаций Каткова для информационного обеспечения реализуемой им политики, предлагал ему прямое сотрудничество в деле окончательного слияния Западного края с коренной Россией, на которое публицист охотно согласился[3].

Именно в период освещения хода подавления польского мятежа в публикациях М.Н. Каткова, И.С. Аксакова и других, близких к ним в идейном отношении публицистов, начинается разработка национально-консервативной концепции русификации северо-западных окраин империи,

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863. С. 601.
[2] Катков М.Н. Заслуга графа М.Н. Муравьева // М.Н. Катков. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 680.
[3] ОР РГБ. Ф. 120. К. 49. Ед. хр. 45. Л. 1–2.

как устойчивой целенаправленной политики, направленной не только на усиление «русского начала» в данном регионе, но и в более широком общеимперском смысле на «завершение внутреннего слияния» разнородных элементов, собранных под властью Российской империи в предшествующий период.

Главными выразителями национально-консервативной доктрины в самом Северо-Западном крае стали представители сложившегося в Вильне сообщества русских государственных и общественных деятелей, отстаивавших необходимость последовательного проведения в жизнь «муравьевского курса», направленного на всестороннюю деполонизацию региона, названного их многочисленными противниками и недоброжелателями «кружком виленских русификаторов». Сами члены данного кружка, связанные друг с другом не только служебными, но и тесными дружескими отношениями, называли его «нашей русской семьей в Вильне»[1].

Центром и идейным вдохновителем этого общества был попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов, вокруг которого концентрировались представители местной чиновной интеллигенции, объединенные нравственным побуждением послужить «русскому делу» в крае и посодействовать «исторической миссии» России, состоящей в освобождении края от полонизма и латинизма[2]. Наиболее видными представителями данного круга являлись чиновники Министерства народного просвещения, служащие под непосредственным началом Корнилова и составлявшие интеллектуальное ядро русского виленского общества – В.П. Кулин, А.В. Рачинский, Н.Н. Новиков, А.Н. Забелин, директор виленской публичной библиотеки А.П. Владимиров и другие. Данное сообщество было лишь вершиной айсберга местной русской

[1] РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 52. Л. 3.

[2] Комзолова А.А. «Положение хуже севастопольского»: Русский интеллигентный чиновник в Северо-Западном крае в 1860-е гг. // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 121–125.

национально-патриотической мысли, представленной, хотя и относительно немногочисленными, но достаточно активными кругами местных русских чиновников, дворян – мировых посредников, учителей и священников.

Главным печатным выразителем идей местного русского общества стала газета «Виленский вестник», примирительная направленность которой после ухода с поста главного редактора в конце 1865 г. поляка А.К. Киркора сменилась последовательным проведением русской национально-консервативной доктрины, отстаиваемой ее новым редактором А.И. Забелиным. В идейном отношении позиция газеты, с 1866 г. из номера в номер публиковавшей материалы, посвященные борьбе против полонизма и католицизма, разоблачению вездесущей «польской измены и поддержке «муравьевского курса», была близка славянофильской точке зрения на развитие края, выступая за всестороннее укрепление православия и освобождение русской народности от шляхетского гнета. Польско-белорусские исследователи характеризовали данную переориентацию газеты как ее «идейную деградацию», подчеркивая, что с этого момента и вплоть до начала XX в. в ней воцарился «откровенный великодержавный шовинизм», не дававший слова нарождавшимся местным культурам и превративший публикации в «мутный поток клеветы на поляков, евреев, русских либералов и «нигилистов», почерпнутый во многом из центральнороссийских реакционных изданий[1].

Общая идейная направленность газеты, в целом не изменилась и при ближайших преемниках А.И. Забелина – воронежском литераторе и публицисте М.Ф. Де-Пуле и чиновнике Виленского учебного округа и преподавателе П.Е. Рощине. Несмотря на то, что первый из них, отказавшись от резкостей, свойственных забелинскому подходу, стал ориентироваться на отстаивание катковской концепции гражданско-политической и языковой

[1] Stolzman M. Czasopisma wilenskie Adama Honorego Kirkora. Krakow Nakl. Un-tu Jagiellonskiego 1973; Самбук С.М. Общественно-политичекая мысль Белоруссии во второй половине XIX века (по материалам периодической печати). Минск: Наука и техника, 1976. С. 26; Іваноў А.А. Эвалюцыя выдання газеты «Віленскі веснік» на працягу XIX стагоддзя // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 72.

русификации, стремясь связать ее с активно обсуждаемым им еврейским вопросом[1], заявляя о еврействе как «здоровом элементе», союзном правительству в деле обрусения[2], а второй – сосредоточился на педагогическом деле как на главном средстве «духовного поднятия верной и преданной нам массы белорусского и литовского народа»[3], издание продолжало последовательно отстаивать «великое дело обрусения края». Лишь с начала 1870-х годов, в связи с изменением правительственного курса, общественно-политическое значение «Виленского вестника» как выразителя идей «русского дела» заметно упало, хотя, в последующем, во второй половине 1880-х – 1890-х годах, при редакторах А.С. Вруцевиче и П.Г. Бывалькевиче газета вновь, хотя и с меньшим полемическим задором, продолжила отстаивать национально-консервативную доктрину.

Другим местным печатным изданием национально-консервативной направленности стал учрежденный в 1862 г. в Киеве журнал «Вестник Юго-Западной и Западной России» (переименованный после перемещения его редакции в Вильну в 1864 г. в «Вестник Западной России»), на первом этапе своего существования тесно связанный со Св. Синодом, утвердившим его программу[4]. Создателем и редактором журнала стал один из наиболее видных представителей русской общественности региона, историк и издатель К.А. Говорский, главную цель своего издания видевший в том, чтобы «защитить историю юго-западной и западной России от невежественного либо злонамеренного искажения…»[5]. Несмотря на острополемический характер многих публикаций, редактор стремился придать журналу просветительское значение, вследствие чего настаивал на распространении своего издания не только на западной окраине, но и в центральной России,

---

[1] Котов А.Э. М.Ф. Де-Пуле – редактор Виленского вестника //Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2016. № 2. С. 39.
[2] РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 38. Л. 1 об.
[3] Миловидов А.И. Пятидесятилетие «Виленского вестника» русской редакции: (Историко-библиографический очерк). Вильна: Ред. «Вилен. вестн.», 1914. С. 31.
[4] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 300. Л.14 об.
[5] Образчик международного миролюбия и правдолюбия поляков (Ответ львовской «Narodowой газете») // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1862. Август. Т. II. Отдел III. С. 33.

стремясь познакомить русское общество с истинным состоянием края, представления о положении которого у него были самые смутные[1]. Последовательно проводя борьбу против польских элементов края, «Вестник…» фактически стал печатным органом «кружка виленских русификаторов»[2], снискав себе в глазах многих современников славу «реакционного издания» и «трибуны наиболее интолерантной полонофобии»[3]. Признавая наличие определенных оснований для данных критических оценок, даваемых противниками русского дела в крае, следует заметить, что позиция издания обуславливалось бескомпромиссным характером острой информационной борьбы за право «ментального присвоения» пространства Северо-Западного края разворачивавшейся между польскими и русскими интеллектуальными силами.

Историческим обоснованием политики деполонизации, на последовательном проведении которой настаивали национально-консервативные мыслители, являлась концепция «исконной русскости» Западного края, разработанная российскими учеными еще в первой половине XIX в. и в последующий период продолжавшая всячески развиваться и популяризироваться в рамках национально-консервативного дискурса. Она использовалась не только для обоснования политической принадлежности западных окраинных регионов к Российской империи, правители которой лишь «возвратили» себе историческое достояние своих предков, но и для утверждения собственного права на культурное доминирование в регионе, население которого было подвергнуто насильственной аккультурации пришлым польско-католическим элементом, от которого его следовало «освободить». Идея «изначальной русскости» Западного края, нарушенной пришлым полонизмом и католицизмом, являлась неотъемлемым элементом национально-консервативного дискурса, в различных формах присутствуя в

[1] РГИА Ф. 796. Оп. 205. Д. 581. Л. 1 об.
[2] Котов А.Э. Западнорусский анабасис Ксенофонта Говорского // Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб.: Владимир Даль, 2022. С. 265.
[3] Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 284.

высказываниях и концепциях всех заметных представителей данного направления как в центре, так и на периферии.

Представление о триединой русской народности, область проживания которой исторически являлась исконно-русским владением, лежало в основе многочисленных публикаций М.Н. Каткова, посвященных западным окраинным регионам и проблеме их интеграции в имперское культурное и административно-правовое пространство, в которых редактор «Московских ведомостей» опирался на исторические исследования Н.Г. Устрялова, Н.И. Костомарова и других историков, сформировавших исторические основы официального имперского окраинного дискурса.

В своих письмах и публикациях Катков подчеркивал, что сохранение Россией статуса великой державы напрямую связано с восстановлением русского характера ее западных окраин, называемых им «колыбелью исторической жизни России, без которых она не сможет удержать свое положение в Европе»[1]. Идея «исконной русскости» западных окраин России являлась концептуальной основой предлагаемых публицистом мер, направленных на преодоления розни между составными частями единого русского народа, возникшей в результате его искусственного разделения инородными силами.

Так, в частности, в контексте обсуждения вопроса об открытии подписки на сооружение в Киеве памятника гетману Б. Хмельницкому в 1869 – 1870 гг. консервативный публицист рассуждал о возможностях восстановления единства русской народности, разъединенной в силу неблагоприятных политических обстоятельств и задавался вопросом о «естественных» исторических границах России. Обращаясь к историческим сюжетам, публицист полагал, что в середине XVII века решался жизненно важный вопрос о том, превратится ли «изначальная часть Руси» в Польшу или украинский народ сохранит «свою русскую национальность» и Россия

[1] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 11 об.

«вступит в свои древние исторические и этнографические границы»[1]. Присоединение малороссийских и белорусских земель к России редактор «Московских ведомостей» отказывался считать завоеванием или даже добровольным подчинением, настаивая на том, что это было «соединение частей одного изначального целого, одного народа; это восстановление исторической правды, нарушенной случайными событиями»[2]. Словно предугадывая критику сторонников данной концепции, как среди своих современников, так и потомков, указывавших на значительные различия между частями воссоединявшегося народа, публицист объяснял их разными условиями их социально-политического развития на протяжении длительного времени, которые, тем не менее, не только не препятствовали, но, напротив, способствовали их слиянию, поскольку в его результате каждая из частей получала то, чего ей недоставало для полноценного и всестороннего развития[3]. Катков признавал, что последствия данного разрыва не могут быть преодолены за короткий промежуток времени в силу сохранявшегося в западных окраинных регионах враждебного влияния, лишь с нейтрализацией которого единство русского народа в рамках единой Российской империи может быть полностью восстановлено.

Расходившийся с редактором «Московских ведомостей» в вопросе сущностного наполнения «истинно русских начал» И.С. Аксаков, тем не менее, был полностью солидарен с ним в принципиальном понимании Западного края, как неотъемлемой составной части России, «древнего исконно русского края, колыбели и основы Русского государства», а населявших его украинцев и белорусов – как составной части триединого русского народа. На протяжении многих лет мыслитель настаивал на необходимости возвращения этих исконно русских земель в лоно «истинно русской», православной жизни, усматривая в их окончательном

[1] Катков М.Н. Давность национальной идеи // Катков М.Н. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 305.
[2] Катков М.Н. Всероссийское значение слияния Малой Руси с Великой // Там же. С. 348.
[3] Там же. С. 349.

освобождении от полонизма важнейшую государственную обязанность и моральный долг Российского государства перед проживавшей там частью русского народа[1].

На необходимость серьезного научно-исторического обоснования права России на политическое и культурное доминирование в Западном крае неоднократно указывал М.В. Юзефович, прямо заявлявший, что «когда две народности спорят о праве господства в данной местности, спор может быть решен в литературе только одним путем – историческим»[2]. Сформированный в данном концептуальном ключе фундаментальный исторический нарратив, популяризируемый и внедряемый в сознание широких масс посредством образовательной деятельности и печатного слова, был призван стать идеологическим оружием в разворачивавшейся русско-польской информационно-идейной борьбе за право включения региона в собственный цивилизационный ареал.

Фундаментальный вклад в научное обоснование концепции «исконной русскости» Северо-Западного края внес М.О. Коялович посредством разработанной им теории «западноруссизма», органически соединившей в себе ключевые идеи западнорусской исторической традиции с консервативными воззрениями православного историка, воспроизводившего основные положения славянофильской национальной доктрины. Данная теория в изложении Кояловича получила широкое, хотя и весьма неоднозначное освещение в исследовательской литературе, став объектом идеологически обусловленных споров о месте и роли «западнорусской» доктрины в общем интеллектуальном движении, происходившем на западных окраинах России во второй половине XIX века[3]. При наличии

---

[1] Сочинения И.С. Аксакова. 1860–1886. Т. 3. Польский вопрос и западно-русское дело. Еврейский вопрос. Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1886. С. 649, 653.

[2] Киевлянин. 1866. № 29. 8 марта.

[3] Цьвікевіч А.«Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі у XIX і Пачатку XX в. Менск: Навука і тэхніка, 1993; Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно: Б/и, 1998; Архимандрит Никон (Лысенко). М.О. Коялович и Санкт-Петербургская школа церковной историографии Западной России // Христианское чтение.

широкого диапазона оценок ее основных положений, колеблющихся от характеристики сторонников «западноруссизма» как «великодержавных имперских шовинистов» и «ренегатов»[1] до его трактовки как зарождающегося «белоруссофильства», внесшего значительный вклад в формирование особой белорусской идентичности[2], большинство исследователей признавали соответствие ее основных доктринальных положений общему направлению имперской политики в регионе. Данное обстоятельство было обусловлено близостью дискурсивных практик западноруссизма, отстаивавшего идею этноцивилизационного единства триединого русского народа и резко критически относившегося к различным формам выстраивания национальной идентичности восточных славян, с основными положениями отечественной национально-консервативной доктрины в отношении западных окраин России в ее славянофильском воплощении. Не вдаваясь в детальный анализ многочисленных научных трудов Кояловича, ярко выраженное идейно-концептуальное наполнение которых давало основание некоторым авторам характеризовать их как «публицистические памфлеты», направленные против поляков и их притязаний на бывшие «польские кресы»[3], следует указать на основные положения, позволяющие рассматривать его воззрения как значимую часть отечественного национально-консервативного дискурса, обосновывавшего закономерность интегративной политики имперских властей в отношении

2002. № 21. С. 3–20; Бендин А.Ю. Граф М. Н. Муравьев-Виленский и национальное пробуждение белорусского народа в 60-е гг. XIX в. // Исторический поиск Беларуси. Минск, 2006. С. 53–77; Герасимчик В.В. Проблема идентичности белорусов в научной дискуссии 1863–1864 годов о народонаселении «западной России» // Белорусский исторический обзор. 2020. № 4(1). С. 55–106; Крутиков А.А. Концепции истории Белоруссии. I. От западнорусизма к национальным мифам и постсоветскому прагматизму // Перспективы. Электронный журнал. 2020–2021. № 4/1. С. 36–65. Киселев А. Западнорусизм как белорусское национальное движение [Электронный ресурс]. URL: http://zapadrus.su/zaprus/istbl/81-2010-08-02-14-36-53.html (дата обращения: 07.08.24).

[1] Шчарбакоў В. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. Гістарыяграфічныя нарысы. Мінск:Выдавецтва Беларускай акадэміі навук, 1934; Сташкевич Н.С., Козляков В. Исторический путь белорусского народа // Беларуская думка. 2003. № 10. С. 3–13.

[2] Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 485–513.

[3] Вивчар В.М. «Западно-руссистское» понимание Брестской унии М.О. Кояловича // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2012. № 1. С. 59.

Западной России как неотъемлемой органической части общерусского цивилизационного пространства.

Главный тезис, отстаиваемый ученым, состоял в том, что западнорусские земли являются составной частью «русской цивилизации», а населявшие их белорусы представляют собой самобытную ветвь русского народа, чье наречие является своеобразным «мостом» между малороссийским и великорусским наречиями единого русского языка. Включение данных земель в состав Речи Посполитой, обусловленное случайными политическими обстоятельствами, привело к глубочайшему социальному и культурному расслоению западнорусского общества, «к разделению его национальных, религиозных и культурно-бытовых начал жизни», однако не смогло изменить постоянного и упорного тяготения местных народных масс к Великороссии, чье самосознание всегда оставалось русским. Огромную роль в сохранении русской идентичности местного населения, по мнению Кояловича, сыграла западнорусская литературная традиция, сохранившаяся с древних времен, в которой «везде и во всем – одно великое, объединяющее всех русских слово – Русь. Эти памятники, эта литература, почти вся на таком языке – западнорусском, который был общим для всей западной России и слился потом с общерусским литературным языком»[1]. Тяготение белорусского народа к России ученый объяснял его этнографической тождественностью с великорусской народностью, что подтверждали соответствующие изыскания[2], а также экономическими интересами, значение которых усиливалось по мере роста уровня жизни западнорусского населения после освобождения от крепостного гнета со стороны шляхты[3].

Ключевым определением в общей историософии Кояловича являлось понятие «народность», которое он считал высшим идеалом жизни частного

[1] Коялович М.О. Чтения по истории западной России. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1884. С. 24.
[2] Коялович М.О. Документы, объясняющие историю западнорусского края и его отношения к России и к Польше. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1865. С. XX.
[3] Коялович М.О. Чтения по истории западной России. С. 11.

человека и человеческих обществ[1], обретаемым через развитое самосознание и неразрывно связанное с вероисповеданием народа, сохранение которого не дает ему утратить свою идентичность. Вследствие этого единственным способом сохранения «русскости» населения Западной России, по мнению ученого, было возрождение западнорусского православия и его защита от покушений со стороны иезуитов и латинства, сколь упорно, столь и безрезультатно стремившихся подчинить себе сознание местных народных масс. Призывая к их тесному сближению с великороссами, мыслитель не настаивал на необходимости их к «русификации» в смысле ассимиляции, выступая за сохранение этно-лингвистической и культурной самобытности белорусов, как части русского народа.

Несмотря на то, что основным критерием определения народности для Кояловича выступало вероисповедание, немаловажное значение он также уделял языковому и культурному факторам, которые в специфических условиях Западного края, по его мнению, также должны были учитываться для этнографического разграничения групп местного населения. Так, в ходе полемики с военным картографом Р. Эркертом по поводу выделения критериев этнической принадлежности населения западных окраин России, указанных в составленном последним «Этнографическом атласе провинций, полностью или частично населенных поляками», Коялович подверг критике исключительное использование в данном качестве вероисповедания без учета местных особенностей. Он подчеркивал, что в здешнем крае «многие латиняне шляхетского, мещанского и все члены крестьянского сословия сохраняют еще свои самородные, местные начала, не делаются поляками, как бы должны были сделаться по требованию тамошнего латинства. Вот почему не все латиняне тамошней страны могут быть названы поляками»[2]. Следовательно, к Белоруссии, которая, по его мнению, являлась неотъемлемой частью общерусского государственного и культурного

[1] Архимандрит Никон (Лысенко). М.О. Коялович и Санкт-Петербургская школа церковной историографии Западной России // Христианское чтение. 2002. № 21. С. 14.
[2] Коялович М.О. О расселении племен Западного края России. М.: Тип. Бахметева, 1863. С. 11.

пространства, он относил не только собственно «белорусские» Витебскую и Могилевскую губернии, населенные преимущественно православными, но «всю ту страну, где народ говорит по-белорусски, т.е. и часть Виленской и большую часть Гродненской губернии», рассматривая, таким образом, язык местного населения как основной критерий его этнической и, в соответствии с его концепцией, политической принадлежности к России[1].

Исследования Кояловича, стремившегося к восстановлению «исторической правды Западной России, заключавшейся в том, что это – страна русская в самых своих корнях…»[2] для 1860-х годов были чрезвычайно актуальными и имели огромное практическое значение, поскольку, по словам его биографа, ученый сумел внести в науку «горящие вопросы», вырванные из «гущи западнорусской бурлящей жизни», превратив «сухие теоретические штудии в нужные для народа и страны изыскания»[3]. Посредством своих научных изысканий, ставших известными широким кругам русской общественности, западнорусскому историку удалось изменить господствовавшие в них представления о западных окраинах России как о «бывших польских территориях». Во многом благодаря Кояловичу, русское общество, по словам А.Н. Пыпина, «в первый раз узнало с достоверностью об этнографическом составе западного края и получило понятие об его истории. Мы вдруг открыли, всего с 1860-х годов, что западный край есть край русский, что нужно изучить его, чтобы дать возможность его русской народности освободиться от чужого гнета; … Только теперь начинаем познавать ту пользу, какая принесена была общему делу русской национальности борьбой белорусского народа за свое существование»[4].

Концепция западнорусской истории, разработанная Кояловичем, представляла собой наиболее полное и научно обоснованное изложение идеи

---

[1] Герасимчик В.В. Проблема идентичности белорусов в научной дискуссии 1863–1864 годов о народонаселении «западной России» // Белорусский исторический обзор. 2020. № 4(1). С. 72.
[2] Коялович М.О. Чтения по истории западной России. С. 333.
[3] Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно: Б/и, 1998. С. 40.
[4] Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. IV. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. С. 22, 90.

«исконной русскости» Северо-Западного края, отстаиваемой в отечественном национально-консервативном дискурсе. Значимость данных исследований заключалась не только в том, что их автор указывал на первенство русской государственности на западнорусских землях и преобладание русской культуры в период литовского политического господства, но и в том, что он обосновывал генетическое, культурно-языковое и конфессиональное единство белорусской, малороссийской и великорусской частей русского народа[1]. Анализ исторических трудов Кояловича не дает никаких оснований для заявлений о выработке им научных основ формирования некой особой «западнорусской идентичности», высказываемых некоторыми современными исследователями[2]. Напротив, подчеркиваемое им единство исторической судьбы триединого русского народа и вклада его составных частей в формирование единой русской государственности и общерусской культуры позволяет рассматривать его взгляды как составную часть концепта единой русской народности, составлявшего одну из ключевых идейных основ отечественного национально-консервативного дискурса. Данные выводы с научной точки зрения обосновывали закономерность не только интеграции западнорусских земель в состав Российской империи, но и усилий правительства по их «очищению» от привнесенных инородных элементов.

Имперские власти в полной мере осознавали практическую значимость данной концепции, во многом соответствовавшей правительственной идеологеме о триединой большой русской нации. Она могла быть использована в качестве основы представлений об историческом прошлом Западной России, внедряемых в сознание широких масс населения, как центральной России, так и ее западных окраин, выступая научно обоснованным опровержением альтернативных версий прошлого региона,

[1] Коялович М. О. Чтения по истории западной России. С. 4.
[2] Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 485–513.

выдвигаемых польскими историческими нарративами[1]. Инициатива Кояловича по проведению широких этнографических исследований, призванных разрушить устоявшиеся ошибочные представления о Белоруссии, в мае 1863 г. получила поддержку со стороны имперских властей, выделивших значительные средства на составление сборника документов, «объясняющих ближайшее сродство с Россией населения Западного края»[2]. Данная задача была успешно выполнена ученым, в декабре того же года представившим в императорскую Археографическую комиссию исследование «об отношениях России и Польши к западным губерниям, которое должно быть предпослано сборнику материалов, объясняющих эти отношения»[3].

Результатом многолетних изысканий Кояловича в области истории западных окраин России стал выход «Лекций по истории Западной России», являвшихся не только главным источником сведений по истории края для русского общества, но и значимым этапом в научном обосновании концепции «исконной русскости» Северо-Западного края. За данный труд летом 1864 г. ученый был удостоен премии Петра Великого в размере двух тысяч рублей, учрежденной Ученым комитетом Министерства народного просвещения за труды в области российской истории[4].

После выхода в 1884 г. третьего издания данного труда под несколько измененным названием «Чтения по истории Западной России», Учебный комитет при Святейшем Синоде выступил с инициативой рекомендовать его для фундаментальных и ученических библиотек духовных семинарий, мотивируя данное решение тем, что оно «способствует распространению в

---

[1] Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М.: МОНФ, 2001. С. 129–151.

[2] Протоколы заседаний Археографической комиссии. Вып. 3. 1850–1868 г. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых,1892. С. 350–351.

[3] Там же. С. 368.

[4] РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 659. Л. 2; Белорусский исследователь В.Н. Черепица утверждает, что за данный труд М.О. Коялович получил большую Ломоносовскую премию Российской Академии наук. см: Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. С. 52.

русском обществе правильной точки зрения на положение Западнорусского края, установлению которой долгое время препятствовали разные враги русского единства»[1]. Представлявший работу Кояловича, член Учебного комитета А. Добряков был полностью солидарен с ее ключевыми выводами, состоявшими в том, что исследуемый край «принадлежал к древнейшим частям Русского государства и сохранял весьма прочно, несмотря на препятствия, главные начала древнерусской жизни», указывая на огромную политическую и практическую значимость популяризации данных положений[2].

Признавая, что история Западного края изложена Кояловичем «в духе исторически русском и православном» и допуская использование «Чтений…» фактически в качестве базового учебного пособия по истории данного региона, члены Учебного комитета, в то же время, указывали на некоторые «несоответствия» авторской точки зрения официальной версии российской истории, излагаемой в учебных заведениях империи, настаивая на необходимости устранения «недоразумений, неудобных в педагогическом отношении». В первую очередь, автор должен был смягчить излишне резкие отзывы о Петре I, связанные с критикой начавшегося при нем «иностранного засилья», его сближения с Польшей, а также чрезмерной жестокости в отношении донского и запорожского казачества. Помимо этого, Учебный комитет настаивал на уменьшении похвал в адрес киевской Академии, которая, по мнению его членов, была «оторвана от интересов западного русского народа» и использовала «латино-польские приемы обучения», способствовавшие отрыву местных интеллектуалов от русской культурной традиции[3]. Исправление данных «недостатков» работы, являвшихся отражением общественно-политических воззрений Кояловича, сближавших его позицию с историческими представлениями славянофилов, позволяло встроить его концепцию в рамки официального исторического дискурса и

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 659. Л. 5 об.
[2] Там же. Л. 3.
[3] Там же. Л. 8–10.

использовать ее основные положения для обоснования проводимой в крае имперской политики. После внесения соответствующих изменений инициатива Учебного комитета Святейшего синода была одобрена Обер-прокурором К.П. Победоносцевым[1], что придало концепции Кояловича статус официальной версии истории западных окраин России.

В самом Западном крае обоснование концепции его «исконной русскости» и ее активное использование для интеллектуального противодействия господствующему в регионе полонизму впервые стала активно проводиться еще до Январского восстания на страницах уже упомянутого журнала «Вестник Юго-Западной и Западной России». Поскольку основная цель данного издания, по заявлению ее редактора К.А. Говорского, состояла в том, чтобы «разоблачать ложь польских выпадов против России», сумевших убедить не только европейскую, но и русскую публику в принадлежности «чисто русских провинций Западного и Юго-Западного края» «польской народности»[2], то исторические публикации, раскрывавшие русское прошлое края, занимали на его страницах основное место.

Несмотря на то, что за данным журналом среди современников и позднейших исследователей прочно закрепилась репутация «одиозно-реакционного» издания, зашедшего в своих «истребительных» антипольских настроениях много дальше славянофилов, характер его публикаций позволяет отнести его к консервативно-демократическому, «русскому» направлению, цель которого, помимо отстаивания русских интересов в Западном крае, состояла в противостоянии сословно-шляхетским началам, рассматривавшимся как главный источник угнетения народных масс региона[3].

---

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 659. Л. 11–12.
[2] РГИА Ф. 796. Оп. 205. Д. 581. Л. 1; ОР РНБ. Ф. 377. Ед. хр. 597. Л. 1–1 об.
[3] Котов А.Э. Польский вопрос на страницах «Вестника Юго-Западной и Западной России» (1862-1864 годы) // Научный диалог. 2019. № 8. С. 259, 268.

Уже в первом номере «Вестника…», в статье одного из его постоянных корреспондентов А. Воронина «О польском аристократическом элементе в Юго-Западной России» подробно рассматривалась история происхождения южнорусской народности, которая противопоставлялась полякам и характеризовалась как доминирующий этнический элемент на обширных территориях, составлявших историческое ядро Российской государственности. Автор особенно подчеркивал тот факт, что в сформировавшемся в XIV в. могущественном Русско-литовском государстве русская народность выступала в качестве цивилизующего элемента, сообщив слаборазвитой Литве свой язык, законы и религию, в то время как литовский элемент выступал тем же, чем в свое время для славянских племен являлся варяжский фактор – централизующим и связующим началом. В полном соответствии с концепцией Устрялова, Воронин считал русско-литовскую борьбу всего лишь продолжением средневековых княжеских усобиц, противостоянием могущественных родственных фамилий за право господства над всеми русскими землями[1].

Позднее данные идеи, являвшиеся популярным изложением западнорусской исторической концепции, на страницах «Вестника…» развивал западнорусский писатель и педагог И.Г. Кулжинский, считавший «естественной» тягу Литовской Руси к «первобытному соединению» с Московской Русью и выводившей из этой тенденции неизбежность вхождения в состав всероссийской державы и самой Польши, совершенно необоснованно стремившейся «связать свою судьбу и составить одно тело» с Русью Литовской[2]. Таким образом, в публицистических построениях авторов «Вестника…» тезис об «исконно русском» характере земель Западного края превращался в историческое обоснование беспочвенности польских претензий не только на обладание этими «чисто русскими провинциями», но

[1] Воронин А.О польском аристократическом элементе в Юго-Западной России // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1862. Июль. Т. I. Отдел II. С. 9–10.
[2] Кулжинский И.Г. О соединении Польши с Россиею // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. Февраль. Т. III. Отдел II. С. 32.

и на независимое политическое существование самой Польши, обрекшей себя на исчезновение в соответствии с «законами природы и истории».

В рамки концепции «исконной русскости» Западного края встраивался и широко тиражируемый в национально-консервативных кругах тезис об этнически русском происхождении и первоначальном православном вероисповедании наиболее знатных княжеских и боярских родов западнорусских земель, «отстаивавших православие и русские начала» даже после вхождения их в состав Речи Посполитой[1]. Это давало основания обвинить в измене своей «исконной» народности и вере их потомков, превратившихся под влиянием активной католической пропаганды в «ренегатов», что служило своеобразным оправданием репрессивных мер правительства в их отношении.

Обоснование национально-консервативной концепции «исконной русскости» Западного края являлось ключевой политической задачей создаваемых в регионе в период после Январского восстания научно-исторических центров, которые должны были способствовать выработке ценностных ориентиров и формированию новой имперской идентичности, выступая в качестве альтернативы польскому видению истории края. Сила русского оружия, подавившего восстание, должна была подкрепляться авторитетом свидетельств прошлого, доказывавших принадлежность местного населения к русскому миру, основным идентификационным маркером которого выступало православное вероисповедание. Такими учреждениями стали открытые по инициативе И.П. Корнилова в Вильне отделение Русского географического общества, публичная библиотека, архив, а также учрежденная в апреле 1864 г. «Виленская комиссия, высочайше утвержденная для разбора и издания древних актов», более известная как Виленская археографическая комиссия. Задачи последней организации, деятельности которой местная администрация уделяла особое внимание, носили ярко выраженный политический характер, заключаясь, по

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 185. Л. 2.

утверждению самих ее членов, в том, чтобы «установить правильный исторический взгляд на Северо-Западный край, как на край искони русский». Данная стратегическая задача подразумевала необходимость доказать первенство православной веры в пределах «западнорусского государства», а также показать как пагубно на экономическом и юридическом быте Западного края отразилось влияние польских элементов, «какая беспорядочность вследствие этого царила в Литовско-Русском государстве в XVII – XVIII вв.»[1].

Сугубо научные цели, заявленные в программе деятельности Комиссии[2], отступали на второй план перед указанными идеологическими задачами, что обуславливалось и первым составом ее членов, включавшем в себя пламенных сторонников «русского дела» в крае – П.В. Кукольника (первый председатель), И.А. Никотина, А.И. Пщолко, Н.И. Горбачевского, из которых только последний, по мнению белорусского исследователя Н. Н. Улащика, хорошо разбирался в археографическом деле[3]. Данное обстоятельство давало основания для жесткой критики деятельности данной организации, как ненаучной и сугубо «русификаторской» со стороны не только польских националистически настроенных исследователей[4], но и местных русских деятелей, таких как П.А. Бессонов, не разделявших позиции «виленских русификаторов»[5].

Несмотря на издержки в работе, обусловленные логикой напряженного идейного противостояния с местным полонизмом, научная и издательская деятельность Виленской археографической комиссии, за все годы своего

---

[1] Ясинский М.Н. Обзор последних изданий Виленской археографической комиссии (Акты, изд. Вилен. археогр. комис. Т. 11–18. Вильна, 1880-1891 гг.). Киев: Тип. Ун-та св. Владимира, В. Завадского, 1893. С. 6–7.

[2] Турцевич А.О. Краткий исторический очерк Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. 1864-1906. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1906. С. 11–14.

[3] Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М.: Наука, 1973. С. 86–88.

[4] Mienicki R. Wilenska komisja archeograficzna 1864–1915. Wilno: Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1925.

[5] Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта. М.: Тип. Бахметова, 1871. С. XV–XVIII.

существования (до 1915 г.) выпустившей 39 томов Актов, а также множество других материалов, сделав Вильну одним из крупнейших центров издания исторических документов в Российской империи[1], имела огромное политико-интегративное значение, формируя коллективное представление об общем прошлом региона и коренной России, призванное стать доминирующим в обществе.

Настоящей «цитаделью русской культуры в крае» и его «центральным культурным и единственным в своем роде русским учреждением» стала Виленская публичная библиотека, работники которой приняли активное участие в научном фундировании концепции исконной русскости края, которая затем популяризировалась на страницах местных и центральных национально-консервативных периодических изданий[2]. Корнилов отмечал, что выявленные ими материалы, составленные из книжных собраний конфискованных помещичьих имений и закрытых католических монастырей, а также из печатных книг древних русских типографий Западного края, включенные в библиотечные фонды, служили убедительным документальным свидетельством исключительно русского и православного характера «коренного образования» Северо-Западного края[3].

Центральное место в символическом присвоении Северо-Западного края и приобщении его к русскому культурному пространству также должна была занимать экспозиция Виленского музея древностей, реорганизованная весной 1865 г. с целью придания ей «надлежащего характера, соответственного назначению быть собранием и хранилищем предметов, напоминающих о русской народности, православии, искони господствующих в здешнем крае,

---

[1] Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. С. 64–66.

[2] Миловидов А.И. Из истории Виленской публичной библиотеки. Вильна: Русский почин, 1911. С. 2, 18; Виленский вестник. 1866. № 25. 31 января; № 26. 1 февраля.

[3] Корнилов И. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. С. 180.

и содействовать к вящему скреплению уз, соединяющих литовские губернии с Россиею»[1].

Важнейшее значение данных научных центров состояло в том, что собранные в них памятники и свидетельства прошлого являлись фундаментальной основой «русской версии» истории Северо-Западного края, призванной легитимизировать и обосновать его символическое присвоение Россией и способствовать постепенному формированию новой общегосударственной идентичности у местного населения. Помимо этого, вокруг них происходило объединение местных русских интеллектуальных сил, идеи, суждения и проекты которых составляли региональный уровень отечественного национально-консервативного дискурса, вырабатывавшего общую концепцию интеграции Северо-Западного края в общероссийское политическое и культурное пространство.

На достижение тех же целей, что лежали в основе указанных реорганизуемых или вновь создаваемых научных центров также были направлены усилия местных русских деятелей по поиску и сбору памятников русской старины в Западном крае, осуществлявшиеся при прямой поддержке верховной власти. Так, осенью 1866 г. П.Н. Батюшков, впоследствии сменивший И.П. Корнилова на посту попечителя Виленского учебного округа, в качестве руководителя церковно-строительного комитета в Западном крае совершил большую поездку по ряду его губерний с целью отыскания исторических свидетельств и памятников «древнерусского владычества» в крае, в результате которых был составлен подробный альбом, наглядно демонстрирующий древность и высокий художественный уровень православной культуры края[2]. Император Александр II, оставшийся чрезвычайно довольным идейным содержанием представленного ему первого экземпляра данного альбома, не только разрешил его издание, но и поручил продолжить поисковую работу и подготовить подобные издания по

[1] Котов А.Э. «В крепких руках правительства»: письма И.П. Корнилова и А.Д. Столыпина о преобразовании Виленского музея древностей // Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. Вып. 2. С. 266.
[2] РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1900. Л. 2.

остальным западным губерниям, памятники которого не были охвачены вниманием Батюшкова – Могилевской, Витебской, Волынской и Подольской[1].

Подобные экспедиции совершались русскими деятелями как по собственному почину с целью сбора материальных доказательств и свидетельств «первенства» русских культурных начал в крае перед «пришлыми» польскими, так и по прямой инициативе местного начальства. Сбором древних рукописей и печатных книг активно занимались многие учителя гимназий и народных училищ, «большей частью из людей новоприехавших», стремившихся к изучению истории и этнографии края, для которых полученные ими сведения должны были служить научным подкреплением проводимых ими идей первенства русского начала в крае[2]. Член Комиссии по устройству Виленского музея и один из его наиболее деятельных сотрудников А.В. Рачинский, активно собиравший археологические и археографические материалы в губерниях Северо-Западного края, подчеркивал, что их содержание прямо указывало на «чисто русский» характер средневековой государственной, общественной и частной жизни западнорусских земель и господствовавших в них аристократических родов Тышкевичей, Радзивиллов, Сапег, Ходкевичей и многих других, «ныне олатинившихся и прозывавших себя поляками»[3].

М.В. Юзефович, неоднократно указывавший на необходимость исторического обоснования возвращения «олатинившегося» дворянства Западного края в лоно русско-православной культуры, в переписке со своими корреспондентами делился планами исследования истории местных шляхетских родов, которое должно было доказать их исконно русское происхождение и наглядно продемонстрировать процесс их постепенного ополячивания. По мнению публициста, историческое обоснование исконной

[1] РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1900. Л. 4.
[2] Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. С. 148–150.
[3] Москва. 1867. № 192. 1 декабря.

русскости шляхетских родов должно было облегчить формирование русской идентичности если не у ее нынешних представителей, сохранявших в своем сознании исторические предания Речи Посполитой и «несбыточные политические иллюзии», то у их детей и внуков, которые, по его оптимистическому убеждению, «вполне сделаются русскими»[1].

Право Российской империи на владение Западным краем и проведение в нем активной интеграционной политики в российском дискурсе обосновывалось не только посредством формирования соответствующего исторического нарратива, доказывавшего «исконную русскость» данного региона, но и при помощи этнографических исследований, результаты которых были призваны, с одной стороны – продемонстрировать сохранявшееся с древних времен численное преобладание русского населения в крае, в состав которого включались белорусы и малороссы, а с другой – показать крайнюю немногочисленность местного польского элемента, что позволило бы оспорить его претензии на культурное доминирование в регионе[2]. Полученные данные широко использовались имперскими публицистами и администраторами для формирования ментальных границ русских национальных территорий и для обоснования правительственных мер, направленных на их деполонизацию, необходимость которой обуславливалась тем, что незначительное число поляков препятствовало нормальному социально-экономическому и культурному развитию преобладавших численно русских и литовцев[3]. Последние в течение длительного времени сознательно удерживались польским меньшинством «в таком угнетении и невежестве, чтобы вещественная бедность и нравственный упадок лишал их всякого политического значения», поскольку в противном случае польский элемент легко растворился бы среди

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 710. Л. 2.
[2] Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. С. 79–81.
[3] Муравьев М. Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края 14 мая 1864 года // Русский Архив. 1885. № 6. С. 186.

коренного местного населения[1]. Численной незначительностью поляков в крае также объяснялось «несбыточность их политических надежд и ниспровержение всех попыток их восстаний в Западных губерниях», которые не получали широкой поддержки количественно доминировавших сообществ[2].

Следует отметить, что концепцию «исконной русскости» Западного края, согласно которой он являлся не просто частью сложносоставной Российской империи, но неотъемлемым элементом русской «национальной территории», ряд современных исследователей рассматривает как «дискурсивную ловушку», в которую попало имперское правительство, активно обосновывавшее ее посредством многочисленных исторических, этнографических и статистических нарративов[3]. Ее суть определяется разительным несоответствием между официально декларируемым образом края, как «колыбели русского народа» и реальной, чрезвычайно сложной этноконфессиональной ситуацией в регионе, где в материальном и культурном отношении доминировали чуждые русскому народу этнические сообщества. Кроме этого, по мнению сторонников данной трактовки в отношении Северо-Западного края, аргументом в ее пользу являлся отказ от открытия в нем высшего учебного заведения, обусловленный угрозой его попадания под польское или еврейское влияние и превращения в центр антирусского движения в регионе[4]. Совершая традиционную для данного историографического направления смысловую подмену, сторонники указанной точки зрения стремились абсурдизировать обоснование «исконно русского» характера края, в котором даже на рубеже XIX – XX вв. угроза «польского засилья» побуждала прибегать к административно-ограничительным мерам.

---

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 702. Л. 2.
[2] Там же. Л. 2.
[3] Dolbilov M. Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire's Northwestern Region in the 1860s // Kritika. 2004. № 5. P. 245–271. P. 261.
[4] Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. С. 9–11.

На наш взгляд, данная трактовка декларируемой имперскими властями и обосновываемой русскими общественными и научными кругами концепции представляется необоснованной, поскольку она частично подменяет официально постулируемый тезис о Западном крае как «исторически русском» регионе, чье «органическое» развитие было в различной степени искажено вследствие внешнего воздействия, его реальным состоянием во второй половине XIX века, требовавшим значительных правительственных усилий по восстановлению его природного состояния.

Концепция «исконной русскости» Западного края, развивавшаяся в рамках формирования образа русской национальной территории и в условиях противостояния с мощным альтернативным польским дискурсом, рассматривавшем данные области исключительно как свои восточные Кресы, на наш взгляд, представляла собой оптимальную и единственно возможную в данных ситуативных условиях модель идеологического обоснования интеграции региона. В первую очередь, она в полной мере соответствовала господствовавшим в историко-политической мысли того времени представлениям о первенстве обладания той или иной территорией, как важнейшем элементе легитимизцаии ее государственной принадлежности. Кроме этого, она опиралась на концепцию «общерусской нации», объединявшей всех восточных славян в ее составе и соотносившей область ее расселения с границами Древнерусского государства. Национальный компонент данной концепции в полной мере соответствовал господствовавшей в русской историко-политической традиции идее преемственности российской императорской власти от правителей Киевской Руси, в состав которой входили все русские земли[1]. Обоснование права русских правителей владеть своими «исконными» территориями являлось ключевым элементом суверенизации царской власти в России, что нашло свое отражение в официальном титуле российских монархов, включавшем в себя их право на владение не только Великой, но и Малой и Белой Русью.

[1] Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. С. 158–159.

Отказ от законного права на владение землями предков подрывал авторитет монарха, как наследника киевских «отчин». Любые попытки оспорить это «священное право» наследства, нарушавшие единство символического пространство Русского Мира, воплощенного в Российской имперской государственности, рассматривалось не только как стремление отторгнуть от России ее окраинную область, но как покушение на целостность всего Русского государства. Исходя из этого, концепцию «исконной русскости» Западного края следует рассматривать не только как элемент идеологического обеспечения включения в состав империи новых провинций, но как составную часть общероссийской государственной доктрины, обосновывавшей единство русских земель и легитимизировавшей их пребывание в составе империи Романовых.

Ее применение предоставляло имперским властям династическое и моральное право не только на обладание Западным краем в составе империи, но и на его «русификацию», которая выступала в данном ситуативном контексте не как «наступательная» ассимиляционная политика, а представляла собой лишь «возрождение» искаженных органических начал культурного развития региона. Она доказывала необходимость и закономерность данной политики, обуславливая ее тем обстоятельством, что «исконное» пребывание данного региона в составе Русского мира было поставлено под сомнение инородным и по отношению к нему враждебным элементом, от господства которого край предстояло освободить. Декларируемый тезис об исторической русскости Западного края, являвшийся идеологическим фундаментом проводимой по отношению к нему политики, не заслонял собой представление о реальном положении вещей и осознание всей трудности достижения данной цели, связанной с далеко зашедшим процессом «полонизации» региона, что определяло логику и последовательность конкретных управленческих решений, принимаемых (или не принимаемых) имперскими властями, свидетельствуя, скорее, о

реалистичности последней, нежели о ее попадании в некий «дискурсивный капкан», из которого она не могла выбраться.

Безусловно, настаивая на исконной русскости Западного края, отечественные консервативные мыслители не могли не признавать существенных отличий региона от центральных губерний России, ставших следствием его длительной и далеко зашедшей полонизации, главной целью которой являлось подавление в коренном местном русско-литовском населении «всякого осознания своей народности» и закрепление господства польских культурных начал в регионе[1]. В регионе в течение длительного времени происходила фактическая реализация польского ассимиляционного проекта, значительно активизировавшаяся в первой четверти XIX века, когда поляки, утратившие свой политический суверенитет, приступили к формированию собственного единого культурно-цивилизационного пространства в составе Российской империи. Сохранению польского господства в крае во многом способствовало крепостное право, имевшее здесь ярко выраженную этническую окраску и закреплявшее доминирующее положение польского меньшинства в экономическом и культурном отношениях.

Кардинальные преобразования, произошедшие в России в начале 1860-х годов, а также мятеж 1863 – 1864 гг., продемонстрировавший нелояльность польского элемента, обуславливали необходимость значительной трансформации имперской политики в отношении Западного края, суть которой должна была сводиться к его всесторонней деполонизации, т.е. освобождению региона от господства враждебного и нелояльного пришлого начала и обрусению края, состоявшему в необходимости закрепления в нем первенства русских этноконфессиональных и культурно-языковых начал. Излагая общие цели русской государственной политики в Западном крае, М.В. Юзефович ссылался на провозглашенное с высоты трона повеление, выраженное в словах: «Да будет Западный русский край вполне русским!» и

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 702. Л. 3.

пояснял, что главная ее задача состояла в привидении гражданских и политических прав местных поляков в соответствие с их «внутренним отношением к Русскому государству» – чтобы им, как «отъявленным нашим врагам, не были вверяемы наши общественные и частные интересы, чтобы польская стихия была приведена в подчинение к русской,.., чтобы отняты были у ксендзов и шляхты все средства и возможности питать далее свои преступные иллюзии и продолжать против нас свою подземную крамольную работу»[1]. По мнению киевского публициста, только с ослаблением польского элемента будет облегчено водворение в крае русского землевладения, а также станет возможным распространение тех благотворных преобразований, которые были проведены в коренных русских губерниях. В письме к видному общественному и научному деятелю Юго-Западной России Г.П. Галагану, во многом разделявшему его взгляды относительно роли польского элемента в регионе, Юзефович прямо заявлял: «Не будет у нас ни внутреннего покоя, ни внешней безопасности, пока мы не обуздаем польскую крамолу в лице ксендзов и шляхты, с которыми нет для нас примирительных сделок»[2].

Необходимость деполонизации Западного края мотивировалась, помимо всего прочего, соображениями внешней безопасности России, испытывавшей острый дефицит лояльности социальной и интеллектуальной элиты в своих стратегически важных окраинных регионах. Один из постоянных корреспондентов М.Н. Каткова, в прошлом видный государственный деятель в области управления иностранными исповеданиями, проживавший за границей, но с большим вниманием следивший за событиями в России – В.В. Скрипицын, приветствуя правительственные меры, направленные на ослабление польского влияния в регионе и доказывая необходимость твердого следования избранному курсу, обосновывал свою позицию историческими аргументами, указывая на «бессмертные уроки 1812 г.». Он

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 710. Л. 58.
[2] Там же. Л. 57.

писал, что из-за недостатка русского элемента на западных рубежах империи, целый ряд приграничных губерний не только радушно встретил вторгшегося в Россию внешнего врага, предоставив ему все необходимые ресурсы, но и фактически признал над собой его верховную власть, что продемонстрировало чрезвычайно низкий уровень политической лояльности доминировавшей здесь польской шляхты, поскольку в коренных русских землях, начинавшихся под Смоленском, враг встретил упорное сопротивление всех слоев населения[1]. Скрипицын призывал российские власти извлечь из данных событий необходимые уроки и целенаправленно укреплять в приграничных регионах лояльный верховной власти русский элемент.

Миссия Российской империи в ее Западном крае, по мнению отечественных консерваторов, помимо деполонизации региона, также состояла в единении разобщенной триединой русской народности, защите местных народных масс от угнетения со стороны инородной пришлой элиты, препятствовавшей их социально-экономическому и культурному развитию, укреплению позиций православной церкви и ограничению влияния католицизма, а также к выработке у местного населения общегосударственной имперской идентичности, что было достижимо только посредством ограждения его от влияния альтернативных ассимиляционных проектов.

Важнейшим символическим маркером принадлежности Западного края к российскому национальному и государственному пространству отечественные национально-консервативные мыслители считали русский язык, который должен был полностью вытеснить язык польский из официальной и публичной сферы. В кругах национально-консервативной общественности осуждалось сохранявшееся даже в период открытого польского мятежа официальное двуязычие и звучали неоднократные призывы к полному вытеснению польского языка из официальной среды, не

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 710. Л. 1–1 об.

запрещая при этом его частного использования, выпуска польской литературы и частных газет[1]. Русская общественность Западного края в 1863 – 1864 гг. буквально засыпала Виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева призывами и просьбами «уничтожить официальный польский язык», заменив его раз и навсегда языком русским, что в наибольшей степени подтвердит истинно русский характер края[2]. Данные призывы в полной мере совпадали с намерениями местной российской администрации, которая в ходе подавления Январского восстания приступила к активной элиминации польского языка из официальной и публичной сферы края, символически отделяя его от территории Царства Польского, где данные запреты носили намного менее жесткий характер.

Отечественные консерваторы горячо приветствовали твердые заявления генерал-губернаторов Западного края о недопущении письменного или устного употребления во всех губернских и уездных присутственных местах в делах, касающихся службы, «никакого другого языка, кроме русского». Данная мера рассматривалась не только как средство русификации местного административного аппарата, но и как противодействие польской пропаганде, стремящейся, «за недостатком исторических фактов», доказать свои права на господство в крае, «опираясь на внешние проявления полонизма, к чему относится и употребление польской речи в здешних присутственных местах»[3].

Помимо этого, представители российской имперской администрации и национально-консервативной общественности придавали огромное значение символическому присвоению Западного края, русский характер которого должен был наглядно отображаться в разнообразных внешних проявлениях – от региональной ойконимии до внешнего вида местных городов и сел. Так, в частности, в одном из писем, адресованных анонимным представителем западнорусской общественности к генерал-губернатору М.Н. Муравьеву,

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 705. Л. 1 об.
[2] Там же. Л. 2–2 об.
[3] Киевлянин. 1865. № 49. 29 апреля.

звучал призыв к возвращению старым русским городам и селам, названия которых, вследствие длительного польского господства были «перековерканы» на польский лад, их «исконных» старинных русских наименований – Гродно – в Городно, Новогрудок – в Новогородок, Брест-Литовск – в Берестье и т.д.[1] Большое внимание в российском национальном дискурсе уделялось репрезентации столицы Северо-Западного края – Вильны (польское наименование которой – Вильно, официально вытеснялось русским произношением – Вильна), как исконно русского города, о чем должна была свидетельствовать его ранняя архитектура, значительное количество русских поселенцев среди его жителей, а также первенство православия, утвердившегося здесь раньше католицизма[2]. Для укрепления места Вильны в ментальной православной карте Западного края в городе активно восстанавливались существовавшие здесь до XVII в. православные храмы, часть из которых открывалась в зданиях, являвшихся ранее костелами, что трактовалось как «восстановление исторической справедливости» и было призвано подчеркнуть значение столицы края как одного из древних центров православия в регионе[3].

Ключевым элементом российского общественно-политического дискурса, посвященного Западному краю, стало понятие «русификация» или «обрусение», которое употреблялось как в отношении нерусского населения окраин, так и в отношении целого региона, причем последнее объектирование понятия встречается намного чаще как в официальной бюрократической терминологии, так и в публицистике. В данном случае «обрусение» понималось преимущественно как интеграция региона в единое российское государственное пространство с укреплением в нем господствующего положения символических государственных маркеров,

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 705. Л. 16.
[2] Крачковский Ю.Ф. Старая Вильна до конца XVII столетия. Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1893. С. 10–11. Добрянский Ф.Н. Вильна и окрестности. Путеводитель и историческая справочная книжка. Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1883. С. 3–4.
[3] Эйдинтас А., Бумблаускас А., Кулакаускас А., Тамошайтис В. История Литвы. Вильнюс: Eugrimas, 2013. С. 130.

наиболее важными из которых были русский язык и православное вероисповедание. В период после польского мятежа формулировка «обрусение края» стала узловым элементом характеристики политики, проводимой имперскими властями в отношении западных окраинных регионов, причем представители практически всех направлений русской общественной мысли были единодушны в том, что от ее эффективности и успешности зависит будущность российской имперской государственности, перспективы ее сохранения и дальнейшего развития.

М.Н. Катков, не только сумевший привлечь внимание российской общественности к проблеме западных окраин России, но и заложивший основы теоретического осмысления понятия «русификация», понимал под ней устойчивую политику имперского центра в отношении национальных окраин, направленную на «завершение внутреннего слияния» разнородных элементов, собранных под властью Российской империи в предшествующий период. Данная политика, таким образом, выступала прямым продолжением «собирания» Русского государства, проводившегося в предшествующие эпохи, целью которого должно было стать превращение России в однородную и универсальную в административном смысле державу, во всех частях которой преобладающее значение имели «русские начала»[1].

Следует отметить, что термин «обрусение», активно используемый в русском общественно-политическом дискурсе, как в отношении географического пространства, так и его обитателей, не имел ярко выраженного ассимиляционного значения, трактуясь, преимущественно, как аккультурация инородцев[2]. Так, М.Н. Катков, горячо отстаивавший необходимость «обрусения» окраин, видя в нем продолжение государственного строительства России, в то же время отрицал необходимость ассимиляции национальных областей и подавления их социокультурных особенностей. Публицист считал, что русификация не

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865. С. 754.
[2] Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. С. 132.

должна представлять собой «внешнее» обрусению окраин, выражавшееся в насильственном насаждении православной веры, запрещении использования родного языка, искусственном навязывании местному населению чуждых культурных традиций[1]. Подобная политика, по его мнению, неизбежно будет носить поверхностный и насильственный характер, способствуя лишь усилению антирусских настроений на окраинах империи. Редактор «Московских ведомостей» подчеркивал, что основная цель правительства состоит не в том, чтобы сделать Западный край «похожим снаружи на подмосковные губернии, а в том, чтобы он, при всех особенностях своих, которые созданы историей и которые уничтожить невозможно, стал по правде русским краем»[2]. Исходя из политического понимания «русскости», Катков отрицал его исключительную этноконфессиональную окраску, вследствие чего «обрусение» трактовалось им как интегративный процесс сплочения различных этнических или религиозных сообществ в рамках единой политической национальности. Быть русским, по мнению Каткова, не означало обязательно быть православным или говорящим на русском языке в быту. По его мнению, «русскость» не являлась сугубо конфессиональным или национальным явлением, выступая как единение сплоченных общим политическим идеалом сильной неограниченной монархии. Исходя из этих тезисов, по его мнению, и должна была строиться интегративная политика в северо-западных окраинных регионах России.

Аналогичных взглядов на характер «обрусения» западных окраинных регионов придерживался М.В. Юзефович, для которого данное понятие имело исключительно политическое значение, не содержа в себе никаких ассимиляционных коннотаций. Он призывал к проведению мер, способствовавших обращению поляков в «русских граждан и детей русского Отечества», считая данную политику несоизмеримо гуманнее по отношению к ним, нежели «псевдогуманное потворство», поддерживающее в них

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865. С. 755.
[2] Там же.

«несбыточные политические мечты» и доведшее их до состояния «политического умоповреждения»[1]. Поглощение же польского элемента русской стихией в Западном крае, по его мнению, должно произойти без насильственного административного содействия, естественным «историческим» образом, неизбежность которого в условиях пробуждения в крае могучего народного духа представлялась Юзефовичу несомненной[2].

Об исключительно политическом содержании изменений в курсе имперских властей в отношении Северо-Западного края писал видный виленский общественный деятель и публицист А.В. Рачинский, служивший чиновником по особым поручениям при Виленском генерал-губернаторе и являвшийся членом местной археологической комиссии. Характеризуя перемены в правительственной политике как долгожданный и закономерный «переворот», он подчеркивал, что его целью является уподобление данного окраинного региона внутренним российским губерниям не в смысле их полной ассимиляции, а в том, чтобы сделать их столь же «верноподданными и вернопреданными», для чего жизненно важным представлялось ослабить польско-католический элемент, потерпевший историческое поражение перед русским государственным началом, но не смирившийся с этим и продолжавший жить своими «негосударственными» мятежными преданиями[3].

Схожих с редактором «Московских ведомостей» убеждений в отношении политики содержания и характера «обрусения» придерживался и И.С. Аксаков, полагавший, что она не должна представлять собой принудительного уподобления жителей национальных окраин великороссам в духовном отношении, нравах, обычаях и «умственном развитии». Мыслитель не отрицал необходимости «выравнивания» национальных окраин с остальными частями империи в административном, правовом, судебном и иных формальных отношениях, однако данная интегративная

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 710. Л. 64.
[2] Там же. Л. 63 об.
[3] Виленский вестник. 1866. № 144. 7 июля.

политика находилась за смысловыми пределами понятия «обрусение», которое рассматривалось им с точки зрения поиска объединяющих нравственных начал, на основе которых должна строиться постепенная ненасильственная интеграция инородческих элементов с первенствующей в стране русской народностью. Рассуждая о сущности «обрусения» Западного края, Аксаков применял данное определение, в первую очередь, в отношении местного русского населения (белорусов и малороссов), подчеркивая, что оно должно состоять в «оживлении местного русского элемента, сообразно с его свойствами» под «мирным влиянием великорусской народной стихии»[1].

Политическая сторона русификации, по мнению Аксакова, состояла в проведении комплекса мер по защите русского населения западных окраин России от влияния католической церкви, представлявшей собой главную угрозу «русскому делу» в регионе, и на смысловом уровне смыкалась с политикой деполонизации, целью которой являлось вытеснение пришлого польского элемента из народного образования, администрации, землевладения, осуществлявшейся совместными усилиями имперских властей и русских общественных сил[2]. Представители славянофильского направления русского консерватизма, как и М.Н. Катков, не вкладывали в понятие «обрусение» никакого ассимиляторского содержания, тем более в отношении народов, обладавших крепкими национальными и историческими традициями. Аксаков подчеркивал, что Россия никогда не имела намерения «обрусить поляков, превратить их в русских, располячить польское племя», требуя от него лишь политической лояльности и отказа от «вздорных политических мечтаний», связанных с восстановлением исторической Польши[3]. Славянофилы также не настаивали на изменении «племенной» идентичности недоминирующих национальных групп, проживавших на западных окраинах, которые необходимо было лишь оградить от инородного

[1] Москва. 1868. № 7. 10 апреля.
[2] Москва. 1867. № 62. 18 марта; № 177. 11 ноября.
[3] Аксаков И.С. Сочинения. Т. 3. Польский вопрос и Западно-Русское дело. Еврейский вопрос. СПб.: Изд. Императорской публичной библиотеки, 1900. С. 439–440.

польского влияния, предоставив им возможность самобытного развития в рамках российского культурного поля[1]. В отечественном национально-консервативном дискурсе концепт «обрусения» применительно к Западному краю предполагал восстановление нарушенного единства русского народа посредством устранения всех «искажений», привнесенных извне пришлым польским элементом, освобождение от которых позволило бы укрепить национальное ядро российской имперской государственности, вокруг которого могли группироваться остальные народности, входившие в состав империи.

Рассуждая о средствах восстановления племенных связей между Восточной и Западной Русью, корреспондент «Виленского вестника» М. Десницкий указывал на то, что никакие благотворные меры российского правительства, включая и саму отмену крепостного права, не оказывали на местные народные массы надлежащего воздействия, в силу «печати искажения», наложенной на них господствующим в крае польским элементом[2]. По его мнению, восстановление забытых связей между великорусским и западнорусским племенами единого народа возможно лишь тогда, когда они в полной мере познакомятся друг с другом, что возможно лишь при условии широкого распространения в Западном крае коренного великорусского элемента, представленного всеми слоями населения с преимуществом крестьянского. Автор был уверен в высоком культуртрегерском потенциале русских переселенцев, называемых им «миссионерами русского дела», которые более эффективно, нежели представители имперской администрации смогли бы внушать своим «младшим братьям» «здравые гражданские понятия», ограждать их от «растлевающего яда польской пропаганды», разъяснять действия

[1] Радченко А.А. Славянофилы об «обрусении» Северо-Западного края Российской империи // Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2010. № 13 (84). Выпуск 15. С. 144

[2] Виленский вестник. 1867. № 1. 3 января.

правительства, своим примером формируя в местном коренном населении единую русскую идентичность[1].

Миссия империи в отношении литовцев, признаваемых в отечественном национально-консервативном дискурсе «набожным, кротким, преданным законной власти» народом, долгие годы изнывавшим под «тягостным, убийственным гнетом ополячившихся панов и ксендзов, попирающих литовскую народность и литовский язык», состояла в их освобождении от инородного экономического и культурного угнетения и всестороннем развитии в рамках имперского государственного пространства[2]. Необходимость ограждения литовского населения от польского ассимиляционного проекта, к которой призывали российские государственные и общественные деятели, не предполагала попыток их «обрусения» в этническом и языковом смысле, ориентируясь на их постепенную аккультурацию, предполагавшую не более чем усвоение и приобщение к новым культурным моделям, без попыток изменения их национальной идентичности и уподобления русскому населению[3]. Даже современные литовские исследователи, считающие Российскую империю «безусловным историческим злом» для политической эмансипации литовского народа, вынуждены признавать, что литовцы XIX столетия не считали «российский империализм» угрозой для своей культуры и национальной идентичности, выражавшейся в языке, вероисповедании, духовных ценностях и бытовых особенностях, предпочитая его германскому и польскому господству, неизбежно связанному с ассимилятивными устремлениями[4].

Конкретное содержание интеграционной политики имперских властей, направленной на обрусение и деполонизацию Западного края и его

---

[1] Виленский вестник. 1867. № 1. 3 января.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 705. Л. 16 об.
[3] Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. С. 58, 67.
[4] Каспаравичус А. Российский фактор в геополитической мысли литовского истеблишмента в первой половине XX века // Россия и Балтия. Выпуск 7: Памятные даты и историческая память. М.: Наука, 2015. С. 258–259.

«окончательное слияние» с коренной Россией, выработанное в отечественном национально-консервативном дискурсе в период подавления Январского восстания и вскоре после него, сводилось в общих чертах к следующему комплексу мер: укрепление материального благосостояния и социального положения местного крестьянства, являвшегося опорой правительственной власти в регионе; скорейшее вытеснение польского элемента из местной администрации всех уровней и замена его русскими чиновниками; утверждение русского землевладения в крае посредством привлечение в него русских помещиков; распространение русского языка в государственной и публичной сферах, как ключевого маркера русской государственности; укрепление позиций православной церкви в крае и ослабление влияния католицизма; просвещение и воспитание местного населения в духе приверженности русским государственным ценностям с целью ограждения его от польского ассимиляционного воздействия и выработки у него общегосударственной имперской идентичности[1].

Определение авторства данной программы представляется невозможным и даже нецелесообразным, поскольку она являлась результатом коллективных ситуативных дискурсивных практик, в которых принимали участие как представители имперской администрации, вовлеченные в процесс «замирения» и дальнейшей интеграции региона, так и центральной и региональной национально-консервативной общественности, стремившейся к содействию верховной власти посредством аналитического осмысления причин и характера происходивших в крае событий, их всестороннего информационного освещения и выработки рекомендаций и предложений, направленных на укрепление в Западном крае «русских начал». Отечественные консервативные мыслители, принимавшие участие в обсуждении данной проблематики, исходили из собственных представлений о характере и особенностях российской имперской государственности, содержании ее «миссии» и методах реализации, преломление которых в

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 702. Л. 3–15.

оптике региональной специфики и ценностных ориентиров консервативного сознания вело к формированию различавшейся в деталях, но внутренне цельной программы интеграции Западного края, являвшейся ключевым элементом национально-консервативной концепции сохранения государственного единства Российской империи и ее модернизации в соответствии с вызовами времени. Информационные «вбросы», осуществлявшиеся представителями русской консервативной мысли посредством писем и записок, направляемых к представителям верховной власти, публицистической деятельности, вызывавшей общественный резонанс, публичного обсуждения различных актуальных вопросов на страницах периодических изданий, не могли не учитываться чиновниками разных уровней, взгляды и мнения которых, отраженные в официальных документах и неофициальной переписке, испытывали на себе их влияние, являясь составной частью многоуровневого общественного дискурса, посвященного имперской проблематике.

По вопросам конкретных путей и форм реализации многих пунктов из указанной программы у представителей национально-консервативного направления русской общественной мысли имелись различные точки зрения. Особенно серьезными были расхождения по вопросам, связанным с целесообразностью русификации католического богослужения, о чем будет сказано отдельно. Некоторое различие в приоритетах имело место и в вопросе о характере землевладения в Западном крае, необходимость деполонизации которого признавалась всеми сторонниками национально-консервативной доктрины. Так, например, редактор «Вестника Западной России» К. Говорский выступал за доминирование мелкого крестьянского землевладения в западных губерниях, которое должно было постепенно вытеснять «панство». На страницах данного издания подчеркивалось, что западнорусский крестьянин в силу «несчастных исторических явлений» не сможет отделить ненавистную ему идею польского пана от идеи русского

землевладения, отношение к которому будет инстинктивно враждебным[1]. Данная позиция позволяет вполне обоснованно характеризовать взгляды Говорского как консервативно-демократические, обусловленные контекстом противостояния сословно-аристократическому направлению[2].

М.Н. Катков, также являвшийся последовательным противником сословно-имперской модели государственного развития, тем не менее, неоднократно подчеркивал, что устройство быта русского и литовского крестьянства западных губерний, укрепление их имущественного и социального положения никоим образом не должно противопоставляться процессу укоренения крупного русского землевладения в крае, в котором он видел средство к устранению главной причины внутренней слабости и уязвимости России на ее западных рубежах[3]. Редактор «Московских ведомостей» считал, что два указанных процесса, направленных на достижение общей цели – укрепление русского землевладения в крае, должны развиваться равномерно, параллельно друг другу, без внутреннего противостояния и взаимного ущемления прав[4]. Сословное размежевание, по его мнению, в западном регионе должно было уступить место национальному единению русских людей для совместного противодействия инородческому элементу.

Необходимо отметить, что М.Н. Катков придавал огромное значение водворению русского землевладения в Западном крае как средству его обрусения, начав обосновывать его необходимость еще в период подавления Январского восстания[5]. Публицист подчеркивал, что «только русский или вновь обрусевший землевладельческий класс может сделать наш западный

---

[1] Крупные и мелкие землевладельцы в Западной России // Вестник Западной России. 1866. Август. Отд. 3. С. 31.
[2] Котов А.Э. Западнорусский анабасис Ксенофонта Говорского // Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб.: Владимир Даль, 2022. С. 279.
[3] Московские ведомости. 1867. № 120. 1 июня.
[4] Московские ведомости. 1867. № 56. 10 марта.
[5] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863. С. 506–512.

край прочным достоянием России»[1], отмечая, что без его кардинального изменения «невозможно рассчитывать на верное и прочное успокоение края, а с тем вместе и на освобождение государственного организма России от элементов измены…»[2]. Безусловно, Каткова нельзя считать автором идеи водворения русского землевладения в западных окраинных регионах как средства их интеграции, поскольку она озвучивалась многими представителями региональной русской общественности Западного края, направлявшими в адрес местных властей многочисленные проекты и записки с изложением наиболее эффективных способов реализации данного проекта[3]. О необходимости водворения в Западном крае русского землевладельческого элемента, представленного как крупными, так и мелкими земельными собственниками, соседство которых с местным белорусско-литовским крестьянством должно было способствовать установлению прочных связей между народами и устранению недоверия между ними, сохранявшегося вследствие взаимной отчужденности, неоднократно писалось на страницах «Виленского вестника»[4].

Заслуга же Каткова состоит в том, что он способствовал популяризации данной идеи во всероссийском масштабе, активно обсуждая ее в публичном пространстве, освещая все аспекты и трудности – как объективные, так и субъективные – ее реализации. На страницах редактируемых им «Московских ведомостей» Катков в течение долгих лет регулярно поднимал вопрос о формах и методах водворения русского землевладения в Западном крае[5], механизмах материального содействия русским приобретателям земли[6], необходимости устранения бюрократических проволочек в данном

[1] Катков М.Н. Заслуга графа М. Н. Муравьева // Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 681.
[2] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865. С. 758.
[3] ГАРФ. Ф. 811. Оп. 1. Д. 71; Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 701, Д. 702.
[4] Виленский вестник. 1866. № 24. 29 января; № 40. 22 февраля; № 70. 5 апреля; 1867. № 1. 3 января; № 92. 8 августа; № 98. 24 августа; 1868. № 9. 23 января.
[5] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867. С. 112.
[6] Там же. С. 280–283.

процессе[1]. Консервативный публицист был убежден в том, что с точки зрения защиты государственно-имперских интересов «нет ничего справедливее или необходимее правительственных забот, клонящихся к изменению национального характера землевладельческих классов в Западном крае»[2]. Возражая критикам данного курса, указывавшим на наличие в нем ярко выраженных дискриминационных элементов, Катков акцентировал внимание на том, что предпринимаемые правительствам меры, обусловленные фактом вооруженного мятежа, приведшего к значительным жертвам, не были направлены на полную ликвидацию польского землевладения в крае, а лишь стремились к установлению его смешанного характера, устраняя тем самым важнейший предлог для польских притязаний на господство в Западном крае. Данное обстоятельство, вкупе с сохранявшимся у польских землевладельцев правом приобретать недвижимую собственность в других регионах Российской империи, по его мнению, позволяли считать имперскую политику в отношении национально-сословной группы, продемонстрировавшей свою недостаточную лояльность, чрезвычайно мягкой и льготной[3].

Главное препятствие на пути реализации данного проекта консервативный публицист усматривал не в открытом противодействии польского элемента, которое было достаточно легко сломить, и даже не в низком уровне инициативы и материальных возможностей русских людей, а в недостатке убежденности представителей имперской администрации в государственной и национальной необходимости принятого курса и нехватке твердости и последовательности в его исполнении[4].

В качестве примера успешной интеграции инородческой окраины, Катков указывал на опыт Пруссии, которая не только сумела германизировать землевладение на территориях, никогда не являвшихся

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867. С. 111–112.
[2] Московские ведомости. 1867. № 90. 25 апреля.
[3] Московские ведомости. 1867. № 120. 1 июня.
[4] Московские ведомости. 1867. № 90. 25 апреля.

исконно немецкими, но и добилась превосходства своей культуры и государственных ценностей в интегрируемом регионе исключительно вследствие единодушия и строгой последовательности твердо убежденного в своей правоте правительства, возглавлявшего и направлявшего деятельность общества[1].

Несмотря на большое внимание, уделяемое укреплению крупного русского землевладения в Западном крае, главную социальную опору проводимой имперскими властями интегративной политики представители отечественной национально-консервативной мысли все же видели в местных народных массах, защита интересов которых представлялась им одним из важнейших элементов имперской миссии в крае. Социально-экономическое и культурное развитие крестьянства, освобождаемого из векового гнета «панщины», являлось ключевым пунктом «муравьевской системы» управления краем, горячо поддерживаемой русскими консервативными националистами. Поддержание политической стабильности в регионе и его дальнейшее сближение с коренной Россией ставилось в прямую зависимость от успешного устройства местного крестьянства, которое нуждалось в правительственной опеке и защите от угнетавшей его шляхты, сохранявшей свое экономическое и культурное превосходство.

Представители западнорусской общественности, хорошо знакомые с обстановкой в крае, указывали на то, что, несмотря на его внешнее замирение, здесь неусыпно велась активная «подземная» работа, направленная на ослабление социальной опоры правительства в лице местного крестьянства, которое переманивалось поляками на свою сторону. В письме одного из мировых посредников, служащих в Северо-Западном крае, написанном в период пребывания на посту генерал-губернатора К.П. Кауфмана, отмечалось, что поляки извлекли уроки из опыта восстания 1863 – 1864 гг., которое потерпело неудачу во многом из-за равнодушия к нему мужицкой массы, озлобленной на шляхту, и стали стремиться различными

[1] Московские ведомости. 1867. № 90. 25 апреля.

способами привлечь ее на свою сторону, настраивая против верховной власти[1]. Анонимный автор, имевший, по-видимому, богатый опыт посреднической деятельности в Западном крае, указывал на многочисленные способы возбуждения поляками крестьянского недовольства, усугубляемого непоследовательной деятельностью администрации в крестьянском вопросе.

Одна из наиболее распространенных уловок местной шляхты состояла в том, чтобы непосильными поборами довести крестьян до незаконных потрав и порубок, требуя от мировых посредников законной защиты «священных прав собственности» и выставляя их «красными» в том случае, если они принимали сторону крестьян. После того, как опасавшийся общественного резонанса, газетных нападок или прямого воздействия местного начальства, к которому поляки обращались за содействием, мировой посредник удовлетворял выдвигаемые требования и уличал крестьянина, обязывая его выплатить штраф, помещик «великодушно» прощал крестьянину убытки, вызывая у него «умиление» и «благодарность» к доброму пану и негодование к строгому и мелочному русскому посреднику[2]. Подобные уловки, к которым систематически прибегали местные польские помещики, вели к постепенному накоплению недовольства крестьянства к русскому государственному началу, усугубляемому тем, что русская администрация в силу своей сословной детерминированности продолжала придерживаться продворянской ориентации, зачастую вставая на сторону шляхты в многочисленных поземельных спорах. Автор не исключал возможности нового польского мятежа, в котором, помимо шляхты, смогут принять участие широкие массы крестьянства и резко возросшего численно батрачества, озлобленные против правительства, что сделает подавление данного выступление гораздо более проблематичным, нежели это было в 1863 – 1864 гг.[3]

---

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 434. Л. 16–17.
[2] Там же. Л. 10.
[3] Там же. Л. 17 об.

Анонимный мировой посредник призывал не верить широко растиражированным жалобам польских помещиков, подхваченным русскими аристократами и либералами о том, что учрежденные в апреле 1863 г. Поверочные комиссии разорили местное дворянство. Опираясь на обширные данные и многочисленные примеры из практики, автор доказывал безосновательность этих обвинений, подчеркивая, что комиссии лишь воспрепятствовали происходившему здесь в течение длительного времени систематическому ограблению крестьянства и многочисленным махинациям, позволявшим нарушать законы и установленные здесь инвентарные правила, что вполне закономерно вызывало гнев и жалобы местных панов. Он писал: «Все крики про потери – есть самый нахальный вздор, которым поляки могут дурачить только таких простаков, как русские либералы»[1].Исходя из этого, автор письма призывал не отказываться от реализации «муравьевской системы» в крестьянском вопросе, настаивая на необходимости активной защиты народных интересов со стороны администрации, поскольку от того, кто победит в развернувшейся борьбе за местное крестьянство, по его мнению, зависело будущее края.

Однако реализация данного замысла наталкивалась на ряд препятствий, наиболее важное из которых было обусловлено сословной сущностью российского монархического строя. Жесткая антидворянская риторика даже в отношении недостаточно лояльной польской шляхты, а также призывы к покушению на священное право дворянской собственности инсургентов на землю были чреваты непредвиденными социальными последствиями, вследствие чего обращаться с ними следовало крайне осторожно. Сохранявшаяся сословная детерминированность российской имперской политики, а также многочисленные практические трудности этнической «подмены» господствующего польского землевладения русским, отмечавшиеся представителями местной имперской администрации в

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 434. Л. 8.

последующие годы, не позволяли в полном объеме реализовать идею «землевладельческой русификации» края[1].

Тем не менее, роль русской общественной мысли национально-консервативной направленности в актуализации проблематики Северо-Западного края трудно переоценить. Помимо привлечения широкого общественного внимания к польскому «вызову», угрожавшему целостности российского государственного пространства, ее представители оказывали как прямое, так и опосредованное воздействие на верховную власть, испытывавшую в определенные моменты серьезные колебания в отношении управления Западными окраинами, обусловленные, как «примиренческим» курсом, наметившимся в первые годы царствования Александра II, так и традиционной сословной детерминированностью самодержавного строя. Национально-консервативный поворот в общественных настроениях, во многом обеспеченный активной социальной позицией и пламенной публицистикой сторонников «русского направления», положил предел политике «примирения», на практике носившей характер односторонних уступок со стороны центральной власти в пользу польской элиты края, способствовавших дальнейшему усилению ее влияния на западнорусских землях и угнетению местных народных масс.

Однако наиболее важная заслуга национально-консервативной общественности состояла в своеобразном ментальном «перекодировании» Северо-Западного края, заключавшемся в трансформации восприятия и репрезентации данных территорий в общественном сознании. Под воздействием активно воспроизводимой в национально-консервативном дискурсе концепции «исконной русскости» Северо-Западного края данные земли перестали восприниматься как «присоединенные» или «забранные» «бывшие польские» территории, которые рано или поздно надлежало

[1] Отчет Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Каханова по управлению Северо-Западным краем с 14 января 1884 по 1 августа 1886 г. // РГИА. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 758. Л. 5–7; Замечания по всеподданнейшему отчету Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора за 1902 – 1903 годы // РГИА. Ф. 540. Оп. 26. Д. 352. Л. 5 об.–6.

вернуть прежнему владельцу. Данная идентификация, допускавшая некоторую степень насильственности в их присоединении и владении, замещалась презентацией их как «возвращенных» земель, населенных русским народом или тяготевшими к нему коренными племенами, и являвшихся неотъемлемой и исконной частью русской государственной области, в силу неблагоприятных исторических обстоятельств попавшей под власть пришлых инородных элементов в лице польской шляхты и католической церкви. Именно в рамках национально-консервативного дискурса регион стал характеризоваться не только в административно-номенклатурном, но и в смысловом отношении как северо-западный окраина русского мира, особенности которой не давали основания отделять ее от общего пространства русской государственности и народности. В рамках данного подхода сколь широко используемые, столь же и условные обозначения имперской политики как «обрусительной» или «русификаторской» наполнялись не ассимилятивно-этническим, а политическим содержанием. Они подразумевали достижение в западнорусском крае первенства русских государственных и культурных начал, отраженных в ключевых символических маркерах, не предполагая насильственной ассимиляции местного нерусского населения, представители которого, сохраняя свою племенную самобытность, должны были превратиться в верных «детей русского Отечества». «Русификация», наделяемая в отечественном национально-консервативном дискурсе сугубо оборонительным характером, была направлена, в первую очередь, на деполонизацию всех сфер социально-политической и духовно-культурной жизни края. Проведение данной политики было обусловлено отнюдь не «целенаправленно конструируемой полонофобией», а реальной угрозой со стороны польского ассимиляционного проекта, далеко зашедшие последствия и угрожающие перспективы которого вскрылись лишь во многом благодаря центральным и региональным русским общественным деятелям, сфокусировавшим на них внимание власти и общественности.

3.3 Отечественные консерваторы о причинах низкой эффективности правительственной политики обрусения Северо-Западного края

Анализируя характер правительственной политики, направленной на деполонизацию и русификацию Западного края, проводившуюся в «послемуравьевский» период, отечественные консервативные мыслители были во многом неудовлетворены ее ходом и результатами, выявляя целый ряд «механизмов торможения», препятствовавших успешной реализации проводившегося там унификационного курса. Данные трудности, рассматриваемые в региональном преломлении, проецировались на все имперское пространство, вследствие чего обсуждение проблемных областей интеграции западного окраинного региона являлось ключевым элементом общеимперского консервативного дискурса.

Одна из важнейших причин недостаточной эффективности унификационной политики, реализовывавшейся на западных окраинах посредством деполонизации и укрепления русских начал, по мнению консерваторов, состояла в непоследовательности имперских властей, неспособных и во многом не желавших придать своей политике завершенный национальный характер и в дилемме между сословно-аристократическим и национально-патриотическим векторами государственного развития окончательно стать на сторону последнего.

Особо резкую критику со стороны представителей национально-консервативной общественности вызывал фактический отказ администрации Северо-Западного края от деполонизаторского курса и возвращение к политике примирения с поляками, произошедший после вступления в должность Виленского генерал-губернатора А.Л. Потапова в 1868 г., которого все современники – и одобрявшие его деятельность, и не согласные

с ней – единодушно называли «заступником поляков» и даже «полонофилом»[1].

Первоначально многим казалось или, по крайней мере, хотелось казаться, что, несмотря на проводимые кадровые перестановки, в ходе которых в короткое время из состава администрации Северо-Западного края были выведены практически все деятели «муравьевского направления», Потапов продолжит политику своих предшественников. По свидетельству корреспондента Каткова, видного поэта Н.Ф. Щербины, знакомого со многими русскими деятелями северо-западных окраин, «дела там идут успокоительно в русских национальных и государственных интересах», чему активно содействовал новый генерал-губернатор[2]. Однако вскоре стало очевидным, что данные утверждения были весьма далеки от реальной действительности.

Новый генерал-губернатор был принципиальным противником национальных принципов в имперской политике, отрицая и идею политической нации, отстаиваемую Катковым, и славянофильские представления о государствообразующем значении русской народности, существование которой он, по определению знакомого с ним Ф.И. Тютчева, считал «выдумкой журналистов», соотнося это понятие лишь с «пятью или шестью миллионами населения центральных губерний»[3]. Потапов являлся сторонником сословно-аристократической модели имперской политики, в полной мере соответствовавшей позиции газеты «Весть», противостоявшей национально-консервативному направлению отечественной общественной мысли. Он неоднократно утверждал, что «русификация края – совершенно безнадежная цель» и удержать его можно только лишь путем опоры на лояльную часть местного дворянства, привлекаемого на сторону власти путем формирования у нее представления о том, что пребывание в составе империи для нее «лучше, выгоднее, разумнее условий их прежней

[1] Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. I. М.: Тип. «Колокол», 1908. С. 97–98.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 721. Л. 10.
[3] Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М.: Наука, 1988. С. 333.

самостоятельной жизни»[1]. В отличие от представителей национально-консервативных правительственных и общественных кругов, Потапов не считал Западный край русским, а хотел видеть его «российским», что означало поддержание его политической лояльности и неразрывной связи с Россией, но не предполагало никаких попыток деполонизации, поскольку поляки представляли собой ведущую материальную и культурно-интеллектуальную силу, покушение на которую лишь усиливало их сепаратистские настроения[2]. Следует отметить, что деятельность Потапова на посту главы Северо-Западного края была обусловлена не столько его личными воззрениями, сколько не декларируемыми стремлениями верховной имперской администрации к «сглаживанию» конфронтационного поля, сложившегося в крае и его «замирению» путем отказа от наиболее решительных форм его деполонизации. Позднее, в одном из писем к императору Александру III, характеризуя эту эпоху, М.Н. Катков писал, что к концу 60-х годов в правительство вошли противники национальной политики, «все пошло вопреки ей, в подрыв патриотическому духу, который еще был силен в обществе, в подрыв требованиям государственной пользы, которые легкомысленно, вслед за врагами России, объявлялись ультра-русским фанатизмом»[3].

Воззрения Потапова, разделявшиеся в высших правительственных кругах покровительствовавшими ему министром внутренних дел А.Е. Тимашевым и обладавшим колоссальным влиянием на императора всесильным шефом жандармов П.А. Шуваловым, вскоре вылившиеся в конкретные управленческие решения, не могли не вызвать недовольства среди представителей национально-консервативной общественности. Тютчев отмечал, что Катков, познакомившись с направлением деятельности нового генерал-губернатора, и убедившись во время своего визита в Петербург в его

[1] Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. I. М.: Тип. «Колокол», 1908. С. 101–102.
[2] ОР РГБ. Ф. 120. К. 36. Л. 61.
[3] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 823. Л. 8.

полной поддержке в верхах, «вынес отсюда самые невеселые впечатления и твердую решимость обострить свою полемику»[1].

Если в предшествующий период консерваторы указывали лишь на отдельные недостатки в деятельности имперских властей, замедлявшие достижение поставленных в Западном крае целей, то теперь их острые критические стрелы стали направляться против всей системы управления краем и ее непосредственных организаторов, «изменивших» русскому делу. Обширные кадровые чистки, в результате которых из края были изгнаны многие русские чиновники «муравьевского направления», сближение с местным польским дворянством, представители которого стали чувствовать себя в Западном крае намного увереннее, а также отказ от консервативно-демократической линии, которая мыслилась новому главе края едва ли не более вредной, чем полонизм[2] в пользу сословно-аристократических интересов – все это вызывало у отечественных консерваторов серьезные опасения за положительный исход политики обрусения Западного края, имевшей огромное значение для укрепления цельности и единства российской имперской государственности в целом.

Наиболее резкую критику со стороны представителей «русской партии» и, в первую очередь, М.Н. Каткова вызвала попытка пересмотра результатов крестьянской реформы в Северо-Западном крае в интересах местного польского дворянства, за которую активно ратовали его постоянные оппоненты из газеты «Весть», призывавшие к улучшению «бедственного положения» местных помещиков[3]. Проект Потапова, предварительно одобренный министром внутренних дел А.Е. Тимашевым, был направлен на ликвидацию большей части льгот, предоставленных местным крестьянам в 1863 – 1864 гг., предлагая не только уменьшить крестьянское землевладение при одновременном увеличении выкупных платежей, но и фактически

[1] Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М.: Наука, 1988. С. 333.
[2] РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 354. Л. 3.
[3] Весть. 1868. № 34. 27 марта.

полностью пересмотреть результаты аграрной реформы в крае[1], проведение которой было сопряжено, по мнению авторов проекта, со многими «неправильными и незаконными» действиями администрации, ущемлявших интересы крупных земельных собственников[2].

В конце 1868 – начале 1869 гг. Катков выступил с целым рядом статей, направленных против проекта пересмотра аграрных отношений в Западном крае, предлагаемых виленской администрацией, который, по мнению редактора «Московских ведомостей», был прямым проявлением «польской интриги», стремившейся к восстановлению польского господства в крае. Он указывал на то, что предлагаемая корректировка имела не только экономическое, но и политическое значение, предоставляя польским панам такие льготы, о которых русские помещики внутренних губерний «и не могли помышлять», и окончательно укрепляя их полное господство в экономической и социальной сфере края. Катков прямо указывал на то, что претворение в жизнь данного проекта будет означать полное восстановление существовавших до восстания 1863 – 1864 гг. отношений между русскими крестьянами и польскими панами Западного края, которое напрямую противоречит стратегической задаче правительства по обрусению региона. Несмотря на то, что критические выступления «Московских ведомостей» зачастую были направлены не против самого потаповского проекта, а против активно поддерживавшей его газеты «Весть», всем свидетелям данной полемики было очевидно, кто именно является главным объектом критики Каткова[3]. Сам Потапов в записке императору Александру II заявлял, что публикации «Московских ведомостей», отстаивавшие позиции враждебной ему партии и возбуждавшие «неосновательные толки», препятствуют завершению крестьянской реформы в крае[4]. Исследователями признается тот факт, что активная информационная атака на проект Потапова, предпринятая

[1] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. С. 44.
[2] ОР РНБ. Ф. 16. Ед. хр. 46. Л. 12–53.
[3] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1868 г. М., 1897. С. 744, 749–750, 753–764, 784-788; 1869 г. С. 18-23, 26–29, 84–88, 113, 120, 156–158, 167–169.
[4] ОР РНБ. Ф. 16. Ед. хр. 46. Л. 7.

Катковым, сыграла значительную роль в его итоговом провале и появлении указа 26 марта 1869 г., утверждавшего решение Главного комитета о порядке разверстания крестьянских наделов, сохранявшим за крестьянами все земли, состоящие в их действительном владении[1]. Фактическое саботирование данного указа Виленским генерал-губернатором, продолжавшим действовать в интересах местных польских землевладельцев, своими циркулярными постановлениями предписывая производить отрезки от крестьянских владений[2], вызвало новую серию критических статей Каткова, в которых он прямо обвинял руководство Северо-Западного края в «радикальных изменениях» и прямых искажениях оснований крестьянской реформы в регионе, неизбежным результатом которых должна быть фактическая отмена Положения 26 марта и восстановление экономического господства польских помещиков над русско-литовским крестьянством[3]. Редактор «Московских ведомостей» открыто указывал на «перетолковывание» генерал-губернатором смысла правительственного распоряжения в интересах помещиков, подчеркивая то, что его распоряжения фактически предписывали «посредникам действовать вопреки указаниям Высочайшей воли и считать законом то, что запрещается законом…»[4]. Не оставил он без внимания и противоречия по данному вопросу, позже переросшие в открытый конфликт, между главой Северо-Западного края и виленским губернатором И.А. Шестаковым, который, по словам Каткова, «следуя требованию закона, решился нарушить глубокий мрак и безмолвие», существовавшие вокруг исполнения Положения 26 марта[5].

Катковская критика распоряжений Потапова по крестьянскому вопросу исходила не только из факта их открытого несоответствия существовавшим законам, но и из их фактического противоречия общему стратегическому

---

[1] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. С. 44
[2] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. С. 265–266.
[3] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1869 г. М., 1897. С. 583.
[4] Там же. С. 637–638.
[5] Там же. С. 638.

направлению имперской политики в Западном крае, которая должна была состоять в защите русского населения от притеснений со стороны польских помещиков, чья лояльность империи после мятежа 1863 – 1864 гг. оставалась под сомнением. Редактор «Московских ведомостей» заявлял, что деятельность виленской администрации подводит реальные основания под воззвания польской эмигрантской агитации о скором «отобрании у крестьян всех земель, предоставленных им ранее», что не может не дестабилизировать обстановку в крае[1].

Фактическое обвинение в содействии интересам «польской партии», открыто брошенное «Московскими ведомостями» в лицо верховному начальнику Северо-Западного края, не могло не вызвать широкого общественного резонанса. Острая реакция на катковские публикации была обусловлена даже не их содержанием или степенью справедливости приводимых в них аргументов, а самим фактом острой газетной критики облеченного доверием Государя правительственного лица, публичное порицание которого «роняет в общественном мнении распоряжения правительства»[2]. Несмотря на то, что некоторые государственные деятели, настроенные по отношению к Потапову враждебно, находили обвинения Каткова справедливыми и обоснованными[3], большая часть представителей верховной администрации считала недопустимой ситуацию, когда печатное издание, пусть даже вполне благонамеренное и консервативное, активно нападает на высокопоставленного представителя имперской администрации, суждение о степени правомерности деятельности которого есть исключительное право монарха[4].

Обеспокоенность представителей центральной и региональной администрации сложившейся ситуацией была обусловлена колоссальным

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1869 г. М., 1897. С. 605–606, 668.
[2] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 34. Л. 69–70.
[3] ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 97. Л. 17об.–18.
[4] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. С. 273.

общественным влиянием катковской газеты, позиция которой расценивалась многими едва ли не как официальное мнение верховной власти. Многие чиновники центральных и региональных учреждений не только регулярно знакомились с публикациями «Московских ведомостей», но и считали необходимым руководствоваться ее точкой зрения в своей служебной деятельности[1]. Особенно сильным влиянием газета пользовалась среди русских служащих Западного края, для которых она стала своеобразной официальной инструкцией, определявшей характер и основные направления их деятельности[2]. Секретарь М.Н. Муравьева А.Н. Мосолов в своих воспоминаниях о службе в Вильне отмечал колоссальную моральную поддержку, которую «Московские ведомости» оказывали местному русскому обществу, ощущавшему через их публикации поддержку всей страны в своем деле[3]. Начальник Гродненского губернского жандармского управления в своем донесении начальству указывал на огромное влияние «Московских ведомостей», «как на характер действия, так и на образ мыслей местных официальных лиц», сочувствующих газете, «мнение и суждения которой считают для себя обязательными, стараясь при удобном возможном случае сообразовать с ними даже свою служебную деятельность»[4].

Резкие нападки Каткова на деятельность виленской администрации по крестьянскому вопросу получили одобрение у значительной части служащих северо-западных губерний, недовольных общим направлением деятельности Потапова. Ситуация усугублялась также и тем, что благодаря публикациям «Московских ведомостей» информация о противоречиях не только внутри виленской администрации, но и в высших правительственных сферах по данному вопросу стала достоянием гласности, вызывая недоумение перед этим незнакомым для русских людей фактом[5]. Сообщения с мест указывали

---

[1] ОР РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 11.
[2] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. 1865 г. Д. 103. Л. 51.
[3] Мосолов А.Н. Виленские очерки, 1863 – 1865. (Муравьевское время). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1898. С. 105.
[4] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 51–51 об.
[5] Там же. Л. 49, 53.

на то, что критические статьи столь влиятельной и хорошо осведомленной газеты имеют крайне неблагоприятное влияние на законный порядок и служебную дисциплину в северо-западных губерниях, подрывая авторитет местных властей, вследствие чего предлагалось немедленно положить предел «неприличным нападкам» редактора на главу края, опровергнув его обвинения на страницах официальных правительственных изданий, таких, как «Правительственный вестник»[1]. Власти всерьез опасались, что ставший заметным разлад в среде имперской администрации, выступавшей до этого как единая монолитная сила и продолжавшаяся критика ее деятельности с националистических позиций, даже несмотря на то, что национализм Каткова носил сугубо политический лоялистский характер, могут привести к новой дестабилизации ситуации в недавно замиренном крае. Данное опасение давало основания шефу жандармов П.А. Шувалов, фигура которого также косвенно затрагивалась критическими выпадами редактора «Московских ведомостей», обвинять последнего в стремлении возбуждать и поддерживать беспорядки на имперских окраинах, имея в виду русификаторский пафос его публикаций[2].

«Систематическая и настойчивая агитация против высших правительственных лиц», проводимая «Московскими ведомостями» в отношении главы Северо-Западного края, чья деятельность не соответствовала отстаиваемым М.Н. Катковым консервативно-демократическим ценностям и его представлениям о желательном направлении имперском политики в крае, привела к вынесению газете в 1870 г. официального цензурного предостережения[3]. Данная мера привела к значительному снижению активности редактора «Московских ведомостей» в обсуждении ситуации в Северо-Западном крае, но не к пересмотру его отношения к проводившейся здесь политике, которую он продолжал подвергать острой критике. Так, в 1871 г. публицист с горечью

[1] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 49–50, 53 об.–54 об.
[2] Миллер А.И. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. С. 168.
[3] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. С. 44.

констатировал, что у зарубежных газет, писавших о «полном фиаско» русской национальности в северо-западном регионе, имелись все основания для подобных утверждений[1]. Однако причины данной ситуации он усматривал не в объективно-внешних факторах, связанных с низким интегративным потенциалом русского народа или силой и массовостью сопротивления унификаторским устремлениям российских властей со стороны местных сообществ, а, в первую очередь, в неэффективной и непоследовательной политике самой имперской администрации, не проявлявшей настойчивости в реализации унификаторского курса, принятого на вооружение при М.Н. Муравьеве. Именно этим, по мнению публициста, объяснялся тот факт, что ключевые и законодательно оформленные направления данного курса – укрепление русского землевладения и внедрение русского языка в крае, фактически не реализовывались[2].

Резкая реакция правительства на выступление Каткова, парадоксальным образом отстаивавшего именно законный ход правительственных распоряжений в Западном крае, демонстрировала сохранявшееся нежелание верховной власти публичного обсуждения острых злободневных вопросов, в особенности имевших национально-окраинную направленность. В нападках на своих агентов (даже вполне обоснованных) верховная власть усматривала покушение на собственные управленческие прерогативы[3]. С другой стороны, данная ситуация являлась косвенным признанием огромного влияния национально-консервативной публицистики в целом, и газеты Каткова, в частности, мнение и общественный вес которой было невозможно просто игнорировать. Представители верховной власти и сам император всеми силами стремились показать независимость своих действий и решений от мнения прессы, что само по себе свидетельствовало о влиянии последней.

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1871 г. С. 149.
[2] Там же. С. 150–151.
[3] Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. С. 275.

Для некоторых западнорусских корреспондентов Каткова, разделявших его мнение в отношении поворота в деятельности местной администрации и снабжавших его актуальной информацией о ходе дел в Северо-Западном крае, данная ситуация имела более серьезные последствия. Показательна судьба одного из них – уроженца Гродненской губернии, отставного майора С. Папроцкого, являвшего собой типичный пример неравнодушного представителя северо-западной русской общественности, крайне обеспокоенного и возмущенного «полонофильской» политикой виленской администрации Потапова. Свои критические наблюдения и заметки он излагал в корреспонденции, содержание которой, согласно отчету жандармских властей, «клонилось к тому, чтобы уронить в общем мнении распоряжения, как правительства, так и местной власти», направляемой не только в «Московские ведомости», но и в редакцию «Москвы» И.С. Аксакова, за что в итоге был в административном порядке выслан из края[1]. В Петербурге история корреспондента «Московских ведомостей» получила неожиданное продолжение, поскольку он, возмущаясь совершенным в отношении его «произволом», написал достаточно резкое письмо министру внутренних дел А.Е. Тимашеву, в котором не только «порицал» распоряжения Потапова, как руководителя Северо-Западного края, но и посмел затронуть его «покровителя» – всесильного шефа жандармов графа П.А. Шувалова, вследствие чего был выслан уже в Олонецкую губернию и отдан под строгий полицейский надзор[2].

Другой представитель русской общественности Северо-Западного края, регулярно направлявший корреспонденцию не только редактору «Московских ведомостей», но и в разделявшую его точку зрения по вопросу обрусения края газету «Голос», мировой посредник Сенненского уезда Могилевской губернии И. Захарьин в 1870 г. был подвергнут прямому административному давлению за содержавшиеся в его письмах довольно

[1] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 69–70.
[2] Там же. Л. 71об.–72.

сдержанные указания на продворянскую (соответственно – пропольскую) ориентацию при проведении аграрной политики в крае и ущемление прав местных крестьян. Захарьин был вызван в Могилев, где местный губернатор П.Н. Шелгунов обвинил его в политической неблагонадежности, заявив о несовместимости его положения мирового посредника с занятиями «литературной деятельностью». Корреспонденции мирового посредника стали поводом к возбуждению против него следственного дела и строжайшей ревизии его служебной деятельности, причем, несмотря на то, что поводов для взысканий обнаружено не было, ему было доведено о желательности скорейшим образом покинуть Северо-Западный край[1]. Содержание перлюстрированной корреспонденции, возможно, не без содействия местных властей, стало достоянием гласности, вследствие чего корреспондент «Московских ведомостей» стал получать со стороны поляков анонимные письма с оскорблениями и угрозами. В своем письме к Каткову, сообщая о необходимости покинуть край и службу, начатую при М.Н. Муравьеве, Захарьин с горечью писал: «Дорогой ценой приходится расплачиваться здесь на месте за честь открыто служить русскому делу и быть корреспондентом Вашим…»[2].

Открытые преследования, обрушившиеся на представителей местной общественности, придерживавшихся национально-консервативных позиций и стремившихся к привлечению общественного внимания к противоречиям проводившейся в крае политики, привели к прекращению активного публичного обсуждения форм и методов обрусения Западного края и существенному сокращению объема посвященной данному вопросу проблематики в отечественном консервативном дискурсе, в 1870-е годы все больше переориентировавшем свое внимание на другие актуальные вопросы общественно-политической жизни. Несмотря на декларируемое сохранение приверженности принципам «муравьевской системы», доказавшей свою

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 744. Л. 1 об.
[2] Там же. Л. 2.

эффективность в деле умиротворения и обрусения края, в 1870-е годы он перестает рассматриваться верховной властью, как проблемный регион, вследствие чего жесткая и неуступчивая политика деполонизации края, на которой настаивали национально-консервативные мыслители, признавалась нецелесообразной. По мнению последних, именно данное, исходящее сверху, ослабление обрусительного «натиска» на регион не позволило полностью покончить с сохранявшимся в Западном крае полонизмом и окончательно вернуть ему его «исконно» русский характер.

Фигура Потапова, олицетворявшего собой в представлениях представителей русского национально-консервативного лагеря фактическую измену «русскому делу» в Северо-Западном крае, на протяжении многих лет была объектом острой критики с их стороны. Исследуя причины неудачи укрепления русского землевладения в регионе, которое мыслилось как один из важнейших механизмов его обрусения, видный представитель русского виленского сообщества 1860-х годов А.П. Владимиров даже спустя много лет после отставки и смерти Потапова указывал на его решающую и крайне негативную роль в смене правительственного курса в крае[1]. Данного мнения в отношении Потапова придерживались не только общественные деятели национально-консервативной направленности, но и их оппоненты[2], а также многие представители высшей государственной администрации. Так министр внутренних дел И.Л. Горемыкин много позднее отмечал, что действия Потапова представляли собой ««резкое уклонение правительственной деятельности от исторически верного национального пути во внутренней политике»[3].

В 1870-е гг. правительство фактически отказалось от поиска новых путей обрусения Северо-Западного края, довольствуясь номинальной реализацией основных положений «муравьевской системы», которая

---

[1] Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае // Русское обозрение. 1894. № 7. С. 217–241; № 8. С. 748–767; № 9. С. 171–192.
[2] Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. I. С. 176.
[3] ГАРФ. Ф. 543. Оп.1. Д. 470. Л. 14.

формально сохранялась как основная модель управления регионом, несмотря на кадровые перемены и пересмотр отдельных ее положений. Если в предшествующий период власти готовы были не только обсуждать, но и реализовывать на практике национально ориентированные программы интеграции края, то в это время, когда внешне кризисные явления были преодолены, их готовность следовать данным курсом существенно снизилась, тем более что для его твердой реализации не хватало материальных средств и сознательной политической воли[1]. Руководство страны, явно уставшее от напряженного внимания, уделяемого проблемам края, стремилось к его максимальному «успокоению», даже ценой значительных отступлений от провозглашаемых принципов русификации региона, как в практике регионального управления, так и посвященном ему публичном дискурсе, перенося фокус своего внимания на другие вопросы внутренней и внешней политики. В этих условиях национально-консервативная доктрина, призывавшая к продолжению и углублению политики деполонизации и русификации Западного края, становилась крайне «неудобной» и шедшей вразрез с ситуативными устремлениями имперских властей, что и обусловило их сдержанно-отрицательное отношение к продолжению обсуждения национально-окраинной проблематики в публичном пространстве. Верховная власть, преодолев повстанческий экстремум и его последствия, в ходе борьбы с которыми она нуждалось в общественной поддержке, вновь вернулась к строгому следованию принципам бюрократического централизма в управленческой практике Северо-Западным краем, исключавшим сколь-нибудь значимое участие общественности в обсуждении и выработке модели управления регионом.

Вследствие этого в последующие десятилетия правительство всячески препятствовало возникновению новых печатных органов, ориентированных на защиту русских национальных интересов на западных окраинах, усматривая в них источник дестабилизации ситуации и разжигания

[1] Тесля А.А. Дебаты о народности // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 105.

межнациональной розни. Самостоятельные идейные искания русской общественности и, тем более, дискуссии о целесообразности той или иной модели правительственной политики, даже в том ее сегменте, который был строго привержен престолу и имперской государственности, придерживаясь национально-консервативных позиций, все более тяготили верховную власть, нуждавшуюся исключительно в почтительном одобрении и поддержке своей политики[1].

Наиболее показательным примером данного отношения правительственных органов к инициативам представителей национально-консервативной мысли являлась попытка известного историка и общественного деятеля Д.И. Иловайского весной 1888 г. открыть в Москве новое периодическое издание исторической направленности под названием «Московская летопись». Основная задача издания, которое должно было придерживаться строго охранительного и патриотического направления, по замыслу его создателя, заключалась в «разъяснении и защите национальных русских интересов на основании опытов и уроков истории, а следовательно и в борьбе с тенденциями и явлениями противогосударственными и противообщественными, принявшими в последнюю эпоху самый угрожающий характер»[2]. Однако, несмотря на свой благонамеренный характер, ходатайство Иловайского не нашло поддержки у представителей верховной власти, мотивировавших свой отказ не идеологическими, а сугубо бюрократическими аргументами – многочисленностью существовавших в Москве периодических изданий и ограниченностью численности служащих московского цензурного комитета[3]. Данное «канцелярское» объяснение, содержавшее в себе изрядную долю цинизма, не могло ввести в заблуждение историка, усматривавшего в столь откровенном отказе яркий пример притеснения «национального направления» в русской печати. Подтверждением его убежденности также служило изъятие из январского

[1] Тесля А.А. Дебаты о народности. С. 114.
[2] ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 1884. Л. 3–3 об.
[3] Там же. Л. 3 об.

номера журнала «Русский архив» за 1888 г. его статьи, посвященной М.Н. Каткову и отстаивавшей необходимость «строго-национального направления в политике и в школе», которая была не допущена к печати по прямому распоряжению министра внутренних дел Д. А. Толстого, нашедшего ее «неуместной»[1].

Настороженное отношение к русским общественным деятелям, отстаивавшим национальные начала на страницах периодической печати, которые, по мнению имперских чиновников, способствовали разжиганию межплеменной розни на западных имперских окраинах, сохранялось и в последующие десятилетия, вплоть до событий революции 1905 – 1907 гг. Так, в частности, с ним столкнулся видный публицист и общественный деятель Северо-Западного края П.Г. Бывалькевич, более десяти лет занимавший пост редактора «Виленского вестника», когда летом 1903 г. выступил с инициативой создания в крае собственного издания – газеты «Западно-русский вестник», которая должна была отстаивать русские государственные и национальные интересы в регионе. Не имея законных оснований воспрепятствовать предлагаемому изданию, которое должно было выходить за счет личных средств редактора, виленский генерал-губернатор князь П.Д. Святополк-Мирский в отношении к министру внутренних дел В.К. Плеве нашел нужным выразить свое сомнение в его целесообразности, заявив, что «при существовании двух местных органов печати – «Виленского вестника» и «Северо-Западного слова», едва ли третья русская газета может рассчитывать на успех»[2]. Разрешение на издание газеты Бывалькевич все же получил, однако, вопреки его неоднократным просьбам, в которых он ссылался на длительный беспорочный опыт служения русскому делу на посту редактора «Виленского вестника», она не освобождалась от

[1] ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 1884. . 3.
[2] РГИА. Ф. 776. Оп. 14. Д. 116. Л. 4.

предварительной цензуры и должна была выходить под названием «Западный вестник»[1].

В последующем газета Бывалькевича, неоднократно заявлявшая о своем стремлении отстаивать интересы всех русских граждан Северо-Западного края, каковыми редактор считал «всех верноподданных русского Царя, к какой бы национальности они не принадлежали, какую бы религию они не исповедовали, лишь бы деятельность их была бы направлена на благо нашего общего Отечества»[2], чья консервативно-охранительная направленность признавалась и ее идейными оппонентами[3], сталкивалась с многочисленными цензурными и бюрократическими препятствиями, характер которых свидетельствовал о крайне пристальном и придирчивом внимании к ней со стороны местной и центральной администрации. Особенно недоброжелательным было отношение к «Западному вестнику» генерал-губернатора Северо-Западного края П.Д. Святополк-Мирского, поставившего в вину его редактору даже факт снижения подписной платы для сельских учителей и недостаточных служащих казенных учреждений, широко практикуемый другими изданиями и дозволенный Главным управлением по делам печати, но не согласованный предварительно с самим главой края[4]. Причины данной неприязни и вытекавших из нее многочисленных нареканий генерал-губернатор раскрыл в своем письме Плеве, в котором он обвинял Бывалькевича в том, что тот, более десяти лет занимая пост редактора «Виленского вестника» – ведущей газеты Северо-Западного края и пользуясь полной поддержкой и доверием со стороны местной администрации, «обезличил этот периодический орган постоянным поддержанием в нем глухой борьбы народностей и проведением узко-национальных начал»[5]. Несколько противореча самому себе, Святополк-

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 14. Д. 116. Л. 8.
[2] Западный вестник. 1903. № 1. 1 ноября.
[3] Рожин Н.В. Газета «Северо-Западный край». Очерк общественно-политической, философской и эстетической позиции. 1902 – 1905 гг. Минск: Изд. БГУ, 1970. С. 52–53.
[4] РГИА. Ф. 776. Оп. 14. Д. 116. Л. 31 об.
[5] Там же.

Мирский утверждал, что под руководством Бывалькевича, проводившего на страницах «Виленского вестника» свои идеи, издание превратилось из официального органа генерал-губернаторского управления, проводящего «вполне определенные политические взгляды», в «бессистемную газету, отражающую лишь поспешность прилагаемого труда», что давало возможность конкурировать с ним и обеспечивало «твердую гарантию жизненности» такому «печатному уличному листку», как «Западный вестник»[1].

Как же объяснялась консерваторами непоследовательность правительственной политики в отношении Северо-Западного края, не позволявшая достичь его окончательного обрусения и слияния с остальными регионами империи? Ссылки на подрывную деятельность всепроникающей польской интриги, узость бюрократического мышления и «предательство» русского национального дела представителями местной администрации, искавшими исключительно личной выгоды, часто звучавшие в консервативной прессе, не помогали выявить скрытый «механизм торможения», препятствовавший успешной русификации региона, и выработать пути его преодоления.

Наиболее серьезная причина, препятствовавшая окончательному обрусению Западного края, по мнению сторонников русских национальных начал, коренилась в неустойчивости и шаткости мыслей и понятий, характерных для всего пореформенного российского общества, передовые слои которого были заражены идеями космополитического либерализма, а в охранительных кругах господствовали инертные пережитки сословного мышления. Данное размежевание, обусловившее появление соответствующих «партий», в равной степени препятствовало проведению национального политического курса, как на западных окраинах, так и на всем пространстве империи, затрудняя преодоление свойственной ей гетерогенности и угрожая внутреннему и внешнему государственному

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 14. Д. 116. Л. 32–32 об.

единству, сохранение которого являлось наиболее важной целью представителей отечественной национально-консервативной мысли.

На тесную взаимосвязь ослабления государственного единства империи, возникновения угрозы утраты ее территориальной целостности, а также объективных трудностей интеграции ее окраин с проблемами, порожденными началом глобального реформирования всех сфер жизни российского общества в 1860-е годы указывал граф Д.А. Толстой, являвшийся одним из наиболее последовательных проводников консервативного политического курса в российском правительстве в пореформенный период. Осенью 1865 г. в его бытность Обер-прокурором Святейшего Синода им была составлена аналитическая записка, в которой давалась детальная характеристика ситуации в стране, сложившейся в процессе реализуемых правительством преобразований, а также излагались основные идейные принципы консервативной модели общественно-политического развития. Автор, не сомневаясь в закономерности и неизбежности проводимых преобразований, тем не менее, указывал на последовавшее в их результате распространение «вредных учений», которые, помимо внутренних брожений, проявлялись в виде окраинных «мятежей и стремления к сепаратизму»[1].

Начавшиеся преобразовательные процессы, охватившие многие сферы жизни общества, привели к значительному ослаблению скрепляющих элементов имперской государственной структуры, что обусловило «ненормальность» современного положения России – «все сословия разъединены, все законы в переделке, все основы в движении». Окраинный сепаратизм представлялся Обер-прокурору негативным, но вполне закономерным следствием состояния «неполноты политического права» центра Отечества, не обладающего значительным интегративным

[1] «Кто и что теперь Россия?» Записка графа Д.А. Толстого, 1865 г. // Вопросы истории. 2012. № 8. С. 79.

потенциалом, необходимым для «притяжения к себе окраин»[1]. Данные обстоятельства, содержащие в себе все признаки ситуации неопределенности, чреватой непредсказуемыми последствиями для развития страны, актуализировали необходимость государственной самоидентификации, что нашло свое выражение в главном вопросе, сформулированном Толстым – «кто и что теперь Россия?».

Успешная интеграция национальных окраин в единое государственное пространство Российской империи, по его мнению, напрямую зависела от результатов проводимых в стране преобразований. Обер-прокурор указывал на недостаточность и неэффективность силовых методов «привязывания» окраин к центру, подчеркивая, что для успешного достижения данной цели «не столько нужны силы разрушительные, сколько… силы зиждительные»[2]. По его мнению, преодолевать центробежные тенденции в развитии окраинных национальных сообществ было необходимо не путем их подавления, а посредством создания благоприятных условий для их слияния с русским народом, для чего «потребно сделать положение основной народности, народности русско-православной, таким, чтобы все прочие находили сами выгоду примкнуть и слиться с нею»[3]. Только в том случае, если «русское имя сделается синонимом полноправного гражданства», можно было рассчитывать на добровольное и безболезненное интегрирование инородческих сообществ в единую русскую народность, под которой понималась не этническое, а гражданско-политическое сообщество, включавшее в себя представителей различных племен и конфессий.

Обусловленность резких колебаний правительственного курса в отношении западных окраин общим переходным состоянием всей системы социально-политических и государственных воззрений в рассматриваемый период отмечали многие представители русской консервативной мысли. По мнению священника И. Фуделя, именно «неясность нашей политической

[1] «Кто и что теперь Россия?» Записка графа Д.А. Толстого. С. 80.
[2] Там же.
[3] Там же.

мысли и пробелы в самосознании» пореформенного российского общества, крайне разобщенного в своих представлениях, как о будущем развитии страны в целом, так и о судьбе ее северо-западных окраин, являлись главной причиной «случайности и разбросанности» политики имперских властей в их отношении, колеблющейся от попыток полного обращения в православие целых приходов до прямого потворства католической пропаганды среди православного населения[1].

Национально-консервативные мыслители славянофильской направленности шли еще дальше, объясняя неэффективность правительственных усилий, направленных на деполонизацию Западного края, нарушением внутренней цельности русского общества в имперский период, вследствие чего оно утратило «чувство и разумение своей народности», а вместе с ним и способность к эффективной интеграции окраинных территорий[2]. Данный тезис, неразрывно связанный со всей системой общественно-политических и исторических воззрений русских славянофилов, на протяжении многих лет отстаивался И.С. Аксаковым, усматривавшим главную причину неудачности интегративной политики имперских властей в отсутствии ее опоры на национализм, как на доминирующую государственную и общественную идеологию.

Мыслитель подчеркивал, что «слабость народного чувства» и преклонение перед чуждыми западными ценностями, укрепившиеся в резко осуждаемый им «петербургский период русской истории», существенно снижали ассимиляционный потенциал российской государственности, вследствие чего все завоевания и территориальные приобретения России, начиная с XVIII в., когда «русские люди через воспитание и образование» стали стремительно утрачивать чувство народности, «находились под сомнением», не становясь составной частью российского государственного

[1] Фудель И.И. Наше дело в Северо-Западном крае. М.: Университетская тип., 1893. С. 2.
[2] Аксаков И.С. Отчего Россия так мало способна к обрусению своих окраин // Сочинения И.С. Аксакова 1860–1886. Т. 3: Славянофильство и западничество: Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1886. С. 379–386.

пространства[1]. Отказ от решения задачи русской национальной консолидации и возобладание имперского принципа подданства, основанного исключительно на лояльности по отношению к верховной власти и индифферентного в отношении национальности также, по его мнению, снижали способность к прочному приращению окраинных территорий и их «ассимиляции», в отличие от высокого ассимиляционного потенциала допетровской Руси, обладавшей «внутренней духовной цельностью народного организма», которая предопределяла высокий уровень «силы сращения»[2].

Понимая под ослаблением «чувства народности» фактическое размывание русской национальной идентичности, главную причину данного негативного явления мыслитель усматривал в происходившем на протяжении всего имперского периода отчуждении высших «сверхнародных» слоев от русской народной жизни. Сформировавшаяся вследствие данных процессов космополитическая петербургская бюрократия и общественность была не способна понимать и отстаивать истинные национальные интересы Русского государства[3]. «Безнародность» и космополитизм правительства, сравниваемый с «безличностью» человека, по мнению Аксакова, являлся главным препятствием на пути успешной деполонизации Западного края, поскольку местные поляки, сохранившие чувство своей народности, существенно превосходили русские образованные классы и администрацию в вопросах защиты ее интересов. Из этого делался глобальный вывод, ставивший эффективность интеграции западных окраин в зависимость от общего развития русского национального начала в Российском государстве и сводившийся к следующей формуле: «Для того чтобы *обрусить* кого-то, нужно наперед самому *обрусеть*, самому стать и чувствовать себя русским» (курсив автора – М.К.)[4].

---

[1] Русь. 1885. № 9. 31 августа. С. 2.
[2] Аксаков И. С. Отчего Россия так мало способна к обрусению своих окраин С. 383
[3] Русь. 1885. № 25. 21 декабря. С. 3.
[4] Русь. 1885. № 9. 31 августа. С. 2.

Таким образом, один из наиболее видных идейных лидеров русского славянофильства видел в обрусении не столько комплекс административно-бюрократических мер, обреченных на неудачу без живой поддержки великорусской общественности, сколько проявление национальных сил русской народности, успех которого полностью зависел от преобладания русского народа в духовно-нравственном и культурном отношениях. Проведение тесной взаимосвязи в славянофильской доктрине между успехом русского дела на окраинах и превращением русского народа в самостоятельный субъект развития, дававшее основание исследователям относить ее к этноцентристскому крылу русского национализма XIX в.[1], выводило данный вопрос далеко за пределы локального сюжета о поиске оптимальных путей обрусения северо-западных окраин России, делая его частью глобальной дискуссии о перспективах развития русского общества и государства в пореформенную эпоху.

Придерживавшийся схожих взглядов И.П. Корнилов, также усматривал главную причину снижения ассимиляционного и интеграционного потенциала русского народа, способствовавшего не только дерусификации западных окраин, но и усилению сепаратистских стремлений у многих народностей, населявших Российскую империю, включая даже «единоверную и единокровную», «добровольно с ними соединившуюся» Малороссию, в «религиозном и национальном индифферентизме», составляющем, по его мнению, «одно из отличительных отрицательных качеств русских высших и средних учебных заведений»[2]. Данная черта, прочно укоренившаяся в отечественной образовательной системе с начала XIX столетия, по его мнению, систематически развивала в русском образованном обществе «национальное равнодушие и религиозное безразличие»[3], делавшее обрусение национальных окраин невозможным в

[1] Кудряшев В.Н. Народность и государство в славянофильской доктрине (1840–1880-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 417. С. 108.
[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 152. Л. 1 об., 4.
[3] Там же. Л. 1 об.

силу утраты осознания своей природной и духовной «русскости» теми слоями, которые были призваны продвигать и оберегать русские национальные начала. Слабостью русского национального чувства и планомерно воспитываемым космополитизмом Корнилов объяснял также «нашу уступчивость в международных отношениях» и сохранение национальной обособленности инородных и иноверных элементов внутри страны[1]. Лишь вытеснение из русской образовательной системы пагубных космополитических начал и перевод ее на прочные национальные основы, что было характерно для многих современных ему европейских государств, к опыту которых апеллировал мыслитель, по его мнению, могло создать надежные предпосылки для успешного распространения укрепившихся в центре страны русских государственных и культурных ценностей на национальные окраины.

Необходимость ослабления польского экономического и культурного господства в Северо-Западном крае и общая логика жесткого цивилизационного противостояния, ареной которого являлся данный регион, предполагала необходимость использования административно-силовых методов подавления враждебных элементов, неизбежность применения которых признавалось отечественными консерваторами. Однако системное доминирование силового компонента управленческой практики, формировавшее здесь устойчивый конфронтационный фон, отрицалось всей русской общественностью, в том числе и придерживавшейся национально-консервативных позиций, подчеркивавшей необходимость гибкого сочетания методов оборонительной русификации, направленных на защиту народных масс от конкурирующих ассимиляционных проектов, с неконфликтными интегративными формами, призванными не подавлять, а встраивать местные элементы в единое имперское пространство. Отмечалось, что излишнее русификаторское рвение вкупе с сохранявшейся после подавления Январского восстания инерцией конфронтационного мышления зачастую

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 152. Л. 1 об.

вело к перегибам, возбуждавшим недовольство не только среди непримирившейся шляхты и католического духовенства, но и среди вполне лояльных российской администрации кругов, включая и народные массы, дискредитируя «русское дело» и укрепляя позиции его противников. Репрессивная практика, не подкрепляемая в должной степени положительными мерами, по мнению многих консервативных мыслителей, не только не облегчала, но, напротив, затрудняла интеграцию региона во многих сферах.

Так, в частности, по мнению многих русских земельных собственников Северо-Западного края, приоритет прямолинейных «экзекуционных» мер перед более гибкими стимулирующими оказывал крайне негативное воздействие на процесс укрепления русского землевладения в регионе. Причем в данном контексте речь идет не об отстаиваемом газетой «Весть» и ее сторонниками «святом» принципе нерушимости дворянской собственности, а о поиске максимально эффективных путей скорейшего вытеснения польского землевладения русским. Например, крупный землевладелец Могилевской губернии А. Воронцов-Вельяминов в своих письмах к редакторам «Московских ведомостей» М.Н. Каткову и П.М. Леонтьеву не отрицал необходимости конфискаций и принудительных продаж земель тех дворян, которые принимали участие в мятеже либо содействовали ему. Данные земли на льготных условиях, посредством гибкой системы кредитования должны были максимально быстро переходить в руки немногочисленного местного русского дворянства, которое было призвано стать ядром нового местного высшего общества, а также крестьян и православного духовенства[1]. Избранный же местной администрацией «разорительный» путь, по мнению землевладельца, вел к тому, что многие имения теряли всякую ценность и не представляли интереса для русских собственников, становясь объектом простых спекуляций, что никоим образом не способствовало принятому правительством курсу на обрусение

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2. Д. 721. Л. 19–19 об.

местного землевладения. К тому же он не сопровождался созданием благоприятных условий для гражданской жизни и экономической деятельности переселявшихся сюда русских. Воронцов-Вельяминов, хорошо знакомый с местными условиями жизни прямо заявлял: «Здесь жить нельзя, потому что ни гражданские, ни экономические условия в настоящее время невыносимы для свободного русского человека»[1].

Стремление сломить шляхетское землевладение и вытеснить из региона поляков «экзекуционными средствами», используя для этого мировых посредников он считал глубокой ошибкой, вредившей как помещикам, так и самим крестьянам и в итоге дававшей моральное преимущество польскому элементу, оказывавшемуся в роли притесняемого[2]. Данная точка зрения разделялась и самими мировыми посредниками, вынуждаемыми местными властями действовать в интересах крестьян порой вопреки законным основаниям. По воспоминаниям мирового посредника Н.И. Березина, восемь лет проведшего в Северо-Западном крае, «натяжки» в выкупных актах, сделанные в пользу крестьян, приносили им мало пользы, поскольку их приходилось исправлять по требованию вышестоящих инстанций, куда польские дворяне обращались с жалобами, облегчая последним «драпировку в печальную тогу несправедливо обиженных»[3].

Репрессивные меры правительства, таким образом, не только не достигали своих политических целей, но и способствовали росту недовольства среди местного крестьянства, неисполнение завышенных ожиданий которого, порожденных потворством мировых властей, вело к острому разочарованию и охлаждению к верховной власти[4].

«Дикие идеи и дикие выходки» против иноплеменников, живущих в Западном крае, со стороны направления, именуемого себя патриотическим, доходившие «до террора, до неумолимости преследования противников, –

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2. Д. 721. Л. 18
[2] Там же. Л. 21 об.
[3] Березин Н. И. Восемь лет в Северо-Западном крае. Воспоминания бывшего мирового посредника // Русский вестник. 1896. № 1. С. 139–168. С. 140.
[4] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2. Д. 721. Л. 22 об.

своих, русских, и чужих, иноплеменников, преследования, далеко не ограничивающегося одною областью печатного слова»[1] резко осуждались и М.Ф. Де-Пуле, отстаивавшего на страницах редактируемого им в 1867 г. «Виленского вестника» неконфликтные методы интеграции края и его обрусения, в первую очередь посредством распространения русского образования и языка[2]. В целом разделяя позицию представителей национально-консервативного направления русской общественной мысли по вопросу о необходимости русификации Западного края, который рассматривался им как область вечного русско-польского противостояния, где сталкивались и соперничали друг с другом две «волны»: обрусение и ополячивание[3], Де-Пуле существенно расходился с теми из них, кто настаивал на силовых методах ее проведения. Усиление национально русского и православного компонента в имперской политике в отношении многонационального края представлялись ему ошибочными и неприемлемыми. Редактор «Виленского вестника» полагал, что в этом отношении даже отстаиваемые газетой «Весть» «крайности аристократизма» выглядят предпочтительнее, нежели провозглашавшиеся «крайности семинаризма»[4]. По данному вопросу на всем протяжении года своего редакторства он активно полемизировал с аксаковской «Москвой», упрекая ее в стремлении к «полицейскому» обрусению края путем насаждения православия, как главного и единственного компонента «истинной русскости»[5].

---

[1] Де-Пуле М.Ф. Станислав-Август Понятовский в Гродне и Литва в 1794–1797 гг. СПб.: Типография Майкова, 1871. С. II.

[2] Виленский вестник. 1867. № 1. 3 января; № 9. 21 января; № 10. 24 января; № 13. 31 января; № 22. 21 февраля; № 34. 23 марта; № 35. 25 марта; № 77. 6 июля; № 82.18 июля; № 98. 24 августа; № 120. 17 октября.

[3] ГАРФ. Ф. 109. С/а. Оп. 2. Д. 710. Л. 36.

[4] Виленский вестник. 1867. № 10. 24 января; № 110. 21 сентября; Котов А. Э. «Великая идея Всероссийзма»: политическая публицистика М.Ф. Де-Пуле // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История, Политология, Социология. 2016. № 1. С. 56.

[5] Виленский вестник. 1867. № 13. 31 января; № 25. 2 марта; № 26. 4 марта; № 83. 20 июля; № 93. 10 августа; № 119. 14 октября.

Преобладание репрессивной составляющей русификаторской политики над собственно русифицирующей компонентой, как главную причину ее низкой эффективности много позже рассматривал Н.Х. Бунге, стремившийся проанализировать результаты многолетних усилий правительства по укреплению русских начал в Северо-Западном крае. Так, в частности, он отмечал, что вводимые запреты на употребление польского языка не только в образовательном процессе, но и в обиходе, в процессе общения между учениками и наставниками, а также между самими учащимися не могли не вызвать у поляков страха перед полной денационализацией, связанной с запрещением их родного языка, являвшегося не просто народным говором, но имевшим глубокую культурную традицию. Бунге полагал, что, вместо того, чтобы запрещать польскоговорящим учащимся общаться между собой на родном языке, правительству следовало умножать число русскоязычных школ, где было бы дозволено преподавание польского языка, что позволило бы «приохотить» детей к русскому языку, не отталкивая их преследованием их родной речи[1]. Данное мнение разделял Л.А. Тихомиров, указывавший на устойчивый приоритет привычных для властей ограничительных мер перед мерами «созидательными», способными реально приобщить население окраин к общегосударственным социальным и культурным достижениям. Консервативный публицист писал: «Вместо того чтобы достигать единения усилением централизующей, единящей силы, у нас старались достигнуть этого ослаблением местных. Такая политика есть политика бесплодной внутренней борьбы, а не внутреннего единения»[2].

Другое серьезное затруднение на пути победы русских начал в регионе, по их мнению, состояло в слабости, инертности и низком уровне организованности русского окраинного сообщества, которое в этом отношении существенно проигрывало инородцам, тесно спаянным

[1] Бунге Н.Х. Загробные заметки // Судьбы России. Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX века). М.: Лики России. 1999. С. 220–221.
[2] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Москва: РОССПЭН. 2010. С. 668.

религиозной, сословно-корпоративной и культурно-языковой солидарностью.

Вопреки устойчивому стереотипу, закрепившемуся в исследовательской литературе и обыденных представлениях, отечественные национально-консервативные мыслители были солидарны с либералами в вопросе о возможности и необходимости активного общественного содействия деятельности правительства в социальной, экономической и культурной сферах. Различия заключались лишь в определении характера данного содействия и его институциональной формы. Содействие это должно было выражаться, в том числе, посредством живого печатного слова, вкладу которого в формировании «здоровых» понятий и положительного общественного мнения, облегчавшего решение стоящих перед страной проблем, отводилось огромное значение. М.Н. Катков указывал на то, что обязанностью русской печати в условиях напряженной информационной борьбы против разнородных антирусских сил, препятствовавших реализации важнейших государственных задач России, является, с одной стороны, всесторонняя информационная и моральная поддержка правительственной политики «сочувствием патриотически настроенного общества», а с другой – «облегчение дела тщательной разработки подлежащих разрешению вопросов»[1]. Позицию редактора «Московских ведомостей» относительно задач русской национально-консервативной печати в полной мере разделял М.В. Юзефович, считавший дарованное монархом право публичного суждения об общественных делах важнейшим элементом формирования гражданских отношений в России и призывавший русскую центральную и региональную печать использовать его «на благо Государя и Отечества», защищая его интересы от клеветнических нападок заграничных газет и собственных космополитических «европейцев»[2].

[1] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. 1865. Д. 103. Л. 17 об.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2. Д. 710. Л. 64.

Большое значение в этом контексте отводилось русским региональным газетам, которые должны были выступать рупором местного общественного мнения, выразителем его интересов перед лицом верховной власти, эффективным каналом связи между региональной и центральной общественностью, а также орудием борьбы против полонизма и иных антигосударственных и антирусских сил. Раскрывая задачи, стоящими перед данными изданиями, И.С. Аксаков подчеркивал, что призвание газеты в крае, где кипит практическая деятельность, состояло в том, чтобы «объяснять, мотивировать и… излагать теорию местной практики», раскрывая мотивы и смыслы действий общероссийской и местной администрации, указывая общее направление деятельности местной общественности, выступать ее организатором и знаменем[1]. Однако окраинные русские издания далеко не всегда оказывались на высоте положения, во многих отношениях проигрывая своим идейным конкурентам, либо поддаваясь их влиянию. Так, «Виленский вестник», которому отводилась ключевая роль в распространении и отстаивании «русских идей» в Северо-Западном крае, неоднократно подвергался резкой критике со стороны И.С. Аксакова за отсутствие у него четко определенной «русской» линии, недостаточную настойчивость в ее освещении и популяризации, пренебрежение интересами народных масс и, наконец, что для представителей национального направления отечественного консерватизма было наиболее неприемлемым, «благосклонным отношением» к направлению газеты «Весть», «подкапывающемуся под самое жизненное основание русской силы – под интересы русского крестьянства» в защиту помещичьего (следовательно – польского) элемента края[2].

Национально-консервативные мыслители призывали русскую «здоровую» общественность отказаться от роли пассивного наблюдателя за деятельностью власти и активно включаться в развернувшуюся информационную войну, связанную с обсуждением путей развития и

[1] Москва. 1867. № 147. 7 октября.
[2] Там же.

преобразования различных сфер жизни общества, в том числе и вопроса о формах и методах укрепления российской имперской государственности. Особая роль в этом деле отводилась русскому окраинному обществу, которое должно было выступать проводником русских государственных интересов в окраинных регионах империи, субъектом и агентом интеграционной политики правительства, активно содействуя ему посредством различных форм самоорганизации не только для защиты собственных прав и интересов, но и для эффективной репрезентации национального и государственного начала среди местных народных масс.

Однако реальная картина, представавшая перед взором русских патриотически настроенных общественных деятелей, была далека от того идеального образа, который они выстраивали в своем воображении.

На настоящее «обломовское равнодушие к своим интересам» русского общества западных губерний, предоставлявшего их защиту исключительно правительству и крайне слабо содействовавшего ему в этом деле, указывал корреспондент «Киевлянина» Н. Горнберг. Будучи хорошо знакомым с положением дел в Западном крае, он отмечал чрезвычайную разобщенность русского окраинного общества по сословному, профессиональному и образовательному критериям, препятствующую его объединению на национальной основе, что, в свою очередь, мешало выработке в его сознании единой общей русской идеи[1]. Слабость чувства национальной общности, столь развитого у других народов, живущих на территории Российской империи, позволявшего им, вне зависимости от их достатка и положения в обществе, чувствовать себя единым целым, препятствовало русскому населению окраин эффективно содействовать верховной власти в деле укрепления русских национальных интересов в окраинных регионах.

Одну из главных причин неуспехов в реализации «русского дела» на северо-западных окраинах представители национально-консервативного лагеря усматривали также в равнодушии и отсутствии интереса к нему в

[1] Киевлянин. 1865. № 36. 25 марта.

центральном русском обществе. После «информационного всплеска» 1860-х годов, связанного с подавлением польского мятежа, в последующие десятилетия окраинная проблематика практически полностью выпала из фокуса общественного внимания, сосредоточившегося на других актуальных вопросах внешней и внутренней политики России. О полном незнакомстве и равнодушии образованных русских людей из центральных губерний к проблемам Северо-Западного края и русским интересам в нем в последние десятилетия XIX в. свидетельствовали многие современники и публицисты, подчеркивавшие, что данная индифферентность препятствует полноценному обрусению региона[1].

Таким образом, в отечественном национально-консервативном дискурсе ответственность за недостаточную эффективность политики деполонизации Северо-Западного края и его окончательного слияния с великорусским центром разделялась между имперской администрацией и общественностью. Во многом инициируемый сверху отказ руководства края во второй половине 1860-х гг. от продолжения последовательной и твердой национально-интегративной линии, отстаиваемой центральными и региональными сторонниками «русского направления», вызвал с их стороны острую критику, продемонстрировавшую реальное расхождение их видения траектории правительственной политики в отношении региона с реальной правительственной позицией. Столкнувшись с устойчивой национально-консервативной оппозицией, оказывавшей значительное влияние на региональную бюрократию и общественность, верховная власть была вынуждена использовать свой административно-управленческий ресурс для пресечения критики и снижения накала полемики вокруг северо-западных окраин. Данный поворот, олицетворяемый, в первую очередь, фигурой генерал-губернатора Потапова, снискавшего в национально-консервативном дискурсе репутацию едва ли не изменника русского дела, рассматривался как главная причина незавершенности деполонизации и формирования

[1] Новое время. 1881. № 1797. 28 февраля; Русский труд. 1897. № 34. 23 августа.

многочисленных «механизмов торможения» в реализации правительственной программы, формально сохранявшей преемственность муравьевскому курсу.

Немаловажное значение отводилось и характерным для региональной бюрократии злоупотреблениям, критика и бичевание которых являлись общим местом в русской общественной мысли всех направлений. В отличие от привычного и едва ли не «рутинного» характера должностных нарушений и злоупотреблений в центральных областях, на северо-западной окраине они приобретали обостренное политическое звучание, дискредитируя русское государственное начало в глазах местного населения и предоставляя лишние аргументы в пользу антирусской агитации польскому элементу.

Другим актором, от которого зависела, по мнению сторонников национально-консервативной доктрины, успешность интеграции Северо-Западного края в российское государственное пространство, была как центральная, так и региональная русская общественность, призванная содействовать верховной власти в практической реализации основных направлений ее политики. Национально-консервативные мыслители предъявляли высокие требования к представителям русского общества, рассматривая их как «миссионеров русского дела» в крае, носителей «русских культурных ценностей», распространяемых на местное население. Свойственный данному подходу некоторый цивилизаторский пафос был определялся логикой острой конфронтации с конкурирующим польским ассимиляционным проектом, преобладание над которым отстаиваемых русских начал обуславливалось его «пришлым» характером, насильственно «навязываемым» коренному русскому и тяготевшему к нему литовскому населению.

Однако характеризуя реальные качества русской общественности и степени его вовлеченности в решение вопросов, связанных с интеграцией северо-западных окраин России, консервативные мыслители были вынуждены признать существенное расхождение между созданным ими идеальным образом и реальностью, изобиловавшей примерами вопиющего

равнодушия к ним не только со стороны центрального, но и значительной части регионального северо-западного русского общества. Недостаточный уровень материального благосостояния, интеллектуального и культурного развития, внутреннее социальное и идейное размежевание, социально-политическая пассивность и индифферентность препятствовали ему превратиться в достойного конкурента господствовавшего здесь польского элемента, порождая тех «дикобразов», образ которых создавал отталкивающую репутацию русского элемента у местного населения.

Причины непоследовательности правительственной политики и несовершенства русских общественных сил, по мнению отечественных консерваторов, были напрямую связаны с общим переходным состоянием российского общества, существенные трансформации которого в пореформенный период вели к борьбе различных «партий» в верхах, проявлявшейся в колебании правительственного курса, общественной дезориентированности и ослаблении скрепляющих элементов имперской государственной структуры. Успешный исход интеграции северо-западных окраин связывался с преодолением данного переходного состояния и установлением прочных русских национальных начал во внутренней политике российского самодержавия, содействие которому со стороны общества в данной области должно было возрастать по мере его роста в материальном и духовно-нравственном отношении. Установление данной взаимосвязи выводило северо-западную окраинную проблематику далеко за рамки локальных региональных вопросов, встраивая ее в актуальную общественно-политическую повестку, значимость которой обуславливалась необходимостью разработки общей национально-консервативной модели модернизации российской государственности и поиском оптимальных неконфликтных методов интеграции национальных окраин.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Крот Максим Николаевич

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОМ ДИСКУРСЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.

Специальность 5.6.1. Отечественная история

Диссертация
на соискание ученой степени доктора исторических наук

Том 2

Научный консультант:
доктор исторических наук
А.И. Нарежный

Ростов-на-Дону – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава IV. Формы и методы «духовно-нравственного завоевания» Северо-Западного края в отечественном национально-консервативном дискурсе…….. 3

4.1. Пути решения конфессионального вопроса в Северо-Западном крае в отечественном национально-консервативном дискурсе……..…….. 3

4.2. Образовательная политика как форма неконфликтной интеграции Северо-Западного края в общероссийское культурное пространство…… 63

4.3. Деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения» как форма практической реализации консервативной доктрины «нравственного завоевания» Северо-Западного края……... 110

Глава V. Остзейский вопрос и проблема укрепления российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе в конце XIX – начале XX в. ……... 145

5.1. Актуализация Остзейского вопроса в русском национально-консервативном дискурсе 1860-х – 1880-х гг. …… 145

5.2. Прибалтийская окраина, как часть российского государственного пространства в воззрениях русского прибалтийского публициста Е.В. Чешихина……..……... 195

5.3. Проблема укрепления российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе на рубеже XIX – XX вв. ……... 231

Заключение…… 289

Список источников и литературы ……... 307

ГЛАВА 4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЗАВОЕВАНИЯ» СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОМ ДИСКУРСЕ

4.1 Пути решения конфессионального вопроса в Северо-Западном крае в отечественном национально-консервативном дискурсе

Необходимость успешной и максимально безболезненной интеграции северо-западных окраинных регионов Российской империи, обладавших богатым опытом иногосударственного политического существования, ставила перед имперскими властями и русской консервативной общественностью непростую задачу поиска неконфликтных методов и практик интегративного воздействия, ориентированного, в первую очередь на коренное местное население. Представители центральной и региональной общественности, придерживавшиеся национально-консервативной ориентации, стремились оказать всестороннее интеллектуально-идеологическое содействие правительственным органам в деле формирования позитивного символического капитала имперского начала в рамках стратегии «мягкой силы», реализуемой в научно-интеллектуальной, образовательной, культурно-просветительской, мемориальной и иных сферах.

Обосновывая реализацию стратегии, основные параметры которой в полной мере встраиваются в определение «мягкая сила», М.Н. Катков неоднократно подчеркивал, что укрепление «неразрывной внутренней связи империи с национальными окраинами» должно проходить преимущественно путем их «нравственного завоевания»[1]. Силовые методы могли обеспечить лишь внешнее государственное единство, в то время как внутреннее неразрывное «сращивание» государственных территорий могло быть достигнуто только посредством духовного воздействия интегрирующего

[1] Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. С. 62.

начала. Отстаивая этот тезис, Катков писал: «Торжество какой-либо народности над противными и чуждыми ей элементами не достигается развитием одной внешней сил. Обладая внешней силой, господствующая народность должна стать еще силой внутренней и в… чуждых элементах возбуждать интерес и стремление сблизиться и сливаться с ней»[1].

Соответственно, «полного и прочного завоевания Западного края, некогда отторгнутого от России и почти полностью ополяченного, почти совершенно ушедшего из рук России», по мнению публициста, нельзя было достигнуть исключительно при помощи силовых или, по его словам, «отрицательных мер», к которым правительство прибегает вынужденно, под влиянием открытых вооруженных угроз. Для достижения данной цели, по мнению публициста, требовалось, в первую очередь, приложения «нравственных сил», связанных с «внутренним воодушевлением к делу и известной долей самоотвержения» русского общества, способных одухотворить рычаги духовного и умственного воздействия на население края, убедив его в превосходстве русских государственных и культурных начал[2]. Редактор «Московских ведомостей» настаивал на приоритете мягких, неконфликтных методов обрусения края, призывая не ограничиваться подавлением польского образования и католицизма, как главных рычагов его полонизации, а активно сопровождать и постепенно подменять репрессивную политику практиками нравственного воздействия, важнейшими рычагами которого должны были стать русская школа и православная церковь. Для этого требовалось всестороннее совершенствование русских национальных духовных начал, лежащих в основе осуществляемой ими образовательной, культурно-просветительской и нравственно-ориентированной деятельности, способное сделать русские культурные и государственные начала конкурентоспособными и привлекательными для местного населения. Достижение данных целей без

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864. С. 259.
[2] Там же. С. 347.

живого содействия русской общественности Каткову представлялось невозможным. Он писал: «Пока мы будем противопоставлять польско-католической пропаганде только правительственные силы, а общество будем держать в стороне, пока все русское общество не воодушевится для борьбы за православие и русскую народность в крае…мы не похитим Литвы, Белоруссии и юго-западной Украины из рук польских ксендзов и панов»[1].

Данную мысль в полной мере разделял И.С. Аксаков, неоднократно заявлявший о том, что «внешней» принудительной силы, которой в достаточной степени располагало российское государство, в деле интеграции окраин совершенно недостаточно, поскольку она обеспечивает лишь внешнее присоединение территорий, без их «внутреннего слияния». На западных окраинах Русскому государству противостоял «полонизм», который характеризовался мыслителем как «общественная сила нравственного свойства», успешно бороться против которой исключительно «внешними» средствами было невозможно. Аксаков призывал противопоставить ему не простую репрессию, в борьбе с которой полонизм становится только сильнее, а «крепость и искренность русского народного чувства», наполнявшие собой как правительственные мероприятия, так и общественные инициативы, направленные на преодоление обособленности западных регионов России[2].

Признавая необходимость административно-силовых практик управления имперскими окраинами, призванных сохранять территориальную целостность страны и защищать ее государственные интересы, отечественные консерваторы, тем не менее, настойчиво указывали на необходимость активного применения методов «нравственного завоевания», посредством которых окраинные регионы могли максимально безболезненно интегрироваться в единое государственное пространство, сохранив свои самобытные особенности. Основными инструментами данного «завоевания»

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864. С. 349.
[2] Русь. 1885. № 9. 31 августа. С. 3.

должны были стать главные государственные институты, отвечавшие за формирование духовно-политического и нравственного сознания подданных – церковь и школа. В полном соответствии с характерным для консервативного мировоззрения представлением о приоритете нравственных начал над формально-институциональной стороной общественного бытия, его носители полагали, что только посредством трансформации сознания окраинного сообщества и внедрения в него общегосударственных ценностей можно добиться укрепления государственного единства и преодолеть тот внутренний духовный сепаратизм, который в значительной степени сохранялся на западных окраинах, препятствуя их полной и бесповоротной интеграции в ментальное пространство Российской государственности.

Западные окраины Российской империи являлись не только полиэтническим, но и в высшей степени поликонфессиональным регионом, в котором длительное время с различной степенью взаимной конфликтности и лояльности уживались православие, католицизм, лютеранство и иудаизм. Если две последние конфессии носили строго локализованный характер, охватывая четко обозначенные сообщества, не претендуя на религиозное доминирование в регионе, то православие и католицизм имели свойство цивилизационно-культурных маркеров, являясь важнейшим элементом политической самопрезентации и национально-государственной идентичности ее носителей. Православие как господствующее вероисповедание пользовалось прямым покровительством верховной власти, признаваясь одним из главных устоев русской государственности, духовно-идеологическим стержнем Российской монархии, а также основой формирующегося русского национального самосознания. Однако логика имперского управления этноконфессиональным многообразием естественным образом породила феномен имперской веротерпимости, корнями уходящий в развитые традиции веротерпимости Московского царства, принципы «общего блага» и христианского гуманизма, сложившиеся в имперский период, а также исходивший из практических

потребностей управления разнородными сообществами, интегрируемыми в имперское пространство[1]. Несмотря на то, что православие оставалось важнейшим элементом самопрезентации Российской монархии, эффективность повседневных практик имперского управления во многом зависела от объема религиозных прав и привилегий, предоставляемого иностранным исповеданиям российским законодательством о веротерпимости, а также от практики правоприменения, осуществляемой правительством и местной администрацией. Стоявшая перед ними задача обеспечения лояльности подданных обуславливала необходимость признания их религиозных особенностей и право свободного вероисповедания[2]. Данное обстоятельство также обуславливало необходимость встраивания «иностранных» конфессий в государственный механизм правового регулирования, в рамках которого свойственные им правила духовной дисциплины приобретали статус закона, становясь неотъемлемой частью легитимации существовавшего в стране общественно-политического порядка. Феномен имперской веротерпимости, под которым понимается иерархически выстроенная легитимация религиозных различий, существовавших между народами, входившими в состав России[3], таким образом, представлял собой универсальный административный механизм управления конфессиональным многообразием и практически необходимый инструмент поддержания политического и социального порядка в многонациональной империи.

Следует подчеркнуть, что российская имперская веротерпимость не предполагала равенства исповеданий, вследствие чего неправославные конфессии в отличие от напрямую покровительствуемой государством

---

[1] Werth P. Schism Once Removed: Sects, State Authority, and the Meanings of Religious Toleration in Imperial Russia // Imperial Rule / Ed. by A. Miller and A. Rieber. Budapest: Central European University Press, 2004. P. 85–108.

[2] Долбилов М.Д. Русскоязычное католическое богослужение в Западном крае империи: практика перевода (1860–1870-е гг.) // Петербургские славянские и балканские исследования. 2008. № 1(3). С. 41.

[3] Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). дисс. … д-ра ист. наук. СПб.: 2013. С. 122.

православной церкви, признавались лишь «терпимыми», не обладая правом распространения своего вероучения[1]. Тем не менее, прямые административные ограничения накладывались на них лишь в случае их открытой нелояльности, представлявшей угрозу целостности страны[2].

Массовое участие католического духовенства западных окраинных регионов в Январском восстании, пропаганда религиозной и этнической нетерпимости, активно проводимая ксендзами и монашествующими, а также их агрессивная нелегальная прозелитическая деятельность предопределили репрессивную траекторию имперской политики в отношении католической церкви во время подавления мятежа и в последующий период. Многими представителями имперской администрации и русской общественности в этот период католицизм стал восприниматься, в первую очередь, не как религиозная конфессия, обладавшая своей церковной организацией, а как враждебная политическая сила, противостоящая русским государственным и народным интересам. В то же время, следует подчеркнуть, что репрессии в отношении католической церкви вряд ли могут быть охарактеризованы как дискриминационная политика, поскольку, несмотря на их относительную жесткость, они не являлись проявлением религиозной нетерпимости и носили сугубо ситуативный характер[3]. Однако трансформация духовной власти католического духовенства над своей паствой во власть политическую, «фанатизация» им местного населения и превращение католицизма в ключевой идентификационный маркер представлений о политическом характере польской нации, несшие угрозу политической лояльности и территориальной целостности западных окраин империи, побуждали власти предпринимать усилия по устранению из католицизма антигосударственной политической и национальной составляющей и

[1] Павлов А.С. Курс церковного права. СПб.: Лань, 2002. С. 378.
[2] Тихонов А.К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в последней четверти XVIII–начале XX века. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. С. 293.
[3] Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). Минск: Издательство БГУ, 2010. С. 4–5.

способствовали усилению антикатолических настроений в русском национально-консервативном дискурсе.

Ряд современных исследователей склоняется к преуменьшению роли католического духовенства в разжигании и ходе мятежа 1863 – 1864 гг., что позволяет им трактовать правительственные меры в его отношении как «непропорциональные гонения и репрессии» и усматривать в русском антикатолическом дискурсе неоправданное стремление к дискредитации католицизма, способствовавшей формированию устойчивой католикофобии[1]. В данном случае мы имеем дело с примером сознательной подмены причин и следствий явлений, имевших место в Западном крае, из характеристики которых исключается факт польской идентичности католической церкви региона, ее выход за рамки канонического права посредством пропаганды польского этнического сепаратизма и дискредитации православия, защитником которого выступали имперские власти и, как крайняя форма – прямое содействие польским инсургентам в 1863 – 1864 гг.

Ключевые цели имперской политики в отношении западных окраин, определенные представителями имперской администрации и российской общественности, состоявшие в деполонизации и обрусении региона, обусловили характер и основные направления мероприятий в религиозной сфере, которые могут быть сведены к решению двух основных задач. Первая из них состояла в укреплении позиций православия, рассматривавшегося как «исконное» вероисповедание местного населения, притесняемое и искажаемое пришлым польским элементом, другая заключалась в ослаблении влияния католицизма, которому надлежало возвратить сугубо религиозное содержание в соответствии с принципом имперской веротерпимости. Обсуждение данных вопросов и выработка эффективных и наименее конфликтных способов достижения указанных целей являлась значимой частью отечественного консервативного дискурса, посвященного

[1] Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 229, 238–247.

проблеме интеграции западных окраинных регионов, на всем протяжении рассматриваемого периода, однако наиболее активные дискуссии и поиск нетривиальных моделей религиозной политики в крае происходил на протяжении первого десятилетия после подавления Январского восстания.

Необходимость защиты от «боевых» приемов католического духовенства, далеко вышедшего за рамки канонического права, и конфронтационная логика, возобладавшая в период повстанческого экстремума в широких кругах региональной и центральной русской общественности, требовали нанесения мощного ответного удара по католицизму, как главному идейному средоточию полонизма в регионе и источнику противоправительственной агитации. Силовой вектор административной политики в отношении католической церкви Западного края, провозглашенный местными властями, хотя и носил характер «репрессивного воздаяния» за участие в мятеже, тем не менее, не выходил за рамки обеспечения существовавшего законного порядка, границы которого были нарушены самим католическим духовенством. М.Н. Муравьев в своей «Записке…» об устройстве Северо-Западного края подчеркивал, что задача правительственных сил состояла не в его притеснении или наказании, а в обеспечении такого положения, при котором оно «не могло бы более вредить своим фанатическим возбуждением обывателей к противодействию постановлениям правительства», строго взыскивая с него «за всякое отступление от законного порядка, в особенности за манифестации в смысле польской пропаганды»[1].

Мятеж 1863–1864 гг., спровоцированный не ужесточением, а, напротив, смягчением правительственного режима в отношении поляков, заставил русское общество задуматься о причинах их «природной смертельной ненависти» ко всему русскому и факторах, препятствовавших их слиянию с остальными народами Российской империи в единую общую

[1] Муравьев М.Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края // Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. II. СПб: Тип. М. Стасюлевича. 1898. С. 301.

государственную нацию. Большинство представителей патриотически настроенной русской общественности Западного края указывало на то, что главным источником польской непримиримости является католическая церковь, выступающая «связующим началом» польской нации и главным идентифицирующим маркером, отличающим их от «иноверцев», которым Польша была вынуждена покориться[1].

В 1860-е годы в отечественном национально-консервативном дискурсе развернулась настоящая «антикатолическая кампания», обусловленная признанием значительной роли католической церкви Западного края в разжигании антиправительственных настроений и «фанатизировании» населения, путем прямого подталкивания его к участию в мятеже. Цель данной кампании состояла в обосновании репрессивно-ограничительных мер в отношении католицизма, трактовавшихся не только как «воздаяние» за подстрекательство и прямое участие в антиправительственном выступлении, но и как проявление цивилизаторской миссии имперского государственного начала, боровшегося против силы, державшей народные массы Западного края во мраке невежества и препятствовавшей их просвещению и культурному развитию.

Многочисленные корреспонденты, направлявшие свои письма с предложениями по умиротворению края, как к представителям местной администрации, так и к русским общественным деятелям, а также национально-консервативные публицисты неоднократно подчеркивали едва ли не открытую политическую нелояльность католического духовенства, побуждавшую правительство к жестким ответным действиям, способным пресечь его антигосударственную политическую деятельность, далеко выходящую за рамки пастырского долга.

Дестабилизирующее политическое влияние католицизма связывалось с его внутренней антигосударственной сущностью, протестовавшей против всякой легитимной государственной власти, что выразилось в отстаиваемой

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 432. Л. 3 об.

им польской теории мессианизма или революционного посланничества Польши, призванной «охватить все государства революционными стремлениями»[1]. В публикациях члена Виленской археологической комиссии А.В. Рачинского, неоднократно заявлявшего о своем чувстве «лихорадочной потребности борьбы с латинством»[2], последовательно обосновывалась идея о свойственной католической религиозности политической деструктивности и нетерпимости. Данные свойства проявлялись в провоцировании гражданских беспорядков под воздействием «фанатизирующего» воздействия богослужения и проповедей, развивавших в сознании прихожан религиозную и этническую нетерпимость и негативно влиявших на их политическую лояльность[3]. В качестве подтверждения данных тезисов приводился факт появления «Польской революционной обедни», как высшего выражения экзальтированной уверенности в богоизбранности Польши, из ревностных служителей которой вышли инсургенты и вешатели 1863 – 1864 гг.[4]

Центрами антигосударственной деятельности и «рассадниками ненавистников и преследователей православия»[5] признавались католические монастыри, закрытие которых в национально-консервативном дискурсе рассматривалось не как мера религиозной дискриминации, а как «естественный» шаг «уверенного в себе» правительства, пресекающего деятельность учреждений, «способствовавших распространению измены»[6]. Сокращение их количества трактовалось, в первую очередь, как цивилизаторское действие правительства, направленное на освобождение государственного пространства от откровенно архаического явления, являвшегося источником религиозного фанатизма и мракобесия и противником просветительской деятельности властей. М.В. Юзефович, обосновывавший правомерность данной политики, писал, что в свое время

[1] Виленский вестник. 1866. № 144. 7 июля.
[2] РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 52. Л. 4.
[3] День. 1865. № 21. 22 мая.
[4] Виленский вестник. 1866. № 144. 7 июля.
[5] Виленский вестник. 1866. № 151. 15 июля.
[6] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 432. Л. 5.

основание католических монастырей в регионе носило искусственный характер, являясь средством окатоличивания и полонизации русского православного населения, вследствие чего их количество стало непомерно большим, несоизмеримым с численностью местных католиков и монашествующих, незначительное число которых в монастырях в некоторых случаях даже противоречило каноническим правилам[1]. Публицист подчеркивал, что многочисленные монастырские здания могли бы использоваться для более настоятельных и современных потребностей, например, в качестве школ или гимназий, что имело бы общеполезное значение для всего населения края вне зависимости от национальности и вероисповедания[2].

Закрытие костелов или преобразование их в православные церкви, имевшее место в северо-западных губерниях в первые годы после подавления Январского мятежа, трактовавшееся противниками российской имперской политики как проявление «параноидальной католикофобии», было обусловлено вполне прагматическими соображениями и имело четко аргументированное обоснование. Типичным примером информационного сопровождения и аргументации в пользу данных мер может служить записка русского чиновника Минской губернии по инженерной части коллежского советника А. Скуратова губернатору Е.А. Касинову, датированная декабрем 1868 г. о необходимости упразднения костела в местечке Глуск Бобруйского уезда и возможного его преобразования в православную церковь.

Аргументы, изложенные автором записки, характерны для отечественного национального дискурса и сводятся к трем основным тезисам. Во-первых, данное местечко, как и многие другие, подобные ему поселения Минской и других северо-западных губерний характеризовались как древние «исконно-православные центры», насильственно окатоличенные местными «совращенными в латинство» магнатами, развернувшими в XVII в.

[1] Киевлянин. 1865. № 63. 1 июня.
[2] Там же.

«усиленную борьбу с православием»[1]. Второй аргумент в пользу преобразования местного костела в православную церковь состоял в том, что подавляющее большинство местного населения было православным, а прихожане костела, представленные исключительно шляхтой и ее дворней, были весьма немногочисленными и рассеянными по всему уезду, что позволяло объединить их с прихожанами соседнего – Хоромицкого костела[2]. И, наконец, величественный костел, олицетворявший польское господство в крае и символически доминировавший над местечком, по сведениям автора записки, неоднократно становился центром польских политических манифестаций, «ускользавших от благовременного внимания правительства по причине отсутствия бдительного надзора со стороны местных властей и недостатка истинно русских деятелей»[3]. Ссылаясь на то, что в 1832 г. существовавший здесь бернардинский монастырь был закрыт «за политические действия против русского правительства», Скуратов призывал «навсегда покончить» с данным центром «происков польской пропаганды», благодаря которой местная православная церковь, построенная в 1865 г. оказалась с недостатками и находилась в «запустении»[4].

Данные аргументы с некоторыми вариациями использовались многими русскими деятелями Северо-Западного края, призывавшими к сокращению численности католических монастырей и костелов в регионе, что позволяет говорить о формировании в рамках национально-консервативного дискурса устойчивой концептуальной основы, на которой, по мнению ее создателей, должна была строиться правительственная политика в крае. При этом, следует отметить, что имперская администрация далеко не всегда поддерживала данную позицию, руководствуясь принципами веротерпимости и необходимостью сдерживания межконфессиональных конфликтов. Так, в частности, приведенное выше предложение инженера А.

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1899. Л. 13.
[2] Там же. Л. 13 об.
[3] Там же. Л. 12–13.
[4] Там же. Л. 13.

Скуратова, несмотря на подтверждение местным исправником указанных им фактов и поддержку данной инициативы со стороны минской православной консистории, не было реализовано[1], и костел в Глуске продолжал функционировать вплоть до советского периода.

В русском антикатолическом дискурсе прослеживается направление, стремившееся «отделить» католическое духовенство от интересов польского народа, ставшего заложником власти ксендзов, которые во время восстания не следовали за движением народных масс, а подстрекали их к вооруженному мятежу, руководствуясь не национальными польскими чаяниями, а интересами собственной церкви. В одной из анонимных записок, автор которой поддерживал ограничительную правительственную политику в отношении католической церкви в Царстве Польском и Западном крае, подчеркивалось, что «католический ксендз является, прежде всего, легионером Ватикана», отстаивая интересы Папского престола перед лицом светской власти[2]. Успех польского восстания, по мнению автора записки, непременно привел бы к усилению политической власти католической церкви, что спровоцировало бы ожесточенную борьбу между светскими и клерикальными силами, вылившуюся в новую «внутреннюю революцию», полное разложение страны и ее подчинение более сильным соседям[3]. Ограничение политического влияния католической церкви имперским правительством рассматривалось, следовательно, как защита не только западнорусских народных масс, но и самого польского народа от ее «фанатизирующего» воздействия.

Вненациональный характер католического духовенства обуславливался также некоторыми свойственными ему каноническими нормами, такими как «отречение от семьи» его служителей, которые тем самым отрывались от воплощавшейся в ней естественной связи прошлого и будущего, являвшейся «зерном национальности и основой государственности». Католическая

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1899.Л. 19, 31.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 432. Л. 10.
[3] Там же. Л. 9.

церковь представлялась силой, не способной содействовать развитию национального начала, поскольку все ее усилия были направлены исключительно на защиту интересов собственной «ассоциации», стоящей вне национальных интересов. Анонимный автор записки был убежден в том, что «всякое правительство, стремящееся противодействовать развитию сил такой ассоциации, действует в интересах народа, в интересах национальности»[1].

Важнейшим аргументом в пользу ограничения влияния католической церкви в Западном крае являлось активно отстаиваемое представление о том, что ксендзы, под влиянием «латино-польских политических стремлений», длительное время удерживали народные массы во мраке невежества, не развивая его до понимания истинной веры и христианских добродетелей. Театрализованные проповеди католических священников, сопровождаемые многочисленными внешними эффектами, призванными оказать максимально возможное эмоциональное воздействие на прихожан, по мнению критиков католицизма, препятствовали спокойному и осознанному пониманию прихожанами основ христианского вероучения, что являлось первостепенной задачей духовных пастырей[2], способствуя тому, что верующие выносили из храма не «мир для души своей, не просветленное понятие о христианских добродетелях и учении Богочеловека, а призраки ужасов, нарисованных перед ними красноречивым словом ксендза – кознодея»[3]. Признавалось, что образованный и верно следующий своему призванию православный священник в гораздо большей степени способен донести догматы христианского вероучения до простого народа, при этом, формируя в его сознании чувство христианского смирения и любви к ближнему.

Усматривая одну из важнейших причин дефицита политической лояльности католической церкви в ее первостепенном служении папскому престолу, враждебному православию и, как следствие,

---

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 432. Л. 9.
[2] Кое-какое различие между папством и православием. Вильна. Тип. Губернского правления. 1866. С. 11–13.
[3] Виленский вестник. 1866. № 151. 15 июля.

покровительствовавшему его российскому самодержавию, представители русской светской и духовной общественности выступали с глобальными проектами выведения российской католической церкви из-под власти Ватикана и создания в Российской империи независимой католической иерархии. Данная реформа, по мысли ее сторонников, способствовала бы постепенному «перерождению» католицизма и устранению из него ярко выраженной антиправославной и антигосударственной составляющей, что позволило бы избежать вынужденных репрессивно-дискриминационных мер воздействия в его отношении со стороны имперской администрации и превратить его в орудие интеграции западных окраинных регионов в единое государственное пространство России. Освобожденная от власти Рима независимая российская католическая церковь должна была превратиться в более лояльную и совместимую с русским государственным началом конфессию.

Однако для некоторых, наиболее решительных сторонников конфессиональной русификации Северо-Западного края данная мера представляла собой лишь первый шаг в задумываемом ими слиянии католицизма с православием, которое должно было представлять собой альтернативу прямому обращению католиков в православие, чреватому обострением религиозных распрей и дестабилизацией ситуации в регионе.

Данная идея была обстоятельно изложена в нескольких анонимных записках, относившихся к 1865 – 1866 гг., в которых детально аргументировалась необходимость новой православно-католической унии, доминирующее положение в которой должно было занимать православие[1]. В записках подчеркивалось, что сохранение римско-католической церкви в Северо-Западном крае является главным препятствием для его мирного развития и проводимой правительством политики деполонизации, однако прямое давление на нее могло привести лишь к усилению ее внутреннего

[1] РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19; ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 707; РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 271; ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 713; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 39. (1-я экспедиция 1864). Д. 82.

сопротивления, в связи с чем прямолинейная политика православной русификации края подвергалась резкой критике[1]. В противовес ей предлагался «компромиссный» путь «реорганизации» католицизма, представлявший собой не болезненную и неприемлемую для большинства верующих смену вероисповедания и религиозного самосознания, а сугубо секулярную кампанию, в основе которой должна была лежать, в первую очередь, политическая мотивация. В записках излагались основные этапы и организационные формы проведения данного преобразования, инициатива которого должна была исходить от наиболее влиятельных представителей местной шляхты и католического духовенства. Примечательно, что предполагаемая уния рассматривалась ее сторонниками как модерный шаг, идущий в ногу с гражданскими преобразованиями 1860-х гг., который, с одной стороны, будет способствовать преодолению архаики, олицетворяемой римским католицизмом, а с другой – станет альтернативой административным практикам обрусения, порождавшим устойчивые антиправительственные настроения и вредные социальные учения[2].

По мнению М.Д. Долбилова и Д. Сталюнаса, записки являлась результатом коллективного творчества, в котором принимали участие архиепископ Антоний (Зубко), бывший одним из активных сторонников воссоединения униатской церкви с православием, предводитель дворянства Минской губернии Е.С. Прушинский, который будучи католиком, тем не менее, выступал за всестороннее сближение с Россией и пользовался доверием местной администрации, а также видного виленского издателя и публициста А.К. Киркора[3].

Масштабная идея слияния католической и православной церквей, которую М.О. Коялович метко назвал «обратной унией»[4], в результате которой должна была возникнуть новая, гибридная «объединенная» церковь,

[1] РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 20–20 об., 38; РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 271. Л. 22 об.
[2] РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 43–48.
[3] Долбилов М.Д., Сталюнас Д. «Обратная уния»: проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865 – 1866 годы) // Славяноведение. 2005. № 5. С. 17–23.
[4] Виленский вестник. 1866. № 150. 14 июля.

в силу своей экстравагантности и сложности, безусловно, не могла восприниматься представителями имперской администрации всерьез. Осознавая, что данный проект, даже отодвигаемый на долгосрочную перспективу, в глазах государственных чиновников выглядел крайне утопично, его сторонники стремились акцентировать внимание администрации на первой стадии его реализации – выведении католической церкви из-под власти Рима, что само по себе должно было дать ощутимые положительные результаты в деле упрочения русского влияния в Северо-Западном крае. Основания надеяться на возможность реализации хотя бы данной части проекта имелись, поскольку представители высшей администрации региона проявляли интерес к идее отделения католиков Западного края от влияния Рима, как одному из путей укрепления их лояльности[1].

Именно поэтому в письме архиепископа Антония, направленному генерал-губернатору К.П. Кауфману в апреле 1866 г., в котором священнослужитель доводил до главы края предложение минского губернского предводителя дворянства Е.С. Прушинского о необходимости отделения западно-католической церковной иерархии от Рима, идея будущего слияния католицизма с православием упомянута лишь вскользь, как далекая перспектива[2].

Письмо акцентировало внимание адресата на необходимости прочного слияния западных губерний, признававшихся «исконно русским краем», с остальными территориями России, для чего следовало устранить «главный зародыш» вражды ко всему русскому, укоренившийся в крае во времена польского владычества. Источник зла усматривался в распространяемом католической церковью учении о неугодности Богу всех, кто не подчинявшихся власти римского папы. Указывалось на прямую антигосударственную направленность данного учения, отстаиваемого

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 758а. Л. 26.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 712.

русскими подданными католиками-папистами, «обязанными по своему вероисповеданию быть врагами православия», которые ограждались государственными законами и фактически имели право легально осуществлять свою подрывную работу[1].

Вследствие доктринально враждебного отношения папского престола и служащих ему католических священников к православию, архиепископ Антоний солидаризировался с предложением Прушинского составить в западных губерниях независимую от Рима западно-католическую иерархию, которая должна была стать первым шагом к постепенному сближению и возможному «слиянию» католицизма с православием[2]. Автор письма не призывал подчинять новую католическую иерархию Святейшему Синоду, что, по его словам, вызвало бы много «ломки» и могло натолкнуться на нежелание самого православного духовного ведомства «терпеть римское богослужение и религиозные западные привычки»[3]. Он полагал, что инициатива религиозного сближения могла исходить от наиболее «благонамеренных и благоразумных» помещиков Западного края, желавших «сердечного единения с Россией» и лояльных представителей местного католического духовенства. Следует отметить, что Прушинский не разделял убеждения многих крайних «русификаторов» о поголовном религиозном «фанатизме» католических епископов, отмечая, что многие из них лишь «играют роль фанатиков для снискания популярности у своих овец» и легко изменят свой образ поведения, узнав о намерении наиболее влиятельной части своей паствы сблизиться с Россией[4].

Предлагаемая Прушинским схема реализации данного преобразования полностью повторяла механизм, изложенный в упомянутых анонимных записках. Минский предводитель дворянства полагал, что данный вопрос не следовало выносить на обсуждение в дворянских собраниях, в которых

---

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 712. Л. 1 об.–2.
[2] Там же. Л. 2 об.
[3] Там же. Л. 3.
[4] Там же. Л. 4.

отдельные «крикуны» могли запугать благонамеренную часть помещиков трудностями данного преобразования, «притягивая» их на свою сторону. Прушинский предлагал воспользоваться опытом ликвидации униатской церкви и начать реализацию своей идеи со сбора с каждого помещика и ксендза, «по усмотрению их склонности, особой подписки о готовности подчиняться независимой от папы западно-католической иерархии»[1]. Данный адресный характер волеизъявления должен был побудить большую часть местного дворянства и духовенства поддержать выдвигаемую инициативу, а также выявить потенциально нелояльную его часть. Архиепископ Антоний, характеризуя минского предводителя как «благонадежного и преданного» представителя местной общественности, обладавшего большим «гражданским мужеством», считал его достаточно авторитетным для успешной реализации выдвигаемой им идеи[2].

Ходатайствовавший о «соединении» данного проекта с проводившейся генерал-губернатором «благотворной» системой управления краем священнослужитель не заострял внимание генерал-губернатора на перспективе православно-католической унии, указывая на многочисленные непосредственные политические выгоды от создания независимой от Рима католической иерархии, которая могла бы способствовать обрусению края, не пропагандируя папизм и не препятствуя реализации закона, запрещавшего совращать православных в католичество[3].

Таким образом, позиция представителей центральной и региональной национально-консервативной общественности и российских властей в отношении католической церкви определялась необходимостью возвращения ее в те пределы, выход за которые вел к утрате духовенством присущего его званию и положению характера и противоречил не только имперскому законодательству, но и самому содержанию христианского благовестия, проповедовавшего любовь к ближнему, милосердие и спасение для жизни

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 712. Л. 3.
[2] Там же. Л. 1–1 об.
[3] Там же. Л. 5.

вечной[1]. Отечественные публицисты подчеркивали, что до тех пор, пока католическое духовенство на западных окраинах будет придерживаться агрессивных ультра-клерикальных позиций и напрямую отождествлять себя с польским началом, оно будет рассматриваться как враждебная русской государственности сила, что будет предоставлять последней право прибегать к административным мерам воздействия в их отношении[2]. При этом, ни к каким притеснениям канонического или материального характера, затруднявшим законную деятельность католического духовенства, охранявшуюся имперским законодательством, представители русской общественной мысли не призывали, подчеркивая необходимость предоставления ему значительного жалования от казны, побуждавшего ксендзов дорожить своим местом и верно исполнять свой пастырский долг[3].

Планируемая и проводившаяся на практике политика обрусения Западного края в религиозном измерении вызвала к жизни вопрос о критериях отстаиваемой русскости и ее связи с православным вероисповеданием. Традиционное представление, разделяемое большинством имперских чиновников и значительной частью русской национально-консервативной общественности, исходило из невозможности отделения вероисповедания от народности, вследствие чего обрусение края напрямую связывалось с восстановлением и укреплением влияния православной церкви и постепенным ослаблением позиций католицизма, вплоть до его полного вытеснения.

Практическая реализация данной идеи выразилась в попытках массового обращения местного населения в православие административными методами, проводившемся руководством Виленского генерал-губернаторства в 1865 – 1868 гг. Согласно официальной риторике, данный процесс трактовался как добровольное «возвращение» русских жителей в лоно православной церкви и объяснялся тем, что «вскоре после мятежа, многие из

[1] РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 64. Л. 2.
[2] Виленский вестник. 1866. № 144. 7 июля.
[3] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 702. Л. 12 об.

совращенных в прежнее время и ополяченных местных русских, смущенные позорным участием в мятеже многих из латино-польского духовенства, почувствовали потребность быть в единой вере с Царем-Освободителем»[1]. В основе данной политики лежало представление о тождественности национальности, в первую очередь, с вероисповеданием, смена которого неизбежно влекла за собой изменение национальной самоидентификации. Особое внимание акцентировалось на отдельных случаях добровольного возвращения к православию представителей местной шляхты или католического клира, которое трактовалось как «возвращение к вере предков». Так, например, большой резонанс имели переходы в православие князя Друцкого-Любецкого и ряда местных католических священников, чьи исповеди, содержавшие мотивацию их решения, были опубликованы на страницах «Виленского вестника»[2]. Объясняя свое решение, Друцкий-Любецкий писал: «Нам, русским по происхождению, которых предки были православными, возврат к православию единственный путь, могущий принести пользу краю, поставить нас самих на естественную почву и обеспечить личность нашу от эксплуатации в пользу планов демократическо-католической эмиграции»[3].

И в то же время, исходя из устойчивого представления о «привнесенном» и чужеродном для местного населения характере католицизма, администрация считала вполне оправданным не дожидаться массового добровольного возврата к «исконной» вере местного белорусского населения, а подталкивать его к этому посредством комплекса мер, включавших в себя идеологическое воздействие, материальное стимулирование[4], так и прямое административное давление[5]. Такой характер распространения православия придавал ему ярко выраженный характер

[1] Батюшков П.Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-Западного края. СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1890. С. 372.
[2] Виленский вестник. 1866. № 70. 5 апреля; № 186. 3 сентября; № 217. 14 октября; № 218. 15 октября.
[3] Виленский вестник. № 186. 3 сентября.
[4] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 7292. Л. 59.
[5] НИАБ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 31411. Л. 1.

политического миссионерства. Обрусителями была поставлена цель, звучавшая вполне по-боевому: «Католицизм должен быть отброшен за Неман!»[1].

Практика попыток административной «православизации» населения края, достаточно подробно рассмотренная в исследовательской литературе[2], вызывала у многих светских и духовных лиц серьезные сомнения, как в прочности достигаемых результатов, так и в самой целесообразности проводимой политики. «Русскость» вновь обращенных неофитов, купленная материальными стимулами, такими как бесплатные раздачи казенных земель, сохранение места, денежные жалования или освобождение о рекрутских наборов, либо достигнутая в результате прямого административного давления, представлялась сомнительной и весьма непрочной. Обратной стороной подобных административных обращений стало широкое распространение феномена «упорствующих», состоящего в том, что лица, формально добровольно принявшие православие, отказывались выполнять канонически необходимую часть процедуры присоединения, к чему их приходилось принудительно. Непрочность внешне впечатляющих результатов административных обращений подтверждалась последовавшим вскоре широким оттоком новообращенных православных обратно в католицизм, бороться с которым православные священники не имели возможности и зачастую отказывались, заявляя, что, поскольку обращение проходило бюрократическим путем, то и удержание неофитов в новой вере есть задача в большей степени светских, а не религиозных властей[3]. О

---

[1] Владимиров А.П. Из новейшей летописи Северо-Западной России (1865 г.). История плана располячения католицизма в Западной России // Русская старина. 1885. Т. 48. Вып. 10 (октябрь). С. 105.

[2] См.: Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 367–451; Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. С. 168–241; Западные окраины Российской империи. С. 230–236; Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). С. 25–68; Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. С. 236–267.

[3] Фудель И. Наше дело в Северо-Западном крае. М.: Университетская тип., 1893. С. 5; Извеков Н.Д. Некоторые черты деятельности митрополита Макария (Булгакова) по управлению Литовской епархией // Богословский вестник. 1892. Т. 3. № 12. С. 416.

«равнодушии и замечательном слабодействии местного православного духовенства» в деле поддержки административного насаждения православия, не позволившем успешно реализовать данный проект писали многие представители местной администрации[1].

Основная масса православного духовенства играла вспомогательную роль в этом процессе, который понимался им как исключительно «политическое дело», поддерживать которое многие священники не могли и не стремились. Правда, это не относилось к сформировавшемуся в крае типу «боевого духовенства», образ которого довольно точно описан в работе священника И. Фуделя. Он отмечал, что такие священники «представляют из себя довольно точную копию ксендзов. Действия их всецело исходят из положения «цель оправдывает средства»…Борьба тайная и явная с ксендзами всеми возможными средствами, постоянные розыски лиц, упорно отклоняющихся от православия, воздействие на них при помощи полиции, постоянное хождение по судам и возбуждение дел «о совращении» – занимает у этих «пастырей» все свободное время»[2]. Этот воинствующий тип священнослужителя взывал неодобрение как церковных иерархов, не приемлющих способы деятельности, характерные для фанатичных католических миссионеров, так и светских властей, опасавшихся, что чрезмерный миссионерский пыл и «боевые» приемы религиозной агитации могут привести к межконфессиональным конфликтам и дестабилизации обстановке в крае.

Необходимо отметить, что многие представители национально-консервативной общественности не одобряли проводимую виленской администрацией политику административного насаждения православного вероисповедания в крае, осознавая не только неэффективность, но и неправомерность данной практики, которая выставляла государственную

[1] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 39. (1 экспедиция 1864 г). Д. 82. Л. 32–33.
[2] Фудель И. Наше дело в Северо-Западном крае. С. 7.

власть в неблаговидном свете «гонителей веры», отталкивая от нее даже потенциальных союзников, прочно державшихся за веру предков.

Данному вопросу была посвящена отдельная статья М.Н. Каткова, в заглавии которой он задавался отнюдь не риторическим вопросом «Есть ли какая необходимость обращать Белорусов-католиков в православие?»[1]. Идею полного изгнания католицизма из региона, в котором он существовал много столетий, публицист считал полной химерой, не только по причине ее практической неосуществимости, но и по правовым и политическим соображениям, поскольку в многоконфессиональном Российском государстве, признающим различные вероисповедания, подвергать гонениям одну из них было бессмысленно и политически недальновидно. Выступая против административного насаждения православия, редактор «Московских ведомостей» выражал глубокие сомнения в том, что «полицейское завоевание белорусов-католиков для православной церкви послужило бы ей в прок», поскольку это ни в коей мере не убавило бы (а, напротив, скорее увеличило бы) «сумму неприязненных России интересов», поддерживаемых католической церковью[2]. Защищая религиозные чувства русских католиков, он снимал с них всякую вину в «отступничестве», поскольку они родились и выросли «в вере дедов и прадедов своих», отказаться от которой для них было практически невозможно. Напротив, в сохранении католического вероисповедания у русских людей, ничем, кроме религии, не отличавшихся «от своих братий православного вероисповедания» публицист видел «благоприятную почву» для освобождения «католической веры от фальшивой политической примеси», для изъятия «фальшивой религиозной силы у польской национальности»[3].

Один из постоянных северо-западных корреспондентов «Московских ведомостей» С.А. Райковский напрямую обращался к генерал-губернатору К.П. Кауфману с призывом прекратить данную политику, отталкивавшую

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1866. С. 295–298.
[2] Там же. С. 298.
[3] Там же.

значительную часть населения от власти и дискредитировавшую само православное вероисповедание, но в ответ лишь получил упрек в «равнодушии» к делу распространения государственной веры[1]. Крайне негативно о практике административного насаждения православия отзывался также видный представитель западнорусского исторического направления П.А. Бессонов, хотя и призывавший к пресечению «католической пропаганды в ущерб православию», но настаивавший на исключительно неконфликтных мерах идеологического, «нравственного» воздействия на «заблудшие» народные массы[2].

Согласно более модерному подходу, в основе которого лежала идея политической нации, ключевой критерий русскости связывался не с православным вероисповеданием, а с владением и публичным использованием государственного гражданского русского языка, признаваемого универсальной ценностью. Данный подход стал идейной основой концепции обрусения католического богослужения, предполагавшей отделение католического вероисповедания от присущего ему в регионе полонизма, превратив его приверженцев в неотъемлемую часть русской политической нации. В практической плоскости идея русификации костела позволяла отказаться от попыток вытеснения католицизма за пределы Западного края, реализация которых усиливала конфронтационный компонент окраинной политики и была едва ли осуществима, что наглядно продемонстрировал опыт кампании массового обращения католиков в православие, оказавший значительное влияние на характер отечественного консервативного дискурса, посвященного конфессиональному измерению интеграции западных окраин в имперское пространство.

Многочисленные эксцессы, вызванные достаточно прямолинейными попытками административного миссионерства[3], их противоречие принципам

[1] ОР РГБ. Ф. 120. К. 24. Ед. хр. 68. Л. 105 об.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 709. Л. 1–2.
[3] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 39. (1 экспедиция 1864 г.). Д. 82. Л. 2–13, 32–48; НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 2169. Л. 5–17; Д. 7292. Л. 60–61.

имперской веротерпимости, признававшим право поликонфессионального подданства, а также постепенно укреплявшееся осознание пределов административной власти, выход за которые был чреват дестабилизацией социально-политической обстановки в регионе, актуализировало необходимость поиска и применения иных, более гибких и модерных форм обрусения края.

Следует отметить, что формальным основанием для практической реализации данной идеи стали ходатайства и запросы о переводе польских проповедей на белорусский язык, поступавшие со стороны католического духовенства Витебской и Могилевской губерний осенью 1865 г. Хотя данная идея и не была поддержана Святейшим Синодом, нашедшим ее «неудобной и неблагоприятной для интересов русской народности», она послужила толчком для начала использования русского языка во время проповедей и дополнительного богослужения, инициатива которого исходила от католических священников, чьи действия вызвали значительный резонанс и во многом подтолкнули имперские власти к административной поддержке начавшегося движения[1]. Попечитель Виленского учебного округа П.Н. Батюшков, приветствовавший данную инициативу, утверждал, что «во всех этих, крайне замечательных, случаях, не было ни малейшего вмешательства власти. Русская речь оживала благодаря собственному почину законоучителей»[2]. Сомневаться в истинности данных суждений нет никаких оснований хотя бы потому, что в среде высшей и региональной имперской администрации к концу 1860-х гг. не было выработано единого мнения о целесообразности изменений в церковно-лингвистической политике.

Первым, кто в среде русской общественности открыто и аргументировано изложил идею «разъединения католицизма и польской национальности» путем введения русского языка в католическое богослужение был М.Н. Катков. На страницах «Московских ведомостей» он

[1] Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). Минск: Издательство БГУ, 2010. С. 74, 78.
[2] ОР РНБ. Ф. 52. Ед. хр. 58. Л. 7.

неоднократно писал о «фальшивом и пагубном» соединении католицизма и польского языка, на котором велось дополнительное католическое богослужение в костелах Западного края и преподавание Закона Божьего в начальных и средних учебных заведениях[1]. Язык богослужения рассматривался консервативным публицистом как один из важнейших элементов национальной идентичности, который придавал религии «силу политического начала» и способствует формированию особых национальных групп, «определяемых в своей национальности религиозными верованиями» и стремящихся не только к религиозному, но и к политическому отчуждению[2]. По мнению Каткова, религиозный фанатизм, свойственный католическому вероучению, именно в соединении с польскими национальными элементами, важнейшим из которых является язык, породили «сумасбродное, уродливое, исполненное фальшивого мистицизма явление, которое в настоящее время зовется польскою национальностью»[3].

В соответствии с отстаиваемой концепцией наднациональной и надконфессиональной модерной имперской государственности, подданные которой, вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, интегрируются в общее культурное и цивилизационное пространство посредством общего использования во всех сферах жизни единого государственного языка, Катков призывал внедрить его в католическое богослужение, разъединив религиозные и политические элементы современного ему католицизма[4].

Смешение религии с политической национальностью Катков считал «злоупотреблением», отрицательно влиявшим как на характер и искренность религиозных представлений, так и на государственные интересы[5]. Именно поэтому он испытывал значительный скепсис в отношении административной православизации, сомневаясь в ней как в действительно

[1] Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865. С. 447–448.
[2] Там же.1866. С. 78, 305.
[3] Там же. С. 306.
[4] Там же. С. 298.
[5] Там же. С. 756–757.

эффективном рычаге русификации западных окраин. По его мнению, только русификация католического богослужения способствовала бы действительному обрусению населения западных окраин, многие из представителей которого действительно стремились к этому, не желая при этом отказываться от веры своих предков. С морально-этической точки зрения Катков полностью оправдывал нежелание местных католиков менять свои религиозные убеждения, вследствие чего эти люди невольно оставались во власти враждебного русскому делу полонизма, поскольку последний был неразрывно связан с католическим вероучением и богослужением[1]. Лишь отделив эти явления друг от друга, можно было добиться действительной и прочной деполонизации края без вытеснения из региона католицизма, не порождая искусственно межконфессиональную напряженность в регионе.

Идею деполонизации костела и церковного образования в Западном крае редактор «Московских ведомостей» отстаивал до конца своей жизни, на более поздних этапах допуская использование, наряду с русским, и местных языков. В 1882 г. в обращении к императору Александру III, обосновывая свою точку зрения по данному вопросу, Катков писал: «Требуется начать дело с оснований. Чтобы оно получило серьезное значение необходимо в римско-католических семинариях западного края воспитывать на русском языке духовенство из местных элементов. Рядом с русским языком можно безопасно преподавать и литовский»[2].

Идею русификации католической церкви в западных регионах Российской империи поддерживал сторонник катковской модели развития имперской государственности и концепции политической нации М.В. Юзефович, также выступавший против прямого отождествления «русскости» с православным вероисповеданием. Он считал политически нецелесообразным и абсурдным отказывать неправославным имперским подданным в праве быть русскими, к чему призывала «русско-православная»

[1] Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865. С. 756–757.
[2] ОР РГБ. Ф. 120. К. 47. Ед. хр. 1. Л. 55 об.

национальная теория. Главным идентификационным маркером для публициста являлся государственный язык, который должен был внедряться во все сферы публичной жизни западных окраин, не исключая и религиозную область. Перевод на русский язык католического богослужения, по его мнению, позволит отнять у латинства «оружие, которым только и может оно наносить нам язвы – оружие польщины», возвратив его в пределы исключительно религиозных отношений и утвердив в сознании католического духовенства доминанту государственных символических маркеров и обязанностей граждан и подданных Российской империи, от которых их не освобождала латинская сутана[1]. Помимо этого, данной цели должно было служить и строгое пресечение таких знаковых «злоупотреблений понятиями», как определение католическими епископами себя как «граждан Рима» (eivis romanus), которые следовало исключить из латинских титулярных формул, устранив, тем самым, их отстраненность от имперского государственного сообщества[2]. Юзефович не предлагал напрямую сокращать численность католического духовенства, указывая, тем не менее, на прямое право государства требовать приведения его численного отношения к своим прихожанам в строгую соразмерность с существующим численным отношением православных служителей церкви к собственной пастве, что, безусловно, привело бы к значительному сокращению количества католических священников. Данные мероприятия киевский публицист считал вполне достаточными для ослабления «воинствующей силы» католической церкви на западных окраинах, предоставляя остальное «времени и той неотразимой силе, которую носит в себе всякая истина, а тем более такая истина, как православие»[3].

Идея «располячивания» костела имела многих приверженцев среди русской бюрократии и интеллигенции Северо-Западного края. Одним из наиболее активных энтузиастов данного проекта был служащий виленской

[1] Юзефович М.В. Народность и государство. Киев: Университетская тип., 1867. С. 7.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 8

публичной библиотеки А.П. Владимиров, направивший в январе 1866 г. генерал-губернатору Кауфману обстоятельную «Записку о располячении Западнорусского костела через введение русского языка вместо польского в дополнительное богослужение и проповедь». В ней доказывался приоритет языка над вероисповеданием в осознании любым народом своей национальной идентичности. Автор записки утверждал, что до тех пор, пока католики Северо-Западного края будут использовать в богослужении польский язык, являвшийся для них «священным» языком общения с Богом, они будут неизменно испытывать тяготение ко всему польскому[1]. Именно поэтому он считал необходимым «разъединить» полонизм и католицизм, что позволило бы ослабить последний и «обезвредить его по отношению к русскому государству и русской народности». С тем же самым успехом данная мера восстановила бы «священное право западнорусского народа молиться на своем родном языке»[2].

Владимиров также был принципиальным противником политики административных «обращений» в православие, широко практиковавшейся в это время в регионе, которая, по его мнению, «страшно повредила здесь государственным интересам», во многом парализовав в западнорусском населении любовь и благодарность к русскому правительству за освобождение его от рабства и за устройство его быта. Данную практику он находил не только противной принципу религиозной свободы и оскорбительной для самого православия, лишаемого такими обращениями внутренней духовной привлекательной силы, но и практически нецелесообразной, поскольку она отталкивала населения, возбуждая в нем ненависть ко всему русскому[3]. В связи с этим он даже имел столкновения с одним из наиболее горячих местных сторонников административной «православизации» А.В. Рачинским, которого считал видным русским

[1] РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 1–1 об.
[2] Владимиров А.П. Из новейшей летописи Северо-Западной России. История плана располячения католицизма в Западной России // Русская старина. 1885. Т. 48. Вып. 10 (октябрь). С. 106–107.
[3] Там же. С. 104.

деятелем и вообще «отличным человеком», но страдающим крайней ненавистью к католицизму, доходившей до фанатизма и мономании[1].

«Освобождение римского католицизма от польской окраски» в Северо-Западном крае, как одну из наиболее важных задач русской политики в регионе также отстаивал уже упомянутый видный русский ученый и администратор, занимавший пост попечителя Виленского учебного округа, П.Н. Батюшков. Данная цель, по его мнению, должна была реализовываться путем перевода обучения католическому Закону Божьему на русский или литовский языки, а также использования их в дополнительном католическом богослужении и проповедях, попытки чего неоднократно предпринимались, но не проводились целенаправленно и настойчиво. По мнению Батюшкова, радикальным средством, способным освободить католиков Российской империи от всяких внешних влияний, с которыми поляки стремились «соединить и отождествить дело своей народности», было бы образование собственной самостоятельной независимой от Папского престола римско-католической церкви. Однако эта мера представлялась слишком смелой и сложной для российского правительства, не желавшего стеснять свободы совести своих подданных[2]. Администратор считал, что дело укрепления православия в Западном крае, бесспорно, необходимое для подъема русской народности в регионе, само по себе едва ли способно ослабить влияние польского католичества, вследствие чего оно должно дополняться целенаправленными мерами по «располячиванию» католицизма. По инициативе Батюшкова в учебных заведениях Виленского учебного округа в целях «отделения полонизма от католичества» начался перевод на русский язык и распространение среди учеников-католиков некоторых римско-католических молитвенников, что, по наблюдению попечителя, «не возбудило в учащихся или их родственниках никакого неудовольствия»,

---

[1] Владимиров А.П. Из новейшей летописи Северо-Западной России. История плана располячения католицизма в Западной России. С. 105.

[2] Батюшков П.Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-Западного края. СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1890. С. 375.

доказательством чего стал высокий уровень требований русскоязычных молитвенников, а также их активное использование в обучении[1].

Следует отметить, что идея внедрения русского языка в католическое богослужение выдвигалась не только видными консервативными теоретиками, придерживавшимися концепции секулярного национализма, и их региональными адептами в среде виленских администраторов, педагогов и просветителей, но и рядовыми представителями западнорусской православной интеллигенции и духовенства Северо-Западного края, стремившимися обосновать свое мнение и довести его до сведения местных властей. В этом отношении значительный интерес представляет анонимное письмо, написанное в 1868 г., в разгар полемики по данному вопросу и направленное к мировому посреднику Новогрудского уезда Минской губернии Старковскому, в котором приводилась развернутая аргументация в пользу скорейшего вытеснения польского языка из местной католической церкви.

Традиционно для представителей местной пророссийски ориентированной общественности охарактеризовав западные окраины России «от Пскова до Кишинева и от Бреста до Киева и Могилева» как «чисто русские земли», где слышна «из уст народа исключительно русская речь», анонимный автор с горечью указывал на происходившее здесь «насилование его русизма» в вероисповедальной сфере, состоявшее в том, что «русский крестьянин, если он католик», не мог совершать обычных религиозных обрядов, бракосочетаться и быть крестным отцом, «не мог публично молиться за русского Царя», если он не знал польского языка[2]. Характеризуя задачи имперских властей в крае, аноним подчеркивал, что они состояли вовсе не в его «обрусении», поскольку «нельзя обрусить русского», как и «онемечить немца», а в том, чтобы «искоренить полонизм», защитив от

[1] ОР РНБ. Ф. 52. Ед. хр. 55. Л. 4 об.
[2] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1907. Л. 2–2 об.

него народные массы[1]. Автор письма исходил из аксиомы, согласно которой именно по языку, на котором молится человек, определяется его народность, ибо «ни один народ во всей вселенной не молится иначе, как на своем народном языке». Это означало, что более миллиона коренных русских крестьян-католиков, искусственно вовлекалось в орбиту полонизма посредством навязывания ему «лишнего и ненужного, враждебного» языка[2]. Анонимный автор рисовал чрезвычайно мрачную политическую перспективу сохранения данного положения, полагая, что «укрепляясь в своем полонизме», крестьяне-католики со временем могут превратится в «могучее против России орудие», которое непременно будет использовано «польской идеей и польской революцией»[3].

Предотвратить столь неблагоприятный для России сценарий можно было лишь путем «удаления» польского языка из католического богослужения, что освободило бы русских крестьян от необходимости его обязательного изучения и привело бы к разрушению их связи с полонизмом. Примечательно, что главную ответственность за обоснование и разъяснение правительству «ненормальности» существующего положения и необходимости его скорейшего изменения автор возлагал на местную русскую общественность в лице мировых посредников, которым была «вверена судьба низшего класса русского народа» и в чьи обязанности, помимо защиты его материальных интересов, входили заботы о сохранении его этнической принадлежности. Призывая их употребить все свое «нравственное и служебное влияние» в деле, имеющем огромное политическое значение не только для Западного края, но и для всей России, он писал: «Если вы теперь разорвете цепи, приковывающие ко всему польскому, следовательно, к Польше этот миллион крестьян, если он теперь же назовет и признает себя русским, то дело Западной России выиграно, и

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1907. Л. 2.
[2] Там же. Л. 3.
[3] Там же. Л. 4–4 об.

окончательное покорение ее увековечит нынешнее царство во сто крат более, нежели покорение Кавказа»[1].

Следует отметить, что в своем письме аноним указывал на вневременную актуальность межплеменных различий, в то время как значение различий вероисповедальных, по его мнению, уходило в прошлое «вместе со всеми средневековыми идеями и отношениями»[2]. Он признавал естественным существование русских католиков, ключевым маркером этнической идентичности которых являлось бы употребление русского языка во всех сферах публичной и частной жизни. Признание решающей роли языка в самосознании нации обуславливало призывы к его всестороннему упрочению, через которое должна была укрепляться «нравственная солидарность» местного русского народа с Россией. Распространение данных взглядов среди местной русской общественности свидетельствует о проникновении в ее среду модерных представлений о нации, определявших новые концептуальные траектории противодействия полонизму. В то же время очевидно, что автор записки придерживался традиционных взглядов, характерных для представителей западнорусского общества на проблему польского языка в костелах, служившего средством ополячения белорусов-католиков, опасность которого наглядно продемонстрировал польский мятеж 1863 г., когда ксендзы сумели вовлечь в вооруженное выступление против России белорусских крестьян-католиков, считавших себя поляками.

Нельзя отрицать, что некоторые виленские сторонники обрусения костела видели в этом проекте дополнительное средство для будущего сближения православной и католической церквей, способствующее усилению тяготения русского населения западных окраин к православию[3]. Данные чаяния, носившие, впрочем, далеко перспективный характер и вытекавшие из общей логики конфессионального противостояния, имевшего место в Северо-Западном крае, безусловно, не могут являться основанием

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1907. Л. 4.
[2] Там же. Л. 5.
[3] РГИА. Ф. 821. Оп.150. Д. 584. Л. 1–2; 12–12 об.

для заявлений об их «истинном» «неудержимом» тяготении к достижению религиозной однородности русского населения края и неспособности выйти за пределы устойчивой формулы, согласно которой русский может быть только православным[1]. Истинная цель сторонников данного проекта, неоднократно декларируемая ими, состояла в поиске более гибких методов интеграции белорусов-католиков в круг единой русской народности посредством укрепления через языковые маркеры их национальной русской идентичности, что являлось составным элементом общей стратегии деполонизации края.

Данная точка зрения находила понимание и поддержку у руководства Северо-Западным краем не только в лице К.П. фон Кауфмана, считавшегося прямым продолжателем «муравьевского курса», но и у А.Л. Потапова, характеризуемого многими местными русскими деятелями, как «безусловного противника русской исторической политики графа Муравьева»[2]. Отрицая целесообразность прямолинейных механизмов обрусения края посредством насаждения православного вероисповедания, генерал-губернатор акцентировал свое внимание, в первую очередь, на языковом аспекте данной политики, считая главным условием российского верноподданства знание и публичное использование русского языка. Вследствие этого, Потапов считал вполне допустимым введение русского языка в дополнительное католическое богослужение в «белорусских приходах» Северо-Западного края, объясняя тяготение местного населения к Польше именно практикой использования в нем польского языка. Указывая на то, что для народных масс «религия и язык – единственные ассимилирующие начала», генерал-губернатор предлагал воспользоваться этим принципом в деле обрусения края посредством введения «исподволь во все дополнительное богослужение в костелах русского языка вместо польского, и соединением русского языка с религиозными обрядами

[1] Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера. С. 477.
[2] ОР РНБ. Ф. 377. Ед. хр. 11. Л. 1.

возвысить значение его в глазах народа и скрепить родственную связь населения здешнего края с остальной Россией»[1].

Представители высшей имперской администрации одобрили данную инициативу, что нашло свое воплощение в указе Александра II от 25 декабря 1869 г., дозволявшем всем лицам, считавшим русский язык, «в том или другом его наречии» родным, «произносить в иноверческих церквях проповеди и совершать дополнительное богослужение и молитвы на русском языке, не делая, однако, такое употребление языка русского для иностранных исповеданий обязательным»[2]. Во всех формулировках и самой декларируемой цели данного постановления, состоявшей в том, чтобы российские подданные «не были лишены права пользоваться родным языком в делах своей религии» подчеркивался его добровольный характер, не позволяющий характеризовать эту меру как «насаждение» русского языка в католической практике. Имперские чиновники, разъяснявшие его суть местным администраторам, подчеркивали, что цель данной реформы носит сугубо политический характер, заключаясь в «деполонизации Римско-католической церкви и через ее посредство и края», не покушаясь при этом на верования католического населения, «не представлявшиеся вредными»[3].

Следует признать, что активное продвижение концепции «русификации» западнорусского католицизма и комплекс аргументов, выдвигавшихся в ее поддержку на региональном и общероссийском уровнях отечественного национально-консервативного дискурса, сыграли решающую роль в переходе к практическому воплощению данной идеи, что является ярким примером воздействия национально-консервативной общественности на процесс выработки общих принципов имперской политики в отношении северо-западных окраинных регионов России и конкретных механизмов их реализации.

---

[1] РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 34–38.
[2] Там же. Л. 138 об.
[3] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 3107. Л. 22 об.

Несмотря на то, что попытка практической реализации данного замысла столкнулась с множеством трудностей и потерпела общую неудачу, обусловленную преимущественно ошибками в ходе практического осуществления данного проекта[1], характеристика и анализ которых выходит за рамки данного исследования, идея «разъединения» католицизма и польского языка оказалась очень живучей, сохраняя свою актуальность вплоть до конца имперского периода. В 1890-е гг. ее основные принципы отстаивал и развивал Н.Х. Бунге, ссылавшийся в своих «Загробных заметках» на авторитет главных приверженцев данной идеи – Каткова и Батюшкова, которых, по словам автора, нельзя было заподозрить ни в недостатке патриотизма, ни в политической близорукости[2]. Угрозу католического прозелитизма, на которую указывали противники русификации костела, он считал неосновательной, полагая, что следует больше бояться ополячивания белорусов и малороссов католического вероисповедания, чему может способствовать только польский язык богослужения, а также многочисленных ересей, которые быстро распространялись среди великорусского и малорусского населения и со временем могли получить общественное значение[3].

Позднее данный вопрос периодически поднимался и на страницах «Виленского вестника», редактируемого придерживавшимися национально-консервативных взглядов А.С. Вруцевичем и П.Г. Бывалькевичем. Правомерность деполонизации дополнительного католического богослужения здесь обосновывалась в рамках газетной полемики с польской печатью, с возмущением писавшей о внедрении немецкого языка в католическое богослужение на польских землях, принадлежащих Германии и настаивавшей на строгом соблюдении канонических постановлений Римской

---

[1] См. подробнее: Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). Минск: Издательство БГУ, 2010. С. 84–109.

[2] Бунге Н.Х. Загробные заметки // Судьбы России. Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX века). М.: Лики России. 1999. С. 221.

[3] Там же. С. 221–222.

церкви, требующих использования преобладающего языка паствы (Lingva vernacula) в дополнительном богослужении и проповеди. Разоблачая двойные стандарты польских публицистов и католических прелатов, виленская газета указывала на полное игнорирование ими данных правил в отношении Северо-Западного края, в котором, несмотря на преобладание среди католической паствы русского и литовского языка, «беспрепятственно совершается богослужение и проповедь на польском языке», а малейшие попытки изменить данную практику в соответствии с народными интересами расцениваются как «гонения и притеснения» католиков[1]. Газета заявляла о том, что, исходя из самой логики канонических постановлений католической церкви и их польских защитников, в регионе, где русское и литовско-жмудское население, «хотя и ополяченное», составляет сплошную массу, внедрение в богослужение местного Lingva vernacula вполне допустимо и не может характеризоваться как «репрессия» в отношении польского языка[2].

Проект деполонизации костела стал одной из точек размежевания в отечественном национально-консервативном дискурсе, значительную часть концептуального наполнения которого составляла идея укрепления русского национального ядра, имевшего прочную конфессиональную основу. Сторонники стоявшего в ее основе принципа единства русской национальной идентичности и православия подвергли идею обрусения католицизма жесткой критике, усматривая в ней угрозу духовно-религиозным основам русской народности. Принципиальным положением, из которого исходили все противники обрусения костела, состояло в том, что русский народ не может не быть православным[3]. Русские католики, равно как и магометане, иудеи и прочие неправославные представлялись им нонсенсом, размывающим духовные основы русской национальной идентичности.

Главный аргумент против реализации проекта формирования «русского латинства» в крае состоял в том, что католическая церковь, вооруженная

[1] Виленский вестник. 1890. № 229. 24 октября.
[2] Там же.
[3] День. 1864. № 31. 1 августа; РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 878. Л. 6; Д. 189. Л. 6б.

современным русским языком, имея целый ряд внешних обрядовых преимуществ перед православием, могла бы распространить свое влияние на все русскоязычное население западных окраин. Противники русификации католического богослужения опасались, что это не только поставит крест на всех попытках распространения православия в регионе, но и приведет к возврату или переходу в католичество многих местных православных, привлеченных более доступными и понятными им проповедями, обрядами и внешней пышностью костела.

Главным идейным противником катковской концепции русификации католического богослужения среди консервативных публицистов был И.С. Аксаков, настаивавший на первенстве этноконфессиональных начал, лежащих в основе государственной народности. В основе его расхождений с позицией Каткова и других сторонников обрусения костела лежало принципиально иное понимание русскости и вытекавшего из него моделируемого характера российской имперской государственности, доминирующим элементом в которой должна стать русская народность с ее важнейшей духовно-нравственной основой – православием. Право лиц неправославного вероисповедания называться русскими, которое давала им концепция политической нации, по мнению Аксакова, вело к размыванию духовных основ русской народности[1]. Мыслитель, отстаивавший принцип религиозной концептуализации национального единства, не мог примириться с тем, что частью русской народности станут «русские, отрицающие православие», не имевшие никакой духовно-нравственной связи с православным русским народом, для которых Российская империя была не секулярным политическим понятием, а именно Святой Русью[2].

Русификация католического богослужения, инициатива которого исходила бы от властей, рассматривалась Аксаковым как прямая правительственная пропаганда новой русской формы католицизма,

[1] Москва. 1867. № 36. 14 февраля; № 39. 17 февраля.
[2] День. 1864. № 31. 1 августа.

«полновесное заявление со стороны русского православного правительства о примирении католицизма с русской национальной и политической идеей», в результате чего могла произойти его принципиальная трансформация из «терпимого» и «допускаемого» в Российской империи вероисповедания к нравственно утверждаемому и поддерживаемому верховной властью[1].

Перевод католического богослужения на русский язык отрицался Аксаковым еще и потому, что эта мера не могла быть осуществлена без прямого административно-силового вмешательства в религиозную сферу, что неизбежно породило бы недовольство и сопротивление, как со стороны католического духовенства, так и рядовых прихожан, для которых польский язык в силу привычки представляется неотъемлемой частью богослужения. Он писал: «Если бы введение русского языка совершалось само собою, естественным ходом жизни, в силу действительной внутренней потребности окатоличенного населения, тогда правительству оставалось бы только не мешать и не противодействовать, ему не было бы нужды прибегать к каким бы то ни было насильственным мерам… На деле однако же правительству пришлось бы самому взять почин в этом деле и вести его, последовательно, рядом принудительных и насильственных мер»[2]. Настаивая на приоритете неконфликтных интегративных мер перед силовыми, Аксаков предлагал подойти к данному вопросу с другой стороны: не внедрять русский язык в католическое богослужение административным путем, а лишь «снять запрет» на его использование, разъяснив «окатоличенному населению», что правительство «не воспрещает употребление русского языка в католических храмах, предоставляя это на волю желающим»[3]. Данное предложение представляло собой, вне всякого сомнения, ловкий полемический прием Аксакова, стремившегося обезоружить своих оппонентов, связывавших негативное влияние католицизма исключительно с его польскоязычным характером польским и уверенного в том, что естественный ход событий

[1] Москва. 1867. № 177. 11 ноября.
[2] Там же.
[3] Там же.

докажет его правоту. Он прекрасно понимал, что декларируемый принцип добровольности данной меры сведет ее результаты к нулю, поскольку в католических приходах «ксендз являлся диктатором душ и владыкой совести» и, безусловно, сумел бы навязать свою волю прихожанам, выставив правительственные действия как покушение на традиционные правила богослужения[1].

Одним из наиболее принципиальных противников введения русского языка в католическое богослужение среди представителей администрации Северо-Западного края был попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов, обосновывавший свою позицию характерным для всех его единомышленников опасением активизации распространения католицизма среди русского населения Западного края, которому бессильно будет противостоять «нищее православное духовенство со своими полуразрушенными, покосившимися на бок церквями» с их убогой утварью и нестройным пением[2]. Католицизм, вооруженный современным гражданским русским языком, в отличие от православия, использовавшего малопонятный населению церковнославянский язык, по мнению Корнилова, будет способствовать превращению латинской веры для значительной части населения западных русских окраин в веру русскую, что крайне отрицательно скажется на состоянии русского дела в регионе[3]. Указывал он и на возможную неблагоприятную политическую интерпретацию народными массами перевода католического богослужения на русский язык как свидетельства его «узаконения» и покровительства со стороны верховной власти путем предоставления ему «прав русского гражданства»[4].

В личной переписке с Катковым виленский попечитель доказывал московскому публицисту ошибочность его воззрений по данному вопросу,

---

[1] Русь. 1884. № 1. 5 января. С. 30.
[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 173. Л. 2.
[3] Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. 2-е издание. Вып. 1. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. С. 220.
[4] Там же. С. 219–220.

указывая на то, что использование в католическом богослужении русского языка или белорусского наречия приведет к сближению «латинства» с русским народом, существенно облегчит католическую пропаганду среди русского населения и будет препятствовать переходу русских католиков в православие[1]. Недостаточно укрепившиеся в православной вере народные массы, возглавляемые бессильным, а порой – и «шатким» православным духовенством, по его мнению, было опасно подвергать влиянию «русского католицизма», чье «нравственное обаяние» с использованием понятного народу наречия неизбежно вырастет[2]. Не считая сам по себе польский язык в римско-католическом богослужении препятствием для искренней любви католических прихожан к России, главную угрозу, исходящую от костелов западных губерний, Корнилов видел в их иерархической подчиненности польскому и общеевропейскому католицизму, превращавших их в своеобразных агентов зарубежного влияния на российской территории.

При внешней общности корниловских аргументов против русификации костела с доводами других сторонников данной точки зрения, при более детальном рассмотрении воззрений виленского попечителя его позиция представляется более сложно мотивированной. В основе его точки зрения лежала не столько опасение католического прозелитизма, сколько стремление к использованию неконфликтных методов внедрения русских начал и противодействия полонизму. Не отрицая допустимости добровольного внедрения в костелы русского языка, совершаемого по обоюдному желанию пророссийски ориентированных ксендзов, выступавших с данными инициативами, и католической паствы, Корнилов опасался придания данной мере административно-силового принудительного характера, что могло осуществляться как русскими чиновниками на местах, так и самими католическими священниками, стремящимися скомпрометировать данную меру, а через нее и верховную власть.

[1] ОР РГБ. Ф. 120. К. 21. Д. 1. Л. 146 об.–147, 150 об.–152.
[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 138. Л. 1.

Подавление неизбежного сопротивления ей со стороны католической паствы и священников могло бы спровоцировать новый виток межконфессиональной конфронтации, серьезно дестабилизирующий обстановку в только недавно замиренном крае[1].

Желая избежать подобного сценария, Корнилов предлагал направить основные усилия правительства не на изгнание польского языка из католического богослужения, который являлся, по его мнению, лишь симптомом «коренного зла», а на формирование мощных и устойчивых русских культурных начал в крае, «широкое развитие русского образования и подъем нравственного влияния православного духовенства и интеллигентного русского общества[2]. Залогом успеха в данной борьбе должна была стать не попытка ослабить своего противника посредством запретительных мер, а последовательная созидательная культурная политика, создававшая реальную альтернативу польско-католическому интеллектуальному доминированию.

В иерархии угроз русским интересам в Западном крае безусловное первенство, по мнению Корнилова, принадлежало не польскому языку и самим полякам, а именно католицизму, с принятием которого последние стали врагами и гонителями православных народов[3]. Много позднее он писал: «Опасен не тот или другой язык, но мысли и учения на нем разглашаемые. Не звуки и слова, но религиозные верования, ими выражаемые, возбуждают духовную природу человека и влияют на его убеждения…На русском языке писали Хомяковы, Киреевский, Аксаковы и издавал Катков «Московские ведомости» и на том же языке печатал Герцен свой «Колокол», пишет граф Толстой свое Евангелие»[4]. Вследствие этого, мыслитель был убежден, что русский язык католической проповеди никоим образом не сможет изменить ее антирусской и антиправославной сущности,

---

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 189. Л. 1–1 об.
[2] Там же. Л. 14.
[3] Там же. Л. 13.
[4] Там же.; Мировые отголоски. 1897. № 206. 28 июля.

что делало все усилия русификаторов костела, стремившихся таким образом «обрусить» Западный край, совершенно бессмысленными и даже вредными.

Для ослабления агрессивного нравственного и политического влияния католицизма в Западном крае, по мнению Корнилова, более целесообразным, нежели растрата сил в бесцельных попытках внедрения русского языка в костел, было бы обращение должного внимания на воспитание ксендзов в семинарии и Академии в духе политической лояльности, а также «осторожный выбор католических епископов», имевший огромное значение для сохранения католицизма в рамках канонического права и ослабления его политического влияния[1]. Введение русского языка в католическое богослужение, по его мнению, было оправдано лишь среди литовского населения, которое, твердо придерживаясь католического вероучения, является противником «польщины», вследствие чего данная мера способствовала бы укреплению «сочувствия русским началам» и его дальнейшей деполонизации, что в полной мере соответствовало стратегическим задачам русского правительства в Западном крае[2].

Позиция Корнилова по данному вопросу полностью поддерживалась его ближайшим соратником, инспектором виленского учебного округа В.П. Кулиным, аргументировавшим ее не только посредством традиционного указания на резко возраставшую угрозу католического прозелитизма, вооруженного русским языком, но, в первую очередь, ссылками на чрезвычайную техническую сложность перевода на русский язык всего огромного комплекса учебной и духовной католической литературы, создававшегося в течение многих веков[3]. Главное затруднение состояло не столько в лингвистическом, сколько в богословско-теологическом содержании данной работы, включавшей в себя сложную адаптацию языковой семантики свойственных католицизму понятий к русскому языку. Обозначенная Кулиным трудоемкость планируемого перевода, связанная с

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 189. Л. 1.
[2] ОР РГБ. Ф. 120. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 2.
[3] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 878. Л. 2 об.–3.

необходимостью неизбежного смыслового соединения различных моделей религиозности, отмечалась многими русскими учеными. Видный западнорусский филолог-славист, некоторое время возглавлявший Виленскую археографическую комиссию, П.А. Бессонов, считал, что для реализации данного проекта, называемого им «делом целого века», потребовались бы несоизмеримые с его сомнительной целесообразностью усилия целых духовных академий и богословских факультетов, ученые сотрудники которых должны были провести колоссальную работу по анализу польского изложения специфических понятий латинского вероучения и их приложению к церковнославянскому языку[1].

Запугивая местную администрацию неимоверной сложностью данной работы, Кулин обращал внимание и на неизбежные эксцессы, связанные с неизбежной и «позорной» необходимостью «освещения русским языком» католических молитв и служб в честь «гонителей и мучителей» православия, признаваемых римской церковью святыми[2]. Помимо прямого ущерба делу православия в крае, данное «безобразие», по его мнению, не имело никакой практической целесообразности, поскольку, пресекая использование польского языка в публичном богослужении и проповеди, данная мера была неспособна повлиять на язык исповеди и домашних молитв. Усилия, направленные на придание костелу народного характера, расценивались Кулиным как дополнительное средство католической «фанатизации» местного населения, что доказывалось на примере литовцев, усиление религиозного фанатизма среди которых было связанно именно с введением народного литовского языка в католические молитвы и проповеди[3].

В глазах Кулина, являвшегося горячим сторонником укрепления позиций православия в крае и постепенного вытеснения из него католицизма, неоднократно подчеркивавшего, что «только с падением латинства

[1] Мнение члена Ревизионной комиссии П.А. Бессонова в заседании 28 мая 1866 года // О введении русского языка в римско-католическое богослужение. СПб.: Синодальная тип., 1867. С. 14–16.
[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 878. Л. 3–3об.
[3] Там же. Л. 5 об.

окончательно, в основании, в корне решен будет польский вопрос»[1], идея создания «русского латинства» выглядела прямым противодействием данному «великому делу». Настаивая на первенстве религиозного начала в определении народности, Кулин, тем не менее, не игнорировал роль языкового фактора, рассматривая его в качестве дополнительного средства распространения или, напротив, изолирования того или иного вероисповедания. Следовательно, в сохранении языковой отстраненности католицизма от народных масс им усматривалась значительная выгода для дела распространения православия в крае, поскольку для молодого поколения, получавшего образование в русских школах, это исповедание, «со своей мертвой латынью и панским языком неизбежно со временем будет становиться все более чуждым. «Пусть же латинство и дальше носит вражью, то есть, польскую, личину!» – призывал Кулин, предостерегая от маскировки «враждебной сущности» католицизма «обманчивой прелестью его русского облика»[2].

Точку зрения Корнилова и Кулина разделяла большая часть представителей виленской администрации, входивших в состав Ревизионной комиссии «по делам римско-католического духовенства», обсуждавшей вопрос введения русского языка в католическое богослужение в крае, а также один из наиболее авторитетных православных иерархов Западного края Литовский митрополит Иосиф (Семашко), аргументировавшего свою позицию традиционными опасениями перед угрозой католического прозелитизма, русскоязычный характер которого позволит ему добиться больших успехов не только на западных окраинах, но и «во всех уголках России»[3].

Проект русификации католического богослужения как средства деполонизации Западного края также был подвергнут резкой критике

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 878. Л. 7.
[2] Там же. Л. 5 об.
[3] Более подробно о мнениях по данному вопросу членов Ревизионной комиссии см.: Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 468–484.

видным российский историком, публицистом и издателем, главным теоретиком концепции западнорусизма М.О. Кояловичем. Во многом разделяя представления славянофилов о характере русской народности, скрепляемой православной духовностью, ученый указывал на серьезную опасность отделения народности от ее вероисповедания в условиях «бедности идеалов русской жизни, помимо православной веры»[1]. Опасность эта, по его мнению, состояла в фактическом подрыве первенствующего и господствующего характера православного вероисповедания в России, обусловленного его поддержкой и защитой со стороны верховной власти. Для западнорусского историка было неприемлемо то, что последняя отныне станет признавать возможным и законным существование неправославных русских людей, в политической лояльности и верности русскому делу которых Коялович серьезно сомневался. Придание католицизму определенной «печати народности», по его мнению, способствовало бы укреплению его авторитета среди народных масс, в то время как в Западной России, как и во всей Российской империи, правом являться истинно народной церковью может обладать только православие[2].

Помимо угрозы первенству православия в Западном крае, отделение веры от народности, по мнению Кояловича, содействовало бы проникновению в ряды русской образованной общественности вредных разрушительных элементов, что давало бы возможность под маской мнимой русскости проповедовать антигосударственные и антинародные теории, внедряя их в неокрепшее сознание народа, только вступающего в стадию цивилизованной жизни[3]. Допуская сильные полемические преувеличения, мыслитель полагал, что русификация католицизма полностью перечеркнет все правительственные усилия по деполонизации Западного края, поскольку, превратив вчерашних шляхтичей в новоявленных русских, сохранивших свое католическое вероисповедание, а, следовательно, оставшихся противниками

[1] Виленский вестник. 1866. № 119. 7 июня.
[2] Виленский вестник. 1866. № 150. 14 июля.
[3] Виленский вестник. 1866. № 148. 12 июля.

истинно русского дела, она вернула бы управление краем и руководство народом на совершенно законных основаниях в их руки. Коялович не сомневался, что «под оболочкой русского элемента оживились бы немедленно все задачи польско-латинской миссии в Западной России… Обновленные русским элементом латиняне действовали бы на обновленный русской свободой народ», что немедленно привело бы к восстановлению прежнего значения в Западной России «латинства и полонизма, осужденного историей», если не на полное уничтожение, то, по крайней мере, на уничижение[1].

Полемизируя с Катковым, отстаивавшим идею русификации костела, Коялович прямо указывал на ее элитаризм и антинародный характер, подчеркивая, что данная мера выгодна исключительно польскому «панству». Примечательно, что в вину редактору «Московских ведомостей», отстаивавшему данную идею, ставилось то, против чего последний упорно боролся, а именно, пренебрежение интересами народных масс Западного края в угоду местной элите. Напрямую обращаясь к своему оппоненту, Коялович писал: «Из-за нескольких сот польских панов и жидов, которых верность русскому делу всегда была самою сомнительною, вы вашими суждениями о русском латинстве и жидовстве, подвергаете несомненной опасности миллионы народа, оживающего теперь к полной русской жизни»[2].

Коялович принципиально отрицал саму возможность языкового обрусения, проводимого посредством внедрения русского языка в неправославное богослужение, поскольку возникшие в его результате «русские латиняне» и «русские жиды», по его мнению, стремятся быть «русскими чиновниками, русскими дворянами, русскими образованными людьми, но чтобы быть действительно Русскими для народа своей страны, этого никогда ни в чем не показывают и не делают»[3].

---

[1] Виленский вестник. 1866. № 148. 12 июля.
[2] Виленский вестник. 1866. № 146. 9 июля.
[3] Там же.

Следует отметить, что позиция Кояловича по данному вопросу, столь решительно и однозначно отстаиваемая им на страницах «Виленского вестника», с течением времени не оставалась неизменной. Позднее, в одном из писем К.П. Победоносцеву, посвященном борьбе с тайными польскими школами в Западном крае и поиску путей противодействия распространения польского языка, ученый, рассматривая мотивы, побуждавшие местное население к его изучению, приходил к выводу о том, что «он нужен народу латинского закона только для костела и пока в костеле будет прибавочное богослужение на польском языке, народ будет изучать этот язык каким бы то ни было способом»[1]. Соответственно делался вполне логичный вывод о том, что лишь при постепенной деполонизации костела потребность в польском языке у народных масс будет неизбежно ослабевать. В первую очередь, Коялович считал вполне возможным произнесение проповедей ксендзами, как на русском литературном языке, так и на белорусском и малорусском наречиях, «как это уже делают православные священники», а также и на литовском языке[2]. Побуждать к этому католических священников должно было стремление сохранить свою паству, а также предлагаемые мыслителем прямые штрафные санкции за проповедь на польском языке, оправдываемые тем, что ксендз являлся в его понимании, в первую очередь, своего рода представителем государства, которое запрещало своим агентам использовать польскую речь в публичном пространстве[3].

Коялович прогнозировал, что неизбежно вызванное этим «падение значения» польского языка побудит католическое духовенство само просить о дозволении совершать прибавочное богослужение по-русски и по-литовски. Допуская русскоязычную проповедь и богослужение на литовском языке среди жмудских крестьян, ученый сохранял серьезные опасения в отношении внедрения в него языка русского, связанные со сложившимся устойчивым стереотипом «иезуитского лукавства» ксендзов, способных

[1] РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 85. Л. 1 об.
[2] Там же. Л. 2.
[3] Там же.

«обмануть правительство», перевернув его инициативу в свою пользу. Главную опасность, осознаваемую многими противниками обрусения костела, он усматривал в том, что звучащей в них русской речью «лукавые ксендзы» начнут хвалиться как более понятной и доступной, чем православный церковнославянский язык[1]. О реальной угрозе превосходства вооруженного современным русским языком латинства над православием безотносительно «ухищрений» его агентов также неоднократно с тревогой заявлял И.П. Корнилов, усматривавший в этой мере реальную помощь католической пропаганде со стороны самого русского правительства[2].

Помимо этого, Коялович опасался, что, получив право пользоваться местными народными наречиями, «ксендзы кинутся создавать белорусский и малорусский литературные языки, займут положение народолюбцев, покровителей белорусского и малорусского сепаратизма»[3]. Исходя из данных угроз, ученый считал возможным на первом этапе ограничиться использованием церковнославянской речи для церковных песнопений общих как у католиков, так и православных, распространив впоследствии, по мере «упадка» польского языка, ее на все дополнительное богослужение[4]. По мнению ученого, данная мера должна иметь двоякие, но равноположительные последствия. С одной стороны, она могла бы активизировать добровольный переход католиков в православие, где не отдельная часть, а все богослужение проходит на понятном народу языке, с другой – поставить латинство по отношению к православию в подчиненное положение, подобное тому, в котором в прежние времена униаты находились в отношении католиков[5]. Таким образом, взаимообусловленность языкового и конфессионального вопросов в воззрениях Кояловича вела его к признанию не только возможности, но и необходимости постепенного располячивания

[1] РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 85. Л. 2–2 об.
[2] Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. 2-е издание. Вып. 1. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. С. 220.
[3] РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 85. Л. 2.
[4] Там же. Л. 2 об.
[5] Там же.

костела, не устраняя, впрочем, общих опасений, свойственных противником данной меры.

Следует отметить, что адресат письма Кояловича – К.П. Победоносцев, обладавший в 1880-е гг. значительным политическим весом, не только в силу своего служебного положения, но и внутреннего убеждения, был принципиальным противником любых шагов по русификации костела, полагая, что введение русского языка в католическое богослужение станет новым импульсом для распространения католицизма на западных окраинах, об угрозе и необходимости борьбы с которым он говорил и писал на всем протяжении своего пребывания в должности Обер-Прокурора Синода[1]. В высших правительственных кругах его взгляды по данному вопросу разделял министр внутренних дел граф Д.А. Толстой, повторявший обозначенную еще в 1860-е гг. позицию митрополита Иосифа (Семашко), состоявшую в том, что введение в католическое богослужение как местных наречий, так и русского языка принесет большой вред православной церкви и будет способствовать латинской пропаганде не только в Западном крае, но и на всей территории империи[2].

Таким образом, из характера данной полемики следует, что ее участники придавали довольно локальному вопросу о введении русского языка в дополнительное католическое богослужение глобальное значение, преломляя в нем свои представления не только о желательных методах обрусения западных окраин, но и о характере российской государственности и сущности составлявшей ее основу русской народности. Данная, первоначально сугубо региональная проблема, в ходе ее обсуждения приобрела общеимперское и актуальное общественно-политическое значение, в значительной степени дополненное сложным богословским и каноническим контекстом. Следует подчеркнуть, что и сторонники обрусения костела и противники данного проекта исходили из единого

[1] Письма Победоносцева к Александру III. Т. II. М.: Новая Москва, 1926. С. 157.
[2] Бунге Н. Х. Загробные заметки. С. 221

политического императива, состоявшего в стремлении не допустить повторения событий 1863 – 1864 гг. и укрепить в Северо-Западном крае русские государственные начала, разночтения в понимании приоритетного наполнения которых обусловило возникшую дискуссию.

В полемике о целесообразности русификации католицизма в Западном крае, обнажившей существенные разногласия среди сторонников «русского дела», некоторые исследователи склонны усматривать не только спор о сущности и критериях отстаиваемой ими русскости, но и соперничество между центром и окраинным регионом в деле формирования русского национального самосознания[1]. Не отрицая наличия определенных расхождений в видении практической реализации политики деполонизации западных окраинных регионов между местными русификаторами и представителями центральной национально-консервативной общественности и бюрократии, на наш взгляд, представляется безусловным преувеличением утверждение о том, что виленские администраторы и представители региональной русской общественности, именовавшие себя «виленскими русскими», формировали некий образ особой, «западнорусской» самобытности, к которому апеллировали в своей полемике с представителями центральной администрации и общественности. Данное утверждение в контексте рассматриваемой полемики представляется тем более спорным, поскольку и в западнорусских кругах не было единства, как по данному вопросу, так и в отношении других интегративных практик. В Вильне и других центра Западного края были и приверженцы «боевых методов» обрусения региона, и сторонники политики «мягкой силы». Можно говорить лишь о том, что, отстаивая собственную позицию, они обнаруживали лучшее знание специфики региона и его нужд, что давало им моральное право корректировать проекты обрусения региона, исходящие из центра, и подвергать критике недостаточно непродуманные меры, проводившиеся верховной администрацией и прибывавшими в край

[1] Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера. С. 459.

имперскими чиновниками. Данный «административно-управленческий автономизм» был свойственен многим окраинно-региональным администрациям и примыкавшим к ним группам общественности, имевшим опыт управления имперскими регионами, обладавшими значительной спецификой, что, тем не менее, не дает оснований подозревать их в формировании особой региональной идентичности.

Если в вопросе о характере политики по отношению к католицизму Северо-Западного края в отечественном национально-консервативном дискурсе не было единства, что обуславливалось разностью взглядов на методы обрусения региона и представлений о ключевых критериях укрепляемой в крае русскости, то в вопросе о необходимости всестороннего упрочения роли православной церкви и повышения ее «конкурентоспособности» в противостоянии с католицизмом его участники были полностью солидарны.

Курс на деполонизацию и обрусение западных окраин, принятый российскими имперскими властями после подавления Январского восстания, не только предполагал «освобождение» региона от польско-католического господства, но и был направлен на всестороннее укрепление позиций православной церкви, доминирующее положение которой в регионе являлось одним из ключевых признаков его принадлежности к русскому национальному пространству. Православное вероисповедание местного населения рассматривалось в качестве важнейшего маркера его русской идентичности, необходимость укрепления которой определяла характер правительственной политики в регионе и вела к соответствующим приоритетам в ее реализации. Перед властями стояла непростая задача, состоявшая в необходимости сделать православную церковь более привлекательной для народных масс, нежели костел, притягивавший к себе местных крестьян не столько преимуществами католических догматов, сколько внешними признаками – поражавшей воображение простолюдинов роскошью внутреннего убранства храмов, таинственным и торжественным

характером богослужения, волнующей церковной музыкой, яркими и театрализованными проповедями хорошо образованных харизматичных ксендзов.

Моральное право имперских властей на вытеснение из Западного края католицизма и всестороннее укрепление позиций православной церкви должно было подкрепляться историческими фактами, доказывавшими первенство и «естественный» характер распространения в регионе православного вероисповедания, подвергавшегося гонениям со стороны насильственно привнесенного в край католицизма, связываемого с польским политическим господством.

Данные тезисы стали составной частью концепция исконной русскости Западного края, широко распространенной в российском общественно-политическом дискурсе, указывавшей на православное вероисповедание политической элиты Великого княжества Литовского и подчеркивавшей мирный характер распространения православия, как среди западнорусского, так и среди литовского населения, заимствовавшего его у более развитых соседей[1]. Согласно данной концепции, последовавшее позднее распространение католицизма среди литовцев являлось не результатом их сознательного выбора, а следствием агрессивной завоевательной политики католического церкви, опоясавшей жмудские земли сетью костелов и монастырей, чье внешнее величие было призвано поразить массы «едва тронутые развитием». Вместе с католицизмом в край проникло крепостничество и «панщина», заслонившая собой «исконное православие» и неумолимо истреблявшее его памятники[2]. На страницах центральных и региональных периодических изданий, придерживавшихся национально-консервативных взглядов, помещались многочисленные публикации, доказывавшие «исконность» православия в Западном крае, отражавшуюся в

[1] Устрялов Н.Г. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? СПб.: Тип. экспедиции заготовления государственных бумаг, 1839. С. 17; Коялович М.О. Чтения по истории западной России. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1884. С. 90–91.
[2] Виленский вестник. 1866. № 140. 2 июля.

исторической памяти местного населения и большом количестве исторических свидетельств и памятников[1]. Подчеркивалось, что привнесенный в край извне католицизм, хотя и сумел существенно потеснить православие в духовно-культурном пространстве региона и сознании местного населения, тем не менее, не смог окончательно искоренить его, несмотря на агрессивную политику прозелитизма и всевозможные притеснения, которым подвергались православное население края.

Проблема восстановления ведущего положения православия в Западном крае и придания ему облика, соответствующего статусу господствующей государственной религии Российской империи, занимала значимое место в отечественном национально-консервативном дискурсе. Русские консервативные мыслители и представители региональной общественности Западного края неоднократно указывали на тяжелое материальное положение православной церкви в регионе, совершенно не соответствующее ее статусу и дискредитирующее ее значение в глазах местного населения[2]. Подчеркивалось, что материальная недостаточность и низкий интеллектуальный и культурный уровень православного духовенства не позволяли поддерживать и развивать нравственные начала в народных массах, к чему оно было призвано в силу своего долга[3]. В многочисленных записках, направлявшихся к руководству края, призывалось избавить местное православное духовенство от унижавшей его бедности путем повышения денежного содержания, предоставления небольших земельных угодий, обработка которых была бы необременительной для православных прихожан, а также вознаграждения за каждого из детей, обученных им русской грамоте[4].

---

[1] Виленский вестник. 1866. № 140. 2 июля; № 144. 7 июля.
[2] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864. С. 17–20, 306, 462–466; 1865. С. 473–478; 1867. С. 717–721; Виленский вестник. 1866. № 27. 3 февраля; № 33. 12 февраля; ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 709. Л. 2; РГИА. Ф. 940. Оп.1. Д. 3. Л. 9–14; Ф. 970. Оп. 1. Д. 173. Л. 2.
[3] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 702. Л. 11 об.
[4] Там же. Л. 11 об.–12.

А.В. Рачинский, указывавший на необходимость усиления православного элемента в Северо-Западных губерниях посредством переселения в них русских православных людей всех сословий и состояний, подчеркивал, что данные меры должны сопровождаться подъемом и надлежащим устройством местной православной церкви, поскольку немногие русские люди согласятся селиться на окраине, вдали от редких здесь православных храмов, не имея возможности дать своим детям надлежащего церковно-православного воспитания[1]. По мнению публициста, данная задача должна решаться не только силами правительства, но и при живом и непосредственном участии местных православных братств, а также русской общественности, принадлежность к которой и право называться «русским деятелем» определялась не только происхождением и вероисповеданием, но и суммой гражданских и моральных качеств и достоинств, а также реальным участием в выходящей за рамки служебных обязанностей реализации русского дела[2].

Однако далеко не все представители русской общественности усматривали причины слабости православной церкви Северо-Западного края только в ее материальной недостаточности. Низкий уровень ее влияния связывался также с общим кризисом религиозного сознания, переживаемым русским обществом в рассматриваемую эпоху и падением роли духовных ценностей в жизни его просвещенных кругов, что лишало православную церковь сознательной и эмоционально прочувствованной поддержки с их стороны, превращая ее в казенно-формальный инструмент русификаторской политики. Далеко не всегда на высоком уровне возложенных на них обязанностей оказывались и сами православные священники края, вызывая своим небрежением и неподобающим их сану поведением нарекания и недовольство паствы[3].

---

[1] Виленский вестник. 1866. № 144. 7 июля.
[2] Там же.
[3] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 43 (1-я экспедиция 1868 г.). Д. 45. Л. 2–20 об.

Сводя все многообразие взглядов на задачи правительственной политики в Северо-Западном крае в религиозной сфере к двум основным подходам, заключавшимся в том, что «или западно-русское католичество должно быть очищено от польщины, или Западная Россия должна быть очищена от католичества»[1], священник И. Фудель отмечал их общее несовершенство. По его мнению, оно состояло в «отрицательном» и исключительно политическом характере данных подходов, приводившем к заведомо обреченной на неудачу попытке решить религиозные задачи политическими методами. Идею располячения костела священник ставил гораздо выше, нежели стремление к его прямому вытеснению из региона, отмечая, что при благоразумном и последовательном проведении она «может иметь благие результаты: ослабление, если не полное уничтожение польской пропаганды, так как язык есть главное орудие народности; отсюда может следовать оживление национального самосознания в русском народе, подавленном теперь польщиной», вследствие чего «национальное дело от этой меры может много выиграть»[2]. При этом Фудель был далек от того, чтобы придавать данной идее то решающее значение, которое придавалось ей «нашими обрусителями», поскольку, по мнению православного священника, «сила католицизма заключается в нем самом», в его «воинственности» и тесной связи с римской церковью, возглавляемой папой[3].

Вследствие этого, по мнению И. Фуделя, главная задача, стоящая перед русским правительством и обществом, должна носить не конфронтационно-отрицательный характер, заключаясь в притеснении или борьбе, «по существу противным самому духу православия». Вместо этого предлагалось сосредоточиться на «положительном» деле всестороннего развития и укрепления православия, которое должно становится привлекательным для местного населения не посредством преследований и воинственной агитации,

[1] Фудель И.И. Наше дело в Северо-Западном крае. С. 8.
[2] Там же. С. 9–10.
[3] Там же.

а исключительно при помощи «истинно христианской пастырской любви»[1]. Помимо возвышения внешнего престижа православной церкви и содействия развитию православных учреждений (благотворительных, ученых и чисто церковных), способствовавших воспитанию народа в православном духе, главное условие для укрепления православия священник видел в «нашей собственной жизни в Церкви Православной», «живой связи с Церковью по духу, а не внешней только связи по метрическим записям» самого русского общества. Фудель считал, что лишь тогда, когда представители русского образованного общества и чиновничества сами станут «истинно-православными детьми Церкви», правительственные меры, направленные на укрепление православия, перестанут носить внешний формальный характер и смогут достичь своей цели. Таким образом, священник подвергал сомнению целесообразность административной русификации Северо-Западного края, придавая первостепенное значение религиозному совершенствованию перед узко понимаемыми политическими задачами[2].

Позицию Фуделя в данном отношении полностью разделял М.О. Коялович, являвшийся решительным противником административно-бюрократического подхода к делу укрепления православной веры в Северо-Западном крае. Ученый призывал руководство местной православной церкви отказаться от свойственного ему «деспотизма и формализма», настаивая на необходимости предоставления большей свободы рядовым священникам, в которых он видел настоящих подвижников русского православного дела, «лучшую опору России в крае», задавленных «казенщиной» и страхом перед судом за малейшее уклонение от формальностей[3]. Западнорусский мыслитель полагался на нравственную силу местных здоровых православных элементов, «доверие и любовь» к которым позволили бы им добиться гораздо больших успехов в деле укрепления православной веры среди народных

[1] Фудель И.И. Наше дело в Северо-Западном крае. С. 10, 13.
[2] Котов А.Э. Священник Иосиф Фудель и полемика о национализме // Russian Colonial Studies. 2019. № 2. С. 68.
[3] РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 945. Л. 1–1 об.

масс, с которыми они входят в «теснейшее сближение», нежели строгие предписания, исходящие «сверху». В этом отношении он даже призывал брать пример с местных католиков, привлекавших «приманкой» доверия и свободы (которые, впрочем, ученый считал «мнимыми») к себе народные массы и многих достойных выходцев края[1]. Коялович выступал против всесторонней регламентации деятельности духовенства, отводя государству роль своеобразного «ночного сторожа» православия, призванного пресекать прямое противодействие его деятельности, не претендуя на руководящую роль. Исходя из этих соображений, ученый настойчиво предостерегал правительство от искусственного создания православных братств в Северо-Западном крае и стремления «навязывать свою авторитетную опеку», которая дискредитирует православие в глазах местного населения, придавая ему «казенный» характер[2].

Рассматривая вероисповедную область как сферу свободного духовного подвига, христианского милосердия и самоотверженного исполнения пастырского долга, проникновение в которую прямого административно-силового начала могло только вредить делу, национально-консервативные мыслители, тем не менее, не отрицали обязанности русского государства по предоставлению православному духовенству достойных условий материального существования и необходимого для исполнения своего долга интеллектуального развития.

Таким образом, в вопросе о конфессиональном компоненте политики интеграции Северо-Западного края в отечественном национально-консервативном дискурсе четко прослеживается две точки зрения, обусловленные разностью приоритетов в смысловом наполнении понятия «русскость». Если сторонники религиозной доминанты в данном определении, не приемлющие отделения православного вероисповедания от русской этничности, стояли на традиционных позициях, настаивая на

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 945. Л. 2.
[2] Там же. Л. 2 об.

достаточно прямолинейной политике ослабления католического влияния и прямой административной поддержке православной церкви в регионе, то их оппоненты, придерживаясь секулярного представления о национальности, стремились найти более гибкие пути обрусения конфессиональной сферы региона. Предлагаемые ими проекты реорганизации католичества Северо-Западного края, направленные на повышение его лояльности путем «располячивания» костела и выведения его из-под власти Рима, представляли собой попытку реализации неконфликтных интеграционных методов в конфессиональной сфере как составной части стратегии «мягкой силы», отстаиваемой частью представителей отечественной консервативной мысли и пророссийски ориентированной общественности Северо-Западного края.

Возникновение данного концептуального подхода, равно как и его критика, стали прямым следствием поиска эффективных неконфликтных методов деполонизации региона и его интеграции в единое культурно-цивилизационное пространство империи, которые на практике, к сожалению для их инициаторов, далеко не всегда носили бесконфликтный характер. Если концепция русскоязычного католицизма выступала альтернативой административному миссионерству, приводившему к возникновению феномена «упорствующих в латинстве», и представляла собой попытку его мирного «встраивания» в имперскую систему, то ее оппоненты стремились уберечь духовные основы государствообразующей русской народности от проникновения в него чуждых элементов, предостерегая от насильственного и противоестественного отделения народности от веры. Данные опасения, широко распространенные среди представителей отечественной национально-консервативной мысли и имперской администрации, внутренняя противоречивость идеи русификации католического богослужения, а также первые неудачные опыты введения русскоязычного богослужения, против которых неожиданно для русификаторов выступили сами прихожане-белорусы, помешали сколь-нибудь значимой реализации этой идеи. Тем не менее, и среди противников данной идеи,

акцентировавших свое внимание на укреплении позиций православной церкви в регионе, звучали мотивы, направленные на придание ей характера инструмента реализации неконфликтных методов интеграции местного населения в общерусское духовно-нравственное и культурное пространство.

Сторонники модерной и во многом «креативной» для своего времени идеи обрусения костела недооценивали традиционность религиозного сознания народных масс, а также не учитывали фактора сопротивления католического епископата, ксендзов и Рима, который в 1877 г. своим решением запретил русский язык в дополнительном католическом богослужении. Концептуальная опора на секулярные языковые маркеры русскости, исходившая из общих представлений о секулярном надконфессиональном характере гомогенизирующейся империи, существенно опережала свое время, вызывая неприятие, как среди объектов, так и среди субъектов обрусительной политики в Западном крае.

4.2. Образовательная политика как форма неконфликтной интеграции Северо-Западного края в общероссийское культурное пространство

Ключевым элементом интеграции западных окраинных регионов в единое имперское пространство являлась образовательная система, развитию и «правильной постановке» которой на окраинах в отечественном национально-консервативном дискурсе уделялось значительное внимание. Представители данного направления общественной мысли, в полном соответствии с консервативной доктриной полагали, что основу любых позитивных общественных трансформаций составляет не создание новых учреждений и институций, а, в первую очередь, совершенствование личности человека путем привития ему определенных представлений и ценностей, огромную роль в котором играло образование. Школа была призвана стать средством аккультурации окраинных инородцев, возвращения в лоно русской культурной традиции тех, кто был насильственно «оторван» от нее

конкурирующими ассимиляторскими проектами, рычагом распространения государственного языка и системы социально-политических представлений, необходимых для большей инкорпорации инородных социумов в рамки единого государственного пространства. Необходимость противодействия альтернативному польскому ассимиляционному проекту способствовала актуализации, в первую очередь, проблемы развития начальной народной школы, ориентированной на просвещение и воспитание в рамках русского культурного кода низших слоев населения, признаваемых главной опорой государственных начал в крае. Гимназическое и высшее образование, служившее практически исключительно интересам местного польского элемента и признававшееся источником враждебных по отношению к России и русскому народу настроений, не только отодвигалось на второй план, но и должно было подвергнуться различного рода административным ограничениям, являясь источником перераспределения средств, необходимых для реализации новой модели развития местной образовательной сферы.

В соответствии с консервативными представлениями, «правильно организованное» образование также было призвано выполнять на окраинах характерную и для внутренних областей империи охранительную функцию, оберегая юношество от новых веяний в образовательной сфере, а также противодействуя поверхностной образованности, пренебрегавшей глубокими, основанными на классических основах, знаниями, «раздражавшей» сознание человека и превращавшей того в объект политических манипуляций[1].

Помимо этого, консервативная модель образовательной политики не допускала участия в ее реализации общественных представителей, однозначно считая дело образования и воспитания подрастающего поколения предметом исключительно государственных забот. В Западном крае этот

[1] Котов А.Э., Федоров Д.А. Киевские консервативные публицисты о проблемах образования в позднеимперской России // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2023. Т. 68. Вып. 4. С. 877.

принцип получал дополнительные основания, связанные с необходимостью вытеснения польского общественного элемента из образовательной среды, которую он настойчиво стремился закрепить за собой. Данное стремление проявилось в известной записке минского губернского предводителя дворянства А. Лаппы, поданной министру народного просвещения А.В. Головину в мае 1862 г., в которой от имени всего польского дворянства края выдвигалась просьба предоставить ему «совершенную свободу» в деле выведения народных масс из «тьмы невежества»[1]. Проект минского предводителя предполагал полное вытеснение государства из сферы народного образования, что неизбежно должно было привести к укреплению польского культурного господства в крае и дальнейшей стремительной польской аккультурации местного белорусского и литовского населения.

Данная угроза ясно осознавалась как представителями русской национально-консервативной общественности, так и отдельными государственным деятелями, но лишь Январское восстание 1863 – 1864 гг. со всей отчетливостью продемонстрировало опасность устранения государства из столь важной общественной сферы, положив конец длительным спорам о перспективах развития образовательной системы края и способствовав решительному повороту к укреплению в ней русских начал. Удержание контроля за народным образованием края и усиление роли государственного начала в данной сфере обуславливалась также необходимостью сохранения авторитета верховной имперской власти, позиционировавшей себя в качестве высшего и единственного защитника народных интересов[2].

Следует отметить, что, наряду с идущими снизу польскими образовательными инициативами, полностью дискредитированными фактом вооруженного мятежа, в это же время активизировалась и местная русская общественность, громко заявлявшая о необходимости полного вытеснения

[1] ОР РНБ. Ф. 629. Ед. хр. 247. Л. 6–9 об.

[2] Сергеенкова В.В., Ершова О.И., Гулюк М.А., Шараева Е.И. Виленский учебный округ: политика российского правительства в области образования (вторая половина XIX – начало XX в.) // Российские и славянские исследования: научный сборник. Минск: Белорусский государственный университет, 2008. Вып. 3. С. 59.

враждебного польского элемента из образовательной среды края. В многочисленных записках, содержавших в себе программу различных мер, направленных на обрусение и деполонизацию Западного края, направлявшихся к местному руководству «снизу», указывалось на огромную роль русского образования в достижении поставленных правительством целей. Массовая неграмотность местного русского населения способствовала польскому культурно-интеллектуальному и политическому господству в крае, все управленческие должности разных уровней в котором занимались практически исключительно поляками. Для исправления данной ситуации предлагалось предпринять комплекс мер по распространению русской грамотности среди народных масс края, путем открытия доступных народных школ и уездных училищ с преподаванием в них на русском языке, введения гимназических и университетских стипендий для наиболее способных учащихся, дававших им возможность продолжить свое обучение на более высоком уровне, учреждения доступных русских библиотек и читален, которые должны были находиться в ведении губернаторов[1]. Материальные затраты, необходимые для реализации данной программы, должны были с лихвой окупиться постепенным формированием в крае русской образованной прослойки, хорошо знакомой с особенностями региона и способной к занятию любых административных и хозяйственных должностей, длительное время находившихся преимущественно в руках поляков[2].

Общее направление образовательной политики в крае в новых условиях было обозначено Виленским генерал-губернатором М.Н. Муравьевым и включало в себя всестороннюю деполонизацию школьного дела, выражавшуюся в вытеснении польского языка из образовательной сферы, в замещении польского педагогического состава русским, передаче начального

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 702. Л. 8 об.–10.
[2] Там же. Л. 9.

образования в руки православного духовенства, сокращении численности гимназий, объявлявшихся «рассадником» польской пропаганды[1].

Наиболее горячим и последовательным сторонником проведения муравьевского курса в образовательной сфере стал И.П. Корнилов, занявший в январе 1864 г. пост попечителя Виленского учебного округа. Новый глава местного учебного ведомства представлял собой яркий пример администратора-интеллектуала нового формата, человека умственного труда, «облаченного в чиновничий мундир», искренне преданного «русскому делу», ради успеха которого он был готов вести борьбу с враждебным инородческим окружением[2]. Западные окраинные регионы расценивались им как «нравственный Кавказ», выступая в его восприятии ареной ожесточенной цивилизационной борьбы народного русско-славянского начала против пришлого аристократического польско-католического элемента[3]. Сам Корнилов определял свою деятельность как «решительную, открытую, наступательную борьбу против всего того, что враждебно России», направленную на нравственный подъем русского народа, живущего на западных окраинах под гнетом полонизма. Однако, несмотря на наступательный характер, эта борьба, по его мнению, должна была вестись, в первую очередь, неконфликтными, просветительскими методами, поскольку «русское образование сильнее русского штыка»[4], что, впрочем, не исключало при необходимости и применение последнего.

Активной деятельности попечителя Виленского учебного округа, направленной на «деполонизацию» образовательной сферы Северо-Западного края было свойственно сочетание жестких административных

---

[1] Муравьев М.Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края. // Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. II. СПб: Тип. М. Стасюлевича. 1898. С. 304–306.

[2] Комзолова А.А. «Положение хуже севастопольского»: Русский интеллигентный чиновник в Северо-Западном крае в 1860-е гг. // Россия и Балтия. Т. 3. Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. Вторая половина XVIII в. – XX в. М.: Институт всеобщей истории РАН. С. 118.

[3] Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. 2-е издание. Вып. 1. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. С. 137.

[4] Там же. С. 281.

методов, выражавшихся, в частности, в вытеснении «польского элемента» из преподавательской среды, закрытии многих гимназий и католических школ, рассматривавшихся как «средоточие» полонизма, с неконфликтными организационно-просветительскими практиками, направленными на интеграцию региона в единое культурное пространство Российской империи. Корнилов неоднократно указывал на то, что для «прочнейшего прикрепления» западных окраинных регионов к России совершенно недостаточно одних «внешних» – военных, административно-полицейских и хозяйственно-экономических мер, поскольку до тех пор, пока населявшие эти земли инородцы «будут оставаться в нравственном отчуждении от русского народа, их соединение с государством будет всегда внешним, временным, непрочным»[1]. Преодоление этого отчуждения, позволявшее превратить западные окраины в неотъемлемую часть русского государственного и культурного пространства, по его мнению, было возможно лишь при помощи «неуклонных, твердых и энергических мер к нравственному объединению этих областей с великорусскими губерниями посредством общего образования в русских школах и распространения русского языка»[2].

Залог успеха отстаиваемого виленским попечителем проекта «нравственного завоевания» северо-западных окраин России, по его мнению, заключался в русском происхождении основной массы местного населения, воспринимавшего русское образование «как родное и ему свойственное», а также в том, что все здешние антирусские настроения сосредотачивались исключительно в высших привилегированных слоях, инородческих по своему образованию и воспитанию, и враждебном России католическом духовенстве[3]. Социальная и культурная разобщенность низов и верхов местного общества должна была облегчить задачу внедрения в сознание широких народных масс русских культурных и государственных ценностей и

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 173. Л. 1.
[2] Там же. Л. 1 об.
[3] Там же. Л. 1 об.–2.

распространения государственного языка, потребность в котором ясно осознавалась западнорусским населением. Корнилов решительно отрицал целесообразность и саму возможность обрусения «цивилизованных кланов» края, естественно не желавших подчиняться чуждой для них и с их точки зрения «младшей» цивилизации. Он настаивал лишь на необходимости «сдерживать их противогосударственные стремления, подчинять своему праву», а также предотвращать их стремление «ополячивать простой народ» посредством отстранения их от участия в народном образовании, которое должно стать исключительно предметом государственных забот[1].

В соответствии с данным подходом выстраивалась определяемая виленским попечителем траектория развития местной образовательной системы, приоритетным элементом которой должна была стать народная школа, укреплявшая в народных массах чувство их принадлежности к русскому цивилизационному пространству. В точном соответствии с замыслом Муравьева, Корнилов считал необходимым сократить вес гимназического обучения, которым пользовалась практически исключительно местная польская шляхта, в пользу начального образования, направленного, в первую очередь, на воспитание в русском духе местного белорусского и литовского крестьянства, которое необходимо было, посредством «правильно поставленного» школьного дела, оторвать от полонизма[2]. С той же целью предполагалось проведение определенной географической ротации имевшихся в округе гимназий, часть из которых, расположенная в чисто католических местностях, признавалась «излишней» и должна была быть заменена аналогичными учебными заведениями в областях с преимущественно православным населением. Вместо закрываемых гимназий и прогимназий, «доставлявших возможность меньшинству населения пользоваться образованием во вред правительству», по решению Попечительского совета Виленского учебного округа, должны

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 173. Л. 2 об.
[2] Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. С. 49–51.

были открываться двухклассные народные училища с курсами, «наиболее применимыми к местным потребностям»[1]. По мнению руководства округа, данные меры имели как сугубо образовательное, так и политическое значение, поскольку должны были «усилить способы получения образования для большинства населения» и «освобождать народ от умственного и нравственного влияния польской национальности»[2].

Предполагаемые русскими общественными деятелями Северо-Западного края меры по перестройке местной образовательной системы имели под собой ярко выраженную социальную антишляхетскую основу, исходя из признания нелояльности и враждебности данного сословия по отношению к России. Особенно четко и последовательно эту идею высказывал соратник и сподвижник Корнилова по службе в Виленском учебном округе, В.П. Кулин, называвший шляхту «уродливым явлением исторической жизни польского народа»[3]. Сопоставляя степень развития гимназического образования в Западном крае, где гимназии существовали не только в губернских и уездных городах, но порой даже в малолюдных местечках, и великорусских губерниях, он находил, что жители ни одной из последних «не пользуются такими удобствами относительно средств образования своих детей, какие предоставлены шляхетскому сословию[4]. В активном стремлении шляхты дать образование своим детям Кулин усматривал не просто естественную тягу к просвещению, но, в первую очередь, ярко выраженное проявление направленной против России «польской интриги», поскольку подготавливаемые местными гимназиями чиновники-поляки являлись не только опорой панства и полонизма в Западных губерниях, но и проводниками собственных политических идей в среде российской бюрократии.

---

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 898. Л. 16–22.
[2] Там же. Л. 23–26.
[3] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 877. Л. 1 об.
[4] Там же.

Наибольшее возмущение инспектора вызывало то, что данное антирусское дело совершается на русские средства, за счет и в прямой ущерб русскому населению края. В 1864 г. Кулин прямо заявлял, что «в то время, когда бунтующая против России шляхта пользуется такими огромными выгодами в способах образования своих детей, народ белорусский, исстрадавшийся под гнетом панов, верный и преданный своему Государю и Отечеству, остается только при школах грамотности»[1]. Исходя из всего выше изложенного, инспектор указывал на необходимость коренного изменения приоритетов в развитии местной образовательной системы, основное внимание которой должно было направляться на развитие лояльных слоев края.

Общий замысел местных обрусителей в отношении образовательной сферы, безусловно, не сводился к репрессивной составляющей в отношении польского населения, как это зачастую утверждалось национально или политически ангажированными исследователями[2], хотя многие местные русские деятели справедливо указывали на огромную роль учебных заведений края в разжигании антироссийских настроений. Истинная их цель состояла в превращении местного образования из орудия воинствующего полонизма в инструмент проводившейся в крае политики «оборонительной русификации», при помощи которого должен был формироваться лояльный российским властям местный образованный слой из представителей здешнего православного русского населения. Для достижения этой цели, согласно соображениям виленского попечительского совета, в идеале было необходимо «покрыть край целой сетью русских училищ, так, чтобы ни одно значимое местечко, ни один город не оставался без народной школы, без уездного училища, прогимназии или гимназии, смотря по важности и составу

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 877. Л. 3.
[2] Zasztowt L. Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w. // Rozprawy z dziejów oświaty / pod redakcją J. Miąso. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 996. T. XXXVII/96. S. 119–121; Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. С. 149–152.

населения данной местности»[1]. Основная проблема на пути решения данной амбициозной задачи состояла в острой нехватке русских учителей, способных выполнять не только просветительскую, но и интегративную функцию, приобщая местные народные массы к русским культурным и нравственным ценностям.

Корнилов развернул широкую кампанию по привлечению в край русских учителей, которые должны были стать настоящими «миссионерами» русского дела. О необходимости укрепления местных педагогических кадров русскими и православными педагогами он писал буквально во все инстанции, неоднократно обращаясь с соответствующими запросами к министру народного просвещения А.В. Головнину, к православным иерархам великорусских губерний, таким как ярославский архиепископ Нил, у которого он просил присылки семинаристов для назначения их на учительские должности[2]. Взывал он также и к видным общественным деятелям «русского направления», таким, как М.П. Погодин, И.С. Аксаков, М.Н. Катков, призывая их «не ограничиваться одним сочувствием», и рассчитывая на их авторитет в деле агитации среди «способных и энергических людей» великорусских губерний, в первую очередь, учителей, готовых послужить русскому делу в Западном крае[3].

Однако данные обращения, даже при вполне энергичном отклике не могли решить проблемы нехватки педагогических кадров, которые должны были являться не только проводниками достижений русской культуры, но и быть знакомыми с особенностями народной жизни Западного края, местными наречиями и традициями. Исходя из данных соображений, еще в начале 1860-х годов руководство образовательной сферы края пришло к выводу о необходимости создания собственных учебных заведений, готовивших педагогические кадры преимущественно из представителей

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 898. Л. 23 об.
[2] Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. С. 27, 34, 48.
[3] Там же. С. 37–42; ОР РНБ. Ф. 377. Ед. хр. 360. Л. 5.

местного населения. Успешным примером реализации данного замысла стала деятельность Молодеченской учительской семинарии, открытой в ноябре 1864 г.[1] Ее возглавил активный местный деятель «русского направления» А.И. Забелин, видевший в семинарии средство обращения к укорененным в местных народных массах «русским началам» и возможность «обновить во всем западнорусском крестьянстве близкие и родственные связи с коренной Русью»[2]. Образовательные цели, лежащие в основе деятельности данного и других, подобных ему учебных заведений края, тесно переплетались с общими цивилизаторскими задачами, состоявшими в культурном и нравственном подъеме местного населения, позволявшем ему освободиться от «забитости» и инородческого культурного господства, став полноценной частью единого русского народа.

Большое внимание вопросу обрусения образовательной системы Западного края уделялось публицистами журнала «Вестник Западной России», на страницах которого регулярно помещались исторические и полемические статьи, обосновывавшие необходимость вытеснения из данной сферы польского начала. В контексте отстаиваемой изданием концепции «исконной русскости» края, данная политика рассматривалась не как утверждение, а, скорее, как «восстановление» русского характера местной школы, поскольку заслуга ее первичного создания, по мнению редакции, принадлежала именно православной церкви и русской интеллектуально-просветительской традиции, распространившейся в регионе вместе с православной верой в период становления Русско-Литовского государства. В статье, посвященной развитию женского образования в крае, публицист П. Меньшиков, опиравшийся на широкий круг соответствовавших официальному дискурсу публикаций по данной тематике, подчеркивал, что именно распространение православия способствовало просвещению

[1] Подробнее о ее деятельности см.: Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб., 2022. С. 245–255.
[2] Забелин А.И. Опыт учительской семинарии в северо-западной России и его указания // Журнал Министерства народного просвещения. 1867. № 2. С. 430.

местного населения в том объеме, в каком это было возможно в средневековом обществе, причем «перевес цивилизации Руси» определил характер и направленность местных школ. Указывалось, что в литовской Руси вплоть до второй половины XVI в. при православных церквях и монастырях существовала система школ и училищ, преподавание в которых велось на русском языке, являвшемся здесь языком придворным, судебным и дипломатическим, знание коего приобщало литовскую знать к более высокой цивилизационной общности[1].

Радикальная трансформация образовательной системы края, по мнению Меньшикова, началась после Люблинской унии 1569 г., когда по призыву виленского католического епископа Протасевича в Литву начали активно проникать иезуиты, не только захватившие в свои руки все местные учебные заведения, но и придавшие образованию характер агрессивной католической пропаганды. С этого момента началось стремительное уничтожение всех некатолических учебных заведений края, проводимое вопреки воле широких народных масс, чье образование теперь оказалось всецело в руках ксендзов и католических богословов. Публицист опровергал широко распространенный в польских кругах тезис о «просветительской миссии» католической церкви, якобы приобщавшей литовскую Русь к передовым достижениям европейской образованности, подчеркивая, что иезуиты, подчинившие себе образовательную систему края, убили в ней всяческие ростки свободного умственного движения, подменив его схоластической философией и казуистическим богословием[2].

На огромную роль образовательной сферы в деле «возвращения» западных окраин в русское культурное пространство, из которого они были насильственно отторгнуты «польщиной», указывал М.В. Юзефович.

---

[1] Меньшиков П. Виленская женская гимназия, с предпосланным очерку ее кратким историческим эскизом состояния в разные эпохи местного мужского и женского образования // Вестник Западной России. 1868. Т. I. Отдел II. С. 9–24. С. 12.
[2] Там же. С. 13.

Публицист указывал на имевший место в Западном крае факт идентификационной подмены, состоявший в том, что поляки, пользуясь своим политическим и материальным превосходством, поляки сумели убедить не только европейскую, но и большинство русской общественности в своем праве на обладание западными русскими землями, подменив «исконную родовую русскую национальность» здешней знати национальностью пришлой. Горький парадокс, по мнению Юзефовича, состоял в том, что верхушка местного населения, русская по своему происхождению, «самопроизвольно отчуждавшаяся, на своей земле, от своего народа и выдающая себя за иноземцев» была убеждена в историческом характере своей польской национальности, являясь носителем и распространителем инородной для местных жителей культуры[1]. Извлечение русских людей из данного «неестественного» состояния рассматривалась не только как политическая обязанность, но и как «гуманный долг» правительства, заботящегося о своих подданных.

Меры, предлагаемые Юзефовичем для исправления данной ненормальной ситуации, представляли собой сочетание административно-силовых и культурно-просветительских, неконфликтных способов воздействия на местное население, причем последним отводилось решающее значение. Важнейшая задача состояла в необходимости постепенного изменения самоидентификации местного населения посредством установления первенства русских идентификационных маркеров в его сознании, что позволило бы не только укрепить связь региона с имперским центром, существенно повысив уровень политической лояльности его населения, но и вытеснить из него враждебное «русскому делу» польское начало. Вследствие этого, публицист указывал на необходимость всестороннего внедрения в сознание местного населения факта его русского происхождения и неразрывной исторической связи западнорусских земель с коренной Россией. Добиться этого, по его мнению, можно было только

[1] Юзефович М.В. Народность и государство. Киев: Университетская тип., 1867. С. 4.

посредством «правильной постановки» образовательного дела, в первую очередь, исторического просвещения, введя в него поданный под определенным идеологическим углом региональный компонент. Юзефович считал целесообразным дополнить преподавание русской истории «самостоятельным отделом о Западном крае для вполне внятного объяснения его подлинных отношений, как к Польше, так и к России, и для изложения самого процесса ополячения в нем высших слоев русского народа»[1]. Для укрепления научных основ данного образовательного направления он предлагал создать особую кафедру в Киевском университете, предполагая, что неопровержимые исторические факты, извлеченные профессиональными авторитетными учеными из подлинных документов, смогут в большей мере поколебать польскую идентичность молодых поколений местного населения, нежели прямые правительственные декларации и запреты[2].

Впрочем, отказываться от последних Юзефович также считал нецелесообразным. «Мягкие» просветительские меры, по его мнению, должны были дополняться устранением польского языка из всех «отправлений общественной жизни», в том числе и церковной, а также постепенным вытеснением любых польских символических маркеров в крае – «польского обычая и польского имени», что должно было убедить местное население в твердости правительственной политики и способствовать его добровольному выходу «из нынешнего ложного и тяжелого положения»[3].

О невозможности отказа от административно-силовых методов в организации образовательного дел в Северо-Западном крае в условиях жесткого противостояния между укоренившимся здесь польским и государственно-интегрирующим русским началами также неоднократно заявлялось на страницах «Виленского вестника», редактируемого А.И. Забелиным и М.Ф. Де-Пуле. Газета заявляла, что первостепенная задача образовательной политики в крае состояла в том, чтобы добиться

[1] Юзефович М.В. Народность и государство. С. 6.
[2] Там же. С. 7.
[3] Там же.

перерождения всех региональных «разнородностей» и заставить их отказаться от своих прежних «привычек и тяготений», соединив их в едином тяготении к общей русско-государственной работе. До тех пор, пока процесс перерождения местного населения не завершится и в новом подрастающем поколении не выработаются новые общегосударственные «привычки», способные привести развитие местного общества в мирное государственное русло, административное вмешательство в образовательную сферу посредством «очищения» региона от носителей чуждых учебно-воспитательных ценностей и защиты школы от вторжения всяких «непрошенных тяготений» представлялось вполне оправданным[1].

После того, как в августе 1868 г. на пост редактора «Виленского вестника» вступил видный педагог П.Е. Рощин, а сама газета была передана в ведение Виленского учебного округа и объявлена неправительственным изданием, проблемы развития местной образовательной системы и обсуждение «положительных мер духовного поднятия верной и преданной нам массы белорусского и литовского народа», реализуемых посредством «поднятия поставленного на твердой почве народного образования» заняли на страницах издания одно из центральных мест[2].

После осуществления официальной деполонизации легальных образовательных учреждений Западного края, об успешном и «окончательном» завершении которой заявлялось на страницах местных изданий[3], главным предметом забот местных властей являлась борьба с широко распространившимся нелегальным обучением, рассматривавшимся как последний оплот польского культурного доминирования в крае, сломить которое без применения репрессивных мер представлялось невозможным. Официальные власти всячески преследовали деятельность нелегальных

[1] Виленский вестник. 1866. № 144. 7 июля.
[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 42 об.–45; Миловидов А.И. Пятидесятилетие «Виленского вестника» русской редакции: (Историко-библиографический очерк). Вильна: Ред. «Вилен. вестн.», 1914. С. 31; Лю-Ку-Тан В.А. Первый директор Белгородского учительского института Павел Емельянович Рощин (1826–1903). Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 22. С. 389.
[3] Виленский вестник. 1868. № 100. 7 сентября.

школ, опасность которых состояла в том, что они были не только «орудием распространения польской грамоты и учений римского католицизма среди православных», но и проводником «антиправительственных взглядов и учений»[1]. Для повышения эффективности борьбы с нелегальным обучением Виленская администрация разработала «Временные правила», позволявшие преследовать его участников и организаторов во внесудебном порядке, утвержденные в 1892 г. Александром III. За открытие тайных школ, снабжение их литературой и преподавание следовал штраф в 300 рублей или трехмесячное тюремное заключение. Взысканию подвергались даже лица, которые, имея право на преподавание, осуществляли его в частном порядке для детей нескольких семейств без соответствующего дозволения властей[2]. Несмотря на постоянно возраставшее недовольство подобными репрессивно-ограничительными мерами, затрагивавшими деятельность не только польских, но и литовских, еврейских, а порой – и русских частных школ, открываемых не в надлежащем порядке и казавшихся вредными многим региональным чиновникам, считавшим их причиной роста антиправительственных настроений среди местного населения[3], «Временные правила» 1892 г. будут упразднены только в 1906 г.[4]

Если в отношении необходимости полного вытеснения польского языка из образовательной сферы Западного края после Январского восстания в российских правительственных и общественных кругах разногласий практически не было, то вопрос о возможности преподавания в начальной школе на «местных наречиях» некоторое время продолжал оставаться дискуссионным. В процессе обсуждения общего плана устройства народных училищ, происходившего в начале 1860-х гг., часть общественных деятелей и членов педагогических советов западных губерний отстаивала

[1] РГИА. Ф. 1284. Оп. 190. Д. 82. Л. 42–42 об.
[2] Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1881–1913 гг. (в 33 томах). СПб.-Петроград, 1885–1916: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1895. Т. 12. Ч. 1. № 8486. С. 224.
[3] РГИА. Ф. 1284. Оп. 190. Д. 82. Л. 38.
[4] Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863–1905). Lublin. Scientific Society of Lublin, 1998. P. 51.

необходимость преподавания в начальных школах на местных языках, руководствуясь сугубо практическими соображениями, связанными с необходимостью облегчения адаптации к учебному процессу крестьянских детей, использовавших в домашнем обиходе исключительно родной язык[1]. Большая часть российских администраторов и общественных деятелей, допускавших использование «местных наречий» в народной школе, ограничивала его применение либо начальным этапом обучения, до тех пор, пока ученики не научатся в достаточной степени русскому языку, либо отдельными предметами, в первую очередь, Законом Божьим[2]. Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов, видевший в языке преподавания одно из важнейших средств «отделения» народов Западного края от «польщины» и выработки у них развитого народного самосознания, настаивал на обязательном введении русского языка в школах лишь тех областей, где преобладало русское население. В тех же местностях, где доминировали литовцы, он допускал возможность ведения обучения на литовском языке[3]. Правительственные чиновники, руководствовавшиеся логикой деполонизации, не опасались развития национальной идентичности литовского народа, полагая, что угроза польского ассимиляционного проекта, осознаваемая литовцами, будет способствовать их сближению с русским народом и интеграции в имперское культурное пространство. Даже в ходе проведения жестких мер по вытеснению польского языка из образовательной сферы в период генерал-губернаторства М.Н. Муравьева, русская администрация не стремилась нивелировать лингвистическую неоднородность края на уровне народной культуры[4]. Генерал-губернатор не мог не учитывать многочисленных обращений к нему со стороны русской общественности края, которая видела в литовцах потенциальных союзников

[1] Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ: Ч. 2. СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К°. 1862. С. 11–12, 61, 117–118.
[2] Корнилов И. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. С. 20.
[3] ОР РГБ. Ф. 169. К. 42. Ед. хр. 1. Л. 1–3.
[4] Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб., 2022. С. 210.

имперской администрации в ее борьбе с польским влиянием и призывала дозволить «хотя бы первоначальное обучение» на литовском языке в местностях с преобладанием литовского населения, что должно было еще больше укрепить лояльность литовцев и их доверие к верховной власти[1].

Преподавание в народной школе и издание предназначенной для этого учебной литературы на местных языках допускали также и представители местной пророссийски ориентированной польской общественности, стремившиеся к сохранению господствующего положения польского языка в местной образовательной системе. Данную точку зрения в этот период отстаивал редактор официальной газеты «Виленский вестник» А.К. Киркор, планировавший организовать выпуск книг для народа на белорусском и литовском языках[2], а также предводитель дворянства Виленской губернии А. Домейко, языком народной школы считавший «господствующие в каждой местности простонародные диалекты», в то время как среднее и высшее образование, по его мнению, могло вестись только на польском языке – «языке мышления, молитвы и разговора всего местного просвещенного населения», которое, помимо всего прочего, является преимущественным источником содержания всех учебных заведений в крае[3].

Однако большая часть русской педагогической общественности западных губерний выступала решительно против осуществления образовательного процесса на местных языках, мотивируя свою точку зрения как прагматическими доводами, связанными с невозможностью дальнейшего применения местных наречий в практической деятельности, так и политическими аргументами, состоящими в том, что «первоначальное обучение на местных языках совершенно разобщает иноплеменные

---

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 705. Л. 17.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 2а. Д. 713. Л. 26–30; Тальвирская З.Я. Некоторые вопросы общественного движения в Литве и Белоруссии в конце 50-х – начале 60-х годов и подпольная литература // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина XIX в.). М.: Наука, 1967. С. 37.
[3] Корнилов И. Русское дело в Северо-Западном крае. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. С. XXVI.

национальности с остальным народонаселением»[1]. Данное обстоятельство в корне противоречило основным целям политики имперских властей в регионе, направленной на максимальное интегрирование инородческих сообществ в общегосударственное культурное пространство, основным условием которого являлось скорейшее овладение государственным языком. Если для литовского населения, на полном обрусении которого представители имперской администрации и общественности никогда не настаивали и чей язык обладал существенными особенностями, являясь ключевым элементом народной идентичности, допускались значительные послабления, то белорусский и малороссийский говоры однозначно рассматривались как простонародные наречия русского языка, в связи с чем их использование в процессе народного образования представлялось нецелесообразным и вредным[2].

Необходимость ведения образовательного процесса на русском языке и его изучения как «предмета первой важности» местным населением диктовалась и практическими соображениями. Еще в 1850-е годы имперская администрация указывала на «недостаточное внимание», уделяемое изучению «нашего родного русского языка» в белорусских губерниях, вследствие чего местные уроженцы, поступающие на службу, «почти все говорят на местном наречии», «излагают дело не только неправильным языком, но длинно, сбивчиво и совершенно непонятно»[3]. Исходя из этого, чиновники Министерства народного просвещения и местные администраторы настаивали на необходимости «усилить преподавание русского языка», увеличив количество отводимых на него учебных часов и поручив его коренным уроженцам великорусских губерний, в задачи которых входило, в том числе, «устранение ошибочного местного выговора» и привитие местным жителям «привычки выражаться на русском языке» как

[1] Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ: Ч. 2. СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К°. 1862. С. 45–46.
[2] Каштанова О.С. Языковая политика в сфере образования в западных губерниях России и Царстве Польском в XIX в. // Центральноевропейские исследования. 2020. Т. 2019. № 2(11). С. 196.
[3] НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 24628. Л. 1–1 об.

во время учебы, так и в обыденной жизни[1]. Исходя из тех же соображений, представители имперской администрации считали нецелесообразным выход книг и периодических изданий на белорусском наречии, что в ментальном и языковом отношении отделяло бы его носителей от русского народа, составной частью которого они являлись. Недозволения к печати подобного рода изданий мотивировались тем, что «белорусы могут свободно понимать чисто русский язык, не имея потребности в специальных для себя книжках»[2].

Данную позицию в полной мере разделяли и поддерживали представители русской национально-консервативной общественности, придававшие единому государственному языку решающее интегрирующее значение. М.Н. Катков связывал возникновение малороссийского и белорусского «наречий» исключительно с влиянием польского языка, существенно исказившего местную русскую речь и вытеснившего ее за время своего политического господства из публичного обращения и культурной сферы. Отказывая местным говорам в праве быть языками народного образования, консервативный публицист указывал на то, что они «никогда не объединялись в общий литературный язык, точно так же, как и части этих населений никогда не жили общей самостоятельной жизнью»[3]. Катков считал, что малороссийский язык, на внедрение которого в образовательную сферу и печать настаивала часть либеральной общественности и бюрократии, находившаяся под влиянием национальных теорий, проповедуемых представителями украинофильского движения, был создан искусственно, «с помощью новой польской примеси». Малороссийские простолюдины зачастую совершенно не понимали его и не желали, чтобы обучение их детей велось на нем или даже на привычных им местных говорах, четко осознавая необходимость и пользу общего русского языка, называемого ими «языком Царя»[4]. Законодательное внедрение преподавания на «искусственно для этой

[1] НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 24628. Л. 5–6.
[2] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 64. Л. 1.
[3] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 25 об.
[4] Там же. Л. 25.

цели объединенном малороссийском языке», по мнению публициста, заставит крестьян думать, что этого желает Государь, и будет способствовать культурному разобщению единой русской народности, за которым могут последовать и новые требования, выходящие далеко за рамки культурно-образовательной сферы[1]. Редактор «Московских ведомостей» был уверен в полной лояльности малороссийской ветви единой русской народности, подчеркивая, что «в малороссийских населениях нет ни малейшей наклонности к сепаратизму»[2], однако искусственная «украинизация» образовательной сферы, внедрявшая в сознание молодых поколений, наряду с языком, представления об их национальной «особости», со временем могла привести к укоренению идей культурного, а затем и политического автономизма. На вполне реальную угрозу для единства русского народа развития подобного «украинофильства» в образовательной сфере Катков неоднократно указывал на страницах своей газеты[3].

Взгляды Каткова по данному вопросу в полной мере разделял и поддерживал М.Ф. Де-Пуле, активно участвовавший в публичном обсуждении украинского вопроса и посвятивший ему ряд объемных научно-публицистических статей[4]. В отличие от многих современных ему критиков «украинофильства», он имел опыт обучения и службы в малороссийских городах и был непосредственно знаком с деятельностью тамошних украинских кружков, вследствие чего не ограничивался их односторонней критикой, предприняв попытку детально рассмотреть происхождение и эволюцию украинского движения[5].

---

[1] ГАРФ. Ф. 109. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. Л. 25–26.
[2] Там же. Л. 25 об.
[3] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863. М.: Издание С.П. Катковой, 1897. С. 326–330, 503–506; Там же. 1864. С. 87–89, 128–132; Там же. 1866. С. 261–265;
[4] Де-Пуле М.Ф. К истории украинофильства // Русский вестник. 1881. № 4. С. 210–234; Де-Пуле М.Ф. Украинофильство в его позднейшей формации // Русь. 1884. № 5. С. 36–41; № 6. С. 21–28; № 7. С. 19–25.
[5] Котов А.Э. «Великая идея всероссийзма»: политическая публицистика М.Ф. Де-Пуле // Вестник ВГУ. Серия: История, Политология, Социология. 2016. № 1. С. 57.

Де-Пуле подчеркивал, что украинофильство, как и другие национальные движения, представляло собой не органическое народное движение, обусловленное стремлением народных масс к развитию собственного языка, как это утверждали его сторонники, а явление «искусственное, вызванное прихотью людей образованных, литературным дилетантизмом»[1]. В условиях становления и бурного развития русского литературного языка, который для образованных людей Малороссии являлся столь же «своим», как и для всей остальной России, «южнорусское наречие стало постепенно спускаться в необразованные классы общества, застывшие в первичной форме земледельческого быта»[2]. Не возражая против развития литературы на малороссийском наречии, Де-Пуле указывал на однозначный вред, который может принести его введение в образование, как для государства, развивающего официальный литературный язык как орудие цивилизации и его основных проявлений – школы, администрации, суда, армии, так и для самих малороссов, для которых русский язык является источником их социального и культурного прогресса[3].

В отношении малороссийского и белорусского языков в образовательной сфере сходных взглядов придерживался педагог, ставший впоследствии чиновником образовательного ведомства, писатель и публицист И.Г. Кулжинский[4], считавший их «перековерканной и испорченной» «проказой полонизмов» частью общего русского языка, которую, как и «всякую испорченность, надобно исправлять, а не возводить на фантастическую степень нормальности и самостоятельности», добиваясь того, чтобы люди, говорящие на них, привыкли говорить чисто по-русски, о чем «все благомыслящие малороссияне давно уже стараются в своих

[1] Де-Пуле М.Ф. К истории украинофильства. С. 214.
[2] Там же. С. 215.
[3] Там же. С. 229–231.
[4] Подробнее о нем см.: Сперанский М.Н. Один из учителей Н. В. Гоголя (И. Г. Кулжинский). Нежин: Тип. насл. В.К. Меленевского, 1906; Котов А.Э. «Заветные принципы» Ивана Кулжинского // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2021. № 1. С. 3–24.

семействах и училищах»[1]. Дозволение и признание самостоятельности малороссийского языка, чего так настойчиво добивались «украинофилы», стремившиеся подчеркнуть его отличия от языка русского и отстаивавшие необходимость использования его в народном образовании, по мнению Кулжинского, может привести к претензиям на подобное положение и белорусского наречия, о котором он писал с нескрываемой иронией: «После этого так и жди, что и белорусское наречие возвысит свой голос и объявить свои права на самостоятельность и литературное гражданство между другими языками»[2].

Делясь опытом своего руководства Молодеческой учительской семинарией, А.И. Забелин придавал обучению русскому языку населения Северо-Западного края огромное политическое значение, подчеркивая, что в учебных заведениях региона оно «должно играть после закона Божия главнейшую роль»[3]. Белорусский и малороссийский говоры он считал всего лишь наречиями русского языка, искаженными польскими словами и оборотами до такой степени, что великорусы, белорусы и малороссы лишь с большим трудом могут понимать друг друга. В данной языковой разобщенности, которая может только углубиться при использовании местных наречий в образовательной сфере, Забелин усматривал серьезную угрозу единству трех составных частей русского народа. Преодолеть ее, по его мнению, можно было лишь путем внедрения русского языка в народную среду для того, чтобы «никаких стремлений политического и еще того хуже – народного обособления в ней не могло возникать, несмотря на все козни наших врагов, имеющих целью расшатать наше народное единство»[4].

Таким образом, помимо признания несостоятельности идеи самостоятельного существования и литературного статуса малороссийского

---

[1] Кулжинский И.Г. О зарождающейся так называемой малороссийской литературе. Киев: Тип. И. и А. Давиденко. 1863. С. 12, 24–25.
[2] Там же. С. 24.
[3] Забелин А.И. Опыт учительской семинарии в северо-западной России и его указания // Журнал Министерства народного просвещения. 1867. № 2. С. 416.
[4] Там же.

и белорусского наречий в отрыве от русского языка, неприемлемость их использования в образовательной сфере западных окраинных регионов в отечественном национально-консервативном дискурсе обуславливалась необходимостью противодействия дезинтегрирующим и разобщающим началам, усматриваемым в их внедрении в учебную среду.

Еще одним ключевым вопросом, связанным с направленностью и организацией образовательной политики в Западном крае, вокруг которого велась острая полемика в кругах отечественных консервативных мыслителей и государственных деятелей, являлась ведомственная принадлежность народных школ, открываемых в окраинных регионах, определявшая характер и содержание культурного воздействия, оказываемого ими на местное население. В основе данной полемики лежала дилемма между религиозно-православными или секулярно-государственными, общекультурными приоритетами в процессе аккультурации инородцев, осуществлявшемся на первичном уровне народного просвещения. Среди части православного духовенства Западного края была распространена идея «простого и радикального» средства обрусения региона при помощи введения всеобщего обязательного обучения в церковно-приходских школах[1]. Некоторые местные священники высказывали идею осуществления народного образования в регионе исключительно посредством церковно-приходских школ, которые, помимо культурно-просветительской и образовательной деятельности, могли бы способствовать распространению и укреплению православного вероисповедания[2]. Особое внимание уделялось увеличению численности учащихся в них лиц неправославного вероисповедания, что трактовалось как успех русификаторской политики и признак «преодоления предвзятой обособленности католического населения»[3]. Данное направление образовательной политики активно поддерживалось Обер-прокурором К.П. Победоносцевым, способствовавшим тому, что в 1880-е годы в регионах с

[1] Фудель И. Наше дело в Северо-Западном крае. С. 18.
[2] Корнилов И. Русское дело в Северо-Западном крае. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. С. 235.
[3] РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 240. Л. 51.

преобладанием неправославного населения количество церковно-приходских школ росло более быстрыми темпами, нежели численность школ министерства народного просвещения[1].

Активным сторонником развития церковно-приходских школ, которые, по его мнению, должны были стать основным «приютом народного образования» как в коренных губерниях России, так и на ее западных окраинах являлся уже упомянутый выше И.Г. Кулжинский. Будучи уроженцем Черниговщины и проведя большую часть своей служебной деятельности в западных губерниях, он на протяжении всей своей жизни оставался сторонником русского национально-консервативного направления, являясь, по словам его биографа, «пионером русского просвещения в крае, где русскими были только крестьяне»[2]. На протяжении многих лет в многочисленных письмах к различным светским и духовным лицам он отстаивал преимущества церковного народного образования перед светским, подчеркивая, что одна лишь Церковь «может безошибочно воспитать народ в духе самодержавия, православия и русской народности»[3]. Горячо защищая ее первенство в деле народного образования, Кулжинский фактически настаивал на приоритете воспитательного компонента перед образовательным, указывая на то, что светские народные училища, в силу используемых там «передовых» учебных методик и разнородного кадрового состава учителей, сами зачастую являются «орудием для нравственного растления народа», в то время как церковно-приходские школы, возглавляемые полностью благонадежным православным духовенством, есть самое благодатное средство для воспитания народного благочестия, «каким не могут похвалиться никакие комитеты грамотности и литературные

[1] Крот М.Н. «Касаться вопросов веры с возможной осторожностью…»: политика «церковно-приходского обрусения» Северо-Западного края и Виленский генерал-губернатор князь П.Д. Святополк-Мирский // Тетради по консерватизму. 2020. № 2. С. 322.
[2] Сперанский М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кулжинский). С. 9.
[3] Кулжинский И.Г. Вот кто первый хлопотал о восстановлении и размножении церковно-приходских училищ в России. Письма и заметки по этому предмету И. Гр. Кулжинского. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1895. С. 8.

общества»[1]. Отстаивая свою позицию, Кулжинский апеллировал к мнению авторитетов: взглядам бывшего министра народного просвещения А.С. Норова, известного своим неприятием светской модели крестьянского образования, усматривавшего в нем «насильственную регламентацию» естественного стремления народа к духовному обучению[2] и доказывавшего, что «в народную школу не следует даже никого пускать, кроме священников», а также к позиции графа Д.Н. Блудова, настаивавшего на полной передаче народных школ в ведение духовенства[3] и других видных государственных деятелей.

Противопоставляя церковно-приходские школы светским народным училищам, и в полемическом азарте фактически открыто обвиняя последние едва ли не в пособничестве нравственному растлению народа, Кулжинский руководствовался, в первую очередь, соображениями охранительного порядка, усматривая в распространении радикальных настроений среди молодежи прямое следствие «разлагающего» светского образования[4]. Отстаиваемое им первенство православно-религиозных начал в народном образовании он считал вполне приемлемым и для западных окраин России, рассматриваемых им как исконно русские земли, издревле населенные русским народом православного исповедания и тяготевших к нему литовских язычников[5]. Консервативно-охранительные взгляды Кулжинского со свойственным им тяготением к народности и приоритетом религиозных начал сближают его со славянофильским направлением русского национализма[6].

---

[1] Кулжинский И.Г. Вот кто первый хлопотал о восстановлении и размножении церковно-приходских училищ в России. С. 10, 15.
[2] ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 51. Л. 2–3.
[3] Кулжинский И.Г. Вот кто первый хлопотал о восстановлении и размножении церковно-приходских училищ в России. С. 17.
[4] Там же. С. 21, 27, 40–43.
[5] Кулжинский И.Г. О соединении Польши с Россиею // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. Февраль. Т. III. Отд. II. С. 30.
[6] Котов А.Э. «Заветные принципы» Ивана Кулжинского // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2021. № 1. С. 24.

Ведя активную борьбу против нелегального обучения, представители имперской администрации и консервативных кругов российской общественности осознавали необходимость создания эффективной альтернативы тайным школам, максимально близкой к народным потребностям.

Настоятельную необходимость в этом в последние десятилетия XIX в. осознавал К.П. Победоносцев, признававший, что существовавшую общенародную потребность в грамотности в силу недостаточности средств было невозможно удовлетворить существовавшими светскими и церковно-приходскими школами. В тех коренных русских губерниях, где существовали земские учреждения, эта проблема частично решалась за счет земских школ, которые, при всех их недостатках, выполняли возложенную на них миссию просвещения народных масс. В окраинных же регионах, где образовательная деятельность имела не только просветительское, но и политическое значение, эта нехватка имела особенно пагубное значение, поскольку имевшийся вакуум заполнялся нелегальной школой, прививавшей молодому поколению антиправительственные и антигосударственные представления. По мнению Обер-прокурора, противодействовать данным негативным явлениям следовало не только методами запрета, но и путем создания в западных окраинных регионах, наряду с «правильно организованными церковными школами» дополнительных начальных народных учебных заведений – Школ грамоты, которые по его инициативе широко распространялись в других регионах России[1]. В феврале 1891 г. под непосредственным контролем К.П. Победоносцева были разработаны «Правила о школах грамоты», утвержденные императором Александром III в мае того же года[2]. «Правила…» распространялись на все епархии, кроме Рижской и Финляндской, где начальные школы для православного населения

[1] Житнев Т.Е. Школы грамоты в Российской империи конца XIX – начала XX века // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. № 4 (17). С. 183.

[2] Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1881 – 1913 гг. (в 33 томах). Санкт-Петербург: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1894. Т. 11. № 7665. С. 236.

имели особое устройство, но особое значение придавалось им в отношении западных окраин, где вновь создаваемые образовательные учреждения должны были стать альтернативой тайным костельным и «дарактерным» школам[1]. Согласно особому циркулярному письму, разосланному Обер-прокурором в октябре 1892 г. начальникам губерний и областей, «в коих не введены земские учреждения», от правительственных органов требовалось всестороннее содействие православному духовенству и общественным инициативам, между которыми требовалось достижение «полного единения» в деле создания сети школ грамоты[2].

Главным достоинством данных школ, особо подчеркиваемым инициаторами их открытия, являлась дешевизна и «необременительность» для казны, поскольку в идеале они должны были учреждаться «самим народом» и финансироваться из средств местного населения с ежегодными пособиями из сумм губернского земского сбора. Педагогический состав формировался либо их местных православных священнослужителей, либо из выпускников двухклассных церковно-приходских школ, численность которых в конце XIX в. стремительно увеличивалась. К.П. Победоносцев особо подчеркивал необходимость распространения грамотности среди крестьянского населения без отрыва его от привычной среды, с тем, чтобы, получив элементарное образование, крестьяне продолжали заниматься сельским хозяйством[3]. Безусловно, Обер-прокурор не мог не осознавать того, что продвигаемые им народные школы грамоты вряд ли являлись серьезным средством аккультурации неправославного населения западных окраин, придавая им, в первую очередь, «оборонительное» значение, которое они имели для белорусского крестьянства, защищая его от воздействия тайного католического образования[4].

---

[1] НИАБ. Ф. 321. Оп. 1. Д. 229. Л. 9.
[2] Там же. Л. 2
[3] Житнев Т.Е. Школы грамоты в Российской империи конца XIX – начала XX века // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. № 4 (17). С. 189.
[4] НИАБ. Ф. 321. Оп. 1. Д. 229. Л. 9.

Тем не менее, имперская администрация стремилась всячески отметить большое интегративное значение школ грамоты, получивших широкое распространение в юго-западном и северо-западном регионах Российской империи, где они «успешно боролись с тайными костельными школами и постепенно вытесняли их»[1]. Подчеркивалось, что, помимо защиты от враждебного ассимилятивного воздействия, они являются лучшим средством борьбы против других «язв», разъедавших народные силы населения западных окраин – «лже-учения сектантства и разоряющего народ пьянства»[2]. Несмотря на в целом позитивную оценку опыта развития начального народного образования под патронатом и надзором православной церкви, указывалось, что для достижения поставленных им целей на западных окраинах, им необходимо было придать практико-ориентированный характер. В официальных изданиях отмечалось, что, поскольку местное крестьянство занималось практически исключительно земледелием, а торговля и промыслы находились в руках инородцев (преимущественно – евреев), то, соответственно, улучшение материального состояния народных масс, к чему настойчиво стремились имперские власти, было возможно только путем совершенствования крестьянского землепользования и распространения среди них ремесленных навыков. В связи с этим, указывалось на необходимость введения в народных школах сельскохозяйственных курсов и ремесленных классов, которые будут способствовать росту практических знаний у крестьян, делая их не только «послушными сынами церкви православной и верными слугами Царя», но и крепкими хозяевами, материально устойчивыми к любым внешним воздействиям[3].

Необходимость всестороннего распространения и «нравственной» поддержки народных школ грамоты в Северо-Западном крае в 1880 – 1890-е гг. отстаивали публицисты «Виленского вестника», подчеркивавшие не

[1] Правительственный вестник. 1891. № 105. 15 апреля.
[2] Там же.
[3] Правительственный вестник. 1892. № 80. 27 марта.

только просветительское, но и огромное политическое значение этих «школок», называемых «главными противниками тайных костельных школ, в какие завлекалось русское население»[1]. Их распространение предлагалось синхронизировать с развитием церковно-приходских училищ, встроив в единую систему, в рамках которой на каждое из последних должно было приходится три-четыре школы грамоты, что позволило бы включить в сферу начального образования широкие народные массы, создав «в каждой деревне, в каждом значительном поселке дешевую и полезную школу»[2].

На огромную роль народного образования, ведущегося на русском языке, в деле интеграции западных окраинных регионов в единое культурное пространство Российской империи указывал видный западнорусский деятель в области народного просвещения, директор народных училищ Минской губернии Н.Ф. Акоронко. Будучи выходцем из семьи бедного сельского униатского священника Пинского уезда Минской губернии, он был непосредственно знаком с жизнью белорусского крестьянства, просвещению которого посвятил всю жизнь, пройдя путь от простого учителя местной духовной семинарии до должности редактора влиятельной местной газеты «Минские епархиальные ведомости» и руководителя народного образования губернии, на пост которого он был назначен в 1895 г.[3]. Николай Францевич в полной мере разделял взгляды И.П. Корнилова на роль и значение для «русского дела» в Западном крае «правильно поставленного» народного образования, стремясь реализовать на практике заветы видного подвижника «русского дела» посредством отстаивания значение народной школы перед лицом местной и центральной имперской администрации. Акоронко отмечал, что народная русскоязычная школа является не только одним из немногих каналов социальной мобильности для крестьянского населения западных

[1] Виленский вестник. 1890. № 237. 2 ноября.
[2] Там же.
[3] Чистяков П.А. Минские епархиальные ведомости, издававшиеся в конце XIX – начале XX столетия: история издания, наиболее выдающиеся редакторы. [Электронный ресурс] URL: https://minds.by/articles/minskie-eparhial-ny-e-vedomosti-izdavavshiesya-v-kontse-xix-nachale-xx-stoletij-istoriya-izdaniya-naibolee-vy-dayushhiesya-redaktory#.Y-UNlCvP2Uk (дата обращения: 09.02.2025).

губерний, но и практически единственным средством их «нравственного воспитания» и приобщения к культурной жизни страны, особо подчеркивая значимость преподавания на русском языке, что должно было способствовать «объединению инородческих учащихся с великой русской семьей»[1].

В многочисленных «Отношениях…» и отчетах, направляемых к Минскому губернатору, которые, в силу их развернутости и региональной значимости практически в полном виде попадали в регулярные губернаторские отчеты, Акоронко отстаивал необходимость всестороннего развития народных школ в западных губерниях, поскольку они, предоставляя достаточное для крестьян образование, «воспитывают их в религиозно-нравственном православном направлении, в верноподданнической преданности Престолу и Отечеству, тем самым все более сплачивают местное белорусское население с народом великорусским, объединяя их в языке, правах и обычаях и все более сглаживая рознь между ними, порожденную вековым латино-польским гнетом»[2]. Несмотря на то, что глава народных школ Минской губернии настаивал на сохранении дела народного просвещения в руках православного духовенства, он был противником превращения его в механизм насильственного насаждения православия, неоднократно подчеркивая, что интегрирующими образовательно-воспитательными факторами, «объединяющими разноверных и разноплеменных учащихся», должны являться русский язык, единые «чистые нравственные понятия», патриотизм и любовь к единому Отечеству, преданность Государю Императору[3]. Акоронко указывал на необходимость осуществления народного просвещения «без нарушения вероисповедных особенностей». По его мнению, это должно было способствовать притоку в народные училища не только представителей православного населения, но и белорусских католиков, поляков, литовцев, евреев, которые, как он надеялся,

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 5987. Л. 21.
[2] Там же. Л. 23.
[3] Там же. Л. 28 об.

в силу естественной тяги к образованию должны постепенно преодолеть предубеждение против народных школ, подтверждением чего служило ежегодное увеличение неправославного контингента учащихся[1].

Среди всех правительственных мероприятий и проектов по «обустройству» Западного края «самым важным и чувствительным вопросом», по мнению М.О. Кояловича, являлось «правильная постановка» местного народного образования. Мыслитель был противником сложной канцелярской регламентации учебной деятельности, призывая к примирению и плодотворной совместной работе сторонников церковно-приходского и светского народного образования. Однако, заявляя о единых общегосударственных задачах, стоящих перед учебными учреждениями края вне зависимости от их ведомственной принадлежности, Коялович, тем не менее, не отказывался от тесной взаимообусловленности образовательного и конфессионального компонентов, подчеркивая «естественный» характер тяги к православному храму «выходцев из народа католического закона», в чьи души запало «хорошее зерно русского просвещения»[2]. Отстаиваемая им православно-конфессиональная ориентация народной школы проявлялась в призывах к дальнейшему развитию церковных школ и усилению религиозного компонента в министерских училищах, состоящего в «серьезном изучении церковно-славянской грамоты, церковно-славянского пения и практического приложения того и другого в церкви»[3]. В контексте высказываемых им в том же документе предложений по внедрению церковнославянского языка в католическое богослужение, данная программа не выглядела как прямая дискриминация в отношении католического населения, приобщавшегося в ходе обучения к «единым нравственным законам». Коялович был убежден, что благотворное влияние единой не по ведомственной принадлежности, но по духу русской школы приведет к неизбежному падению господствовавшей в крае польской «умственной»

[1] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 7292. Л. 49 об.
[2] РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 85. Л. 1.
[3] Там же.

культуры и естественным путем будет способствовать переходу католического населения в православие. Сочетание административно-силовых методов по отношению к упорствующим в своем «полонизме» ксендзам и панам, совращавшим местное население с пути русского просвещения, с целенаправленными усилиями по внедрению его «благотворных плодов» в сознание народных масс, по оптимистическим прогнозам западнорусского мыслителя, должно было привести не только к стремительному распространению русской культуры и языка, но и к тому, что «через десять лет и даже раньше половина католического населения Западной России перешла бы в православие»[1].

Однако далеко не все представители имперской администрации и общественности, придерживавшиеся национально-консервативной направленности, выступали за приоритет «церковно-приходского обрусения» Западного края, указывая на вполне закономерное неприятие данной политики большей частью местного инородческого населения. Министр народного просвещения И.Д. Делянов, возражая идее К.П. Победоносцева о передаче сельских народных школ в ведение Духовного ведомства, в качестве основного аргумента указывал на крайнее «неудобство» данной меры для инородцев, которых она могла оттолкнуть от русского образования[2]. Он прямо заявлял, что народные школы, существовавшие на тех окраинах, где большинство учащихся были неправославного вероисповедания, принципиально не должны были находиться в ведении православного Духовного ведомства, поскольку это противоречило бы не только административной логике, но и здравому смыслу, порождая конфликтную ситуацию. Министр не отрицал готовность своего ведомства активно сотрудничать с православным духовенством, привлекая его к образовательной деятельности, однако доказывал, что Положение Комитета Министров от 12 июня 1878 г. об участии духовенства в развитии народных

[1] РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 85.
[2] РГИА. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 337. Л. 1–1 об.

школ, на которое ссылался Победоносцев, не означало их передачу в ведение церкви[1].

Большинство представителей русской общественности, в том числе видные русские педагоги призывали к сохранению существовавшего в Российской империи принципа разнообразия типов народных школ в зависимости от географических, этнографических и конфессиональных особенностей регионов, в которых они находились[2]. Наиболее дальновидные представители центральной и региональной имперской администрации и русской общественности, отмечавшие отрицательный эффект попыток использования системы народного образования для искусственного насаждения православия в Западном крае, приводивших лишь к тому, что среди местного неправославного населения не было «ни любви к России, к русскому образованию, ни малейшего желания слиться с русской национальностью»[3], настаивали на необходимости расширения в областях с господствующим инородческим населением исключительно гражданских школ. Заявления ряда православных священников о прямом вреде, будто бы наносимом светскими школами развитию церковно-приходского образования, единственно способного победить «исконных врагов православия и русской народности в Северо-Западном крае – латинство и полонизм», не находили широкого сочувствия в национально-консервативных кругах. Их представители хорошо осознавали сомнительность православно ориентированной образовательной политики в отношении местностей с преобладающим католическим населением, которое «не симпатизируя в известной степени школам министерства народного просвещения, еще менее может сочувствовать школам, состоящим в ведении православного духовенства»[4].

---

[1] РГИА. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 337. Л. 2–2 об.

[2] Окушова Г.А., Пьяных Е.Г. Народная школа в дореволюционной России: теоретико-методологические основания и организационная практика // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. Вып. 11 (101). С. 74.

[3] ГАРФ. Ф.102. Оп. 101. 3-е делопроизводство. 1903 г. 1 ч. 41 л. А Л. 2 об.

[4] Виленский вестник. 1890. № 19. 25 января.

Усилия имперских властей по распространению церковно-приходских школ, а также ограничения в отношении национального образования вели к активному сопротивлению политике «церковно-приходского обрусения» со стороны католического духовенства, наиболее ярким проявлением которого стал циркуляр Виленского католического епископа С. Зверовича от 12 февраля 1902 г., открыто призывавший противодействовать посещению детьми католиков православных церковно-приходских школ, называвшихся не образовательными, а «чисто религиозными» учреждениями, где «происходила прямая православная агитация»[1]. В результате этого шага, открыто бросавшего вызов православному образованию в крае, начался резкий отток учащихся-католиков из церковно-приходских школ. Представители местной имперской администрации напрямую связывали данное резкое обострение межконфессиональной ситуации в регионе с активным присутствием православной церкви в системе народного образования, призывая отказаться от распространения церковно-приходских школ в районах с преимущественно католическим населением[2]. Виленский губернатор В.В. фон Валь, пытавшийся «образумить» Зверовича, в своих мемуарах признавал, что в душе был согласен с доводами католического епископа, отстаивавшего интересы своей конфессии от довольно негибких шагов по «насаждению» православия[3].

Высшая имперская администрация, хотя и наказавшая виленского епископа за «недопустимое» воззвание, тем не менее, была вынуждена косвенно признать, что этот инцидент был вызван не только «своеволием» ксендза, но и конфронтационным характером образовательной политики, православная ориентированность которой в регионе со значительным процентом католического населения не могла не вызвать отторжения последнего. Министр внутренних дел В.К. Плеве, возвративший Зверовича

[1] Циркуляр № 509 Виленского римско-католического епископа С. Зверовича от 12 февраля 1902 г. // Ганчар А.И. Римско-католическая церковь в Беларуси (вт. пол. XIX– нач. XX вв.). Гродно: ГГАУ, 2010. С. 468–469.
[2] РГИА. Ф. 916. Оп. 1. Д. 13. Л. 20
[3] Там же. Л. 19.

из ссылки, отметил, что епископ «стал жертвой ошибочной политики местных властей, которые активно распространяли православие среди католиков»[1]. Опасение углубления межконфессиональной напряженности в регионе заставило имперскую администрацию внести существенные коррективы в систему местного народного образования, вернув ее в русло стратегии «мягкой силы»[2].

Значительное внимание, уделявшееся развитию образовательной сферы Северо-Западного края в рамках отечественного национально-консервативного дискурса, не ограничивалось областью начального народного просвещения. Значимым свидетельством успешного развития «русских умственных начал» в регионе должно было стать создание высшего учебного заведения, русского по своему духу и языку, которое заместило бы собой упраздненный еще в 1832 г. Виленский университет, признававшийся «рассадником» польской политической идеи. Помимо политической значимости, необходимость данного учебного заведения была также обусловлена сугубо практической необходимостью, связанной с преодолением кадрового голода, испытываемого местной имперской администрацией, остро нуждавшейся в хорошо подготовленных местных служащих, воспитанных и обученных в «русском духе».

Вопрос об открытии высшего учебного заведения в крае в течение всей второй половины XIX – начала XX в. периодически поднимался на страницах центральной и региональной русской печати, неизменно вызывая острые споры о характере и направленности планируемого учреждения. Острая дискуссия разворачивалась вокруг вопроса о том, должен ли это быть светский университет, русский характер которого определялся бы по языковому критерию и соответствующему кадровому наполнению или православная духовная академия, призванная стать, в первую очередь, центром распространения православия в крае. В полемике по данному

[1] Смалянчук А.Ф. Палякі Беларусі і Літвы ў рэвалюцыі 1905–1907 гг. Гародня: Ратуша, 2000. С. 65
[2] Крот М.Н. «Касаться вопросов веры с возможной осторожностью…». С. 325–327.

вопросу вновь нашло свое отражение характерное для отечественного национально-консервативного дискурса внутреннее концептуальное размежевание, связанное с различными подходами к пониманию сущностных критериев принадлежности к русской народности. Имевшая в нем место дихотомия между языковым секулярно-гражданским и конфессиональным наполнением данного понятия, обуславливавшая различные подходы к стратегии «нравственного завоевания» края, определяла содержание дискуссии о светской или духовной направленности будущего образовательного учреждения. В спорах о принципиальной целесообразности, своевременности его создания и даже его территориальной локализации отражались также сохранявшиеся опасения перед угрозой возрождения полонизма и завуалированное признание слабости русских интеллектуальных сил в крае.

Сторонники создания русского светского учебного заведения в регионе опирались на весьма успешный опыт открытого в 1869 г. Варшавского Императорского университета, ставшего настоящим форпостом русской науки и культуры на западной окраине империи. Достижение аналогичного результата в Северо-Западном крае признавалось вполне возможным при условии строгого соблюдения языкового монизма и кадровой политики, ни под каким предлогом не допускавшей в педагогический состав университета польский элемент. Символический характер должна была иметь и географическая локация учебного заведения, которое планировалось открыть не в Вильне, являвшейся символическим центром местного полонизма, а в каком-либо из местных исторически русских городов.

Данный подход к решению вопроса о создании высшего учебного заведения в крае в середине 1870-х гг. отстаивался на страницах национально-консервативной газеты «Русский мир», редактором которой долгое время являлся популярный генерал и видный общественный деятель М.Г. Черняев, поддерживавший идею открытия русского университета в Северо-Западном крае. Насущная необходимость данной меры

обосновывалась тем, что отсутствие высшего учебного заведения неблагоприятно влияла на успехи русского дела в крае, поскольку местные русские элементы были лишены важной опоры в виде «умственного центра», который мог бы стать местом их сосредоточения и культурного развития. Подчеркивалось, что «русский университет в северо-западном крае не может не служить орудием национального единения и опорой русским интересам», способствуя «расширению русской цивилизации» и противодействию конкурирующим культурным влияниям[1].

Потребность именно в светском гражданском учебном заведении была обусловлена не только русификаторскими соображениями, но и тем фактом, что совершенствование всех сторон общественной жизни, вызванное проводившимися в стране преобразованиями, настойчиво требовало увеличения числа подготовленных специалистов, нехватка которых особенно остро ощущалась на имперских окраинах. Региональный университет не только способствовал бы просвещению и культурному развитию местного населения, но и позволил бы в большей степени укорениться в регионе приехавшим сюда русским служащим, рассматривавшим свое пребывание в крае как временное, в том числе, и в силу невозможности дать своим детям надлежащее образование[2]. Публицисты «Русского мира» подчеркивали, что, если в 1830-е годы Россия еще не обладала «достаточными научными силами» для открытия собственного центра просвещения, способного конкурировать в научном и образовательном плане с упраздненным Виленским университетом, то теперь, когда развитие русского просвещения делало огромные успехи, данная проблема могла быть без труда решена за счет привлечения кадров из центральных регионов[3].

Перспектива открытия русского университета в Северо-Западном крае казалась настолько естественной, что редактор «Русского мира» считал его лишь «вопросом времени», ссылаясь на позицию Министерства народного

[1] Русский мир. 1875. № 96. 11 (23) июля.
[2] Там же.
[3] Там же.

просвещения, заявлявшего о готовности учредить университет в Полоцке, выбор которого был обусловлен «чисто русским» характером данного города и наличием в нем подходящего здания, в котором располагалась военная гимназия, находившаяся в ведении Военного министерства[1].

Несколько позже, в конце 1880-х гг. данный вопрос был поднят на страницах газеты «Новое время», один из региональных корреспондентов которой, выступавший под псевдонимом «Виленский старожил», в развернутой полемической статье изложил комплекс аргументов в пользу создания в крае светского образовательного учреждения, включавший в себя как идейно-политические, так и сугубо прагматические соображения. Полемизируя со сторонниками духовно-конфессиональной траектории развития высшего образования в крае, настаивавшими на первоочередной необходимости открытия в Вильне православной Духовной академии, анонимный автор считал, что, вопреки их замыслам, ее открытие не станет прочным препятствием против католической пропаганды, поскольку «католицизм в крае силен не религиозным оружием, а политическим», и борьба с ним давно вышла за рамки сугубо «академических аргументов»[2]. Нецелесообразность создания в крае Духовной академии обосновывалась также опасениями перед искусственным порождением у ее выпускников «чувства своей обособленности и исключительности», возникающего вследствие незнакомства с великорусской православной церковью и самой Россией. Предотвратить появление данного «духовного сепаратизма» «Виленский старожил» считал возможным лишь путем обучения наиболее достойных выпускников местных семинарий в великорусских духовных академиях, что позволило бы им стать действительными носителями великорусской православной культуры в Западном крае[3]. Для полноценного же развития всех местных русских интеллектуальных сил, не ограничивавшихся исключительно духовным сословием, по его мнению,

[1] Русский мир. 1875. № 96. 11 (23) июля.
[2] Новое время. 1889. № 4804. 15(28) июля.
[3] Там же.

несравненно большее значение должно было иметь создание здесь полноценного русского университета, наличие которого должно стать свидетельством полной интеграции региона в единое культурное пространство Российского государства. Отводя возражения своих оппонентов, опасавшихся превращения университета в новое средство «ополячивания» края, «Виленский старожил» утверждал, что такая перспектива была актуальна для прошлых времен, когда край находился «всецело в польских руках», теперь же, по мере всестороннего укрепления здесь русских начал, его появление станет дополнительным средством «укрепления в крае русской народности, культуры и государственности»[1].

Однако большая часть представителей отечественной национально-консервативной общественности на протяжении всей второй половины XIX века все же считала открытие университета в Северо-Западном крае «несвоевременным» в силу сохранявшегося господства «польщины» в интеллектуальной и культурной жизни региона, что, по их мнению, неизбежно приведет к его стремительной полонизации и превращению в средоточие антирусских сил в крае. Полемизировавший с «Виленским старожилом» редактор «Нового времени» А.С. Суворин был уверен, что плодами усилий русского правительства по созданию в крае университета с радостью воспользуются практически исключительно поляки и евреи, составляющие основной контингент городского населения Северо-Западного края, а неизбежную нехватку русских педагогических сил для него придется восполнять польскими кадрами, что имело место в административной среде. Схожие аргументы несколько раньше выдвигали И.С. Аксаков[2], И.П. Корнилов[3] и многие другие национально-консервативные общественные и государственные деятели, указывавшие на приоритетность развития низшего и среднего образования в крае, удовлетворявшего интересы широких народных масс. Не отрицая того факта, что с разрешением «в положительном

[1] Новое время. 1889. № 4804. 15(28) июля.
[2] Русь. 1882. № 1. 2 января. С. 17; 1884. № 1. 5 января. С. 30.
[3] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 81. Л. 2 об.

смысле» «существеннейшего» вопроса о создании высшего учебного заведения в Северо-Западном крае, «облегчится во многом полное слияние западных окраин с прочими частями империи»[1], они настаивали на учреждении здесь такого заведения, «которое было бы чуждо воспламеняющихся элементов, в котором наука нашла бы правильное развитие, которое давало бы здоровые силы к обрусению, а не разложению края»[2].

Таким образовательным учреждением, по их мнению, должна была стать православная Духовная Академия, открытие которой в Вильне также аргументировалось не только просветительскими, но и прагматическими соображениями. Важнейшее из них было связано с необходимостью повышения интеллектуально-образовательного уровня местных православных священников, который позволил бы им достойно противостоять хорошо образованным католическим ксендзам, что имело огромное значение в крае, являвшемся ареной непрерывной борьбы католичества с православием[3]. И.С. Аксаков подчеркивал, что «весь Западный край крепко нуждается в высокообразованных священниках, которые сумели бы дать надлежащий отпор ухищрениям католицизма и полонизма», вследствие чего открытие в Вильне Духовной академии есть «безотлагательный и животрепещущий вопрос для всего Западного края»[4].

С данной идеей, ссылаясь на нереализованное пожелание М.Н. Муравьева, еще в 1868 г. выступал попечитель Виленского учебного округа П.Н. Батюшков. Помимо открытия Академии, он считал необходимым создать при ней светский филологический отдел, выпускники которого пополняли бы ряды местных русских учителей, чья численность, несмотря на усилия властей по их привлечению, оставалась явно недостаточной[5]. Инициатива виленского чиновника получила одобрение министра народного

[1] Гражданин. 1889. № 296. 25 октября.
[2] Русь. 1882. № 1. 2 января. С. 18.
[3] Фудель И. Наше дело в Северо-Западном крае. С. 27–28.
[4] Русь. 1884. № 1. 5 января. С. 30.
[5] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 81. Л. 2.

просвещения Д.А. Толстого и самого императора Александра II, однако, после отставки Батюшкова и его отъезда из Вильны была надолго положена под сукно. Спустя два десятилетия бывший попечитель, продолжавший настаивать на необходимости создания в центре Северо-Западного края «прочного рассадника законоучителей православного вероисповедания», заявлял, что именно такое учебное заведение в наибольшей степени будет способствовать успеху русского дела в крае. Аргументируя свою позицию и возражая тем, кто опасался порожденного будущей Академией духовно-церковного и политического сепаратизма, Батюшков ссылался на авторитет нескольких поколений русских деятелей, отстаивавших данную идею, и не усматривавших в ее появлении никакой опасности для целостности империи и ее западных окраин[1]. Даже редактор газеты «Гражданин», на страницах которой Батюшков излагал свою позицию по данному вопросу, – В.П. Мещерский, чьи взгляды существенно расходились с позицией сторонников национально-консервативной доктрины, выступил с его поддержкой, заявив: «Если интересы правительственной задачи в крае требуют сохранения в нем генерал-губернаторства, как органа внешней и внутренней объединяющей функции, то не гораздо ли более должны те интересы требовать объединяющего органа духовной и умственной силы в крае, где духовное просвещение несравненно нужнее светского»[2].

Несмотря на то, что инициатива создания высшего учебного заведения в Северо-Западном крае исходила не только от общественных сил, но и выдвигалась многими представителями местного православного духовенства и администрации[3], осознававшими ненормальность положения, при котором в обширном регионе не имелось не только классического или духовного, но и специально-технического высшего учебного заведения, данный вопрос, как

[1] Гражданин. 1889. № 296. 25 октября.
[2] Там же.
[3] В 1903 г. с предложением учредить в Вильне высшее сельскохозяйственное техническое учебное заведение выступил генерал-губернатор П.Д. Святополк-Мирский (РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 352. Л. 27–27 об.), поддержавший инициативу местного сельскохозяйственного общества (ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 982. Л. 1–2).

известно, так и не был разрешен в положительном смысле вплоть до конца имперского периода. Помимо объективных обстоятельств, связанных с перманентным недостатком денежных средств и т. п., от создания светского учебного заведения имперскую администрацию удерживали высказанные в рамках отечественного национально-консервативного дискурса опасения его стремительной полонизации и превращения в центр «польской политической пропаганды». Учреждение же православной Духовной академии в крае, где значительная часть населения и подавляющее большинство элиты придерживалось католического вероисповедания, обретало ярко выраженное символическое и конфронтационное значение, способное привести к дестабилизации обстановки в регионе, чего имперские власти, стремившиеся к достижению конфессионального компромисса, всячески стремились не допустить.

Помимо сугубо образовательной сферы, значимым элементом неконфликтного интегративного воздействия на население западных окраинных регионов, по мнению отечественных национально-консервативных мыслителей, должна была выступать культурно-просветительская деятельность, проводимая усилиями региональной русской интеллигенции в рамках официально функционирующих общественных организаций. Последние были призваны стать не только центрами интеллектуальной жизни окраинного русского сообщества, но и механизмами распространения русской грамотности и культуры среди местного населения.

На страницах русской центральной и региональной печати неоднократно ставился вопрос о необходимости создания региональных русских обществ – «клубов или комитетов для распространения русской грамотности», деятельность которых способствовала бы преодолению разобщенности русского окраинного сообщества и его «совместному действию в пользу

общей русской идеи»[1]. Главная цель таких публичных общественных площадок должна была состоять в распространении и популяризации русских культурных ценностей среди местного населения, способствуя его просвещению и вовлечению в общегосударственное духовно-ментальное пространство. Осуществляться это должно было посредством культурно-просветительских мероприятий – устройства русских библиотек, организации публичных чтений, любительских русских спектаклей, содействия развитию школьного дела, улучшению быта учителей и священников, в которых должны были принимать участие все неравнодушные люди, заинтересованные в успехе русского дела на окраинах империи[2]. Опыт создания такого рода легальных организаций в Северо-Западном крае на рубеже XIX – XX вв. будет рассмотрен в следующем параграфе.

Подводя итог, следует отметить, что образовательная сфера стала одновременно и полем столкновения различных противодействующих друг другу проектов аккультурации местного населения и одним из важнейших орудий «борьбы за народные массы», развернувшейся в Западном крае между господствовавшим здесь польским элементом и русским государственным началом.

Согласно национально-консервативной доктрине, важнейшая задача образовательной системы на западных окраинах России состояла в распространении там русского языка, владение которым признавалось одним из наиболее значимых маркеров принадлежности местного населения к русскому государственному и культурному пространству. Сформировавшаяся в 1860-е годы модель образовательной политики российских властей в Западном крае, которая в своих основных направлениях оставалась неизменной на всем протяжении последних десятилетий XIX века, в целом соответствовала национально-

[1] Киевлянин. 1865. № 36. 25 марта.
[2] Там же.

консервативным подходам к решению данного вопроса. Преемники И.П. Корнилова на посту попечителя Виленского учебного округа – П.Н. Батюшков, Н.А. Сергеевский, В.А. Попов в своей деятельности следовали общему вектору развития системы народного образования, сформированному в «муравьевскую эпоху», далеко не всегда поддерживаемому местной администрацией.

Вопреки заявлениям о неизбежной и скорейшей победе русских культурных начал в регионе, а также об их содействии «естественному» распространению православия, неоднократно звучавшим в отечественном национально-консервативном дискурсе, реализация данной модели образовательной политики вела к весьма противоречивым последствиям, поскольку, содействуя решению стоящих перед имперскими властями края политических задач, к концу XIX века она уже в полной мере не соответствовала потребностям общественного развития региона.

Характеризуя национально-консервативные подходы к реализации образовательной политики на северо-западных окраинах России, рассматривавшейся их сторонниками в качестве важнейшего средства «нравственного завоевания» края, следует указать на целый ряд противоречий между провозглашаемой неконфликтной моделью образовательной аккультурации местного населения и отдельными конкретными элементами данной доктрины, а также реализуемой на ее основе практики, способствовавшими сохранению высокого уровня конфликтогенности в учебной среде региона.

Одним из наиболее проблемных аспектов данного сюжета в отечественном национально-консервативном дискурсе являлось сохранение тесной смысловой и практической взаимообусловленности между образовательной и религиозно-конфессиональной сферами. Данная взаимосвязь, вытекавшая из общих ценностных установок русских консерваторов и религиозно ориентированного понимания духовного развития народных масс, вела к включению значительного православного

компонента в область начального образования. Не только передача народных школ в руки православного духовенства, характеризуемого как наиболее надежный агент русского влияния, но и сами образовательные программы, направленные на противодействие «полонизму», тесно связываемому с католическим вероисповеданием, вводили школу в конфронтационную плоскость.

Данные приоритеты, отстаиваемые многими национально-консервативными мыслителями и государственными деятелями, не могли не вызвать представления о русской школе исключительно как о более гибком рычаге распространения православного вероучения, нежели прямолинейные обращения в православие. Указанная направленность народных школ, сознательно или несознательно подтверждаемая местными русификаторами, неизбежно должна была оттолкнуть от нее местных католиков и спровоцировать расширение нелегального обучения, придав русским образовательным деятелям неприглядный образ гонителей веры.

Дискуссия о предпочтительности духовной или светской направленности народного образования в Западном крае, имевшая место в отечественном национально-консервативном дискурсе, в очередной раз отражала различия в подходах к смысловому наполнению содержания тех «русских начал», укрепление которых признавалось главной задачей образовательной системы региона. Ярким примером двойственности в их понимании стала полемика об открытии в регионе высшего учебного заведения, допущение которого в образе светского университета вызывало серьезные опасения, побуждая большинство сторонников национально-консервативной доктрины склоняться к идее создания в крае православной Духовной академии. Ее появление в Вильне открыто продемонстрировало бы приоритет религиозно-православной направленности имперской образовательной политики в крае, откровенная очевидность которой также смущала местную администрацию, не желавшую обострения

конфессиональных противоречий, что, видимо, и стало главным идеологическим препятствием на пути реализации данной идеи.

Следует подчеркнуть, что русификаторы отдавали предпочтение в большей мере количественным показателям, нежели качественным, настаивая на необходимости расширения численности начальных школ, обучение в которых проводилось при помощи традиционных образовательных приемов и методов, доступных педагогическому составу, состоявшему в значительной степени из православных священников. Использование более современных, секулярных, практикоориентированных и более привлекательных для широких масс населения методов обучения в этих школах было невозможно. Недостаточно высокий уровень образования в народных училищах, а также их ярко выраженная православная ориентированность станут главными причинами оттока из них местного населения, многие представители которого стремились к получению более углубленных и практически необходимых знаний, получаемых без угрозы размывания своей конфессиональной идентичности.

И, наконец, само по себе стремление сторонников «русского направления» придать образовательной сфере политическое значение как одному из важнейших средств противостояния «полонизму», переориентировав его на укрепления русских начал в крае, содержало в себе значительный кумулятивный эффект, превращая ее в область острой культурной конфронтации.

4.3 Деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения» как форма практической реализации консервативной доктрины «нравственного завоевания» Северо-Западного края

Задача «нравственного завоевания» Северо-Западного края, обозначенная в отечественном национально-консервативном дискурсе, поставила имперскую администрацию перед необходимостью поиска неконфликтных методов интеграции региона в единое ментальное и культурное пространство Российского государства. В качестве одного из наиболее значимых способов смыслового «приобщения» края к нему выступала выстраиваемая под определенным идейным углом политика исторической памяти, ставшая на рубеже XIX – XX вв. значимой составляющей интегративной стратегии «мягкой силы», реализуемой в западных регионах Российской империи.

Комплекс формируемых в это время нарративов и официальных мемориальных мероприятий был направлен на утверждение ценностной доминанты имперской политической культуры и ее позитивного символического капитала в публичном пространстве окраинных регионов[1]. Их интеллектуальную основу составлял комплекс идейных, духовных и ценностных установок, сформированных в рамках отечественного национально-консервативного дискурса и направленный на привитие местному населению осознания принадлежности к русской государственной общности и чувства сопричастности к историческому развитию Российского государства, провозглашавших незыблемость государственного порядка и нерушимость авторитета и силы верховной власти русского монарха. Отбор и ретрансляция событий регионального прошлого, их осмысление и репрезентация под определенным углом зрения выступали

[1] Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. С. 95.

интеллектуальными инструментами «конструирования» символического пространства Северо-Западного края и, одновременно, одним из способов его познания. В формируемом символическом капитале имперских начал русская консервативная общественность, а вслед за ней и местная администрация в Северо-Западном крае фактически «искала символ власти, чтобы выразить себя»[1].

Для интеллектуального противодействия альтернативным представлениям о характере и цивилизационной принадлежности Западного края ко второй половине XIX века отечественными консервативными мыслителями и историками был разработан соответствующий официальный исторический нарратив, лежащий в основе проводимой российскими властями «символической политики», которая представляла собой «публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование»[2]. Центральное место в данном конструкте должен был занимать факт «исконности» пребывания данных земель в составе Русского государства, их «изначальной русскости», нарушенной в силу неблагоприятных исторических обстоятельств[3]. Данный факт требовалось не только интеллектуально обосновать, но и максимально развернуто представить в публичной среде, внедрив в обыденное сознание широких масс населения.

В центре сформированного официального исторического дискурса стоял имперский пантеон исторических героев, а также комплекс идейных, духовных и ценностных установок, провозглашавших незыблемость имперских порядков и традиций, нерушимость авторитета и силы верховной власти русского монарха. К концу XIX века в отношении Северо-Западного края сложилась четкая мемориальная концепция, основывающаяся на трех

[1] Уайтхед А.Н. Символизм, его смысл и воздействие. Томск: Водолей, 1999. С. 46.
[2] Малинова О.Ю., Миллер А.И. Введение. Символическая политика // Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе: сб. статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. С. 11.
[3] Устрялов Н. Г. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? С. 14; Коялович М.О. Чтения по истории Западной России. С. 2–3.

ключевых реперных точках в истории края и почитании связанных с ними исторических фигур, чья деятельность встраивалась в общий интегративный концепт.

Первая из них была связана со становлением единого культурно-языкового и религиозного пространства, которое рассматривалось как результат деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия, игравших особую роль в символическом капитале Российской империи. С начала 1860-х годов в контексте актуализации кирилло-мефодиевской тематики образы святых первоучителей были призваны воплотить идею политического и религиозного всеславянского единения под эгидой России, своеобразно преломлявшуюся на территории западных окраинных регионов. В 1870–1880-е годы в ответ на попытки «присвоения» римско-католической церковью кирилло-мефодиевского наследия[1] в символическом пространстве Российской империи имена Свв. Кирилла и Мефодия становятся значимым элементом символической политики российских властей и знаменем борьбы против католицизма[2]. Публичные массовые чествования «тружеников славянского слова», проходившие в 1885 г. по всей стране, в Северо-Западном крае должны были подтвердить его статус как земель «православного славянства», а также укрепить имперскую идеологию и поддержать политику формирования национально-религиозного самосознания среди местного населения, что отразилось в многочисленных публичных выступлениях местных русских деятелей, приуроченных к празднеству[3].

Второй символической фигурой и объектом меморизации стала императрица Екатерины II, деятельность которой трактовалась как восстановление «естественного» права России на управление и «цивилизацию» Северо-Западного края посредством русского культурного

[1] Литовские епархиальные ведомости. 1885. № 14. 7 апреля.
[2] Письма Победоносцева к Александру III. М.: Новая Москва, 1926. Т. 2. С. 71.
[3] Литовские епархиальные ведомости. 1885. № 14. 7 апреля; № 15. 14 апреля; № 16–17. 28 апреля.

кода, в полном соответствии с провозглашенным императрицей девизом – «Отторженная возвратих»[1].

Для имперских властей особенно важно было внедрить данную оценку Екатерины II в сознание молодого поколения, вследствие чего основным рычагом интеллектуального воздействия становились мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях. Так, руководство Виленского учебного округа в лице Н.А. Сергиевского инициировало проведение в ноябре 1896 года серии памятных мероприятий в подведомственных ему учебных заведениях, приуроченных к столетней годовщине смерти императрицы, в обязательном порядке включавших в себя лекции и беседы с учащимися, в которых разъяснялась и подчеркивалась особая «благодетельная» роль царствования Екатерины II для Северо-Западного края[2]. Примечательно, что идеологическая установка «Отторгнуты насилием, воссоединены любовью», первоначально сформулированная в 1839 году в отношении воссоединения униатской церкви с православием, теперь фактически распространялась на воссоединение западных окраин с Россией.

В соответствии с данным тезисом выстраивалась и концептуальная основа торжеств, посвященных открытию памятника Екатерине II в Вильне в сентябре 1904 года, в ходе которых ее «доброе, порядочное, правосудное, снисходительное, кроткое и человеколюбивое управление» противопоставлялось существовавшей до этого в крае «анархии республики польской»[3]. Создаваемый ореол «любви» и заботы о народных нуждах, окружавший конструируемый официальный образ императрицы, должен был проецироваться на имперские начала в целом, лояльность и служение которым признавалось священным долгом каждого настоящего патриота своей страны и своего края.

Однако наиболее знаковым образом, в котором воплощались главные духовные константы российской власти – могущественной и грозной, но,

[1] Коялович М.О. Чтения по истории Западной России. С. 306.
[2] НИАБ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 194. Л. 4.
[3] Западный вестник. 1904. № 243 (800). 10 сентября.

одновременно, справедливой и заботящейся о нуждах простого народа, являлась фигура М.Н. Муравьева, имя которого еще при его жизни стало символом «умиротворения» края во время Январского мятежа 1863 – 1864 гг., а также напрямую связывалось с активным противодействием «пришлому» польскому засилью и «спасением исконных русских начал», находившихся в угнетенном состоянии. В отечественном национально-консервативном дискурсе, направленным на выработку оптимальной концепции обрусения Северо-Западного края, фигура Муравьева имела центральный и знаковый характер, составляя основу региональной мемориальной политики, наиболее значимым эпизодом которой стало торжественное открытие в ноябре 1898 года памятника М.Н. Муравьеву в Вильне. В речах, посвященных данному событию, подчеркивалось единение всех «ревнителей русского дела» в общем чествовании памяти «умиротворителя Северо-Западного края», которая в публичном акте «вспоминания» и переосмысления должна была «очиститься» от клеветы и ненависти врагов России[1]. В приветственном слове уроженца края историка-слависта П.А. Кулаковского Муравьев был назван «продолжателем собирателей Русской земли», одним из творцов единения русского народа, что помещало его образ в одно символическое поле с Екатериной II, также характеризуемой как «собирательница» русских земель[2].

Следует согласиться с зарубежным исследователем Т.Р. Уиксом, обращавшим внимание на то, что в официальном дискурсе, созданном в контексте коммеморативных практик, связанных с чествованием памяти М.Н. Муравьева, не было открытой антипольской риторики[3]. Данная особенность нашла свое отражение в речи бывшего сотрудника генерал-губернатора В.В. Комарова, произнесенной на ужине 8 ноября 1898 года в виленском дворянском клубе, в которой было особо отмечено, что образ

[1] Виленский вестник. 1898. № 246–252. 8–14 ноября; № 254–258. 17–21 ноября; № 262. 25 ноября.
[2] Виленский вестник. 1898. № 246. 8 ноября.
[3] Weeks Th.R. Monuments and Memory: Immortalizing Count M.N. Muraviev in Vilna, 1898 // Nationalities papers. 1999. Vol. 27. № 4. P. 558.

Муравьева воплощает «не вражду племенную, не разлад общественный, не ссору братскую… но успокоение и мир»[1].

В год открытия памятника помощник попечителя Виленского учебного округа А.В. Белецкий совместно с другими представителями местной русской общественности выступил с инициативой создания Муравьевского музея, мотивируя это не только стремлением к объективной оценке заслуг русского администратора, но и необходимостью основания «воспитательного учреждения, в котором может воспитаться в посетителях исторический смысл и истинное понимание задач, которые, по завету истории, должна выполнить Россия в крае»[2]. Музей, открытый в апреле 1901 года, и размещавшийся первоначально при Виленской публичной библиотеке, со временем превратился в настоящий научный центр с собственным архивным хранилищем, сотрудники которого вели активную археографическую работу, направленную на противодействие «искажению исторической правды» в отношении деятельности М.Н. Муравьева[3].

Сформированный в национально-консервативном дискурсе образ русского окраинного государственного деятеля имел большое символическое значение не только в плане признания окончательной победы отстаиваемых им «русских начал», но и в смысле демонстрации благотворного влияния имперского начала на край, вставший благодаря решительным действиям российского администратора на путь мирного развития и процветания[4].

Выработка общих ценностных ориентиров, представление о едином историческом прошлом, а также формирование новой имперской идентичности должны была осуществляться посредством интеллектуально-информационного воздействия на широкие круги населения западных окраин

---

[1] Виленский вестник. 1898. № 249. 11 ноября.

[2] Миловидов А.И. Муравьевский музей в Вильне // Виленский календарь на 1902 г. Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1901. С. 135.

[3] Хотеев А. Музей памяти графа М.Н. Муравьева в Вильно (1901–1915 гг.) // Аспект. 2017. № 3 (3). С. 37–39.

[4] См. подробнее: Крот М.Н., Завьялова О.О. Интеграционная политика в Северо-Западном крае Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков // Научный диалог. 2023. Т. 12. № 7. С. 374–392.

в рамках деятельности легальных исторических и культурно-просветительских обществ русской национально-консервативной направленности, существующих под патронатом имперской администрации. Официально создаваемые интеллектуальные центры и площадки, необходимость которых стала осознаваться российской администрацией к концу XIX века, были призваны сформировать контролируемую публичную интеллектуальную среду, в состав которой входили бы представители местного образованного сообщества, способные ретранслировать общегосударственные идейные ценности и имперские нематериальные активы в заданном идеологическом русле, распространяя их среди широких кругов окраинного населения. Данные институции, зиждущиеся на консервативной концептуальной основе, деятельность которых напрямую связывалась с политическим использованием истории, были призваны осуществлять поиск «символической стабильности» в прошлом, способной придать ощущение цели в настоящем[1].

Одной из наиболее заметных практических инициатив, направленных на «нравственное приобщение» Северо-Западного края к единому культурному пространству России, предпринятой местными интеллектуальными силами национально-консервативной направленности стало открытие и деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения». В развитии данного локального сообщества отразились все особенности и противоречия взаимодействия региональных общественных кругов национально-охранительной направленности, центральной российской консервативной общественности и местной администрации, от степени заинтересованности и содействия которой в итоге зависела успешность его практической деятельности.

«Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III» (далее – ОРРИП, Общество – М.К.) было создано

[1] Vázquez-Liñán M. Historical memory and political propaganda in the Russian Federation // Communist and Post-Communist Studies. 2017. Vol. 50. No. 2. P. 78.

в 1895 г. по инициативе группы представителей высшей аристократии, бюрократии и научных кругов, в которую входили князь А.А. Голенищев-Кутузов, будущий министр внутренних дел Д.С. Сипягин, князь Э.Э. Ухтомский, князь Д.Б. Голицын, протоиерей П.А. Смирнов, историк К.Н. Бестужев-Рюмин и другие[1]. Бессменным председателем Общества, придавшим ему ярко выраженную идейно-политическую направленность, был известный общественный деятель и историк, граф С.Д. Шереметев, долгое время являвшийся личным адъютантом и близким другом цесаревича Александра Александровича, разделяя его увлечение русской историей[2].

Создание данного научного сообщества было вызвано необходимостью формирования консервативно-охранительной альтернативы активным просветительским инициативам, исходившим в данное время со стороны либеральной научной общественности[3]. Базовыми идеологическими принципами концептуальной платформы Общества, являлись консерватизм и монархизм, составлявшие основу тех «русских начал, проявленных в славное царствование в Бозе почившего Государя» Александра III, в духе следования которым и должны были умножаться и распространяться исторические знания[4].

«Общество ревнителей…» в значительной степени отличалось от строго академических научных сообществ не только по своей идеологической направленности, но и по характеру практической деятельности. В Уставе организации особое внимание уделялось распространению исторических знаний в публичной среде посредством выпуска периодических изданий, публикационной деятельности, учреждения книгохранилищ и читален, а

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1 об.
[2] Мещенина А.А. Историк по призванию (К биографии С.Д. Шереметева) // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 2. С. 47.
[3] Андреев Д.А. Борьба ревнителей: просветительские альтернативы в начале царствования Николая II // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2012. Вып. 1 (44). С. 64–65.
[4] Устав общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1895. С. 3.

также снабжения собственными изданиями народных школ[1]. Его учредители стремились к максимальной открытости и привлечению к своей деятельности посредством «возбуждения сочувствия к его целям» представителей самых разных общественных кругов. Данная стратегия способствовала быстрому численному росту состава Общества, которое к началу XX века насчитывало более тысячи членов, многие из которых, что было особенно немаловажно для его общей стратегии, проживали в различных регионах России. Руководству Общества, в состав которого входили представители различных сословных групп, удалось выработать особую форму социального общения, основанного на идеалах «гармоничной семьи» единомышленников, связанных между собою узами родства, дружбы или протекции, что способствовало сглаживанию имевшихся сословных и служебных барьеров между его участниками[2].

Создатели ОРРИП изначально придавали ему не только просветительское, но и идеологическое значение, состоящее в сплочении общественных сил посредством «мирного завоевания умов и сердец силою просвещения». Поставленная цель не могла быть достигнута административным путем, поскольку находилась «в области умственной и нравственной, ускользающей от прямого воздействия государственной власти и силы»[3]. Протоиерей И.И. Восторгов, входивший в состав Общества, подчеркивал, что его главная задача состояла в мирном интеллектуальном противодействии охватившим молодежь и интеллигенцию «антирусским идеалам и умственному брожению». Достигнуть этого, по его мнению, можно было посредством всестороннего изучения русской истории, русского права, русского народного быта, «освещенных светом основных принципов

[1] Устав общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. С. 3–4.
[2] Kaplan V. Historians and historical societies in the public life of imperial Russia. Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press, 2017. P. 204–206.
[3] От редакции // Известия Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. 1900. № 1. С. 3.

царствования Александра III»[1]. Таким образом, деятельность организации, по замыслу ее создателей, была ориентирована на трансформацию общественного сознания посредством интеллектуального воздействия и коммеморативных практик, состоящих в идентификации и ретрансляции отобранных для хранения в исторической памяти элементах прошлого, выстроенных под определенным идеологическим углом.

Принципы, лежавшие в основе деятельности «Общества ревнителей…», в полной мере отражали представления отечественных национально-консервативных кругов о формах «нравственного завоевания» Северо-Западного края и соответствовали реализуемой администрацией западных окраин Российской империи интегративной стратегии, направленной на деполонизацию интеллектуального пространства региона и внедрение в него русских культурных начал, важнейшей частью которых являлось представление о единстве его исторического прошлого края с коренной Россией.

Инициатива создания в Северо-Западном крае постоянного научного и культурно-просветительского центра, имевшего ярко выраженную русскую и консервативно-охранительную идейную направленность, исходила от генерал-губернатора В.Н. Троцкого, вступившего на свой пост в 1897 году. Общий вектор деятельности начальника края, обозначенный в момент его назначения, был направлен, по его словам, на твердое продолжение реализации основных начал установленной его предшественниками системы, заключавшейся в «более тесном объединении края с Россией», строго придерживаясь при этом начал справедливости, гуманности и законности[2]. При этом генерал-губернатор осознавал, что для усиления русского влияния в крае одних административных мер было явно недостаточно. Сохранявшему значительное влияние мощному польскому культурному элементу было

---

[1] Восторгов И.И. Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III // Полное собрание сочинений. Т. 4. М.: Книгоиздательство «Верность», 1916. С. 84–88. С. 87.

[2] РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 222. Л. 4.

необходимо противопоставить альтернативный культурно-просветительский проект, в рамках которого происходила бы консолидация немногочисленной местной русской интеллектуальной элиты, формировался бы положительный и привлекательный для местного населения образ империи и конструировался «русский вариант» исторического прошлого Северо-Западного края. Для достижения данной цели признавалось необходимым создание научных обществ, объединявших русское население края «на почве знаний и любви к Родине»[1]. Идейное направление ОРРИП во многом совпадало с воззрениями главы Северо-Западного края, соответствуя стоящим перед российской администрацией данного региона задачам и устремлениям местной русской общественности, стремившейся к институциональному оформлению культурно-просветительской деятельности в отношении местного населения, освобождаемого от «инородческого культурного гнета».

Виленский отдел «Общества ревнителей…» был официально открыт в декабре 1899 г. и первоначально включал в себя небольшую группу представителей местной русской интеллектуальной элиты, объединенную общим стремлением к всестороннему изучению, духовному и культурному развитию западного русского края, а также к его интеграции в единое социокультурное пространство империи.

На пост председателя Виленского отдела был избран генерал-губернатор В.Н. Троцкий, что подчеркивало официальный характер создаваемого научно-просветительского центра и придавало его работе характер реализации правительственной политики в просветительской области. К наиболее видным и деятельным членам Отдела, стоявшим у его истоков, можно отнести известного местного интеллектуала, писателя, коллекционера документов и историко-литературных реликвий А.В. Жиркевича, являвшегося главным инициатором создания музея графа М.Н. Муравьева в

[1] Генерал-адъютант Виталий Николаевич Троцкий // Виленский календарь на 1902 г. Вильна. Тип. А.Г. Сыркина, 1901. С. 205.

Вильне и приложивший значительные усилия по сбору необходимых для него материалов и документов[1]. Будучи знакомым как с представителями местной интеллектуально-творческой элиты, такими как поэт и драматург А.А. Навроцкий, композитор и музыкант К.М. Галковский (Галкаускас), так и с крупнейшими деятелями русской культуры – Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, И.Е. Репиным и другими[2], он сумел придать деятельности Отдела действительно творческий и научный характер.

В первые годы существования Виленского отдела ОРРИП и вплоть до своей кончины в 1903 г. одним из наиболее активных его членов был председатель Виленской археографической комиссии, фольклорист, историк и этнограф Ю.Ф. Крачковский, большую часть своей жизни посвятивший изучению Северо-Западного края и заложивший основы этнографического описания белорусского народа. В своих научных трудах ученый отстаивал необходимость слияния белорусов с единоверным русским народом путем преодоления привнесенного польского влияния, полное освобождение от которого позволило бы достичь главной стратегической цели – тесного единения западнорусских областей с коренным населением России[3].

Должность казначея Отдела первоначально занимал еще один видный общественный деятель национально-консервативной направленности П.Г. Бывалькевич, обладавший большим влиянием в высшем виленском обществе и более десяти лет возглавлявший крупнейшую официальную газету Северо-Западного края – «Виленский вестник», на страницах которой отстаивалась необходимость дальнейшей деполонизации края и укрепления в нем русских государственных начал[4].

Связь открывшегося Общества с проводимой в крае образовательной политикой олицетворялась присутствием в нем попечителя виленского

---

[1] Mienicki R. Archivum Murawjewskie w Wilnie. Warszawa: Nakł. Archiwów Państwowych, 1937. S. 27.

[2] Лавринец П.М. Русская литература Литвы (XIX — первая половина XX века). Вильнюс: Вильнюсский университет, 1999. С. 77–85.

[3] Крачковский Ю. Ф. Пятидесятилетие воссоединения западнорусских униатов с православной церковью (1839–1889 г.). Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1889. С.111.

[4] РГИА. Ф. 776. Оп.14. Д. 116. Л. 14.

учебного округа В.А. Попова и значительной группы преподавателей местных учебных заведений и ученых-историков – А.В. Белецкого, А.И. Миловидова, А.П. Вышемирского, Д.И. Довгялло, А.О. Турцевича, В.К. Голуба и других[1], ставших его интеллектуальным ядром и придавшим его деятельности ярко выраженную русскую национально-консервативную направленность.

Помимо указанных лиц, в состав Виленского отдела «Общества ревнителей…» входили представители местного военного руководства, чиновничества (преимущественно из генерал-губернаторского аппарата), творческой интеллигенции, православного духовенства, составлявшие первоначально достаточно узкий круг местных русских деятелей, которому было довольно сложно преодолеть свою изолированность от многочисленного польского образованного общества Вильны.

На первом этапе своего существования деятельность Виленского отдела не отличалась высокой степенью активности, что было обусловлено несколькими существенными факторами, характерными не только для данного общества, но и для многих других русских окраинных объединений, возникавших, как в рассматриваемый период, так и в последующие годы, которые существенно снижали общий потенциал русского окраинного интегративного движения.

В первую очередь, вступлению в Виленский отдел ОРРИП представителей местного образованного населения препятствовали высокие членские взносы, составлявшие для действительных членов 20 рублей ежегодно, а для членов-сотрудников, на которых могли возлагаться труды и поручения по делам Общества и которые на собраниях имели право лишь совещательного голоса – 10 рублей. Ежегодные членские взносы могли заменяться единовременным внесением в кассу Общества суммы в 500 и 250

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 127.

рублей соответственно[1]. Данные суммы для региональных русских служащих, священнослужителей, преподавателей, представлявших собой основных потенциальных участников Общества, способных доносить его идеи до народных масс региона, реализуя, тем самым, его ключевые задачи на окраинах, являлись практически недоступными. Местная администрация была осведомлена о скудости жалования низовых служащих регионального аппарата управления и сферы образования, на что неоднократно указывалось верховным властям как на причину неэффективного выполнения ими своих обязанностей[2].

Неслучайно, что на первом общем собрании Виленского отдела Общества, состоявшемся 21 января 1900 г., был сразу же поднят вопрос об уменьшении членских взносов в два раза. Данное ходатайство, направленное в центральный Совет, мотивировалось тем обстоятельством, что многие жители Вильны и других городов края, желая вступить в Общество и приносить пользу его деятельности, отказывались от этого исключительно по материальным соображениям[3]. Однако, вопреки ожиданиям «виленских ревнителей», Совет отклонил данную просьбу, сославшись на невозможность изменения Устава и ограничившись ассигнованием 150 рублей на канцелярские надобности, а также указанием на возможность полного освобождения от уплаты ежегодных взносов отдельных членов, принесших Обществу исключительную пользу, по представлению регионального отдела, что, разумеется, не решало обозначенной проблемы[4]. Материальные трудности, преследовавшие Виленский отдел большую часть времени его существования, в наибольшей степени затрудняли деятельность, как данной организации, так и многих других русских обществ и объединений, возникавших на окраинах, не позволяя им успешно реализовывать стоявшие перед ними интегративно-просветительские цели.

---

[1] Устав общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. С. 6–7.
[2] РГИА. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 758. Л. 2–2 об.; РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 222. Л. 16.
[3] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л.15–16.
[4] Там же. Л. 19 об.

Другим препятствием для нормальной работы региональных отделов являлась их полная несамостоятельность, проявлявшаяся в том, что они были вынуждены согласовывать с Советом Общества любое, даже самое незначительное мероприятие, что существенно снижало интенсивность их работы, гасило местные инициативы и, в итоге, отрицательно сказывалось на общих результатах деятельности. Так, например, когда один из наиболее активных членов Виленского отдела А.И. Миловидов выступил с инициативой чтения серии публичных лекций для народа, посвященных государственной деятельности и идеалам императора Александра III, то проведение каждой лекции, тематика которых полностью соответствовала целям ОРРИП, необходимо было согласовывать с его правлением, дожидаясь очередного заседания Совета, на что уходило достаточно много времени[1]. Данный вопрос был поднят в марте 1901 г. на заседании совещательно-исполнительной комиссии Виленского отдела под председательством генерала Н.Е. Агапеева, занимавшего пост окружного интенданта Виленского военного округа. Члены комиссии отмечали, что, возложив на местные отделы целый ряд обязанностей, связанных с популяризацией целей Общества, выполнением его текущих поручений, сбором исторических материалов, открытием народных библиотек, читален и прочего, его Устав отнимал у них всяческую инициативу и самостоятельность, делая их членов не «живыми участниками деятельности общества, а только одними исполнителями приказаний Совета»[2].

Для повышения эффективности работы местных отделов Общества члены комиссии настаивали на предоставлении им права самостоятельного выбора новых членов, проведения культурно-просветительских мероприятий (публичных чтений, бесед, зрелищ и т.п.), открытия народных библиотек и читален без предварительного получения согласия на то Совета. Помимо этого, виленские «ревнители» считали необходимым предоставить членам

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 21–23.
[2] Там же. Л. 33 об.

местных отделов права непосредственного участия в решении общих вопросов, стоящих перед Обществом[1]. Инициатива виленского отдела, направленная на известную децентрализацию деятельности ОРРИП, не нашла понимания у его руководства, что привело к разочарованию и отходу от активного участия в его деятельности ряда видных местных деятелей.

Помимо этого, препятствием для активного развития деятельности всех региональных отделов, в том числе и Виленского, являлся не только организационно-управленческий, но и тематико-целевой унитаризм, заключавшийся в строгой необходимости следовать основной задаче Общества, состоящей в собрании и обработке сведений о царствовании Александра III[2]. Данное требование значительно сужало проблемное поле интеллектуальной деятельности организации и вело к существенному дефициту регионального компонента, имевшего большое значение для популяризации деятельности Общества на местах и привлечения в его состав новых членов. Не учитывался также и тот фактор, что входившие в состав Виленского отдела ученые занимались изучением истории Северо-Западного края и активно участвовали в создании и работе таких крупных научно-просветительских центрах края, какими являлись Виленская археографическая комиссия и музей памяти графа М.Н. Муравьева, открытый в апреле 1901 г. Тематическая узость в совокупности с несамостоятельностью региональных отделений не позволяли реализовать высокий культурно-просветительский и интеграционный потенциал, имевшийся у Общества и заявленный в его основных стратегических целях.

Следует подчеркнуть, что существование и эффективная культурно-просветительская и иная интегративная деятельность русских окраинных обществ национально-консервативной направленности во многом зависела от патроната и содействия высшей региональной администрации, представители которой зачастую игнорировали интересы данных

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 34.
[2] Устав общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. С. 3.

организаций, недооценивая их значение в деле укрепления русских государственных и культурных начал в окраинных регионах и отдавая предпочтение традиционным административным методам управления. Именно в такой ситуации оказался и Виленский отдел ОРРИП, который не получал от возглавлявшего его генерал-губернатора В.Н. Троцкого сколь-нибудь значимой административной поддержки. Выступив с инициативой создания местного отдела Общества, глава края счел свою миссию в данном вопросе выполненной и устранился от его дальнейшего продвижения. Данная ситуация могла объясняться тем, что В.Н. Троцкий, будучи по духу человеком сугубо военным, вообще мало интересовался гражданскими вопросами управления региона, перепоручив их управляющему своей канцелярии В. Т. Судейкину, не интересовавшемуся делами Общества[1].

Начавшаяся в Северо-Западном крае после скоропостижной смерти В.Н. Троцкого в мае 1901 г. административная реорганизация, состоявшая во временном упразднении генерал-губернаторской власти, крайне негативно отразилась на деятельности Виленского отдела ОРРИП, оставшегося даже без номинального покровителя, что свело его и без того недостаточно активную деятельность фактически к нулю. Пост председателя отдела оставался вакантным почти год, пока в марте 1902 г. на эту должность не был избран виленский губернатор В.В. фон Валь[2]. Глава губернии был далек от проблем исторического просвещения и в своей административной практике отдавал предпочтение жестким репрессивным методам, за короткий срок заработав себе весьма негативную репутацию у местного населения[3]. Идея неконфликтного интегративного воздействия на местное население посредством культурно-просветительской политики была чужда фон Валю, деятельность которого в консервативной прессе подвергалась жестким нападкам за пренебрежение «русскими интересами» в Северо-Западном крае,

[1] РГИА. Ф. 916. Оп. 1. Д. 13. Л. 14.
[2] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 46 об.
[3] См. подробнее: Крот М.Н. Деятельность В.В. фон Валя на посту главы Виленской губернии в 1901 – 1902 гг. // Научный диалог. № 10. С. 396–411.

что позволило вновь поднять голову польскому национальному движению[1]. Безусловно, данный администратор, сосредоточившийся на поддержании общественного порядка в губернии силовыми методами, не имел ни склонности, ни физической возможности полноценно руководить и покровительствовать каким-либо научным сообществам. Затухание деятельности Виленского отдела ОРРИП в условиях дефицита административной поддержки также ярко свидетельствует о низком уровне самоорганизации местной русской общественности и ее значительной индифферентности по отношению к делу укрепления русских государственных и национальных начал в крае, на которую указывали многие отечественные консервативные публицисты, объяснявшие ею трудности обрусения края[2].

Активизация научной и культурно-просветительской детальности Виленского отдела «Общества ревнителей…», а также его сосредоточение на более близких и актуальных для региона проблемных полях было связано с пребыванием на посту генерал-губернатора Северо-Западного края князя П.Д. Святополк-Мирского в 1902 – 1904 гг. Залог высокой эффективности управленческой деятельности имперской администрации новый глава края видел в ее сотрудничестве со «здоровыми» общественными силами, интересы которых, по его мнению, следовало учитывать как на региональном, так и на общегосударственном уровне. Святополк-Мирский осознавал огромную интегрирующую роль социокультурных факторов, неоднократно указывая на решающее значение «культурных средств» в деле «объединения Северо-Западного края с остальной Империей»[3]. Приобщение инородческого населения северо-западной окраины к русскому цивилизационному полю, по его мнению, должно было достигаться не путем прямолинейных попыток обрусения местного населения, имеющих обратный эффект, а в ходе комплексной, планомерной культурно-просветительской

[1] РГИА. Ф. 1284. Оп. 190. Д. 100. Л. 3–7.
[2] Там же. Л. 2–2 об.
[3] РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 352. Л. 34 об.

деятельности, исходящей от центральной власти и проводимой в нужном ей направлении в сотрудничестве с местными силами. Генерал-губернатор подчеркивал, что «Северо-Западный край, в котором твердой рукой императора Александра III прочно утверждена русская национальная политика, особенно нуждается в русском историческом просвещении», что являлось прямой задачей местного отделения ОРРИП[1].

Будучи избранным на пост председателя Виленского отдела Общества 7 марта 1903 г., П.Д. Святополк-Мирский немедленно развернул активную деятельность, направленную на активизацию деятельности Общества и превращение его в полноценный русский культурно-просветительский центр, на практике реализующий идею «нравственного завоевания» северо-западной окраины России и приобщения ее населения к русскому культурно-историческому пространству. При этом глава края широко использовал свое административное влияние и личные связи непосредственно для решения проблем, стоявших перед Виленским отделом, что стало залогом его успешной деятельности в данный период.

В первую очередь, была решена главная проблема, препятствовавшая расширению численного состава членов местного отделения и обозначенная в самом начале его деятельности. Святополк-Мирскому в прямом смысле слова удалось «продавить» решение о двукратном снижении членских взносов для лиц, желавших вступить в Виленский отдел Общества. Центральное руководство ОРРИП, ранее весьма скептически относившееся к необходимости внесения соответствующих изменений в Устав, в апреле 1903 г. после прямых обращений генерал-губернатора к С.Д. Шереметеву «в виде исключения» разрешило уменьшить взносы для членов Виленского отдела, сославшись, в том числе, на опыт влиятельной консервативной общественной организации «Русское собрание», также уменьшавшей членские взносы для своих провинциальных представительств[2]. Результаты

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 82.
[2] Там же. Л. 53, 67.

данной меры не замедлили себя ждать – уже в ближайшие несколько месяцев после данного решения количество членов Виленского отдела Общества удвоилось, составив 28 человек, из которых 13 были действительными членами, а 15 – членами-сотрудниками[1]. В последующие два года численность отдела продолжала расти, составляя к весне 1904 г. – 47, а к концу того же года – уже 72 активных члена[2].

Под влиянием своего руководителя, проявлявшего к деятельности Общества неподдельный интерес, в него вступили многие члены генерал-губернаторской администрации, такие как виленский вице-губернатор А.С. Долгово-Сабуров, управляющий генерал-губернаторской канцелярией А.Н. Харузин, являвшийся также видным этнографом и антропологом, входившим в состав «Русского собрания», сотрудник той же канцелярии Б.В. Гагарин, младший, а затем – старший цензор местного Комитета цензуры иностранной В.К. Боас и многие другие[3]. Членом Виленского отдела Общества стала и супруга генерал-губернатора – Екатерина Алексеевна Святополк-Мирская, помимо обязательных членских взносов, сделавшая одно из наиболее крупных пожертвований в фонд Общества в размере 110 рублей[4]. Больший интерес к деятельности Общества стали проявлять и представители местного православного духовенства, видевшие в его деятельности дополнительную возможность ограждения местного населения от влияния католицизма.

С 1903 г. заседания Виленского отдела Общества стали проводиться регулярно под непосредственным руководством генерал-губернатора, а общая деятельность отдела стала подробно освещаться, как в местной, так и в центральной периодической печати, что способствовало привлечению к ней широкого общественного внимания[5].

---

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 90–90 об.
[2] Там же. Л. 127–128, 152.
[3] Там же. Л. 125–126.
[4] Там же. Л. 127.
[5] Северо-западный край. 1903. № 109. 12 марта; Виленский вестник. 1904. № 24. 27 марта; Литовские епархиальные ведомости. 1904. № 1–2. 18 января; Виленский вестник. 1904. № 444. 9 ноября; Новое время. 1904. 17(30) сентября. № 10224.

Помимо официально обозначенной цели Общества, состоящей в «популяризации памяти императора Александра III» и сугубо научно-исследовательской деятельности, Виленский отдел начал проводить активную работу с населением, организовывая народные чтения, публичные лекции и прочие просветительские мероприятия[1]. Во многом благодаря личному участию генерал-губернатора был успешно разрешен поднятый А.И. Миловидовым еще в 1900 г. вопрос об открытии народной библиотеки под патронатом Общества. Первая подобная библиотека была открыта 13 сентября 1903 г. в Вильне при Новосветской церкви-школе и сразу стала пользоваться большой популярностью среди самых разных социальных слоев не только местного православного и старообрядческого, но и, что особенно немаловажно, католического населения – крестьян, ремесленников, торговцев, служащих[2].

В течение первого года существования библиотеки численность ее посетителей ежемесячно возрастала, составив более 2500 человек постоянных записанных абонентов, что было обусловлено растущим интеллектуальным уровнем местного городского населения и удобствами ее использования (комфортабельным помещением, наличием отапливаемой читальни, отсутствием денежного залога и пр.)[3]. В результате запросов Святополк-Мирского центральным руководством Общества неоднократно присылались дополнительные партии литературы для пополнения библиотечного фонда, а также выписывались центральные и местные периодические издания (более 10 наименований), потребность в которых остро ощущалась среди посетителей библиотеки[4]. Следует отметить, что виленские «ревнители» очень строго подходили к отбору библиотечной литературы и выписываемой периодики, которая по своему характеру имела преимущественно консервативно-охранительную, православную и народную

[1] ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 223. Л. 2.
[2] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 83.
[3] Там же. Л. 155 об.
[4] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 91, 150.

направленность, что придавало библиотекам Общества не только культурно-просветительское, но и во многом идеологическое значение.

Опыт деятельности первой народной библиотеки, открытой Виленским отделом, был настолько успешным, что в начале 1904 г. А.И. Миловидов вступил с инициативой создания еще одной подобной библиотеки при Снипишской церкви-школе, которая была торжественно открыта 9 сентября того же года[1]. Инициатор ее открытия подчеркнул, что цель открываемых «Обществом ревнителей…» библиотек состоит в «воспитании и образовании русского гражданина, верующего и проникнутого любовью к Отечеству и его славной истории», что имело особенно важное значение на окраине Российского государства[2]. Общее число абонентов двух библиотек к началу 1906 г., включая записанных посетителей читален, составляло более 4600 человек[3], что для Вильны с ее специфическими условиями следует считать весьма значительным показателем.

Руководство Виленского отдела придавало развитию русского библиотечного дела огромное культурно-интегративное значение, указывая на его позитивное значение не только в деле освобождения западнорусского народа от «польского культурного плена», но и в ознакомлении с достижениями русской национальной культуры совершенно незнакомого с ней польского и литовского населения, что должно было способствовать преодолению воспитанных в течение длительного времени представлений о «варварстве» и низком культурном уровне русского народа.

Исходя из этого, виленские «ревнители» неоднократно указывали на необходимость всестороннего развития народного библиотечного дела в Северо-Западном крае, отмечая, что здесь, равно как и в других окраинных регионах, оно имеет не только культурно-просветительское, но и политическое, интегративное значение, включая местных жителей в единое имперское культурное пространство, «примиряя и сближая лиц разных

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 119, 137.
[2] Там же. Л. 137 об.
[3] Белая Русь. № 8. 1906. 28 февраля.

вероисповеданий и национальностей». Подчеркивалось, что живущие здесь представители разных народностей, «часто враждебные друг другу в житейских своих отношениях, сходятся за книгой, их примиряет и сближает общее тяготение к просвещению, общий интерес к политической и общественной жизни России, причем, употребляя в обыденной жизни свой родной язык, в библиотеке они говорят исключительно по-русски и делают это не вследствие каких-либо предписаний или предупреждений»[1].

Также следует отметить, что в данный период руководство Виленского отдела сумело найти и реализовать региональное измерение заявленных Обществом целей. По мнению П.Д. Святополк-Мирского, наиболее актуальной и политически значимой задачей научного изучения Северо-Западного края, составлявшего значимый сегмент «культурного русского труда» в регионе, должно было стать исследование восстания 1863 – 1864 гг. и деятельности местных властей в этот период, возглавляемых генерал-губернатором М.Н. Муравьевым[2]. При несомненной научной и практической значимости документальных материалов, относящихся к данной эпохе, их сбор и публикация, по его мнению, имели бы важное идеологическое значение, продемонстрировав правомерность деятельности русской администрации и ее заботу об интересах местного населения, находившегося под гнетом инородного польского элемента. Работа по сбору, обработке и публикации документальных материалов, таким образом, приобретала важное интегративное и коммеморативное значение, став основой для формирования имперской интерпретации указанных событий, противостоящей антиправительственным версиям, распространенным в польской интеллектуальной среде.

Решение данной задачи было возложено на Комиссию по устройству музея имени графа М.Н. Муравьева, возглавляемую помощником попечителя Виленского учебного округа и активным членом местного отдела ОРРИП

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 156.
[2] РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 352. Л. 35.

А.В. Белецким, который еще ранее неоднократно заявлял о значительной общественно-политической актуальности серьезного научного изучения деятельности М.Н. Муравьева в крае[1]. Активное участие в реализации данного проекта принял также и А.И. Миловидов, который вел активную переписку со многими родственниками и сотрудниками М.Н. Муравьева, а также с председателем ОРРИП С.Д. Шереметевым, обращаясь к нему с просьбой о предоставлении материалов, имевшихся в его личном архиве[2]. Именно он впервые еще в начале 1902 г. ходатайствовал о выделении Обществом денежных средств на публикацию собранных документальных материалов, мотивируя свою просьбу тем, что политика императора Александра III в отношении Северо-Западного края представляла собой лишь «реализацию политической программы М.Н. Муравьева»[3]. Однако лишь с появлением серьезной административной поддержки в лице П.Д. Святополк-Мирского, близко знакомого с С.Д. Шереметевым, данный вопрос получил положительное разрешение. Разработанная А.В. Белецким программа издания 10-томного собрания муравьевских документов с печатью Общества, предполагавшая ежегодную субсидию в размере 400 рублей из средств ОРРИП в течение десяти лет при публикации одного тома в год, поддержанная виленским генерал-губернатором, была признана чрезвычайно полезной в научном и идеологическом значении и 22 декабря 1902 г. на заседании центрального Совета Общества единодушно поддержана[4].

Для реализации данного большого проекта в составе Виленского отдела в декабре 1903 г. была создана специальная Издательская комиссия под председательством А.В. Белецкого. Примечательно, что работа над изучением деятельности М.Н. Муравьева связывалась с магистральной задачей Общества, состоявшей в научном осмыслении и популяризации царствования Александра III. В документах Виленского отдела ОРРИП

[1] Хотеев А. Музей памяти графа М.Н. Муравьева в Вильно (1901 – 1915 гг.) // Аспект. 2017. № 3 (3). С. 37.
[2] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 38.
[3] Там же.
[4] Там же. Л. 50–52 об.

подчеркивалось, что деятельность М.Н. Муравьева в Северо-Западном крае «исторически подготовила славное царствование Александра III», выступив прообразом той национальной политики, которая проводилась Государем в общегосударственном масштабе[1]. Помимо этого, А.В. Белецкий в своих письмах к Шереметеву неоднократно подчеркивал огромное идеологическое значение данного сборника для реализации русских государственных и национальных стратегических задач в крае, поскольку его выход должен был стать одним из средств предотвращения восстановления господствующего положения польского элемента и документальным подтверждением ключевой идеи, лежавшей в основе деятельности М.Н. Муравьева, о том, что «Северо-Западный крае есть русский край»[2]. Самим своим существованием русский элемент края, к которому Белецкий относил себя и всех местных «ревнителей» не только русского исторического просвещения, но и русского дела в целом, способный вести «культурную борьбу» с вновь начинавшим поднимать голову полонизмом, был, по его мнению, всецело обязан усилиям этого «истинно русского» государственного деятеля[3]. Таким образом, данный сборник изначально позиционировался его создателями не только как сугубо научное историческое издание, но и, в первую очередь, как важный элемент русского национально-патриотического нарратива о Северо-Западном крае, призванный обосновать правомерность борьбы с полонизмом и призвать к продолжению политики укрепления русских начал в регионе.

Однако из запланированного 10-томного собрания документов в свет вышел лишь один том, после чего издание было прервано в связи с отъездом покровительствовавшего данному проекту князя П.Д. Святополк-Мирского из Вильны, возникшими у Общества острыми финансовыми затруднениями, а также начавшимися революционными событиями. Массовые забастовки виленских типографских рабочих в 1905 г. не только затянули выход данного

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 88 об.
[2] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 59 а. Л. 1 об.–2.
[3] Там же. Л. 21 об.

сборника, но и фактически парализовали все издательское дело в столице Северо-Западного края[1]. Первый том издания, охватывавший период, предшествовавший польскому восстанию, был снабжен обширным предисловием А.В. Белецкого, представлявшим собой национально-консервативную трактовку событий польского мятежа 1863 – 1864 гг. и характеристику огромного исторического значения государственной деятельности М.Н. Муравьева не только для Северо-Западного края, но и для всей России, сохранение целостности западных окраин которой и их слияние с коренными русскими землями, по мнению ученого, обеспечили целостность всего государственного пространства России и придали ее управлению национальный характер[2].

Несмотря на огромное значение административного покровительства со стороны руководства края, непосредственная практическая деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей…» осуществлялась силами местных энтузиастов «русского дела», неравнодушных к его общим целям и стремившихся к максимальному раскрытию его потенциала в деле неконфликтного интегративного воздействия на местное население. Одним из наиболее активных виленских «ревнителей», принимавших непосредственное участие в реализации целей Общества был уже неоднократно упоминаемый Александр Иванович Миловидов – крупный историк и археограф, придерживавшийся твердых русских национально-консервативных убеждений, в своих научных воззрениях являвшийся приверженцем концепции западнорусизма, занимавшийся активной научно-исследовательской работой и культурно-просветительской деятельностью. Помимо преподавания в Литовской духовной семинарии и работы в Виленском публичном музее древностей, ученый являлся членом Исполнительного и Издательского комитетов при Виленском отделе ОРРИП, был его делопроизводителем, заведовал открывавшимися народными

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 59 а. Л. 12.
[2] Сборник документов Музея графа М.Н. Муравьева. Т. 1 / Сост. А. Белецкий. Вильна: Русский почин, 1906; РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 59 а. Л. 21 об.

библиотеками, выступал инициатором и организатором публичных лекций, народных чтений, собраний и иных мероприятий, проводимых Обществом[1]. Миловидов также являлся членом Русского библиографического общества и Общества истории и древностей российских при Московском университете, внеся значительный вклад в изучение истории Северо-Западного края и западнорусской православной церкви. В своей практической деятельности он являлся в полном смысле этого слова «ревнителем» русского дела, успешная реализация которого, по его мнению, могла осуществляться только путем мирного приобщения жителей западных окраин к общерусским культурным и нравственным ценностям, осуществляемом в рамках деятельности легальных организаций и обществ.

На одном из заседаний Виленского отдела Общества, состоявшемся 2 декабря 1903 г., Миловидов выступил с эмоциональной речью, в которой изложил основополагающие принципы и значение русской культурно-просветительской работы на национальных окраинах. Деятельность Виленского отдела он сравнивал со священным огнем и культурным светочем, который просвещенные эллины приносили в страны, «окутанные киммерийским мраком», подчеркивая огромное интегрирующее значение культурно-просветительской работы «в духе русских начал»[2]. Важнейшим элементом данной деятельности он считал просветительское воздействие на народные массы посредством открытия библиотек и читален, проведения публичных чтений и собраний, издания научной и популярной литературы, что являлось истинным призванием и долгом русской окраинной интеллигенции, духовенства и поддерживающих их властей. Характеризуя работу Виленского отдела «Общества ревнителей…», Миловидов указывал на его интегрирующее и воспитательное значение для самих русских людей, отмечал возможность проявления в его рамках личной инициативы, творчества, реализации собственных интеллектуальных и организационных

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 94.
[2] Литовские епархиальные ведомости. 1904.18 января. № 1–2.

способностей, благодаря которым станет возможным «широко раскрыть книгу исторических судеб русского народа и помочь Державному нашему Просветителю иметь граждан верующих, разумных, любящих свое Отечество, что и составляет задачу нашего общества»[1].

Своеобразным кульминационным моментом деятельности Виленского отдела Общества стало его торжественное собрание, приуроченное ко дню рождения императора Александра III и состоявшееся 26 февраля 1904 г. в генерал-губернаторском дворце. Торжественное мероприятие, имевшее публичный характер, куда, помимо членов Отдела, были приглашены представители высшего виленского общества, местной гражданской и военной администрации, православного духовенства и интеллигенции, стало знаковым публичным мероприятием неофициального характера, собравшим вместе фактически всю «русскую Вильну»[2]. Подобные публичные торжественные заседания, способствовавшие объединению русской виленской интеллигенции, проводились Отделом в течение последующих трех лет[3].

После назначения П.Д. Святополк-Мирского на пост министра внутренних дел и его отъезда из Вильны активная деятельность местного Отдела «Общества ревнителей…» некоторое время продолжалась. Регулярно проводились собрания Отдела, в его состав вступали новые члены, делались научные доклады, устраивались публичные чтения и иные мероприятия. Однако уже в 1905 г. деятельный импульс, заданный его главой и покровителем, начал постепенно угасать. Если до сих пор председателем отдела становился глава местной администрации, что символизировало покровительство его деятельности со стороны властей, то последующие виленские генерал-губернаторы – А.А. Фрезе и К.Ф. Кршивицкий не проявляли к Обществу никакого интереса, не выказав желания вступить в его ряды. Новым председателем Отдела в начале 1905 г. был избран архиепископ

[1] Литовские епархиальные ведомости. 1904.18 января. № 1–2.
[2] Виленский вестник. 1904. № 24. 27 марта; РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л.116, 120–120 об.
[3] Белая Русь. 1906. 28 февраля. № 8; РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 242.

Литовский и Виленский Никандр[1], которому явно не хватало энергии и административного веса для продолжения активного покровительства его деятельности.

Революционные потрясения и связанные с ними изменения в жизни северо-западной окраины и всего российского общества в целом, стали серьезным вызовом тем идеологическим принципам, которые лежали в основе «Общества ревнителей…». Их защита в рамках сугубо научной и культурно-просветительской деятельности становилась невозможной, что привело к общему кризису Общества, немедленно сказавшемуся и на деятельности его региональных отделов, которые один за другим стали закрываться. Многие активные «ревнители» предпочитали отстаивать свои идеалы в политической сфере в рамках возникавших консервативно-охранительных обществ и партий[2]. Все эти события негативно отразились и на состоянии Виленского отдела, многие члены которого вышли из него в связи с переменой места службы либо утратой интереса к его деятельности. Поступление членских взносов в казну Отдела становилось с каждым годом все меньше, что крайне негативно сказалось на его материальном положении. Отсутствие покровительства и материальной поддержки со стороны администрации, занятой решением более насущных проблем, чрезвычайно затрудняло реализацию стоящих перед Обществом целей.

Миловидов, остававшийся фактически последним энтузиастом дела «ревнителей», в личных письмах главе ОРРИП С.Д. Шереметеву сообщал о постепенном угасании северо-западного Отдела и его тяжелейшем материальном положении, делавшим невозможным не только реализацию новых проектов, но даже поддержание нормального существования двух созданных народных библиотек, численность абонентов которых в связи с прекращением поступления новой литературы и выписки периодических

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 167, 174.

[2] Андреев Д.А. Борьба ревнителей: просветительские альтернативы в начале царствования Николая II // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2012. Вып. 1 (44). С. 73.

изданий стала сокращаться[1]. Благодаря энергии виленского ученого, повсюду изыскивавшего средства и практически безвозмездно работавшего на поприще культурно-просветительской деятельности среди народных масс Северо-Западного края в сложнейших условиях нарастания межэтнической и межконфессиональной напряженности, народные библиотеки продолжали функционировать, хотя и в несколько урезанном виде (были закрыты читальни, а сама библиотека была открыта для посетителей лишь 4 дня в неделю).

Несмотря на его усилия, деятельность Виленского отдела в последующие годы постепенно замирала. Многие местные русские общественные деятели, придерживавшиеся национально-консервативных убеждений, вошли в состав образованного в 1906 г. Виленского отдела Русского собрания, отстаивавшего русские национальные интересы в соответствии с новыми формами политической практики, порожденными революционными событиями[2]. С 1908 г. Виленский отдел ОРРИП существовал лишь номинально, прекратив проведение своих регулярных заседаний и полностью свернув практическую деятельность. Работа по изучению и изданию документальных материалов муравьевской эпохи, которая должна была проводиться под эгидой Общества, была самостоятельно продолжена Миловидовым, в 1912 г. занявшим пост заведующего музея М.Н. Муравьева и подготовившим к публикации две части сборника архивных материалов, освещавших непосредственный ход Январского восстания 1863 – 1864 гг. и деятельности русской администрации в этот период. Данную работу последний виленский «ревнитель» русского исторического просвещения расценивал как обязанность русского человека Северо-Западного края, заключавшуюся в необходимости противопоставить «произвольным самоизмышлениям авторов», тенденциозно и искаженно

[1] РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 80. Л. 189–190, 279.
[2] Деятельность общероссийских политических партий на белорусских землях в конце XIX – начале XX в. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. С. 11–12.

освещавших события польского мятежа 1863 – 1864 гг. «объективный документ, как основу исторической правды»[1].

В период революции 1905 – 1907 гг. и в последующие годы стало очевидным, что время «Общества ревнителей русского исторического просвещения» в том виде, в котором оно было создано в конце XIX в., безвозвратно миновало. Наступала новая эпоха, ответом на вызовы которой должны были стать национально-консервативные общества и организации нового формата, от чьей успешной деятельности зависела возможность моральной легитимизцаии и исторического обоснования русского господства на национальных окраинах Империи.

Давая общую характеристику деятельности Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения», следует отметить, что он стал институциональной площадкой для практического воплощения идей неконфликтного интегративного воздействия на окраинное сообщество с целью его вовлечения в общерусское культурное пространство и формирование в его среде представлений об историческом единстве имперского центра и северо-западной окраины. Существование данного общества в Вильне объективно способствовало консолидации местной русской образованной общественности, стимулировало научное изучение северо-западных окраин империи, активизировало просветительскую деятельность среди народных масс, что имело большое значение для укрепления консервативно-охранительных русских начал, под эгидой продвижения которых осуществлялась его деятельность.

Однако следует подчеркнуть, что значительный культурно-интегративный потенциал, имевшийся в данном проекте, в полной мере не был использован имперской администрацией. Культурно-просветительская деятельность общества не была встроена в систему правительственной

[1] Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863-1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г. / Сост. А.И. Миловидов // Виленский временник. Кн. VI. Вильна: Губернская типография, 1913. С. XXX.

политики в отношении северо-западной окраины, оставаясь в полной зависимости от субъективных факторов, связанных с личностными качествами конкретных представителей администрации, патронировавших его. Неслучайно, что в период генерал-губернаторства П.Д. Святополк-Мирского, являвшегося сторонником реализации неконфликтной модели окраинной политики, в рамках которой просветительская деятельность Виленского отдела ОРРИП занимала значимое место, развитие последнего происходило весьма успешно, а после его отъезда Отдел начинает постепенно приходить в упадок. Региональная имперская администрация во многом в силу рутинного и достаточно архаичного характера своей организации и деятельности, не сумела разглядеть и грамотно использовать потенциал Общества, придав ему соответствующий изменяющейся эпохе характер. Общероссийское руководство Обществом также было весьма далеким от нужд его окраинных отделов, предоставив их самим себе, что рано или поздно вело к утрате интереса к его деятельности даже у наиболее активных и неравнодушных региональных членов.

Опыт деятельности данной организации в Вильне продемонстрировал также в целом невысокий уровень самоорганизации местного русского общества, проигрывавшего в этом отношении иным национальным группам, чье сплочение строилось на основе отстаивания своих этнических и конфессиональных интересов. Траектория развития Виленского отдела «Общества ревнителей…», схожая с судьбами многих других русских окраинных сообществ консервативной направленности, является ярким подтверждением вывода, к которому в свое время пришел М.Н. Катков, о том, что единственным эффективным средством практической реализации национально-консервативной программы консолидации государственного пространства Российской империи и укрепления русских национальных и

государственных начал на окраинах является имперский государственный аппарат[1].

Общество не смогло приобрести наднациональный, привлекательный для инородческих сообществ характер, что обрекало его на узость и изолированность от широких общественных кругов местного полиэтнического населения. Декларируемое «ревнителями» «мирное завоевание умов и сердец силою просвещения», успех которого на национальных окраинах всецело зависел от эффективного сотрудничества региональной администрации и общественности, не было достигнуто. Стремительно менявшаяся эпоха, приносившая с собой глубокие социально-политические потрясения, угрожавшие целостности имперского пространства, вынуждала имперское руководство отклоняться от национально-консервативной стратегии имперской политики и заставляла идти на уступки окраинным национальным движениям, отказываясь от идеи аккультурации национальных групп посредством стратегии «мягкой силы» ради сохранения их политической лояльности имперскому центру.

Трудности, сопровождавшие деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей…» на всем протяжении его существования, являлись объективным отражением проблемности реализации стратегии «мягкой силы» в отношении северо-западных окраин, отстаиваемой в отечественном национально-консервативном дискурсе.

Разработка неконфликтных методов и практик интегративного воздействия на местное население, которые могли обеспечить искомое «нравственное завоевание» региона требовала от имперских властей известной гибкости, высокой степени профессиональной квалификации, способности идти на компромисс с представителями региональных сообществ, не уступая в главном – последовательном укреплении русских государственных и культурных начал на имперских окраинах.

[1] Котов А.Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17). С. 185.

Принципиально важным было, чтобы представители имперской администрации высшего и регионального звеньев имели единое и общее представление об этих началах и были готовы их отстаивать в непростых условиях региональной управленческой практики. Формирование позитивного символического капитала имперского начала в сознании окраинных социумов, реализуемое в научно-интеллектуальной, образовательной, культурно-просветительской, мемориальной и иных сферах, не должно было ущемлять их интересов и подавлять их племенную самобытность.

Реализация данных замыслов в практической плоскости наталкивалась на множество препятствий как административно-управленческого, так и идейно-концептуального характера. В первую очередь, от идеологов данной доктрины требовалось формирование четких представлений о конкретном содержании отстаиваемых русских начал и, что было еще более важным, придание им привлекательных для населения региона черт, обеспечивающих их максимально безболезненное принятие. Анализ национально-консервативного дискурса ясно показал, что единства в понимании их сущности достигнуто не было и попытка выстроить интегративную концепцию вокруг первенства русского этно-конфессионального начала в условиях этнического, конфессионального и культурного разнообразия Северо-Западного края обречена на неудачу.

Кроме этого, огромная роль в «нравственном завоевании» окраинных территорий отводилась центральной и региональной русской общественности, которая должна была не только содействовать верховной власти в реализации данной программы, но и самим своим обликом служить интегративной силой, втягивая окраинные сообщества в сферу русских социально-политических и культурных интересов. Имперская интегративная политика в ментальном измерении должна была проводиться в условиях жесткого противостояния с альтернативным польским ассимиляционным проектом, на вооружении которого имелась не только развитая культурная

традиция и конфессиональные рычаги, но и значительные материальные средства, которыми обладала местная польская элита и католическая церковь. Перманентный дефицит материальных средств вкупе с разрозненностью и недостаточно высоким культурным уровнем региональной русской общественности, внутренние проблемы которой были прямым отражением «шаткости и неустойчивости», царивших во всем русском обществе в пореформенный период, негативно влияли на способность «нравственного завоевания» северо-западных окраин Российской империи. Борьба европейского космополитического либерализма и консервативных настроений, происходившая в интеллектуальной сфере, отсутствие единодушия в поддержке существующего политического и социального строя, общая перестройка социального облика русского общества, порождавшая множество противоречий и конфликтов – все это негативно влияло на интегративные способности имперского начала. Вследствие этого, в реализуемые неконфликтные управленческие практики неизбежно проникал привычный административно-силовой компонент, препятствовавший отказу от конфронтационной модели управления северо-западными окраинами.

ГЛАВА 5. ОСТЗЕЙСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМА УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОМ ДИСКУРСЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

5.1 Актуализация Остзейского вопроса в русском национально-консервативном дискурсе 1860-х – 1880-х гг.

Прибалтийские губернии, именовавшиеся также Остзейскими, вошедшие в состав Российской империи в XVIII в., в течение длительного времени сохраняли свое особое привилегированное и достаточно изолированное положение в рамках имперского пространства. Они обладали особым статусом и специфическим законодательством, основывавшимся на привилегиях прибалтийско-немецкого дворянства и бюргерства. Особенности местной административной, судебной и образовательной системы, изложенные в Своде местных узаконений, были закреплены особыми положениями Ништадского мирного договора 1721 г. и существенно расходились с общероссийским законодательством. Этносоциальная специфика края состояла в том, что коренное местное население, представленное эстонцами (эстами) и латышами, находилось в подчиненном положении по отношению к немецкой элите, монополизировавшей за собой ведущее положение в управленческой, судебной, хозяйственно-экономической и культурно-образовательной сферой. В административном и публичном пространстве региона безраздельно господствовал немецкий язык. Остзейская элита сумела сохранить в неизменном виде свои сословные права и привилегии, которые регулярно подтверждались русскими монархами при их вступлении на престол. В середине XIX века современники отмечали, что «нет теперь в Европе страны, где пережитки феодального строя сохранились бы в такой

силе, как в Остзейских губерниях»[1]. Указывая на консерватизм остзейцев, их верность российскому престолу и стремление к сохранению в неизменном виде сложившихся в крае традиций, наблюдатели, тем не менее, не могли не замечать свойственную им нелюбовь к русской нации и чувство превосходства над нею, что выражалось в четком разграничении самодержавия, верховенство власти которого безропотно признавалось, и собственно Русского государства, в коем прибалтийская элита стремилась занять подчеркнуто обособленное положение[2].

Сохранение остзейского статус-кво было выгодно не только самим остзейцам, но и российскому правительству, имевшему в их лице лояльнейших подданных, верно несших службу самодержавному престолу. Длительное время прибалтийские немцы пользовались полной поддержкой имперской администрации, строго пресекавшей любые сомнения в законности и нормальности данного положения, как это имело место в случае с протестным публичным выступлением Ю.Ф. Самарина по данному вопросу в 1840-х годах.

Однако во второй половине XIX века процессы социальной и национальной мобилизации, обусловившие необходимость преодоления присущей Российской империи гетерогенности и формирования единого административно-правового пространства, привели к постепенному изменению имперской политики в отношении Остзейского края. Архаичность господствовавших в регионе порядков в это время становится все более очевидной как для российской общественности, так и для представителей имперских властей. Модернизационные процессы, усилившиеся во второй половине XIX века, требовали унификации системы органов местного управления и суда на всем имперском пространстве, что делало неизбежным трансформацию местных институтов в соответствии с

[1] Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: сборник документов и материалов. Тарту: Eesti Ajalooarhiiv, 2000. С. 34.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1255. Л. 2.

общеимперскими стандартами, а также распространение государственного языка в административной, деловой и культурно-образовательной среде.

Большое значение имел специфический характер этносоциальных отношений в регионе, где сословные противоречия между немецкой элитой и эсто-латышскими народными массами дополнялись межнациональной рознью, проявления которой стали особенно заметны во второй половине XIX века. Лояльность местной элиты во многом обеспечивалась традиционными гарантиями ее прав и привилегий в отношении народных масс, которые все более активно выступали против господства немецкого дворянства, что было обусловлено пробуждавшимся национальным самосознанием прибалтийских народов. Российское правительство и общественность стояли перед непростой дилеммой, связанной с необходимостью выбора между сохранением традиционных сословно-корпоративных принципов имперской политики и переходом к модерным унификационным управленческим практикам, необходимость которых активно обсуждалась в отечественном национально-консервативном дискурсе второй половины XIX века.

Несмотря на то, что единичные призывы к ограничению прав остзейского дворянства, высказываемые еще в 1840-е годы не только Ю.Ф. Самариным, но и другими анонимными представителями русской общественности[1], игнорировались или жестко пресекались, некоторые из выдвинутых идей в определенном смысле разделялись верховной властью, что объясняет, например, идею введения русского языка в делопроизводство коронных учреждений Прибалтийских губерний, высказанную императором Николаем I еще в 1850 г.[2]

Актуализация остзейского вопроса в общественном сознании в пореформенный период происходила под влиянием нескольких значимых факторов. В первую очередь, она являлась результатом повышенного

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1268. Л. 1–20.
[2] РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 214. Л. 2.

внимания к национально-имперской проблематике, обусловленного Польским мятеж 1863 – 1864 гг., заставившим русское общество задуматься о необходимости укрепления государственного единства и унификации имперских окраин.

Помимо этого, в условиях активной подготовки и начала процесса крестьянской эмансипации, общественность обращала внимание на сохранение в прибалтийских губерниях архаичных форм социально-правовых отношений и жестких форм эксплуатации крестьянства, устранение которых должно было стать составной частью модернизационных процессов, происходивших в стране в 1860 – 1870-е гг. Отстаиваемые прибалтийскими дворянами принципы безземельного освобождения крестьян вызывали резкую критику в русской печати, которая стала обращать внимание на тяжелейшее положение формально свободных эстонских и латышских крестьян, стремившихся любой ценой вырваться из-под гнета немецких помещиков.

Также значительную роль в активизации обсуждения остзейского вопроса в русском обществе сыграли внешнеполитические обстоятельства, связанные с процессом объединения Германии во главе с Пруссией, которые привели к возникновению идеи «воссоединения» остзейских провинций с «исторической родиной», отстаиваемой представителями немецкой прибалтийской общественности. В 1860-х годах в Пруссии вышел ряд работ, написанных выходцами из немецких прибалтийских дворянских кругов – Г. Сиверсом, Ю. Эккартом, К. Ширреном, Э. Каттнером, В. фон Боком и другими, рассматривавших Прибалтику как «немецкий край», для присоединения которого к Пруссии якобы имелись все правовые, исторические и культурно-этнические основания. Большой общественный резонанс вызвала публичная речь лифляндского генерала-суперинтенданта К.Ф. Вальтера весной 1864 г., в которой он указывал на исключительно немецкий характер остзейского края, подчеркивая необходимость германизации его коренного населения, что рассматривалось как долг

остзейцев перед их исторической родиной – Германией[1]. До определенного времени верховная власть сквозь пальцы смотрела на подобные заявления, не желая настраивать против себя остзейскую элиту, имевшую широкие связи в высших эшелонах власти и придворных кругах.

Несмотря на сохранявшиеся цензурные ограничения, русская пресса в пореформенный период стала все чаще обращаться к остзейской проблематике, рассматриваемой в остром критическом ключе. Первоначально в газетных публикациях поднимались вопросы, связанные с освещением «отдельных недостатков» управления Прибалтийскими губерниями – злоупотреблениями немецкой прибалтийской бюрократии, произволом местных дворян в отношении крестьянского населения, стесненным положением русского языка, а также с многими другими проблемами, имевшими место в крае. Русская пресса стала обращать внимание на сохранение устаревшего феодального устройства городского управления, правовой системы, социальной структуры прибалтийских губерний. Первыми изданиями, публиковавшими материалы с критикой остзейских порядков, стали «Кронштадский вестник» и «Морской сборник», находившиеся под покровительством великого князя Константина Николаевича, известного своей антиостзейской позицией[2].

Так, в частности, в 1861 г. корреспондент «Морского сборника», подвергая осторожной критике прибалтийские порядки, писал, что «вряд ли где-нибудь во всей Европе так сохранились сословные предрассудки, как в Остзейских губерниях», дворянство, чиновничество, гильдейское купечество и литераты которых представляют собой фактически «отдельные касты»[3]. Несмотря на то, что подобные публикации имели довольно сдержанный, «локальный» характер, на поднимая глобальных вопросов, связанных с необходимостью проведения преобразований в крае, они способствовали

[1] Исаков С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 107. Тарту: Тартуский государственный университет, 1961. С. 32.
[2] Там же. С. 16.
[3] Морской сборник. 1861. Т. LVI. № 11. С. 56.

ознакомлению русских общественных кругов с положением в весьма закрытом Прибалтийском крае и укреплению убежденности в ненормальности существующего положения, противоречившего не только передовым идеям современности, но и государственным интересам России.

Наиболее острое звучание остзейские сюжеты приобретали на страницах славянофильских изданий, стремившихся не только к защите русских национальных интересов, но и к отстаиванию прав народов, ходом исторического развития поставленных под власть Российского государства. Редактируемая И.С. Аксаковым газета «День» уделяла большое внимание тяжелому положению местного коренного населения, задавленного остзейской элитой не только в экономическом, но и в национально-культурном отношении. Значительный резонанс вызвала опубликованная на ее страницах статья ревельского корреспондента В.В. Иванова, посвященная анализу книги «Эстонец и его господин», которая была написана на немецком языке русским публицистом В.Т. Благовещенским и вызвала резкое недовольство остзейских кругов. В статье указывалось на формирование «сознания и чувства национальности» у местных коренных народов, побуждавшем остзейскую элиту задумываться о необходимости их постепенной германизации[1]. Призывы к улучшению положения прибалтийских народных масс в рамках общероссийской крестьянской эмансипации со временем трансформируются в заявления о необходимости полного пересмотра положения, существующего в регионе.

Российское правительство было не заинтересовано в активном обсуждении остзейского вопроса на страницах периодических изданий, стремясь предупредить «в самом зародыше предосудительную полемику между русской журналистикой и подвластными России немцами» путем запрета публикаций острополемических статей, посвященных данной тематике. В Цензурном Комитете данные запреты прямо объяснялись

[1] День. 1862. № 50. 15 декабря.

опасением ухудшения «расположения остзейских немцев к России вообще»[1]. Первоначально в критике остзейских порядков власть в большей степени усматривала не столько «антинемецкий», сколько антидворянский обличительный пафос, направленный на критику помещиков и начальства, что могло повлечь за собой «потрясение залогов общественного спокойствия»[2]. Чиновники цензурного ведомства руководствовались указанием самого императора Александра II, требовавшего прекратить журнальную полемику в силу ее бессмысленности и во избежание «возбуждения обоюдных нареканий»[3].

Если в начале 1860-х годов отдельные публикации, посвященные ситуации в Прибалтийских губерниях, изредка пробивавшиеся через цензурные рогатки, были не в состоянии привлечь к проблеме широкое общественное внимание, то после Январского восстания 1863 – 1864 гг. ситуация во многом изменилась. Вызванная повстанческим экстремумом угроза целостности Российской империи, а также возобладание в российском обществе национально-патриотических настроений, имевших ярко выраженный консервативный оттенок, привели к постепенному осознанию необходимости укрепления государственного единства и преодолению изолированности национальных окраин, замалчивать или игнорировать которое верховная власть была уже не в состоянии. Распространение критических настроений в отношении остзейских порядков было обусловлено общей антизападнической рефлексией российского общества, ощущавшего кризисные явления имперской государственности и стремившегося противодействовать им путем унификации имперских окраин и укрепления на них русских государственных начал. В общественном мнении постепенно формировался крайне негативный образ остзейского немца, презрительно относившегося к России и ко всему русскому. Распространялись слухи о высокомерии и дерзости остзейцев,

[1] РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5713. Л. 1–2.
[2] РГИА. Ф. 775. Оп. 1. Д. 8. Л. 3 об.
[3] Там же. Л. 4 об.

существовавших среди них сепаратистских настроениях, а также об их откровенном игнорировании распоряжений русского правительства и демонстративном не желании использовать русский язык не только в официальной переписке, но и при непосредственном общении, как с высокопоставленными правительственными чиновниками, так и с самим Государем[1].

Следует подчеркнуть, что первенство в осознании принципиальной необходимости изменения данного положения и унификации Прибалтийских губерний в административно-правовом и культурно-языковом отношении принадлежало не имперским властям, а именно русской национально-консервативной общественности, сумевшей актуализировать данную проблематику.

С середины 1860-х годов остзейские сюжеты все чаще стали подниматься на страницах влиятельнейших «Московских ведомостей», редактор которых стремился привлечь общественное внимание к «ненормальному» положению прибалтийской окраины в составе Российской империи.

Основная мысль, красной линией проходившая через многочисленные публикации М.Н. Каткова по данному вопросу, состояла в том, что существующая административно-правовая изолированность Прибалтийских губерний, являвшихся «нераздельной частью России», должна постепенно преодолеваться совместными усилиями российской администрации и представителями самой немецкой прибалтийской общественности, которых он считал «достойными представителями русской нации», понимая под последней именно государственное подданство. Остзейская проблематика рассматривалась Катковым через призму его представлений о политической нации, согласно которым все подданные Российской империи вне зависимости от их племенного происхождения и вероисповедания принадлежали к единой русской семье. Поскольку русская национальная

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1281. Л. 1; Д. 1282. Л. 2–3, 4–5, 8–8 об.

принадлежность, по мнению публициста, определялась полнотой прав русского гражданства, то это позволяло считать прибалтийских немцев, пользовавшихся всеми гражданскими правами Российской империи, «полноценными русскими»[1].

Публицист подчеркивал, что «балтийское немечество» представляет собой искусственное явление, поддерживаемое архаичными привилегиями и преимуществами, которые были закреплены Петром Великим посредством особых «капитуляций» в те времена, когда правила «современного гражданского быта» не были выработаны не только в России, но и во многих странах Европы[2]. Неуклонное течение жизни и развитие гражданских отношений, происходившее в России на протяжении полутора столетий, превратило старинные постановления и привилегии в откровенные анахронизмы, устранение которых, по мнению публициста, было необходимо не только российскому правительству, но и самим широким слоям прибалтийского немецкого общества. Отстаивая ценности консервативной модернизации, Катков был уверен в их собственной заинтересованности в том, чтобы избавиться от «непосильного бремени балтийско-немецких особенностей» посредством распространения на регион более современных административно-правовых практик, формируемых на территории Российской империи в процессе Великих реформ. Отстаивая свою позицию, редактор «Московских ведомостей» в качестве аргумента приводил тот факт, что ежегодно множество представителей немецкого населения покидало прибалтийские губернии и уезжало в другие регионы империи, где они чувствовали себя более свободно в рамках общеимперского законодательства, которое не только не стесняло, но, напротив, предоставляло больше возможностей для их карьерного роста и экономической деятельности[3].

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867. М., 1897. С. 344–345.
[2] Там же. 1869. С. 402.
[3] Там же. 1867. С. 377–378.

Однако основная сущность остзейского вопроса, по мнению Каткова, состояла даже не в наличии внутренних социальных противоречий и архаичных пластов в административно-правовой сфере края, а в угрозе прибалтийского сепаратизма, проявлением которого стало формирование в Прибалтике особого «остзейского патриотизма», противостоявшего единому русскому государственному патриотизму. Данные тенденции воплощались в планах объединения трех Прибалтийских губерний в некий единый субъект с общими органами самоуправления, в которых консервативный публицист усматривал очередное проявление антирусской «интриги», направленной на дальнейшее отчуждение региона от России, в корне противоречившее русским государственным интересам[1]. Идейной основой остзейского (как, впрочем, и любого другого) окраинного сепаратизма, по мнению консервативного публициста, являлось «фальшивое учение будто бы в России существует не одна политическая нация – русская, а многие, как то: немецкая, польская, армянская, татарская и другие…», допускавшее существование в рамках имперского государства других государственных образований[2]. В корне отрицая принцип существования Российской империи, как «Империи национальностей», Катков опасался, что укрепление данного представления в умах российской интеллектуальной и политической элиты, к чему так настойчиво стремились остзейцы, неизбежно приведет к «внутреннему разложению» Российского государства.

Еще одним признаком сепаратистских устремлений прибалтийских немцев, вызывавшим серьезную обеспокоенность консервативного публициста, являлся активизировавшийся с середины XIX века процесс германизации местного эстонского и латышского населения, осуществлявшийся посредством распространения немецкого языка в рамках местной образовательной системы.

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865. С. 661.
[2] Там же. С. 805.

О систематическом и беспрепятственном «онемечивании» Прибалтийских губерний Каткову писал его постоянный корреспондент, капитан 1-го ранга и член редакции газеты «Морской сборник» А.В. Фрейганг, отличавшийся ярко выраженными панславистскими взглядами и усматривавший в германизации края очередное проявление традиционного германского Drang nach Osten[1]. В 1865 г. в связи со стремительным расширением сети немецких лютеранских школ в Прибалтийских губерниях он писал, что в результате целенаправленной политики подавления местных национальных особенностей, проводившейся при полном попустительстве властей, в самое ближайшее время все население края может превратиться в «немцев», поскольку любые попытки противодействия германизации со стороны «истинно преданных России местных деятелей» подавлялись местными властями[2]. Так, в частности, он указывал на то, что представитель пророссийски ориентированной латышской общественности К.Э. Безбардис, неоднократно высказывавшийся о симпатиях латышей к Российскому государству и русскому народу, в результате остзейской интриги был признан «неблагонадежным» и выслан из Прибалтики в Клин[3]. Следует отметить, что во многом благодаря публичному освещению консервативными публицистами данного дела справедливость была восстановлена и видный представитель латышской общественности, симпатизировавший русским государственным началам, был возвращен в родной край, продолжив свою общественную и публикационную деятельность. Фрейганг подчеркивал, что проблема заключалась не в самом германском элементе, стремившемся к развитию собственного языка и культуры на территории России, а в направлении, которое приняло его развитие, насаждавшем среди русских немцев идеалы «германизма» и вселявшем в них ненависть и презрение ко всему русскому[4].

---

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1271. Л. 1 об.–2.
[2] Там же. Л. 1.
[3] Там же.
[4] Там же. Л. 4.

Катков отрицал естественный характер данного процесса, усматривая в нем «национально-политический принцип», напрямую противодействующий русским государственным интересам. Публицист отмечал, что немецкое дворянство, длительное время не думавшее об ассимиляции презираемых и угнетаемых ими прибалтийских народов и не желавшее допускать в свой элитарный круг их представителей, целенаправленно стало проводить данную политику в ответ на настойчивое стремление эстов и латышей приобщиться к православию, что открывало прямой путь к их последующей русификации[1].

Значительные результаты германизации прибалтийского населения, по мнению публициста, были обусловлены не только целенаправленными усилиями немецкого дворянства и лютеранского духовенства, но и пагубным равнодушием российского правительства, которое, как с горечью отмечал Катков, словно не замечало «движения, …ежегодно, в возрастающем множестве, похищавшего население России в пользу иноземной национальности»[2]. Главным недостатком правительственной политики в образовательной сфере прибалтийского края редактор «Московских ведомостей» считал передачу народного образования исключительно в руки местного православного духовенства, которое, вследствие своей скудости и обремененности церковными заботами, было не в состоянии достойно выполнять возложенные на него образовательные обязанности, во многом проигрывая хорошо организованным лютеранским школам. Помимо этого, данный подход приводил к тому, что русское начальное образование распространялось только на местное православное население, численность которого была невелика, в то время как основная масса латышей и эстонцев продолжала подвергаться германизации в хорошо организованных и щедро финансируемых местным дворянствах училищах и гимназиях[3].

---

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1869. С. 280.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 281.

Катков указывал на необходимость активного противодействия немецким ассимиляционным усилиям в Прибалтике, отводя значительную роль в этом процессе образовательной системе, которая должна приобрести в крае «вполне русский» характер. Данная цель, по его мнению, могла быть достигнута при соблюдении трех условий: путем перевода всего административного и судебного делопроизводства на русский язык (который должен был не вытеснить, а лишь уравняться с немецким), что резко повысило бы его востребованность среди местного населения; посредством совершенствования общеимперской образовательной системы, что лишило бы прибалтийские учебные заведения имевшихся у них преимуществ и устранило бы толки о том, что принятие русских образовательных уставов есть шаг назад в педагогическом отношении; и, наконец, распространением данных уставов на образовательные учреждения края, без чего было невозможно дальнейшее расширение их штатов[1].

Следует отметить, что Катков никогда не настаивал на принудительной русификации Прибалтики, подразумевавшей изменение сложившейся здесь системы обычаев и порядков, а также покушение на вероисповедание и язык местного населения. Редактор «Московских ведомостей» подчеркивал, что национальное движение, развернувшееся в России, не предполагало никакого подавления племенных особенностей, допуская всякое разнообразие элементов, составлявших главное богатство «единой национальной семьи». Тем более, не призывал он к устранению тех преимуществ, которыми край обладал в сфере умственного образования и культурного развития, отсутствовавших в коренных областях империи, в чем остзейские и зарубежные оппоненты упрекали сторонников русификации края[2]. Однако, допуская и приветствуя культурное и языковое разнообразие, Катков решительно восставал против существования в рамках Российской империи «разнообразия государственного», подчеркивая, что прибалтийские немцы не

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1869. С. 13.
[2] Там же. 1865. С. 288.

вправе требовать создания на ее территории какой-либо «внутренней Германии» и причислять себя к чужой политической национальности[1].

Попытки искусственного насаждения православия в Прибалтике также вызывали неприятие редактора «Московских ведомостей», подчеркивавшего, что «задача правительства в балтийских губерниях есть задача национально-политическая, а не церковная». Угроза утраты своей веры, за которую прибалтийские крестьяне держались крепко, по мнению публициста, была главным препятствием распространением среди них русского языка, обучение которому в русских школах многими из них небезосновательно связывалось с православной агитацией. В соответствии с отстаиваемой им концепцией политической нации, Катков полагал, что прибалтийские народы могут стать «вполне русскими» и без смены вероисповедания. Важным шагом на пути достижения данной цели, по его мнению, являлось «допущение русского языка в инославном богослужении», что позволило бы избавить население Прибалтики от страха отторжения от привычной лютеранской веры при изучении русского языка или обучения в русскоязычной эстонской или литовской школе[2]. Данная мера, горячо отстаивая публицистом также и в отношении католического богослужения в Западном крае, виделась ему универсальным средством распространения русского языка среди неправославного окраинного населения.

Идею внедрения русского языка в лютеранское богослужение, как важного шага на пути русификации прибалтийского населения, позднее, в 1880-1890-е годы отстаивал также Н.Х. Бунге, полагавший, что не лютеранское вероисповедание, а именно немецкий язык, укоренившийся в богослужении, проповедях, преподавании Закона Божьего среди местного населения является главной опорой германизма в регионе[3]. Государственный деятель, сам являвшийся лютеранином, считал, что именно русификация лютеранского богослужения в наибольшей степени соответствует

[1] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1869. С. 346–347.
[2] Там же. 1870. С. 50.
[3] Бунге Н.Х. Загробные заметки. С. 217.

стратегическим задачам обрусения прибалтийского региона и может дать несравненно большие результаты, нежели насильственное «возвращение» эстов и латышей в православие или преследование лютеранских пасторов.

Бунге указывал на то, что еще в 1840-х годах многие прибалтийские лютеране желали введения русского языка в их богослужение, чему воспрепятствовало само российское правительство, опасавшееся «отпадения» православных в лютеранство. После объединения Германии немецкий язык стал не просто органом веры, но «орудием политики», в нейтрализации которого он видел главную задачу имперской администрации Прибалтики. Бунге утверждал, что «германизм поддерживается единственно языком лютеранской веры и непременно исчезнет вместе с отменой обязательности немецкого языка в лютеранском богослужении»[1]. Угрозу распространения лютеранства в ущерб православию при введении русского языка в лютеранское богослужение он отрицал, подчеркивая, что, перестав быть немецким, лютеранский фанатизм в значительной степени ослабеет, и не будет представлять серьезной угрозы для православия в крае.

Безусловно наиболее важную роль в актуализации остзейского вопроса сыграл давний принципиальный противник сохранения особого положения Прибалтийских губерний в составе империи и обширных остзейских привилегий – Ю.Ф. Самарин. Обратиться к данной проблеме после почти двадцатилетнего перерыва его побудило осознание «неправильности» правительственной политики, проводимой по отношению к имперским окраинам, которая, по его мнению, в перспективе могла привести к федерализации России и утрате государственной целостности. Мыслитель отмечал, что «национальное направление» внутренней политики России было поколеблено, вызвав возникновение центробежных устремлений не только в Польше, Финляндии и Остзейском крае, но и на Украине и Кавказе[2]. Самарин считал своим гражданским долгом не только привлечь внимание

[1] Бунге Н.Х. Загробные заметки. С. 217.
[2] Самарин Д. Самарин Юрий Федорович // Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. М.: 2016. С. 316.

общественности к окраинной проблематике, но и использовать силу общественного мнения для изменения характера политики имперских властей. Если на западных окраинах повстанческий экстремум побудил власти начать противодействовать польскому влиянию, проводя политику «оборонительной русификации», то в Прибалтике ситуация оставалась неизменной, что вело к еще большей изолированности края и усилению в нем остзейского германизма.

С 1867 года Самарин снова обратился к проблеме прибалтийской окраины, первоначально отстаивая свои идеи на страницах московских славянофильских газет «День» и «Москва», которые сразу стали подвергаться административным гонениям за усматриваемое в них цензурой «возбуждение племенной неприязни»[1]. Цензурные ограничения, препятствовавшие полноценному информированию русского общества о ситуации в Прибалтике, которое Самарин считал необходимым условием проведения необходимых преобразований в регионе, побудили его к изданию за границей капитального труда, посвященного данному вопросу. В нем должна была даваться подробная характеристика особого статуса Остзейских губерний в составе Российской империи, рассматриваться положение латышского и эстонского населения, находившегося под экономическим и культурным гнетом немецкого дворянства, а также анализироваться правительственная политика, проводимая в отношении данного региона. Автор также рассматривал свой труд как средство противодействия активной антирусской пропаганде, проводившейся за рубежом, выставлявшей Россию в крайне неприглядном свете и искажавшей проводимую правительством политику в отношении окраин.

Выход в 1868 г. в Праге первых двух выпусков фундаментального сочинения ученого под названием «Окраины России» вызвал огромный общественный резонанс, обусловленный не только актуальным содержанием

[1] Емельянов Е.П. Остзейский вопрос на страницах славянофильских газет (1861-1868) // Документ. Архив. История. Современность. 2014. № 14. С. 219–224.

работы, но и сознательным стремлением автора организовать широкую и открытую общественную дискуссию по данному вопросу, в результате которой была бы выработана всесторонняя программа развития региона, альтернативная правительственной политике. Необходимо согласиться с оценкой данного события как кульминационного момента в обсуждении остзейского вопроса в отечественной печати 1860-х годов[1].

В своем труде Самарин неоднократно подчеркивал, что порядки, существовавшие в Прибалтийских губерниях, совершенно не соответствовали национальным интересам и достоинству России, в первую очередь, потому, что остзейское дворянство фактически открыто игнорировало не только общеимперское законодательство, но и Свод местных узаконений, ссылаясь на привилегии, предоставленные краю в момент его вхождения в состав России. Данное обстоятельство придавало краю характер самостоятельного правового субъекта, де-факто признаваемого верховной властью, что, по мнению Самарина, было несовместимо с представлением о целостности имперского пространства и государственными интересами России[2].

Если при характеристике административно-правовой сферы острие самаринской критики было обращено преимущественно против остзейского дворянства, то в религиозном вопросе он напрямую подвергал критике политику российских властей за отказ от «деятельного» покровительства православию, к которому тяготела значительная часть местного населения, что автоматически развязало руки антиправославной пропаганде, разрушившей баланс между двумя вероисповеданиями в крае[3]. Приниженное и угнетенное положение господствующей государственной церкви в крае, Самарин считал совершенно недопустимым и крайне унизительным для государственного достоинства России. Религиозный вопрос в крае, по

[1] Исаков С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. С. 149–150.
[2] Самарин Ю.Ф. Окраины России // Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. 8. М.: Тип. А.И. Мамонтова. 1890. С. 65.
[3] Там же. С. 69.

мнению мыслителя, имел и ярко выраженную политическую подоплеку. Самарин указывал на то, что целью остзейского лютеранства, покровительствуемого местным дворянством, являлось не только полное вытеснение православия из края, что еще могло быть объяснено сугубо религиозными мотивами, но и признание его независимости от общего управления лютеранской церковью в пределах империи, что являлось прямым проявлением прибалтийского провинциализма, стремившегося к дальнейшей автономизации края и превращению его в аналог Финляндии[1].

Отстаивая интересы русской православной церкви в Прибалтике, Самарин стремился оказывать содействие ей не только словом, но и реальным делом. Так, вскоре после создания в Риге Петропавловского православного братства, учрежденного в 1867 г. по инициативе архиепископа Рижского и Митавского Платона для объединения местных православных священнослужителей и верующих, публицист пожертвовал в его пользу десять тысяч рублей, составивших так называемый «самаринский капитал», из которого впоследствии братство учредило пособия, выплачиваемые народным учителям прибалтийских народных школ и бедным ученикам православного звания[2].

Несмотря на личные заслуги остзейского дворянства на служебном поприще и его внешнюю лояльность российскому трону, Самарин не сомневался в наличии у него скрытых сепаратистских тенденций, усилившихся в 1860-е годы. Их наличие обуславливалось тем, что для остзейских немцев Россия никогда не была Отчизной, равно как таковой не являлась для них ни Польша, ни Швеция. Самарин был уверен, что истинной Отчизной для них всегда был исключительно Германизм (Deutschthum), который с началом общенемецких объединительных процессов превратился из отвлеченного понятия в реальное политическое образование, стоящее на

[1] Самарин Ю.Ф. Окраины России. С. 73.
[2] НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 4335. Л. 2; Отчет о деятельности Рижского Православного Петро-Павловского Братства за 1886 год. Двадцатый год существования. Рига. Печатано в типографии М. Якобсона. 1887. С. 4.

российских границах и угрожавшее целостности империи[1]. Мыслитель подчеркивал, что в силу особенностей национального характера, остзейский сепаратизм не будет проявлять себя так явно, как польско-шляхетский; немецкое рыцарство никогда не поднимет открытого бунта, не пойдет «до ляса», пытаясь привлечь на свою сторону народные массы путем земельных раздач и прощением недоимок. Опираясь на исторические примеры, Самарин указывал на то, что Балтийский край никогда не восставал и не был насильственно и резко отторгаем от тех государств, которым он принадлежал в прошлом, а постепенно отделялся от них в результате медленного и незаметного ослабления государственных уз, «тихого подпиливания свай, на которых опиралась верховная власть». Когда сила изменяла державе, владевшей Прибалтийским краем, он безболезненно «отваливался» от нее под воздействием удара извне[2].

Опираясь на многочисленные данные, публицист приходил к выводу о том, что в крае ведется хорошо организованная тайная деятельность, направленная на реализацию противостоящего российским государственным интересам ассимиляторского проекта, конечной целью которого является дальнейшее обособление края и его полная дезинтеграция в последующем. По мнению Самарина, план остзейцев включал в себя последовательное решение трех важнейших задач, состоявших, во-первых, в полной германизации местного населения, что могло быть достигнуто только путем сохранения политического и экономического господства немецкой элиты в крае; во-вторых, в сближении немецких сословий с прослойкой «онемечившихся туземцев» на почве противодействия русским государственным началам; и, наконец, в-третьих, в подведении имперской администрации к признанию «балтийского германизма за политическую национальность», что приведет к созданию остзейского государства в государстве, права которого будут закреплены особой «земской

[1] Самарин Ю.Ф. Окраины России. С. 52.
[2] Там же. С. 49.

конституцией»[1]. «Глухая работа» по расшатыванию и без того слабой государственной связи края с Россией, незаметно подготавливавшая указанный сценарий, по мнению Самарина, непрерывно велась в течение длительного времени, что требовало немедленного противодействия со стороны российских властей и общественности.

Следует подчеркнуть, что, указывая на наличие широко распространенных антирусских настроений в среде остзейского дворянства и хорошо организованной антирусской пропаганды, Самарин, тем мне менее не призывал к проведению какой-либо репрессивной политики в отношении Прибалтийских губерний, аналогичной политике М.Н. Муравьева в Северо-Западном крае, которая, по его мнению, была неизбежным следствием длительного «задабривания» окраинной элиты. Мыслитель прямо заявлял, что «жалка та политика, которая умеет только потворствовать или карать, вымещая на других естественные последствия собственных своих послаблений»[2]. По его мнению, противодействовать антирусской пропаганде необходимо «не малодушным задабриванием и не карательными мерами, а прямо и решительно заявленной системой национального, русского законодательства, национальной, русской администрацией и допущением свободной, национальной общественной пропаганды…»[3].

Современники были поражены «страшным» разоблачительным содержанием книги, включавшей в себя не только резкие нападки на остзейское дворянство, но и жесткую критику правительства, чья политика обвинялась в изоляции данного региона, отданного в полное распоряжение немцам. О том, что книга Самарина стала «настоящим событием» русской жизни, интерес к которой лишь подогревался запоздалыми и довольно неуклюжими действиями правительственной цензуры, писал Ф.И. Тютчев, одним из первых ознакомившийся с ее содержанием[4]. А.Н. Майков в письме

[1] Самарин Ю.Ф. Окраины России. С. 140–174.
[2] Там же. С. 48.
[3] Там же.
[4] Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Кн. 3. М.: 2012. С. 344.

к Ф.М. Достоевскому назвал книгу Самарина «зрелым плодом русского национального самосознания», отмечая, что она, «как брошенный камень возмутила тишь и гладь русских салонов… Никогда еще русское государство не имело такого могучего защитника в умственной среде на политическом поприще, и по вопросу социальному... Это книга для русских государственных людей как настольная, которую они должны выучить наизусть...»[1]. Если в национально-консервативных кругах работа Самарина вызвала одобрение и поддержку вследствие отстаиваемых им взглядов, то основную массу читающей публики, стремящейся раздобыть книгу «хоть за какие бы то ни было деньги», привлекла внешняя «скандалезность» самаринского «памфлета» и его остро-критическая тональность[2].

В правительственных кругах отношение к труду Самарина было неоднозначным. Император Александр II был раздражен возобновлением полемики по остзейскому вопросу, не отвечавшей «видам правительства», о чем было недвусмысленно заявлено годом ранее в специальной публикации, подготовленной П.А. Валуевым и размещенной на страницах правительственного издания «Северная почта»[3], а также, в еще большей степени, фактом того, что книга Самарина вышла за рубежом. Весьма негативно о книге Самарина отозвался познакомившийся с ней Великий князь Константин Николаевич, назвавший ее ужасным «памфлетом»[4]. Однако наиболее негативную реакцию она вызвала у бывшего министра внутренних дел П.А. Валуева, воспринявшего содержавшуюся в книге критику правительственной политики как нападки, направленные против него лично. Однако в его резко негативных отзывах об авторе «Окраин России» примечателен тот факт, что бывший министр не только обвинял

[1] Достоевский Ф.М. Письма. Т. 2. 1867-1871. М.; Л.: Государственное издательство, 1930. С. 433.
[2] Пирожкова Т.Ф. «Страшная книга» Ю.Ф. Самарина. («Окраины России» в восприятии современников) // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. 2017. № 3. С. 141–142.
[3] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. 1865–1876 гг. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961. С. 421.
[4] Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX в. Л.: Наука, 1989. С. 32.

Самарина в намеренном искажении фактов, но и указывал на свою невозможность изменить существовавший в Прибалтийском крае порядок, который являлся «делом власти высшей», следствием «условий нашего государственного и правительственного быта, которых я никогда не был защитником»[1]. Этот оправдательный тон и перекладывание вины на «высшую власть» косвенно свидетельствовало о том, что сам Валуев признавал значимость обсуждаемого вопроса и разделял общее стремление к укреплению связи Прибалтийских губерний с Россией.

Однако наряду с негативными отзывами, среди государственных деятелей были и те, кто признавал справедливость критики правительственного курса в отношении прибалтийской окраины. Князь Д.А. Оболенский полностью соглашался с мнением Самарина относительно значения остзейского вопроса, подчеркивая, что публицист не только не преувеличил, но, даже несколько приуменьшил негативные последствия недальновидной окраинной политики правительства, которые, по предсказанию сенатора, «горько отзовутся нам в будущем»[2]. Был согласен с самаринской идеей «о необходимости подчинить ход балтийских дел общему, а не исключительному, установленному порядку…» и министр иностранных дел А.М. Горчаков, который, по словам И.С. Аксакова, благодаря «Окраинам России» сумел переосмыслить характер государственных интересов России в регионе[3].

Самарин заложил основы и ключевые направления национально-государственной модели решения остзейского вопроса, возобладавшей в годы царствования Александра III, когда правительство активно приступило к практическому воплощению идей инкорпорации прибалтийского региона в имперское административно-правовое и культурное пространство. Многие из идей мыслителя были взяты на вооружение российскими имперскими

---

[1] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. С. 433–434.
[2] Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879. СПб.: Нестор-История, 2005. С. 265.
[3] Переписка И.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина (1848–1876). СПб.: Пушкинский Дом, 2016. С. 256.

властями, что позволяло его биографу – Б.Э. Нольде с полным основанием утверждать, что вся политика Александра III в отношении прибалтийских окраин есть не что иное, как реализация программы, разработанной и построенной Самариным[1].

Книга Самарина вполне предсказуемо вызвала резкое недовольство остзейцев, увидевших в ней прямой вызов, брошенный им русским публицистом. Представители прибалтийской интеллектуальной элиты стремились доказать всю пагубность предлагаемой им «русификации» региона, которая, по их мнению, крайне негативно бы повлияла на уровень развития местного образования, благосостояния и культурного развития, посеяв, кроме того, семена острых социальных конфликтов[2]. В начале 1870 г. лифляндским дворянством был подготовлен адрес на имя императора Александра II, составленный, по оценкам современников, в весьма «дерзких» выражениях[3], в котором утверждалось, что Лифляндия, будучи присоединенной к России на основании «государственного договора», представляет собой «отдельное владение», находящееся на особом положении в составе Российского государства и обладающее особыми правами, гарантии сохранения которых фактически требовались от Государя[4].

Император не принял данный адрес, что вызвало большую радость среди русского населения Прибалтики, которое, в свою очередь, подготовило собственный адрес, направленный к генерал-губернатору П.П. Альбединскому[5]. Наиболее значительное участие в его составлении принял активный русский прибалтийский общественный деятель и чиновник, служащий рижской Казенной палаты П.А. Ковалев, являвшийся инициатором создания ряда русских общественных организаций в

---

[1] Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Paris: Soc. anonyme impr. de Navarre, 1926. С. 201.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1284. Л. 2–7.
[3] Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1870. С. 235.
[4] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1280а.
[5] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1001. Л. 1.

Лифляндии[1]. В адресе с горечью указывалось на то, что русские жители Прибалтики были лишены тех благ, что были принесены произошедшими в России преобразованиями, тем самым как бы исключаясь из «единой, нераздельной семьи русской». Содержавшиеся в адресе призывы к коренным преобразованиям в крае предполагали укрепление русского языка в образовательной и административной сферах, распространение в крае общероссийских судебных и земских учреждений, а также Городового положения, обсуждение которого еще продолжалось в Государственном совете[2]. Обосновывая положения адреса, П.А. Ковалев подчеркивал, что немецкая элита стремилась лишь к «обеспечению себя в материальном отношении, прикрываясь для достижения сего разными привилегиями и исключительным правом господства» и в связи с этим не желало «ни реформ, ни равноправности»[3].

В тезисах данного адреса четко прослеживаются основные направления курса на административно-правовую и языковую унификацию прибалтийских губерний, реализация которого начнется в период царствования Александра III[4]. Данные обращения вкупе с постоянно поступавшими сообщениями о растущем недовольстве русского и эсто-латышского населения сохранением немецкого господства в крае[5] приводили приводили к накоплению информационной «критической массы», игнорировать которую верховная имперская администрация уже не могла.

Формированию соответствующего информационного поля, обосновывавшего необходимость кардинальных преобразований в Прибалтийском крае, активно способствовала отечественная национально-консервативная публицистика, уделявшая в 1860 – 1870-е гг. данному вопросу значительное внимание.

---

[1] П.А. Ковалев. Один из Русских деятелей в Прибалтийском крае // Русский архив. 1892. Вып. 4. С. 467–474. С. 467.
[2] Там же. 467–468.
[3] Там же. С. 470.
[4] Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. С. 335–336.
[5] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 270. Л. 1–2; Д. 1283. Л. 1–1 об.

Помимо М.Н. Каткова, данный вопрос с завидной регулярностью на страницах редактируемых им изданий поднимал И.С. Аксаков. В своих публикациях, освещавших ситуацию в Прибалтийских губерниях, публицист не только обрушивался на остзейцев, обвиняя их в том, что они, пользуясь архаичными привилегиями и действуя строго в рамках «закона», нещадно угнетали коренное население края, максимально дистанцируясь от русских государственных ценностей, но и выступал с порой весьма прозрачными критическими выпадами в адрес властей, взиравших сквозь пальцы на «ненормальное» положение окраины, где русские люди оказывались в положении неполноправных инородцев[1]. В наибольшей степени Аксакова возмущало откровенное игнорирование остзейским привилегированным меньшинством русского государственного языка, противодействие распространению православия среди местных жителей и плохо скрываемое презрение вообще ко всему русскому. По его мнению, данный «культурный сепаратизм» и проповедуемый в крае германизм напрямую граничил с сепаратизмом политическим, поощрение или игнорирование которого наносило удар по русским государственным интересам в регионе. Настаивая на интеграции региона в административно-правовом отношении, русский публицист даже в пылу газетной полемики не призывал к ликвидации самобытности и культурно-племенных особенностей, как немецкого, так и коренного прибалтийского населения. Отводя от себя подобные обвинения, выдвигаемые немецкой прессой, Аксаков писал: «Не существует ни вражды, ни ненависти к людям немецкого происхождения, ни стремления к нивелировке или сглаживанию всех живых оттенков и особенностей незначительной немецкой части прибалтийского населения. Мысль о насильственном обрусении ста тридцати тысяч жителей немецкого

[1] Москва. 1867. № 30. 7 февраля; № 56. 11 марта; № 57. 12 марта; № 62. 18 марта; № 144. 4 октября; № 148. 8 октября; № 159. 21 октября; № 166. 29 октября; № 179. 14 ноября; 1868. 13 апреля. № 10; № 40. 22 мая; № 63, 18 июня; № 88. 18 июля; № 91. 21 июля; № 127. 10 сентября; № 128. 11 сентября; № 130. 13 сентября; № 136. 21 сентября; № 148. 8 октября; Москвич. 1867. № 2. 24 декабря; Русь. 1880. № 6. 20 декабря.

происхождения выдумана не Русскими…»[1]. Отрицая стремление к обрусению остзейцев, он, в свою очередь, считал вполне естественным для русских государственных интересов противодействовать им в их стремлении к германизации коренного латышского и эстонского населения, факты и крайне негативные перспективы которой он настойчиво стремился донести до русской читающей публики и правительственных кругов.

О необходимости перестройки «средневекового здания» Остзейского края в 1870-е годы неоднократно заявлялось и на страницах «Русского мира». Редактировавший его М.Г. Черняев, отстаивавший по данному вопросу позицию, сходную со взглядами И.С. Аксакова, призывал к проведению преобразований, направленных на превращение прибалтийских губерний в «неотъемлемую часть Русской империи», связанную с Россией общностью интересов и общими государственными установлениями[2]. В публикациях «Русского мира» с горечью заявлялось о том, что Россия, приложившая множество усилий для приобретения балтийского побережья, более полутора столетий не может упрочиться на этих «завоеванных русской кровью» берегах, где «русский человек играет роль какого-то пришельца, которому дают угол из милости»[3]. Данная ситуация объяснялась не только упорным сопротивлением местной немецкой элиты, желавшей сохранить свое исключительное положение в составе империи и противодействовавшей любым, даже самым справедливым требованиям правительства, но и нерешительностью последнего, крайне робко отстаивавшего свое право на верховное управление данной окраиной. Главным же виновником существующего положения «Русский мир» объявлял тех «лже-либералов, лже-патриотов, иуд русского национального дела», имевшихся и в правительственных, и в общественных кругах, которые старались оправдать и объяснить такое «противоестественное отношение господствующего в

[1] Москва. 1867. № 179. 14 ноября.
[2] Русский мир. 1875. № 14. 16 (28) января.
[3] Русский мир. 1875. № 153. 6 (18) сентября.

государстве элемента к элементу ничтожного меньшинства» его культурным превосходством[1].

Наряду с планируемыми и проводимыми правительством административными преобразованиями, связанными с упразднением должности генерал-губернатора Прибалтийских губерний, а также распространением на них общероссийского городового положения, «Русский мир» призывал к проведению комплекса интеграционных мер, имевших «политическое» значение. К наиболее важным из них относилось распространение русского языка в образовательной и административной сферах, что должно было символизировать господство русского государственного начала. Корреспондент «Русского мира» подчеркивал, что сохранение немецкого языка в образовательной сфере Прибалтийских губерний в XVIII веке могли оправдываться неразвитостью русского литературного и научного языка того времени, однако к середине XIX в. ситуация существенно изменилась, вследствие чего правительственные учебные заведения «могут и должны быть русскими школами и по языку, и по направлению»[2]. В данном требовании автор не усматривал никакого насилия и культурного угнетения, поскольку немецкий язык не подвергался никаким притеснениям в частной жизни, сохранялся в частных школах по желанию родителей и учащихся, не изгонялся из культурной среды; «но государство, не роняя своего достоинства, не может без нужды потворствовать сепаратистическим стремлениям, узаконяя употребление немецкого языка и в школах, и в администрации»[3].

Корреспонденты «Русского мира» утверждали, что за всеми внешне безобидными и «законными» заявлениями остзейской элиты о стремлении к сохранению своей самобытности и культурных особенностей, превосходивших по уровню развития титульную нацию, скрывается стойкое нежелание интегрироваться в русскую имперскую среду, обусловленное

[1] Русский мир. 1875. № 153. 6 (18) сентября.
[2] Там же.
[3] Там же.

наличием растущих сепаратистских настроений, усилившихся с образованием единого Германского государства. Анализируя причины недовольства остзейских немцев планируемыми и проводимыми российским правительством мероприятиями, связанными с распространением более современных форм местного самоуправления, «Русский мир» объяснял его тем, что в любом нововведении остзейская элита усматривала угрозу своей идентичности и распространение русских государственных начал, которому она всячески противилась. Прибалтийские губернии сравнивались со Шлезвиг-Гольштейном, который длительное время находился под властью Дании, отличаясь внешней лояльностью и высоким уровнем благосостояния и культуры, не был интегрирован господствующим государственным элементом, что во многом и обусловило его отторжение[1].

Из всего вышесказанного делался вывод о необходимости проведения более решительной интеграционной политики в отношении Прибалтийских губерний, направленной не столько на русификацию данного региона, которая признавалась бесперспективной в местных условиях, сколько на его административное, правовое и символическое закрепление в имперском пространстве. При этом, следует отметить, что «Русский мир» настаивал на необходимости гласного обсуждения преобразований, планируемых в Остзейском крае, полагая, что это позволит избежать многочисленных слухов, необоснованных опасений и неизбежного раздражения местных немецких кругов, а также будет способствовать сближению в понятиях и воззрениях местного общества с русским, которое было возможно только в процессе цивилизованного спора и свободного обмена мнениями[2].

Начиная с 1870-х годов о реальной угрозе остзейского сепаратизма, в основе которого лежал стремительно усиливавшийся «германизм» Прибалтийских губерний, много говорил и писал И.П. Корнилов, ранее сосредотачивавший свое внимание на проблемах интеграции и обрусения

[1] Русский мир. 1875. № 153. 6 (18) сентября.
[2] Русский мир. 1875. № 14. 16 (28) января.

Западного края. Как и многие его единомышленники, он с тревогой констатировал тот факт, что после объединения Германии, победившей всех своих противников, возросшее в немцах чувство «национальной гордости, самопоклонения и убеждения в превосходстве своей расы и своей культуры» привело к появлению заметного «пренебрежения к русскому народу не только в немецких иностранных переселенцах, но и в немецких подданных русского государства»[1]. Данные настроения, едва ли не открыто декларировавшиеся остзейскими немцами при полном попустительстве и даже поддержке имперских властей, по его мнению, несли в себе явную угрозу не только культурного, но и политического сепаратизма, ставя под сомнение право Российского государства, стоявшего, по мнению немцев, на более низком уровне развития, на владение прибалтийскими землями.

Следует отметить, что Корнилов проецировал реалии хорошо знакомого ему Северо-Западного края на Прибалтийские губернии, рассматривая их как единое смысловое окраинное пространство с общими проблемами и предпринимая попытку сформировать универсальную модель их решения. В обоих случаях угрозу русским государственным и национальным интересам представляло мощное в материальном и культурном плане движение, стремившееся к распространению собственного культурного кода, враждебного России, среди имперских подданных. Остзейский «германизм» в этом отношении для Корнилова мало чем отличался от «полонизма» Западных губерний. Он заявлял, что, как и в Северо-Западном крае, главным оплотом и идейным источником данного движения являлись местные образовательные учреждения, составлявшие фактически «немецкий учебный округ» во главе с Дерптским университетом, который, подобно закрытому в свое время Виленскому университету, «энергично и открыто» служил не интересам России, а делу регионального сепаратизма, являясь, согласно публичным заявлениям местной профессуры, «передовым форпостом

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 162. Л. 4.

немецкой культуры»[1]. Данная ситуация, сравниваемая русским мыслителем с временами деятельности А. Чарторыйского, активно насаждавшего в Виленском учебном округе «польскую идею» и искоренявшего в нем «всякие следы русской культуры», также объяснялась «нравственным оскудением русского образованного общества», вследствие его проникнутости «космополитизмом и национальным равнодушием»[2].

Однако Корнилов не ограничивался констатацией данных неблагоприятных обстоятельств, указывая на заметную ахиллесову пяту остзейского германизма, наличием которой он призывал воспользоваться. Заключалась она в аналогичной с Западным краем социальной и культурной разобщенности местной элиты и народных масс, находившихся в бесправном положении на своей родной земле, «помнивших обиду и не способных иметь к своим угнетателям никакого доброго чувства»[3]. Попытки германизации русских прибалтийских подданных немецкими баронами и пасторами, проводившиеся «в духе, противном желанию самого народа», по мнению Корнилова, также должны были усиливать имевшееся размежевание, усиливая тяготение народных масс к русскому государству, способному защитить их интересы. Данное обстоятельство мыслитель считал чрезвычайно благоприятным условием для «прочного нравственного объединения» Прибалтийского края с Великорусскими губерниями, для реализации которого следовало «лишить местные интеллигентные классы привилегированного права на народное образование»[4]. Бывший попечитель Виленского учебного округа был убежден в том, что благоустройство и образование народа есть предмет государственных забот, вследствие чего образование в Прибалтийском крае должно вестись «не в интересах немецких кланов, а так, как того требуют интересы государства»[5]. Корнилов писал: «Интересы русского государства, прочность его величия и господства

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 152. Л. 1.
[2] Там же. Л. 4.
[3] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 173. Л. 2 об.
[4] Там же. Л. 2.
[5] Там же. Л. 2 об.

в Балтийских губерниях требуют, чтобы эсты и латыши были устранены от влияния немецкой цивилизации и чтобы, напротив того, в среду их активно проникало русское цивилизующее начало»[1]. Противодействие германизации местного населения представлялось национально-консервативному мыслителю не средством якобы планируемой русскими властями ассимиляции эстонцев и латышей, а защитной мерой, необходимой «в видах самосохранения» государственной целостности. Таким образом, модель «оборонительной русификации», важнейшим элементом которой должна была стать образовательная сфера, изъятая из рук местной инородческой элиты, практически апробированная в Западных губерниях, должна была применяться и в Прибалтийском крае.

О необходимости коренных преобразований в Прибалтийском крае заявляли представители не только центральной, но и региональной прибалтийской русской консервативной общественности.

Следует отметить, что 1860-е гг. стали временем начала «пробуждения» национального самосознания русских жителей Прибалтики и, в первую очередь, Риги, в населении которой они составляли хотя и меньшинство, но, тем не менее, весьма значительное по численности. Связано это пробуждение было, по словам одного из русских рижан, «с двумя громовыми ударами» – Крымской войной и Польским мятежом, после которых, «как на всей Святой Руси, так и на Прибалтийской окраине пробудилось Русское национальное чувство, Русская национальная гордость…, сознание того, что дальше молчать не следует, что настало время энергически действовать»[2]. В Риге, где до 1860 г. не было ни одного «чисто русского общества, в котором русские могли бы сойтись, обменяться мыслями, высказать друг другу свои желания и стремления», одна за другой стали открываться русские общественные организации, не только отвечавшего потребностям местного купечества финансово-экономического, но и культурно-просветительского

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 173.
[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 6 об.

характера. Помимо вспомогательных и сберегательных обществ купцов и приказчиков, а также Русского банка, в Риге за короткий промежуток времени появились Русский клуб, русское литературно-музыкальное общество «Ладо», общество пения и изящного говорения «Баян», православное Петропавловское братство, при которой имелась народная библиотека русских книг. Местом собраний членов этих обществ и настоящим «русским уголком» Риги стал купленный на средства местных русских купцов общественный дом «Улей»[1].

Большим достижением местной русской общественности стало открытие в 1868 г. двух русских средних учебных заведения – Александровской мужской и Ломоносовской женской гимназий, финансировавшихся частично из частных средств, частично – за счет казны. Данные организации способствовали высокому уровню сплочения местного русского общества, развитию русской «интеллигентной» жизни, а также формированию осознания русских национальных и государственных интересов на Прибалтийской окраине, за защиту которых оно, в лице своих наиболее активных интеллектуалов и общественных деятелей, начинает бороться, в том числе, и посредством печатного слова.

Одним из таких наиболее видных русских прибалтийских общественных деятелей являлся Евграф Васильевич Чешихин, отстаивавший русские государственные и национальные интересы в Прибалтике на страницах учрежденной им в 1869 г. единственной частной русской газеты края «Рижский вестник». Многосторонняя интеллектуальная деятельность и воззрения русского рижанина, ставшие значимой частью отечественного национально-консервативного дискурса в отношении Прибалтийской окраины и оказавшие существенное влияние на трансформацию политики имперских властей в отношении данного региона, незаслуженно обойденные

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 6 об.–7.

вниманием исследователей, будут рассмотрены в отдельном разделе настоящего исследования[1].

В полном соответствии с «демократической» эволюцией отечественной консервативной доктрины во второй половине XIX в., постепенно утрачивавшей свой элитарный характер и декларировавшей защиту общенациональных интересов, сторонники «русского направления» настаивали на необходимости трансформации социальной опоры имперской власти в Прибалтийских губерниях, в качеств которой отныне должны были выступать не остзейские круги с их усиливающимся «германизмом», а широкие слои местного коренного населения. Данное обстоятельство обусловило широкую поддержку латышского и эстонского движения со стороны русских национально-консервативных кругов, видевших в формировавшейся местной национальной интеллигенции лояльный российским властям противовес немецкому социальному и культурному господству. Представители «русского направления» активно контактировали с ее идейными лидерами, предоставляя им возможность высказывать свою позицию на страницах центральных национально-консервативных изданий. Так, наиболее видные деятели «младолатышского» движения – К. Валдемар, К. Барон, Ф. Бривземниекс сотрудничали с М.Н. Катковым, отстаивая свои взгляды на страницах «Московских ведомостей», а также участвовали во встречах общественных деятелей в Москве, устраиваемых И.С. Аксаковым, понимавшим и поддерживавшим латышские национальные устремления, «поскольку они были направлены против прибалтийского немецкого дворянства»[2]. Сближение российской национально-консервативной общественности с латышскими деятелями совпало с начальным этапом национально-культурного «пробуждения» латышского народа («атмоды»), связанный с которым экономический и культурный рост латышского

[1] О деятельности и воззрениях Е.В. Чешихина см. подробнее параграф 5.2.
[2] Бартеле Т.М., Шалда В.А. Латыши в Москве. Вторая половина XIX века – 1917 год // Отечественная история. 2002. № 4. С. 51–52.

общества[1] рассчитывалось использовать в качестве противовеса остзейскому элементу. Сосредотачиваясь на предотвращении угрозы германизации края, русские мыслители не усматривали (да и не могли усмотреть в это время) никакой угрозы русским государственным интересам и целостности имперского пространства со стороны прибалтийского национального движения, для представителей которого Россия в это время продолжала оставаться объединяющим и защитным фактором, а также кодом имериальной метрополии, совершенно необходимом прибалтийским этносам на данном этапе своего развития[2].

Воплощение в жизнь национально-консервативной концепции инкорпорации региона в единое административное и языковое пространство империи затруднялось противоречиями во взглядах представителей высшей имперской администрации на остзейский вопрос. С одной стороны, наиболее дальновидные государственные деятели начинали осознавать ненормальность обособленного положения Прибалтийских губерний в составе России и сохранения архаичных привилегий остзейского рыцарства, фактически выводивших его из-под действия общероссийского законодательства. С другой стороны, остзейское дворянство было надежнейшей опорой престола, длительной и беспорочной службой доказавшее свою лояльность, которая могла быть поколеблена в случае изменения существующего положения. Приоритет данного аргумента был обусловлен сословной сущностью российского самодержавного строя, не позволявшей ему ущемлять права лояльных представителей высшего сословия, которым верховная власть фактически делегировала значительную часть управленческих полномочий в данном регионе. Именно он и определял характер правительственной политики в отношении Прибалтийских губерний в 1860 – 1870-е годы. Следует согласиться с утверждением о

[1] Рыжакова С.И. Латышская национальная история: о культурных механизмах в конструировании и реферировании прошлого // Антропологический форум. 2009. № 11. С. 236–237.
[2] Дайя П. Просвещение, регион, идентичность: образ России в латышской литературе на рубеже XVIII и XIX веков // Слово.ру: Балтийский акцент. 2012. № 3. С. 91.

необоснованности предпринимаемого в советской историографии выделения в правительственных кругах данного периода двух противоборствующих партий – «антиостзейской» и «проостзейской», последняя из которых одержала победу[1]. Остзейская политика имперских властей была ориентирована на постепенное сближение принципов управления краем с общеимперскими, которое должно было проводиться максимально мягкими мерами, целью которых было сохранение компромисса с местным немецким дворянством.

В середине 1860-х годов, во многом под воздействием общественного мнения, правительством Александра II был предпринят ряд мер по внедрению русского языка в местное делопроизводство, большинство из которых, впрочем, были фактически проигнорированы местной немецкой администрацией. Усилия правительства по расширению преподавания русского языка в прибалтийских школах также наталкивались на скрытое противодействие, выражавшееся в пренебрежении к данному предмету, его откровенно неквалифицированной, формальной подаче, либо полном игнорировании многими учебными заведениями края[2].

Значимым шагом в деле административно-управленческой унификации Прибалтийских губерний стало распространение на них в 1877 г. Городового положения 1870 г., которое, однако, в полном объеме не отменяло полномочий местных магистратов и других сословных учреждений[3]. Преодолению изолированности края должно было способствовать и устранение его административного единства посредством ликвидации в 1876 г. прибалтийского генерал-губернаторства.

Следует отметить, что унификационные усилия правительства в Прибалтике в этот период не отличались настойчивостью и

---

[1] Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX века. СПб.: Издательский дом «Мир», 2007. С. 14.
[2] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1287. Л. 1–1 об.
[3] Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. (1825–1881) гг. (в 55 томах). Т. 52. СПб.: 1879. Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, № 57101. С. 262.

последовательностью, в результате чего многие распоряжения властей оставались на бумаге, откровенно игнорируясь немецкой прибалтийской администрацией. Это объяснялось не только опасениями правительства превратить Прибалтийский край во «вторую Польшу», оттолкнув от себя лояльное остзейское дворянство, активно лоббировавшее свои интересы при российском дворе, но и фактическим подкупом остзейцами многих влиятельных имперских сановников, владевших крупной земельной собственностью в крае. Большое значение имела и пронемецкая позиция императора Александра II, во многом симпатизировавшего интересам остзейской элиты[1].

Наиболее влиятельным государственным деятелем, признававшим слабость внутренних связей Прибалтийского региона с коренными областями империи, но, при этом, резко возражавшим против радикального изменения сложившегося в крае положения и подавления немецкого элемента, обладавшего «всеми преимуществами развитой цивилизации», был министр внутренних дел П.А. Валуев. Указывая на необходимость «окончательного и прочного объединения Прибалтийского края с Россией, развития в нем коренных начал государственного единства, ослабления и устранения элементов, противоречащих этому единству, усиления, наоборот, элементов, ему соответствующих…», достижение данных целей он видел возможным только в рамках традиционной сословно-имперской политики в отношении национальных окраин, сторонником которой он являлся[2]. Вследствие этого, министр, как и многие другие представители имперской бюрократии, достаточно скептически и настороженно относился к развитию местных «туземных племен», тяготевших к русской народности только вследствие своей относительной слабости, усматривая в них деструктивную силу, враждебную российским государственным и общесословным дворянским интересам в регионе. Популярность и симпатии, приобретенные «молодым

[1] Лебедева Г.Н. Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 283–284.
[2] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. С. 421–432.

латышеством» в российском обществе, Валуев объяснял всплеском национальных инстинктов в пореформенный период, широким распространением социалистических идей, а также традиционным отечественным недоброжелательством к немцам[1].

Следует отметить, что представителям «русского направления» активно противодействовали не только сами остзейцы и представители имперской администрации, которых вполне устраивала политическая лояльность последних, но и влиятельные представители сословно-имперского крыла русского консерватизма. По мнению одного из классических мыслителей данного направления К.Н. Леонтьева, окраинная аристократия, верная российскому престолу, имела огромные преимущества перед местными демократическими слоями, охваченными националистическими инстинктами. Публицист прямо заявлял, что в деле укрепления существующего политического строя и защите российских государственных интересов «один остзейский породистый барон стоит целой сотни эстского и латышского разночинства»[2].

Подобной позиции придерживался и князь В.П. Мещерский, негативно относившийся к «искусственному раздутию» остзейского вопроса и попыткам русификации Прибалтийских губерний, которые он считал «роковой государственной ошибкой, самым резким и опасным антирусским государственным делом»[3]. Консервативный публицист не только отрицал необходимость ограничения традиционных прав верно служивших российскому престолу остзейских немцев, но и ставил под сомнение саму целесообразность унификации Остзейского края, являвшегося островком стабильности в море социальных противоречий и брожений, охватившем Россию. На страницах «Гражданина» князь темпераментно вопрошал: «Нам вдруг завидно стало, что в Осзейском крае нет нигилистов и нигилятины, нет

[1] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. С. 429.
[2] Леонтьев К.Н. Племенная политика, как орудие всемирной революции // Собрание сочинений. Т. 6. М.: Издание В.М. Саблина, 1912. С. 157.
[3] Гражданин. 1882. № 39. 2 мая.

поголовного взяточничества полиции,… нет новой юстиции, охотнее служащей интересам Желябова и Засулич, чем правительства, нет учебных заведений, где ученики дают пощечины своим учителям, нет газет, оправдывающих преступления и проповедующих нигилизм? Или нам захотелось себе в утешение втянуть в Остзейский край в целях поднятия его благосостояния урядников, становых, исправников, земские управы с их пустыми кассами и пустыми запасными магазинами…?»[1]

Ему вторил другой видный представитель сословно-консервативного направления, талантливый публицист и писатель К.Ф. Головин, обвинявший своих оппонентов из национального крыла русского консерватизма в стремлении «навязать русский тулуп всем инородческим национальностям, православного попа всем иноверцам, русский язык всем говорящим на иных языках, наконец, русским становым заменить всё исторически сложившиеся по окраинам местное управление»[2]. Головин резко осуждал заигрывание с формировавшимися кружками эсто-латышской интеллигенции, которые «науськивались на немецких баронов», не становясь при этом проводниками русской политики, что пагубно сказывалось на общей социально-политической обстановке в регионе[3].

Сторонники сословно-имперской доктрины не отрицали необходимости преобразований в Прибалтийских губерниях, направленных на устранение наиболее архаичных местных порядков и укрепление прав русского населения в регионе, однако настаивали на крайне осторожном и «тактичном» проведении данных реформ, которые не должны были разрушать сложившихся в регионе традиционных социальных отношений и вести к созданию «новых врагов» на стратегически важной балтийской окраине.

Таким образом, можно говорить о формировании в 1860 – 1870-е годы двух моделей решения «остзейского вопроса», которые, находясь в рамках

[1] Гражданин. 1882. № 39. 2 мая.
[2] Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. II. СПб.: Типо-литография Т-ва «Свет», 1910. С. 117.
[3] Там же. С. 123.

общего имперского консервативного дискурса, имели единую стратегическую цель, состоящую в необходимости окончательного и прочного объединения Прибалтийских губерний с Россией, существенно расходясь, при этом, в методах и приоритетах имперской интегративной политики в отношении региона. В отличие от сословно-имперской доктрины и традиционной управленческой модели, ставившей сословно-корпоративные интересы выше национальных, представители национально-консервативной доктрины ратовали за активное административное воздействие в отношении господствовавшего в регионе немецкого элемента, в деятельности которого усматривали враждебный имперскому началу ассимиляционный проект, угрожавший российскому государственному господству в регионе. Национально-имперская модель политики в отношении Прибалтийской окраины была направлена не только на ее большую интеграцию в российское имперское пространство и унификацию в административном и правовом отношении, но и на «дегерманизацию» края, подразумевавшую всестороннее развитие местных коренных народностей, в пророссийской ориентации которых усматривалась реальная перспектива их последующей русификации.

Поворот в политике имперского центра в отношении Остзейского края, произошедший в период правления Александра III, стремившегося унифицировать Прибалтику с остальными частями империи и ослабить немецкое влияние в регионе, был обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, он стал проявлением общего национального вектора нового царствования, направленного на укрепление русских государственных начал на окраинах империи. Национальный «сценарий» власти, заявленный и целенаправленно проводимый новым императором с самого начала своего царствования, делал неизбежным усиление влияния государственной власти и наступление на автономные права, в первую очередь, северо-западных окраин, где влияние нерусских элит было доминирующим. По мнению одного из наиболее видных государственных деятелей эпохи Александра III,

министра финансов, а затем председателя Комитета министров – Н.Х. Бунге, общий курс национально-окраинной политики, проводимый императором, соответствовал не только настроениям русского общества, но и общим тенденциям своего времени, когда космополитические воззрения XVIII – первой половины XIX вв. уступили место вначале идее национальности, а затем – стремлению одних «племен» к преобладанию над другими, и к постепенному поглощению слабейших[1]. В этих условиях сохранение традиционных сословно-корпоративных прав и привилегий остзейского рыцарства и бюргерства, а также специфического административно-правового положения Прибалтийских губерний в составе Российской империи, представлялось совершенным анахронизмом.

Существенное влияние на изменение политики имперских властей в отношении Прибалтики оказывали внешнеполитические обстоятельства, связанные с объединением Германии во главе с Пруссией, представлявшим серьезную угрозу для Российской империи, чьи западные окраины были потенциальным объектом немецкого Drang nach Osten. Возникла реальная угроза смены лояльности господствующей в регионе прибалтийской немецкой элиты по отношению к российскому императору на лояльность германскому кайзеру, что в перспективе могло привести к отторжению слабо интегрированных в российское имперское пространство губерний и превращение их в плацдарм для дальнейшего германского продвижения на восток.

Немаловажную роль играли также и личные взгляды императора Александра III, который с молодых лет с недоверием относился к немцам, усматривая в них источник многих проблем России. Эта черта во многом сознательно вырабатывалась в нем его ближайшим окружением и, в первую очередь, его главным воспитателем К.П. Победоносцевым, стремившемся сформировать наследника как «национальную» персону в противовес его

[1] Бунге Н.Х. Загробные заметки. С. 200.

либерально-западническому отцу[1]. Еще в 1867 г. по рекомендации Победоносцева Великий князь Александр Александрович ознакомился с сочинением Ю.Ф. Самарина «Окраины России» и с брошюрой М.П. Погодина «Остзейский вопрос», которые произвели на цесаревича огромное впечатление, во многом заложив основы будущего негативного отношения к остзейским немцам[2]. Антинемецкие взгляды Самарина в полной мере разделялись наследником престола, который в том же году отозвался об одной из его статей следующим образом: «Эта статья против поганых немцев великолепно написана»[3]. В личных письмах, адресованных к брату Великому князю Алексею Александровичу, наследник престола также не стеснялся в выражениях по отношению к «поганой неметчине», которую искренне ненавидел, проецируя данное отношение и на российских государственных деятелей остзейского происхождения[4]. Определенное влияние на будущего императора оказывали и его ближайшее окружение: мать – императрица Мария Александровна и, особенно, супруга – великая княгиня Мария Федоровна, датская принцесса, не скрывавшая своих антипрусских настроений, вызванных отторжением от ее родины провинций Шлезвиг и Гольштейна[5].

Об угрозе захвата немцами влияния в российских прибалтийских и пограничных губерниях путем непрерывных миграций и колонизации, осуществлявшейся силами многочисленных переселенцев, сохраняющих прусское гражданство и охотно принимаемых остзейской администрацией, великому князю неоднократно писал и В.П. Мещерский, оказавший значительное влияние на формирование политических взглядов будущего

---

[1] Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. II. М.: О.Г.И., 2004. С. 252.
[2] Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1. (1865–1882). М.: Новая Москва, 1926. С. 6, 10.
[3] Дневник Александра III // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 300. Л. 66.
[4] ГАРФ. Ф. 681. Оп. 1. Д. 30. Л. 7 об.
[5] Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. (Политическая реакция 80-х - начала 90-х годов). М.: Мысль, 1970. С. 37.

императора[1]. В 1870 г., под впечатлением от успехов немцев в войне с Францией, в письме к матери, императрице Марии Александровне, Александр Александрович выражал недовольство сближением России с Пруссией, подчеркивая, что оно может позволить «пруссакам занять наши балтийские провинции, и может быть и дальше»[2].

Таким образом, к началу 1880-х гг. сложились все условия для начала интенсивных правительственных усилий по решению «остзейского вопроса» путем унификации административно-правовой системы региона. О том, что Александр III с самого начала своего правления задумывал широкие преобразования, направленные на большее «слияние» Прибалтики с Россией, говорит тот факт, что он стал первым российским самодержцем, который при вступлении на престол официально не подтвердил привилегии остзейских немцев.

Началу преобразований в Остзейском крае предшествовала обширная сенаторская ревизия Лифлядской и Курляндской губерний, проходившая в 1882–1883 гг. и возглавляемая сенатором Н.А. Манасеиным. Ее изначальный антинемецкий посыл и ярко выраженная политическая заданность были очевидны для современников. Государственный секретарь Е.А. Перетц, упоминая о ревизии в своем дневнике, отмечал, что «ревизующим сенатором назначен Н.А. Манасеин, ненавидящий баронов. Ревизия эта будет иметь, по всей вероятности, серьезные последствия»[3].

Поводом к проведению ревизии стали многочисленные ходатайства и обращения в адрес правительства, шедшие одновременно с двух сторон: со стороны остзейского дворянства и от представителей эстонской и латышской народностей. Российское правительство, традиционно не доверяя мнениям и инициативам, идущим «снизу», как от представителей различных слоев населения Прибалтийских губерний, так и со стороны российского

[1] Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу 1869–1878 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 432.
[2] ГАРФ. Ф. 641. Оп. 1. Д. 115. Л. 122.
[3] Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1880–1883). М.-Л.: Государственное издательство, 1927. С. 118.

общественного мнения, чья позиция по данному вопросу приобретала все более ярко выраженный национально-консервативный характер, считало необходимым «лично» проверить поступавшую информацию посредством отработанного бюрократического мониторинга.

В ходе проведения ревизии Манасеина было собран огромный материал, позволивший составить полное представление о ситуации в Остзейском крае, на основании которого была разработана общая программа преобразований в регионе[1]. Результаты ревизии и основные направления необходимых реформ, подкрепляемые обширными историческими справками и обоснованиями, были изложены в Манасеиным в рапорте на имя Александра III[2]. Следует отметить, что основные положения сенаторской программы во многом совпадали с предложениями, отстаиваемыми представителями русской национально-консервативной общественности в течение длительного времени, включавшими в себя распространение православного вероисповедания среди местного коренного населения и русского языка в административной и образовательной сферах.

В научной литературе нет однозначного мнения о прямой связи между результатами ревизии Манасеина и изменением правительственной политики в отношении Прибалтийских губерний в 1880 – 1890-е гг. Некоторые исследователи полагали, что реальная роль в начале проведения активной русификаторской политики в регионе принадлежала в первую очередь представителям консервативного направления русской общественной мысли – К.П. Победоносцеву, Д.А. Толстому, М.Н. Каткову оказывавшим значительное воздействие на определение основных направлений внутренней политики царизма, в том числе и в отношении национальных окраин[3].

---

[1] О ревизии Н.А. Манасеина см. подробенее: Дмитриева Н.В., Крот М.Н. «К сожалению, не опору, а сопротивление встречает правительство»: сенаторская ревизия прибалтийских губерний // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 3. С. 851–868.

[2] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 553.

[3] Senatora N. Manaseina zinojums par vina izdarito reviziju Vidzemes un Kurzemes gubernas no 1882. lidz 1883. Gadam // Materiali Latvijas PSR vestures petisanai / red. A. Drizulis. Riga: Latvijas Valsts Izdevnieciba, 1949. P. 28.

Так или иначе, но можно с уверенностью заявить, что результаты ревизии стали значимой частью обширного информационного поля, формируемого как властными структурами, так и представителями общественности, благодаря которому в высших правительственных кругах складывалось представление о ситуации в Прибалтийских губерний и убеждение в необходимости проведения унификационных мероприятий.

Несмотря на то, что далеко не все предложения Манасеина были приняты, Александр III одобрил общее направление его программы, которая легла в основу правительственной политики в отношении Остзейского края во второй половине 1880-х гг. Примечательно, что, выражая благодарность сенатору за проведенную ревизию, результаты которой были оценены очень высоко, император назвал его «продолжателем работ Самарина», что отражало общее национальное направление окраинной политики российского самодержавия в данный период[1].

Следует отметить, что поворот в правительственной политике в отношении Прибалтийских губерний, происходивший в 1880-е годы, сопровождался активной информационной кампанией, развернувшейся на страницах национально-консервативной публицистики, активно поддерживавшей правительственные меры, направленные на интеграцию региона в единое имперское пространство и предотвращение его германизации. Активно полемизировавшие между собой по многим вопросам национально-государственного устройства Российской империи М.Н. Катков и И.С. Аксаков, были единодушны в признании необходимости коренных преобразований в Прибалтике, направленных на защиту русских государственных и национальных интересов. Главная задача имперской политики на балтийской окраине, по мнению главных национально-консервативных идеологов, состояла в необходимости всесторонней «дегерманизации» региона, по аналогии с «деполонизацией» западных окраин, от успешности реализации которой зависела целостность

[1] А.А. Киреев. Дневник. 1881–1884 // ОР РГБ. Ф. 126. Т. 1. Д. 9. Л. 274.

российского имперского пространства и сохранение государственного контроля над стратегически важным для империи регионом. Проводимая правительством политика рассматривалась как реализация имперской миссии, состоящей в защите угнетаемых местных коренных этносов, являвшихся частью великой общерусской семьи народов, в состав которой входили и остзейские немцы, но лишь до тех пор, пока они не стали осознавать себя «политической национальностью», признавая своим Отечеством не Россию, а «германизм», о чем в свое время писал еще Ю.Ф. Самарин[1].

Из представителей региональной общественности, активно отстаивавшей необходимость кардинальных преобразований в Прибалтике, следует назвать уже упомянутого Е.В. Чешихина, чьи воззрения и общественная деятельность, как одного из крупнейших представителей русской окраинной национально-консервативной общественности рассматривается в отдельном разделе работы. Наряду с ним, также следует отметить публикации М.Н. Харузина, являвшегося секретарем Этнографического отдела Общества естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, в 1887 – 1888 гг. занимавшего пост старшего чиновника особых поручений при Эстляндском губернаторе С.В. Шаховском. Среди них особо следует выделить историко-юридический очерк «Балтийская конституция», в котором опровергалось наличие «исконных прав и привилегий немецкого дворянства», попиравших не только права и свободы эстонского и латышского населения, но и российские государственные интересы, и призывалось «положить конец старому в балтийском крае порядку веще и начать коренные преобразования местного, судебного, административного строя»[2]. Автор очерка, по роду своей службы имевший возможность познакомиться с обстановкой в Эстляндской губернии, с негодованием описывал многочисленные проявления

[1] Самарин Ю.Ф. Окраины России. С. 175.
[2] Харузин М.Н. Балтийская конституция. М.: Тип. А.А. Левенсон, 1888. С. 63–65.

«онемечивания» края, где «учебные заведения становятся рассадником чужой, иностранной культуры и заморских национальных стремлений», «русские систематически отстраняются от общественных должностей», а православная церковь находится в угнетении[1]. Харузин был защитником интересов прибалтийских народов, культуру, традиции и быт которых он изучал как этнограф, указывая на тяготение эстонцев и латышей к русскому народу и православию, всячески подавляемое остзейскими властями[2]. Публикации Харузина являлись частью того информационного поля, на фоне и, отчасти, под воздействием которого происходила разработка и реализация правительственного курса русификации Остзейского края.

В адрес правительства направлялись многочисленные обращения, в том числе, анонимные, сообщавшие о многочисленных проявлениях угнетения прибалтийского населения немецким меньшинством и призывавших положить этому решительный конец путем ликвидации привилегий остзейских немцев и укрепления в регионе русских начал. Анонимный автор одного из таких писем, являвшийся лицом, хорошо осведомленным о ситуации в Прибалтике, о чем свидетельствуют приводимые им многочисленные факты, обширные исторические экскурсы, знакомство с газетной полемикой по данному вопросу, приводимые им документы, письма и ходатайства местного населения, эмоционально указывал на то, что немецкое дворянство, пользуясь покровительством правительства, безжалостно эксплуатирует эстонское и латышское население, тянущееся к России в надежде на помощь, а лютеранство, «разъевшись на русских хлебах, энергически ведет пропаганду» антирусского характера[3]. Истинной же опорой русского влияния в Прибалтике, по мнению анонимного автора, является не остзейское дворянство, служащее русскому монарху из собственной выгоды и способное в любой момент переменить свою

[1] Харузин М.Н. Балтийская конституция. С. 62–63.
[2] Керимова М.М. «Лютеране…насилуют эту совесть»: балтийский вопрос в публицистике Михаила Харузина // Родина. 2011. № 12. С. 130.
[3] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 608. Л. 7.

лояльность, а латышское и эстонское крестьянство, мечтающее «слиться в одну семью с великим русским народом»[1]. В рассматриваемой записке излагалась развернутая программа унификации прибалтийских губерний в рамках единого общеимперского пространства и постепенная русификация эстонцев и латышей. Так же в ней неоднократно упоминалось об усиливавшейся угрозе со стороны Германии, тяготение к которой господствующей элиты Прибалтики могло в перспективе поставить под сомнение пребывание данного региона в составе Российской империи.

Особое внимание анонимный автор уделял религиозному вопросу, совершенно в духе воззрений Самарина подчеркивая то, что население северо-западных окраин России никогда не считало своей настоящей верой ни католицизм, ни лютеранство, которые были «религиями господ», насильственно навязанными народным массам[2]. Главным аргументом в пользу данной точки зрения являлся массовый переход эстонцев и латышей в «царскую веру» в 1840-е гг., что свидетельствовало о том, что вопрос вероисповедания для них имел во многом политическое значение. Автор сетовал на то, что православное вероисповедание находилось в Прибалтике едва ли не в положении гонимой религии, носители которой подвергались всяческим притеснениям со стороны местных властей, превративших православных в «данников» лютеранской церкви, в то время как нигде на территории России никому и в голову не приходило взимать с лютеран плату в пользу православной церкви[3].

Ключевыми пунктами предлагаемой анонимным автором программы являлась необходимость всестороннего приобщения «прибалтийских племен» к русской культуре посредством «водворения русского языка» в народное образование, наделение землей и улучшение быта крестьян, освобождаемых из-под гнета остзейских баронов, введение в крае русских мировых учреждений, русского суда и администрации. Посредством

[1] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 608. Л. 11.
[2] Там же. Л. 14.
[3] Там же. Л. 16.

указанных мер правительство должно было подготовить почву для «естественного» слияния эстов и латышей с русским народом. Следствием этого, по выражению автора, должно стать появление «щита, непроницаемого даже и для крупповских орудий, направляемых энергической рукою Бисмарка», что позволит навечно закрепить прибалтийский край за Россией[1]. Предложения, выдвигаемые в рассматриваемой записке и других многочисленных письмах и публикациях, формировали круг вопросов и алгоритмы их решения, которые доводились до правительственных кругов и в той или иной степени воздействовали на разрабатываемую ими программу мер в отношении Остзейского края.

Таким образом, приступая к проведению широкомасштабных реформ, направленных на «дегерманизацию» Прибалтийского региона и его интеграцию в административно-правовое пространство империи, правительство Александра III опиралось на широкое общественное мнение, представленное преимущественно национально-консервативными воззрениями по данному вопросу.

Преобразования в Прибалтийских губерниях, развернувшиеся с середины 1880-х гг., анализ которых выходит за пределы данного исследования, привели к унификации региона в административно-правовом отношении и существенному ослаблению немецкого политического и культурного влияния в крае. Однако, вопреки надеждам многих представителей региональной и центральной имперской администрации, данная политика привела не к предполагаемому обрусению местного населения, а к стремительному развитию латышской и эстонской национальных идентичностей, освобождение которых от сковывавшего их немецкого культурно-языкового гнета придало им новый импульс к развитию, что стало значимым, хотя и неожиданным для имперских властей результатом проводимой ими политики.

---

[1] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 608. Л. 61.

На данное отклонение в правительственной политике русификации Прибалтике указывал Н.Х. Бунге, подчеркивавший, что ее стратегические задачи состояли не в замене одной региональной элиты на другую – эсто-латышскую, гораздо менее управляемую, в силу того, что она, в отличие от остзейского дворянства, не была инкорпорирована в имперскую сословную структуру, и, тем более, не в стравливании их друг с другом, а во всестороннем укреплении русских начал в регионе, что позволило бы в больше степени сблизить его с остальными частями империи. Бунге считал ошибкой развитие и поддержку коренных местных народностей без параллельных активных мероприятий по их аккультурации.

Стимулируя формирование новых региональных идентичностей путем развития местного интеллигентного слоя, появления литературы и газет на народных языках, поддержки эстонских и латышских обществ и кружков, имперские власти надеялись с их помощью ослабить немецкое влияние в регионе. Правительство, под влиянием отечественных национально-консервативных кругов не сомневалось в априорной лояльности центральной власти новых сообществ и элит, рассматривавшихся как противовес немецкому влиянию в регионе. Поддерживая баланс сил между соперничавшими идентичностями, имперские власти рассчитывали на реализацию в регионе принципа divide et impera – разделяй и властвуй. Однако, по мнению Бунге, даже в случае успешного осуществления данная стратегия не способствовала сближению латышей и эстов, в которых пробуждалось национальное сознание, с русским народом, а вела лишь к крайне нежелательному усложнению межэтнических отношений в регионе, регулировать которые правительству становилось все труднее[1].

Обобщая содержание обширного национально-консервативного дискурса, посвященного остзейской тематике, его можно свести к нескольким ключевым тезисам, составлявшим в своей совокупности сущность «остзейского вопроса». Наибольшую угрозу русским

[1] Бунге Н.Х. Загробные заметки. С. 216.

государственным интересам большинство отечественных национально-консервативных общественных деятелей усматривало в далеко зашедшем обособлении Прибалтийского края, которое выводило на повестку дня проблему остзейского сепаратизма, носившего, в отличие от его польского варианта, скрытый характер, завуалированный внешней лояльностью и многолетней верной службой. Постепенному отделению Прибалтийских губерний от России должна была способствовать активная германизация местного населения, целенаправленно проводимая и оправдываемая со стороны остзейцев необходимостью выведения местного населения из «первобытного состояния» и приобщению к немецкой культуре, существенно превосходящей русскую, что позволило бы туземцам приобщаться к ценностям европейской цивилизации.

Обосновывая право российских имперских властей на административную и правовую русификацию Прибалтики, отечественные национально-консервативные публицисты исходили из понимания данного края как неотъемлемой части России, вследствие чего правительство не только имело право, но и было обязано в государственных интересах проводить политику интеграции окраины путем административно-правовой унификации и распространения в нем государственного языка.

Можно с уверенностью констатировать тот факт, что именно активное обсуждение остзейской проблематики, развернувшееся в публичном пространстве в 1860 – 1870-е гг., основной тон которого задавался публицистами и общественными деятелями национально-консервативной направленности, во многом вынудило правительство приступить к проведению ряда преобразований в Прибалтийских губерниях.

Роль отечественного национально-консервативного дискурса по Остзейскому вопросу состояла в том, что он целенаправленно и последовательно проводил идею унификации региона и ослабления немецкого политического и культурного влияния в нем, воздействуя в этом направлении на имперские власти, среди представителей которых долгое

время не было единства в вопросе о целесообразности кардинального изменения существующего положения вещей в Прибалтийских губерниях. Национально-консервативные деятели сумели заострить внимание российского общественного мнения на Прибалтийском регионе, долгое время остававшемся в тени иных острых внутриполитических и регионально-имперских проблем, подготовив необходимую информационную и морально-психологическую основу для преобразований, направленных на его интеграцию в единое государственное пространство империи.

5.2 Прибалтийская окраина, как часть российского государственного пространства в воззрениях русского прибалтийского публициста Е.В. Чешихина

В отечественном национально-консервативном дискурсе, посвященном окраинной проблематике, четко выделяются два уровня – региональный и центральный. Несмотря на то, что решающая роль в формировании национально-консервативной доктрины окраинной политики принадлежала последней, представленной ведущими публицистами и общественными деятелями, возглавлявшими центральные издания, зачастую оказывавшими прямое воздействие на правительственную политику, нельзя приуменьшать значения регионального уровня, участники которого были непосредственно вовлечены в обсуждаемые ими проблемы. Их наблюдения, мнения, проекты, эмоции и переживания, облеченные в форму интеллектуальной рефлексии и изложенные, либо в виде разного рода корреспонденции, адресованной к представителям администрации или центральной русской общественности, либо в виде собственных публикаций на страницах региональной печати, составляют значимую, а в ряде аспектов и базовую часть исследуемого интеллектуально-идейного комплекса, посвященного северо-западным окраинам России.

Значимым элементом регионального уровня отечественного национально-консервативного дискурса являлись публицистические и научно-исследовательские труды видного и в настоящее время незаслуженно забытого общественного деятеля, настоящего подвижника русского национального и государственного дела на Прибалтийской окраине – Евграфа Васильевича Чешихина. Несмотря на многочисленные затруднения, связанные с немецким господством в местной образовательной и интеллектуальной среде и фактически неполноправным положением местного русского населения, голос русской национальной публицистики звучал в самом центре Прибалтийского региона – в Риге, на страницах единственной местной частной русской газеты «Рижский вестник», инициатором открытия и редактором которой на протяжении почти двадцати лет он являлся. Е.В. Чешихин представлял собой яркий пример окраинного русского консервативного деятеля, упорно и последовательно отстаивавшего русские национальные и государственные интересы в Прибалтийских губерниях еще в то время, когда верховная власть не перешла к политике ускоренной инкорпорации региона в имперское административно-правовое пространство.

Будущий публицист, редактор и краевед, судьба которого оказалась неразрывно связана с прибалтийской окраиной, не был ее уроженцем. Он родился 6 декабря 1824 г. в Оренбурге в семье военного аудитора. Огромное влияние на формирование общественных взглядов Чешихина оказала учеба на философском факультете Московского университета, которая проходила в его «блистательный» период – с 1843 по 1847 годы, где молодой человек с увлечением погрузился в дебаты, развернувшихся между западниками и славянофилами, познакомившись с такими видными интеллектуалами своего времени, как Т.Н. Грановский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, братья Аксаковы. Позиция славянофилов была ближе и понятнее молодому студенту, определив направление его будущей интеллектуальной

деятельности и общественно-политических взглядов[1]. На протяжении всей своей жизни Чешихин придерживался близких к ним воззрений, пользуясь интеллектуальной, а, порой, и материальной поддержкой Ю.Ф. Самарина, И.С. Аксакова и близких к ним лиц, что позволяло преодолевать острые финансовые трудности, с которыми сталкивалась его газета и придерживаться единой линии в ее программе[2].

Материальные затруднения, с которыми столкнулась его семья, побудили Чешихина отказаться от первоначально планируемой научно-педагогической карьеры и поступить на бухгалтерскую службу в инженерную команду польского Замостья, где проживали его родители и откуда в 1862 г. он перевелся в Ригу на должность делопроизводителя в местном окружном инженерном управлении. Действенная и гуманистическая натура человека сороковых годов, каким являлся Чешихин, не позволила ему смириться с детально описанном Ю.Ф. Самариным в его «Письмах из Риги» архаичным городским укладом столицы Лифляндии, в которой, по словам одного из местных русских жителей, «русский делался иноземцем, русский делался нерусским, не смея пользоваться теми правами, которые предоставлялись ему в каждом другом городе внутренних губерний России»[3].

Следует заметить, что появление Чешихина в Риге совпало с уже отмеченным «пробуждением» национального сознания местного русского общества, в которое энергичный деятель внес немалую лепту. Свою службу он активно совмещал с общественной деятельностью, направленной на выражение русских национальных устремлений, пока еще смутно осознаваемых местной русской общественностью. Занимая социально активную позицию, Чешихин стремился к максимальной консолидации русского прибалтийского общества на платформе легальных культурно-

[1] Выдающиеся русские латвийцы. Рига: «IK ZORIKS», 2008. С. 22.
[2] Памяти Евграфа Васильевича Чешихина: К двадцатипятилетию со дня его кончины (1888–2 марта 1913 г.). Рига: Изд. «Риж. Вестн.», 1913. С. 13.
[3] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 1 об.

интеллектуальных и религиозных организаций, задачи которых состояли не только в духовно-нравственном и культурном развитии русских людей, но и в противостоянии немецкому культурному господству, изолировавшему их от общественных и культурных достижений страны. Он стал фактическим инициатором открытия двух русских гимназий в Риге, регулярно проводил публичные лекции и чтения по русской истории, являлся активным участником рижского Петропавловского православного общества и других русских общественных организаций, появившихся в Риге в 1860-е годы[1]. По его инициативе в 1874 г. здесь был создан первый в Прибалтике «Русский литературный кружок», направленный на то, чтобы объединить местных образованных русских жителей и предоставить им «возможность следить за успехами наук и искусств и сообщать друг другу свои наблюдения и исследования в различных областях знания»[2]. В состав кружка входили представители русской рижской интеллигенции, представленной преимущественно преподавателями местных учебных заведений, вследствие чего одна из важнейших задач общества состояла в том, чтобы оказывать «нравственную и материальную поддержку учащимся в рижских учебных заведениях с русским преподавательским языком»[3].

Надеясь обратить внимание властей на проблемы Прибалтийской окраины, решение которых связывалось им с усилением национальных начал в правительственной политике, Чешихин, тем не менее, считал невозможным ограничиться пассивным ожиданием изменения ситуации в крае «сверху», призывая местное русское общество к самоорганизации и отстаиванию своих прав в рамках имевшихся и вновь вводимых институтов и учреждений. После распространения «Городового положения» на Прибалтийские губернии в 1877 г. он всячески настаивал на активном участии русских прибалтийцев в выборах в органы городского самоуправления, подчеркивая важность даже символического присутствия в них членов русской общины и обрушиваясь с

[1] Памяти Евграфа Васильевича Чешихина. С. 15.
[2] Рижский вестник. 1874. № 130. 13 июня.
[3] Памяти Евграфа Васильевича Чешихина. С. 43.

резкой критикой на те слои местного русского общества, которые занимали пассивную позицию, изолируясь в рамках своих корпоративных кружков[1]. Русский деятель был последовательным противником сословно-корпоративного размежевания окраинного русского общества, призывая к его единению на национальной основе. Средством достижения этой цели должно было стать главное дело жизни Чешихина – основанная им в 1869 г. первая частая русская газета Прибалтики – «Рижский вестник».

Прошение коллежского советника Е.В. Чешихина о разрешении издавать в Риге газету на русском языке, поданное им в ноябре 1868 г., получило одобрение предпоследнего генерал-губернатора Остзейского края П.П. Альбединского, характеризуемого некоторыми исследователями как «главного архитектора новой политики, которая должна была осуществляться в Прибалтийских губерниях»[2]. Как известно, глава Прибалтийских губерний, вынужденный, по словам Е.М. Феоктистова, вести «свою генерал-губернаторскую деятельность, извиваясь, как змей, между противоположными направлениями и требованиями»[3], в целом поддерживал программу административной русификации края и распространения русского языка в делопроизводственной сфере, хотя и весьма скептически оценивал реальные возможности практического осуществления данного курса[4]. При этом он считал необходимым расширить права русского населения Риги и других прибалтийских городов, предоставив ему возможность получать образование на родном языке, а также создав здесь, наряду с немецкими, «русские умственные центры»[5]. Являясь сторонником компромисса между существовавшими в крае традиционными порядками и необходимостью продвижения в нем русских начал, Альбединский не мог не приветствовать

[1] Рижский вестник. 1877. № 224. 7 октября.
[2] Russifcation in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 37.
[3] Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896: Воспоминания. М.: Новости, 1991. С. 298.
[4] РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 309. Л. 1 об.–5 об.
[5] Нарежный А.И., Дмитриева Н.В. О введении русского делового языка в Прибалтийском крае в 60 – 70-х годах XIX в. // Научная мысль Кавказа. 2023. № 1. С. 78.

создание русской газеты с «умеренной» программой, как наиболее мягкого средства удовлетворения потребностей местного русского общества, не затрагивавшего интересов остзейских кругов. Непосредственное содействие открытию газеты оказывали также представители генерал-губернаторской администрации, в частности, состоявший при главе края коллежский асессор, будущий директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий А.Н. Мосолов, во многом разделявший взгляды Чешихина и в последующем неоднократно предоставлявший ему различные сведения, публикация которых вызывала резонанс и привлекала к газете повышенное внимание публики и местных властей[1]. Сам генерал-губернатор счел нужным сопроводить официальное отношение по данному вопросу к министру внутренних дел А.Е. Тимашеву собственным ходатайством, указывая на необходимость «возникновения в Риге русского органа, который мог бы принести немалую пользу при умеренном и серьезном направлении», находясь под непосредственным наблюдением главы края[2].

Следует отметить, что Чешихин, вполне обоснованно опасаясь настороженной реакции местных властей, в заявленной им программе будущего издания постарался не обозначать его идейной направленности, представляя ее преимущественно коммерческой газетой, ориентированной на интересы русского прибалтийского купечества, а также его торговых партнеров в других областях страны[3]. Задумываемое им издание, в соответствии с его прошением, должно было информировать об общем ходе промышленных, торговых и общественных дел, как в регионе, так и в государстве в целом, а также в популярной форме знакомить русское общество с историей Прибалтийского края, его статистикой, этнографией, а также с его «учреждениями, возникшими из особенных условий, при которых жило и развивалось население края»[4]. На будущую национальную

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 17.
[2] Там же. Л. 1
[3] Там же. Л. 3а.
[4] Там же. Л. 3а об.

общественно-политическую ориентацию газеты в представленной программе смутно намекали лишь заявления о том, что задумываемое издание было призвано способствовать укреплению сношений русской рижской общины с внутренними областями страны, а также его стремление особо освещать деятельность русских общественных организаций Риги[1]. Ни начальник Главного управления по делам печати М.Н. Похвиснев, ни министр внутренних дел А.Е. Тимашев не усмотрели в представленной программе ничего предосудительного и 30 ноября 1868 г. издание газеты «Рижский вестник», которая первоначально должна была выходить два раза в неделю, начиная с января 1869 г., было официально разрешено[2].

Решение создать в Риге русскоязычную общественно-политическую газету, на страницах которой отстаивались бы русские национальные и государственные интересы в Прибалтике и защищались бы права местного коренного и русского населения, первоначально не вызвало у последнего большого энтузиазма. Чешихину даже предлагалось издавать более перспективную с коммерческой точки зрения русскую газету на немецком языке, которая ориентировалась бы на остзейские круги, ведясь в «примирительном духе» по отношению к их «прибалтийскому патриотизму», на что издатель неизменно отвечал, что «в России не может быть никакого другого патриотизма, кроме русского!»[3].

Главную задачу русского окраинного печатного органа, придерживавшегося «строго национального направления», Чешихин видел в «пробуждении самосознания в местном русском обществе, разъяснении в истинно русском духе всех местных вопросов», а также в отстаивании «с неизменной энергией и постоянством интересов русского государства в отношении прибалтийской окраины»[4]. Давая характеристику редактору «Рижского вестника», жандармское руководство Лифляндской губернии

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 3а., 5.
[2] Там же. Л. 8–9.
[3] Двадцатипятилетие «Рижского вестника» 1869-1894 // Рижский вестник. 1893. № 288. 31 декабря.
[4] Рижский вестник. 1883. № 287. 31 декабря.

отмечало, что коллежский советник Евграф Васильевич Чешихин, совмещавший свою редакторскую деятельность со службой в Управлении начальника Рижской инженерной дистанции и с научными изысканиями в области истории Прибалтийского края, «человек искренне религиозный, а по политическим убеждениям – консерватор. В русском обществе он пользуется всеобщим уважением; немецкое же рижское общество его недолюбливает за то, что в редактируемой им газете он настойчиво держится убеждения в необходимости объединения Остзейского края с остальной Россией»[1].

Основным лейтмотивом публикаций Чешихина было стремление к сближению Прибалтийских губерний с коренной Россией посредством распространения на их территории общеимперских административных и правовых норм, реформирования органов местного самоуправления в соответствии с общегосударственным законодательством, проведения судебных преобразований и реформы полиции[2]. Он был противником сохранения «автономной своеобразности» региона, на котором настаивали представители местной элиты, стремившиеся к его превращению в аналог Финляндии[3]. Чешихин открыто заявлял, что «Прибалтийский край в силу логики вещей не может более оставаться в стороне от русской империи, заслоняясь от нее какими-либо местными связями и отжившими свой век порядками»[4].

Как и другие представители отечественной национально-консервативной мысли, рижский публицист указывал на несовместимость архаичных правовых норм, господствовавших в крае, с современными общественными потребностями, удовлетворение которых затрудняется упорным сопротивлением местного немецкого дворянства, крепко державшегося за свои средневековые привилегии[5]. Он настаивал на необходимости устранения существовавших в правовой сфере

[1] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 8 об.
[2] Рижский вестник. 1879. № 34. 12 февраля; № 52. 6 марта; № 66. 22 марта.
[3] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 2–2 об.
[4] Рижский вестник. 1879. № 181. 14 августа.
[5] Рижский вестник. 1879. № 34. 12 февраля.

Прибалтийского региона ограничений по этническому признаку, выступая за внедрение модерного буржуазного принципа наделения правами в соответствии с владением собственностью, вне зависимости от этнической принадлежности ее обладателя. Распространение в крае данного принципа, ставшего реальностью в коренной России в результате Великих реформ, по мнению Чешихина, позволило бы не только устранить архаичные сословные пережитки, препятствовавшие нормальному социальному развитию региона, но и преодолеть разобщенность, сохранявшуюся между Прибалтикой и остальными регионами Российского государства[1].

Следует отметить, что в полном соответствии с отечественной национально-консервативной доктриной, разделявшейся рижским публицистом, Чешихин выступал против сословно-аристократической модели имперской политики в отношении Прибалтийской окраины, ориентировавшейся на сотрудничество с местным остзейским дворянством, чьи сословные интересы защищались верховной властью. Не имея возможности отстаивать данный аспект своих воззрений на страницах редактируемой им газеты в силу цензурных соображений, публицист излагал их в личной переписке, подчеркивая тот факт, что экономическое и культурное притеснение местного населения остзейцами происходило фактически при прямом содействии верховной власти, заинтересованной в сохранении их лояльности и верности престолу, «платой» за которые являлось сохранение их архаичных привилегий в ущерб государственным интересам[2].

Еще более серьезную угрозу для них Чешихин усматривал в стремительной германизации Прибалтийских губерний, сигналом к которой стала известная публичная речь лифляндского генерал-суперинтенданта Вальтера, знаменовавшая собой переход от культурной изоляции остзейцев, длительное время поддерживавших и подчеркивавших свое превосходство

[1] Рижский вестник. 1879. № 52. 6 марта.
[2] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 3.

над коренным местным населением, к его активному вовлечению в орбиту германской культуры и образованности. Данная трансформация фактически означала возникновение альтернативного ассимиляционного проекта, реализовавшегося в пределах российского имперского пространства при полном попустительстве русской администрации, и имевшего своей целью «отделение Ливонии от Российской Империи» и ее превращение в «сплошную немецкую землю»[1].

В своем письме к московскому публицисту славянофильского круга Н.П. Гилярову-Платонову, написанному в сентябре 1879 г., Чешихин подробно описывал непосредственно наблюдаемый им процесс германизации Прибалтийских губерний, проводившийся двумя путями – посредством широкого распространения немецкого языка среди местного населения и полного искоренения православного вероисповедания в крае. Основным средством к достижению поставленной цели стали лютеранские школы, густая сеть которых с 1860-х годов начала покрывать край, способствуя полному «онемечиванию» местных латышей и эстов[2]. На страницах редактируемого им «Рижского вестника» детально описывался процесс обучения в этих школах, сравниваемый с «мучением», основная цель которого состояла в том, чтобы заставить учащихся забыть свое национальное происхождение, свои язык и традиции, внедрив в их сознание представление о превосходстве германской культуры[3]. Находившиеся в ведении Министерства внутренних дел, «которому решительно некогда и нет возможности следить за учебным делом у ливонских туземцев и знать, чему и как учат в этих школах», руководимые советами, состоящими из лютеранских пасторов и немецких дворян, эти школы представлялись публицисту являлись главным механизмом насаждения «неметчины»[4].

---

[1] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 3.
[2] Там же. Л. 3 об.–4.
[3] Рижский вестник. 1879. № 87. 20 апреля.
[4] ГАРФ. Ф.109. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 3 об.–4.

Данные заявления не были голословными полемическими измышлениями русского общественного деятеля. На «воинствующий германизм», насаждаемый в учебных заведениях Прибалтийских губерний, а также на происходившую там «систематическую деморализацию детей, как в политическом, так и в религиозном отношениях» указывали многие современники, весьма далекие от русских национально-консервативных кругов. Так, в письме, направленном князю Любомирскому в Варшаву его корреспондентом-поляком из Прибалтики в апреле 1876 г., указывалось на ярко выраженную прогерманскую направленность местных гимназий, учащимся которых постоянно внушалось, что «только нынешнее немецкое государство (лютеранское), с Бисмарком во главе, стоит выше всех и всего»[1]. При этом автор письма недоумевал по поводу продолжавшихся щедрых казенных субсидий, предоставляемых данным учебным заведениям, наводившим на мысль, либо о полном отсутствии у правительства точных сведений о происходивших в крае явлениях, либо о сознательном попустительстве германизации представителей здешней администрации (даже русских по происхождению), «всей душою преданных немцам»[2].

Позиция Чешихина в значительной степени объясняется тем, что он исходил из понимания остзейцев не как полноценных «русских подданных германского происхождения», чья преданность российскому престолу обуславливала их политическую лояльность, а как иностранцев, подчинивших себе Прибалтийские земли, являвшиеся частью «государственной области России», и установивших здесь свои порядки. На протяжении всей жизни в своих многочисленных публицистических и научных трудах редактор «Рижского вестника» именовал остзейских немцев не иначе как «иностранцами», исключая их из круга русских «граждан», важнейшим условием принадлежности к которым должна была являться преданность общерусским государственным интересам, замещавшаяся у них

[1] ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1286. Л. 1.
[2] Там же. Л. 1–1 об.

собственным «остзейским патриотизмом», граничившим с административно-правовым и социокультурным сепаратизмом. Последний находился лишь в одном шаге от сепаратизма политического, на угрозу которого русский деятель неоднократно указывал. Именно эта особенность политического мировоззрения остзейцев, а вовсе не немецкое этническое происхождение и лютеранское вероисповедание делали их в глазах Чешихина иностранцами, чье господство на русской Прибалтийской окраине представлялось недопустимым и опасным для целостности государственного пространства России. Данный подход сближал взгляды Чешихина с концепцией политической нации М.Н. Каткова, отодвигая на второй план этническую и конфессиональную принадлежность окраинных акторов, и делая акцент на степени заинтересованности в укреплении государственного единства России и ее региональной унификации.

Помимо отстаивания русских национальных и государственных интересов в Прибалтике, одну из главных задач своей газеты Чешихин видел в защите коренного эстонского и латышского населения от немецкого культурного и экономического гнета. Для ее решения он считал необходимым всесторонне освещать бесправное положение местного населения, доводя до сведения властей и общественности наиболее одиозные проявления сложившегося в крае «несправедливого» порядка, на изменение которого со стороны верховной власти он постоянно надеялся.

В октябре 1869 г. на страницах «Рижского вестника» появилась резонансная публикация, представлявшая собой современную интерпретацию созданного в 1802 г. лифляндским публицистом и гуманистом Г. Меркелем романтического эпоса «Ванем Иманта», в котором описывалась героическая борьба латышского народа против своих поработителей и указывалось на наличие тесных исторических связей прибалтийских народов с Россией[1]. Публикация фрагмента данного

[1] Рыжакова С.И. Латышская национальная история: о культурных механизмах в конструировании и реферировании прошлого // Антропологический форум. 2009. № 11. С. 231.

сочинения, в свое время вызвавшего резкое недовольство лифляндского дворянства, сопровождалась яркими картинами бесправного и угнетенного положения эстов и ливов, подчиненных чужеземцам, а также весьма прозрачным пассажем о явлении народам Прибалтики доброго гения, пришедшего с Востока, «откуда исходит свет истины», чье бытие есть «Держава, Православие и Верный народ», который принес пророчество о скором наступлении для них «лучшей доли»[1]. В будущем публикации, освещавшие тяжелое положение местных народных масс уже не иносказательно, а вполне определенно, стали неотъемлемой частью содержания «Рижского вестника».

Большое внимание на страницах газеты уделялось также активизировавшемуся национальному движению коренных народов Прибалтики, которое всячески поддерживалось ее редактором, рассматривавшим формировавшуюся молодую латышскую и эстонскую интеллигенцию как противовес немецкому культурному господству в регионе. Чешихин активно полемизировал с местными немецкими изданиями, стоявшими фактически на позиции национальной неполноценности коренных народностей, которые, согласно данному подходу, по своей природе и умственным способностям, могут быть только крестьянами[2]. Данное убеждение, широко распространенное среди остзейской элиты, связывало образование и культуру исключительно с немецким началом, восприятие которой отдельными представителями местного населения автоматически вело к утрате ими своей племенной идентичности, превращая их в «немцев». На страницах остзейской печати открыто заявлялось, что «латыш, оставаясь латышом, не может быть образованным»[3].

Возражая против данной позиции, русский публицист был вполне солидарен с мнением представителей просвещенных кругов латышского

[1] Рижский вестник. 1869. № 85. 22 октября.
[2] Рижский вестник. 1873. № 196. 6 сентября; № 197. 7 сентября; № 198. 10 сентября.
[3] Zeitung fur Stadt und Land. 1871. № 246. 22 Nowember.

общества, чье мнение неоднократно звучало со страниц «Рижского вестника». Отстаивая свое право на собственное национальное просвещение, латышские корреспонденты русской газеты заявляли о том, что они «не мечтают и не добиваются невозможного, не посягают нисколько на спокойствие государства, но стараются лишь осуществить то, что стало уже современностью и необходимостью»[1].

Вполне доверяя такого рода заверениям, Чешихин неоднократно указывал на пророссийскую ориентацию местного коренного населения, видевшего в верховной власти единственную защиту от полной утраты своей национальной идентичности, при этом, с горечью констатируя, что данные настроения не находили поддержки у местной и центральной администрации, продолжавшей отстаивать остзейские интересы. В наблюдаемом им «народническом» этапе национального «пробуждения» латышей и эстов, являвшемся структурообразующим элементом их национальной истории[2], он, как и большинство русских общественных деятелей, не усматривал политических перспектив, способных привести к формированию сепаратистских настроений среди местного коренного населения.

Особое негодование рижского публициста вызывало сохранявшееся доминирование немецкого языка в делопроизводственной и публичной сферах региона, государственная принадлежность которого была русской, а этническая – преимущественно эсто-латышской.

В письме к Н.П. Гилярову-Платонову Чешихин обрушился с резкой критикой на местные власти за то, что во время традиционного праздника 26 августа в Митаве, приуроченного к годовщине освобождения курляндского крестьянства от крепостной зависимости, местный губернатор П.Ф. Лилиенфельд-Тоаль обратился к собравшимся представителям латышских народных масс не на государственном или народном языке, а по-немецки.

[1] Рижский вестник. 1873. № 198. 10 сентября.
[2] Smith A.D. The Ethnic Revival. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 217.

Возмущенный публицист писал: «Царский представитель свидетельствует этим самым, что в Ливонии никакого значения и никакой силы не имеет язык государственный, а значение и силу имеет язык иноземный, латышам вовсе не обязательный, а только навязываемый им силою… Факт этот показывает, что мы сами помогаем неметчине отделить Ливонию от Российской Империи, превратить ее в сплошную немецкую землю. Губернатор топчет в грязь русский язык и своею речью на немецком языке ясно свидетельствует, что государственный язык в Ливонии никак не русский»[1].

Эмоциональный характер и резкость данного письма привлекла к нему внимание перлюстрировавших его чиновников III Отделения и самого императора Александра II, затребовавшем сведения о его авторе. Собранные данные, а также положительная характеристика, данная ему лифляндским жандармским ведомством, видимо, успокоили власти, убедив их в политической благонадежности публициста, поскольку никаких административных мер в его адрес не последовало[2].

Для противодействия германизации местного населения имперским властям, по мнению Чешихина, надлежало коренным образом пересмотреть образовательную систему в крае, положив в ее основу русские государственные начала и введя обязательное расширенное обучение русскому языку, гораздо более необходимому местному населению для его практических нужд, службы в армии, ведения хозяйственной и коммерческой деятельности, нежели немецкий[3]. Чешихин горячо приветствовал попытки российской администрации усилить роль русского языка в образовательной системе края, как посредством его превращения в ключевой образовательный компонент, так и путем введения в местных учебных заведениях русскоязычного делопроизводства, чему должно было содействовать назначение на должности директоров, инспекторов и смотрителей гимназий

[1] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 5 об.
[2] См. подробнее: Крот М.Н. «Держаться крепко против напора неметчины…»: письмо Е.В. Чешихина Н.П. Гилярову-Платонову о ситуации в Прибалтийском крае в конце 1870-х гг. // Новое прошлое / The New Past. 2023. № 3. С. 283–296.
[3] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 6.

и училищ лиц, владеющих русским языком. Публицист считал абсолютно неприемлемым и вредным для воспитания юношества практику занятия должностей в государственной службе «без знания и нередко даже без малейшего понятия о государственном языке»[1].

Редактор «Рижского вестника» с восторгом встретил и опубликовал публичную речь попечителя Дерптского учебного округа П.К. Жерве, сказанную им во время открытия учительской семинарии для латышей и эстов, в которой было заявлено, что народный учитель «может быть действительным и полезным преподавателем в духе любви и беспредельной преданности Царю и Отечеству» не только если он обладает необходимой педагогической подготовкой и знанием местных «народных наречий», но, в первую очередь, при условии совершенного владения русским языком и, самое главное – его проникнутости «русским направлением»[2]. Поддерживая данную инициативу, Чешихин настаивал на необходимости «дегерманизации» образовательной системы, первостепенными мерами для реализации которой, по его мнению, должно было стать преобразование учительских семинарий края (Ирмлауской и Валкской) по общерусскому образцу, путем перевода преподавания в них на русский язык, а также подчинения всех сельских лютеранских школ министерству народного просвещения[3].

Следует отметить, что Чешихин, являясь сторонником политической русификации Прибалтийских губерний, выступал против любых попыток ассимиляции местного латышского и эстонского населения, обладавших собственной самобытной культурой и традициями, которые они трепетно оберегали на протяжении долгого периода немецкого культурного господства[4]. Настаивая на обязательном обучении латышских и эстонских учащихся русскому государственному языку, незнание которого, по его

[1] Рижский вестник. 1869. № 85. 22 октября.
[2] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1009. Л. 1.
[3] ГАРФ. Ф.109 с/а. Оп. 3а. Д. 1288. Л. 6.
[4] Рижский вестник. 1879. № 203. 11 сентября.

мнению, «наносит великий ущерб самой идее общегосударственности», в силу чего каждый гражданин должен знать его[1], он считал не только возможным, но и необходимым осуществлять образовательный процесс на местных языках, в развитии которых посредством расширения литературы и периодических изданий он не находил ничего вредного для русских государственных интересов[2].

Несмотря на близость позиции Чешихина к взглядам отечественных славянофилов, на страницах «Рижского вестника» в отношении коренного прибалтийского населения отстаивалась точка зрения, сходная с теорией государственного национализма Каткова. В соответствии с ней, правительственная политика должна была, не затрагивая этническую идентичность местных жителей в культурном и языковом отношении, способствовать формированию в их сознании русской государственно-политической идентичности. Один из корреспондентов газеты, чьи взгляды в полной мере разделял Чешихин, подчеркивал, что «принадлежность к русской семье» никоим образом не предполагала «исчезновение» инородцев, их ассимиляцию и утрату собственной самобытности, выражая надежду, что в результате совместных правительственных усилий и культурного развития местных народностей наступят времена, когда их представители будут с гордостью считать себя эстонцами или латышами по происхождению и русскими по образу мыслей[3].

В своей общественной и издательской деятельности Чешихин был вынужден преодолевать множество трудностей, связанных, как с крайне недоброжелательным отношением к нему немецкой публики, так и с неудовольствием местных имперских властей, усматривавших в его смелых публикациях угрозу социально-политической дестабилизации в регионе. Сын Евграфа Чешихина – Всеволод, вспоминал впоследствии о чрезвычайно «тяжелом общественном положении» газеты, в редакции которой нередко

[1] Рижский вестник. 1879. № 203. 11 сентября.
[2] Рижский вестник. 1879. № 87. 20 апреля.
[3] Рижский вестник. 1879. № 79. 10 апреля; № 83. 14 апреля.

происходили бурные и «невозможные» сцены объяснений с представителями местной администрации и публики, чрезвычайно раздраженными содержанием ее заметок и статей[1]. С первых лет существования «Рижского вестника» его редактору приходилось выдерживать многочисленные столкновения с цензурой, существенно ограничивавшей круг обсуждаемых на страницах газеты вопросов и с явным пристрастием относившейся к содержанию ее публикаций.

Особое неудовольствие властей вызывали многочисленные публикации «Рижского вестника», посвященные бедственному положению и угнетению коренного эсто-латышского населения местным немецким дворянством[2]. Такого рода публикации признавались «весьма неудобными, способными содействовать усилению сословной вражды в Прибалтийском крае», «возбуждению в крестьянах недоверия к местным землевладельцам и даже к Правительству», которому «известно положение крестьян и не нужны указания газет»[3]. Еще большую настороженность вызывали статьи, освещавшие латышское и эстонское национальное движение, направленное на освобождение от культурного гнета остзейцев, которые, по мнению цензурного ведомства, не только «способствовали взаимному раздражению между различными частями населения» края, но и содержали в себе недопустимые «демократические» мотивы[4].

Помимо этого, центральное и местное цензурное ведомство постоянно обращало внимание на резкие нападки газеты на «русских подданных германского происхождения», проживавших в Прибалтике, их традиции и обычаи, описываемые в «весьма неприличном по насмешливости и враждебности», «глумливом» тоне, что «не только не могло содействовать столь желательному сближению народонаселения с остальными частями Империи, но, напротив того, должно способствовать отчуждению от них

[1] Памяти Евграфа Васильевича Чешихина. С. 43.
[2] Рижский вестник. 1869. № 85. 22 октября; 1870. № 263. 24 ноября.
[3] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 26, 33–33 об.
[4] Там же. Л. 56–56 об.

интеллектуальных классов Остзейского края»[1], оказывая тем самым «медвежью услугу русскому делу в крае»[2]. Очевидно, что постоянное неудовольствие администрации публикациями газеты Чешихина было обусловлено не только стремлением властей не допускать усиления имевшей место в крае вражды сословий и строго соблюдать букву закона в отношении печати, но и тем, что чиновники и редактор «Рижского вестника» исходили из совершенно различных представлений о характере и месте Прибалтийского края в общей структуре Российской империи. Данное расхождение наглядно иллюстрируется весьма примечательной формулировкой, использованной главой цензурного ведомства М.Н. Лонгиновым в одном из секретных отношений, осуждавших рижскую газету за «возбуждение ненависти между жителями *разных стран* (курсив мой – М.К.) Империи, запрещенное самим законом»[3]. Как известно, Чешихин рассматривал прибалтийскую окраину России совершенно иначе.

Но, безусловно, главное «неудобство» для властей заключалось в том, что газета, выходившая с разрешения предварительной русской цензуры, давала повод для заключения о «солидарности ее мнения с мнением власти», чего последняя старалась избежать, всячески дистанцируясь от делаемых на страницах «Рижского вестника» заявлений[4]. Следствием этого становились значительные диспропорции в действиях цензурных органов в отношении «Рижского вестника» и местных немецкоязычных изданий, на что неоднократно указывал Чешихин, возмущавшийся тем, что зачастую свободно публикуемые в них материалы вымарывались цензурой из русской газеты[5].

Однако при более детальном анализе отношения верховных властей в лице Министерства внутренних дел и входившего в его структуру Главного управления по делам печати к газете, твердо придерживавшейся «русского

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 28, 42.
[2] Там же. Л. 72.
[3] Там же. Л. 42 об.
[4] Там же. Л. 26 об., 42 об.
[5] Там же. Л. 84–85.

направления», можно заметить некую двойственность. Отмечая «недопустимость» многочисленных нападок «Рижского вестника» на сложившиеся в Прибалтийском крае порядки в видах поддержания в нем социально-политической стабильности, имперская администрация не шла далее неофициальных «внушений» и «замечаний» его редактору, а также настойчивых требований к рижским цензорам уделять повышенное внимание к публикациям данной газеты, не прибегая в ее отношении к более жестким административным мерам, на чем настаивали остзейские круги прибалтийской администрации. На некое необъяснимо «привилегированное» положение газеты в цензурном отношении указывал отличавшийся крайне жесткой позицией в отношении прав печати начальник главного цензурного ведомства М.Н. Лонгинов, отмечавший, что цензура не могла бы терпеть в немецкой прибалтийской печати и малой части тех «выходок» в отношении русского элемента, которые позволял себе «Рижский вестник» по отношению к остзейцам[1].

Данная «мягкость» может свидетельствовать не столько о «попустительстве» властей, в чем их обвиняли немецкие прибалтийские издания, а, скорее, о том, что многие представители имперской администрации во многом разделяли и негласно поддерживали взгляды газеты и ее редактора, не смея при этом отойти от официального правительственного курса, вплоть до начала 1880-х гг. ориентировавшегося на сотрудничество с местной остзейской элитой.

Не менее сложной проблемой, нежели цензурные ограничения, являлся вопрос материального обеспечения газеты. Финансовые дела «Рижского вестника» в первое десятилетие его существования шли очень сложно в силу небольшого числа подписчиков (их количество первоначально не превышало 150 человек) и ограниченной возможности размещения объявлений, поскольку остзейские коммерческие круги фактически объявили русской газете бойкот. Убытки издания после того, как оно с 1870 г. стало выходить

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 42 об.

ежедневно, составляли от 7 до 8 тыс. рублей в год[1]. Ее редактор настойчиво изыскивал средства для того, чтобы не дать погибнуть делу, на которое он возлагал большие надежды. Через издателя газеты – рижского купца 1-й гильдии А.Ф. Еноховича, он обращался за материальной помощью к местным русским коммерческим кругам, которые покрыли ее задолженность за 1869 – 1870 гг., а также выделили ей ежегодную субсидию в размере 3 тыс. рублей[2]. Материальную поддержку рижской газете оказывало также московское купечество при непосредственном содействии И. С. Аксакова и его окружения, стремившихся к распространению своих взглядов посредством печатного слова на Прибалтийской окраине[3]. За материальным содействием руководство «Рижского вестника» обращалось и в местный Биржевой комитет, ежегодно выделявший из собственного бюджета, формируемого, в том числе, из вносимых русскими купцами средств, по 6 тыс. рублей на содержание немецкоязычных периодических изданий, однако получило там решительный отказ[4].

Стремясь поддержать печатный орган, отстаивавший русские интересы, один из соратников Чешихина, оставшийся неизвестным, принадлежавший, судя по всему, к русским рижским коммерческим кругам и придерживавшийся сходных с ним национально-консервативных воззрений, в 1872 г. обратился к петербургскому купечеству с призывом оказать материальную поддержку «Рижскому вестнику», выражавшему русское общественное мнение в крае и представлявшему собой «орган русского просвещения, промышленности и торговли, потребность в котором для русских людей растет с каждым годом»[5]. Данное воззвание представляет значительный интерес, являясь не только обращением за материальной помощью к торговым кругам коренных русских губерний, но фактически программным документом, выражавшим интересы русского населения

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 9 об.
[2] Там же.
[3] Памяти Евграфа Васильевича Чешихина. С. 13.
[4] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 10.
[5] Там же. Л. 11.

прибалтийской окраины, чьим рупором должен был являться «Рижский вестник». С высокой долей вероятности можно предположить, что данное послание исходило от издателя газеты А.Ф. Еноховича, являвшегося, по воспоминаниям современников, «одним из самых выдающихся местных русских деятелей, преданный русскому делу в крае до самозабвения»[1], отличавшегося невероятной энергией, полностью поддерживавшего направление газеты, входя, при этом, в круг русского рижского купечества, защите интересов которого в обращении уделено значительное внимание.

Примечательно то, что анонимный автор отталкивался от разделяемого всеми интеллектуалами национально-консервативной направленности тезиса об исконном вхождении Прибалтики в сферу русских государственных интересов, отмечая, что «еще задолго до водворения иностранных выходцев в нынешних русских Прибалтийских губерниях, земли латышей и ливов по Западной Двине находились под влиянием и властью русских полоцких князей, а земли эстонцев – под влиянием и властью Великого Новгорода»[2]. Остзейские немцы, насильственно водворившиеся в крае, характеризовались им не иначе как «иностранцы», провозгласившие себя «привилегированными сословиями» и захватившие в свои руки все бразды правления краем, превратив коренных местных и русских жителей в людей второго сорта. Факт безраздельного «иноземного» господства, опиравшегося на архаические привилегии, стоящие выше общеимперского законодательства, неспособного защитить русских людей в русских же государственных провинциях, в наибольшей степени возмущал автора, считавшего положение, когда в пределах России «русского, не допускали к управлению по той причине, что он исповедовал православную веру, когда в гильдейские братства допускали католика, но не допускали православного» – «неправдоподобным» и «возмутительным для национальной чести»[3].

---

[1] Двадцатипятилетие «Рижского вестника» 1869–1894 // Рижский вестник. 1893. № 288. 31 декабря.
[2] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 1.
[3] Там же. Л. 2.

Анонимный автор выделял две возможные поведенческие траектории, имевшие равно негативные последствия для местного русского населения в сложившихся условиях: либо неравная борьба против сильных, хорошо организованных привилегированных сословий, которая без поддержки властей и широких слоев русского общества коренных губерний неизбежно была обречена на поражение, либо медленная постепенная ассимиляция, обусловленная трудностью сохранения «неповрежденного сознания своего национального достоинства» и стремлением «выйти из круга отверженных», впитывая постепенно элементы чуждого языка, обычаев, образа жизни[1]. Тем самым в послании отмечался высокий уровень ассимиляционного потенциала немецкого прибалтийского элемента, подкрепляемого господствующим экономическим положением и культурным превосходством, угрожавшего не только коренному местному, но и русскому населению края.

Следует отметить, что для противодействия господству инородческого элемента на прибалтийской окраине анонимный автор считал возможным обойтись без привлечения административного ресурса русскими общественными силами, что было возможно при условии их нравственной и материальной поддержки со стороны общественности коренного русского центра. Признавая необходимость «поддержания нравственной связи между Прибалтийскими губерниями и остальным нашим Отечеством», он рассматривал русскую газету на окраине не как коммерческое предприятие, способное приносить прибыль, а, в первую очередь, как общественно-политический проект, имевший огромное идеологическое и символическое значение. Голос русского печатного органа был призван стать средством идейного противодействия «местной привилегированной партии», стремившейся к «сепаратизму», а также способом консолидации окраинного русского общества, осознававшего себя частью «единой, нераздельной

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 2 об.–3.

великой семьи русской,… желавшей всецело слиться с нашим общим Отечеством»[1].

В завершении своего воззвания, в котором автор, ссылаясь на значительные расходы, понесенные местными русскими купеческими кругами на открытие и поддержание целого ряда русских общественных организаций, типографии и начало выпуска «Рижского вестника», указывал на вынужденный характер своего обращения за материальной помощью к петербургским коммерческим кругам, подчеркивалось общегосударственное значение отстаиваемого им дела. Аноним, безусловно рассчитывавший на публичный характер своего адреса, писал: «Мы трудимся не из-за личных наших выгод, но на пользу всего русского люда, проживающего на Прибалтийской окраине и для окончательного закрепления этой окраины за Русским государством»[2].

Разовые пожертвования и субсидии, которые оказывались «Рижскому вестнику» местными, а также московскими и петербургскими меценатами, несмотря на свой значительный характер, не могли обеспечить прочной материальной основы частного русскоязычного издания национально-консервативной направленности. Поэтому в декабре 1880 г. Чешихин направил прошение министру внутренних дел М.Т. Лорис-Меликову об оказании материальной поддержки русской газете, указывая на ее огромную роль не только в деле ознакомления местного населения с жизнью России, информацию о которой оно раньше было вынуждено получать исключительно из немецких газет, чьи интересы «часто имеют весьма мало общего с русскими», но и в решении важной общегосударственной задачи – обеспечения «более тесной связи Прибалтийских губерний с остальной Империей»[3]. Помимо Чешихина, данное прошение подписали 13 наиболее видных представителей русских общественных организаций Риги, что придавало ему характер публичного обращения местной общественности к

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 512. Л. 7 об.–10.
[2] Там же. Л. 10 об.
[3] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 93.

верховной власти. Прошение редактора «Рижского вестника», испрашивавшего ежегодную субсидию в размере 5 тыс. рублей сроком на шесть лет в расчете на то, что в дальнейшем, с расширением круга подписчиков и увеличением доходов от коммерческих объявлений, газета перестанет быть убыточной, было удовлетворено[1]. Не желая придавать субсидированию газеты официальный статус, правительство направляло денежные средства в редакцию частным образом, непосредственно из министерства финансов[2].

Стабильное получение внушительной государственной субсидии, которая по истечении шестилетнего срока регулярно возобновлялась, вплоть до 1900 г., когда ее размер по просьбе самой редакции стал уменьшаться на 1 тыс. рублей в год[3], сделало положение газеты более прочным не только в материальном, но и в политическом отношении, поскольку теперь ее идейная позиция была вполне осязаемо «освящена» прямой поддержкой верховной власти, хотя и имевшей неформальный характер.

В начале 1880-х гг. изменение в положении «Рижского вестника», который перестал «выживать» и продолжал еще более твердо отстаивать русские национальные интересы, было обусловлено общим «национальным поворотом» в политике имперских властей и началом более решительных преобразований в отношении Прибалтийских губерний. Заметно улучшилось отношение к рижской газете со стороны Главного управления по делам печати, после того, как в 1883 г. его главой стал Е.М. Феоктистов, снискавший себе славу «реакционера» и «душителя» свободного печатного слова, который, тем не менее, неоднократно становился на сторону «Рижского вестника» в его продолжавшихся столкновениях с местной

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 135.
[2] Там же. Л. 160–160 об.
[3] В 1899 г. издатель «Рижского вестника» И.А. Шутов, в очередной раз обратившись с традиционным прошением о выделении газете денежной субсидии, ходатайствовал о ее последующем ежегодном снижении на 1 тыс. руб. в расчете на то, что ее издание постепенно сможет издаваться без государственной субсидии. (РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 124. Л. 169). С 1903 г. выделение государственной субсидии на издание «Рижского вестника» было прекращено (РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 124. Л. 311–311 об.).

цензурой и властями. Так, в частности, после очередного запрета рижской цензурой публикации, посвященной игнорированию в Прибалтике русского языка, Чешихин обратился к нему с весьма эмоциональным и демонстративно-язвительным обращением, прося разъяснить – «должны ли быть разрешаемы статьи, написанные против игнорирования в Риге и Прибалтийских губерниях русского языка, или же появление таких статей признается несоответствующим видам правительства по распространению и упрочению знания государственного языка в наших окраинах»[1]. Феоктистов поддержал редактора, сделав суровое внушение рижскому цензору, который был вынужден пуститься в униженные и путаные объяснения[2]. Помимо этого, глава цензурного ведомства обращался к лифляндскому губернатору М.А. Зиновьеву с просьбой «установить более правильные отношения» между местной цензурой и газетой, недвусмысленно указав на необходимость «более мягкого и внимательного» отношения к изданию, ввиду его «общего патриотического направления» и получения им субсидии от правительства[3].

Несмотря на данную поддержку и тот факт, что направление «Рижского вестника» полностью соответствовало декларируемой и проводимой правительством в Прибалтийских губерниях политике, местная власть даже после значительных кадровых перестановок, способствовавших ее «обрусению», продолжала с неодобрением, а порой и открытой враждебностью относиться к газете. Вопреки устойчивому стереотипу о единодушии русской патриотической печати и имперской администрации, проводившей «русификацию» Прибалтики в 1880 – 1890-е годы, полного единства в направленности их деятельности не было. Местная администрация упорно не желала давать слова патриотически настроенным кругам местной русской общественности, полагая, что власть не нуждается в «газетных указаниях», а также уступая яростным нападкам остзейцев,

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 161.
[2] Там же. Л. 158–159.
[3] Там же. Л. 165–165 об.

усиливавшимся по мере того, как креп голос русской газеты. В это время в отношении «Рижского вестника» фактически установилась практика двойного цензурного гнета, поскольку, помимо отдельного рижского цензора, газету предварительно проверял рижский вице-губернатор, причем их мнения по поводу допустимости многих газетных публикаций нередко расходились, ставя редактора в тупик[1].

Особенно невзлюбил газету лифляндский губернатор М.А. Зиновьев, сам являвшийся активным сторонником и последовательным проводником политики русификации Прибалтики, основные направления которой были подробно изложены им в печати на основании собственного опыта[2]. Несмотря на это, он резко негативно относился к «Рижскому вестнику» и его публикациям, крайне отрицательно характеризуя его деятельность в официальных отношениях, направляемых в министерство внутренних дел, и даже неоднократно настаивая на прекращении выдачи газете казенной субсидии[3]. Данное отношение объясняется, безусловно, не только «не имеющим границ самолюбием и самомнением» рижского губернатора, на которое указывал неизменно вступавшийся за «Рижский вестник» Е.М. Феоктистов[4], но, в первую очередь, традиционным бюрократическим мышлением администратора, не терпевшего суждений общественности по вопросам, входившим в компетенцию местной и верховной власти, и с открытым раздражением относившимся к газетам как средству выражения общественного мнения. В министерстве внутренних дел, однако, не разделяли мнения Зиновьева и, признавая значительные заслуги созданной Чешихиным русской газеты в деле укрепления русских начал в крае и в «разъяснении публике необходимости и пользы проводимых здесь

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 155–155 об.
[2] Зиновьев М.А. Опыт исследования земского устройства Лифляндской губернии. Рига: Лифляндская губернская типография, 1895; Зиновьев М.А. Труды покойного лифляндского губернатора М.А. Зиновьева. Рига: Типография В.Ф. Геккера. 1906.
[3] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 124. Л. 52–53, 75, 108–109.
[4] Там же. Л. 54.

нововведений»[1], продолжали оказывать ей материальную и моральную поддержку. Тем не менее, Чешихину, а после его смерти в 1888 г. сменившему его на посту редактора «Рижского вестника» Л.Н. Витвицкому даже в период видимого торжества русского дела в Прибалтийском крае приходилось продолжать вести напряженную борьбу за право отстаивать русские интересы «силою печатного слова».

Упрочение материального и общественного положения «Рижского вестника» в начале 1880-х гг. позволило Чешихину освободить себя от части редакторской работы, которую он в одиночку вел на протяжении более чем десяти лет, разделив ее со своим единомышленником и сподвижником, молодым, но талантливым журналистом Л.Н. Витвицким, занявшим пост второго редактора[2], и вплотную обратиться к научно-исследовательской деятельности.

С целью исторического обоснования своих взглядов, Чешихин со второй половины 1870-х годов серьезно занялся научными изысканиями в области истории Прибалтийского края, результатом которых стал выход четырех томов «Сборника материалов и статей по истории прибалтийского края» («Прибалтийского сборника»)[3], а затем и его большого авторского труда «История Ливонии с древнейших времен»[4]. В сферу его интересов входили не только ливонские древности, в области которых он был одним из лучших знатоков своего времени, но и история Прибалтийских губерний под властью России. В последние годы жизни он активно занимался проблемами взаимодействия рижского генерал-губернатора Ф.Ф. Буксгевдена с местными традиционными органами самоуправления[5], а также историей освобождения

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 124. Л. 108 об.–109 об.
[2] РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 123. Л. 143.
[3] Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края: Т. 1–4. Рига: Тип. А.И. Липинского, 1876–1882.
[4] Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I–III. Рига: Типо-литография А.И. Липинского, 1884–1887.
[5] РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 2. Д. 335.

эстляндских крестьян[1], однако эти работы не были завершены и остались неопубликованными.

Основная цель исторических работ Чешихина, не являвшегося профессиональным историком, состояла, по его словам, в том, чтобы «сформировать и распространять в русской публике верные и точные сведения о прошлом Прибалтийского края», предоставляя ей возможность «правильно и беспристрастно судить о его настоящем»[2]. Он неоднократно указывал, что, при всех успехах русской исторической науки, в ней существовало множество пробелов, связанных преимущественно с историей окраинных регионов, которые заполнялись сочинениями, зачастую искажавшими их историческое прошлое в угоду интересам местных национальных элит[3]. В одном из своих писем он отмечал: «Мы вовсе не имеем областной истории нашего отечества. Не имеем на русском языке и обстоятельной истории Ливонии. Пополнить пробел в областной истории по отношению к Прибалтийскому краю, насколько это возможно и доступно частному лицу, я имею в виду»[4].

В своих научных исследованиях Чешихин стремился обосновать тезис о том, что Прибалтийский край исторически тяготел к Русскому государству и культуре, являясь неотъемлемой исторической частью «русской государственной области», насильственно отчужденной от нее пришлым иноземным элементом. Примечательно, что Чешихиным использовался концепт «исконности», исторического первенства русского государственного и культурно-религиозного влияния на Прибалтийский регион, аналогичный тому, который лег в основу концепции, обосновывавшей исторические права России на обладание Западным краем. Так же, как и в отношении западных окраинных регионов, им подчеркивался мирный и естественный характер сближения местного коренного населения со славянскими племенами,

[1] РГАЛИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 1238. Л. 1–2.
[2] РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 430. Л. 1.
[3] РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 374. Л. 1.
[4] Памяти Евграфа Васильевича Чешихина. С. 16.

общность их образа жизни и экономических интересов, ненасильственный характер распространения православия, которое «без всякой крови и железа шло на смену язычеству»[1]. Исследователь указывал на то, что уже в X – XI вв. прибалтийские племена, несмотря на различие происхождения и языка, вступали в тесные сношения со славянами, попадая под их влияние, обусловленное тем, что последние были «сильнее и даровитее», распространяя на них свое политическое влияние во времена первых русских князей[2]. Западную Двину он называл «естественной гаванью России», которая была освоена славянскими племенами кривичей, подчинявшихся Полоцким и Смоленским князьям, активно использовавшим Двинский бассейн для торговли задолго до появления здесь немецких торговых факторий[3]. Чешихин заявлял, что естественный ход истории, характер хозяйственно-экономического, политического и культурного развития региона неизбежно вел к тому, что «Ливония, никакими естественными границами не отделенная от полоцких, псковских и новгородских земель, вошла бы в состав русской государственной области», прочно слившись в единое могущественное целое[4].

Фактором, нарушившим и «извратившим» естественное развитие региона как части русской государственной области, по мнению Чешихина, стало латинство, насильственно насажденное немецкими «пришельцами», стремившимися исключительно к материальной наживе и власти, для которых Ливония никогда не была родиной, а на протяжении многих веков являлась не более чем колонией[5]. Исследователь утверждал, что длительное немецкое господство, равно как и переход региона под власть Речи Посполитой, а затем Швеции имели для прибалтийских народов крайне негативные последствия, существенно замедлив их развитие, проложив

[1] Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I. С. III.
[2] Там же.
[3] Рижский вестник. 1879. № 173. 3 августа.
[4] Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I. С. III.; Рижский вестник. 1879. № 173. 3 августа.
[5] Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I. С. IV; Рижский вестник. 1879. № 175. 7 августа.

пропасть между ними и господствовавшей в крае элитой. Отрицательные последствия данного состояния сохранялись в течение длительного времени после присоединения региона к России, которое исследователь характеризовал как «возвращение Прибалтийского края к его коренной государственной области», являвшееся частью общего процесса ее «собирания» в XVII – XVIII вв.[1]. Настаивая на необходимости преодоления всех негативных последствий «ненормального» хода исторического развития Прибалтийского края, Чешихин писал: «Исконная русская область, отчужденная от Древней Руси насилием, может быть вполне воссоединена с ней лишь путем гармонического слияния посредством устранения всех чуждых наростов, накопившихся в течение вековой обособленности края»[2]. Данное заявление относилось, в первую очередь, к сохранявшимся в крае архаичным средневековым институтам и отношениям, не предполагая, безусловно, никакой насильственной ассимиляции местного населения, либо вытеснения какого-либо из его элементов за пределы региона. Осуждая насильственные методы насаждения собственной культуры, некогда использованные пришлым немецким элементом, Чешихин в своих исторических трудах фактически отстаивал идею мультикультурного единства населения Прибалтийского края на основе сплочения остзейского элемента, местных коренных народностей и русских в единое сообщество граждан Российской империи, этническая и культурная принадлежность которых не являлась бы основанием для их разделения и конфронтации[3].

Ведя активную научно-исследовательскую деятельность, Чешихин стремился к тому, чтобы результаты его трудов не ограничивались узким исследовательским сообществом и становились бы известны максимально широкому кругу русских читателей, формируя у них «правильные» представления об исторических судьбах Прибалтийского края,

[1] Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I. С. V; Рижский вестник. 1873. № 196. 6 сентября.
[2] Рижский вестник. 1879. № 181. 14 августа.
[3] Богов В.А. История межэтнических отношений в Прибалтийском крае к XIX в. // Вестник Вятского государственного университета. 2015. № 9. С. 43–50.

опровергавшие созданный немецкими учеными образ региона как «вековечного» владения немецких баронов, распространявших здесь «свет цивилизации и просвещения». С этой целью он настойчиво пытался добиться включения собранных им исторических материалов и научных трудов по истории Ливонии в фонды фундаментальных и ученических библиотек гимназий и реальных училищ, ходатайствуя о рекомендации их со стороны учебного ведомства как пособия для изучения истории Прибалтийского края. В 1883 – 1884 гг. он неоднократно обращался с соответствующим запросом к министру народного просвещения И.Д. Делянову, указывая на совершенно недостаточную изученность прошлого Прибалтийского региона и ссылаясь на то, что издание «Сборника материалов…» ранее было одобрено одним из его предшественников, графом Д.А. Толстым[1]. Редактор «Рижского вестника» просил министерство о приобретении хотя бы 150 экземпляров «Сборника…» по сниженной цене, что позволило бы не только познакомить учащихся со многими ранее неизвестными материалами по истории края, но и продолжить данную публикацию, способную принести «несомненную пользу нашей исторической науке»[2]. В своих ходатайствах Чешихин делал упор на чрезвычайную «своевременность» подобного издания, явно имея ввиду готовившиеся в крае преобразования, нуждавшиеся, по его мнению, в соответствующем историческом обосновании. О том, что «*именно теперь* (курсив автора – М.К.) самое время начинать подобное издание» Чешихин указывал и в письме к являвшемуся членом Совета Министра народного просвещения И.П. Корнилову от 5 января 1885 г., в котором сообщал о начале публикации «Истории Ливонии», рассчитывая на то, что близость их взглядов на образовательную сферу как наиболее эффективное средство укрепления русских культурных начал на северо-западных окраинах обеспечит ему поддержку авторитетного и опытного сторонника «русского

[1] РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 374. Л. 1-2 об., 6–9.
[2] Там же. Л. 2–2 об.

дела»[1]. Однако на все свои прошения рижский деятель долгое время неизменно получал отрицательный ответ, «ввиду неимения на означенный предмет свободных денежных средств»[2].

Лишь в 1886 г. Ученый комитет Министерства народного просвещения счел возможным одобрить прошение Чешихина и рекомендовать его «Историю Ливонии» к приобретению для библиотек министерских учебных заведений, а также выделить ему единовременное пособие на продолжение издания в размере 500 рублей[3]. Данное решение служило лишь слабым моральным утешением для автора, поскольку выделенная сумма не могла покрыть всех расходов на публикацию его трудов, а учебные заведения зачастую не имели достаточных средств на приобретение дорогостоящего специализированного издания.

Отчаянно нуждаясь в средствах на продолжение выпуска своего «Прибалтийского сборника», материалы которого должны были помочь восстановлению «исторической справедливости» в отношении прошлого края, а также на издание «заветнейшего и любимейшего» труда по истории Ливонии, Чешихин обращался с прошениями о денежной субсидии к представителям высшей имперской администрации. Он надеялся на то, что наметившееся изменение внутриполитического курса правительства при министре внутренних дел Н.П. Игнатьеве, придерживавшимся славянофильских воззрений, положительным образом повлияет на отношение к его делу в верхах[4]. Примечательно, что просьба редактора «Рижского вестника», в силу «не спекулятивной, а общеполезной цели» издаваемого им с 1877 г. сборника была поддержана лифляндским губернатором А.А. Икскуль фон-Гильденбандтом, ходатайствовавшем о ее удовлетворении посредством своих личных связей в министерстве

[1] РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 852. Л. 1.
[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 374. Л. 5, 12.
[3] Там же. Л. 20–22.
[4] РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 430. Л. 1–1 об., 13–14.

внутренних дел[1]. Однако, несмотря на выражения горячего сочувствия результатам исследовательской деятельности Чешихина, которые признавались «важным вкладом в разработку областной истории нашего Отечества», а также заявления о «высоких достоинствах его, несомненно патриотического издания» и другие щедро расточаемые ему похвалы, материальной поддержки, необходимой для продолжения издания его исторических трудов ему оказано не было. В 1882 г. ему удалось получить лишь 1200 руб. в качестве гонорара от редакции официального «Правительственного вестника», разместившего на своих страницах по указанию начальника Главного управления по делам печати П.П. Вяземского некоторые документы из прибалтийской истории, на которые ему удалось опубликовать IV том «Прибалтийского сборника», оказавшийся последним[2]. Издавать первые тома «Истории Ливонии», за работой над которой, оборванной на полуслове, он и скончался 2 марта 1888 г., Чешихину пришлось уже на свои собственные, достаточно скудные, средства. Данный научный труд, в котором автор стремился дать историческое обоснование праву России на владение Прибалтикой и укрепление здесь русских государственных начал, не утратил своей научной значимости и в настоящее время. Работа над ним являлось частью общего процесса научного познания имперских окраин, без которого их включение в общее ментальное пространство Российского государства было невозможно и можно лишь сожалеть, что данный труд остался незавершенным.

Подводя итог, следует отметить, что Е.В. Чешихин представлял собой яркий пример энергичного русского окраинного деятеля, не только отстаивавшего интересы своих соплеменников в инородческом регионе, но и всячески способствовавшего его максимальной интеграции в российское государственное и культурное пространство. Созданная им газета, несмотря на многочисленные трудности, как материального, так и цензурного

[1] РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 430. Л. 2.
[2] Там же. Л. 6–7.

характера, стала эффективным средством консолидации местных русских сил и идеологического противодействия господствовавшему в течение длительного времени в Прибалтийском крае немецкому культурному началу. Его публицистика и научные труды стали значимым элементом отечественного национально-консервативного дискурса, посвященного окраинной проблематике, в центре которого стояла идея всестороннего укрепления государственного единства Российской империи посредством преодоления свойственной ей до второй половины XIX в. гетерогенности путем административно-правовой, языковой и культурной интеграции ее окраинных территорий. Ключевые концепты данной доктрины в воззрениях Чешихина дополнялись значительным региональным компонентом, обусловленным его глубокими познаниями в области местной истории и непосредственным соприкосновением с альтернативным остзейским ассимиляционным проектом, ставившим под угрозу сохранение региона в рамках имперского ментального, а, в перспективе, и политического пространства. Научные исследования Чешихина, посвященные историческому прошлому Прибалтийского края, по праву могут считаться продолжением трудов его более известного предшественника – Ю.Ф. Самарина, поскольку они, помимо своей сугубо научной составляющей, содержали в себе значительный общественно-политический посыл, состоявший в формировании научного обоснования отстаиваемой обоими общественными деятелями позиции в отношении русской прибалтийской окраины.

Вопреки устойчивым представлениям о преимущественно «славянофильской» направленности воззрений Чешихина и редактируемого им «Рижского вестника», объясняемой тесными связями между рижским публицистом и идейными лидерами данного направления, в его взглядах присутствуют также существенные элементы «катковской» концепции политической нации и надэтнической имперской государственности. Концептуальное смешение различных направлений национально-

консервативного дискурса, имевшее место в воззрениях многих окраинных представителей данного направления, свидетельствует о его внутренней нерасчлененности на региональном уровне, где он выступал как цельное «русское» направление.

Публицистика и общественно-политическая деятельность Чешихина, несмотря на ее локальный характер, внесла значительный вклад в формирование информационного и морально-психологического фона, необходимого для успешного проведения преобразований, направленных на «слияние» Прибалтийского края с коренными территориями России. Помимо этого, она оказывала содействие культурному движению коренных прибалтийских народов, которые рассматривались как «противовес» господствовавшему здесь остзейскому элементу и естественный союзник русских государственных начал. Тем не менее, взаимодействие Чешихина и его сторонников с региональными и верховными имперскими властями носило довольно противоречивый характер. Последние, признавая «полезность» и значимость «патриотически направленной» деятельности публициста, что выразилось в оказываемой его изданию субсидии, в силу традиционно-бюрократической модели мышления и архаичного сословно ориентированного характера управленческой практики, не сумели использовать мощный публично-идеологический потенциал, которым обладало издаваемое им русское патриотическое издание, не превратив его в свое полноценное идеологическое орудие. Имевшая место асинхронность в деятельности российской имперской администрации и местных русских национально-патриотических кругов, наблюдавшаяся, как в Прибалтике, так и в Северо-Западном крае, снижала эффективность их общих усилий, направленных на интеграцию региона в российской государственное и культурное пространство.

5.3 Проблема укрепления российской имперской государственности в отечественном национально-консервативном дискурсе на рубеже XIX – XX вв.

Вторая половина 80-х годов XIX столетия стала эпохой видимого торжества национально-консервативных, русских ценностей во внутренней политике российского самодержавия, олицетворяемых правлением императора Александра III, чье царствование ментально было связано с образом Московской Руси, включавшей в себя единый в этническом и конфессиональном отношении народ под властью православного царя[1]. Однако для русской консервативной мысли этот период, помимо ощущения внешней победы над либерально-западническими ценностями и удовлетворения, связанного с началом активной реализации консервативной программы преобразований в центре и на окраинах страны, стал сложным временем смены поколений, когда целый ряд ведущих теоретиков и идеологов отечественного консерватизма уходил из жизни.

В начале 1886 г. умер видный русский консервативный деятель славянофильского направления И.С. Аксаков, внесший огромный вклад в формирование национально-православной концепции российской имперской государственности, в деятельности которого, по словам М.О. Кояловича, «совмещались все лучшие начала русской и славянской жизни без сепаратизмов и без насильственных поглощений, без разделений на касты и пагубной нивелировки, все это подкреплялось не только умственной, но и нравственной силой, и поднималось, что особенно нам дорого, на высоту начал вселенского православия»[2]. Современники признавали, что его уход знаменовал собой завершение целой эпохи в истории русской общественной мысли, связанной с деятельностью целого круга мыслителей, защищавших «крепость здорового русского патриотического чувства» и национальные

[1] Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии Т. II. С. 326.
[2] Коялович М. Несколько слов об Иване Сергеевиче Аксакове // Русь. 1886. № 33. 13 февраля.

интересы России, стоявшие много выше узких этнических предрассудков и тесно связывавшие русскую народность с верой и православной Церковью[1].

Невосполнимой утратой для русской консервативной мысли стала смерть наиболее крупного отечественного консервативного публициста, «московского громовержца» М.Н. Каткова в июле 1887 г., об огромном общественном влиянии которого свидетельствовала широкая полемика, развернувшаяся в русской публицистике сразу после его кончины. Выйдя далеко за пределы традиционных некрологов, посвященных памяти общественного деятеля, она фактически превратилась в жаркий спор о месте и роли покойного редактора «Московских ведомостей» в общественной жизни России[2]. Среди прочих заслуг редактора, как его идейными сторонниками, так и оппонентами отмечалось наличие у него общей идеи, защите которой подчинялась вся его публицистическая деятельность – идеи укрепления единства Русского государства и его мощи, защите всего русского в общественной жизни и национально-русских интересов во всех вопросах внутренней и внешней политики[3]. Несмотря на различные точки зрения на характер и значение катковского творчества, многие современники разделяли мысль, высказанную С.Ф. Шараповым о том, что кончина Каткова стала невосполнимой утратой для русской национальной мысли и с его уходом российская государственная машина утратила своего наиболее преданного и эффективного слугу, знамя которого поднять было не по силу никому[4].

В это время уходили из жизни и крупные представители региональной консервативной общественности: в 1888 году не стало двух видных публицистов национально-консервативной направленности, отстаивавших русские национальные и государственные интересы в Прибалтике – Е.В. Чешихина и М.Н. Харузина, сыгравших значительную роль в

[1] Победоносцев К.П. Аксаковы. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1886. С. 4–5.
[2] Подробнее об этом см.: Котов А.Э. Русский политический предмодерн: забытые «консерваторы» второй половины XIX века. СПб.: Владимир Даль, 2019. С. 23–58.
[3] Новое время. 1887. № 4091. 21 июля (2 августа); Современные известия. 1887. № 202. 25 июля.
[4] Русский труд. 1897. № 30. 26 июля.

информационно-идеологическом обеспечении комплекса преобразований, направленных на интеграцию Прибалтийских губерний в имперское государственное пространство. В следующем, 1889 году скончался киевский общественный деятель катковского направления М.В. Юзефович, являвшийся, по свидетельству современников, несмотря на свое неофициальное положение, центром притяжения всего мыслящего русского в Киеве и «никогда не молчавший, когда русскому делу грозила опасность в этом крае»[1].

Окончательным ударом, грозившим поставить точку в деле реализации национально-консервативного курса, стала кончина императора Александра III, олицетворявшего и сплачивавшего вокруг своей фигуры русские национально-охранительные силы. За несколько дней до смерти монарха Л.А. Тихомиров с горечью писал о стремительном сокращении интеллектуальных сил русского консерватизма, отмечая, что заменить уходивших «титанов» консервативной мысли было некем: «Бедная Россия! И какие потери. Все, что ни есть крепкого или подававшего надежды – все перемерло... Ничего кругом: ни талантов, ни вожаков, ни единой личности, о которой бы сказал себе: вот центр сплочения»[2]. Еще большие опасения у мыслителя вызывало отсутствие у нового поколения отечественных консерваторов «добрых национальных начинаний», которые могли бы противостоять сохранявшему свою силу и влияние космополитическо-либеральному направлению общественной мысли, угрожавшему новым всплеском революционного и сепаратистского движения. Он писал: «Я не вижу в нынешней литературе большой работы национальной мысли, не вижу ни Аксаковых, ни Данилевского, ни Каткова…», в то время как предотвратить «старое безумие» можно было лишь путем «энергичной работы над выработкой своего национального мировоззрения»[3].

---

[1] Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу. 1869–1878. М.: Новое литературное обозрение. 2014. С. 123.
[2] Воспоминания Льва Тихомирова. М.–Л.: Госиздат, 1927. С. 424.
[3] РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 746. Л. 66–66 об.

Безусловно, мыслитель несколько сгущал краски, поскольку с кончиной указанных деятелей сформированные ими концепции развития российской имперской государственности и окраинной политики, как и русская национальная проблематика в целом не прекратили своего существования, развиваясь в трудах нового поколения отечественных консерваторов, к которым можно отнести его самого, а также С.Ф. Шарапова, В.А. Грингмута, С.Н. Сыромятникова, А.А. Александрова, Н.А. Энгельгардта и других. Однако с ним нельзя не согласиться в том, что таланты, популярность и общественно-политическое влияние последних, безусловно, значительно уступали ушедшим «титаническим фигурам» русского консерватизма, что обусловило определенную трансформацию рассматриваемого аспекта отечественной консервативной доктрины. Концептуальные и теоретические воззрения нового поколения русских консерваторов, как в философско-мировоззренческих и общеполитических вопросах, так и в частных сюжетах, связанных, в том числе, с проблемой интеграции северо-западных окраинных регионов, носили во многом вторичный характер, представляя собой интерпретацию теоретических и программных построений своих предшественников. Идейная вторичность, воспроизводимая на более низком уровне творческой репрезентации, вкупе с непрерывными внутренними конфликтами, разгоравшимися не на основе концептуальных расхождений, как это было ранее, а по более прозаическим причинам, связанным с финансовыми спорами и борьбой за право контролировать ведущие консервативные издания[1], не способствовала росту популярности консервативных взглядов в общественной среде. Также в отечественной национально-консервативной доктрине все более заметным становится крен в сторону этноцентристских тенденций, заметно усиливавший ее конфронтационную тональность и затруднявший поиск и выработку неконфликтных интегративных методов и практик.

[1] Медоваров М.В. Борьба за журнал «Русское обозрение» в 1892 г. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 105. С. 59–78.

В конце XIX века на роль главных выразителей национально-консервативной доктрины, вместо потерявших былую популярность и влияние «Московских ведомостей», претендовали основанный в 1890 г. журнал «Русское обозрение», являвшийся центром притяжения многих консервативных мыслителей и публицистов (В.А. Грингмута, Л.А. Тихомирова, И. Фуделя, А.А. Александрова и др.) и поставивший перед собой цель «обозревать всю текущую действительность и все историческое прошлое с русской точки зрения»[1] и газета «Новое время» А.С. Суворина, общественная позиция которого под его редакторством, по отзывам современников, «служила делу воспитания русского национального самосознания»[2]. Национально-славянофильскую доктрину умершего И.С. Аксакова пытался продолжать и развивать считавший себя его учеником и преемником писатель и публицист С.Ф. Шарапов, резкие публикации которого, содержавшие критику правительственной политики за недостаточное следование национальным интересам, неоднократно приводили к столкновениям с цензурой и закрытию редактируемых им еженедельников «Русское дело» и «Русский труд»[3]. Все указанные издания и сотрудничавшие с ними публицисты, как и их предшественники, при обращении к окраинной проблематике, продолжали оставаться в традиционном русле «русского направления», отстаивая русские интересы на национальных окраинах и призывая к продолжению активной интегративной политики.

Несмотря на то, что северо-западные окраины России традиционно продолжали занимать центральное место в национально-консервативной окраинной повестке, на рубеже XIX – XX веков обсуждение вопроса об их интеграции в российское государственное и культурное пространство

---

[1] Филиппов А.Ф. Из истории журнала // Русское обозрение. 1901. № 1. С. V.

[2] Глинский Б.Б. Алексей Сергеевич Суворин (Биографический очерк) // Телохранитель России: А.С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж: Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2001. С. 61.

[3] Репников А.В. Сергей Федорович Шарапов // Шарапов С.Ф. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. С. 5–22.

несколько утратило былую остроту и злободневность. Обращение к данному сюжету носило, скорее, характер анализа достигнутых политикой русификации результатов и указания на сохранявшиеся в регионе проблемы без выдвижения принципиальных программных предложений, направленных на их решение.

Наиболее важной из выявленных проблем была констатация неудачи политики, направленной на создание русского землевладения в Северо-Западном крае, которая рассматривалась как важнейшее условие полного «слияния» региона с коренной Россией. Большинство консервативных публицистов были вынуждены признать «мизерный» характер результатов правительственных усилий в данном направлении, не поколебавших доминирующего положения инородческого землевладения в регионе[1], польский сегмент которого в результате бюрократических просчетов и спекуляций был дополнен другим недружественным элементом – немецким, чье «засилье» на западных окраинах стало рассматриваться как прямая угроза русским интересам[2].

Разобраться в причинах данной ситуации попытался А.П. Владимиров, в 1860-е годы являвшийся одним из видных членов «виленского кружка русификаторов», воочию наблюдавший за реализацией правительственной программы формирования русского землевладения в Северо-Западном крае и имевший четкие представления о ее недостатках. Свои размышления и соображения по данному вопросу он изложил в нескольких пространных очерках, опубликованных на страницах журнала «Русское обозрение» в 1894 г., в которых была представлена широкая картина правительственных усилий, направленных на вытеснение польского элемента из

[1] Гражданин. 1884. № 6. 22 января; Русский труд. 1897. № 36. 6 сентября; Новое время. 1893. № 6296. 8(20) сентября.

[2] Котов А.Э. Экономические и социальные аспекты русификации западных окраин Российской империи в оценках консервативной печати: 1894 – 1899 гг. // Научный диалог. 2018. № 7. С. 255–258.

землевладельческой сферы, сопровождаемая анализом причин ее неэффективности и рекомендациями по их преодолению[1].

По мнению их автора, «располячение западно-русского землевладения» носило вынужденный характер, поскольку было спровоцировано самим польским панством, непрерывно «злоумышлявшим и злодействовавшим против государства», «подрывавшим его основания и разрушавшим русскую народность». Данная мера, таким образом, представлялась им не столько как воздаяние за польские «козни», сколько необходимое условие сохранения целостности и «безопасности» Русского государства, сохраняя свою актуальность и на рубеже XIX – XX вв.[2] Однако главным препятствием на пути ее успешной практической реализации, по мнению Владимирова, стали не происки и сопротивление поляков, а непоследовательность и слабость правительственной политики, которой остро не доставало ставящейся ей в пример немецкой системности и настойчивости. Следствием этого становилась полная зависимость траектории правительственного курса от субъективных взглядов отдельных администраторов, что в свою очередь вело к принципиальным отклонениям от поставленной стратегической задачи, а также к многочисленным злоупотреблениям, проявлявшимся в полном пренебрежении к законности, фаворитизме, «кулачестве и спекуляции», способствовавших не только сохранению земельной собственности в польских руках, но и созданию крайне негативного образа русских – как администраторов, так и землевладельцев, в глазах местного населения[3].

Безусловно, основной град критики обрушивался на генерал-губернатора А.Л. Потапова, фигура которого для Владимирова стала своеобразным воплощением всех недостатков правительственной политики в крае, символизируя собой «предательство» русских интересов, подменяемых

---

[1] Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае // Русское обозрение. 1894. № 7. С. 217–241; № 8. С. 748–767; № 9. С. 171–192.
[2] Там же. № 7. С. 217–241. С. 219.
[3] Там же. С. 223–233.

карьерными соображениями и личной выгодой[1]. Однако досталось от него и русскому обществу Северо-Западного края, значительная часть которого либо имела отталкивающий морально-нравственный облик, за что ее представители назывались публицистом «дикобразами»[2], либо относилась им к «полякующим тутейшим», «спрятавшим в карман свое русское знамя, отрекшимся от своей народности, от своего быта и языка», для того, чтобы получше устроиться в крае[3]. Оба этих типа, по мнению Владимирова, наносили русскому делу в крае не меньший урон, нежели польские «козни», способствуя оттоку из него достойных представителей русского общества, не желавших «залезать в виленскую грязь» и не имевших возможности защитить свои экономические и культурные интересы ни перед лицом местных властей, ни перед лицом своего откровенно недружественного окружения[4].

На отсутствие единства в русском обществе Северо-Западного края, как на одну из важнейших причин его слабости в данном регионе указывал на страницах «Нового времени» и активно сотрудничавший с газетой и разделявший основные положения национально-консервативной доктрины писатель и публицист Н.А. Энгельгардт, отмечавший значительное «обособленничество» русских «тутейших», чуждых, несмотря на свое православное исповедание и патриотизм, интересам русского дела в крае и неодобрительно свысока смотревших на пришлый русский элемент[5]. Возникновение данного типажа объяснялось сложными внешними условиями существования этих «побережных» людей, «исторически воспитанных среди политических перемен, на зыбкой неверной вулканической почве», вынужденных приспосабливаться к обстоятельствам

[1] Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае // Русское обозрение. 1894. № 7. С. 223, 229–230, 233–234; № 9. С. 176–177.
[2] Там же. № 7. С. 236.
[3] Там же. № 8. С. 752.
[4] Там же. № 7. С. 227–228.
[5] Новое время. 1901. № 8929. 18(31) января.

и «ладить и с евреем, и с поляком, и с немцем…»[1]. Надежной опорой правительственной политики обрусения края, по мнению публициста, они стать не могли, поскольку их русская идентичность носила, скорее, локально-региональный, нежели общегосударственный, имперский характер.

Трудности на пути создания прочного русского землевладения, являвшегося надежной материальной опорой политического господства в крае, объяснялись корреспондентами «Нового времени» также и полным «отсутствием системы» при проведении данной политики, что выражалось также в составе лиц, получавших здесь землю, представленных преимущественно мелкими отставными чиновниками, инвалидами, мещанами, то есть, людьми, в большинстве своем не способными к ведению сельского хозяйства, стремившихся поскорее покинуть регион[2].

Указывая на эти и другие причины неэффективности правительственной политики в области водворения русского землевладения в Северо-Западном крае, национально-консервативные публицисты не отказывались от самой идеи «землевладельческой русификации» региона, полагая, что более внимательное и ответственное отношение к ее проведению со стороны правительства позволит достичь поставленных целей. Общим местом в их программах являлся призыв перенаправить организованные переселенческие потоки крестьян-великороссов из Сибири и Средней Азии в Западный край, при помощи Крестьянского банка предоставив им там обширные и удобные земли и защитив их «польских махинаций» и «еврейской эксплуатации»[3]. Помимо твердого административного надзора и контроля за переселенческой политикой, пресекавших любые злоупотребления в данном вопросе, отстаивавший эту идею Владимиров, считал необходимым упорядочить деятельность Виленского земельного банка, превратив его в инструмент содействия русским переселенцам, а также создать в крае русское

[1] Новое время. 1901. № 8929. 18(31) января.
[2] Новое время. 1893. № 6296. 8(20) сентября.
[3] Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае // Русское обозрение. 1894. № 9. С. 189.

землевладельческое общество, аналогичное тому, что уже существовало в Юго-Западном крае[1]. Последовательное и твердое проведение землеустроительной политики, по мнению публициста, позволило бы создать обширное русское крестьянское землевладение в Северо-Западном крае и, тем самым, прочно закрепить его за Россией.

Отмечаемые консервативными мыслителями недостатки обрусительной политики и констатируемое ими сохранение «отторгнутости» северо-западных окраин от коренной России все же не дают основания характеризовать их позицию в отношении перспектив интеграции данного региона как однозначно скептическую. Консерваторы полагались скорее на «естественный», эволюционный ход событий, общая внутренняя логика которых, по их мнению, должна способствовать естественному социально-экономическому и культурному сближению окраины с имперским центром и постепенному отмиранию польских политических мечтаний, сравниваемых со старческими воспоминаниями, хотя и приятными, но совершенно бесполезными для будущего[2].

Сопоставляя духовное развитие русского и польского обществ на протяжении четверти века, минувшего со времени мятежа 1863 – 1864 гг., анонимный автор цикла очерков под общим названием «Пешком с Буга на Вислу», опубликованных на страницах газеты С.Ф. Шарапова «Русское дело», отмечал, что, в то время как русское общество «настойчиво стремилось выяснить для себя положение своей народности», что вело к развитию и росту национального самосознания, польское сознание «застряло в прошлом», превознося отжившие отношения, «размазывая яркими красками помещичье-польский, то есть, рабовладельческий быт», «вытаскивая из хлама в свое время прелестные, но уже отжившие атрибуты былой жизни»[3]. Публицист был уверен, что этот «иерихонский плач о

[1] Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае // Русское обозрение. 1894. № 9. С. 188–190.
[2] Новое время. 1901. № 8929. 18 (31) января.
[3] Русское дело. 1888. № 9. 27 февраля.

потерянной политической самостоятельности» не нес в себе никакой угрозы для российской государственности, поскольку столкновение 1863 – 1864 гг. и последующие события имели огромное историческое значение, устранив «камень преткновения», причину коренной борьбы между крупнейшими славянскими государствами, носившими в себе два противоположных принципа общественной организации[1].

Схожие идеи отстаивал и Н.А. Энгельгардт, подчеркивавший заметную отсталость от нужд современной практической жизни польской «заядлости», в большей мере существующий даже не в развитой Варшаве, а в патриархальной Вильне, в обществе которой сохранился «тип старого фантазера, живущего прошлым… и вздыхающего над призраком на веки «сгинелой Польски», который в меркантильной Варшаве с каждым днем выдыхается и теряет искренность»[2]. Отмечая чрезвычайную сложность противоборствующих в Северо-Западном крае сил и течений, где, наряду с сохранявшим свое влияние полонизмом, о своей «угнетенной самобытности» стали заявлять и жмудины, в просвещенных кругах которых зазвучала идея «Литвы для литовцев», публицист, тем не менее, не сомневался в победе «русского дела» в крае, залог которой он видел в его «исконно-русской исторической почве», твердой и неуклонной «русской политике», а также в «естественном» ходе жизни, экономические потребности которой должны перевесить любые призраки прошлого[3]. В качестве примера Энгельгардт указывал на коренные польские земли, отчуждение которых от империи он считал невозможным в силу возникновения «тысячи прочных связей» на промышленно-биржевой почве между имперским центром и окраиной, чья промышленность питалась внутренним русским рынком, вследствие чего в польском обществе появилось примирительное «угодовство», являвшееся трезвым признанием наличного факта[4]. Такие же «естественные» процессы,

[1] Русское дело. 1888. № 9. 27 февраля.
[2] Новое время. 1901. № 8929. 18 (31) января.
[3] Там же.
[4] Там же.

среди которых хозяйственные и культурные тенденции имеют решающее значение, по его мнению, со временем приведут к постепенной интеграции Северо-Западного края. Публицист писал: «Кругом жизнь сама делает свое целительно-созидательное дело. Из-под паразитного налета польщины в красоте и свежести восстает исконный русский край, и древняя русская правда перемогает последнее марево вековой кривды»[1].

Следует отметить, что Н.А. Энгельгардт, активно сотрудничавший с «Новым временем», на рубеже XIX – XX вв. неоднократно обращался ко многим сюжетам, связанным с Северо-Западным краем, став фактически постоянным корреспондентом, освещавшим данную тему на страницах газеты. Его публикации по данной теме не носили оригинального характера, представляя собой изложение основных тезисов национально-консервативной доктрины в отношении края, разработанных теоретиками данного направления в предшествующий период. Центральное место среди них занимала концепция исконной русскости Северо-Западного края, обосновываемая публицистом посредством популяризации результатов научных изысканий ученых, изучавших прошлое региона и материалов, собранных местными научно-историческими учреждениями – Виленской археографической комиссией и музеем древностей[2]. Новым явлением было то, что основные положения данной концепции противопоставлялись теперь не только альтернативному польскому историческому нарративу, но и зарождавшейся местной национальной версии региональной истории, определявшей белорусскую культурную традицию и язык как наиболее древние и доминирующие в крае начала, развивавшиеся вне зависимости, как от польского, так и от восточно-русского культурного влияния.

Так, в частности, Энгельгардт остро полемизировал с анонимным автором – «г. С.П.», утверждавшим, что самостоятельный белорусский язык, столь же отличный от русского, как польский или чешский, вполне

[1] Новое время. 1901. № 8929. 18 января.
[2] Новое время. 1901. № 8957. 2 (15) февраля, № 8965. 10 (23) февраля; 1903. № 9741. 3 (16) мая.

сформировался со второй половины XIV в., «то есть еще до того времени, когда польская государственная власть могла иметь влияние на Литву», вследствие чего делалось громкое утверждение о том, что средневековая Литва «писала по-белорусски»[1]. Из данных заявлений могли вытекать далеко идущие выводы о «белорусском» характере Литовской государственности, права, литературного языка и культуры, которые Энгельгардт считал сознательным и вопиющим искажением исторических реалий, уравнивавшим русское культурное влияние на край с пришлым польским, игравшим, в конечном итоге, на руку последнему.

Опираясь на выводы авторитетных ученых И.Я. Спрогиса и А.И. Соболевского, публицист отказывал белорусскому говору, сложившемуся в результате «многовековой борьбы с польщиной», в праве называться особым «языком», подчеркивая, что, вне зависимости от региональных филологических особенностей, самосознание «древних литовских людей», определяемое используемым ими «природным русским языком», носило ярко выраженный русский характер[2]. Энгельгардт ссылался на члена Виленской археографической комиссии Ф.Н. Добрянского, утверждавшего в предисловии к одному из томов публикуемых «Актов…» с опорой на приводимые источники, что период с XV по начало XVII в. был «самой цветущею эпохою русского языка в Литве, когда все судебные и административные акты даже на Жмуди, т.е. в самом центре литовского племени…, писаны не иначе, как на русском языке»[3]. Это давало современникам основание заявлять: «Литва и Жмудь цветет русчизною» и не могут существовать без русского языка, а собственное «наречие Литвы», постепенно выделяясь из общерусского говора, «вполне сформировалось в виде западнорусской речи» только к концу XVI столетия[4]. Публицист

[1] Новое время. 1901. № 8956. 1(14) февраля; № 8963. 8(21) февраля.
[2] Новое время. 1901. № 8965. 10(23) февраля.
[3] Там же; Добрянский Н.Ф. Предисловие // Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Т. XXVI. Акты Упитского гродского суда. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1899. С. XXVIII, XXXII.
[4] Там же.

принципиально возражал против отождествления выделяемого филологами западнорусского языка с народным белорусским говором, лишь лежащим в основе его, «как множество областных говоров лежит в основе русского литературного языка»[1]. Неопровержимый факт использования в Великом княжестве Литовском кириллицы, в которой «тонули все говоры, как в единой необъятной Руси – и Великая и Малая и Белая Русь», служил для него веским доказательством «русскости» Литвы, определяемой, в первую очередь, по языковому признаку[2].

Публикации Энгельгардта были направлены на противодействие фальсификации истории Северо-Западного края, в основе которой лежала подмена исторического первенства и доминирования русского языка, как «стяга духовного единства Литвы с русским народом», белорусским наречием, олицетворявшим первенство местных национальных начал, что «выводило» регион из русского символического пространства, придавая ему черты культурной (а, в последствии – и политической) субъектности.

Трудно сказать, осознавал ли публицист, отстаивавший свою позицию в рамках привычной логики русско-польского противостояния в крае, в полном объеме новую угрозу, исходившую от зарождавшихся литовской и белорусской версий исторического прошлого края. Однако, вне всякого сомнения, в данных новых этно-национальных интерпретациях он не мог не усматривать покушения на традиционный для отечественного национально-консервативного дискурса тезис о неразрывном культурном и языковом единстве Северо-Западного края с коренной Россией, что побуждало его последовательно и упорно отстаивать мысль о том, что «его «основа» и культурно-историческая «подпочва» была не местная, а общерусская, и «великая единая Русь с ее исконными творческими началами оплодотворила духовными семенами литовскую землю на заре ее истории»[3].

---

[1] Новое время. 1901. № 8957. 2(15) февраля.
[2] Там же.
[3] Там же.

На рубеже XIX – XX вв. многочисленные затруднения, возникавшие в процессе преодоления гетерогенности имперского пространства и попыток «обрусения» национальных окраинных регионов, а также активное развитие новых региональных идентичностей, постепенно утрачивавших привычный статус «недоминирующих», приобретавших все большее влияние на окраинах и не стремившихся сливаться с русской народностью, побуждали отечественную национально-консервативную мысль переменить угол зрения на проблему укрепления государственного единства Российской империи. Русские консерваторы постепенно приходили к мысли о том, что для сохранения государственной целостности и эффективной интеграции национальных окраин следует не только воздействовать на окраинные сообщества, стремясь к их аккультурации и интеграции в имперское пространство, но и всесторонне совершенствовать само ядро российской государственности, способствуя его «оздоровлению», очищению от всяческих инородных напластований и общему культурному и духовному развитию.

Достижению данной цели должны были способствовать не только правительственные меры, но и деятельность легальных культурно-просветительских общественных организаций, создаваемых как в центре, так и на окраинах империи. Одним из наиболее известных русских обществ национально-консервативной направленности, возникших на рубеже XIX – XX веков, организаторы которого ставили перед собой задачу сохранения самобытной русской духовной и материальной культуры и ограждение ее от разрушительного «космополитизма», стало «Русское собрание», официально оформившееся в январе 1901 г. Данное общество, деятельность которого достаточно подробно освещена в исследовательской литературе[1] и выходит за рамки настоящего исследования, представляло собой интеллектуально-

[1] Лукоянов И. В. Русское собрание // Россия в XIX – XX вв. Сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 165–170; Степанов А.Д. Черная сотня: взгляд через столетия. СПб.: Царское дело, 2000. С. 10–12; Кирьянов Ю.С. Русское собрание 1900 – 1917. М.: РОССПЭН, 2003.

организационную основу развития русского консерватизма в начале XX века, в условиях новых вызовов, угрожавших не только самодержавию, но и целостности государственного пространства России. Необходимо отметить, что сами члены общества подчеркивали отсутствие конфронтационных компонентов в его программе, направленной не на возвеличивание русского начала за счет принижения инородцев и отрицания всего «западного», а на «утверждение, ободрение и взращивание своего, русского», на воспитание общества «в сознании его собственного русского достоинства»[1]. Несмотря на данные миролюбивые заявления, сменившиеся, впрочем, в период революции 1905 – 1907 гг. более решительной русофильской риторикой, возникновение «Русского собрания» стало одним из проявлений постепенного этнонационального поворота в отечественной консервативной доктрине, провозглашавшей и обосновывавшей символическое первенство русской нации в многонациональной Российской империи и напрямую связывавшей защиту ее интересов с сохранением существующего политического строя.

Внутриполитические события в России впервые годы XX века, всерьез поставившие под угрозу сохранение в стране самодержавного политического строя, побуждали отечественных консерваторов прибегать к поиску актуальных аргументов в пользу его сохранения в неизменном виде, ключевым из которых являлось проведение неразрывной взаимосвязи между неограниченным самодержавием и государственным единством сложносоставной Российской империи. Власть Всероссийского императора, не имевшая четкого юридически-правового оформления, трактовавшаяся «не только как юридическое установление, но и как фактическое отношение»[2], как служение высшему государственному и религиозному идеалу, «на которое обречен человек»[3], представлялась решающим объединительным началом для разнородных частей российской имперской государственности.

[1] Кирьянов Ю.С. Русское собрание. С. 26–27.
[2] Казанский П.Е. Власть Всероссийского императора. М.: «Москва», 1999. С. 26.
[3] Победоносцев К.П. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. С. 399.

Следовательно, любое ее ограничение в отечественном консервативном дискурсе рассматривалось не только как покушение на освященный традицией политический принцип, но и как прямая угроза единству и целостности Российского государства.

Данную взаимосвязь активно отстаивал видный русский киевский общественный деятель национально-консервативной направленности, сын неоднократно упоминавшегося в данной работе М.В. Юзефовича – Борис Юзефович, являвшийся убежденным монархистом и горячим сторонником укрепления русских государственных начал на западных окраинах империи. Будучи уроженцем Юго-Западного края, где прошла большая часть его жизни, Б.М. Юзефович был приверженцем идеи политической и культурной деполонизации западных окраинных регионов, резко выступая против тех общественных деятелей, что призывали к смягчению правительственной политики в отношении поляков.

В качестве примера демонстрации его позиции по данному вопросу можно привести эпизод, когда в 1897 г. в письме к редактору «Санкт-Петербургских ведомостей» Э.Э. Ухтомскому он отказался от бесплатно присылаемых ему выпусков газеты (демонстративно вернув деньги за высланные ранее номера), мотивируя свое решение тем, что издание защищало права поляков, возмущавшихся постановлениями властей, обязывавших учащихся-католиков присутствовать на православных молебнах[1]. Киевский публицист отмечал, что «проповедь ненависти и презрения к православной молитве», проводимая столичной газетой, препятствует делу слияния западных окраин с коренной Россией и потворствует возрождению «польской интриги», которая, почувствовав моральное одобрение части русской общественности, будет стремиться «восстановить свое влияние на правительственную политику в наших западных окраинах»[2].

---

[1] ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1825. Л. 1–1 об.
[2] Там же. Л. 1 об.–2.

Б.М. Юзефович являлся убежденным монархистом, отстаивавшим неограниченность царской власти как важнейший элемент русского политического и исторического «наследия», сохранение которого в том виде, в каком оно перешло к Государю от предков, являлось его важнейшей обязанностью и долгом[1]. В качестве одного из важнейших аргументов, приводимых публицистом в пользу сохранения единовластия русского монарха, противопоставляемого широко распространившемуся в среде либеральной интеллигенции принципу «государственного самоуправления», выступало указание на сложносоставной и разноплеменной характер Российского государства, скрепляемого авторитетом неограниченной власти Государя, перед которым преклонялись даже сторонники национальной окраинной автономии. Юзефович был убежден в том, что замена самодержавия конституционно-парламентским строем неизбежно приведет к распаду Российской империи, поскольку неорганизованное русское большинство, идейными руководителями которого станут представители интеллигенции, «частью увлекающиеся идеями антинационализма, частью играющие в христианскую добродетель и терпимость к враждебным России инородцам, частью невежественные и чуждые русской истории и русским народным идеалам», не сможет противостоять политическим устремлениям хотя и меньших по численности, но спаянных своими национальными интересами инородцев[2].Он не сомневался, что «в конституционной России сплоченная партия инородцев в самом непродолжительном времени взяла бы верх в управлении страною, и что непосредственным следствием было бы отпадение от России инородческих окраин и полное экономическое и политическое господство евреев в центральной России»[3]. Публицист указывал на Австрийскую империю, как «грозный и поучительный пример того, насколько принцип государственного самоуправления неприемлем к

[1] Юзефович Б.М. Основы самопознания. Киев: Южно-русское книгоиздательство Ф.А. Иогансон, 1898. С. 25.
[2] Юзефович Б.М. Самодержавие или государственное самоуправление? Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1904. С. 6.
[3] Там же. С. 6–7.

странам со столь пестрым племенным составом населения», распад которой, обусловленный ее «политической дезорганизацией», является лишь вопросом времени[1].

Являясь принципиальными сторонниками русификации национальных окраин Российской империи, отечественные консерваторы на рубеже XIX – XX вв. стремились теоретически осмыслить данную доктрину, определив ее содержание и основные цели, а также устранив тот негативный подтекст, который сложился вокруг нее в общественном сознании, связывавшем ее исключительно с угнетением окраинных сообществ. Полемика о русификации, таким образом, становилась частью актуальной общественной повестки, связанной с определением путей развития Российского государства на заре нового столетия. Первостепенным объектом теоретической рефлексии являлась национально-окраинная политика, проводившаяся при императоре Александре III, представлявшая собой практическое воплощение русификаторской доктрины. Различия в ее характеристике олицетворяли собой точки размежевания в русской общественной мысли данного периода.

Наиболее видным государственным деятелем России, давшим сущностную и содержательную характеристику реализовывавшейся в годы царствования Александра III политики русификации, был неоднократно упоминаемый в данной работе бывший министр финансов, а затем председатель Комитета министров – Н.Х. Бунге. Он считал, что процессы, аналогичные русификаторским усилиям отечественных имперских властей происходили во всех государствах, имевших в своем составе разнородные национальные группы – Германии, Франции, Австро-Венгрии. Смысл русификации Бунге видел в усилиях российских властей по установлению господства в русском государстве *русской государственности* (т.е. русской государственной власти и русских учреждений); *русской народности*, что предполагало «освобождение последней от иноплеменного преобладания»;

[1] Юзефович Б.М. Самодержавие или государственное самоуправление? С. 6.

русского языка, как языка общегосударственного и *уважения к вере*, исповедуемой русским народом и его государем (курсив автора – М.К.)[1].

Характеризуя деятельность правительства Александра III в области национального вопроса, Бунге выстраивал некий «идеальный» образец русификаторской политики, свободный от крайностей «эгоистического национализма», отвергающего право на существование любых народностей, кроме своей. В то же время, он завуалировано разделял инородцев на тех, кто обладает развитыми культурными традициями, опытом государственности, традиционной территорией обитания и тех, кто «не имеет исторического прошлого и развитой общественности» и рассеян на территории Российского государства. Если первые, по выражению министра, должны перестать быть «вечными приёмышами страны» и сделаться ее родными сынами, то последние, неизбежно обречены «слиться с коренным населением»[2].

Важнейшим элементом русификации, по мнению Бунге, являлась административно-правовая унификации имперского пространства, необходимость в которой, в связи с усложнением государственной деятельности испытывали все без исключения государства, даже и те, в которых существуют традиционные федеративные отношения (в качестве примера им приводилась Швейцария). В странах же, «менее высокий уровень цивилизации» которых исключает возможность установить свободные договорные соглашения, либо, где они «несовместимы с политической жизнью страны» потребность в единых государственных законах и учреждениях является еще более настоятельной[3]. При этом, подчеркивалось, что русские государственные учреждения и законы не должны ломать исторически сложившийся строй «иноплеменников», но способствовать их сближению с коренным населением, укреплять государственное единство и авторитет власти.

---

[1] Бунге Н.Х. Загробные заметки. С. 201.
[2] Там же.
[3] Там же.

Другими значимым элементом политики русификации Бунге считал распространение государственного языка, господство которого должно определяться его практической необходимостью, но не стремлением искоренить инородческие языки. Распространение же православия, которое являлось еще одним традиционным средством русификации, по мнению государственного деятеля, должно проводиться только путем подвижничества ее представителей, миссионерской деятельности, но ни в коем случае не административным путем, что лишь отталкивало от нее инородческое население, возбуждая в нем религиозный фанатизм[1]. Таким образом, государственный деятель фактически выступал против использования православия в качестве рычага русификаторской политики, проводимой имперскими властями.

Главная особенность представлений Бунге о русификации состояла в том, что эта политика, имея общие стратегические цели, не могла обладать единообразными формами реализации в различных регионах империи по отношению к различным инородческим сообществам. Государственный деятель настаивал на множественном характере русификаторских практик, наполнение которых конкретным содержанием имело ситуативный характер, зависевший от культурного уровня инородческого сообщества, его традиций, а также степени лояльности по отношению к имперскому центру.

В 1890-е годы в полемику о сущности политики русификации, ее целях, характере и методах реализации включались не только публицисты и государственные деятели, но и профессиональные ученые, такие как историк, этнограф, профессор Казанского университета И.Н. Смирнов.

Ученый подчеркивал, что вся суть общественной дискуссии по национальному вопросу сводилась к вопросу о том, должна ли национальная политика в столь многонациональном государстве, как Россия, ограничиваться требованием соблюдения прочных политических отношений – уплате налогов, несению воинской повинности, подчинению имперским

[1] Бунге Н.Х. Загробные заметки. С. 202.

законам и администрации, либо ее целью является культурное объединение народов империи, их «полная ассимиляция с народностью господствующей»?[1] В поисках ответа на данный вопрос, по его мнению, русское общество в конце XIX столетия разделилось на националистов, берущих за образец прусский опыт германизаторской политики, рассчитывая применить его по отношению к российским реалиям, и либералов-интернационалистов, отстаивающих «европейский идеал федеративного государства», основанные на полной свободе развития каждой народности.

Ученый подвергал критике оба данных подхода, иронично отмечая, что «вчера… мы проектировали самоедские штаты, сегодня сочиняем ассимиляционные проекты по прусскому образцу и готовы применить их к тем же самоедам»[2]. Смирнов считал, что нужно отказаться от некритического заимствования европейских практик выстраивания окраинной политики и обратиться к собственному богатому историческому опыту взаимодействия титульной нации с инородцами.

Аккультурация инородцев, входивших в состав крупных государственных образований, созданных народом, находящимся на более высоком уровне социального и культурного развития, по мнению Смирнова, являлась вполне закономерным и естественным историческим процессом. Ученый выступал против «изобретения самобытных культур», указывая на то, что далеко не все народности способны к их созданию и восприятию[3]. Следовательно, по его мнению, воздействие имперских властей на инородцев Российской империи не могло ограничиваться исключительно «политическими отношениями», а должно было направляться на «культурное объединение всех национальностей и их полную ассимиляцию с правящей нацией»[4].

---

[1] Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики // Исторический вестник. 1892. Т. 47. № 3. С. 753.
[2] Там же.
[3] Асоян Ю.А. Понятие «культура» в языке русской этнографии (1880 – 1890 гг.) // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2011. № 17(79). С. 27.
[4] Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики. С. 761–762.

Однако достижение данных целей, по мнению Смирнова, не должно осуществляться насильственными методами, которые, не принося никакой практической пользы, будут способствовать лишь разжиганию межэтнической розни, отталкивая инородцев от русских людей и русского государства. Опираясь на исторический опыт русской государственной политики в отношении интегрируемых инородцев, ученый подчеркивал, что обрусение восточных народностей империи было достигнуто исключительно в результате мирных, естественных процессов и именно эту практику следует учитывать при формировании политики имперского центра по отношению к национальным окраинам в будущем.

«Первым и главнейшим орудием обрусительной политики» Смирнов считал умело организованную и направляемую властями колонизацию. Именно русские колонисты – крестьяне или рабочие, в достаточно большом количестве расселявшиеся на окраинных землях, в большей степени способствовали русификации инородцев, нежели православные миссионеры или правительственные администраторы. Отдельные случаи «дерусификации» – восприятия русскими колонистами инородческой культуры, языка, элементов быта совершенно не смущали ученого, видевшего в этом не более чем свойственную всем русским потребность приспособления к новым условиям окружающей среды[1]. В общем культуртрегерском потенциале русского народа, при правильно организованной и имевшей массовый характер колонизации Смирнов не сомневался. Колонизация должна была проходить не стихийно, а организовываться властью, задача которой состояла в том, чтобы направлять ее потоки в районы концентрации инородческого населения и «при самом глубоком внимании к интересам переселенцев» располагать их деревни так, чтобы они разрывали территорию инородческого населения на отдельные острова, время от времени пополняя переселенческие кадры[2].

---

[1] Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики. С. 760.
[2] Там же. С. 763.

Другое ключевое средство русификации инородцев Смирнов видел в правильно организованном народном образовании, осуществлявшемся первоначально на местных языках, запрещение которых, на чем настаивали некоторые наиболее рьяные русификаторы, по мнению ученого, было совершенно нецелесообразным и вредным[1]. Именно школа должна была мягко и ненавязчиво внедрять в сознание инородцев сущность православной христианской веры, его догматов и нравственного идеала, способствуя постепенному переходу к «русскости». Этот переход включал в себя не только осознанное и добровольное принятия православной веры, но и русского уклада жизни, быта, ежедневных поведенческих практик, духовных традиций. Ученый был уверен, что инородцы, находящиеся в благожелательном к ним русском культурном окружении, на родном языке познавшие и принявшие нормы православного вероучения, осознавшие практическую необходимость русской грамоты, сами выразят готовность и желание учиться по-русски, и тем самым постепенно добровольно «сделаются русскими»[2]. Данная модель русификации кардинально отличается от «истребительных» образцов ассимиляторской политики прусского или польского образцов, в основе которых лежала ненависть к инородцу и стремление насильственным путем стереть его самобытность, силой навязав ему чуждые культурные традиции.

Предлагаемая Смирновым концепция русификации была направлена, в первую очередь, на народности, не обладавшие развитым национальным самосознанием и стоящие на менее высоком уровне культурного и социального развития, чем русский народ. Это обстоятельство делало возможным минимизировать административно-властный компонент русификаторской политики, в большей степени полагаясь на культуртрегерский потенциал русских колонистов. Под обрусением Смирнов понимал фактически процесс аккультурации инородцев, который постепенно

[1] Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики. С. 763.
[2] Там же. С. 764.

должен был привести к их полной ассимиляции титульной государственной народностью. Такое развитие событий ученый-этнограф считал нормальным и естественным историческим процессом и прямой задачей правительства, противодействие которому путем искусственного развития племенного самосознания противоречило ходу истории и самой жизни[1]. Предлагаемая Смирновым концепция представляла собой одну из моделей русификации, программные положения которой могли использоваться не только «адресно», по отношению к «остановившимся в своей истории», не выработавшим собственного устойчивого самосознания народам, но и учитываться при формировании правительственной политики в отношении более развитых окраин.

Характеристика возможностей и перспектив русификаторской политики имперских властей была напрямую связана с оценкой ассимиляционного потенциала титульной государственной нации, от которого, в конечном счете, зависела способность поддерживать государственное единство и осуществлять интегрирующее воздействие на недоминирующие национальные сообщества, входившие в состав империи. В условиях активизации унификационных усилий, направленных на сглаживание присущей Российской империи гетерогенности, данный вопрос, помимо исторического и научно-этнографического значения, приобрел значительную политическую актуальность, привлекая к себе повышенное внимание ученых, общественных и государственных деятелей. Следует указать на имевшее место в рассматриваемую эпоху разграничение понятий «русификация», под которым понималось, в первую очередь, определенное направление правительственной политики и «ассимиляция», рассматривавшийся, преимущественно, как естественный процесс, не зависящий от воли и усилий государственной власти[2].

---

[1] Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики. С. 761.

[2] Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. VI: Статьи и публичные лекции о национальном вопросе. Славянский вопрос и война 1877 года. Польский вопрос. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. С. 23.

Первоначально вопрос об ассимиляторских возможностях русского народа поднимался в контексте рассмотрения формирования этнической структуры Русского государства. Отечественные ученые, затрагивавшие данный вопрос, отмечали высокую степень ассимиляционного потенциала русско-славянского элемента, обусловленную его культурным превосходством над соседними племенами, а также фактором христианства, который придавал колонизационному движению характер приобщения ассимилируемых народностей к более высокой цивилизационной общности[1]. Ассимиляционные процессы рассматривались и оценивались в общеевропейском просветительско-цивилизаторском ключе, как неотъемлемый элемент развития идеи нации, получившей широкое распространение в XIX столетии, в рамках которой ассимиляция мелких сообществ и народов более крупными признавалась естественным и неизбежным явлением[2]. Причем оценивались они преимущественно как позитивное явление для тех народов, которые становились их объектами, в силу приобщения к более высокой материальной и духовной культуре, что способствовало их ускоренному последующему развитию в рамках доминирующего политического сообщества[3].

При этом большинство отечественных мыслителей указывали на невозможность и нецелесообразность ассимиляции вошедших в состав Российской империи народов, «обладавших собственными политическими приданиями» и превосходивших титульную нацию по уровню своего цивилизационного развития. Связано это было, как с распространением в правительственных и общественных кругах определенного скепсиса в отношении способности русского народа ассимилировать вновь присоединяемые этнические сообщества, обладавшие большим опытом иногосударственного существования, какими, в частности, являлись поляки

[1] Нарежный А.И., Урушадзе А.Т. Оценка ассимиляционного потенциала русского народа в отечественной общественной мысли XIX в. // Былые годы. 2021. № 16(1). С. 233–235.
[2] Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. С. 64.
[3] Малинова О. Ю. Либерализм и концепт нации // Полис. 2003. № 2. С. 105.

или прибалтийские немцы, так и пониманием имперской государственности как надэтнической структуры, укрепление единства которой не предполагало достижения этнической однородности. Подчинение нетитульных этнических групп должно было строиться на основе административно-правовой унификации, в интересах государственного единства, не предполагая ликвидации их национально-культурной самобытности. На рубеже XIX – XX вв. даже в национально-консервативных кругах обрусение активно развивавшихся в социокультурном отношении инородческих сообществ признавалась несбыточной мечтой, попытки осуществить которую могли привести лишь к обострению межэтнических конфликтов и усилить среди них сепаратистских настроений.

Большой вклад в изучение ассимиляционного потенциала русского народа с этнографической точки зрения внес видный русский ученый, которого принято считать отцом-основателем отечественной этнографии – профессор Московского университета Н.Н. Харузин. Его взглядам свойственно всеобъемлющее понимание русификации как полной этнической гомогенизации, в результате которой должна была осуществляться полная аккультурация и ассимиляция инородцев с полной утратой ими своих культурных и самобытных черт, включая и отказ от собственного языка. Однако принципиальная возможность такой перспективы в отношении всех инородческих сообществ Российской империи ученым ставилась под большое сомнение, вследствие целого ряда обстоятельств.

Способность государства к аккультурации и ассимиляции инородческого населения напрямую связывалась ученым с культуртрегерским потенциалом титульной нации, анализу которого было посвящено специальное исследование[1]. Задаваясь вопросом о наличии и степени ассимиляционных способностей русского народа, Харузин провел

[1] Харузин Н.Н. К вопросу об ассимиляционной способности Русского народа. М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894.

детальный анализ характера его взаимодействия с различными группами инородцев, находившимися на разных уровнях социально-экономического и культурного развития.

Отмечая многочисленные примеры обрусения многих народностей, от которых остались только топографические обозначения и «смутные воспоминания в умах людей», ученый, тем не менее, указывал, что при неблагоприятных внешних обстоятельствах, а также при столкновении с сообществом, находящемся на более высоком уровне развития русские не только не проявляли высоких ассимиляционных способностей, но и сами демонстрировали неустойчивость в отношении альтернативных ассимиляционных воздействий[1]. Многочисленные примеры быстрой утраты русским населением, оказавшимся в инородном окружении, своих национальных особенностей, вплоть до отказа от родного языка и заимствования местных верований, приводили ученого к выводу об отсутствии у русского народа особых ассимиляционных способностей. Вследствие этого, «естественная» этническая гомогенизация значительной части имперского пространства без государственного вмешательства представлялась ученому невозможной.

Признавая невысокий уровень ассимиляционных способностей русского народа, Харузин указывал на наиболее эффективные средства ассимиляции, имевшиеся в арсенале имперских властей, при помощи которых правительство могло способствовать обрусению инородцев. Наиболее сильным из них он считал школу, способствовавшую не только распространению русского языка, принятие которого, по мнению ученого, являлось одним из наиболее рельефных признаков ассимиляции народа, но и общему культурному влиянию русского народа на инородческое население империи[2].

---

[1] Харузин Н.Н. К вопросу об ассимиляционной способности Русского народа. С. 3–4.
[2] Там же. С. 4.

Помимо этого, значимым рычагом ассимиляции инородцев, по мнению ученого, являлось развитие внутренней инфраструктуры – речных и сухопутных торговых путей, дорог, рынков, которые, являясь своеобразным местом встречи и пересечения различных народностей, могли способствовать вовлечению их в общегосударственные экономические процессы, выгода от которых была лучшим интеграционным средством. Приводя многочисленные примеры, Харузин подчеркивал, что наиболее быстрыми темпами обрусение происходило вдоль речных путей или торговых трактов, которые выступали в роли каналов распространения языка, а также общегосударственных материальных и духовных ценностей[1].

Отмечая роль религии как важного фактора во взаимодействии различных народов, Харузин, в то же время, не был склонен преувеличивать ее ассимиляционный потенциал. По его мнению, она могла оказать определенное ассимилирующее воздействие только на племена, находящиеся на «низких ступенях духовного развития», придерживавшиеся языческих верований, либо усвоившие «строго организованную» религию лишь поверхностно[2]. В иных случаях миссионерская деятельность православного духовенства, сколь бы интенсивной и хорошо организованной она ни была, значимых результатов дать не могла.

Первым отечественным мыслителем, предпринявшим попытку классификации различных проявлений русификации, был консервативный публицист и общественный деятель Л.А. Тихомиров, указывавший на то, что данное понятие включает в себя несколько смысловых уровней и проявлений, которые необходимо строго разграничивать как в практической политике, так и в ее теоретическом осмыслении. Впервые заявив не о «русификаци*и*», а о «русификаци*ях*», мыслитель указал на то, что данная политика при всей множественности ее проявлений должна строго разделяться на два вида – государственную и национальную.

---

[1] Харузин Н.Н. К вопросу об ассимиляционной способности Русского народа. С. 23.
[2] Там же. С. 25.

Государственная русификация, по его мнению, состояла в установлении политической лояльности, поддержке правящего режима, сохранении территориальной целостности, знании государственного языка, являясь естественным стремлением любого централизованного государства, невзирая на желания и волю народностей, входящих в его состав. Данная политика ни в коем случае не посягала на местные национальные особенности, обиходный язык, вероисповедание, бытовой уклад, являясь прямым продолжением процессов централизации и унификации, характерных для всей истории российской государственности. Напротив, в случае строгого исполнения инородцами всех обязанностей государственного единения, долгом имперских властей является охранение их национальной самобытности до «тех пор, пока нерусская национальность сама не пожелает становиться национально русской»[1].

Под национальной же русификацией понималась фактическая ассимиляция инородцев, предполагавшая их присоединение к вере, быту, образу мыслей русского народа, что, по мнению Тихомирова, должно было осуществляться исключительно по собственному желанию и добровольному побуждению и в реальности было применимо только по отношению к народам, не обладающим развитым национальным самосознанием[2]. Подмена одного понятия другим и смешение абсолютно разных управленческих практик в рамках единого определения, происходившее в результате недоразумения или вполне сознательно, сильно дискредитировала имперскую власть, вызывая у инородцев вполне обоснованный страх перед потерей своей национальной и культурной идентичности и стремление к сопротивлению обоснованным унификационным мероприятиям со стороны имперской администрации. Сам Тихомиров считал, что национальные окраины, «присоединенные к империи силой оружия или трактатами» должны сливаться с русским народом только в государственном смысле, но

[1] Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение // Тихомиров Л.А. Критика демократии. М.: «Москва», 1997. С. 547–548.
[2] Там же. С. 548.

«совершенно вольны жить по своим национальным особенностям»[1]. Четкое разграничение данных понятий и их популярное разъяснение, по мнению консервативного мыслителя, позволило бы избежать многочисленных недоразумений и конфликтов между правительством и инородческими сообществами.

Разграничение жесткой «истребительной» модели ассимиляции окраин, реализуемой некоторыми европейскими странами, в частности, Германией и политики русификации, проводимой российскими властями, было характерно для многих представителей русской национально-консервативной мысли. Известный русский филолог-славист, член «Русского собрания» и будущий издатель газеты «Окраины России» А.С. Будилович подчеркивал, что русская окраинная политика всегда основывалась на «почве свободной восточной церкви» и страдала, скорее, от слабости воздействия на инородцев, чем от чрезмерного нажима на них. Русификаторская деятельность наиболее видных окраинных администраторов, таких как Муравьев, Манасеин, Бобриков, «не подавляла местных инородцев, а, наоборот, старалась освободить их от гнета пришлых культуртрегеров и положить основание для духовного сближения этих инородцев с племенем и государством русским»[2]. Таким образом, ученый подчеркивал доминирование «оборонительного» компонента в русификаторской политике имперских властей. Как и Смирнов, Будилович считал, что истинное значение русификации должно состоять не в «механическом обрусении» инородцев, заключавшемся в насильственном насаждении среди них внешних признаков «русскости» – русских учреждений, законов, языка и православия, а в «органическом сроднении» их с русской образованностью, в чем главную роль играла школа, в которой «любовно сочетались» бы языки «природный и государственный, материнский и отечественный»[3].

---

[1] Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение. С. 548.
[2] Будилович А.С. По вопросу об окраинах России. СПб.: Тип. Воейкова, 1906. С. 21.
[3] Там же. С. 21–22.

Главная цель русификаторской политики, по мнению Будиловича, состояла в прочном обеспечении развития на национальных окраинах империи окраинах русской народности, русского землевладения, промышленности и торговли, русской школы и церкви, языка и литературы. Ее важнейшей задачей также являлось обеспечение здесь равноправия русских и инородцев в «службе государственной, общественной, частной», не предполагая полного вытеснения инородческого элемента, чьи «законные права» должны были строго соблюдаться[1].

Будилович, как и многие его единомышленники, упомянутые выше, считал, что политика русификация представляла собой естественный и закономерный процесс, протекавший в общем русле национально-объединительных тенденций, характерных для многих государств Европы – Германии, Великобритании, Франции. Русский «вариант» данных процессов имел то преимущество, что не был направлен на полную ассимиляцию инородцев, не покушался на их законные права и потребности. Отказ от данной политики, по мнению ученого, неизбежно приведет к разложению государственного единства, как это происходило в Австро-Венгрии и, в первую очередь, ударит по интересам русского народа, который утратит возможность «развития и даже существования на автономных окраинах»[2].

Ощущение вступления не только России, но и всей мировой цивилизации в совершенно новую эпоху своего развития на рубеже XIX – XX вв. побуждало отечественных консерваторов не ограничиваться частными вопросами национально-территориального устройства страны и переходить к новому этапу осмысления российской государственности, имперский характер которой рассматривался не только как историческая закономерность и данность, но и как глобальная миссия стоявшего в ее центре русского народа. Консерваторы стремились проанализировать наиболее значимые тенденции в развитии мирового сообщества, выявляя

[1] Будилович А.С. По вопросу об окраинах России. С. 24.
[2] Там же. С. 23.

угрозы и вызовы российской имперской государственности и пытаясь выработать наиболее оптимальную модель ее развития в новых условиях. Предлагаемая ими траектория была направлена на то, чтобы уберечь от разрушения и демонтажа создаваемое в течение нескольких веков единое многонациональное политическое пространство, сохранение цельности которого с доминирующей ролью в нем русского народа являлось главной стратегической целью их доктрины.

По мнению Н.А. Энгельгардта, изложившего свои размышления по данному вопросу в большой теоретической статье, опубликованной на страницах «Нового времени», двумя такими тенденциями являлись национализм, связанный с пробуждением племенного самосознания, формированием своей «национальной личности» и придания ей политической субъектности, и империализм, выражавшейся в стремлении к образованию гигантских семей народов, созданию «всесветного государства»[1]. Развитие двух данных начал мыслитель считал закономерным и естественным процессом, обусловленным, с одной стороны, здоровыми племенными инстинктами и любовью к своей народности и родине, с другой – стремлением к упорядочиванию хаоса, преодолению непрерывной «грызни и свары», характерных для межплеменных отношений. Их сочетание, по мнению Энгельгардта, обеспечивало необходимый баланс в развитии человечества, однако возведение одного из этих начал в ранг политического абсолюта было чревато самыми негативными последствиями для многих государств и народов[2].

Следует отметить, что в начале XX века в национально-консервативном дискурсе происходила определенная идейная трансформация в понимании национализма, который перестал связываться исключительно со стремлением малых народов к сохранению своей идентичности и обретению политической независимости. Национальная доктрина в это время обретала

[1] Новое время. 1899. № 8561. 28 декабря (9 января 1900 г.).
[2] Там же.

все более ярко выраженные консервативные черты, противопоставляясь интернационализму, наделяемому смешанными чертами европейского космополитизма первой половины XIX века и разрушительной революционности: пренебрежением к чувству патриотизма и народности, стремлением к низвержению церкви, насильственному отчуждению собственности, разрушению семейных основ и замене их «свободными отношениями»[1]. В данном контексте национализму и синонимичному с ним патриотизму стали придаваться черты традиционализма, противостоявшего разрушительным не только для имперской, но и в целом для любой традиционной государственности стремлениям.

Однако следование принципам «крайнего» национализма, к сторонникам которого в отечественной мысли Энгельгардт относил славянофилов братьев Аксаковых, по его весьма прозорливому опасению, неизбежно приведет «сначала к раздроблению империй на федерации народностей, потом народностей на отдельные миры, мирки, роды и семьи», что будет сопровождаться жесточайшими «межплеменными войнами, перерастающими в родовые и межличностные конфликты, то есть в первобытную «войну всех против всех»[2].

Опасность же империализма, под которым понималась «доведенная до крайних пределов» имперская идея, соединенная с капиталистическим строем, по мнению Энгельгардта, состояла в «полном уничтожении в сердцах людей идеи Отечества и великих чувств деятельного патриотизма», на место которого придет официальный «имперский патриотизм», маскирующий стремление к ограблению народов и собственному обогащению[3]. Примечательно, что с «падением идеи Отечества» Энгельгардт связывал многие негативные социокультурные явления, характерные для европейских колониальных империй и звучащие чрезвычайно актуально и в настоящее время – упадок культуры, крайний прагматизм и утилитаризм,

[1] Западный вестник. 1903. № 8. 8 ноября.
[2] Новое время. 1899. № 8561. 28 декабря (9 января 1900 г.).
[3] Там же.

падение рождаемости, обусловленное тем, что «женщины не смеют при жажде комфорта и обостренной борьбе за существование рожать обильно детей», дефицит которых пополняется мигрантами – «пришлыми элементами», которые неизбежно в будущем растворят в себе титульные нации[1].

Российское государство, по мнению Энгельгардта, являет собой уникальный пример гармонии национального и имперского начал, объясняемый тем, что, с одной стороны, русская имперская идея «не посягает на язык, веру и оседлость племен, входящих в состав Империи, не отнимает живой, милой, осязаемой родины ни поляка, ни финна, ни грузина, и только рядом с этой родиной ставит великое имперское отечество и включает ее в свою сферу, не поглощая и не обезличивая ее». С другой стороны – национализм отдельных народностей в России не может не сливать свои потребности с общеимперскими интересами, поскольку «он не в силах был иметь или сохранять самобытность своей государственности»[2]. Отечественная публицистика и общественная мысль, по мнению Энгельгардта, должна была избегать указанных крайностей в своих суждениях и всячески отстаивать и обосновывать это уникальное гармоническое единство, являвшееся залогом целостности империи и мирного сосуществования проживавших в ней народностей.

«Живая идея Отечества», лежащая в основе данной гармонии, по мнению публициста, была укреплена «великой реформой 19 февраля», создавшей крепкое крестьянское землевладение и установив живую связь между землей и народом, поддержка которой должна стать главным предметом забот правительства. Наряду с укреплением материальной основы российской государственности, Энгельгардт призывал к созданию понятной и доступной народу государственной идеи, «духовного Отечества», осознавать и любить которое мог только «повсеместно грамотный и

[1] Новое время. 1899. № 8561. 28 декабря (9 января 1900 г.).
[2] Там же.

просвещенный народ». Исходя из этого, публицист обозначал основные пути укрепления основ российской государственности, которые должны были состоять во всестороннем социально-экономическом и духовном развитии государствообразующей нации. Призывая правительство к следованию им, он писал: «Просвещение масс об руку с сохранением и укреплением народной земельности – вот основа, на которой зиждется идея Отечества у нас»[1].

Прямую связь между успешным внутренним развитием страны, связанным с ростом народного благосостояния и просвещения, и укреплением ее территориального и межнационального единства проводил также великий русский ученый и общественный деятель Д.И. Менделеев, внесший большой вклад в осмысление сущности и перспектив развития российской имперской государственности в начале XX века. Несмотря на то, что имя ученого в общественном сознании обычно связывается исключительно с областью развития химии и других естественных наук, сфера его интересов носила поистине энциклопедический характер, проникая в область гуманитарного знания, образовательную систему, а также затрагивая актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы. Подвергая острой критике многие аспекты правительственной политики, а порой даже вступая с ней в прямой конфликт, как это случилось в 1890 г., когда во время студенческих беспорядков он в знак протеста против деятельности министра народного просвещения И.Д. Делянова покинул Санкт-Петербургский университет, где преподавал долгие годы, ученый, тем не менее, стремился всячески сотрудничать с верховной властью в деле развития страны[2]. Он полагал, что, несмотря на многие недостатки отдельных правительственных лиц и их действий, именно монархический строй определил «единение России, ее просвещение духовное и умственное, ее силы внешние и внутренние и даже ее зачатки

[1] Новое время. 1899. № 8561. 28 декабря (9 января 1900 г.).
[2] Егоров Г.В. Социально-гуманитарные взгляды Д.И. Менделеева // Вестник Нижегородского университета им.Н.И. Лобачевского. История. 2015. № 5–6. С. 42–44.

промышленного и прогрессивного строя», вследствие чего «не только теперь, но в предвидимом будущем Россия была и будет монархической страной»[1].

Взгляды Менделеева по многим актуальным социально-политическим вопросам носили ярко выраженный национально-консервативный характер. За это они в советское время подвергались многочисленным нападкам, в частности со стороны Л.Д. Троцкого, заявлявшего, что «основная ткань общественного миросозерцания Менделеева была консервативна», а также пенявшего ему за «нежелание ссориться с официально-консервативным общественным мнением»[2]. Косвенно это признавалось и советскими исследователями общественной деятельности ученого, которые с сожалением были вынуждены указывать на свойственное ему «непонимание необходимости революционных преобразований в России» и во многом замалчивать его положительное отношение к монархическому строю и проводимой им политике, что не соответствовало образу «прогрессивного ученого»[3]. На консервативный характер экономической и политической публицистики Д.И. Менделеева, дающий основания ставить его в один ряд с другими видными представителями русского консерватизма указывают и современные исследователи[4]. Не следует забывать и о таком показательном факте, как вступление Менделеева в 1905 г. в ряды «Союза русского народа», многие из положений программы которого горячо поддерживались им.

Взгляды ученого на сущность российского государства, его важнейшие характеристики, а также перспективы развития, изложенные посредством детального анализа его количественных и качественных параметров, содержатся в двух крупных научно-публицистических трудах Менделеева – «Заветные мысли» и «К познанию России», написанных в начале XX века. В них фактически предпринята попытка исследования особенностей

---

[1] Менделеев Д. И. Заветные мысли. СПб.: Тип. М.П. Фроловой, 1903–1904. С. 344.
[2] Троцкий Л.Д. Д.И. Менделеев и марксизм // Сочинения. Серия VI. Проблемы культуры. Т. XXI. Культура переходного периода. М.-Л.: Госиздат, 1927. С. 279–281.
[3] Макареня А.А., Нутрихин А.И. Менделеев в Петербурге. Л.: Лениздат, 1982. С. 266.
[4] Китаев В.А. Большая история русского консерватизма: решения и проблемы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 4 (1). С. 283.

российской цивилизации, определения ее географического и культурного ядра, а также выработки оптимальной концепции эволюционного развития страны, изложенная в виде комплекса рекомендаций российскому правительству. В условиях глобальной трансформации, затронувшей в начале XX столетия все сферы жизни российского государства и общества, по мнению ученого, настоятельно необходимым было своеобразное самопознание и самоосмысление уникальной российской государственности, главной особенностью которой являлось ее географическое и культурно-цивилизационное «серединное» положение, «между молотом Европы и наковальней Азии». Следует подчеркнуть, что для теоретических построений Менделеева и его выводов характерен свойственный консервативному мировоззрению иерархизм ценностей, признание исторически обусловленного первенства одних, более «крупных», явлений над другими.

Наиболее ярко эта особенность проявилась в рассуждениях ученого о национализме, ставшем одной из наиболее заметных тенденций в жизни Европы с середины XIX века и подчинившем себе «все государственное сложение» многих европейских стран. Менделеев считал национализм естественным явлением, которое не может быть подавлено никакими интернациональными формами организации жизни народов[1]. Его закономерным результатом стало появление в Европе новых национальных государств – Италии и Германии.

Однако идея национализма, по мнению ученого, наряду с созидательным наполнением, обладала также мощным кумулятивным эффектом, создавая предпосылки для глобальных потрясений, угрожавших всему существующему европейскому порядку. Именно поэтому националистические устремления с присущими им крайностями должны подчиняться наднациональным, государственным интересам, как явлениям более высшего порядка, что в полной мере соответствовало характерному для консервативного мировоззрения примату целого над частным. Прочное

[1] Менделеев Д.И. К познанию России. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1907. С. 42.

государственное единство, сторонником которого выступал ученый, должно определяться господствующей, «большой» народностью, чьим основным идентифицирующим маркером являлся используемый ею природный язык. Малым же «народцам», по мнению Менделеева, «уже практически необходимо согласиться навсегда с большими, так как в будущем прочно лишь большое и сильное»[1]. Пребывание в составе крупного и сильного государства, каким являлась Российская империя, было залогом их культурного развития, сохранения национальной идентичности и прямого физического выживания. Это видение в полной мере распространялось и на некогда большие, но «исторически ослабевшие народности», имевшие шанс на будущее развитие только в том случае, если они будут «твердо держаться тех русских начал, которые дают им защиту от рядом живущих с ними их давних врагов, сломивших их когда-то временно существовавшую независимость»[2].

Являясь сторонником имперской государственности, Менделеев, при этом был противником любых форм национального угнетения и подавления культурных особенностей малых народов. Он отмечал, что разнообразие политических, культурных, религиозных отношений «вполне необходимо для правильного течения всего дальнейшего прогресса человечества»[3].

Именно в этом отношении, по его мнению, состояло главное отличие России от колониальных империй Нового времени. Формирование последних, в особенности, Британской империи основывалось на «нарочитом желании покорять», движимом жаждой наживы и экономическими интересами, связанными с быстрым промышленным развитием и стремлением иметь у себя в руках потребителей для избытков произведений метрополии. Становление же Российской империи, по мнению Менделеева, являлось результатом стечения совершенно иных исторических обстоятельств, никаким образом не связанных с поиском экономических

[1] Менделеев Д.И. К познанию России. С. 42.
[2] Там же. С. 44.
[3] Менделеев Д.И. Заветные мысли. С. 234.

выгод. Ученый указывал на вынужденный характер империостроительства в России, обусловленный необходимостью защиты государственного ядра, которое характеризовалось им как «небольшой сознательный союз русских людей», от многочисленных внешних угроз[1]. С точки зрения мыслителя, Россия стала империей фактически «поневоле», вынужденная либо расширяться, занимая земли своих «теснителей», либо погибнуть под их ударами. Менделеев неоднократно подчеркивал отсутствие в русском народе и в среде российских правителей склонности к агрессивному «завоевательству». Анализируя территориальные приобретения России, ученый указывал на то, что ею покорялись лишь те народы, которые не давали покоя прилегающим русским землям и не могли сложиться в государственном отношении сколько-либо удовлетворительно для соседской жизни[2]. Это утверждение относилось как к слаборазвитым народам, агрессия которых была частью их хозяйственного уклада – кавказцам, киргизам, крымцам, среднеазиатам, так и к агрессивным западным соседям – остзейцам, шведам, литовцам и полякам. Разделы Литвы и Польши, по мнению ученого, были закономерным результатом «многочисленных напоров» на Россию, которая, покорив их, продемонстрировала превосходство своей государственной организации[3].

Другая отличительная особенность Российской империи связывалась ученым с освободительной и культурно-просветительской ролью, которую она играла в жизни многочисленных народностей, входящих в ее состав. Ее выполнение, никоим образом не способствовавшее материальному обогащению страны и ее титульной нации, было направлено не на угнетение или эксплуатацию инородцев, что было характерно для колониальных империй, а их постепенное культурное слияние с государственным ядром[4].

---

[1] Менделеев Д.И. Заветные мысли. С. 396.
[2] Менделеев Д.И. К познанию России. С. 45–46.
[3] Менделеев Д.И. Заветные мысли. С. 396.
[4] Там же. С. 234–236.

Однако эта роль являлась лишь частью той глобальной цивилизационной миссии, которая была назначена России всем ходом исторического развития и обусловлена ее «серединным» положением между двумя не чуждыми ей мирами – Европой и Азией. По мнению Менделеева, эта миссия состояла в том, чтобы сгладить тысячелетнюю рознь, существовавшую между ними, «помирить и слить два разных мира, найти способы уравновешения между передовым, но кичливым и непоследовательным европейским индивидуализмом и азиатской покорною, даже отсталою и приниженною, но все же твердою государственно-социальною сплоченностью[1]. Ученый не характеризовал конкретно-исторические формы данного синтеза, однако был уверен, что только в рамках многонациональной Российской империи, сохранявшей культурные особенности входивших в нее народностей, было возможно здоровое соединение базовых принципов восточной и западной цивилизаций – идеализма и материализма, являвшееся залогом развития высших начал человеческой жизни[2].

Данные тезисы, являвшиеся определяющими в отстаиваемой Менделеевым концепции геополитического развития Российской империи, дают основание сделать вывод о том, что ученым были заложены основы евразийских представлений о цивилизационных особенностях России[3].

Ученый считал, что к началу XX века Российская империя достигла своих естественных рубежей, устранив все внешние угрозы, побуждавшие ее к дальнейшему территориальному расширению. Первостепенной задачей страны теперь являлось достижение гармоничного внутреннего устройства посредством развития народного просвещения и подъема производительных сил общества, что могло быть достигнуто только посредством основательного «постепенства» в развитии, сторонником которого выступал

[1] Менделеев Д.И. К познанию России. С. 146.
[2] Менделеев Д.И. Заветные мысли. С. 6.
[3] Козиков И.А. Д.И. Менделеев о евразийских особенностях Российского государства // Русская политология - Russian Political Science. 2018. № 1(6). С. 34–40. С. 38.

мыслитель. Успешное решение всех внутренних проблем, рост общественного благосостояния и просвещения, по мнению Менделеева, должны были способствовать сплочению народов, населявших Россию, при сохранении того культурного разнообразия и самобытности, которые выгодно отличали российскую государственность от иных мировых держав, построенных на подчинении одних народов другими.

В начале XX столетия в условиях идейного кризиса, переживаемого отечественной консервативной мыслью, и некоторого вакуума в осмыслении характера и перспектив развития российской имперской государственности, образовавшегося после ухода из жизни крупнейших представителей национально-консервативного направления второй половины XIX века, на роль идейного лидера русского консерватизма претендовал Л.А. Тихомиров, мечтавший «занять общественное положение умершего М.Н. Каткова»[1]. В своих публицистических и социально-политических сочинениях он уделял большое внимание вопросу сохранения государственного единства сложносоставных политических образований, включавших в свой состав множество общностей и объединений как этноконфессионального, так и политического характера, к которым относилась Российская империя, тесно связывая его с отстаиваемым им монархическим строем.

Давая общую характеристику российской имперской государственности, Тихомиров подчеркивал, что обширные пространства, занимаемые Российской империей, являются ее естественными границами, обусловленными географическими условиями и ресурсной бедностью входящих в состав государства территорий. Отмечая, что государственные рубежи всех стран являются не результатом их произвольных устремлений, а следствием естественного развития, в занятии «естественных территорий» он видел жизненно необходимую потребность, одновременно считая, что выход за их пределы неизбежно связан с многочисленными неудобствами и трудностями. Исходя из этого, Тихомиров указывал на вынужденный

[1] Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М.: Academia, 2011. С. 213.

характер российского имперского экспансионизма, вызванного «принудительным» стремлением к достижению своих естественных границ, охватывавших обширнейшую территорию, «хорошо отграниченную от соседей», дающую возможность установления равноправных и выгодных сношений с другими странами, а также позволяющую обладать необходимыми ресурсами[1]. Он подчеркивал, что на всем данном пространстве «нельзя жить иначе как в одном государственном союзе», создание и поддержание которого является важнейшей и вневременной задачей российской государственной политики. Стремление к распространению на указанное пространство, находившее свое воплощение, как в «инстинктивном движении народных масс», так и в последовательных усилиях верховной власти, вне зависимости от ее характера и внешних условий, по мнению Тихомирова, являлось основным содержанием российской истории[2].

Анализируя исторические корни Российской империи, Тихомиров указывал на первенство государственного начала в его строительстве и территориальном расширении, необходимом для нормального экономического существования народа и его защиты от внешних угроз. Мыслитель подчеркивал, что без поддержки и защиты со стороны верховных властей колонизация беспредельных пространств той территории, которую природа предназначила для обитания русской нации, и само ее существование были бы невозможны[3].

Другой важнейшей государственной задачей он считал духовное и внешнее единение нации, без которого достижение гармоничного общественного развития и социального прогресса было недостижимо. Ослабление национального единства, его «недоделанность», а также усиление вненациональных элементов, включенных в состав государства, но

---

[1] Тихомиров Л. А. Что такое Отечество? // Тихомиров Л. А. Апология веры и монархии. М.: «Москва», 1999. С. 29.
[2] Там же. С. 29.
[3] Там же. С. 34.

еще не слитых с ним, приводит к болезненным социальным потрясениям, чреватым гибелью государственности[1].

В отличие от Каткова и его сторонников, отстаивавших идею политической русской нации, консолидирующей имперскую государственность и не имевшей строго этнического характера, Тихомиров был сторонником принципа национальной империи, в основе которой лежала идея преобладания государственной титульной нации. При этом, консервативный мыслитель указывал на неприемлемость двух крайностей, в равной степени пагубных для России, суть которых состояла либо в уравнении всех национальностей империи в правах, либо в их насильственной русификации. В целом ряде своих публикаций, полемизируя с философом В. Соловьевым, отстаивавшим принципы национального и религиозного равноправия, Тихомиров доказывал, что реализация данной идеи неизбежно привела бы к «упразднению России» как единого государства[2]. Рассуждая об организации имперской государственности, он подвергал резкой критике идею «империи национальностей», объединявшей под властью верховного правителя равноправные, но разные по духу этнополитические субъекты. Мыслитель, напрямую связывавший имперскую идею с монархическим принципом, подчеркивал, что глава империи, олицетворявший собой государственное единство, не мог одновременно выражать дух всех подчиненных ему народностей. В этом вопросе его взгляды во многом были сходны с позицией Самарина, образно называвшего власть монарха, стоявшего во главе государства, включавшего в себя разнородные сообщества, но, при этом, лишенного национальных особенностей, «многоженством, поднятым на уровень долга и возведенным в политическую систему»[3].

---

[1] Тихомиров Л. А. Что такое Отечество? С. 30.
[2] Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение. С. 542.
[3] Я любил вас любовью брата...: переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э.Ф. Раден (1861–1876). СПб.: Русская мысль, 2014. С. 60.

Тихомиров считал, что неизбежным и необходимым условием существования разноплеменного государства является доминирование в нем одной нации, обладающей превосходящими государственными способностями и универсализмом, необходимым для успешного властвования над другими племенами[1]. Практика ущемления интересов титульной нации, посредством предоставления за ее счет различных льгот и благодеяний враждебным государству национальным группам, при помощи чего покупалась их лояльность и благосклонность, вызывала резкую критику мыслителя. Подобные явления, имевшие место в Российской империи, по его мнению, подтачивали основы государства, ведя его к неизбежному саморазрушению[2].

Тихомиров подчеркивал, что внутреннее единство империй, под которыми он понимал великие государства, в течение своей исторической жизни вводившие в свой состав как различные племена и национальности, так и целые «обломки» других государственных образований, может достигаться только путем всестороннего укрепления преобладающей государственной нации. По его мнению, именно сила и господство «основного государственного племени» является важнейшим залогом единения «разноплеменного государства», сохранения его территориальной целостности, лояльности его инородных подданных, а также самого существования монархического принципа власти, воплощавшего в себе дух господствующей нации. Успешная реализация «разумной» имперской политики, цель которой заключалась в универсализации составных частей империи и достижении внутреннего государственного единства, возвышающегося над всеми племенными инстинктами и политическими поползновениями народов, входящих в его состав, по мнению Тихомирова,

[1] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: РОССПЭН. 2010. С. 665.
[2] Там же. С. 666.

была возможна только при наличии «твердого основания» в виде силы и превосходства первенствующей государственной нации[1].

Данное требование, безусловно, не предполагало стирания национальных особенностей и «механического» смешения различных народностей, неизбежно вызывавшего их упорное сопротивление. Тихомиров неоднократно заявлял о неприемлемости насильственной русификации и жестких ограничительных мер по отношению к населению национальных окраин. Он считал, что репрессивные и дискриминационные элементы политики имперских властей являлись закономерным ответом на распространявшиеся на национальных окраинах сепаратистские устремления и существовавшее там ущемление прав русского населения. При этом публицист признавал, что данная ситуация возникла во многом вследствие непоследовательности и многочисленных ошибок при проведении национально-окраинной политики, которая испытывала непрерывные колебания от одной крайности к другой. По мнению Тихомирова, истинно русская национальная политика должна была способствовать добровольному слиянию всех наций империи, предоставляя множество компромиссных вариантов для тех, кто такому слиянию, по тем или иным причинам противится[2].

Вопреки распространенному мнению, Тихомиров не только не был сторонником националистического девиза «Россия для русских!», но и выступал с его резкой критикой, подчеркивая, что данный лозунг больше подходит слабым, немногочисленным, «замирающим» нациям, борющимся за выживание. Узкий национальный эгоизм, направленный на защиту исключительных прав русского племени, изолирующегося от других народов, широко распространявшийся среди отечественных правых мыслителей и общественных деятелей начала XX в., он считал «в высочайшей степени антирусской чертой», против которой «вопиет вся

[1] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 666.
[2] Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение. С. 543.

русская история, вся жизнь русского народа, все лучшие его мыслители и деятели»[1]. Русская национальная идея, лежащая в основе государственности, по мнению Тихомирова, была намного шире тесных рамок этнического эгоизма, представляя собой воплощение идеалов общечеловеческой жизни, которым она служила. Мыслитель неоднократно заявлял, что статус великой мировой нации и требования политической гегемонии русского народа и Российской империи обусловлены тем, что они выполняют «великую общечеловеческую миссию», состоящую в упорядочивании мирового пространства, выполнении обязанностей попечения и справедливости. Помимо организации материального бытия, Россия также выступала в качестве носительницы христианской миссии, дела Божия, которому служила посредством своих материальных и духовных ресурсов, что давало ей основания заботиться о распространении своего умственного и нравственного влияния на другие народы[2]. Имперский статус Российской государственности и преимущество ее национальной политики, по мнению Тихомирова, состояло в том, что она на всем протяжении своей истории действовала не только в сугубо русских племенных интересах, но и в интересах любой «вверенной ему Богом народности во всех случаях, когда та имеет за себя правду»[3]. Ставя в основу российской имперской государственности «благородное» общечеловеческое мессианское начало, основанное на самоотречении, консервативный мыслитель прямо заявлял, что «если Россия откажется работать на пользу всеобщую, она теряет все свои права мировой нации»[4].

Мыслитель не только не отрицал возможность существования различных племенных особенностей в рамках единого русского имперского пространства, но даже считал их необходимым и полезным условием для разнообразия национального и государственного творчества, являвшегося

---

[1] Тихомиров Л.А. Что значит жить и думать по-русски? // Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М.: ГУП «Облиздат», 1999. С. 168.
[2] Там же. С. 169.
[3] Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение. С. 545.
[4] Тихомиров Л.А. Что значит жить и думать по-русски? С. 168.

залогом успешного развития государства. В основе государственного единения, по мнению Тихомирова, должно лежать «единство духа» населения, обусловленное общностью культурных основ его развития, на обеспечение которого и должна быть направлена политика имперской интеграции[1].

Рассматривая содержание данной политики, Тихомиров выделял несколько ключевых консолидирующих средств, при помощи которых было возможно достижение прочного государственного единения без силового подавления культурных особенностей и самобытности народов, входивших в состав империи.

Первостепенным интегративным средством, по его мнению, являлся государственный язык, представлявший собой наиболее могучее орудие единения народов в многонациональном государстве. Его распространение среди инородцев, должно было составлять предмет первостепенных забот имперских властей. Подчеркивая высокое интегрирующее значение государственного языка, Тихомиров, тем не менее, настаивал на исключительно неконфликтных методах его внедрения, выступая против репрессивного подавления местных национальных языков и наречий, развитие которых существенно дополняло и обогащало государственный язык, делая его более сильным культурным орудием. Также мыслитель вполне допускал их использование в инородческих местностях, подчеркивая, тем не менее, первенство государственного языка, владение которым являлось важнейшим условием гражданской жизни[2].

Помимо укрепления и распространения государственного языка, огромным интегративным потенциалом, по мнению Тихомирова, обладала совместная деятельность общества на различных поприщах, для успешного развития которой необходимо было создавать максимально благоприятные условия. Деятельность эту мыслитель разделял на духовную, целью которой

---

[1] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 665.
[2] Там же. С. 667–668.

являлось отыскание и усвоение истины посредством религии и науки, и материальную, направленную на производство необходимого для жизни продукта и роста благосостояния общества. Ценности, достигаемые в результате данной совместной деятельности, носили универсальный характер, находясь вне национальных различий, вследствие чего их выработка, благотворно влияющая на духовное и материальное состояние общества, должна была способствовать его всесторонней интеграции. Тихомиров писал: «Если высшие области истины объединяют умы и совести, создавая в многоразличных народностях *единую душу*, то разумная экономическая организация нации вырабатывает в ней *единое тело* [курсив автора – М.К.][1].

Важнейшим из данных условий, по мнению мыслителя, являлось обеспечение духовной свободы, необходимой для слияния высших умственных сил всех народностей государства в совместном поиске общей истины, постижение которой было возможно только в результате усилий «общего ума всех племен». Не меньшее интегрирующее значение имели и прочные торгово-хозяйственные связи, укрепление которых также входило в первейшие задачи сложносоставного имперского государства. Тихомиров считал, что экономические выгоды, достигаемые посредством совместной трудовой деятельности и взаимовыгодного обмена, понятные и ощущаемые даже «наименее развитыми» в духовном отношении слоями общества, в условиях стремительного развития рыночных отношений являлись одним из ключевых объединяющих факторов[2].

По мнению Тихомирова, для эффективного управления сложносоставным имперским пространством, включавшим в себя территории, находившиеся на различных уровнях общественного развития, особое значение имели «нравственные мотивы», позволявшие приобщать народы к реализации упорядоченной картины мира, которую воплощало в

[1] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 670.
[2] Там же. С. 667–670.

себе имперское начало. Отстаивая приоритет стратегии «мягкой силы», основанной на преобладании неконфликтных управленческих методов, мыслитель отмечал, что «завоевание держится прочно только при наличности нравственных мотивов, при умении победителя произвести на побежденного достаточно сильное обаяние»[1]. В этом, по его мнению, состояло главное отличие управленческих практик, реализуемых Российской империей, от политики современных ей колониальных держав. Данное отличие объяснялось качественными характеристиками российской государственности, ориентированной не на подавление покоренных народов, а на их постепенную интеграцию в общую структуру населения, а также психологическими свойствами титульной имперской нации, его «мягкостью, уступчивостью, терпимостью», основывавшимися на «великим представлении о своем государстве и о своем православном общественном типе»[2]. Именно православный тип сознания титульной нации, отличавшейся толерантностью в отношении иных культурно-религиозных общностей, а также мягкая политика имперских властей, не предполагавшая насильственного стирания национальных и религиозных особенностей окраинных инородцев, по мнению Тихомирова, являлись главными условиями безболезненной социокультурной интеграции в состав России новых территорий и народностей.

Таким образом, можно заметить, что основные интегративные средства, направленные на единение многонационального Российского государства и превращение его в национальную империю, отстаиваемые Тихомировым, носили неконфликтный характер, ориентируясь на реализацию концепции «мягкой силы». В ее основе лежала не конфронтационная составляющая, направленная на насильственную ассимиляцию народов, входящих в империю, а идея сотрудничества между титульной «нацией-основательницей» и «нациями-сотрудницами»,

[1] Тихомиров Л.А. Англичанин о русских в Средней Азии // Русское обозрение. 1890. № 2. С. 930.
[2] Там же. С. 933.

результатом которого должно было стать создание нерасторжимого «великого национального целого»[1].

В конце XIX столетия оригинальная модель глобального административного переустройства России, в значительной степени трансформировавшая характер взаимодействия имперского центра с национальными окраинами, была предложена консервативным публицистом, издателем и общественным деятелем С.Ф. Шараповым, считавшим себя идейным преемником русских славянофилов предшествующих эпох. Его обращение к проблеме управления окраинными регионами осуществлялось в контексте обсуждения чрезвычайно актуального вопроса о совершенствовании системы государственного управления империей путем внедрения в нее принципа широкого государственного самоуправления.

Согласно проекту Шарапова, империю предлагалось разделить на двенадцать «коренных русских» областей и шесть «инородческих», которые должны были различаться как по своей форме, так и по организации системы управления. При этом, по мнению мыслителя, губернии, как промежуточные и ненужные административные единицы, должны были ликвидироваться, поскольку они были «слишком малы и бедны для широкого самоуправления, с местным законодательством, местным судом и широким разветвленным местным хозяйством»[2].

Предвидя обвинения со стороны правых сил в стремлении расчленить Россию, установив в ней федеративное устройство, Шарапов настаивал на том, что именно в предлагаемой им форме может быть реализован идеал истинного Самодержавия во всей его полноте, свободного от бюрократической узурпации власти. Говоря о децентрализации, мыслитель опирался на сложившееся в российской юридической традиции понимание этого термина в смысле перераспределения власти между центральными и местными органами управления, связанного с идеей местного

[1] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 670.
[2] Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление // Избранное. Москва: РОССПЭН, 2010. С. 39.

самоуправления, наличие которого, по его мнению, никоим образом не подрывало единство государства. Понятие федерация находилось вне данного смыслового ряда, поскольку трактовалась не как следствие планируемой децентрализации, а как результат процесса объединения прежде независимых субъектов и промежуточный этап на пути их полного слияния[1].

К инородческим областям, выделяемым «по преобладанию в них инородческого населения», Шарапов относил Финляндию, Польшу, Литовско-Белорусскую, Прибалтийскую, Средне-Азиатскую и Закавказскую области. Шарапов неоднократно подчеркивал, что проведение единой политики по отношению к инородческим окраинам России, чрезвычайно разнообразным в этнографическом, социальном и культурном плане, принципиально невозможно, как невозможно и их единообразное управление и устройство.

В условиях стремительного нарастания германской угрозы и в целях стабилизации остановки на западных окраинах империи, Шарапов считал жизненно важным нормализацию отношений с Польшей путем взаимных уступок и компромиссов. В качестве одной из мер достижения данной цели он предлагал восстановить таможенную черту между Польшей и Россией, а также передать Царству Польскому части Ковенской, Виленской и Гродненской губерний с преобладающим там польско-литовским населением, исповедующим католицизм. Продвижение польской этнографической границы вглубь империи, оправдывалось тем, что в данных районах польская ассимиляция была гораздо сильнее русской и литовцы добровольно тяготели к Польше, а также тем, что это позволило бы усилить русские культурные элементы в соседней Литовско-Белорусской области[2]. Это неожиданное для русского национально ориентированного мыслителя

[1] Хрипаченко Т.И. Понятия федерация, децентрализация и автономия в социалистическом и либеральном дискурсах Российской империи (конец XIX – начало XX века) // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Т. II. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С.118–119.

[2] Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 47.

предложение являлось косвенным признанием неэффективности обрусительной политики в районах с преобладающим инородческим населением, исповедующем католицизм.

Являясь убежденным германофобом, Шарапов считал Польшу естественным барьером против германского культурного натиска и возможной военной экспансии. В силу данных причин, искусственное ослабление польской окраины или насильственно проводимая русификаторская политика, по его мнению, могла лишь еще больше оттолкнуть поляков от России, бросив их «в объятия» Германии. В стремлении слить польские земли с остальными частями империи Шарапов усматривал большой вред для последней, поскольку зараженные либерализмом и конституционализмом представители польской шляхты и интеллигенции, в большинстве своем русофобски настроенные, не находя выхода своим устремлениям на родине, «заполоняют Русь», способствуя усилению революционных настроений в стране[1]. Этим и объяснялось стремление Шарапова восстановить органы польского самоуправления, основы которого должны быть выработаны созванным Областным Сеймом, возвратить польскому языку его место в управлении, образовании и суде, прекратить преследования католической церкви и всяческие попытки насильственной русификации поляков[2]. Шарапов считал целесообразным проведение лишь ограниченной политики «защитной русификации», направленной на противодействие ополячиванию западнорусского населения.

Главную угрозу целостности России и естественному интеграционному движению славянских народов Шарапов видел в растущей агрессивности «германизма» в Европе, вооруженное столкновение с которым он считал неизбежным. Пангерманизм, который мог предъявить права на остзейские губернии, ставил под сомнение лояльность прибалтийских немцев, всегда

[1] Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 47.
[2] Там же. С. 48.

подчеркивавших свою верность российскому престолу, но не государству. Это обстоятельство превращало Прибалтику в глазах мыслителя в так называемое «сложное пограничье», где сталкивались интересы не только проживавших в империи народностей, но и сопредельных ей держав[1]. Разрубить этот узел противоречий, по мнению Шарапова, было возможно лишь путем полного уничтожения «архаичных привилегий» немецкого рыцарства и бюргерства в российской Прибалтике. Для достижения этой цели он предлагал довольно решительные русификаторские меры, направленные на «выкуривание немецкого духа», состоявшие в обязательном введении русского языка в делопроизводство, образование (за исключением начальных школ) и местное управление, участвовать в котором местное дворянство могло только при условии знания русского языка и окончания русской школы[2].

В полном соответствии с «демократическими» элементами славянофильской доктрины, Шарапов считал, что на северо-западных окраинах империи именно народные массы и представлявшие их демократические круги являлись наиболее надежной опорой центральной власти. Именно поэтому он призывал усиливать русский элемент в Северо-Западном крае, активно опираясь на крестьянство, а в Прибалтике считал необходимым всячески развивать местный «коренной элемент», способствуя активному формированию эсто-латышской интеллектуальной и политической элиты, которая, по его мнению, была более управляема, нежели местная немецкая аристократия, которая в случае военного противостояния между Россией и Германией вполне могла поддержать последнюю. Эстонско-латышского сепаратизма Шарапов совершенно не опасался, полагая, что в силу своей малочисленности и культурной бедности этим народам суждено либо «русеть, либо немечиться»[3].

---

[1] Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. С. 35.
[2] Шарапов С. Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 51.
[3] Там же. С. 50–51.

Характерной чертой, выдающей в Шарапове консервативного мыслителя-идеалиста, взглядам которого была свойственна определенная доля политического утопизма, было стремление привнести в политические отношения между центром и национальными окраинами принцип нравственности, чести и совести. Он искренне стремился к тому, чтобы формально-юридическая сторона данных взаимодействий подкреплялась нравственными, теплыми, братскими связями, строилась не на одной букве закона, но на взаимной любви, христианском взаимопрощении, движении народов друг к другу[1]. Шарапов искренне считал, что русскому народу, «под могучими крылами Русского Орла приютившему стольких обиженных и угнетенных», для которого «всякий чужой народ – брат во Христе, если он во Христа верует, и добрый сосед или соотечественник, если он во Христа не верует и русскому народу зла не делает», абсолютно чужд «хищный западный национализм»[2]. Предлагаемая им программа взаимодействия центра и окраин, основанная на идеях христианского братства и добрососедства, сочетавшая имперские унитаристские ценности с правами окраинных народов на самобытность и участие в местном самоуправлении, представляла собой яркий и оригинальный пример настойчивых поисков новых путей сохранения целостности многонациональной Российской империи. Радикальный характер предлагаемых Шараповым преобразований, тесно связывавших окраинную политику с реорганизацией политического строя России, а также существенные «отклонения» от характерного для национально-консервативного дискурса взгляда на «польский вопрос», обусловили неприятие его идей и обеспечили ему репутацию «пария» в консервативном лагере, воззрения представителей которого в начале XX века приобретали все более выраженный националистический характер.

---

[1] Кудряшов В.Н. Консервативно-утопическая интерпретация русификаторской политики в конце XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 296. С. 99.

[2] Шарапов С.Ф. Русские исторические начала и их современное приложение. М.: Свидетель, 1908. С. 24.

Подводя итоги, следует отметить, что представители национально-консервативного направления русской общественной мысли, отстаивая интересы и первенство русской народности, одновременно стремились к укреплению имперской идеи, чему должно было способствовать развитие и совершенствование ее политического и этнического ядра. Несмотря на стремительную секуляризацию общественного сознания на рубеже XIX – XX вв., ключевым маркером «русскости» для них по-прежнему являлось, в первую очередь, православное вероисповедание, выступавшее в качестве связующего элемента между государством и обществом, а также представлявшее собой основную идею русской культуры, смысл существования и государственную миссию России. Русский народ имел значение не сам по себе, как самостоятельная нация, чьи интересы ставились на первое место, а как носитель высших ценностей – идеалов православной святости и имперской идеи, ради которых ему следовало жертвовать самим собой. Развитие и укрепление русской национальной идентичности, в конечном счете, должно было способствовать усилению имперской государственности посредством придания ей некоторых элементов и черт модерных национальных государств.

Осмысление проблемы интеграции северо-западных окраин России, значение которых как «империообразующего» региона в условиях глобальных вызовов надвигавшейся эпохи модерна еще больше выросло, встраивалось в общие представления о перспективах развития российской имперской государственности, чье сохранение и укрепление в консервативном дискурсе напрямую связывалось с сохранением монархического строя и всесторонним развитием титульной государственной нации и самого государственного «ядра». Интегративный потенциал последнего напрямую зависел от его символического капитала, привлекательности и респектабельности имперского центра в глазах окраинных сообществ, чье стремительное социальное и культурное развитие в условиях глобальной модернизации ставило на повестку дня

необходимость выработки новых методов и практик управление имперским этническим и социальным многообразием. Консерваторы понимали, что только прочная политическая система, здоровые социальные отношения и высокий уровень культуры государственного «ядра» позволяли не только удерживать в своем составе, но и успешно интегрировать окраинные регионы, где происходило активное формирование новых идентичностей. Их появление, существенно усложнявшее этнополитическую картину региона, наряду с традиционными угрозами в лице конкурирующих ассимиляционных проектов, исходивших от доминировавших там «пришлых» элементов, начинает рассматриваться как очередной актуальный вызов, угрожавший целостности имперского пространства.

Наиболее дальновидные консервативные мыслители хорошо осознавали угрозы, которые несли в себе две наиболее значимые тенденции в развитии мирового сообщества на рубеже XIX – XX вв. – национализм и империализм, подчеркивая, что одностороннее развитие каждой из них неизбежно приведет к глобальным катаклизмам, угрожавшим не только целостности отдельных государств, но и всему мировому порядку. Для России, чья имперская сущность не подавляла национальные начала, а последние – не претендовали на господствующее положение ни в локально-региональном, ни в глобальном государственном масштабе, по мнению консерваторов, оптимальным был «серединный» путь, позволявший не только сохранить целостность имперского пространства, но и создать перспективы для его дальнейшего развития. В его рамках пресекались бы крайности этнонационализма, разрушительные для многонационального государства, без попыток стирания национальной и культурной самобытности народов, составлявших единое содружество во главе с титульной государствообразующей русской народностью, чье всестороннее развитие объявлялось приоритетной задачей.

В то же время, следует отметить, что в первые годы XX века русский консерватизм все больше эволюционировал в сторону сосредоточения на проблеме этнического самоутверждения русской народности не только как

титульной нации Российской империи, но как первенствующего и главенствующего народа страны. Национализм, присутствовавший в отечественной консервативной доктрине на всем протяжении ее развития в политической форме, в этот период активно приобретал ярко выраженную этническую окраску, что было окончательно оформлено в период становления консервативно-монархических партий и организаций во время революции 1905–1907 гг. Формирование и включение в отечественный имперский дискурс мощного национального компонента, направленного не только на обозначение символического первенства и укрепление господствующего положения русской нации, стоящей во главе Российской империи, но и на придание ей некоторых черт национального государства, во многом сыграло в ее судьбе роковую роль, обусловив центробежные тенденции на национальных окраинах, усилившиеся в условиях военных и социально-политических потрясений, с которыми России суждено было столкнуться в недалеком будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На всем протяжении XVIII и первой половины XIX века этнотерриториальная и социально-политическая структура Российской империи непрерывно усложнялась за счет включения в ее состав территорий, обладающих собственными традиционными механизмами самоуправления и населенных инородческими этническими и конфессиональными сообществами. Целый ряд факторов, как политического, так и сугубо прагматического характера, таких как недостаток средств на содержание значительного бюрократического аппарата, нехватка управленческих кадров, подготовленных для работы на окраинах, а также стремление сохранить лояльность традиционных местных элит, вел к тому, что имперская администрация стремилась опираться на традиционные механизмы управления регионами, делегируя местной элите часть своих полномочий. Данная политика предполагала сохранение традиционного регионального культурного и языкового пространства, унификации которого в соответствии с коренной частью империи на данном этапе не проводилось.

В середине XIX века в России начинается новый этап модернизации, направленный на осовременивание государственных и общественных структур, приведение их в соответствие с западноевропейскими стандартами развития того времени. Происходившая в это время концептуализация имперской политики в отношении национальных окраин и осознание необходимости систематического проведения комплекса мер по их унификации в кругах российской политической и интеллектуальной элиты представляли собой во многом вынужденную реакцию имперских властей и общественности на внешние вызовы, ставившие под угрозу не только лояльность отдельных инородческих групп в составе империи, но саму ее целостность и сохранение в ее составе территорий, приобретенных в результате военных или дипломатических усилий.

Одновременно и в тесной связи с этими процессами происходило дальнейшее становление русской общественной мысли, которая постепенно

превращалась в духовную и интеллектуальную силу, оказывавшую значительное влияние на выработку общего внутриполитического курса. Происходившие в стране преобразования, чреватые не только осовремениванием, но и, в перспективе, полной реорганизацией существующего политического и социального строя способствовали усилению консервативных настроений обществе, осознанию необходимости строгой преемственности в общественно-политическом развитии. Консерватизм, существовавший длительное время как система универсальных ценностей, в период трансформаций, нарушавших привычную модель развития социума, стал утрачивать свой латентный характер, переходя в область публичного дискурса. Происходившая интеллектуальная рефлексия консервативного мировоззрения способствовала его превращению в особое направление общественно-политической мысли, в рамках которого вырабатывалась особая консервативная модель модернизации страны.

Невозможность полноценного анализа идей и концепций в отрыве от сложной совокупности форм их репрезентации и системы социальных коммуникаций, посредством которых они превращались в политическую реальность, обусловила необходимость при описании отечественного консерватизма использовать широко распространенное в современной гуманитарной науке понятие дискурс, включающее в себя не только идейно-мировоззренческую составляющую, но и различные формы ее репрезентации и социально-коммуникативного бытия.

Рассматриваемый в работе консервативный дискурс представляет собой совокупность нарративов разной жанровой и адресно-целевой направленности, в основе которых лежала единая концептуально-идейная платформа, построенная на базовых ценностях, характеризуемых во второй половине XIX века как консервативные. Его цель состояла не только в теоретическом осмыслении, но и в аргументированном внедрении консервативных идей в сознание читающей публики и государственных

деятелей, ответственных за принятие управленческих решений, посредством стратегической речевой и письменной деятельности, направленной на практическое воплощение в жизнь консервативных моделей социально-политического развития.

Во второй половине XIX века мировоззренческие основы отечественного консерватизма были в значительной степени дополнены национальным компонентом, который, приобретая охранительные черты, стал противопоставляться интернационализму и космополитизму, свойственным европейской либеральной доктрине. Результатом этого стало формирование особого национально-консервативного направления общественной мысли, зачастую именуемого современниками «русским направлением», которое по ряду ключевых вопросов, связанных с перспективами социального и национально-территориального развития российской государственности, противостояло более традиционному, сословно-имперскому крылу отечественного консерватизма.

Возникновение данного направления русской общественной мысли было обусловлено комплексом внешних вызовов, поставивших под сомнение территориальную целостность российского имперского пространства и первенство русских начал на национальных окраинах. В рамках национально-консервативного дискурса, представлявшего собой интеллектуальную реакцию на данные вызовы, выражаемую в форме совокупности текстов и высказываний, связанных между собою по смыслу, проходило осмысление и представление национальной проблематики, а также и ее адаптация к реалиям сложносоставной имперской государственности, сохранение и унификация различных частей которой являлось неотъемлемым элементом политической повестки отечественных консерваторов. Данные вопросы поднимались в контексте обсуждения окраинной проблематики, в общем объеме которой наибольшее внимание уделялось северо-западным окраинам Российской империи, включавшим в себя западнорусские земли, Литву и Прибалтику, как области глобального

противостояния «русского мира» и западной цивилизации, стремившейся к ослаблению России как мировой державы посредством межнационального раскола и раздробления русской политической нации.

Представители национально-консервативного направления русской общественной мысли настаивали на необходимости устранения сохранявшихся архаических элементов в структуре российской государственности, выражавшихся в существовании традиционных форм организации управления окраинными регионами, где значительная часть властных полномочий находилась в руках региональных элит, а также в крайне слабом развитии русских государственных начал, теснимых альтернативными ассимиляторскими проектами, либо местными традиционными формами общественного бытия. Также крайне неприемлемыми для них были и появлявшиеся в это время проекты автономизации имперского пространства, возникновение которых обуславливалось проникновением в российскую интеллектуальную среду либеральных национально-государственных концепций, противопоставлявших имперскую государственную модель «свободному» развитию входивших в нее национальностей и соответствовавших националистическим устремлениям активно формировавшихся в это время региональных идентичностей.

По мнению сторонников «русского направления», консервирование традиционной имперской гетерогенности, равно как и любые варианты постепенной культурной или административной автономизации ее окраинных регионов были чреваты неизбежным ослаблением связей между составными частями империи, возникновением острейших межнациональных конфликтов и последующим распадом Российского государства, территории которого собирались в единое целое в течение нескольких столетий.

Альтернативой данной катастрофической перспективе должна была стать разработанная в рамках отечественного национально-консервативного

дискурса концепция развития российской имперской государственности, направленная на укрепление ее территориальной целостности, преодоление либо сглаживание присущей ей внутренней политической, правовой и культурной гетерогенности, универсализацию имперского пространства, защиту населения от альтернативных иногосударственных ассимиляционных проектов, а также на формирование у него единой государственной идентичности. Важнейшим элементом обновляющейся империи было призвано стать господство на всем ее протяжении русских государственных начал, олицетворяемых, в первую очередь, русским государственным языком, чье распространение на все публичные сферы жизни во всех регионах страны должно было символизировать первенство его носителя в отношении других народов империи, а также доминирующим православным вероисповеданием, являвшимся духовной основой государствообразующей русской народности. Дискуссия о первенстве одного из указанных начал, определявших смысловое наполнение отстаиваемой «русскости» обусловила складывание двух направлений в рамках отечественного национально-консервативного дискурса.

Первое из них отстаивало первенство русского государственного начала над интересами составлявших его отдельных этнических, конфессиональных и социальных групп, представители которых признавались вполне русскими при условии их политической лояльности, первенстве общегосударственной российской идентичности и использовании русского языка в публичном пространстве. Наиболее видным представителем данного направления являлся М.Н. Катков, чей национализм носил исключительно политический, государственный характер, распространяясь далеко за пределы узких этноконфессиональных границ, усиление значимости которых в рамках многонациональной имперской государственности было чревато ее внутренней дезинтеграцией. Сторонники данного направления настаивали на сохранении и поддержании строго надэтнического характера российской государственности, лежавшее в основе которой сложное этническое и

конфессиональное многообразие, признаваемое и охраняемое силой закона, не должно было приобретать политического характера, постепенно сливаясь под воздействием последовательной и неконфликтной интегративно-унификационной политики имперских властей в единую русскую политическую нацию.

Несколько иной вариант трансформации российской имперской государственности, связанный с укреплением ее национально-конфессионального «ядра», отстаивался представителями русского славянофильства, чьи представления о перспективах ее развития были неразрывно связаны признанием первенства русской народности и православной веры, воплощавшей в себе духовную сущность России. Сторонники данной концепции вплотную подошли к идее построения национального русского имперского государства, что предполагало превращение русской народности в господствующую национальную группу, доминирующую в политико-правовом и культурном отношениях и возглавлявшую государство на всем его пространстве, включая национальные окраины.

Несмотря на разногласия по ряду вопросов, связанные с различным определением оптимальных путей русского нациестроительства, оба указанных направления были единодушны в отказе от архаичной сословной ориентированности российской имперской государственности, на смену которой должны были прийти русские национальные начала, понимаемые не столько в узко-этническом, сколько в идейно-политическом смысле. Отстаивая необходимость сохранения имперской формы российской государственности и выступая за преемственность в ее развитии, сторонники национально-консервативного направления русской общественной мысли стремились придать ему новый импульс, связанный с унификацией государственного пространства империи и укреплением русских начал на всем ее протяжении, приобщение к которым проживавших на ее территории

народностей должно было способствовать их общему цивилизационному развитию.

Северо-западные окраины Российской империи, представлявшие собой не столько конкретную географическую область, сколько идеологический конструкт, созданный российской интеллектуальной элитой в целях закрепления данного региона в составе империи, занимали центральное место в отечественном национально-консервативном дискурсе, посвященном имперской проблематике, рассматриваясь как жизненно важный «империообразующий» регион, от сохранения и полной интеграции которого в государственное пространство России зависело сохранение ее территориальной целостности и статуса великой державы. Одним из значимых стимулов для формирования концептуальных основ интегративной политики в отношении данного региона стало наличие альтернативного польского дискурса, в рамках которого была сформирована совершенно иная ментальная карта региона, трактовавшегося как «забранные» восточные кресы. В противовес данному подходу, активно эксплуатируемому скрытыми и явными противниками России, в рамках отечественной национально-консервативной доктрины была разработана концепция «исконной русскости» региона, который характеризовался как неотъемлемая историческая часть русской государственной области, тяготевшая к России в политическом и культурно-конфессиональном отношении и насильственно отчужденная от нее пришлым иноземным элементом.

Следует отметить, что данные концептуальные положения применялись не только в отношении Северо-Западного края, но и применительно к Прибалтике, которая также рассматривалась как область насильно привнесенного инородческого господства, населенная исконно тяготевшими к России коренными народами. Рассматривая северо-западные окраины Российской империи как единое ментальное и символическое пространство, сторонники национально-консервативной доктрины выступали за применение в его отношении общих интегративных методов и практик,

построенных на единых концептуальных основах, направленных на ослабление политического, социально-экономического и культурного господства «пришлых» инородческих элит, приобщение местных народных масс к русским государственным и культурным началам, установлении первенства имперских идентификационных маркеров в самосознании и самоидентификации окраинных сообществ при безусловном сохранении их политической лояльности имперскому центру.

Широко используемые в национально-консервативном дискурсе термины «русификация» и «обрусение» наделялись, в первую очередь, политическим и социокультурным, а не ассимилятивно-этническим содержанием. Обозначаемая ими политика должна была направляться на достижение на северо-западных окраинах первенства русских государственных и культурных начал, отраженных в ключевых символических маркерах, не предполагая насильственной ассимиляции местного нерусского населения, представители которого, сохраняя свою племенную самобытность, должны были превратиться в верных «детей русского Отечества». «Русификация», наделяемая в отечественном национально-консервативном дискурсе сугубо оборонительным характером, была направлена, в первую очередь, на деполонизацию и дегерманизацию всех сфер социально-политической и духовно-культурной жизни региона, обусловленную отнюдь не «целенаправленно конструируемыми этническими фобиями», а реальной угрозой со стороны польского и немецкого ассимиляционных проектов, далеко зашедшие последствия и угрожающие перспективы которых долгое время не замечались российскими властями и общественностью и вскрылись лишь во многом благодаря центральным и региональным русским общественным деятелям, сфокусировавшим на них внимание власти и общественности.

Реализация интегративной доктрины на северо-западных окраинах Российской империи должна была осуществляться посредством разработанной идеологами национально-консервативной направленности

стратегии «мягкой силы», включавшей в себя, наряду с административно-силовыми средствами защиты русских государственных интересов, широкий комплекс методов «нравственного завоевания» окраинных территорий. Основными инструментами данной стратегии были призваны стать церковь и школа – главные государственные институты, отвечавшие за формирование духовно-политического и нравственного сознания подданных. В соответствии со свойственными консервативному мировоззрению представлениями о приоритете нравственных начал над формально-институциональной стороной общественного бытия, его носители полагали, что только при помощи трансформации сознания окраинного сообщества и внедрения в него общегосударственных ценностей можно было добиться укрепления государственного единства и полного слияния северо-западных окраин с государственным центром империи. Огромная роль в реализации данной программы отводилась центральной и региональной русской общественности и пророссийски ориентированным лояльным кругам местного нерусского населения. Их интеллектуальный потенциал должен был способствовать накоплению и трансляции символического капитала имперской культуры, формированию и распространению среди населения окраин целостного представления об образе имперской власти и государственности, верности служения общеимперским ценностно-идеологическим константам, конструируя положительный идейно-символический имидж империи.

Успешной реализации стратегии неконфликтной интеграции северо-западных окраин препятствовало множество факторов как практического, так и идейно-концептуального характера. Различия в понимании сущности отстаиваемых русских национальных начал, имевшие место в отечественной национально-консервативной доктрине, вели к возникновению разных подходов к реализации конфессиональной и образовательной политики на северо-западных окраинах России. Развернувшаяся в национально-консервативном дискурсе дискуссия о целесообразности введения русского

языка в католическое богослужение, а также споры о приоритетах духовной или светской направленности народного образования в регионе являлись отражением внутренней сложности и неоднородности концептуального поля отечественной национально-консервативной доктрины. Необходимо указать также на то, что, несмотря на «национальный поворот» в политике имперских властей во второй половине XIX века, ее основные положения в полном объеме не были приняты на вооружение имперской администрацией, испытывавшей серьезные колебания при практической реализации окраинной политики.

Безусловно, отечественный национально-консервативный дискурс сыграл огромную роль в актуализации проблематики российских северо-западных окраин. Помимо привлечения широкого общественного внимания к польскому «вызову», угрожавшему целостности российского государственного пространства, его участники оказывали как прямое, так и опосредованное воздействие на верховную власть, чья политика в отношении национальных окраин во второй половине XIX в. во многом основывалась на предлагаемых ими концептуальных основах и была направлена на преодоление свойственной империи гетерогенность и формирование ее «национального ядра» путем практической реализации проекта большой русской нации. Имперская администрация постепенно впитывала элементы национально-консервативной идеологии, которые все чаще ложились в основу ее практической деятельности, направленной на унификацию государственного пространства России и укрепление ее территориальной целостности.

Роль отечественного национально-консервативного дискурса по Остзейскому вопросу состояла в том, что он целенаправленно и последовательно проводил идею унификации региона и ослабления немецкого политического и культурного влияния в нем, воздействуя в этом направлении на имперские власти, среди представителей которых долгое время не было единства в вопросе о целесообразности кардинального

изменения существующего положения вещей в Прибалтийских губерниях. Консерваторы сумели заострить внимание российского общественного мнения на Прибалтийском регионе, долгое время остававшемся в тени иных острых внутриполитических и регионально-имперских проблем, подготовив необходимую информационную и морально-психологическую основу для преобразований, направленных на интеграцию региона в единое государственное пространство империи.

При этом следует отметить, что верховная власть, чья позиция была во многом обусловлена традиционной сословной детерминированностью самодержавного строя и охранительными приоритетами, осознавала высокую степень конфликтогенности национальной доктрины, реализация которой нарушала сложившуюся устойчивую систему внутриимперских отношений и провоцировала конфликты с иными национальными движениями. Придание имперским интеграционным механизмам ярко выраженной национальной русской окраски вело к восприятию унификационной государственной политики, направленной на преодоление гетерогенности имперского пространства, как «русификации», которая не могла не вызывать отторжения и сопротивления у народов империи, находившихся на разных стадиях формирования своей идентичности. Вследствие этого имперские власти отказывалась в полной мере подчинять свою окраинную политику ее принципам, игнорируя, а иногда и препятствуя общественной и публицистической деятельности ее сторонников, обвиняемых в разжигании межплеменной розни и дестабилизации политической ситуации в стране.

Трудности, лежавшие на пути успешной интеграции северо-западных окраинных регионов в отечественном национально-консервативном дискурсе во многом связывались с общим переходным состоянием российского общества, вызванным происходившими в стране модернизационными процессами, неизбежно порождавшими острые социальные и идейные противоречия, борьбу различных «партий» в верхах, общественную дезориентированность и ослабление скрепляющих элементов имперской

государственной структуры. Успешный исход интеграции северо-западных окраин связывался с преодолением данного переходного состояния и установлением прочных русских национальных начал во внутренней политике российского самодержавия, содействие которому со стороны общества в данной области должно было возрастать по мере его роста в материальном и духовно-нравственном отношении. Установление данной взаимосвязи возводило северо-западную окраинную проблематику в ранг актуальных общественно-политических вопросов, обуславливавших необходимость разработки общей национально-консервативной модели модернизации российской имперской государственности и поиска оптимальных бесконфликтных методов интеграции национальных окраин.

Отечественный национально-консервативный дискурс, посвященный северо-западным окраинам России, включал в себя региональный и центральный уровни, тесно взаимосвязанные между собой в идейно-концептуальном и практическом отношениях. Несмотря на то, что решающая роль в формировании национально-консервативной доктрины окраинной политики принадлежала последнему, представленному ведущими и имевшими всероссийскую известность публицистами и общественными деятелями, возглавлявшими центральные издания, зачастую оказывавшими прямое воздействие на правительственную политику, огромное значение имел и его региональный уровень, участники которого были непосредственно вовлечены в обсуждаемые ими проблемы. Различные формы интеллектуальной рефлексии, изложенные региональными общественными деятелями в виде самостоятельных публикаций на страницах региональной печати либо разного рода корреспонденций, адресованных к представителям администрации или центральной русской общественности составляет значимую, а в ряде аспектов и базовую часть исследуемого интеллектуально-идейного комплекса. Идеи и концепции, излагаемые в разного рода текстах и высказываниях, в том числе и анонимного характера представляли собой явление двоякого характера: с одной стороны, это было

осмысление и региональная интерпретация общих тезисов отечественной национально-консервативной доктрины, значимая вследствие своей региональной специфики; с другой стороны – характеристики и идеи, содержащиеся в региональном дискурсе, зачастую являлись основой, своеобразным информационным фундаментом для формирования общероссийской национально-консервативной доктрины.

Одним из выявленных элементов регионального уровня отечественного национально-консервативного дискурса являлась публицистика, общественная и научно-исследовательская деятельность подвижника русского национального и государственного дела на Прибалтийской окраине – Евграфа Васильевича Чешихина. Его публицистическая, общественная и научно-исследовательская деятельность, связанная, в первую очередь, с созданием и выпуском русской газеты в Прибалтике «Рижский вестник», а также различные формы взаимодействия с наиболее видными представителями «русского направления» отечественной общественной мысли и представителями региональных и центральных властей наглядно иллюстрируют всю сложность окраинных дискурсивных практик национально-консервативной направленности, связанных с преодолением множества препятствий идейного и практического характера. Данные сюжеты, позволяют на конкретном примере проследить региональное преломление ключевых концепций отечественного национально-консервативного дискурса в отношении не только Прибалтики, но и всей северо-западной окраины России.

Другим примером стала деятельность Виленского отдела Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Александра III, который представлял собой одну из немногочисленных региональных институциональных площадок, призванных сформировать контролируемую публичную интеллектуальную среду и ретранслировать общегосударственные идейные ценности и имперские нематериальные активы в заданном идеологическом русле, распространяя их среди широких

кругов окраинного населения. В основе деятельности данного общества лежало стремление к практической реализации тезиса о необходимости «нравственного приобщения» Северо-Западного края к единому культурному пространству России посредством культурно-просветительской деятельности. Данное общество стало местом консолидации русской консервативной общественности края и одновременно источником распространения русских национальных и консервативно-охранительных ценностей. Члены «Общества ревнителей…» стремились не только дать историческое обоснование исконной принадлежности Северо-Западного края к историческим русским территориям, но и на практике воплотить идею неконфликтного интегративного воздействия на окраинное сообщество с целью их вовлечения в общерусское культурное пространство и формирование в его среде представлений об историческом единстве имперского центра и северо-западной окраины.

Анализ взаимодействия между региональными участниками отечественного национально-консервативного дискурса и имперскими властями, позволил выявить существенную асинхронность в их целевых установках и конкретной деятельности. Признавая значимость «патриотической» деятельности региональных представителей «русского направления» общественной мысли, верховная власть, в силу сословной ориентированности управленческой практики и традиционно-бюрократической управленческой модели, не использовала значительный публично-идеологический потенциал, которым обладали данные акторы, не сумев превратить их в свое полноценное идеологическое орудие. Данное обстоятельство является одной из главных причин недостаточно высокой степени эффективности общих усилий русской национально-консервативной общественности и имперских властей, направленных на интеграцию северо-западного окраинного региона в российской государственное пространство.

Характерная для политики имперских властей и отечественной национально-консервативной доктрины «оборонительная стратегия» со

свойственной ей логикой противостояния альтернативным ассимиляционным проектам, осуществляемым «пришлыми» культурно-политическими гегемонами в лице польского и немецкого элементов, не смогла придать должного внимания активно формировавшейся национальной идентичности местных коренных народов – белорусов, литовцев, латышей и эстонцев, «недоминирующий» статус которых приводил к серьезной недооценке их социально-политического и культурного потенциала. Рассматривая эти народности как «естественных» союзников освобождавшей их от инородческого гнета русской администрации, которыми они на определенном этапе действительно являлись, общественные деятели национально-консервативной направленности не видели перспектив их культурной и политической субъектности, искренне считая их обреченными «либо русеть, либо немечиться (ополячиваться)». В национально-консервативных представлениях северо-западные окраины империи вплоть до начала XX века продолжали оставаться исключительно ареной борьбы русских начал с противостоящими им полонизмом и германизмом. Местные народности, не являвшиеся составной частью большой русской нации, расценивались лишь как пассивные наблюдатели этого титанического противостояния, не способные превратиться в самостоятельных акторов политического процесса.

Вследствие этого, национально-консервативная доктрина в идейно-концептуальном отношении сосредотачивалась, преимущественно на поиске путей противодействия «доминирующим» конкурентным элементам, отодвигая вопрос об аккультурации коренных инородцев на второй план. Последовательная и в целом успешно реализуемая имперская политика вытеснения «пришлого» польско-немецкого элемента из региона приводила к достаточно неожиданным результатам, открывая широкий простор для непрогнозируемого становления и неконтролируемого развития новых национальных идентичностей, в недрах которых постепенно стали вызревать сугубо националистические надежды и устремления. Попытка

контролировать это явление, в котором долгое время не усматривали серьезной угрозы, путем привития русских политических и культурных начал посредством распространения русского образования и языка, а также попыток (впрочем, довольно умеренных) ограничения влияния господствующего среди них католицизма и лютеранства привели, в свою очередь, к росту антиимперских и антирусских настроений, способствуя формированию бытующего до наших дней мифа о «русском великодержавном шовинизме», подавлявшем самобытное развитие прибалтийских народов. Так русское самодержавие и поддерживавшая его курс национально-консервативная общественность, неразрывно связываемые со всем русским, буквально выпестовшие в недрах Российской империи новые национальные идентичности, и освободившие их от мощных в культурном отношении и обладавших значительным ассимиляционным потенциалом польских и немецких доминантов, в общественном сознании и исторической памяти этих народов превратились в их главных «врагов» и «гонителей».

На рубеже XIX – XX веков осмысление проблемы интеграции северо-западных окраин России в национально-консервативном дискурсе встраивалось в общие представления о перспективах развития российской имперской государственности, чей интегративный потенциал зависел от символического капитала, привлекательности и респектабельности имперского центра в глазах окраинных сообществ, стремительное социальное и культурное развитие которых в условиях глобальной модернизации ставило на повестку дня необходимость выработки новых методов и практик управление имперским этническим и социальным многообразием.

Рассматривая перспективы развития российской имперской государственности, консерваторы призывали придерживаться «серединного» пути, избегая крайностей этнического национализма и империализма, ставших наиболее значимыми тенденциями в развитии мирового сообщества

на рубеже XIX – XX веков, которые в равной степени угрожали социально-политической стабильности и целостности государственного пространства России.

В начале XX века русский консерватизм все больше сосредотачивался на проблеме этнического самоутверждения русского народа не только как титульной нации Российской империи, но как первенствующего и главенствующего народа страны. Статус ключевого маркера «русскости» в это время окончательно закрепился за православным вероисповеданием, выступавшим в качестве связующего элемента между государством и обществом, а также рассматривавшимся как основная идея русской культуры. Развитие и укрепление русской национальной идентичности, в конечном счете, мыслилось как средство усиления имперской государственности посредством придания ей некоторых элементов и черт модерных национальных государств.

Следует подчеркнуть, что при всей самостоятельной значимости северо-западных окраинных сюжетов в отечественном национально-консервативном дискурсе, они являлись одним из проявлений осмысления более глобальных вопросов, связанных с формированием представлений о русской национальной идентичности, общие черты и признаки которой выявлялись в процессе их сопоставления с противостоящими ей сообществами и силами. Общественно-политическое измерение национально-консервативного дискурса проявилось в определении русской идентичности не только посредством языковых и конфессиональных маркеров, но и через приверженность ее носителей традиционным консервативно-монархическим ценностям. Осмысление проблемы интеграции северо-западных окраин в российское государственное пространство являлось составной частью выработки доктрины русского имперского национализма, в основе которой лежало признание империи как единственно возможной формы российской государственности, чье сохранение как единого и целостного политического образования не мыслилось без ее обновления, связанного с преодолением

присущей ей гетерогенности путем унификации ее окраинных территорий, распространением на них государственного языка, укреплением русских культурных ценностей.

Имперско-окраинная проблематика, таким образом, встраивалась в формирование глобальной концепции консервативной модернизации России, направленной на эволюционное совершенствование социально-политических отношений и внутригосударственных связей при условии сохранения преемственности в ее развитии. Сохранение российской имперской государственности рассматривалось отечественными национально-консервативными мыслителями как залог успешного эволюционного бесконфликтного развития не только русской народности, но и всех других народов, проживавших на ее территории, а также как основа поддержания стабильности в глобальном мировом пространстве в условиях вызовов стремительно надвигавшейся эпохи модерна.

Трансформации российской государственности в XX столетии, сопровождавшиеся тяжелыми потрясениями и существенными изменениями в определении русской идентичности и реальной и воображаемой географии русского государственного пространства, последствия которых во многом определяют нынешнюю актуальную общественно-политическую повестку, тем не менее, не обесценили опыт национальной интеллектуальной рефлексии прошлого, на основе которого может быть выстроена модель современных межнациональных отношений в России.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)

Ф. 102. – Департамент полиции исполнительной МВД. Особый отдел.

1. Оп. 101. 3-е делопроизводство. 1903 г. 1 ч. 41 л. А. Политический обзор по Виленской губернии (24 марта 1903 г.).

2. Оп. 101. 3-е делопроизводство. 1903 г. 1 ч. 63 л. А. Политический обзор по Гродненской губернии (11 марта 1903 г.).

Ф. 109 с/а. – III отделение С. Е. И. В. канцелярии.

1. Оп. 1. Д. 2222. Выписка из письма Аксакова И. из Москвы к Жемчужникову А. в Югенгайм и Гессен с критикой либеральных взглядов Тургенева, «Государственного патриотизма» М.Н. Каткова, с выражением отрицательного мнения о стихотворениях Жемчужникова А., помещенных в «Петербургских ведомостях» и в «Отечественных записках». (24 июня [1860 – 1870]).

2. Оп. 2а. Д. 356. Выписки из писем Пржеголинского, Палибина Н., Павлищева и др. к Василевскому Г. и родственникам тех же фамилий об усилении враждебности поляков к России и о земледельческой выставке в Люблине. (7 ноября – 31 декабря 1860 г.).

3. Оп. 2а. Д. 357. Письмо поляка Лемпицкого М. с предложением русскому правительству содействовать возрождению польской республики и заключить вечный мир между Россией и Польшей. (14 декабря 1860 г.).

4. Оп. 2а. Д. 360. Выписки из писем Юзефовича, Палибина М., Кобылина Н. и др. к Громеке С.С., Ставровскому, Сальяс Е.В. и др. о манифестациях поляков в Киеве. (15 февраля – 1 декабря 1861 г.).

5. Оп. 2а. Д. 368. Выписка из письма Арсеньева Ахматову М.Н. о политическом состоянии Витебской губернии. (17 мая 1861 г.).

6. Оп. 2а. Д. 432. Записки без подписи об участии католического духовенства Царства Польского в восстании 1863 г., о роли его в политической жизни Польши и значении закрытия русским правительством католических монастырей. (Не ранее 1863 г.).

7. Оп. 2а. Д. 433. Записка без подписи о мерах, принятых администрацией Юго-западного края по борьбе с распространением польского восстания 1863 г., о политическом состоянии края после восстания, о значении украинофилов. (Не ранее 1863 г.).

8. Оп. 2а. Д. 434. Выписка из письма из Северо-Западного края о причинах поражения восстания 1863 г. и состоянии крестьянского вопроса. (Не ранее 1863 г.).

9. Оп. 2а. Д. 460. Выписки из писем князя Мещерского, Кропотова и др. к княгине Мещерской, Каткову М.Н. и др. о мнении разных лиц по поводу ссылки участника польского восстания 1863 г. Огрызко, с отрывком из стихотворения, посвященного Огрызко, о виленском бискупе (епископе) Красинском, обращающем русских в католичество и по др. вопросам. (2 – 14 января 1866 г.).

10. Оп. 2а. Д. 635. Выписки из писем Эльзенберга, Рыжова А., Воскобойникова и др. к Кункелю, Краевскому А.А., Каткову М.Н. и др. о политическом состоянии Царства Польского (репрессиях правительства по отношению к полякам, о политике русификации и т.д.). (30 января – 30 сентября 1868 г.).

11. Оп. 2а. Д. 637. Переписка с начальником Волынского губернского жандармского управления об установлении автора письма с подписью «товарищ Березовского и всех вами расстрелянных поляков» в редакцию газеты «Весть» о положении Польши. (30 марта - 2 июля 1868 г.).

12. Оп. 2а. Д. 639. Выписка из письма Реннекампфа из Карлсбада, к Леонтьеву П.М. в Москву о преобладании чиновников-поляков в Радзивиловском таможенном управлении. (5 июня 1868 г.).

13. Оп. 2а. Д. 646. Выписка из перлюстрированного письма Ушакова из Вержболова Каткову М.Н. о введении новых штатов по таможенному ведомству и отнятии прав и преимуществ у русских чиновников. (6 июля 1869 г.).

14. Оп. 2а. Д. 647. Выписки из писем Киркора А., Микульского Л., Безобразова и др. к Леонтьеву П.М., Муханову С.С., Краевскому А.А. и др. о политическом состоянии Царства Польского (настроениях поляков в связи с франко-прусской войной, политике русификации, обострении отношений с русскими властями и др.). (12 августа 1869 г. – 17 ноября 1872 г.).

15. Оп. 2а. Д. 653. Проект устройства тайной полиции «на началах наиболее соответствующих сплочению или слитию народностей польской и русской». (1869 г.).

16. Оп. 2а. Д. 655. Выписка из письма Бригера из Женевы к Самарину Ю.Ф. в Москву с выражением мнения автора письма о необходимости вести в печати борьбу с обвинением России в проведении политики руссификации в Прибалтике и Польше. (1 – 13 июня 1870 г.).

17. Оп. 2а. Д. 667. Выписки из писем Кулаковского П., Глинки и др. к гр. Палену К.И., Червинскому А.А., Бутлерову и др. о политическом состоянии Царства Польского (судебной реформе, русификации, об адресах правительству, о настроениях поляков в связи с событиями на Балканах, об обнаруженных складах оружия и др.). (26 июня – 24 декабря 1876 г.).

18. Оп. 2а. Д. 668. Выписка из письма Сухимова С. из Варшавы Беку А.О. в Москву о ложном направлении политики русской правительственной администрации, покровительствующей польскому дворянству и не обращающей внимания на польское крестьянство. (10 июля 1876 г.).

19. Оп. 2а. Д. 700. Выписки из писем Веймарна И., Демяновича А, Родевича и др. М.И. Кояловичу, в редакции газет "Голос", "Весть", Забелину

А. и др. о положении римско-католической церкви в западных губерниях. (3 октября 1860 г. – 19 июля 1870 г.).

20. Оп. 2а. Д. 701. Записка без подписи об условиях водворения русских землевладельцев в Западном крае. (Не ранее 1863 г.).

21. Оп. 2а. Д. 702. Записка без подписи о мерах, необходимых к осуществлению, для предотвращения нового восстания поляков в Западном крае. (Не ранее 1863 г.).

22. Оп. 2а. Д. 703. Циркуляр Виленского, Гродненского и Минского генерал-губернатора М.Н. Муравьева губернаторам западных губерний о необходимости препятствовать русским чиновникам вступать в брак с местными уроженками. (20 июля 1864 г.).

23. Оп. 2а. Д. 705. Анонимные письма жителей Западного края к Муравьеву М.Н. с предложением мер усиления власти в крае, по крестьянскому вопросу, о существовании польской партии в Петербурге и по др. вопросам. (1864 г.).

24. Оп. 2а. Д. 707. Записка неизвестного литовца о путях обрусения западных губерний. (12 октября 1865 г.).

25. Оп. 2а. Д. 708. Письмо киевского губернатора Безака А.П. в III отделение и записка III отделения императору Александру II с мнением по поводу письма Безака Александру II о преобладании католического духовенства над православным в юго-западных губерниях и мерах, необходимых к устранению этого. Приложен перечень правительственных мер, предполагавшихся к исполнению по Западному краю, для усиления православия и русского элемента. (ноябрь 1865 г.).

26. Оп. 2а. Д. 709. Записка Бессонова о проведении крестьянской реформы, о состоянии религии и образования в Северо-Западном крае и мерах, необходимых для предотвращения нового восстания. (Не ранее 1865 г.).

27. Оп. 2а. Д. 710. Выписки из писем Чичерина П., Юзефовича М.В., Сабанеева и др. к Галагану Г.П., Каткову М.Н., в редакцию газеты «Весть» о

проведении правительством политики обрусения в западных губерниях (введении православной веры, продаже имений русским помещикам, заселении пограничных районов русскими и по др. вопросам). (15 января - 14 декабря 1866 г.).

28. Оп. 2а. Д. 711. Переписка с Виленским, Ковенским, Гродненским и Минским генерал-губернатором и губернаторами Витебской и Могилевской губ. о разрешении Юркевичу П.А. издать переведенную им на польский и жмудский языки брошюры Муравьева А.Н. «Слово кафолического православия римскому католичеству» с приложением брошюры. (февраль – март 1866 г.).

29. Оп. 2а. Д. 712. Письмо архиепископа Антония к генерал-адъютанту Кауфману о проекте Минского губернского предводителя дворянства Прошинского по организации в западных губерниях западно-католической иерархии, независимой от папы, с целью постепенного слияния католиков с православными и обрусения края. Копия. (апрель 1866 г.).

30. Оп. 2а. Д. 713. Записка неизвестного литовца об истории, составе населения, религии и политическом состоянии Северо-западного края и мерах, необходимых для достижения «благоустройства» и «спокойствия» в нем. (7 июня 1866 г.).

31. Оп. 2а. Д. 714. Выписки из писем Лопушинского Е., Демидова, Блау Н. и др. в редакцию газет «Московские ведомости», «Весть», к фон-Кауфману К.П. и др. о национальной политике России в Западных губерния и положении в них поляков (о контрибуциях, политике обрусения и др.). (15 января – 16 ноября 1867 г.).

32. Оп. 2а. Д. 716. Выписки из писем Виноградова Е., Новикова к Юркевичу-Литвинову П.А., Новикову Ю.Н. о тяжелом положении русского населения в Западных губерниях России. (23 апреля - 23 октября 1867 г.).

33. Оп. 2а. Д. 717. Выписки из писем Микуцкого С. и с подписью «А.Г.» к Ламанскому, Каткову М.Н. о помощи французских служащих Варшавской железной дороги «Жонду Народовому» о намерении германских

капиталистов проникнуть в западные губернии. (25 апреля – 13 июля 1867 г.).

34. Оп. 2а. Д. 718. Выписка из письма Драгоманова М. из Киева к Коршу В. в Петербург о необходимости изменения существующего положения о землеустройстве и землепользовании в Западном крае. (29 июня 1867 г.).

35. Оп. 2а. Д. 719. Отчет генерал-адъютанта А.П. Безака по управлению Юго-западным краем с 1 октября 1866 по 15 ноября 1867 г. Копия. (1867 г.).

36. Оп. 2а. Д. 720. Агентурные записки о помещении в газетах «Весть», «Новое время» объявлений и статей о продаже имений в Западном крае, с приложением газет. (24 января 1868 г.).

37. Оп. 2а. Д. 721. Выписки из писем Воронцова-Вельяминова А., Павлова, Гогеля Н. и др. к Плещееву А.Н., Каткову М.Н., Леонтьеву П.М. и др. о национальной политике правительства в западных губерниях. (11 января – 8 декабря 1868 г.).

38. Оп. 2а. Д. 734. Выписки из писем Воскобойникова Н., Королькова, Ягмина А. и др. Каткову М.Н., Райковскому С.А. и Аксакову И.С. и др. о политике русификации Виленской губ., состоянии управления и злоупотреблениях чиновников. (12 апреля 1866 – 12 июня 1870 г.).

39. Оп. 2а. Д. 738. Статья Юркевича-Литвинова П. с подписью "П. Жмуйдинов" о взяточничестве, грубости и несоответствии занимаемому положению виленского гражданского губернатора Панютина. (Б.д.).

40. Оп. 2а. Д. 740. Обзор состояния Дриссенского уезда Витебской губ. (состав населения, экономическое положение, состояние войск). (27 июня 1866 г.).

41. Оп. 2а. Д. 741. Обзор политического, экономического состояния Режицкого уезда, Витебской губ. (10 августа 1866 г.).

42. Оп. 2а. Д. 744. Выписка из письма мирового посредника Сеннинского уезда из Витебска в редакцию "Московских ведомостей" о

притеснении автора письма губернскими властями за посылку корреспонденций в газету «Московские ведомости». (4 июля 1870 г.).

43. Оп. 2а. Д. 754. Выписка из письма Козловского К. из Киева к Аксакову И.С. в Москву о принятии Киевской администрацией на службу польских чиновников и с выдержками из письма редактора «Виленского вестника» Пуле о политическом направлении газеты. (30 декабря 1866 г.).

44. Оп. 2а. Д. 755. Выписки из писем Протасьева А., Люценко, Козловского К. и др.к Валуеву П.А., Черкасову Б.И., Каневцу С.К. и др. о состоянии управления в Киевской губ., деятельности губернаторов А.П. Безака и Казнакова, злоупотреблениях должностных лиц и др. вопросам. (1860-е; 6 марта 1867 г.).

45. Оп. 2а. Д. 758а. Очерк о политическом положении Литвы после польского восстания 1963 г. (7 июня 1865 г.).

46. Оп. 3а. Д. 109. Выписки из писем Скрипицина, Фадеева, Павлова и других к Муравьеву Н.Н. (Амурскому), Погодину М.П., Каткову М.Н. и другим с выражением недовольства засильем немцев в государственном аппарате России. (3 января 1866 – 15 ноября 1870 г.).

47. Оп. 3а. Д. 122. Выписка из письма Тарновского из Петербурга к Рассказову в Вильно о назначении генерал-губернатором Северо-Западного края Баранова Э.Т. вместо Кауфмана К.П. и о распространении в Петербурге слухов о предстоявшей отставке министра внутренних дел. (13 октября 1866 г.).

48. Оп. 3а. Д. 127. Письмо редактора газеты «Народный голос» Александру II о подрыве финансового положения России казнокрадством чиновников государственных учреждений и денежными спекуляциями банкиров. (28 июня 1867 г.).

49. Оп. 3а. Д. 128. Выписка из письма без подписи из Петербурга, к Каткову М.Н. о продажности министров, расхищении государственных средств и других злоупотреблениях в России. (19 сентября 1867 г.).

50. Оп. 3а. Д. 270. Записка начальника Лифляндского ГЖУ Прибалтийскому генерал-губернатору о сборе нелегальным путем среди латышей подписей под прошением Александру II о введении в Лифляндской губернии нового судоустройства. (22 июля 1876 г.).

51. Оп. 3а. Д. 1001. Выписка из письма священника Шелкунова А. из Риги Рябинину И.П об отказе в Петербурге принять адрес Лифляндских баронов, ходатайствовавших о введении в школах преподавания всех предметов на немецком языке. (7 марта 1870 г.).

52. Оп. 3а. Д. 1009. Выписка из письма Гринвальда М. из Риги Гринвальду Р.Е. в Петербург с отрицательным отзывом о речи попечителя Балтийского учебного округа Жерве, произнесенной им на открытии учительской семинарии для латышей и эстонцев, о необходимости русификации края. (4 ноября 1870 г.).

53. Оп. 3а. Д. 1041. Выписка из письма Альбертини из Ревеля Суворину А.С. в Петербург об одобрении населением г. Ревеля публичных лекций преподавателя истории Бинемана по истории России, с критикой реформ 1863-1874 гг., о деятельности Екатерины II и царского правительства и переписка с начальником Эстляндского ГЖУ по выяснению фактов, сообщавшихся в письме. (7-20 марта 1876 г.).

54. Оп. 3а. Д. 1255. Агентурные записки о политическом и экономическом состоянии прибалтийских губерний. (1816-1827 гг.).

55. Оп. 3а. Д. 1260. Записки о прошении жителей г. Риги и Ревеля, поданном Николаю I, об утверждении хартии об их привилегиях и о ходатайстве русских жителей этих городов об уравнении их в правах с коренным населением и о борьбе в связи с этим между этими частями населения (за 1803 г.). ([1820]).

56. Оп. 3а. Д. 1268. Записка с подписью «Знаменский И.» из Москвы лифляндскому, эстляндскому и курляндскому генерал-губернатору князю Суворову А.А. об отрицательном отношении жителей прибалтийских губерний к России и о необходимости русификации этих губерний; записка

лифляндского дворянина «Замечания к анонимному письму, адресованному князю Суворову А.А.» о несправедливости высказываний автора анонимной записки об отрицательном отношении населения прибалтийских губерний к России. (8 мая 1848 г., март 1849 г.).

57. Оп. 3а. Д. 1271. Выписка из письма Фрейганга из Петербурга Каткову М.Н. в Москву о необходимости принять меры к предотвращению распространения немецкого влияния в Прибалтике. (20 октября 1865 г.).

58. Оп. 3а. Д. 1272. Выписка из письма Фрейганга А. из Петербурга Каткову М.Н. в Москву о необходимости ходатайствовать о разрешении вернуться на родину латышскому писателю Безбардису К.Э., высланному в г. Клин. (1 марта 1866 г.).

59. Оп. 3а. Д. 1280а. Всеподданнейшая записка лифляндского дворянства о восстановлении прав Лифляндии. (февраль 1870 г.).

60. Оп. 3а. Д. 1281. Выписка из письма от отца [Александрова] из Риги к Александрову В.К. в Москву с сообщением о составлении адреса Альбединскому от русских, проживавших в Риге, о распространении слухов об отказе предводителя дворянства Эттингена разговаривать по-русски с Александром II и министром внутренних дел. (7 октября 1870 г.).

61. Оп. 3а. Д. 1282. Агентурные донесения об антирусских настроениях посетителей немецких клубов г. Петербурга, пропагандировавших отделение прибалтийских губерний от России и присоединение их к Германии. (31 декабря 1870 – 8 июля 1871 г.).

62. Оп. 3а. Д. 1283. Агентурные донесения о высказывания прибывших из Риги лиц, о притеснении немецкими властями русских и латышей и столкновении между проживавшими в Петербурге немцами и финнами. (7 июля – 17 августа 1871 г.).

63. Оп. 3а. Д. 1284. Записка ректора Дерптского университета фон Эттинга о положении дел в университете, принявших «противное целям учреждения направление» под влиянием русификаторской политики правительства в Прибалтийском крае. (1872 г.).

64. Оп. 3а. Д. 1286. Выписка из письма Богомольца из Риги к князю Любомирскому в Варшаву о космополитизме, атеизме и немецком национализме в рижских учебных заведениях. (12 апреля 1876 г.).

65. Оп. 3а. Д. 1287. Выписка из письма с подписью «М. Парун…» из Либавы Курляндской губернии Евреинову В.А. о пренебрежении к русскому языке в местных школах. (18 июля 1876 г.).

66. Оп. 3а. Д. 1288. Выписка из письма редактора «Рижского вестника» Чешихина Е. из Риги к редактору «Современные известия» Гилярову-Платонову Н.П. о предстоящих реформах в Прибалтийском крае и необходимости ликвидации в нем немецкого влияния и переписка с Лифляндским и Московским ГЖУ об установлении личности Чешихина с приложением прокламации исполнительного комитета «Народной воли» по поводу неудачного покушения на Александра II, присланной Чешихину. (14 сентября 1879 – 8 января 1880 г.).

67. Оп. 36 (1 экспедиция 1861 г.). Д. 303. О политических беспорядках в Западных губерниях. Сведения о нескольких или обо всех Западных губерниях и общие распоряжения к прекращению там беспорядков. (9 марта 1861 г.).

68. Оп. 38. (1 экспедиция 1863 г.). Д. 23. О беспорядках в Царстве Польском и в западных губерниях: общие сведения по Царству Польскому. (1863 г.)

69. Оп. 39. (1 экспедиция 1864 г.). Д. 82. О католиках Западных губерний, принявших православие (1864 г.).

70. Оп. 40. (1 экспедиция 1865 г.). Д. 103. О редакторах Московских Ведомостей Каткове и Леонтьеве (13 марта 1865 г.).

71. Оп. 43 (1-я экспедиция 1868 г.). Д. 45. О православном духовенстве Могилевской епархии. (1868 г.)

72. Оп. 223. Д. 34. Отчет о действиях III-го отделения. (1869 г.).

Ф. 543. – Коллекция рукописей Царскосельского дворца.

Оп.1. Д. 470. Всеподданнейший доклад министра внутренних дел И.Л. Горемыкина о необходимости дальнейшего сохранения генерал-губернаторского управления в Северо-Западном крае. (Б/д.).

Ф. 641. – Мария Александровна, Императрица.

Оп. 1. Д. 115. Письма имп. Марии Александровне вел. кн. Александра Александровича. (1864-1879 гг.).

Ф. 647. – Елена Павловна, Великая княгиня.

Оп. 1. Д. 58. Записка Заблоцкого о необходимости русификации западных губерний. (1862 г.).

Ф. 677. – Александр III, Император.

Оп. 1. Д. 300. Дневник великого князя Александра Александровича. (27 ноября 1866 г. – 28 июля 1867 г.).

Оп. 1. Д. 553. Всеподданнейший рапорт сенатора Н. Манасеина по ревизии Лифляндской и Курляндской губерний. (1882 г.).

Оп. 1. Д. 608. Записка неустановленного автора о немецком засилье в Прибалтийских губерниях. (1880-е гг.).

Оп. 1. Д. 823. Письма к Александру III Каткова М. (4 ноября 1877 г.-20 марта 1887 г.).

Ф. 681. – Алексей Александрович, Великий князь.

Оп. 1. Д. 30. Письма вел. князю Алексею Александровичу брата великого князя Александра Александровича на почтовой бумаге с вензелями. (1864, 1868, 1870, 1873 гг.).

Ф. 722. – Константин Николаевич, Великий князь.

Оп. 1. Д. 97. Дневник великого князя Константина Николаевича. (1 сентября 1869 г. – 28 февраля 1870 г.).

Ф. 730. Игнатьев Н.П.

Оп. 1. Д. 1825. Письмо О.Юзефовича Э.Э.Ухтомскому с сообщением об отказе получать "Петербургские ведомости" из-за их сочувствия полякам (22 октября 1897 г.).

Ф. 811. Муравьев М.Н.

Оп. 1. Д. 71. Записки без подписи о мерах укрепления русского землевладения в Северо-Западных губерниях и мерах борьбы с национально-освободительным движением в Польше и Литве. Копии. (1860-е гг.).

Ф. 1099. Филиппов Т.И.

Оп. 1. Д. 1884. Письма к Т.И. Филиппову Иловайского Дмитрия Ивановича. (28.01.1888 г. – 30.03.1896 г.)

Ф. 1729. – Святополк-Мирские.

Оп. 1. Д. 223. Письмо А. Миловидова Д.И. Святополк-Мирскому о деятельности Виленского отдела общества «Ревнителей русского исторического просвещения». (1903 г.).

Оп. 1. Д. 241. Записка (автор не указан) о Северо-западном крае (о деятельности католического духовенства, о постановке школьного образования, о землевладении и административном управлении краем) (1897 г.)

Оп. 1. Д. 371. Письмо К. Балясного П.Д. Святополк-Мирскому о безработице в городе Вильно, о росте недовольства среди рабочих. (1902 г.).

Оп. 1. Д. 982. Докладная записка комитета общества сельского хозяйства в г. Вильно П.Д. Святополк-Мирскому о необходимости открытия в г. Вильно высшие учебные заведения. Просят дать разрешения на подписку для

сбора добровольных пожертвований в целях открытия Политехнического Института в г. Вильно. (1903 г.).

Оп. 1. Д. 1157. Письма Гродненского губернатора М. Осоргина П.Д. Святополк-Мирскому – о забастовке 3-х тысяч человек ланкетников и фабричных ткачей г. Белостока; о распространении среди рабочих гг. Белостока, Гродно и др. революционных воззваний; о сходках рабочих в Брестском уезде; о недовольстве политикой царского правительства со стороны крестьянских масс; о демонстрации 20 июля в г. Белостоке; об усилении полицейского надзора и действиях полиции в борьбе с забастовочным движением; об увеличении количества патрулей по городам и деревням и др. (1903 – 1907 гг.).

Оп. 1. Д. 1480. Письмо А. Торицкого. О работе в Митавской гимназии, о большом разнообразии учащихся по национальностям, о скрытой борьбе всех национальностей против представителей русской власти и сильной интернациональной вражде. (1903 г.).

Оп. 1. Д. 1576. Письма А. Харузина (управляющий канцелярией Виленского, Ковенского и Гродненского губернатора) П.Д. Святополк-Мирскому – об антагонизме между польским, еврейским и русским населением Западного края; о волнениях крестьян; о росте революционного движения народных масс; об усилении полицейского надзора в городах; об отставке Витте и Дурново; о Русско-Японской войне; о своей служебной деятельности и др. (1902 – 1910 гг.).

Оп. 1. Д. 1657. Письмо С. Шарапова П.Д. Святополк-Мирскому – благодарит за разрешение издания журнала «Русское дело» (1904 г.).

Оп. 1. Д. 1802. Письмо попечителя Виленского учебного округа А. Попова епископу Гродненскому и Брестскому Иоакиму – относительно перехода некоторых школ учебного ведомства в духовное ведомство и строительства новых православных церквей. (1903 г.).

Российский государственный исторический архив (РГИА)

Ф. 540. Собственная Императрицы Марии Александровны канцелярия Министерства императорского двора.

1. Оп. 1. Д. 352. О поездке Великих князей Александра, Владимира и Алексея Александровичей за границу (Б/д.)

Ф. 560. Общая канцелярия министра финансов.

1. Оп. 16. Д. 214. О мерах к распространению русского языка в Прибалтийском крае. (16 июня 1867 г. – 30 декабря 1869 г.).

2. Оп. 22. Д. 222. Переписка с управляющим делами Комитета министров и другими лицами и учреждениями по поводу отчета виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора Николаю II, за 1898 г., с приложением отчета. (27 февраля 1899 г. – 12 марта 1899 г.).

3. Оп. 26. Д. 352. Замечания по всеподданнейшему отчету виленского, ковенского, гродненского генерал-генерал губернатора за 1902 – 1903 гг. (18 марта 1904 г.).

Ф. 733. Департамент народного просвещения.

1. Оп. 66. Д. 918. Дело об осмотре витебским гражданским губернатором учебных заведений Витебской губернии и о предложении им мер по усилению русского влияния в западных губерниях, в противовес влиянию польскому. (14 апреля 1849 г. – 10 февраля 1850 г.).

2. Оп. 194. Д. 374. Дело по ходатайству редактора газеты «Рижский вестник»; Чешихина о приобретении Министерством для фундаментальных библиотек некоторых училищ «Сборника материалов и статей по истории Прибалтийского края» (Б.д.).

3. Оп. 225. Д. 424. Формулярные списки: Ростовцев – Рубинский.

Ф. 747. Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III.

Оп. 1. Д. 1. Об учреждении общества ревнителей русского исторического просвещения. (1895 г.).

Оп. 1. Д. 59 а. Об издании документов Муравьевского музея, составленного А. Белецким (27 марта 1905 г. – 21 февраля 1907 г.).

Оп. 1. Д. 80. Записки о местных отделах общества ревнителей русского исторического просвещения. По Виленскому отделу. (8 ноября 1898 г. – 26 августа 1912 г.).

Ф. 772. Главное управления цензуры Министерства народного просвещения.

Оп. 1. Д. 1376. Дело о переименовании газеты «Литовский вестник» с 1841 года в «Виленский вестник» в связи с запрещением Николаем I употребления названий «белорусский» и «литовский» (2 октября – 24 октября 1840 г.)

Оп. 1. Д. 5713. Дело о запрещении статьи графа В. А. Соллогуба «О квасном патриотизме» и ответа на нее (для газеты «Северная пчела»), из опасения полемики, могущей задеть прибалтийских немцев (01 мая 1861 – 26 мая 1861 г.).

Ф. 775. Центральное управление по цензурному ведомству МВД.

Оп. 1. Д. 8. По отношению Рижского В. г. губернатора о прекращении полемики с немецким населением Остзейского края (19 января 1863 г.).

Ф. 776. Главное управление по делам печати МВД.

Оп. 4. Д. 64. Дела о периодических изданиях. Дело об издании газеты «Виленский вестник». Часть I (23 июля 1868 г. – 18 апреля 1885 г.).

Оп. 4. Д. 123. Дела о периодических изданиях. Дело об издании газеты «Рижский вестник». Часть 1 (1 декабря 1868 г. – 3 июня 1891 г.).

Оп. 4. Д. 124. Дела о периодических изданиях. Дело об издании газеты «Рижский вестник». Часть 2 (7 июля 1891 г. – 9 августа 1915 г.).

Оп. 4. Д. 300. Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел. 1869 г. III. Дела о периодических изданиях. Дело об издании в городе Вильне журнала «Вестник Западной России» (7 апреля 1869 г. – 12 июня 1871 г.).

Оп. 14 (1903 г.). Д. 116. По ходатайству Бывалькевича о разрешении ему издавать в городе Вильне газету «Западный вестник» (11 сентября 1904 г.).

Оп. 20. Д. 430. Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел. 1881 г. Дело о выдаче субсидии редактору газеты "Рижский вестник" Е.В. Чешихину на издание «Прибалтийского сборника» том IV. (10 декабря 1881 г. – 9 февраля 1884 г.).

Ф. 796. Канцелярия Святейшего Правительствующего Синода.

Оп. 165. Д. 659. О сочинении профессора Санкт-Петербургской академии М. Кояловича под названием: Чтения по истории Западной России. (16 августа 1884)

Оп. 205. Д. 440. II. Арсений Москвин II. 6. Разное. "Всеподданнейшие" прошения и адреса дворян юго-западных губерний и речь ген.-губернатора к помещикам Киевской губ. Копии (1851 г.)

Оп. 205. Д. 581. V. Антоний Радонежский. 3. Письма епископу Антонию. К. Говорского об издании «Всетника юго-западной России». (16 апреля 1862 г.).

Оп. 205. Д. 945. Записка М.И. Кояловича о путях ослабления польского влияния в западном крае. (Не ранее 1870 г.).

Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД.

Оп. 10. Д. 64. Отчет о деятельности Департамента за 1882–1888 гг. (1882 – 1888 гг.).

Оп. 125. Д. 277. Римско-католический отдел. Дело об издании распоряжений и законоположений об употреблении русского языка при дополнительном богослужении в римско-католических церквах России и Царства Польского. Часть I (4 сентября 1867 г. – 7 августа 1901г.).

Оп. 138. Д. 19. Дела по римско-католическому исповеданию. Отдельные записки по римско-католическим делам (25 ноября 1858 г. – 24 марта 1884 г.).

Оп. 138. Д. 45. Дела по римско-католическому исповеданию. Разнородные бумаги, относящиеся ко времени до 1870 года (1845 г. – 1913 г.).

Оп. 150. Д. 584. Дело о запрещении употребления польского языка при богослужении в римско-католических церквах в России. (7 марта 1866г.).

Ф. 908. – Валуев П.А.

Оп. 1. Д. 194. Отношение виленского военного губернатора, гродненского, ковенского и минского генерал-губернатора министру народного просвещения о состоянии народного образования в Западном крае (заверенная копия), и мерах русификации края, с сопроводительным письмом П.А. Валуеву (1 – 9 февраля 1863 г.).

Оп. 1. Д. 262. Перечень правительственных мер предполагавшихся к исполнению и исполненных по Западному краю в смысле усиления православия и русского элемента (после 1865 г.).

Оп. 1. Д. 271. Записка неустановленного лица (без подписи) о внутреннем политическом положении Северо-Западного края. (28 мая 1866 г.).

Оп. 1. Д. 309. Всеподданнейшая докладная записка генерала-адъютанта (Петра Павловича) Альбединского по вопросу о введении русского языка в делопроизводство учреждений местного управления Прибалтийского края. (4 ноября 1869 г.).

Ф. 916. Валь фон В.В.

Оп. 1. Д. 13. «Вильна». Воспоминания (Виктора Вас. Фон Валя) о своей деятельности в должности губернатора и фотографии гостиной в доме фон Валя в Вильне. (Не ранее 1905 г.).

Ф. 940. Заблоцкий-Десятовский А.П.

Оп. 1. Д. 3. Записка А.П. Заблоцкого-Десятовского о мерах, необходимых для упрочения русского владычества в Западном крае, представленная имп. Александру II государственным секретарем Владимиром Петровичем Бутковым 24 февр. 1862 г. (1862 г.).

Оп. 1. Д. 4. Материалы для истории «Западно-русского общества», организованного А.П. Заблоцким-Десятовским и другими для борьбы с польским влиянием и для урепления русских начал в Западном крае. Устав, объяснительная к нему записка, всеподданнейший доклад 30 апр. 1863 г. председателя Госуд. Совета гр. Дмитрия Николаевича Блудова об учреждении Общ-ва, список учредителей Общ-ва. (Нач. 1863 г.).

Ф. 954. Кауфманы, фон.

Оп. 1. Д. 38. Письмо А[лексея Ивановича] Забелина, [учителя], о программе газеты «Виленский Вестник». (13 января 1867 г.).

Оп. 1. Д. 52. Письмо Александра Викторовича Рачинского о торжественном спектакле в Вильне в честь дня «освобождения крестьян», об обращенных в православие крестьянах, о своем труде, о Северо-Западном крае. (20 февраля 1866 г.).

Ф. 970. Корнилов И.П.

Оп. 1. Д. 67. Записка о значении национальности и вероисповеданий преподавателей, особенно в Западном крае. (1880-е гг.).

Оп. 1. Д. 73. Записка «О русской ученой и литературной деятельности в губерниях Виленского учебного округа с 1864 г.». (1867 – 1868 гг.).

Оп. 1. Д. 81. Статья «О высшем учебном заведении в Вильне» «Новое время». 1889. № 4920. (1889 г.)

Оп. 1. Д. 138. Записка об изучении католическими проповедниками русского языка. (Б.д.).

Оп. 1. Д. 152. Записки о национальном и религиозном индифферентизме русского общества. (конец XIX в.).

Оп. 1. Д. 162. Заметки о повышении у немцев чувства национальной гордости и пренебрежительного отношения к русским. (1871 г.).

Оп. 1. Д. 163. Заметки о русской интеллигенции. Среди них ответ на статью Соловьева В.С. «Россия и Европа» («Вестник Европы» 1888 г.). (1895 г.).

Оп. 1. Д. 173. Записка о значении русских школ и русского языка в объединении Остзейских губерний и Царства Польского с великорусскими губерниями. (Б.д.).

Оп. 1. Д. 180. Записки о различии исторической судьбы польского и русского народов и о мерах к усилению русского элемента в Западном крае. (конец XIX в.).

Оп. 1. Д. 185. Записка о литовско-русской знати и ее измене русским интересам. (Б.д.).

Оп. 1. Д. 189. Записки и статья «Ответ защитникам располячения западно-русского костела». (1897 г.).

Оп. 1. Д. 193. Записка о нравственном облике польского народа. (конец XIX в.).

Оп. 1. Д. 512. Речь неустановленного лица к русскому купечеству о материальной поддержке газеты «Рижский вестник» и о русском влиянии в прибалтийском крае. (не позднее 1870-х гг.)

Оп. 1. Д. 852. Письмо Чешихина Евграфа Васильевича, редактора «Рижского вестника». (7 января 1885 г.).

Оп. 1. Д. 877. Записка (Кулина В.П.) «Словечко о гимназиях западно-русского края». (февраль 1864 г.).

Оп. 1. Д. 878. Записка Кулина В.П. «Об отделении полонизма от римского католичества в Северо-Западных губерниях» (24 июня1866 г.).

Оп. 1. Д. 884. Записка Кулина В.П. о недопущению поляков к занятию должностей в Виленском учебном округе (1864 г.)

Оп. 1. Д. 898. Докладные записки (неустановленных лиц) министру народного просвещения по вопросу преобразования учебных заведений по Виленскому учебному округу (1865 – 1867 гг.).

Ф. 1072. Ухтомский Э.Э.

Оп. 2. Д. 95. Статья Подарина Н. О взаимоотношениях русских с населением окраин России. (1890-е гг.).

Ф. 1282. Канцелярия министра внутренних дел.

Оп. 1. Д. 684. Дело по донесению лифляндского губернатора о народных волнениях в губернии и распространении воззваний, направленных против господства немцев в Прибалтике. (14 августа 1881 г. – 2 марта 1882 г.).

Оп. 2. Д. 329. Проект инструкции киевскому военному, подольскому и волынскому генерал-губернатору о введении в присоединенных от Польши губерниях управления, аналогичного с управлением в центральных губерниях России. (14 мая 1840 г.).

Оп. 2. Д. 354. Доклад виленского, гродненского и минского генерал-губернатора Александру II о снятии военного положения в Северо-Западном крае. (28 апреля 1868 г.).

Оп. 2. Д. 1900. Дело о поручении тайному советнику П.Н. Батюшкову составления альбома памятников русской старины в Западных губерниях. (31 марта 1868 г. – 29 апреля 1868 г.).

Оп. 3. Д. 240. Отчеты о состоянии Бакинской, Бессарабской, Волынской, Воронежской, Гродненской, Ковенской, Курской, Лифляндской, Пензенской, Седлецкой, Тобольской, Томской, Тульской, Херсонской и Эстляндской губерний, Амурской, Забайкальской, Приморской, Самаркандской,

Тургайской и Ферганской областей, Севастопольского и Николаевского градоначальств за 1896 г. (1896 г.).

Ф. 1284. Департамент общих дел МВД.

Оп. 190. Д. 82. О тайном обучении детей в нешкольном образовании (2 апреля 1893 г.).

Оп. 190. Д. 100. По поводу корреспонденции из Вильны в газете «Свет», что с отменой генерал-губернаторской власти пробуждаются польские движения в крае. (7 февраля 1902 г.).

Ф. 1574. Победоносцев К.П.

Оп. 1. Д. 85. Письмо Кояловича М.И., профессора Петербургской духовной академии, с предложениями по реформе народного образования в Западных губерниях Российской империи. (не ранее 1864 г.).

Ф. 1604. Делянов И.Д.

Оп. 1. Д. 337. Письмо [И.Д. Делянова - написано рукою Аничкова] обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву по вопросу о передаче всех начальных школ духовному ведомству (Б/д.).

Оп. 1. Д. 758. Отчет виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора Каханова по управлению Северо-Западным краем с 14 января 1884 года по 1 августа 1886 год и справка к всеподданнейшему отчету (составленная [в] канцелярию Комитета министров). Печатная копия, присланная И.Д. Делянову. (1886 г.)

Ф. 1642. Куломзин А.Н.

Оп. 1. Д. 188. Воспоминания Куломзина А.Н. «Пережитое». Т.I. Ч. 4 «Моя служба в Министерстве государственных имуществ (1880 – 1882 гг.)». (1903 г., 1905 – 1918 гг.).

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ)

Ф. 120. Катков М.Н.

К. 2. Ед. хр. 10. Гезен Август Матвеевич. Письма к Леонтьеву Павлу Михайловичу. (1866 – 1874 гг.).

К. 7. Ед. хр. 30. Маркевич Болеслав Михайлович. Письма к Каткову М.Н. (1866 г.).

К. 20. Ед. хр. 3. Копии писем разных лиц к Каткову Михаилу Никифоровичу. Блудова Антонина Дмитриева.

К. 21. Ед. хр. 2. Копии писем разных лиц к Каткову Михаилу Никифоровичу. Майков Аполлон Николаевич.

К. 21. Ед. хр. 4. Копии писем разных лиц к Каткову Михаилу Никифоровичу. Тютчев Федор Иванович.

К. 24. Ед. хр. 68. Копии писем разных лиц к Каткову Михаилу Никифоровичу. Райковский Сергей Андреевич.

К. 36. Копии писем Феоктистова Е.М. к Каткову М.Н. (Б.д.)

К. 47. Ед. хр. 1. Копии писем Каткова М.Н. к Александру III. (1880-е).

К. 49. Ед. хр. 45. Письма к Муравьеву Михаилу Николаевичу (1860-е гг.).

Ф. 126. Киреевы и Новиковы.

Т. 1. Ед. хр. 1. Дневники 1861 – 1864 гг. (1 мая 1861 г. – 10 августа 1864 г.).

Т. 1. Ед. хр. 9. Дневники 1881 – 1884 гг. (август 1881 г. – март 1884 г.).

К. 8479. Ед. хр.10. Письма Победоносцева К.П. к Новиковой О.А. (1889 г.).

Ф. 169. Милютины.

К. 42. Ед. хр 1. Назимов Владимир Иванович, ген. – адъютант, Виленский военный губернатор. «Всеподдан.» доклад о народном

образовании в Западном крае и изменении там порядка назначения на некоторые должности. (август 1862 г.).

Ф. 308. Тютчев Ф.И.

К. 1. Ед. хр. 10. «Le Russie et l`Occident». Статья, черновые материалы к отдельным главам. (1849 г.).

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ)

Ф. 16. Альбединский П.П.

Ед. хр. 46. Потапов Александр Львович, Виленский, Ковенский и Гродненский ген.-губ. Докладные записки имп. Александру II и министру Внутренних дел А.Е. Тимашеву о землеустройстве в крае и деятельности мировых посредников. Приложение: «Проект дополнительных правил об отграничении крестьянских наделов и окончании поверочных действий в Северо-западных губ.». (Июнь 1868 – Апр. 1869 г.).

Ф. 52. Батюшковы П.Н., С.Н.

Оп. 39. Ед. хр. 55. Записка о необходимости продолжения правительственной субсидии газете «Виленский вестник». Вильно. Приложение: историческая справка о «Виленском вестнике». (10 ноября 1868 г.).

Оп. 39. Ед. хр. 58. Отчет об управлении Виленском учебном округом за период с марта 1868 по сентябрь 1869 г. (20 сентября 1869 г.).

Ф. 377. – Корнилов И.П.

Оп. 289. Ед. хр. 11. Записка о поддержке генерал-губернатором Северо-Западного края А.Л. Потаповым польских элементов и о преследовании служащих, проводивших русификацию в Виленском учебном округе. (1869 г.).

Оп. 289. Ед. хр. 360. Письмо Михаилу Никифоровичу Каткову и Павлу Михайловичу Леонтьеву. (март 1864 г.).

Оп. 289. Ед. хр. 597. Говорский Ксенофонт Антонович, издатель «Вестника Юго-Западной России». Письма (3) Ивану Петровичу Корнилову. Киев, Вильно. (1862 – 1866 гг.).

Ф. 531. Норов А.С.

Оп. 393. Ед. хр. 51. Мнение по вопросу о деятельности учительских семинарий. (1855 – 1-я пол. 1860-х гг.).

Ф. 629. Ратч В.Ф.

Оп. 460. Ед. хр. 247. Лаппа Александр Демьянович, минский губ. предводитель дворянства. Докладная записка министру народного просвещения Александру Васильевичу Головину о реформе народного образования. Минск. (19 мая 1862 г.).

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ)

Ф. 46. Бартенев П.И.

Оп. 2. Ед. хр. 335. Чешихин Евграф Васильевич. «Граф Ф.Ф. Буксгевден и Лифляндская ландрагская коллегия в 1805 г.». Статья. (до 1888 г.).

Ф. 345. Новикова О.А.

Оп. 1. Ед. хр. 746. Письма Тихомирова Льва Александровича, ч. I. Новиковой Ольге Алексеевне. (24 октября-19 декабря 1888 и б. д.).

Ф. 553. Чешихины.

Оп. 1. Ед. хр. 1238. Чешихин Евграф Васильевич. «Эстляндская губерния 1819 г.» (1887-1888 гг.).

Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ)

Ф. 136. Минская духовная православная консистория.

Оп. 1. Д. 31411. Дело об упразднении римско-католических костелов в м. Волма Минского у. и каплицы в им. Заневщина Минского у. и передаче их в православное ведомство. (1866 – 1874 гг.).

Ф. 295. Канцелярия Минского гражданского губернатора.

Оп. 1. Д. 1899. Описание истории развития гор. Глусска Бобруйского уезда и рапорт Бобруйского исправника об упразднении римско-католического костела в гор. Глусске. (14 декабря 1868 г. – 23 мая 1869 г.).

Оп. 1. Д. 1907. Копия анонимного письма, полученного из-за границы на имя мирового посредника I участка Новогрудского уезда Строковского о введении в обращение среди крестьян вместо польского русского языка. (25 мая – 6 августа 1868 г.).

Оп. 1. Д. 2169. Дело по жалобе мещан месс. Логишина Минского уезда на принуждение их к принятию православной веры и закрытие костела. (20 мая 1870 г. – 18 марта 1871 г.).

Оп. 1. Д. 3107. Дело о введении в костелах исполнения дополнительной службы на русском языке (11 февраля 1876 г. – 1 июня 1877 г.).

Оп. 1. Д. 4335. Рапорты Борисовского уездного исправника о сборе пожертвований на распространение православия в Прибалтийских губерниях (6 мая – 1 сентября 1887 г.).

Оп. 1. Д. 5987. Отчет губернатора о состоянии Минской губернии. (30 марта 1895 г. – 27 января 1896 г.).

Оп. 1. Д. 7292. Отчет губернатора о состоянии Минской губернии за 1902 г. (7 января – 18 апреля 1903 г.).

Ф. 321. Минского уездного предводителя дворянства.

Оп. 1. Д. 229. Дело о мерах по распространению грамотности в народе. (9 ноября 1892 г. – 28 января 1893 г.).

Ф. 458. Дирекция народных училищ Минской губернии.

Оп. 1. Д. 194. Дело о праздновании в учебных заведениях Минской губ. столетия со дня смерти Екатерины II. (13 августа 1896 г. – 5 января 1897 г.).

Ф. 1297. Канцелярии генерал-губернатора витебского, могилевского и смоленского.

Оп. 1. Д. 24628. Дело о преподавании русского языка в учебных заведениях Витебской губернии. (16 – 18 мая 1854 г.).

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

А) Сборники документов

1. Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Т. XXVI. Акты Упитского гродского суда. – Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1899. – 646 с.

2. Архивные материалы муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863 – 1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. (Виленский временник. Кн. VI). – Вильна: Губернская типография, 1913. – 464 с.

3. Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I // Река времен. Книга истории и культуры. Вып. 1. / сост. М. М. Шевченко. – Москва: Издательство «Эллис Лак». 1995. – С. 68–78.

4. Имперская политика России в Прибалтике в начале XX века: сборник документов и материалов / сост. Т. Карьяхярм. – Тарту: Eesti Ajalooarhiiv, 2000. – 402 с.

5. Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. Ч. 2. – Санкт-Петербург: Тип. И.И. Глазунова и К°. 1862. – 635 с.

6. Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. – Санкт-Петербург: Тип. А.П. Лопухина, 1901. – 420 с.

7. Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. 2-е издание. Вып. 1. – Санкт-Петербург: Тип. А.С. Суворина, 1908. – 504 с.

8. Коялович, М.О. Документы, объясняющие историю западнорусского края и его отношения к России и к Польше. – Санкт-Петербург: Тип. Эдуарда Праца, 1865. – 658 с.

9. Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. / отв. ред. С. А. Макашин, К. В. Пигарев, Т. Г. Динесман. – Москва: Наука, 1988. – 589 с.

10. О введении русского языка в римско-католическое богослужение. – Санкт-Петербург: Синодальная тип., 1867. – 62 с.

11. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 1825–1881 гг. (в 55 томах). Т. 52. – Санкт-Петербург: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1879. – 823 с.

12. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1881–1913 гг. (в 33 томах). Санкт-Петербург-Петроград, 1885–1916: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1894–1895. Т. 11–12.

13. Протоколы заседаний Археографической комиссии. Вып. 3. 1850–1868 г. – Санкт-Петербург: Тип. бр. Пантелеевых, 1892. – 527 с.

14. «Россия под надзором»: отчеты III отделения. 1827–1869 / сост. М. В. Сидорова, Е. И. Щербакова. – Москва: Российский фонд культуры, 2006. – 703 с.

15. Сборник документов Музея графа М.Н. Муравьева. Т. 1 / сост. А. Белецкий. – Вильна: Русский почин, 1906. – 332 с.

16. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. I–III. / сост. Е. Чешихин. – Рига: Типография А.И. Липинского, – 1877–1880.

17. «Краёвая ідэя» ў беларускай гісторыі: зборнік навуковых артыкулаў / Аляксандр Смалянчук. – Мінск: Зміцер Колас, 2017. – 458 с.

Б) Отдельные документы

1. Муравьев М.Н. Всеподданнейший отчет по управлению Северо-Западным краем / М. Н. Муравьев // Русская старина. – 1902. – № 6. – С. 487–510.

2. Муравьев М. Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края 14 мая 1864 года / М. Н. Муравьев // Русский Архив. – 1885. – № 6. – С. 186–197.

3. Муравьев М.Н. Записка о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края / М. Н. Муравьев // Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. II. – Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича. 1898. – С. 300–312.

4. Муравьев М.Н. О политическом преобразовании губерний от Польши возвращенных и уничтожении тех начал, которые постепенно довели край сей до совершенного отчуждения от России / М. Н. Муравьев // Русский архив. – 1885. – № 6. – С.181–186.

5. Отчет о деятельности Рижского Православного Петро-Павловского Братства за 1886 год. Двадцатый год существования. – Рига. Тип. М. Якобсона. 1887. – 14 с.

6. Устав общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. – Санкт-Петербург: Тип. А.С. Суворина, 1895. – 18 с.

7. Циркуляр № 509 Виленского римско-католического епископа С. Зверовича от 12 февраля 1902 г. // Ганчар А.И. Римско-католическая церковь в Беларуси (вт. пол. XIX– нач. XX вв.). – Гродно: ГГАУ, 2010. – С. 468–469.

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

1. Белая Русь. – 1906. – № 8. – 28 февраля.
2. Весть. – 1868. – № 34. – 27 марта.
3. Виленский вестник. – 1866. – № 24. – 29 января.
4. Виленский вестник. – 1866. – № 25. – 31 января.
5. Виленский вестник. – 1866. – № 26. – 1 февраля.
6. Виленский вестник. – 1866. – № 27. – 3 февраля.
7. Виленский вестник. – 1866. – № 33. – 12 февраля.
8. Виленский вестник. – 1866. – № 40. – 22 февраля.
9. Виленский вестник. – 1866. – № 70. – 5 апреля.
10. Виленский вестник. – 1866. – № 119. – 7 июня.
11. Виленский вестник. – 1866. – № 140. – 2 июля.
12. Виленский вестник. – 1866. – № 144. – 7 июля.
13. Виленский вестник. – 1866. – № 146. – 9 июля.
14. Виленский вестник. – 1866. – № 148. – 12 июля.
15. Виленский вестник. – 1866. – № 150. – 14 июля.
16. Виленский вестник. – 1866. – № 151. – 15 июля.
17. Виленский вестник. – 1866. – № 186. – 3 сентября.
18. Виленский вестник. – 1866. – № 217. – 14 октября.
19. Виленский вестник. – 1866. – № 218. – 15 октября.
20. Виленский вестник. – 1867. – № 1. – 3 января.
21. Виленский вестник. – 1867. – № 9. – 21 января.
22. Виленский вестник. – 1867. – № 10. – 24 января.
23. Виленский вестник. – 1867. – № 13. – 31 января.
24. Виленский вестник. – 1867. – № 22. – 21 февраля.
25. Виленский вестник. – 1867. – № 25. – 2 марта.
26. Виленский вестник. – 1867. – № 26. – 4 марта.
27. Виленский вестник. – 1867. – № 34. – 23 марта.
28. Виленский вестник. – 1867. – № 35. – 25 марта.

29. Виленский вестник. – 1867. – № 77. – 6 июля.
30. Виленский вестник. – 1867. – № 82. – 18 июля.
31. Виленский вестник. – 1867. – № 83. – 20 июля.
32. Виленский вестник. – 1867. – № 92. – 8 августа.
33. Виленский вестник. – 1867. – № 93. – 10 августа.
34. Виленский вестник. – 1867. – № 98. – 24 августа.
35. Виленский вестник. – 1867. – № 110. – 21 сентября.
36. Виленский вестник. – 1867. – № 119. – 14 октября.
37. Виленский вестник. – 1867. – № 120. – 17 октября.
38. Виленский вестник. – 1867. – № 134. – 18 ноября.
39. Виленский вестник. – 1868. – № 9. – 23 января.
40. Виленский вестник. – 1868. – № 100. – 7 сентября.
41. Виленский вестник. – 1890. – № 19. – 25 января.
42. Виленский вестник. – 1890. – № 229. – 24 октября.
43. Виленский вестник. – 1890. – № 237. – 2 ноября.
44. Виленский вестник. – 1898. – № 246. – 8 ноября.
45. Виленский вестник. – 1898. – № 247. – 9 ноября.
46. Виленский вестник. – 1898. – № 248. – 10 ноября.
47. Виленский вестник. – 1898. – № 249. – 11 ноября.
48. Виленский вестник. – 1898. – № 250. – 12 ноября.
49. Виленский вестник. – 1898. – № 251. – 13 ноября.
50. Виленский вестник. – 1898. – № 252. – 14 ноября.
51. Виленский вестник. – 1898. – № 254. – 17 ноября.
52. Виленский вестник. – 1898. – № 255. – 18 ноября.
53. Виленский вестник. – 1898. – № 256. – 19 ноября.
54. Виленский вестник. – 1898. – № 257. – 20 ноября.
55. Виленский вестник. – 1898. – № 258. – 21 ноября.
56. Виленский вестник. – 1898. – № 262. – 25 ноября.
57. Виленский вестник. – 1904. – № 24. – 27 марта.
58. Виленский вестник. – 1904. – № 444. – 9 ноября.

59. Гражданин. – 1882. – № 39. – 2 мая.

60. Гражданин. – 1884. – № 6. – 22 января.

61. Гражданин. – 1889. № 296. – 25 октября.

62. День. – 1862. – № 50. – 15 декабря.

63. День. – 1864. – № 31. – 1 августа.

64. День. – 1865. – № 21. – 22 мая.

65. Западный вестник. – 1903. – № 1. – 1 ноября.

66. Западный вестник. – 1903. – № 8. – 8 ноября.

67. Западный вестник. – 1904. № 243. – 10 сентября.

68. Известия Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. – 1900. – № 1.

69. Киевлянин. – 1865. – № 36. – 25 марта.

70. Киевлянин. – 1865. – № 49. – 29 апреля.

71. Киевлянин. – 1865. – № 63. – 1 июня.

72. Киевлянин. – 1866. – № 29. – 8 марта.

73. Литовские епархиальные ведомости. – 1885. – № 14. – 7 апреля.

74. Литовские епархиальные ведомости. – 1885. – № 15. – 14 апреля.

75. Литовские епархиальные ведомости. – 1885. – № 16–17. – 28 апреля.

76. Литовские епархиальные ведомости. – 1904. – № 1–2. – 18 января.

77. Мировые отголоски. – 1897. – № 206. – 28 июля.

78. Морской сборник. – 1861. – Т. LVI. – № 11.

79. Московские ведомости. – 1863. – № 97. – 5 мая.

80. Московские ведомости. – 1863. – № 128. – 12 июня.

81. Московские ведомости. – 1867. – № 56. – 10 марта.

82. Московские ведомости. – 1867. – № 90. – 25 апреля.

83. Московские ведомости. – 1867. – № 120. – 1 июня.

84. Москва. – 1867. – № 1. – 1 января.

85. Москва. – 1867. – № 30. – 7 февраля.

86. Москва. – 1867. – № 36. – 14 февраля.

87. Москва. – 1867. – № 39. – 17 февраля.
88. Москва. – 1867. – № 56. – 11 марта.
89. Москва. – 1867. – № 57. – 12 марта.
90. Москва. – 1867. – № 62. – 18 марта.
91. Москва. – 1867. – № 127. – 10 сентября.
92. Москва. – 1867. – № 144. – 4 октября.
93. Москва. – 1867. – № 147. – 7 октября.
94. Москва. – 1867. – № 148. – 8 октября.
95. Москва. – 1867. – № 159. – 21 октября.
96. Москва. – 1867. – № 166. – 29 октября.
97. Москва. – 1867. – № 177. – 11 ноября.
98. Москва. – 1867. – № 179. – 14 ноября.
99. Москва. – 1867. – № 192. – 1 декабря.
100. Москва. – 1868. – № 7. – 10 апреля.
101. Москва. – 1868. – № 10. – 13 апреля.
102. Москва. – 1868. – № 40. – 22 мая.
103. Москва. – 1868. – № 63. – 18 июня
104. Москва. – 1868. – № 88. – 18 июля.
105. Москва. – 1868. – № 91. – 21 июля.
106. Москва. – 1868. – № 127. – 10 сентября.
107. Москва. – 1868. – № 128. – 11 сентября.
108. Москва. – 1868. – № 130. – 13 сентября.
109. Москва. – 1868. – № 136. – 21 сентября.
110. Москва. – 1868. – № 148. – 8 октября.
111. Москвич. – 1867. – № 2. – 24 декабря.
112. Новое время. – 1881. – № 1797. – 28 февраля (12 марта).
113. Новое время. – 1887. – № 4091. – 21 июля (2 августа).
114. Новое время. – 1889. – № 4804. – 15 (28) июля.
115. Новое время. – 1893. – № 6296. – 8 (20) сентября.

116. Новое время. – 1896. – № 7298. – 23 июня (5 июля); № 7305. – 30 июля (12 июля).

117. Новое время. – 1899. – № 8561. – 28 декабря (9 января 1900 г.).

118. Новое время. – 1901. – № 8929. – 18(31) января.

119. Новое время. – 1901. – № 8956. – 1(14) февраля.

120. Новое время. – 1901. – № 8957. – 2(15) февраля.

121. Новое время. – 1901. – № 8963. – 8(21) февраля.

122. Новое время. – 1901. – № 8965. – 10(23) февраля.

123. Новое время. – 1903. – № 9741. – 3(16) мая.

124. Новое время. – 1904. – № 10224. – 17(30) сентября.

125. Правительственный вестник. – 1891. – № 105. – 15 апреля.

126. Правительственный вестник. – 1892. – № 80. – 27 марта.

127. Рижский вестник. – 1869. – № 85. – 22 октября.

128. Рижский вестник. – 1870. – № 263. – 24 ноября.

129. Рижский вестник. – 1873. – № 196. – 6 сентября.

130. Рижский вестник. – 1873. – № 197. – 7 сентября.

131. Рижский вестник. – 1873. – № 198. – 10 сентября.

132. Рижский вестник. – 1874. № 130. 13 июня.

133. Рижский вестник. – 1877. № 224. 7 октября.

134. Рижский вестник. – 1879. – № 34. – 12 февраля.

135. Рижский вестник. – 1879. – № 52. – 6 марта.

136. Рижский вестник. – 1879. – № 66. – 22 марта.

137. Рижский вестник. – 1879. – № 79. – 10 апреля.

138. Рижский вестник. – 1879. – № 83. – 14 апреля.

139. Рижский вестник. – 1879. – № 87. – 20 апреля.

140. Рижский вестник. – 1879. – № 173. – 3 августа.

141. Рижский вестник. – 1879. – № 175. – 7 августа.

142. Рижский вестник. – 1879. – № 181. – 14 августа.

143. Рижский вестник. – 1879. – № 203. – 11 сентября.

144. Рижский вестник. – 1883. – № 287. – 31 декабря.

145. Рижский вестник. – 1893. – № 288. – 31 декабря.
146. Русский мир. – 1875. – № 14. – 16 (28) января.
147. Русский мир. – № 96. – 11 (23) июля.
148. Русский мир. – № 153. – 6 (18) сентября.
149. Русское дело. – 1888. – № 9. – 27 февраля.
150. Русский труд. – 1897. – № 30. – 26 июля.
151. Русский труд. – 1897. – № 34. – 23 августа.
152. Русский труд. – 1897. – № 36. – 6 сентября.
153. Русь. – 1880. – № 6. – 20 декабря.
154. Русь. – 1882. – № 1. – 2 января.
155. Русь. – 1884. – № 1. – 5 января.
156. Русь. – 1885. – № 9. – 31 августа.
157. Русь. – 1885. – № 10. – 7 сентября.
158. Русь. – 1885. – № 25. – 21 декабря.
159. Русь. – 1886. – № 33. – 13 февраля.
160. Северо-западный край. – 1903. – № 109. – 12 марта.
161. Современные известия. – 1887. – № 202. – 25 июля.
162. Zeitung fur Stadt und Land. – 1871. – № 246. – 22 Nowember.

ПУБЛИЦИСТИКА

1. Аксаков, И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева / И. С. Аксаков. – Москва: Тип. М.Г. Волчанинова, 1886. – 327 с.

2. Аксаков, И.С. Наше знамя – русская народность / отв. ред. О. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2016. – 640 с.

3. Аксаков, И.С. Сочинения. 1860–1886. Т. 2: Славянофильство и западничество: Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси» / И. С. Аксаков. – Санкт-Петербург: Тип. А.С. Суворина, 1891. – 831 с.

4. Аксаков, И.С. Сочинения. Т. 3. Польский вопрос и Западно-Русское дело. Еврейский вопрос / И. С. Аксаков. – Санкт-Петербург*:* Изд. Императорской публичной библиотеки, 1900. – 570 с.

5. Берк, Э. Размышления о революции во Франции, о прениях в некоторых лондонских обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть отправленным некоему благородному господину в Париж / Э. Берк. – London: Overseas publ. interchange ltd., 1992. – 411 с.

6. Будилович, А.С. По вопросу об окраинах России. – Санкт-Петербург: Тип. Воейкова, 1906. – 25 с.

7. Бунге, Н.Х. Загробные заметки // Судьбы России. Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX века) / подгот.: Л. Е. Шепелев. – Москва: Лики России. 1999. – С. 191–264.

8. Воронин, А. О польском аристократическом элементе в Юго-Западной России / А. Воронин // Вестник Юго-Западной и Западной России. – 1862. – Июль. – Т. I. – Отдел II. – С. 1–29.

9. Восторгов, И.И. Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III / И. И. Восторгов // Полное собрание сочинений. Т. 4. – Москва: Книгоиздательство «Верность», 1916. – С. 84–88.

10. Владимиров, А.П. Из новейшей летописи Северо-Западной России (1865 г.). История плана располячения католицизма в Западной России / А. П. Владимиров // Русская старина. – 1885. – Т. 48. – Вып. 10 (октябрь). – С. 99–123.

11. Владимиров, А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае / А. П. Владимиров // Русское обозрение. – 1894. – № 7. – С. 217–241; – № 8. – С. 748–767; – № 9. – С. 171–192.

12. Генерал-адъютант Виталий Николаевич Троцкий // Виленский календарь на 1902 г. – Вильна. Тип. А.Г. Сыркина, 1901. – С. 183–212.

13. Герцен, А.И. Избранные труды / А. И. Герцен; сост., авт. вступ. ст. и коммент. В. К. Кантор. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 774 с.

14. Градовский, А.Д. Собрание сочинений. Т. VI: Статьи и публичные лекции о национальном вопросе. Славянский вопрос и война 1877 года. Польский вопрос / А. Д. Градовский. – Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – 635 с.

15. Градовский, А.Д. Что такое консерватизм? / А. Д. Градовский // Собрание сочинений. Т. III. – Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – С. 313–323.

16. Де-Пуле, М.Ф. К истории украинофильства / М. Ф. Де-Пуле // Русский вестник. – 1881. – № 4. – С. 210–234.

17. Де-Пуле, М.Ф. Станислав-Август Понятовский в Гродне и Литва в 1794–1797 гг. / М. Ф. Де-Пуле. – Санкт-Петербург: Типография Майкова, 1871. – 255 с.

18. Де-Пуле, М.Ф. Украинофильство в его позднейшей формации / М. Ф. Де-Пуле // Русь. – 1884. – № 5. – С. 36–41; – № 6. – С. 21–28; – № 7. – С. 19–25.

19. Забелин, А.И. Опыт учительской семинарии в северо-западной России и его указания / А. И. Забелин // Журнал Министерства народного просвещения. – 1867. – № 2. – С. 394–432.

20. Забытые страницы польского вопроса: Антология / отв. ред. А.Ю. Дворниченко. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. – 402 с.

21. Зиновьев, М.А. Опыт исследования земского устройства Лифляндской губернии / М. А. Зиновьев. – Рига: Лифляндская губернская типография, 1895. – 149 с.

22. Зиновьев, М.А. Труды покойного лифляндского губернатора М.А. Зиновьева / М. А. Зиновьев. – Рига: Типография В.Ф. Геккера. 1906. – 129 с.

23. Извеков, Н.Д. Некоторые черты деятельности митрополита Макария (Булгакова) по управлению Литовской епархией // Богословский вестник. – 1892. – Т. 3. – № 12. – С. 411–434.

24. К.Н. Леонтьев: Pro et contra: личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг.: Антология: Кн. 1-2 / послесл. и примеч. А. П. Козырева. – Санкт-Петербург: Издательство РХГИ, 1995. – 474 с.

25. К.П. Победоносцев: Pro et contra: Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / вступ. ст., сост. и примеч. С.Л. Фирсова; ред. Д.К. Бурлака. – Санкт-Петербург: Издательство РХГИ, 1996. – 575 с.

26. Казанский, П.Е. Власть Всероссийского императора / П. Е. Казанский. – Москва: «Москва», 1999. – 512 с.

27. Катков, М.Н. Идеология охранительства / отв. ред. О. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2009. – 800 с.

28. Катков, М.Н. Русский вопрос // Русский вестник. – 1863. – Т. 43. – С. 923–941.

29. Катков, М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 – 1887. Т. 1–25. – Москва: Издание С.П. Катковой, 1897–1898.

30. Катков, М.Н. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Русский консерватизм / под общ. ред. А. Н. Николюкина. – Санкт-Петербург: Росток, 2011. – 896 с.

31. Катков, М.Н. Что нам делать с Польшей? // Русский вестник. – 1863. – Т. 44. – С. 469–506.

32. Киреев, А.А. Краткое изложение славянофильского учения / А. А. Киреев. – Санкт-Петербург: Тип. А.А. Пороховщикова, С.-Петерб. слав. благотвор. о-ва, 1896. – 90 с.

33. Кое-какое различие между папством и православием. – Вильна. Тип. Губернского правления. 1866. – 34 с.

34. Корнилов, И.П. Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем / И. П. Корнилов. – Санкт-Петербург: Тип. А. П. Лопухина, 1902. – 442 с.

35. Корнилов, И.П. Общие замечания о положении учебно-воспитательного дела в Виленском учебном округе в 1867 году / И. П. Корнилов. – Санкт-Петербург: Печ. В. Головина, 1868. – 27 с.

36. Крачковский, Ю.Ф. Пятидесятилетие воссоединения западнорусских униатов с православной церковью (1839–1889 г.) / Ю. Ф. Крачковский. – Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1889. – 129 с.

37. Крупные и мелкие землевладельцы в Западной России // Вестник Западной России. – 1866. – Август. Отд. 3. – С. 28–38.

38. «Кто и что теперь Россия?» Записка графа Д.А. Толстого, 1865 г. // Вопросы истории. – 2012. – № 8. – С. 75–82.

39. Кулжинский, И.Г. Вот кто первый хлопотал о восстановлении и размножении церковно-приходских училищ в России. Письма и заметки по этому предмету И. Гр. Кулжинского. – Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1895. – 52 с.

40. Кулжинский, И.Г. О соединении Польши с Россиею / И. Г. Кулжинский // Вестник Юго-Западной и Западной России. – 1863. – Февраль. – Т. III. – Отд. II. – С. 24–58.

41. Кулжинский, И. Г. О зарождающейся так называемой малороссийской литературе / И. Г. Кулжинский. – Киев: Тип. И. и А. Давиденко. 1863. – 32 с.

42. Кулжинский, И.Г. О соединении Польши с Россиею / И. Г. Кулжинский // Вестник Юго-Западной и Западной России. – 1863. – Февраль. – Т. III. – Отдел II. – С. 24–58.

43. Лавров, П.Л. Избранные труды / П. Л. Лавров; сост., авт. вступ. ст. и коммент.: Р. А. Арсланов. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 614 с.

44. Ленин, В.И. Империализм как высшая стадия капитализма (Популярный очерк) / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. Т. 27. – Москва: Издательство политической литературы, 1969. – С. 299 – 426.

45. Ленин, В.И. Карьера / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. Т. 22. – Москва: Издательство политической литературы, 1968. – С. 43–44.

46. Леонтьев, К.Н. Передовые статьи «Варшавского дневника»/ К. Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. Сборник статей. Т. 2. – Москва: Типо-литография И.Н. Кушнерева и К°, 1886. – 312 с.

47. Леонтьев, К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872 – 1891) / К. Н. Леонтьев. – Москва: Республика, 1996. – 798 с.

48. Леонтьев, К.Н. Племенная политика, как орудие всемирной революции / К. Н. Леонтьев // Собрание сочинений. Т. 6. – Москва: Издание В.М. Саблина, 1912. – С. 145–193.

49. Лесков, Н.С. На смерть Каткова / Н. С. Лесков // Собрание сочинений в 11 томах. – Москва: ГИХЛ, 1957. Т. 11. – С. 159–163.

50. Менделеев, Д.И. Заветные мысли / Д. И. Менделеев. – Санкт-Петербург: Тип. М.П. Фроловой, 1903 – 1904. – 430 с.

51. Менделеев, Д.И. К познанию России / Д. И. Менделеев. – Санкт-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1907. – 158 с.

52. Меньшиков, М.О. Письма к русской нации / М. О. Меншиков. – Москва: «Москва», 1999. – 560 с.

53. Меньшиков, П. Виленская женская гимназия, с предпосланным очерку ее кратким историческим эскизом состояния в разные эпохи местного мужского и женского образования / П. Меньшиков // Вестник Западной России. – 1868. – Т. I. – Отдел II. – С. 9–24.

54. Миловидов, А.И. Муравьевский музей в Вильне / А. И. Миловидов // Виленский календарь на 1902 г. – Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1901. – С. 131–157.

55. Образчик международного миролюбия и правдолюбия поляков (Ответ львовской «Narodovой газете») // Вестник Юго-Западной и Западной России. – 1862. – Август. – Т. II. – Отдел III. – С. 33–47.

56. П.А. Ковалев. Один из Русских деятелей в Прибалтийском крае // Русский архив. – 1892. – Вып. 4. – С. 467–474.

57. Памяти Евграфа Васильевича Чешихина: К двадцатипятилетию со дня его кончины (1888–2 марта 1913 г.). – Рига: Изд. «Риж. Вестн.», 1913. – 56 с.

58. Памяти Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского // Русская старина. – 1882. – Т. 33. – Кн. 2. – С. 532–560.

59. Победоносцев, К.П. Аксаковы / К. П. Победоносцев. – Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1886. – 8 с.

60. Победоносцев, К.П. Государство и церковь: Т. 1-2 / К. П. Победоносцев; сост., предисл., коммент. О. А. Суржик. – Москва: Институт русской цивилизации, 2011.

61. Победоносцев, К.П. Избранное / К. П. Победоносцев; сост., авт. вступ. статьи и комментариев: А. В. Репников. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 647 с.

62. Победоносцев, К.П. Московский сборник / К. П. Победоносцев. – Москва: Синодальная типография, 1901. – 366 с.

63. Победоносцев, К.П. Дела и дни / К. П. Победоносцев // Московский сборник. Москва: Синодальная типография, 1897. – С. 308–331.

64. Самарин, Ю.Ф. Православие и народность / отв. ред. О. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2008. – 720 с.

65. Самарин, Ю.Ф. Революционный консерватизм / Ю. Ф. Самарин. – Berlin: Behr`s Buchhanlung (E. Bock), 1875. – 146 с.

66. Самарин, Ю.Ф. Окраины России / Ю. Ф. Самарин // Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. 8–9. – Москва: Тип. А.И. Мамонтова. 1890.

67. Сикорский, И.А. О психологических основах национализма / И. А. Сикорский. – Киев: Типография Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – 15 с.

68. Смирнов, И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики / И. Н. Смирнов // Исторический вестник – 1892. – Т. 47. – № 3. – С. 752–765.

69. Сыромятников, С.Н. Опыты русской мысли / С. Н. Сыромятников. – Санкт-Петербург: Типография А.С. Суворина, 1901. – 321 с.

70. Тихомиров, Л.А. Англичанин о русских в Средней Азии / Л. А. Тихомиров // Русское обозрение. – 1890. – № 2. – С. 926–933.

71. Тихомиров, Л.А. Апология веры и монархии / Л. А. Тихомиров. – Москва: «Москва», 1999. – 480 с.

72. Тихомиров, Л.А. Борьба века // Русские философы (конец XIX – середина XX века): Антология. Вып. 2. – Москва: Книжная палата, 1994. – С. 199–231.

73. Тихомиров, Л.А. Критика демократии / Л. А. Тихомиров; вступ. ст. М. Смолина. – Москва: «Москва», 1997. – 665 с.

74. Тихомиров, Л.А. Монархическая государственность / Л. А. Тихомиров. – Москва: РОССПЭН 2010. – 752 с.

75. Тихомиров, Л.А. Русские идеалы и К.Н. Леонтьев / Л. А. Тихомиров // К. Леонтьев, наш современник. – Санкт-Петербург: Изд. Чернышева. 1993. – С. 377–391.

76. Тихомиров, Л.А. Христианство и политика. – Москва: ГУП «Облиздат», 1999. – 616 с.

77. Троцкий, Л.Д. Д.И. Менделеев и марксизм / Л. Д. Троцкий // Сочинения. Серия VI. Проблемы культуры. Т. XXI. Культура переходного периода. – Москва-Ленинград: Госиздат, 1927. – С. 279–281.

78. Тютчев, Ф.И. Полное собрание сочинений в стихах и прозе / Ф. И. Тютчев. – Москва: Вече, 2000. – 493 с.

79. Тютчев, Ф.И. Россия и запад / отв. ред. О. А. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2011. – 592 с.

80. Филиппов, А.Ф. Из истории журнала / А. Ф. Филиппов // Русское обозрение. – 1901. – № 1. – С. V–IX.

81. Фудель, И.И. Наше дело в Северо-Западном крае / И. И. Фудель. – Москва: Университетская тип., 1893. – 39 с.

82. Харузин, М.Н. Балтийская конституция / М. Н. Харузин. – Москва: Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 70 с.

83. Харузин, Н.Н. К вопросу об ассимиляционной способности Русского народа / Н. Н. Харузин. – Москва: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1894. – 36 с.

84. Хомяков, А.С. Полное собрание сочинений. Т. 1 / А. С. Хомяков. – Москва: Университетская типография, 1900. – 408 с.

85. Шарапов, С.Ф. Русские исторические начала и их современное приложение / С. Ф. Шарапов. – Москва: Свидетель, 1908. – 29 с.

86. Шарапов, С.Ф. Самодержавие и самоуправление / С. Ф. Шарапов. Берлин. Б/и. 1899. 62 с.

87. Шарапов, С.Ф. Избранное / С. Ф. Шарапов; сост., авт. вступ. ст. и коммент.: А. В. Репников. – Москва: РОССПЭН, 2010. 743 с.

88. Юзефович, Б.М. Основы самопознания / Б. М. Юзефович. – Киев: Южно-русское книгоиздательство Ф.А. Иогансон, 1898. – 92 с.

89. Юзефович, Б.М. Самодержавие или государственное самоуправление? / Б. М. Юзефович. – Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 11 с.

90. Юзефович, М.В. Народность и государство / М. В. Юзефович. – Киев: Университетская тип., 1867. – 8 с.

91. Юзефович, М.В. О значении личности у нас и на Западе / М. В. Юзефович. – Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1906. – 27 с.

92. Шелгунов, Н.В. Наша наука и консервативная печать / Н. В. Шелгунов // Очерки русской жизни. – Санкт-Петербург: О.Н. Попова, 1895. – С. 473–490.

ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1. Березин, Н.И. Восемь лет в Северо-Западном крае. Воспоминания бывшего мирового посредника / Н. И. Березин // Русский вестник. – 1896. – № 1. – С. 139–168.

2. Вождь реакции 60-80-х гг.: неизданные письма М.Н. Каткова Александру II и Александру III // Былое. – 1917. – № 4 (26). – С. 140–169.

3. Воспоминания Льва Тихомирова. – Москва; Ленинград: Гос. издательство, 1927. – 516 с.

4. Воспоминания о Михаиле Каткове / отв. ред. О. А. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2014. – 624 с.

5. Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. I–II / К. Ф. Головин. – Москва: Тип. «Колокол», 1908.

6. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 1–2. – Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1961.

7. Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1878–1883). – Москва; Ленинград: Госиздат, 1927. – 172 с.

8. Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. – Москва: Современник, 1989. – 557 с.

9. Достоевский Ф.М. Письма. Т. 2. 1867–1871 / Ф. М. Достоевский. – Москва; Ленинград: Госиздат, 1930. – 617 с.

10. Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2005. – 502 с.

11. Иван Аксаков в воспоминаниях современников / отв. ред. О.А. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2014. – 544 с.

12. Из переписки М.Н. Муравьева относительно религиозных и церковно-обрядовых вопросов Северо-Западного края (1863–1864 гг.) // Русский архив. – 1914. – № 12. – С. 546–565.

13. К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1-2. Novum regnum. – Москва, Петроград: Гос. издательство, 1923.

14. Леонтьев, К.Н. Избранные письма. – Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 1993. – 637 с.

15. Леонтьев, К.Н. Моя литературная судьба // Литературное наследство. – 1935. – Т. 22-24.

16. М.Н. Катков и Александр III в 1886–1887 гг. // Красный архив. – 1933. – Т. 3 (58). – С. 58–85.

17. Мещерский, В.П. Мои воспоминания / В. П. Мещерский. – Москва: Захаров. 2003. – 864 с.

18. Мещерский, В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу 1869–1878 гг. / В. П. Мещерский. – Москва: Новое литературное обозрение, 2014. – 658 с.

19. Мосолов, А.Н. Виленские очерки, 1863–1865. (Муравьевское время) / А. Н. Мосолов. – Санкт-Петербург: Тип. А.С. Суворина, 1898. – 254 с.

20. Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников / отв. ред. О. А. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2016. – 656 с.

21. Панаев И.И. Литературные воспоминания / И. И. Панаев. – Москва: Правда, 1988. – 448 с.

22. Переписка И.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина (1848–1876). – Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2016. – 707 с.

23. Переписка Ю.Ф. Самарина с баронессою Э.Ф. Раден. 1861–1876 г. – Москва: Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1893. – 244 с.

24. Письма К.П. Победоносцева к Александру III. Т. 1–2. – Москва: Новая Москва, 1924-1926.

25. Письма К.П. Победоносцева к гр. Н.П. Игнатьеву // Былое. – 1924. – № 27–28. – С. 50–89.

26. Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. – Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Общественная польза», 1888. – 369 с.

27. Сан-Стефано. Записки графа Н.П. Игнатьева с примечаниями А.А. Башмакова и К.А. Губастова. – Петроград: Тип. Т-ва А.С. Суворова – «Новое время», 1916. – 359 с.

28. Телохранитель России: А.С. Суворин в воспоминаниях современников / Сост. С.П. Иванов. – Воронеж: Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2001. – 390 с.

29. Тихомиров, Л.А. 25 лет назад. Из дневников Льва Тихомирова / Л. А. Тихомиров // Красный архив.1930. Т. 1-5. – С. 20–69.

30. Феоктистов, Е.М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896: Воспоминания / Е. М. Феоктистов. – Москва: Новости, 1991. – 458 с.

31. Я любил вас любовью брата...: переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э.Ф. Раден (1861-1876). – Санкт-Петербург: Русская мысль, 2014. – 389 с.

ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Абелинскас, Э.Ю. Консерватизм как мировоззрение и политическая идеология. (Опыт обоснования) / Э. Ю. Абелинскас. – Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 1999. – 100 с.

2. Авдеева, Л.Р. Проблема «Россия и Европа» в воззрениях Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева / Л. Р. Авдеева // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. – 1982. – № 3. – С. 74–86.

3. Алексеев, В.В., Алексеева Е.В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции / В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева // Отечественная история. – 2003. – № 5. – С. 3–20.

4. Ананьич, Б.В., Ганелин, Р.Ш. Р. А. Фадеев, С. Ю. Витте и идеологические искания «охранителей» в 1881 – 1883 гг. / Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин // Исследования по социально-политической истории России. – Ленинград: Наука, 1971. – С. 299–327.

5. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. – Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 286 с.

6. Андреев, Д.А. Борьба ревнителей: просветительские альтернативы в начале царствования Николая II / Д. А. Андреев // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. – 2012. – Вып. 1 (44). – С. 58–74.

7. Андреев, Д.А. Размышления американского историка о «Сценариях власти в царской России» / Д. А. Андреев // Вопросы истории. – 2003. – № 10. – С. 96–116.

8. Андреева, Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX века / Н. С. Андреева. – Санкт-Петербург: Издательский дом «Мир», 2007. – 310 с.

9. Андреева, Н.С. Революционный кризис 1905 г. и вопрос о реформах в Прибалтийских губерниях / Н. С. Андреева // Петербургский исторический журнал. – 2023. – № 4 (40). – С. 38–52.

10. Анисимов, Е.В. Исторические корни имперского мышления в России. [Электронный ресурс] / Е. В. Анисимов. URL: https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html (дата обращения: 06.08.2024)

11. Аржакова, Л.М. Польский вопрос в России XIX в. (трактовка и время возникновения) / Л. М. Ажакова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. – 2014. – № 3. – С. 4–17.

12. Арх. Никон (Лысенко). М.О. Коялович и Санкт-Петербургская школа церковной историографии Западной России / Н. Лысенко // Христианское чтение. – 2002. – № 21. – С. 3–20.

13. Асоян, Ю.А. Понятие «культура» в языке русской этнографии (1880 – 1890 гг.) / Ю. А. Асоян // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2011. – № 17(79). – С. 20–30.

14. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России): В 2-х т. Т. I: От прошлого к будущему / А. С. Ахиезер. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. – 804 с.

15. Бадалян, Д.А. «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х – первой половины 1880-х гг. / Д. А. Бадалян. – Санкт-Петербург: Росток, 2016. – 320 с.

16. Бадалян, Д.А., Руднев, Д.В. Аксаковская газета «День» и цензура в 1863 – 1865 годах (к истории борьбы придворных партий) / Д. А. Бадалян, Д. В. Руднев // Иван Аксаков и его наследие: сборник статей и материалов / сост. и науч. ред. Д. А. Бадалян. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2024. – С. 38–59.

17. Балуев, Б.П. Политическая реакция 80-х гг. XIX в. и русская журналистика / Б. П. Балуев. – Москва: Издательство Московского университета, 1971. – 313 с.

18. Барзилов, С.И. Российское историческое пространство в имперском и региональном измерениях / С. И. Барзилов // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности / науч. ред. Б. В. Ананьич, С. И. Барзилов. – Москва: Московский общественный научный фонд, 2001. – С. 10–23.

19. Барриве, Л. Общественное движение в царствование Александра II / Л. Барриве. – Москва: Образование, 1911. – 154 с.

20. Бартеле, Т.М., Шалда, В.А. Латыши в Москве. Вторая половина XIX века – 1917 год / Т. М. Бартеле, В. А. Шалда // Отечественная история. – 2002. – № 4. – С. 50–62.

21. Баталов, Э.Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США / Э. Я. Баталов. – Москва: Наука, 1982. – 336 с.

22. Батюшков, П.Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-Западного края / П.Н. Батюшков. – Санкт-Петербург: Тип. товарищества «Общественная польза», 1890. – 581 с.

23. Беккер, С. Россия и концепт империи / С. Беккер // Новая имперская история постсоветского пространства / под ред. И. В. Герасимова, С. В. Глебова, А. П. Каплуновского и др. – Казань. Центр исследования национализма и империи. 2004. – С. 67–80.

24. Беленький, И.Л. Консерватизм в России XVIII – начала XX вв. (Библиографический обзор отечественных исследований и публикаций второй половины XX в.) / И. Л. Беленький // Россия и современный мир. – 2001. – № 4. – С. 283–313; 2002. – № 1. – С. 253–272; № 2 – С. 267–279; № 3. – С. 226–242.

25. Белецкий, А.В. Краткий исторический обзор деятельности управления Виленского учебного округа с 1803 по 1869 г. – Вильна. Тип. А.Г. Сыркина, 1903. – 70 с.

26. Бендин, А.Ю. Граф М.Н. Муравьев Виленский и национальное пробуждение белорусского народа в 60-е гг. XIX в. / А. Ю. Бендин // Исторический поиск Беларуси. – Минск, 2006. – С. 53–77.

27. Бендин, А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.) / А. Ю. Бендин. – Минск: Издательство БГУ, 2010. – 439 с.

28. Бендин, А.Ю. Рождение «русской идеи» и её политическая реализация в подавлении польского мятежа и реформировании Северо-Западного края (1863–1865) / А. Ю. Бендин // Тетради по консерватизму. – 2020. – № 2. – С. 57–117.

29. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – Париж: Ymca–Press, 1955. – 159 с.

30. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н. А. Бердяев. – Москва: Издательство МГУ, 1990. – 240 с.

31. Бердяев, Н.А. Судьба русского консерватизма // Sub specie acternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900 – 1906) / Н. А. Бердяев. – Санкт-Петербург: Изд. М.В. Пирожкова, 1907. – С. 227–236.

32. Бердяев, Н.А. Философия неравенства. – Москва: Институт русской цивилизации, 2012. – 624 с.

33. Берташ, А.В. Губернатор князь Сергий Шаховской – выразитель политики императора Александра III в Эстляндии и мемориальная Сергиевская церковь в Пюхтицком монастыре / А. В. Берташ // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. – 2021. – № 3(8). – С. 93–105.

34. Бессонов, П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта / П. А. Бессонов. – Москва: Тип. Бахметова, 1871. LXXXI с., – 176 с.

35. Биллингтон, Дж.Х. Икона и топор / Дж. Х. Биллингтон. – Москва: Рудомино, 2001. – 880 с.

36. Биюшкина, Н.И., Цыганов, В.И., Белоусова, Е.Е. Особенности возникновения и развития российского консерватизма (конец XVIII – начало XX вв.) / Н. И. Биюшкина, В. И. Цыганов, Е. Е. Белоусова // Вестник Академии права и управления. – 2017. – № 2 (47). – С. 14–19.

37. Богов, В.А. История межэтнических отношений в Прибалтийском крае к XIX в. / В. А. Богов // Вестник Вятского государственного университета. – 2015. – № 9. – С. 43–50.

38. Богов, В.А. Межэтнические противоречия и правительственная политика по вопросам образования в Лифляндии XIX в. / В. А. Богов // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. – 2017. – № 3(10). – С. 6–20.

39. Богов, В.А. Этнополитические процессы в Лифляндии в начале XX в. и их отражение в периодической печати / В. А. Богов // Вестник Вятского государственного университета. – 2016. – № 6. – С. 23–31.

40. Боханов, А.Ю. Александр III / А. Ю. Боханов. – Москва: Вече, 2007. – 448 с.

41. Бочаров, С.Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике (Константин Леонтьев о русской литературе) / С. Г. Бочаров // Контекст: литературно-теоретические исследования. 1978. Т. 1977. – С. 142–193.

42. Боярченков, В.В. «Русская история в самой основе своей есть… история областей». Провинциализм, народность и колонизация в историческом дискурсе федералистов эпохи Великих реформ / В. В. Боярченков // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение / под ред. Е. М. Болтуновой, В. Сандерленда. – Москва: Новое литературное обозрение, 2021. – С. 30–51.

43. Будаева, З.А. Аккультурация как доминирующий теоретический маркер проявления процессов глобализации / З. А. Будаева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2014. – № 6(2). – С. 91–95.

44. Булдаков, В.П. XX век. Российская история и посткоммунистическая советология / В. П. Булдаков // Российская империя, СССР, Российская федерация: история одной страны? / Отв. ред. Г. А. Бордюгов. – Москва: Россия молодая. 1993. – С. 5–56.

45. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье. – Москва: Институт экспериментальной социологии; – Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. – 288 с.

46. Вайман, С.Т. Размышления о художественном переходе / С. Т. Вайман // Переходные процессы в русской художественной культуре. – Москва: Наука, 2003. – С. 166–194.

47. Валицкий, А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства / А. Валицкий. – Москва: Новое Литературное Обозрение, 2019. – 701 с.

48. Валицкий, А. История русской мысли: От Просвещения до марксизма / А. Валицкий. – Москва: Канон+, 2013. – 480 с.

49. Вахромеева, О.Б. Биографика как метод исторического исследования / О. Б. Вахромеева. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2004. – 143 с.

50. Верт, П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи / П. Верт. – Москва: Новое литературное обозрение, 2012. – 210 с.

51. Вивчар**,** В.М. «Западно-руссистское» понимание Брестской унии М.О. Кояловича / В. М. Вивчар // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. – 2012. – № 1. – С. 58–62.

52. Володин, А.В. О политической субъектности регионов РФ / А. В. Володин // Власть. – 2012. – № 6. – С. 121–124.

53. Вульпиус, Р. Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII веке / Р. Вульпиус // Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917) / ред. Ауст М., Вульпиус Р., Миллер А. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010. – С. 14–41.

54. Гаврилин, А.В. Рижская епархия и политика правительства в Прибалтийских губерниях в 60 – 90-х годах XIX века / А.В. Гаврилин // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. / отв. ред. А. О. Чубарьян. – Москва: ИВИ РАН, 2004. – С. 92–115.

55. Гавров, С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в России / С. Н. Гавров. – Москва: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с.

56. Гаджиев, К.С. Консерватизм: современные интерпретации / К. С. Гаджиев. – Москва: ИНИОН, 1990. – 50 с.

57. Гаджиев, К.С. Политическая философия / К. С. Гаджиев. – Москва: Экономика, 1999. – 605 с.

58. Гаджиев, К.С. Современный консерватизм: опыт типологизации / К. С. Гаджиев // Новая и новейшая история. – 1991. – № 1. – С. 55–74.

59. Гайда, Ф.А. Идея нации в триаде графа С.С. Уварова / Ф. А. Гайда // Вопросы национализма. – 2021. – № 1 (33). – С. 155–161.

60. Гайда, Ф.А. Официальное понимание «империи» в России XVIII – начала XX века / Ф. А. Гайда // Тетради по консерватизму. – 2022. – № 1. – С. 56–64.

61. Гайденко, П.П. Наперекор историческому прогрессу (К. Леонтьев – литературный критик) / П. П. Гайденко // Вопросы литературы. – 1974. – № 5. – С. 159–205.

62. Галкин, А.А., Рахшмир, П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем / А. А. Галкин, П. Ю. Рахшмир. – Ленинград: Наука, 1987. – 188 с.

63. Гальцева, Р.П., Роднянская, И.Б. Раскол в консерваторах: Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев в споре об общественном идеале / Р. П. Гальцева, И. Б. Роднянская // Неоконсерватизм в странах Запада, Социально-культурные и философские аспекты. Ч. 2. / отв. ред. Р. П. Гальцева – Москва: 1982. – С. 227–295.

64. Ганчар, А.И. Римско-католическая церковь в Беларуси (вт. пол. XIX – нач. XX вв.) / А. И. Ганчар. – Гродно: ГГАУ, 2010. – 510 с.

65. Гарбузов, В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) / В. Н. Гарбузов // Полис. – 1995. – № 4. – С. 60–68.

66. Гатагова, Л.С. Империя: идентификация проблемы / Л. С. Гатагова // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. – Москва: АИРО-XX, 1996. – С. 332–353.

67. Герасимов, И.В, Могильнер, М.Б Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к чему она идет? / И. В. Герасимов, М. Б. Могильнер // Логос. – 2007. – № 1. – С. 218–238.

68. Герасимов, И.В., Могильнер, М.Б., Семенов А.М. Введение. В поисках ясности в исторической природе национализма и империи / И. В. Герасимов, М. Б. Могильнер, А. М. Семенов // Мифы и заблуждения в

изучении империи и национализма / ред.-сост. Герасимов И.В., Могильнер М.Б., Семенов А.М. – Москва: Новое издательство, 2010. – С. 7–26.

69. Герасимчик, В.В. Проблема идентичности белорусов в научной дискуссии 1863–1864 годов о народонаселении «западной России» / В. В. Герасимчик // Белорусский исторический обзор. – 2020. – № 4(1). – С. 55–106.

70. Гердт, Я.В. «Национальная политика» в трудах общественно-политических деятелей второй половины XIX – начала XX века / Я. В. Гердт // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 33 (287). Политические науки. Востоковедение. Вып. 13. – С. 27–32.

71. Гершензон, М.О. Исторические записки (О русском обществе) / М. О. Гершензон. – Москва: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – 187 с.

72. Горизонтов, Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия / Л. Е. Горизонтов // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности / Науч. ред. Б. В. Ананьич, С. И. Барзилов. – Москва: МОНФ, 2001. – С. 129–151.

73. Горизонтов, Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.) / Л. Е. Горизонтов. – Москва: Индрик, 1999. – 272 с.

74. Готье, Ю.В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. / Ю. В. Готье // Исторические записки.– 1938. – Т. 2.– С. 240–299.

75. Готье, Ю.В. К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович. 1865–1881/ Ю. В. Готье // Сборник (Публичной Библиотеки им. В.И. Ленина). № 2. – Москва: Соцэкгиз, 1928. – С. 107–134.

76. Грачев, Н.И. Империя как форма государства: понятие и признаки / Н. И. Грачев // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. – 2012. – № 2 (17). – С. 18–28.

77. Грекулов, Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ (II половина XIX – начало XX вв.) / Е. Ф. Грекулов. – Москва: Наука, 1969. – 184 с.

78. Гросул В.Я. Русское общество XVIII – XIX веков. Традиции и инновации / В. Я. Гросул. – Москва: Наука, 2003. – 517 с.

79. Гусев, В.А. Русский консерватизм: основные направления и этапы развития / В. А. Гусев. – Тверь. 2001. – 235 с.

80. Дайя, П. Просвещение, регион, идентичность: образ России в латышской литературе на рубеже XVIII и XIX веков / П. Дайя // Слово.ру: Балтийский акцент. – 2012. – № 3. – С. 82–92.

81. Данилевский, И.Н., Кабанов, В.В., Медушевская, О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф.Румянцева. – Москва: Росс. гос. гум. ун-т, 2004. – 702 с.

82. Даренский, В.Ю. Империя как подвиг свободы: евангельские основания русской имперской государственности / В. Ю. Даренский // Тетради по консерватизму. – 2022. – № 1. – С. 98–115.

83. Де-Пуле, М.Ф. Станислав-Август Понятовский в Гродне и Литва в 1794–1797 гг. / М. Ф. Де-Пуле. – Санкт-Петербург: Типография Майкова, 1871. – 255 с.

84. Дегтярева, М.И. Понятие суверенитета в политической философии Ж. де Местра / М. И. Дегтярева // Полис. – 2001. – № 3. – С. 113–122.

85. Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк – Москва: Прогресс, 1989. – 310 с.

86. Деятельность общероссийских политических партий на белорусских землях в конце XIX – начале XX в. / ред. Д. С. Лавринович [и др.]. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 344 с.

87. Дмитриев, С.С. Периодическая печать / С. С. Дмитриев // Источниковедение истории СССР / Под ред. И. Д. Ковальченко. – Москва: 1981. – С. 325–342.

88. Дмитриев, С.С. Проблемы источниковедения русской отечественной периодики/ С. С. Дмитриев. – Москва: Б/и, 1972. – 27 с.

89. Дмитриева, Н.В. Сакральная новостройка: Александро-Невский собор в Ревеле и проблема распространения православия в Эстляндской губернии в конце XIX – начале XX в. / Н. В. Дмитриева // Новейшая история России. – 2022. – Т. 12. – № 4. – С. 906–924.

90. Дмитриева, Н.В., Крот, М.Н. «К сожалению, не опору, а сопротивление встречает правительство»: сенаторская ревизия прибалтийских губерний / / Н. В. Дмитриева, М. Н. Крот // Quaestio Rossica. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 851–868.

91. Долбилов, М.Д. *Поляк* в имперском политическом лексиконе / М. Д. Долбилов. // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Т. II. – Москва: Новое литературное обозрение. 2012. – С. 292–339.

92. Долбилов, М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II / М. Д. Долбилов. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010. – 1000 с.

93. Долбилов, М.Д. Русскоязычное католическое богослужение в Западном крае империи: практика перевода (1860–1870-е гг.) / М. Д. Долбилов. // Петербургские славянские и балканские исследования. 2008. № 1(3). С. 40–60.

94. Долбилов, М.Д., Сталюнас, Д. «Обратная уния»: проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865–1866 годы) / М. Д. Долбилов, Д. Сталюнас. // Славяноведение. – 2005. – № 5. – С. 3–34.

95. Долгих, А.Н. К вопросу о роли К.П. Победоносцева в определении внутриполитического курса российского самодержавия в середине 90-х гг. XIX века / А. Н. Долгих // Историки на перепутье: поворотные точки и альтернативные пути. – Воронеж: Нестор, 1995. – С. 108–119.

96. Дронов, И.Е. Император Александр III и его эпоха / И. Е. Дронов. – Москва: Академический проект, 2017. – 654 с.

97. Дякин, В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX вв.) / В. С. Дякин. – Санкт-Петербург: «ЛИСС», 1998. – 1000 с.

98. Егоров, Г.В. Социально-гуманитарные взгляды Д.И. Менделеева / Г. В. Егоров // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. История. – 2015. – № 5-6. – С. 41–45.

99. Емельянов, Е.П. Национальный вопрос в переписке И. С. Аксакова и Н.И. Костомарова / Е. П. Емельянов // Научный диалог. – 2013. – № 6(18). История. Социология. Этнография. – С. 21–29.

100. Емельянов, Е.П. Остзейский вопрос на страницах славянофильских газет (1861–1868 гг.) / Е. П. Емельянов // Документ. Архив. История. Современность. – 2014. – № 14. – С. 218–225.

101. Ерасов, Б.С. Выбор России в евразийском пространстве / Б. С. Ерасов // Цивилизации и культуры. Вып. 1: Россия и Восток: цивилизационные отношения / гл. ред. Б. С. Ерасов. – Москва: Институт Востоковедения, 1994. – С. 39–59.

102. Ермашов, Д.В., Пролубников, А.В., Ширинянц, А.А. Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века: Л.А. Тихомиров / Д. В. Ермашов, А. В. Пролубников, А. А. Ширинянц. – Москва: Книжный дом Университет, 1999. – 200 с.

103. Жилина, Л.В. О понятии «публицистика» // Актуальные проблемы отечественной истории XVI - начала XX в. Вып. 2. – Омск: Б.и. 2005. – С. 208–215.

104. Житнев, Т.Е. Школы грамоты в Российской империи конца XIX – начала XX века / Т. Е. Житнев // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2014. – № 4 (17). – С. 183–191.

105. Завьялова, О.О. В борьбе с «бестактным либерализмом»: А.К. Киркор и газета «Новое время» о последствиях Великих реформ в конце

1860-х – начале 1870-х гг. / О. О. Завьялова // Historia Provinciae – журнал региональной истории. – 2023. – Т. 7. – № 3. – С. 762–809.

106. Завьялова, О.О. Интеллектуальные истоки «мягкой силы» Российской империи: публицистическая деятельность А.Г. Киркора / О. О. Завьялова // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2023. – Т. 10. – № 1 (37). – С. 18–28.

107. Завьялова, О.О. Пророссийски ориентированная общественность северо-западного края об актуальных проблемах современности на страницах «Виленского вестника» во второй половине 1860-х гг. / О. О. Завьялова // Былые годы. – 2024. – № 19 (1). – С. 219–231.

108. Зайончковский, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-80-х гг. / П. А. Зайончковский. – Москва: Издательство Московского университета, 1964. – 512 с.

109. Зайончковский, П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия / П. А. Зайончковский. – Москва: Мысль, 1970. – 444 с.

110. Западные окраины Российской империи / науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер. – Москва: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.

111. Захарова, Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. / Л. Г. Захарова. – Москва: Издательство Московского университета, 1968. – 178 с.

112. Звягина, Д.А. «Мягкая сила»: структурный анализ / Д. А. Звягина // Инициативы XXI века. – 2012. – № 3. – С. 135–137.

113. Зевелев, А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты / А. И. Зевельев. – Москва: Высшая школа, 1987. – 160 с.

114. Зубков, К.И. Структурный метод в региональных исторических исследованиях / К. И. Зубков // Историческая наука и историческое образование на рубеже XX – XXI столетий / гл. ред. Г.Е. Корнилов. – Екатеринбург: Банк культ. информ., 2000. – С. 19–27.

115. Иван Аксаков и его наследие: сборник статей и материалов / сост. и науч. ред. Д. А. Бадалян. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2024. – 252 с.

116. Иванов, А.А. Консервативная критика лозунга «Россия для русских» (конец XIX – начало XX в.) / А. А. Иванов // Историческая экспертиза. – 2016. – № 2. – С. 56–70.

117. Иванов, А.А. Трактовка понятия «русские» в российской консервативной мысли (1860-е – 1917 гг.) / А. А. Иванов // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. – 2017. – № 2 (22). – С. 40–50.

118. Іваноў, А.А. Эвалюцыя выдання газеты «Віленскі веснік» на працягу XIX стагоддзя / А. А. Іваноў // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 69–73.

119. Иванов, А.А., Казин, А.Л., Светлов, Р.В. Русский национализм: основные вехи исторического осмысления / А. А. Иванов, А. Л. Казин, Р. В. Светлов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2015. – Т. 16. Вып. 4. – С. 143–157.

120. Иванова, Н.И. Видовая и внутривидовая классификация источников личного происхождения: проблемы источниковедческого анализа / Н. И. Иванова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. – 2006. – № 3. – С. 105–110.

121. Иванова, С.И. Оформление национальной идеи в философско-культурном и историческом пространстве России (IX-XIX вв.) / С. И. Иванова // Актуальные вопросы современной науки. – 2015. – № 42.– С. 220–232.

122. Игнатов, В.К. Гомоновцы и М.О. Коялович. Pro и Contra / В. К. Игнатов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. – 2019. – №. 15. – С. 77–87.

123. Имперский строй России в региональном измерении (XIX – начало XX в.) / отв. ред. П. И. Савельева. – Москва: ЗАО «Первый печ. Двор», 1997. – 237 с.

124. Ионин, Л.Г. Консерватизм / Л. Г. Ионин // Логос. – 2005. – № 3(48). – С. 3–73.

125. Исаев, И.А. Топос и номос: пространства правопорядков / И. А. Исаев. – Москва: Норма, 2007. – 416 с.

126. Исаков, С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов / С. Г. Исаков // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 107. – Тарту: Тартуский государственный университет, 1961. – 186 с.

127. Искра, Л.М. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, истории / Л. М. Искра. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1995. – 214 с.

128. Камнев В.М. Хранители и пророки: религиозно-философское содержание русского консерватизма / В. М. Камнев. – Санкт-Петербург: Наука, 2010. – 470 с.

129. Каппелер, А. Национальные движения и национальная политика в Российской империи опыт систематизации (XIX век – 1917 год) / А. Каппелер // Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений. – Москва: Наука, 1999. – С. 100–110.

130. Каппелер, А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад / А. Каппелер. – Москва: Традиция-Прогресс, 2000. – 342 с.

131. Каппелер, А. Образование наций и национальные движения в Российской империи / А. Каппелер // Российская империя в зарубежной историографии: работы последних лет: антология / сост. Пол В. Верт, П. Кабытов, А. Миллер. – Москва: Новое издательство, 2005. – С. 395–435.

132. Карпович, М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века) / М. М. Карпович. – Москва: Русский путь, 2012. – 352 с.

133. Карцов, А.С. Правовая идеология русского консерватизма / А. С. Карцов. – Москва: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. – 222 с.

134. Карцов, А.С. Русский консерватизм как интеллектуальная традиция // Консерватизм и либерализм: история и современные концепции: материалы Международной научной конференции 15 февраля 2002 г. / отв. ред. А.С. Карцов. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2002. – С. 41–56.

135. Каспаравичус, А. Российский фактор в геополитической мысли литовского истеблишмента в первой половине XX века // Россия и Балтия. Выпуск 7: Памятные даты и историческая память / ред. А.О. Чубарьян. – Москва: Наука, 2015. – С. 253–274.

136. Каспэ, С.И. Империи: генезис, структура, функции / С. И. Каспэ // Полис. 1997. № 5. С. 31–48.

137. Каспэ, С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика / С. И. Каспэ. – Москва: РОССПЭН, 2001. – 256 с.

138. Каштанова, О.С. Языковая политика в сфере образования в западных губерниях России и Царстве Польском в XIX в. / О. С. Каштанова // Центральноевропейские исследования. – 2020. – № 2 (11). – С. 180–208.

139. Керимова, М.М. «Лютеране…насилуют эту совесть»: балтийский вопрос в публицистике Михаила Харузина / М. М. Керимова // Родина. – 2011. – № 12. – С. 128–130.

140. Киприанович, Г.Я. Высокопреосвященный Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский: очерк его жизни и деятельности по воссозданию западнорусских униатов с православной церковью в 1839 г. / Г. Я. Киприанович. – Вильна: Тип. И. Блюмовича, 1894. – 139 с.

141. Кирк, Р. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека / Р. Кирк // Полис. – 2001. – № 3. – С. 139–148.

142. Кирьянов, Ю.С. Русское собрание 1900 – 1917 / Ю. С. Кирьянов. – Москва: РОССПЭН, 2003. – 352 с.

143. Киселев, А. Западнорусизм как белорусское национальное движение [Электронный ресурс] / А. Киселев // Западная Русь. – URL: http://zapadrus.su/zaprus/istbl/81-2010-08-02-14-36-53.html (дата обращения: 07.08.24).

144. Киселев, А.А. Особенности прохождения государственной службы в губерниях Северо-Западного края (1863–1917 гг.) // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. – 2018. – № 2 (11). – С. 36–49.

145. Киселева, Л.Н. Проблемы конструирования и изучения эстонско-русского культурного пространства / Л. Н. Киселева // Имагология и компаративистика. – 2018. – №. 9. – С. 5–16.

146. Китаев, В.А. Большая история русского консерватизма: решения и проблемы / В. А. Китаев // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. История. – 2012. – № 4 (1). – С. 282–286.

147. Китаев, В.А. От фронды к охранительству. Из истории русской либеральной мысли 50-60-х годов XIX века / В. А. Китаев. – Москва: Мысль, 1972. – 288 с.

148. Киштымов, А. Русификация как историографическая проблема / А. Киштымов // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. – Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2015. – С. 115–119.

149. Клемешев, А.П. Регион в условиях глобализации / А. П. Клемешев // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2005. – № 2. – С. 22–38.

150. Кобак, И.В. Письма как исторический источник: задачи и приемы изучения / И. В. Кобак // Вестник СПбГУ. История. – 2012. – Вып. 2. – С. 142–148.

151. Кожинов, В.В. Пророк в своем отечестве (Ф.И. Тютчев и история России XIX века) / В. В. Кожинов. – Москва: Алгоритм, 2001. – 416 с.

152. Кожинов, В.В. Тютчев / В. В. Кожинов. – Москва: Молодая гвардия, 1988. – 495 с.

153. Козеллек, Р. Социальная история и история понятий / Р. Козеллек // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века: сборник научных работ. – Санкт-Петербург: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге; Алетейя. 2006. – С. 33–53.

154. Козиков, И.А. Д.И. Менделеев о евразийских особенностях Российского государства / И. А. Козиков // Русская политология - Russian Political Science. – 2018. – № 1 (6). – С. 34–40.

155. Колосков, А.Н. Назад к будущему: о консервативном дискурсе / А. Н. Колосков // Studia Culturae. – 2011. – № 13. – С. 94–98.

156. Комзолова А.А. Западный комитет и народная школа в Северо-Западном крае (1862–1864) / А. А. Комзолова // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2021. – № 6. – С. 61–77.

157. Комзолова, А.А. Митрополит Иосиф (Семашко) и реформы народной школы в Северо-Западном крае / А. А. Комзолова // Российская история. – 2020. – № 2. – С. 159–173.

158. Комзолова, А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ / А. А. Комзолова. – Москва: Наука, 2005. – 383 с.

159. Комзолова, А.А. «Положение хуже севастопольского»: Русский интеллигентный чиновник в Северо-Западном крае в 1860-е гг. / А. А. Комзолова // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. / отв. ред. А.О. Чубарьян. – Москва: ИВИ РАН, 2004. – С. 117–141.

160. Комзолова, А.А. Особые полномочия виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева: кадровый аспект / А. А. Комзолова // Тетради по консерватизму. – 2023. – № 4. – С. 44–52.

161. Комзолова, А.А. Учебники для народной школы в Виленском учебном округе в 1860-х гг. / А. А. Комзолова // Российская история. – 2021. – № 6. – С. 127–137.

162. Консерватизм в России и мире: в 3 ч. / под ред. А. Ю. Минакова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004.

163. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (Материалы круглого стола) // Полис. Политические исследования. – 1995. – № 4. – С. 33–59.

164. Контактные зоны в истории Восточной Европы: перекрестки политических и культурных взаимовлияний / отв. ред. А. М. Некрасов. – Москва: ИРИ, 1995. – 182 с.

165. Копосов, Н.Е. История понятий вчера и сегодня / Н. Е. Копосов // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века: сборник научных работ. – Санкт-Петербург: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге; Алетейя. 2006. – С. 9–32.

166. Корелин, А.П. Дворянство в пореформенной России 1861–1904 гг. – Москва: Наука, 1979. – 304 с.

167. Корнилов, А.А. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России / А. А. Корнилов. – Санкт-Петербург: Общественная польза, 1905. – 473 с.

168. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А. А. Корнилов. – Москва: Высшая школа, 1993. – 446 с.

169. Коротина, Н.Ю. Подходы к измерению «Мягкой силы» // Дискурс-Пи. – 2014. – Т. 11. № 4. – С. 56–61.

170. Корякина, М.А. «Поздний» И.С. Аксаков в отечественной историографии / М. А. Корякина // Вестник Нижегородского университета им. И.И. Лобачевского. Серия История. – 2006. – Вып. 2 (6). – С. 124–128;

171. Костякова, Ю. Б. О типовой и видовой принадлежности прессы и ее материалов // Документ. Архив. История. Современность: материалы V Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 5-6 декабря 2014 г. / отв. ред. Л. Н. Мазур. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – С. 247–251.

172. Котов, А.Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова / А. Э. Котов // Вопросы национализма. – 2014. – № 1 (17). – С. 174–186.

173. Котов, А.Э. «В крепких руках правительства»: письма И.П. Корнилова и А.Д. Столыпина о преобразовании Виленского музея древностей / А. Э. Котов // Вопросы музеологии. – 2019. – Т. 10. – Вып. 2. – С. 263–282.

174. Котов, А.Э. «Великая идея Всероссийзма»: политическая публицистика М.Ф. Де-Пуле / А. Э. Котов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История, Политология, Социология. – 2016. – № 1. – С. 54–59.

175. Котов, А.Э. Газетная полемика об институте генерал-губернаторства на западнорусских окраинах / А. Э. Котов // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2023. – Т. 68. Вып. 4. – С. 858–874.

176. Котов, А.Э. «Заветные принципы» Ивана Кулжинского / А. Э. Котов // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2021. – № 1. – С. 3–24.

177. Котов, А.Э. Западнорусский анабасис Ксенофонта Говорского / А. Э. Котов // Российская история. – 2021. – № 1. – С. 84–101.

178. Котов, А.Э. М.Ф. Де-Пуле – редактор Виленского вестника / А. Э. Котов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – С. 38–43.

179. Котов, А.Э. «Народность» и «сословность»: два полюса русского консерватизма / А. Э. Котов // Христианское чтение. – 2017. – № 2. – С. 288–306.

180. Котов, А.Э. Национальный вопрос на страницах «Литовских епархиальных ведомостей»: 1860–1880-е годы / А. Э. Котов // Тетради по консерватизму. – 2020. – № 1. – С. 206–219.

181. Котов, А.Э. «Нравственный Кавказ» И. П. Корнилова / А. Э. Котов // Российская история. – 2018. – № 5. – С. 46–59.

182. Котов, А.Э. Польский вопрос на страницах «Вестника Юго-Западной и Западной России» (1862—1864 годы) / А. Э. Котов // Научный диалог. – 2019. – № 8. – С. 258–272.

183. Котов, А.Э. Птенцы гнезда Каткова / А. Э. Котов. – Санкт-Петербург: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2013. – 151 с.

184. Котов, А.Э. Русский политический предмодерн. Забытые «консерваторы» второй половины XIX века / А. Э. Котов. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2019. – 285 с.

185. Котов, А.Э. Священник Иосиф Фудель и полемика о национализме / А. Э. Котов // Russian Colonial Studies. – 2019. – № 2. – С. 56–75.

186. Котов, А.Э. «Современная нефеодальная монархия»: Русская консервативная печать конца XIX века в поисках национальной идеологии / А. Э. Котов // Тетради по консерватизму. – 2015. – № 4. – С. 130–146.

187. Котов, А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова: идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов / А. Э. Котов. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2016. – 488 с.

188. Котов, А.Э. Экономические и социальные аспекты русификации западных окраин Российской империи в оценках консервативной печати: 1894 – 1899 гг. / А. Э. Котов // Научный диалог. – 2018. – № 7. – С. 246–262.

189. Котов, А.Э., Федоров Д.А. Киевские консервативные публицисты о проблемах образования в позднеимперской России / А. Э. Котов, Д. А. Федоров // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2023. – Т. 68. – Вып. 4. – С. 875–889.

190. Коялович, М.О. О расселении племен Западного края России / М. О. Коялович. – Москва: Тип. Бахметева, 1863. – 36 с.

191. Коялович, М.О. Чтения по истории западной России / М. О. Коялович. – Санкт-Петербург: Тип. А. С. Суворина, 1884. – 343 с.

192. Крачковский, Ю.Ф. Старая Вильна до конца XVII столетия / Ю. Ф. Крачковский. – Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1893. – 207 с.

193. Крот, М.Н. Губернаторские отчеты: рапорт о проделанной работе или программа развития края? / М. Н. Крот // Новое прошлое. – 2021. – № 1. – С. 246–256.

194. Крот, М.Н. «Держаться крепко против напора неметчины…»: письмо Е.В. Чешихина Н.П. Гилярову-Платонову о ситуации в

Прибалтийском крае в конце 1870-х гг. / М. Н. Крот // Новое прошлое / The New Past. – 2023. – № 3. – С. 283–296.

195. Крот, М.Н. Деятельность В.В. фон Валя на посту главы Виленской губернии в 1901 – 1902 гг. / М. Н. Крот // Научный диалог. – № 10. – С. 396–411.

196. Крот, М.Н. «Касаться вопросов веры с возможной осторожностью…»: политика «церковно-приходского обрусения» Северо-Западного края и Виленский генерал-губернатор князь П.Д. Святополк-Мирский / М. Н. Крот // Тетради по консерватизму. – 2020. – № 2. – С. 318–330.

197. Крот, М.Н. «Местная власть не соответствует действительным потребностям времени…»: имперская администрация Северо-Западного края России в условиях роста социальной напряженности начала XX в. / М. Н. Крот // Вестник Томского государственного университета. История. – 2024 г. – № 91. – С. 24–34.

198. Крот, М.Н. «Мирное завоевание умов и сердец силою просвещения…»: деятельность Виленского отдела «Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III» / М. Н. Крот // Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2022. – Т. 13. № 2 (112).

199. Крот, М.Н. «Модернизировать, сохраняя…». Консервативное направление русской общественной мысли второй половины XIX – начала XX веков / М. Н. Крот. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 211 с.

200. Крот, М.Н. Полемика о введении русского языка в католическое богослужение в отечественном национально-консервативном дискурсе во второй половине XIX века / М. Н. Крот // Научная мысль Кавказа. – 2024. – № 3 (119). – С. 53–61.

201. Крот, М.Н. «Русское образование сильнее русского штыка...»: образовательная политика как элемент стратегии «мягкой силы» в западных

окраинных регионах Российской империи во второй половине XIX – начале XX века / М. Н. Крот // Научная мысль Кавказа. – 2023. – № 3 (115). – С. 59–69.

202. Крот, М. Н. «Северо-Западный край… особенно нуждается в русском историческом просвещении»: отчет Виленского отдела Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III за 1903 год / М. Н. Крот // Новое прошлое. – 2022. – № 3. – С. 174–189.

203. Крот, М.Н. «Употребить все силы на всестороннее исследование Муравьевской эпохи…»: муравьевские сюжеты в деятельности Виленского отдела Общества ревнителей русского исторического просвещения / М. Н. Крот // Тетради по консерватизму. – 2023. – № 4. – С. 144–151.

204. Крот, М.Н., Завьялова, О.О. Интеграционная политика в Северо-Западном крае Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков / М. Н. Крот, О. О. Завьялова // Научный диалог. – 2023. – Т. 12. – № 7. – С. 374–392.

205. Крот, М.Н., Завьялова, О.О. Неконфликтные формы интеграции западных регионов России в позднеимперский период веков / М. Н. Крот, О. О. Завьялова // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2023. – Т. 68. Вып. 4. – С. 890–905.

206. «Круглый стол». Империя, нации и конфессиональная политика в эпоху реформ // Российская история. – 2012. – № 4. – С. 47–93.

207. Круглый стол «Национализм в имперской России: идеологические модели и дискурсивные практики» // Новое литературное обозрение. – 2002. – № 57. – С. 426–430.

208. Крутиков, А.А. Концепции истории Белоруссии. I. От западнорусизма к национальным мифам и постсоветскому прагматизму / А. А. Крутиков // Перспективы. Электронный журнал. – 2020–2021. – № 4/1. – С. 36–65.

209. Кубрякова, Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике / Е. С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты / отв. ред. С. А. Ромашко. – Москва: РАН. ИНИОН, 2000. – С. 5–13.

210. Кубрякова, Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 555 с.

211. Кудряшов, В.Н. Идея русской нации в общественно-политической мысли России второй половины XIX века / В. Н. Кудряшов // Сибирские исторические исследования. – 2013. – № 1. – С. 58–66.

212. Кудряшов, В.Н. Консервативно-утопическая интерпретация русификаторской политики в конце XIX – начале XX в. / В. Н. Кудряшов // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 296. – С. 96–101.

213. Кудряшов, В.Н. Концепт русской нации в общественно-политической мысли России второй половины XIX века. / В. Н. Кудряшов. – Томск: Издательство Томского университета, 2017. – 392 с.

214. Кудряшев, В.Н. Народность и государство в славянофильской доктрине (1840–1880-е гг.) / В. Н. Кудряшов // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 417. – С. 103–109.

215. Кудряшев, В.Н. Русско-немецкое противостояние в Прибалтике в освещении русской публицистики второй половины XIX в. / В. Н. Кудряшов // Вестник Томского государственного университета. История. – 2017. – № 46. – С. 13–21.

216. Кузнецова, А.В. Национализм и революция как взаимообуславливающие политические феномены в эпоху европейских революций 1789–1871 гг. // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – № 20. – С. 404–407.

217. Кузнецова, А.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию взаимодействия и взаимовлияния национализма и революции

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5/1. – С. 36–39.

218. Кузьмин, А.Д. Конфессиональный и национальный состав чиновничества белорусских губерний в 1864–1914 гг. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А «Гуманитарные науки». – 2018. – № 1. – С. 81–88.

219. Кукольник, П.В. Исторические заметки о Литве / П. В. Кукольник. – Вильна: Тип. А. К. Киркора, 1864. – 245 с.

220. Кэмпбелл, (Воробьева) Е.И. «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской идеологии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности / науч. ред. Б. В. Ананьич, С. И. Барзилов. – Москва: Московский общественный научный фонд, 2001. – С. 204–216.

221. Кэнсо, Я. Политический национализм М.Н. Каткова / Я. Кэнсо // Русская политология. – 2018. – № 1(6). – С. 46–52.

222. Лавджой, А.О. Историография идей / А. О. Лавджой // История философии. – 2005. – № 12. – С. 159–168.

223. Лавринец, П.М. Русская литература Литвы (XIX — первая половина XX века) / П. М. Лавринец. – Вильнюс: Вильнюсский университет, 1999. – 192 с.

224. Лагутина, М.Л., Михайленко, Е.Б. Регионализм в глобальную эпоху: обзор зарубежных и российских подходов / М. Л. Лагутиина, Е. Б. Михайленко // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2020. – Т. 20. – № 2. – С. 261–278.

225. Лебедев, С.В. Охранители истинно русских начал: идеалы, идеи и политика русских консерваторов второй половины XIX века / С. В. Лебедев. – Санкт-Петербург: Нестор, 2004. – 223 с.

226. Лебедева, Г.Н. Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова / Г. Н. Лебедева // Тетради по консерватизму. – 2018. – № 3. – С. 274–286.

227. Лебедева, М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы / М. М. Лебедева // Вестник МГИМО-Университета. – 2017. – № 3. – С. 212–223.

228. Летняков, Д.Э. К вопросу о генеалогии имперского сознания в России / Д. Э. Летняков // Философский журнал. – 2015. – Т. 8. – № 2. – С. 112–127.

229. Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева / сост.: Т.Г. Динесман и др. Кн. 3. – Москва: Индрик, 2012. – 591 с.

230. Ливен, Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней / Д. Ливен. – Москва: Издательство «Европа», 2007. – 688 с.

231. Линкевич, В.Н. Межконфессиональные отношения в Беларуси (1861–1914 гг.) / В. Н. Линкевич. – Гродно: Гродненский гос. ун-т, 2008. – 105 с.

232. Лопатина, Е.Б. Русификация как инструмент интеграционной политики Российской империи (На примере Привислинского края) / Е. Б. Лопатина // Перспективы. Электронный журнал. – 2018. – № 4(16). – С. 104–110.

233. Лубков А.В. Михаил Катков: молодые годы / А. В. Лубков. – Москва: МПГУ, 2018. – 256 с.

234. Лубский, А.В. Альтернативные модели исторического исследования / А. В. Лубский / отв. ред. Ю.Г. Волков. – Москва: Издательство «Социально-гуманитарные знания», 2005. – 325 с.

235. Луговцова, С.Л. Кадровая политика российских властей на территории Беларуси после подавления восстаний 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг.: (попытка сравнительного анализа) / С. Л. Луговцева // Российские и славянские исследования. Вып. 9. – Минск: БГУ, 2014. – С. 28–38.

236. Лукоянов, И.В. Конец царствования Александра III: была ли альтернатива «контрреформам»? / И. В. Лукоянов // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX – XX веков / отв. ред. А. Н. Цамутали. – Санкт-Петербург: Издательство Алетейя. 1999. – С. 247–258.

237. Лукоянов, И.В. Российские консерваторы (конец XVIII – начало XX вв.) / И. В. Лукоянов. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2003. – 79 с.

238. Лукоянов, И.В. Русское собрание / И. В. Лукоянов // Россия в XIX – XX вв. Сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / под. ред. А. А. Фурсенко. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1998. – С. 165–170.

239. Лукьянов, М.Н. Консервативная научная интеллигенция и власть (1907 – 1914) // Власть и наука, ученые и власть: 1880 – начало 1920-х годов / отв. ред. Н. Н. Смирнов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003. – С. 343–357.

240. Лурье, С.В. «IMPERIUM. Империя – ценностный и этнопсихологический подход». [Электронный ресурс] / С. В. Лурье. URL: https://www.geopolitika.ru/sites/default/files/imperiya_kak_sudba.doc (дата обращения: 10.08.2024)

241. Лухверчик, В.Н. Особенности становления педагогического образования в дореволюционной Беларуси / В. Н. Лухверчик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. – 2018. – №. 15. – С.13–16.

242. Лэйн, Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х - нач. 1850-х гг. / Р. Лэйн // Литературное наследство. Т. 97. Кн.1. – Москва: Наука, 1988. – С. 231–252.

243. Лю-Ку-Тан, В.А. Первый директор Белгородского учительского института Павел Емельянович Рощин (1826–1903) / В. А. Лю-Ку-Тан. Via in tempore. История. Политология. – 2022. – Т. 49. – № 22. – С. 385–395.

244. Любимов, Н.А. М.Н. Катков и его историческая заслуга / Н. А. Любимов. – Санкт-Петербург: Общественная польза, 1889. – 356 с.

245. Майорова, Н.А. Педагогические аспекты межнационального противоборства в Северо-Западном крае Российской империи / Н. А. Майорова // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. – 2014. – № 4. – С. 124–127.

246. Макаревич, Э.Ф. Структура и возможности «мягкой силы» / Э. Ф. Макаревич // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2017. – № 1 (778). – С. 27–37.

247. Макаренко, В.П. Главные идеологи современности / В. П. Макаренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 480 с.

248. Макаренко, В.П. Неравномерность развития создает империю, изживание неравномерности ведет к кризису / В. П. Макаренко // Восток. – 1991. – № 4. – С. 79–93.

249. Макареня, А.А., Нутрихин, А.И. Менделеев в Петербурге / А. А. Макареня, А. И. Нутрихин. – Ленинград: Лениздат, 1982. – 288 с.

250. Макарычев, А.С. Влияние зарубежных концепций на развитие российского регионализма: возможности и пределы заимствования / А. С. Макарычев // Сравнительный регионализм: Россия – СНГ – Запад. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет, 1997. – С. 97–129.

251. Малахов, В.С. Национализм как политическая идеология / В. С. Малахов. – Москва: КДУ, 2005. – 320 с.

252. Малинова, О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях / О. Ю. Малинова // Политическая наука. – 2003. – № 4. – С. 8–30.

253. Малинова, О.Ю. Либерализм и концепт нации / О. Ю. Малинова // Полис. – 2003. – № 2. – С. 96–111.

254. Малинова, О.Ю. Общество, публика, общественность в России середины XIX – начала XX века: отражение в понятиях практик публичной коммуникации и общественной самодеятельности / О. Ю. Малинова // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. I. – Москва: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 428–463.

255. Малинова, О.Ю., Миллер, А.И. Введение. Символическая политика / О. Ю. Малинова, А. И. Миллер // Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе: сб. статей / под

ред. В. В. Лапина, А. И. Миллера. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. – С. 7–37.

256. Маловичко, С.И. Национально-государственный нарратив как вид социально ориентированного историописания / С. И. Маловичко // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2015. – № 4. – С. 125–135.

257. Маловичко, С.И., Румянцева, М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание / С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева / отв. ред. Л. П. Репина. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с.

258. Маловичко, С.И., Румянцева М.Ф. Источниковедение историографии как предметное поле интеллектуальной истории / С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева // Мир историка: историографический сборник. Вып. 11 / отв. ред. В. П. Корзун. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. – С. 77–99.

259. Манхейм, К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – Москва: Юрист, 1994. – 700 с.

260. Манхейм, К. Консервативная мысль / К. Манхейм // Социологические исследования. – 1993. – № 1. – С. 126–138.

261. Масарик, Т.Г. Россия и Европа: Эссе о духовных течениях России Т. II. Кн. 2. Ч. 2–5; Кн. 3. Ч. 1. / Т. Г. Масакрик. – Санкт-Петербург: Издательство РХГИ, 2004. – 720 с.

262. Мацузато, К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу / К. Мацузато // Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей (Библиотека журнала «Ab Imperio) / Под ред. И. В. Герасимова, С. В. Глебова. А. П. Каплуновского и др. – Казань: Центр Исследований Национализма и Империи. 2004. – С. 427–458.

263. Медоваров, М.В. Борьба за журнал «Русское обозрение» в 1892 г. / М. В. Медоваров // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. – 2022. – Вып. 105. – С. 59–78.

264. Медушевский, А.Н. Ключевые проблемы российской модернизации. Курс лекций / А. Н. Медушевский. – Москва: Директ-Медия, 2014. – 680 с.

265. Ментальные программы и модели социального поведения в российском обществе / отв. ред. А.В. Лубский. – Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2016. – 392 с.

266. Мещенина, А.А. Историк по призванию (К биографии С.Д. Шереметева) / А. А. Мещенина // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2010. – № 2. – С. 45–62.

267. Мещеряков, Н.Л. У истоков современной реакции / Н. Л. Мещеряков // Литературное наследство. – 1935. – Т. 22–24. – С. 427–432.

268. Мигранян, Л.М. Переосмысливая консерватизм / Л. М. Мигранян // Вопросы философии. – 1990. – № 2. – С. 114–122.

269. Миллер, А.И. Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки на полях одной статьи А.Н. Пыпина / А. И. Миллер // Российская империя в сравнительной перспективе / сост. М. Баталина и др. – Москва: Новое литературное обозрение, 2004. – С. 263–286.

270. Миллер, А.И. Империя и современный мир – некоторые парадоксы и заблуждения / А. И. Миллер // Политическая наука. – 2004. – № 3. – С. 4–11.

271. Миллер, А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования / А. И. Миллер. – Москва: Новое литературное обозрение, 2008. – 248 с.

272. Миллер, А.И. «Народность» и «Нация» в русском языке XIX века: подготовительные наброски к истории понятий / А. И. Миллер // Российская история. – 2009. – № 1. – С. 151–165.

273. Миллер, А.И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) / А. И. Миллер // Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи (1700 – 1917) / ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. И. Миллер. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010. С. 42–66.

274. Миллер, А.И. Украинский вопрос в Российской империи / А. И. Миллер. – Киев: Laurus, 2013. – 416 с.

275. Миловидов, А.И. Из истории Виленской публичной библиотеки / А. И. Миловидов. – Вильна: Русский почин, 1911. – 69 с.

276. Миловидов, А.И. Исторические основы латино-польской политики в Северо-западном крае / А. И. Миловидов. – Вильна: Тип. Вил. св.-дух. братства, 1901. – 10 с.

277. Миловидов, А.И. О положении православия и русской народности в Пинском удельном княжестве и городе Пинске до 1793 года / А. И. Миловидов. – Москва. Тип. А. И. Снегиревой. 1894. – 73 с.

278. Миловидов, А.И. Пятидесятилетие «Виленского вестника» русской редакции: (Историко-библиографический очерк) / А. И. Миловидов. – Вильна: Ред. «Вилен. вестн.», 1914. – 52 с.

279. Милюков, П.Н. Разложение славянофильства. Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев / П. Н. Милюков. – Москва: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1893. – 53 с.

280. Минаков, А.Ю. Русский консерватизм в современной историографии: новые подходы и тенденции изучения / А. Ю. Минаков // Вопросы истории. – 2005. – № 6. – С. 133–142.

281. Минаков, А.Ю. Русский консерватизм первой четверти XIX в. / А. Ю. Минаков. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. – 560 с.

282. Минаков, А.Ю. Русская партия в первой четверти XIX века / А. Ю. Минаков. – Москва: Институт Русской Цивилизации, 2013. – 528 с.

283. Минаков А.Ю. У истоков русского консерватизма: «русская партия» первой четверти XIX в. / А. Ю. Минаков // Tractus aevorum:

эволюция социокультурных и политических пространств. – № 1. – Т. 1. – 2014. – С. 67–77.

284. Минаков, А.Ю., Репников, А.В. Консерватизм в России / / А. Ю. Минаков, А. В. Репников // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия. – Москва: РОССПЭН, 2010. – С. 6–18.

285. Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX вв.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1–2. / Б. Н. Миронов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1999.

286. Миронов, Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи / Б. Н. Миронов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2017. – 638 с.

287. Миронов, Б.Н. Об этнической дискриминации в позднеимперской России / Б. Н. Миронов // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2017. – Т. 62. – Вып. 1. – С. 164–185.

288. Могилевский, Н.А. Губернская администрация и местное дворянство в Курляндии в середине XIX в. / Н. А. Могилевский // Вестник МГИМО-Университета. – 2022. – № 15(4). – С. 60–80.

289. Молчанова, Е.Б. Проблема определения понятия «консерватизм» и «неоконсерватизм» в западной и отечественной политологической литературе / Е. Б. Молчанов. – Москва: ИНИОН, 1994. – 25 с.

290. Мюнклер, Г. Империи. Логика господства над миром: от Древнего Рима до США / Г. Мюнклер. – Москва: Кучково поле, 2015. – 400 с.

291. Мячин, А.К. К. Леонтьев, русский консерватизм и восточный вопрос / А. К. Мячин // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 1998. № 1. С. 56–66.

292. Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве: коллективная монография / отв. ред. А. Ю. Дворниченко. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2022. – 476 с.

293. Назарова, Е.Л. Из истории имперской языковой политики в Прибалтийском крае 60-70-х гг. XIX в. / Е. Л. Назарова // Альманах североевропейских и балтийских исследований. – 2017. – № 2. – С. 26–40.

294. Нарежный, А.И. И.С. Аксаков о «качественной силе» русского народа / А. И. Нарежный // Historia provinciae – журнал региональной истории. – 2022. – Т. 6. – № 3. – С. 755–795.

295. Нарежный, А.И., Дмитриева, Н.В. О введении русского делового языка в Прибалтийском крае в 60–70-х годах XIX в. / А. И. Нарежный, Н. В. Дмитриева // Научная мысль Кавказа. – 2023. – № 1. – С. 74–82.

296. Нарежный, А.И., Урушадзе, А.Т. Оценка ассимиляционного потенциала русского народа в отечественной общественной мысли XIX в. / А. И. Нарежный, А. Т. Урушадзе // Былые годы. – 2021. – № 16 (1). – С. 321–343.

297. Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли: коллективная монография / под ред. А.Т. Урушадзе. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. – 680 с.

298. Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли: словарь понятий / под общ. ред. А. Т. Урушадзе. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. – 192 с.

299. Начапкин М.Н. К вопросу о типологизации русского консерватизма XIX - начала XX в. / М. Н. Начапкин // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3. Общественные науки. – 2008. – № 57. Вып. 5. – С. 89–100.

300. Начапкин М.Н. Русский консерватизм XIX – первой половины XX в. / М. Н. Начапкин. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2002. – 206 с.

301. Неведенский, С. Катков и его время / С. Неведенский. – Санкт-Петербург: Тип. А.С. Суворина. 1888. – 570 с.

302. Неменский, О.Б. Поляки и русские: народы разных времен и разных пространств / О. Б. Немменский // Вопросы национализма. – 2010. – № 3. – С. 24–37.

303. Никольский, С.А. Русские как имперский народ / С. А. Никольский // Политическая концептология. – 2014. – № 1. – С. 42–53.

304. Нольде, Б.Э. Юрий Самарин и его время / Б. Э. Нольде. – Paris: Soc. anonyme impr. de Navarre, 1926. – 247 с.

305. Окушова, Г.А., Пьяных, Е.Г. Народная школа в дореволюционной России: теоретико-методологические основания и организационная практика / Г. А. Окушова, Е. Г. Пьяных // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – Вып. 11 (101). – С. 69–75.

306. Орешина, М.А. Регион как объект социально-гуманитарных исследований / М. А. Орешина // Политическая наука. – 2003. – № 3. – С. 142–152.

307. Осипов, И.Д. Фактор неопределенности в истории русской культуры / И. Д. Осипов // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. Российское государство в историческом измерении. – 2013. – № 15. – С. 72–80.

308. Осипов, И.Д. Философская критика идеологии европоцентризма в русском консерватизме / И. Д. Осипов // Россия в Глобальном Мире. – 2016. – № 8 (31). – С. 539–545.

309. Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон / под ред. А. С. Герца, Г. С. Лебедева. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, – 1999. – 390 с.

310. Оукшот, М. Что значит быть консерватором / М. Оукшот // Рационализм в политике и другие статьи. – Москва: Идея-Пресс, 2002. – С. 65–90.

311. Павлов, А.С. Курс церковного права / А. С. Павлов. – Санкт-Петербург: Лань, 2002. – 384 с.

312. Пайпс, Р. Русский консерватизм во второй половине XIX века / Р. Пайпс. – Москва: Наука, 1970. – 10 с.

313. Пайпс, Р. Русский консерватизм и его критики. Исследование политической культуры / Р. Пайпс. – Москва: Фонд «Либеральная миссия»: Новое издательство, 2008. – 250 с.

314. Патракова, В.Ф., Черноус, В.В. Русская (Российская) цивилизация / В. Ф. Патракова, В. В. Черноус // Российская историческая политология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – С. 427–460.

315. Пигарев, К.В. Жизнь и творчество Тютчева / К. В. Пигарев. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1962. – 377 с.

316. Пирожкова, Т.Ф. «Страшная книга» Ю.Ф. Самарина. («Окраины России» в восприятии современников) / Т. Ф. Пирожкова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2017. – № 3. – С. 130–150.

317. Плавская, Е.В. Публицистика как вид исторических источников: проблема определения / Е. В. Плавская // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Исторические науки». – 2008. – № 4. – С. 81–93.

318. Погодин, М.П. Польский вопрос: собрание рассуждений, записок и замечаний. 1831–1867 / М. П. Погодин. – Москва: Тип. газ. «Русский», 1867. – 240 с.

319. Погодин, С.Н. Фенномания и процесс становления национального сознания в Российской империи в XIX веке / С. Н. Погодин // Международные отношения и диалог культур. – 2015. – № 3(2014). – С. 347–356.

320. Полевой, Н.А. История русского народа. Т. VI / Н. А. Полевой. – Москва. Тип. Августа Семена. 1833. – 459 с.

321. Полунов, А.Ю. Национальное и религиозное в системе имперского управления: к вопросу о деятельности и политических взглядах К.П. Победоносцева / А. Ю. Полунов // Государственное правление. Электронный вестник. 2012. Вып. 34. [Электронный ресурс] URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk_34._oktjabr_2012_g./iz_istorii_upravlenija/polunov.pdf (дата обращения: 23.12.2023).

322. Попов, Э.А., Велигонова, И.В. Когда Слово повелевает Империей / Э. А. Попов, И. В. Велигонова. – Москва: РИСИ, 2014. – 207 с.

323. Преображенский, П.Ф. Александр Герцен и Константин Леонтьев (сравнительная морфология творчества) / П. Ф. Преображенский // Печать и революция. – 1922. – Кн. 2 (5). – С. 78–88.

324. Пронкин, С.В. Идеология контрреформ / С. В. Пронкин // Власть и общество в истории России. – Москва: Б/и, 1999. – С. 48–75.

325. Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия / отв. ред. А. Ю. Минаков. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 417 с.

326. Прохоров, Е.И. Издание эпистолярного наследия / Е. И. Прохоров // Вопросы текстологии. – Москва: Издательство АН СССР, 1964. Вып. 3. – С. 6–60.

327. Прохоров, Е.П. Публицист и действительность / Е. И. Прохоров. – Москва: Издательство Московского университета, 1973. – 317 с.

328. Пустарнаков, В.Ф. Либеральный консерватизм и либерализм в России XIX – начала XX века: различия и сходства / В. Ф. Пустарнаков // Либеральный консерватизм: история и современность / отв. ред. А. И. Нарежный. – Москва: РОССПЭН, 2001. – С. 11–28.

329. Пушкарев, Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории / Л. Н. Пушкарев. – Москва: Наука, 1975. – 282 с.

330. Пыпин, А.Н. Из истории панславизма / А. Н. Пыпин // Вестник Европы. – 1893. – № 9. – С. 287–313.

331. Пыпин, А.Н. История русской этнографии. Т. IV / А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. – 488 с.

332. Пыпин, А.Н. Общественное движение в России при Александре I / А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2001. – 560 с.

333. Пыпин, А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем (1878) / А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург: Колос, 1913. – 189 с.

334. Пыпин, А.Н. Польский вопрос в русской литературе / А. Н. Пыпин // Вестник Европы. – 1880. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 703–736.

335. Пыпин, А.Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов: исторические очерки / А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906. – 519 с.

336. Пярт, И. Прерванный эксперимент? Политика правительства Александра III в Прибалтийских губерниях / И. Пярт // Родина. – 2015. – № 2. – С. 78–80.

337. Радченко, А.А. Славянофилы об «обрусении» Северо-Западного края Российской империи / А. А. Радченко // Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». – 2010. – №13 (84). Выпуск 15. – С. 140–145.

338. Раков, В.П. К.П. Победоносцев в контексте политического модерна / В. П. Раков // Интеллигенция и мир. – 2004. – № 1/2. – С. 75–99.

339. Раков, В.М. Особенности российского традиционализма // Исследования по консерватизму. Выпуск 2 / В. П. Раков. – Пермь. Издательство Пермского университета. 1994. – С. 70–79.

340. Репина, Л.П. Контексты интеллектуальной истории / Л. П. Репина // Диалог со временем. – 2008. – Вып. 25/1. – С. 5–11.

341. Репина, Л.П. Персональная история и интеллектуальная биография / Л. П. Репина // Диалог со временем. – 2002. – Вып. 8. – С. 5–10.

342. Репина, Л.Н. Региональные нарративы в сетевой модели «новой имперской истории» / Л. П. Репина // Региональный нарратив имперской провинции: современные методологические подходы и исследовательские практики / отв. ред. И. В. Крючков. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. – С. 76–80.

343. Репников, А.В. Консервативная концепция российской государственности / А. В. Репников. – Москва: СигналЪ, 1999. – 161 с.

344. Репников, А.В. Консервативные концепции переустройства России / А. В. Репников. – Москва: Academia, 2007. – 519 с.

345. Репников, А.В. Консервативные модели российской государственности / А. В. Репников. – Москва: РОССПЭН, 2014. – 527 с.

346. Репников, А.В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX – начало XX веков) / А. В. Репников. – Москва: Готика, 2006. – 423 с.

347. Репников, А.В. Консервативная модель переустройства России / А. В. Репников // Вестник Фонда развития политического центризма. Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический семинар. Материалы / науч. ред. С. С. Сулакшин. – Москва: 2000. № 2 (23). – С. 4–28.

348. Репников, А.В. Русский консерватизм и современное мифотворчество: историографический аспект проблемы / А. В. Репников // Интеллигенция и мир. – 2008. – № 3. – С. 27–45.

349. Репников, А.В. С.Н. Сыромятников: штрихи к портрету / А. В. Репников // Интеллигенция и мир. – 2010. – № 3. – С. 93–110.

350. Репников, А.В. Сергей Федорович Шарапов / А. В. Репников // Шарапов С.Ф. Избранное. – Москва: РОССПЭН, 2010. – С. 5–22.

351. Репников, А.В. Современная историография российского консерватизма / А. В. Репников // Консерватизм и традиционализм на юге России / отв. ред. В.В. Черноус. – Ростов на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002. – С. 5–28.

352. Репников, А.В., Милевский, О.А. Две жизни Льва Тихомирова / А. В. Репников, О. А. Милевский. – Москва: Academia, 2011. – 558 с.

353. Реформы в России с древнейших времен до конца XX в. Т. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. / отв. ред. В.В. Шелохаев. – Москва: РОССПЭН, 2016. – 765 с.

354. Рибер, А. Борьба за евразийское пограничье: от империй раннего Нового времени до конца Первой мировой войны. (Реферат) / А. Рибер // Имперский поворот в изучении истории России: Современная

историография: сб. обзоров и рефератов / отв. ред. О. В. Большакова. – Москва: РАН. ИНИОН, 2019. – С. 19–27.

355. Розанов, В.В. Катков, как «государственный человек» / В. В. Розанов // Розанов В.В. Литературные очерки. – Санкт-Петербург: Тип. М. Меркушева, 1899. – С. 125–131.

356. Рожин, Н.В. Газета «Северо-Западный край». Очерк общественно-политической, философской и эстетической позиции. 1902 – 1905 гг. / Н. В. Рожин. – Минск: Изд. БГУ, 1970. – 168 с.

357. Романчук, А.А. Предпосылки упразднения Унии в Российской империи в 1839 г. / А. А. Романчук // Труды Минской духовной академии. – 2017. – № 14. – С. 243 – 271.

358. Российская империя в сравнительной перспективе / под ред. А. И. Миллера. – Москва: Новое издательство, 2004. – 384 с.

359. Российские консерваторы / А. И. Боханов (рук.), Д. И.Олейников, С. С. Секиринский и др.– Москва: Русский мир, 1997. – 384 с.

360. Россия в условиях трансформаций. Вып. 2 / науч. ред. С.С. Сулакшин. – Москва: Фонд развития политического центризма, 2000. – 87 с.

361. Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII – XX в. / под ред. А. О. Чубарьян. – Москва: ИВИ РАН, 2004. – 279 с.

362. Росситер, К. Консерватизм / К. Росситер // США: консервативная волна / Сост., пер. с англ., ст. к разделам, примеч. А. В. Кортунова. – Москва: Прогресс, 1984. – С. 36–44.

363. Роули, Д. Имперский versus национальный дискурс: случай России / Д. Роули // Вопросы национализма. – 2011. – № 1(5). – С. 212–230.

364. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика / под ред. В.Я. Гросула. – Москва: Прогресс-традиция, 2000. – 439 с.

365. Русский консерватизм (Круглый стол) // Социологические исследования. – 1993. – № 1. – С. 43–61.

366. Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол» // Отечественная история. – 2001. – № 3. – С. 103–133.

367. Руткевич, А.М. Гештальт империи / А. М. Руткевич // Тетради по консерватизму. – 2022. – № 1. – С. 15–42.

368. Руткевич, А.М. Что такое консерватизм? / А. М. Руткевич. – Москва-Санкт-Петербург: Университетская книга, 1999. – 224 с.

369. Рыжакова, С.И. Латышская национальная история: о культурных механизмах в конструировании и реферировании прошлого / С. И. Рыжаков // Антропологический форум. – 2009. – № 11. – С. 216–274.

370. Рынков, В.М. Периодическая печать: место в системе исторических источников / В. М. Рынков // Отечественные архивы. – 2010. – № 3. – С. 44–49.

371. Савельев, А.Н. Время русской нации / А.Н. Савельев. – Москва: Книжный мир, 2007. – 544 с.

372. Савино, Д. Инородческие заговоры: поляки, евреи, немцы и украинцы в представлениях русских националистов начала XX века / Д. Савино // Логос. – 2017. – Т. 27. – № 4. – С. 65–86.

373. Самбук, С.М. Общественно-политичекая мысль Белоруссии во второй половине XIX века (по материалам периодической печати) / С. М. Самбук. – Минск: Наука и техника, 1976. – 183 с.

374. Самоорганизация российской общественности в поледеней трети XVIII – начала XX в. / отв. ред. А.С. Туманова. – Москва: РОССПЭН, 2011. – 887 с.

375. Санькова, С.М. Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект / С. М. Санькова. – Санкт-Петербург: Нестор, 2007. – 298 с.

376. Санькова, С.М. Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856) / С. М. Санькова. – Москва: АПК и ППРО, 2008. – 223 с.

377. Сватиков, С.Г. Общественное движение в России (1700–1895 гг.) / С. Г. Сватиков. – Ростов-на-Дону: Изд. Н. Парамонова «Донская речь», 1905. – 198 с.

378. Седова, Г.В. Образование русских женщин в Лифляндской губернии и в Латвии в конце XIX – первой половине XX вв. / Г. В. Седова // На пути к гражданскому обществу. – 2022. – № 4 (48). – С. 39–47.

379. Селезнев, М.С. О классификации исторических источников в связи с построением курса источниковедения в вузах / М. С. Селезнев // Источниковедение истории советского периода. – Москва: Наука, 1964 – С. 320–342.

380. Сементковский, Р.И. М.Н. Катков, его жизнь и литературная деятельность / Р. И. Сементковский. – Санкт-Петербург: Тип. Ю.Н. Эрлих. 1892. – 80 с.

381. Сергеев, С.М. Восстановление свободы. Демократический национализм декабристов / С. М. Сергеев // Вопросы национализма. – 2010. – № 2. – С. 78–118.

382. Сергеенкова, В.В., Ершова, О.И., Гулюк, М.А., Шараева Е.И. Виленский учебный округ: политика российского правительства в области образования (вторая половина XIX – начало XX в.) / В. В. Сергеенкова и др. // Российские и славянские исследования: научный сборник / отв. ред.: А. П. Сальков, О. А. Яновский. – Минск: Белорусский государственный университет, 2008. Вып. 3. – С. 57–75.

383. Скиннер, К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, перспективы / К. Скиннер // Новое литературное обозрение. – 2004. – № 66. – С. 55–66.

384. Скороходова, С.И. «Письма из Риги» в историософии Ю.Ф. Самарина / С. И. Скороходова // Соловьевские исследования. – 2011. – Вып. 4(32). – С. 101–113.

385. Смагина, Л.А. Регион как проект политической практики современного государства / Л. А. Смагина // Власть. – 2007. – № 2. – С. 23–28.

386. Смоленчук, А.Ф. Попытки введения русского языка в католическое богослужение в Минской и Виленской диоцезиях. 60-70-е гг. XIX в. / А. Ф. Смоленчук // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 20. – Vilnius. 2002. – S. 141–154.

387. Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864–люты 1917 г. / А. Ф. Смалянчук. – Санкт-Петербург: Неўскі прасцяг, 2004. – 404 с.

388. Смалянчук, А.Ф. Палякі Беларусі і Літвы ў рэвалюцыі 1905–1907 гг. / А. Ф. Смалянчук. – Гародня: Ратуша, 2000. – 204 с.

389. Смолин, М.Б. Имперское мышление и имперский национализм М.О. Меньшикова / М. Б. Смолин // Меньшиков М.О. Письма к русской нации. – Москва: «Москва», 1999. – С. 5–26.

390. Смолин, М.Б. Очерки Имперского Пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX – первой половины XX века / М. Б. Смолин. – Москва: «Москва», 2000. – 301 с.

391. Современный консерватизм / отв. ред. С. П. Перегудов, В. А. Скороходов. – Москва: Наука, 1992. – 264 с.

392. Сокольская, И.Б. Консервативна ли консервативная революция / И. Б. Сокольская // Полис. – 1999. – № 6. – С. 119–128.

393. Соловьев, К.А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна / К. А. Соловьев. – Москва: Новое литературное обозрение, 2017. – 296 с.

394. Соловьёв, Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века / Ю. Б. Соловьев. – Ленинград: Наука, 1973. – 383 с.

395. Сосенков, Ф.С. Проблемы территориальной целостности России и противодействия сепаратизму в политико-правовых воззрениях братьев Аксаковых / Ф. С. Сосенков // Вестник ВГАВТ. – 2015. – Вып. 42. – С. 27–38.

396. Сперанский, М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кулжинский) / М. Н. Сперанский. – Нежин: Тип. насл. В.К. Меленевского, 1906. – 82 с.

397. Сталюнас, Д. Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католическое богослужение в 60-х годах XIX века / Д. Сталюнас // Российская империя в зарубежной историографии / сост. Пол В. Верт, П. Кабытов, А. Миллер. – Москва: Новое издательство, 2005. – С. 570–588.

398. Сталюнас, Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи / Д. Сталюнас. – Москва: Новое литературное обозрение, 2022. – 376 с.

399. Сталюнас, Д. Роль имперской власти в процессе массового обращения католиков в православие в 60-е годы XIX столетия / Д. Сталюнас // Lietuviu kataliku mokslo akademijos. T. 26. Vilnius. 2005. – С. 307–347.

400. Сталюнас, Д. Северо-западный край в ментальных картах имперских властей и недоминирующих этнических групп / Д. Сталюнас // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение / ре. Е. М. Болтунова. – Москва: Новое литературное обозрение. 2021. – С. 246–268.

401. Сташкевич, Н.С., Козляков, В. Исторический путь белорусского народа / Н. С. Сташкевич, В. Козляков // Беларуская думка. – 2003. – № 10. – С. 3–13.

402. Степанов, А.Д. Черная сотня: взгляд через столетия / А. Д. Степанов. – Санкт-Петербург: Царское дело, 2000. – 144 с.

403. Сумарокова, О.Л. Языковая политика Российской империи и «русификации»: к вопросу о методологии исследования / О. Л. Сумарокова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 2-4. – С. 122–128.

404. Суни, Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз / Р. Суни // Новая имперская история постсоветского пространства / ред. и сост.: И. В. Герасимов. – Казань. Центр исследования национализма и империи 2004. – С. 163–197.

405. Суни, Р. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теория империи / Р. Суни // Национализм в мировой истории / под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. – Москва: Наука, 2007. – С. 36–82.

406. Суслов, М.Д. Новейшая историография российского консерватизма, его исследователи, критики и апологетики / М. Д. Суслов // Ab Imperio. – 2008. – № 1. – С. 269–270.

407. Суслов, М.Д. Принцип редукции картины мира в славянофильской утопии С. Ф. Шарапова / М. Д. Суслов // Международный журнал исследований культуры. – 2012. – № 4(9). – С. 56–65.

408. Суслов, М.Д. Эволюция консервативной утопии в России в XIX веке / М. Д. Суслов // Вестник Пермского университета. История. – 2003. – Вып. 4. – С. 85–100.

409. Тальвирская, З.Я. Некоторые вопросы общественного движения в Литве и Белоруссии в конце 50-х – начале 60-х годов и подпольная литература / З. Я. Тальвирская // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина XIX в.) / под ред. В. А. Дьякова. – Москва: Наука, 1967. – С. 5–77.

410. Твардовская, В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В. А. Твардовская. – Москва: Наука, 1978. – 280 с.

411. Тесля, А.А. Дебаты о народности / А. А. Тесля // Социологическое обозрение. – 2012. Т. 11. – № 1. – С. 97–119.

412. Тесля, А.А. Иван Аксаков и его роль в истории русского национализма / А. А. Тесля // Вопросы национализма. – 2013. – № 4 (16). – С. 196–204.

413. Тесля, А.А. «Истинно русские люди»: История русского национализма / А. А. Тесля. – Москва: Рипол-Классик, 2019. – 317 с.

414. Тесля, А.А. Первый русский национализм... и другие / А. А. Тесля. – Москва: Издательство «Европа», 2014. – 280 с.

415. Тесля, А.А. «Польский вопрос» в публицистике М.Н. Каткова 1863 года [Электронный ресурс] / А. А. Тесля – URL: http:// www.hrono.ru/statii/2011/tes_katkov.php (дата обращения: 25.10.2024)

416. Тесля, А.А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова / А. А. Тесля. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2015. – 799 с.

417. Теплова, В.А. М.О. Коялович и русская православная историография / В. А. Теплова // Коялович М.О. История воссоединения западнорусских униатов старых времен. – Минск: Лучи Софии, 1998. – С. 385–395.

418. Тилли, Ч. Как умирают империи / Ч. Тилли // Политическая наука. – 2013. – № 3. – С. 216–229.

419. Тимошина, Е.В. Политико-правовая идеология русского пореформенного консерватизма: К.П. Победоносцев / Е. В. Тимошина. – Санкт-Петербург: Издательствово СПбГУ, 2000. – 202 с.

420. Тихонов, А.К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в последней четверти XVIII – начале XX века / А. К. Тихонов. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. – 352 с.

421. Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – Москва: Прогресс, 1991. – 736 с.

422. Троицкий, Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций / Н. А. Троицкий. – Москва: Высшая школа, 1997. – 431 с.

423. Трубецкой, С.Н. Разочарованный славянофил // Трубецкой С.Н. Собрание сочинений. Т. I. Публицистические статьи. – Москва: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1907. – С. 173–211.

424. Турцевич, А.О. Краткий исторический очерк Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. 1864-1906 / А. О. Турцевич. – Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1906. – 68 с.

425. Уайтхед, А.Н. Символизм, его смысл и воздействие / А. Н. Уайтхед. – Томск: Водолей, 1999. – 64 с.

426. Улащик, Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода / Н. Н. Улащик. – Москва: Наука, 1973. – 303 с.

427. Уортман, Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. II / Р. Уортман. – Москва: ОГИ, 2004. – 796 с.

428. Уотмор, Р. Что такое интеллектуальная история? / Р. Уотмор. – Москва: Новое литературное обозрение, 2023. – 200 с.

429. Устрялов, Н. Г. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? / Н. Г. Устрялов. – Санкт-Петербург: Тип. экспедиции заготовления государственных бумаг, 1839. – 42 с.

430. Федорова, М.М. Традиционализм как антимодернизм / М. М. Федорова // Полис. – 1996. – № 2. – С. 143–160.

431. Федосова Э.П. Граф М.Н. Муравьев-Виленский (1796–1866): жизнь на службе империи / Э. П. Федосова. – Москва: Институт российской истории РАН, 2015. – 253 с.

432. Федотов, Г.П. Судьба империй / Г. П. Федотов // Федотов Г.П. Новый град. Сборник статей. – Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. – С. 171–199.

433. Филиппов, А.Ф. Другой мир – другая социология / А. Ф. Филиппов // Ускользающий мир. – Москва: Московская школа политических исследований, 2004. – С. 43–66.

434. Филиппов, А.Ф. Империя живет, пока есть представление об имперской миссии / А. Ф. Филиппов // Политический журнал. № 24. 7 июля

2005. [Электронный ресурс] URL: https://www.hse.ru/news/1163627/1122327.html (дата обращения: 18.10.2024).

435. Филиппов, А.Ф. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и политическая проблема) / А. Ф. Филиппов // Политическая наука. – 2013. – № 3. – С. 43–97.

436. Филиппов, А.Ф. Смысл империи: к социологии политического пространства / А. Ф. Филиппов // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания / под ред. С. Чернышева. Т. 3. – Москва: Аргус, 1995. – 320 с.

437. Филипс, Л., Йоргенсен, М.В. Дискурс анализ: теория и метод / Л. Филипс, М. В.Йоргенсен. – Харьков: Издательство гуманитарного центра, 2004. – 336 с.

438. Филюшкин, А.И. Московская неонатальная империя: к вопросу о категориях политической практики / А. И. Филюшкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Сер. 2. – 2009. – Вып. 2. – С. 5–20.

439. Фриз, Г. Религиозная политика Российской империи в Прибалтике / Г. Фриз // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2017. – Том 62. Вып. 4. – С. 777–806.

440. Фирсов, Н.Н. Победоносцев. Опыт характеристики по письмам / Н. Н. Фирсов // Былое. – 1924. – № 25. – С. 247–270.

441. Фурсова, Е.Б. Славянофильский взгляд на Прибалтийский край / Е. Б. Фурсова // Вестник Университета мировых цивилизаций. – 2021. – Т. 12. – № 2(31). – С. 51–57.

442. Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью / Ю. Хабермас. – Москва: Academia, 1995. – 245 с.

443. Хантингтон, С. Консерватизм как идеология / С. Хантингтон // Тетради по консерватизму. – 2016. – № 1. – С. 229–250.

444. Хасин, В.В. Национальный фактор и традиционное общество в конструировании имперской идеологии в России начала XX века / В. В. Хасин // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2011. – № 5. – С. 176–180.

445. Хобсбаум, Э. Нации и национализм после 1780 года / Э. Хобсбаум. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1998. – 305 с.

446. Холмогоров, Е.С. Национализм центростремительного движения. Политическая метафизика Михаила Каткова / Е. С. Холмогоров // Тетради по консерватизму. – 2018. – № 3. – С. 151–200.

447. Хорев, В.А. Польское восстание 1830 г. и развитие стереотипа восприятия Польши в русской литературе / В. А. Хорев // Polacy a Rosjanie: Materialy z konf. «Polska-Rosja. Rola polskich powstan narodowych w ksztaltowaniu wzajemnych wyobrazen» / Warszawa-Plock, 14–17 maja 1998 r. – Warszawa: Neriton, 2000. – С. 97–106.

448. Хоскинг, Д. Россия: народ и империя / Д. Хоскинг. – Смоленск: Русич, 2001. – 512 с.

449. Хотеев, А. Музей памяти графа М.Н. Муравьева в Вильно (1901–1915 гг.) / А. Хотеев // Аспект. – 2017. – № 3 (3). – С. 36–40.

450. Хрипаченко, Т.И. Понятия федерация, децентрализация и автономия в социалистическом и либеральном дискурсах Российской империи (конец XIX – начало XX века) / Т. И. Хрипаченко // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Т. II. – Москва: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 99–142.

451. Христофоров, И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.) / И. А. Христофоров. – Москва: Русское слово, 2002. – 429 с.

452. Цьвікевіч, А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі у XIX і пачатку XX в. / А. Цьвікевіч – Менск: Навука і тэхніка, 1993. – 349 с.

453. Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917) / отв. ред. Д. Г. Янченко, М. В. Ходяков. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. – 660 с.

454. Цимбаев, Н.И. Российская имперская государственность: к пониманию проблемы / Н. И. Цимбаев // Российская империя: стратегии

стабилизации и опыты обновления / под ред. М. Д. Карпачева, М. Д. Долбилова, А. Ю. Минакова. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. 2004. – С. 15–32.

455. Цимбаев, Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века / Н. И. Цимбаев. – Москва: Издательство Московского университета, 1986. – 269 с.

456. Цымбурский, В.Л. Тютчев как геополитик / В. Л. Цымбурский // Цымбурский В.Л. Поэтика геополитики. Статьи 1991–2000 гг. Т. I. – Москва: РА, 2013. – С. 166–190.

457. Чеботарева, В.Г. «Русификация» немецкой школы в Прибалтийских губерниях (XIX век) / В. Г. Чеботарева // Вопросы истории. – 2004. – № 12. – С. 40–55.

458. Черепица, В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества / В. Н. Черепица. – Гродно: Б/и, 1998. – 326 с.

459. Чернавский, М.Ю. Религиозно-философские основы консерватизма в России / М. Ю. Чернавский. – Москва: Российский заочный институт текстил. и лег. пром-сти, 2004. – 186 с.

460. Черникова, Н.В. Князь Владимир Петрович Мещерский (к портрету русского консерватора) / Н. В. Черникова // Отечественная история. – 2001. – № 4. – С. 126–139.

461. Чернуха, В.Г. Александр III / В. Г. Чернуха // Вопросы истории. – 1992. – № 11–12. – С. 46–64.

462. Чернуха, В.Г. Борьба в верхах по вопросам внутренней политики царизма (середина 70-х годов XIX в.) / В. Г. Чернуха // Исторические записки. Т. 116. – Москва: Наука. 1988. – С. 161–186.

463. Чернуха, В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х годов XIX в. / В. Г. Чернуха. – Ленинград: Наука, 1978. – 248 с.

464. Чернуха, В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX в. / В. Г. Чернуха. – Ленинград: Наука, 1989. – 205 с.

465. Чешихин, Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. I–III. / Е. В. Чешихин. – Рига: Типо-литография А.И. Липинского, 1884–1887.

466. Чистяков, П.А. Минские епархиальные ведомости, издававшиеся в конце XIX – начале XX столетия: история издания, наиболее выдающиеся редакторы / П. А. Чистяков. [Электронный ресурс] URL: https://minds.by/articles/minskie-eparhial-ny-e-vedomosti-izdavavshiesya-v-kontse-xix-nachale-xx-stoletij-istoriya-izdaniya-naibolee-vy-dayushhiesya-redaktory#.Y-UNlCvP2Uk (дата обращения: 09.02.2024).

467. Чуркин, М.К. Сценарии и опыт модернизации империи в условиях освоения окраин / М. К. Чуркин // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2015. – № 1 (5). – С. 4–11.

468. Шацкий, Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. – Москва: Прогресс, 1990. – 454 с.

469. Шелохаев В.В. Модернизация России как теоретико-методологическая проблема / В. В. Шелохаев // Шелохаев В.В. На разные темы. Москва: РОССПЭН, 2016. С. 29–39.

470. Шелохаев, В.В. Состояние современного историографического поля российского либерализма и консерватизма / В. В. Шелохаев // Шелохаев В.В. На разные темы. – Москва: РОССПЭН, 2016. – С. 407–416.

471. Шелохаев, В.В. Социально-философские корни консерватизма / В. В. Шелохаев // Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический семинар. Выпуск 2 (23) / науч. ред. С. С. Сулакшин. – Москва: Фонд развития политического центризма, 2000. – С. 39–43.

472. Ширинянц, А.А., Фурсова, Е.Б. Национально-политическое единство и целостность России в истории русской политики и мысли XIX века (И.С. Аксаков о прибалтийском вопросе) / А. А. Ширинянц, Е. Б. Фурсов // Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века. Материалы Всероссийской научно-общественной конференции (Великий Новгород, 19 сентября 2012 г.). – Москва: Научный эксперт, 2013. – С. 399–414.

473. Шлезингер, А. Циклы американской истории / А. Шлезингер. – Москва: Прогресс-Академия, 1992. – 688 с.

474. Шмидт, С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии / С. О. Шмидт. – Москва: Издательство РГГУ, 1997. – 612 с.

475. Шперлинг, В. «Спящая красавица»: что делать? Империя как понятие, метафора и сеть взаимодействий / В. Шперлинг // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Т. II. – Москва: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 71–98.

476. Шульгин, В.Н. Русские свободные консерваторы XIX века об Остзейском вопросе / В. Н. Шульгин. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2009. – 157 с.

477. Щапов, А.П. Великорусские области и Смутное время / А. П. Щапов // Отечественные записки. – 1861. – № 10. – С. 579–616, – № 11. – С. 79–118.

478. Щапов, А.П. Великорусские области и Смутное время // Сочинения А.П. Щапова. Т. 1 / А. П. Щапов. – Санкт-Петербург: Изд. М.В. Пирожков, 1906. – С. 648–709.

479. Шчарбакоў, В. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. Гістарыяграфічныя нарысы / В. Шчарбакоў. – Мінск: Выдавецтва Беларускай акадэміі навук, 1934. – 105 с.

480. Щербина, А.В. Имперское сознание и либеральное движение в России / А. В. Щербина // Либеральный консерватизм: история и современность. – Москва: РОССПЭН, 2001. – С. 225–233.

481. Щербина, А.В. К вопросу о специфике Российской империи и имперского типа государственности (по материалам современных исследований) / А. В. Щербина // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2004. – № 3. – С. 43–48.

482. Щетинина, Г.И. Университеты в России и устав 1884 года / Г. И. Щетинина. – Москва: Наука, 1976. – 231 с.

483. Эвенчик, С.П. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России / С. П. Эвенчик // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. – 1969. – № 309. – С. 52–338.

484. Эйдинтас, А., Бумблаускас, А., Кулакаускас, А., Тамошайтис, М. История Литвы / А. Эйдинтас и др. – Вильнюс: Eugrimas, 2013. – 318 с.

485. Эткинд, А. Внутренняя колонизация / А. Эткинд. – Москва: Новое Литературное Обозрение, 2013. – 448 с.

486. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В.В. Трепавлов. – Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 477 с.

487. Юй Цзе. Народные библиотеки Общества ревнителей русского исторического просвещения на рубеже XIX–XX вв. / Юй Цзе // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. – 2023. – Т. 111. – № 2. – С. 102–116.

488. Язовская, О.В. Теоретические подходы к понятию имперскости в зарубежных исследованиях постколониализма / О. В. Язовская // Общество: политика, экономика, право. – 2019. – № 12. – С. 26–29.

489. Яноўская, В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі 1863–1914 гг. / В. В. Яноўская – Мінск: БДУ, 2002. – 197 с.

490. Янов, А.Л. Патриотизм и национализм в России. 1825–1921 / А. Л. Янов. – Москва: ИКЦ «Академкнига», 2002. – 398 с.

491. Янов, А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев (Русская консервативная мысль XIX в. и ее интерпретаторы) / А. Л. Янов // Вопросы философии. – 1969. – № 8. – С. 97–106.

492. Янченко, Д.Г. Дискуссии о национальных окраинах в позднеимперской России / Д. Г. Янченко // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2021. – Т. 66. – № 4. – С. 1379–1391.

493. Althusser L. Idéologie et appareils idéologiques d'État / L. Althusser. – Paris: Les Éditions sociales, 1976. – 172 p.

494. Banaszkiewicz M. The Eastern Borderland in Polish Collective Memory / M. Banaszkiewicz // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2020. – Т. 65. – Вып. 1. – С. 297–309.

495. Beissinger M.R. Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse / M. R. Beissinger // Ethnic Politics After Communism / ed. by Z. Barany, R.G. – Moser. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005. – P. 14–45.

496. Berger S., Miller A. Introduction: Building Nations In and With Empires / S. Berger, A. Miller // Nationalizing Empires / ed. S. Berger and A. Miller. – Budapest; New York: CEU Press, 2015. – P. 1–30.

497. Byrns R.F. Pobedonostsev: His Life and Thought / R. F. Byrns – Bloomington and London: Indiana University Press, 1968. – 495 p.

498. Burbank J., Cooper F. Empires in world history: Power and the politics of difference / J. Burbank, F. Cooper. – Princeton, 2010. – 511 p.

499. Chimiak L. Gubernatorzy rosyjscy w Kro'lestwie Polskim. Szkic do portretu zbioronego / L. Chimiak. – Wroclaw. 1999. – 243 p.

500. Empires / Doyle M. – Ithaca; London: Cornell univ. press, 1986. – 407 p.

501. Dolbilov M. Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire’s Northwestern Region in the 1860s / M. Dolbilov // Kritika. – 2004. – № 5. – P. 245–271.

502. Eckert G. Historisch arbeiten: Handreichung zum Geschichtsstudium / G. Eckert. – Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2019. – 263 s.

503. Eisenstadt S.N. Empires // international Encyclopdeia of the Social Sciences. Vol. V. / S. N. Eisenstadt. – New York: Macmillan, 1968. – 576 p.

504. Eisenstadt S.N. The Political Systems of Empires / S. N. Eisenstadt. – London: Macmillan, 1963. – 524 p.

505. Emmons T. The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861. / T. Emmons. – London: Cambridge university press, 1968. – 483 p.

506. Fieldhouse D.K. «Imperialism»: An Historiographical Revision / D. K. Fieldhouse // Economic History Review. – 1961. – Vol. 14. – № 2. – P. 187–209.

507. Gellner E. Nations und Nationalism / E. Gellner. – New York: Ithaca, Cornell University Press. 1983. – 150 p.

508. Głębocki H. Fatalna sprawa: Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznejros. (1856-1866) / H. Głębocki. – Krakow: Arcana, 2000. – 582 s.

509. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / J. Habermas. – Cambridge: MIT Press, 1991. – 301 c.

510. Hucke G. Yurij Fedorovic Samarin: Seine geistesgeschictliche Position und politische Bedeutung / G. Hucke. – München: Sagner, 1970. – 263 s.

511. Issues of Regional identity / Ed. by E. Royle. Manchester: – Manchester University Press, 1998. – 252 p.

512. Kaltenbrunner G.-K. Der schwirige Konserwatismus / G.-K. Kaltenbrunner // Aus Politik und Zeitgeschichte. – Bonn. 1973. № 49. – S. 25–39.

513. Kampfer F. Die Eroberung von Kazan 1552 als Gegenstand der zeitgenossischen russischen Historiographie / F. Kampfer // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. – 1969. – Bd. 14. – S. 7–161.

514. Kaplan V. Historians and historical societies in the public life of imperial Russia / V. Kaplan. – Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press, 2017. – 316 p.

515. Keenan E.L. Muscovy and Kazan: Some Introductory Remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy / E. L. Keenan // Slavic Review. – 1967. – Vol. 26. – P. 548–558.

516. Kirk R. A Program for Conservatives / R. Kirk. – Chicago: Henry Regnery Company, 1954. – 325 p.

517. Kirk R. The Portable Conservative Reader / R. Kirk. – New York: Penguin Books, 1982. – 723 p.

518. Kleimann B. Konfliktbearbeitung durch Verstandigung. Uberlegungen zu Begriff und Funktion des Diskurs / B. Kleimann // Diskurs: Begriff und Realisierung. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000. – S. 121–140.

519. Krot M.N., Narezhny A.I. P.A. Valuev and the Formation of Government Policy in Relation to the Western Territory (1861 – 1865) / M. N. Krot, A. I. Narezhny // Bylye Gody. – 2019. – Vol. 1. – No. 51. – P. 262–271.

520. Maiorova O. From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870 / O. Maiorova. – Madison: The University of Wisconsin Press, 2010. – 277 p.

521. Marwick A. The new nature of History / A. Marwick. – London: Macmillan, 2001. – 336 p.

522. McReynolds L. The News under Russia's Old Regime: The Development of MassCirculation Press / L. McReynolds. – Princeton: Princeton University Press, 1991. – 328 p.

523. Mienicki R. Archivum Murawjewskie w Wilnie / R. Mienicki. – Warszawa: Nakł. Archiwów Państwowych, 1937. – 86 s.

524. Mienicki R. Wilenska komisja archeograficzna 1864–1915 / R. Mienicki. – Wilno: Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1925. – 222 s.

525. Miller A.I. The Romanov Empire and the Russian Nation // Nationalizing Empires / ed. S. Berger and A. Miller. – Budapest; New York: CEU Press, 2015. – P. 309–368.

526. Morrison J.D. Katkov and Panslavism / J. D. Morrison // Slavonic and East European Review. – 1968. – Vol. 46. – No. 107. – P. 422–441.

527. Motyl A.J. Thinking About Empire / A. J. Motyl // After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: the Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg empires // ed. by Karen Barkey and Mark von Hagen. – Oxford: Westview Press, 1997. – P. 19–29.

528. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. Nye. – New York: Public Affairs, 2004. – 192 p.

529. O`Sullivan N. Conservatism / N. O`Sullivan. – London: Dent & Sons LTD, 1976. – 173 p.

530. Oldenbourg Geschichte Lehrbuch. Neueste Zeit / Herausg.: A. Wirsching. – München: Oldenbourg Verlag, 2009. – 478 s.

531. Olszamowska-Skawroñska Z. Tentatives de introduire la langue russe dans les églises latines de la Pologne orientale (1865-1903) / Z. Olszamowska-Skawroñska // Antemurale. – 1967. – Vol. 11. – P. 47–76.

532. Pandel H.-J. Geschichtstheorie Schwalbach / H.-J. Pandel // Wochenschau Verlag, – 2017. – 430 s.

533. Paasi A. Constructing Territories, Boundaries, and Regional Identities / A. Paasi // Contested Territory: Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire // ed. by T. Forsberg. – Aldershot: Edward Elgar, 1995. – P. 42–61.

534. Pecheux M. Analyse automatique du discourse / M. Pecheux. – Paris: Dunod, 1969. – 264 p.

535. Renner A. Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the «Invention» of National Politics / A. Renner // Slavonic and East European Review. – 2003. – Vol. 81. – No. 4. – P. 659–682.

536. Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875 / A. Renner // Beitrage zur Geschichte Osteuropas. Vol. 31. – Köln, Weimar, Wein: Böhlau, 2000. – 447 s.

537. Rilling R. Risse im Empire / R. Rilling. – Berlin: Dietz, 2008. – 180 s.

538. Rochau von A.L. Grundsätze der Realpolitik, angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands / A.L. von Rochau. – Stuttgart: Brrlag von Karl Göpel, 1853. – 224 s.

539. Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863 – 1905) / W. Rodkiewicz. – Lublin: Scientific society of lublin, 1998. – 295 p.

540. Russification in the Baltic Provinces and Finland: 1855–1914 / Ed. By Edward C. Thaden. Princeton, NJ: Prinseton Univarcity Press, 1981. – 497 p.

541. Schumpeter J. Imperialism: Social classes / J. Schumpeter. – New York; Scarborough (Ontario): New amer. libr., 1974. – 181 p.

542. Senatora N. Manaseina zinojums par vina izdarito reviziju Vidzemes un Kurzemes gubernas no 1882. lidz 1883. Gadam // Materiali Latvijas PSR vestures petisanai / red. A. Drizulis. – Riga: Latvijas Valsts Izdevnieciba, 1949. – 506 p.

543. Shi-xu. Chinese Discourse Studies / Shi-xu. – New York: Palgrave Macmillan, 2014. – 223 p.

544. Skinner Q. Language and Political Change / Q. Skinner // Political Innovation and Conceptual Change. – Cambridge, 1989. – P. 6–23.

545. Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 1: Regarding Method / Q. Skinner. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 225 p.

546. Smith A.D. The Ethnic Revival / A. D. Smith. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 240 p.

547. Staliūnas D. Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 / D. Staliūnas. – Amsterdam-New York: Rodopi, 2007. – 465 p.

548. Stolzman M. Czasopisma wilenskie Adama Honorego Kirkora / M. Stolzman. – Krakow: Nakl. Un-tu Jagiellonskiego 1973. – 162 s.

549. Storm. H.J. Regionalism in history, 1890–1945: The cultural approach / H. J. Storm. // European History Quarterly. – 2003. – Vol. 33. – № 2. – P. 251–267.

550. Thaden E.C. Conservative nationalism in nineteenth century Russia / E. C. Thaden. – Seattle: University of Washington Press, 1964. – 206 p.

551. Thaden E. Review by: Richard Pipes. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia / E. C. Thaden // Slavic Review. – 1966. – Vol. 25. – No. 4. – P. 696.

552. Vázquez-Liñán M. Historical memory and political propaganda in the Russian Federation / M. Vázquez-Liñán // Communist and Post-Communist Studies. – 2017. – Vol. 50. – No. 2. – P. 77–86.

553. Weber M. Structures of Power / M. Weber // From Max Weber: Essays m Sociology. – London: Routledge, 1998. – 504 p.

554. Weeks Th.R. Monuments and Memory: Immortalizing Count M.N. Muraviev in Vilna, 1898 / Th. R. Weeks // Nationalities papers. – 1999. – Vol. 27. – № 4. – P. 551–564.

555. Weeks Th.R. Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the Northwest Provinces after 1863 / Th. R. Weeks // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. – 2001. – Vol. 2. – No. 1. – P. 87–100.

556. Werth P. Schism Once Removed: Sects, State Authority, and the Meanings of Religious Toleration in Imperial Russia / P. Werth // Imperial Rule / Ed. by A. Miller and A. Rieber. – Budapest: Central European University Press, 2004. – P. 85–108.

557. Zasztowt L. Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w. / L. Zasztowt // Rozprawy z dziejów oświaty / pod redakcją J. Miąso. – Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 996. T. XXXVII/96. – S. 119–143.

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

1. Аверьянов А.В. Национальный вопрос в доктрине и политической практике русского консерватизма в конце XIX – начале XX вв. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / А. В. Аверьянов. – Ростов-на-Дону, 2007. – 200 с.

2. Асонов Н.В. Политические доктрины российского самодержавия: генезис, эволюция и современный дискурс: дис. ... д-ра полит. наук: 21.00.01 / Н. В. Асонов. – Москва, 2009. – 417 с.

3. Бадалян Д.А. И.С. Аксаков и газета «Русь» в общественной жизни России: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Д. А. Бадалян. – Санкт-Петербург: 2010. – 297 с.

4. Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.): дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 / А. Ю. Бендин. – Санкт-Петербург: 2013. – 888 с.

5. Блинов В.В. Политико-психологический анализ консервативных ценностей в современной России: дис. ... канд. полит. наук: 19.00.12 / В. В. Блинов. – Москва: 2007. – 145 с.

6. Дронов И.Е. Разработка консервативной концепции развития России в творчестве В.П. Мещерского (вторая половина XIX - начало XX вв.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И. Е. Дронов. – Москва: 2007. – 305 с.

7. Карпов А.С. Правовая идеология русского консерватизма: II половина XIX - начало XX века: дис. ... д-ра юр. наук: 12.00.01 / А. С. Карпов. – Москва, 2008. – 587 с.

8. Кишенкова О.В. Концепция общественной модернизации в политической доктрше российской консервативной мысли XIX - начала XX века: дис. ... канд. ист. наук: 23.00.01 / О. В. Кишенкова. – Москва: 1996. – 194 с.

9. Комова Н.Б. Монархическая власть в государственно-правовых учениях России XVIII – XX вв.: дис. … д-ра юр. наук: 12.00.01 / Н. Б. Комова. – Н. Новгород, 2012. – 345 с.

10. Котов А.Э. Проблема государственного строительства в русской консервативной печати 70-90-х гг. XIX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / А. Э. Котов. – Санкт-Петербург, 2006. – 251 с.

11. Котов А.Э. Консервативная печать в общественно-политической жизни России 1860-х – 1890-х годов: М.Н. Катков и его окружение: дис…. д-ра ист. наук: 07.00.02 / А. Э. Котов. – Санкт-Петербург: 2016. – 680 с.

12. Крот М.Н. Консервативный вариант модернизации России во второй половине XIX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М. Н. Крот. – Ростов-на-Дону, 2004. – 241 с.

13. Кудряшов В.Н. Национальный вопрос в русской общественно-политической мысли второй половины XIX в.: дис. .... докт. ист. наук: 07.00.02 / В. Н. Кудряшов. – Томск, 2013. – 591 с.

14. Линькова Е.В. Национально-консервативная идея в творческом наследии Ф. И. Тютчева: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Е. В. Линькова. – Москва: 2008. – 240 с.

15. Милевский О.А. Л.А. Тихомиров: из истории формирования консервативной мысли в России в конце XIX – начале XX веков: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 / О. А. Милевский. – Томск: 2007. – 600 с.

16. Начапкин М.Н. Эволюция российской государственности (XIX-начала XX века) и её отражение в консерватизме: автореф. дис. ... д-ра полит. наук: 23.00.02 / М. Н. Начапкин. – Екатеринбург: 2004. – 46 с.

17. Перевалова Е.В. Система консервативных ценностей в отечественной периодике: М. Н. Катков и его издания (вторая половина 1850-х – 1880-е гг.). автореф. дис. ... д-ра. фил. наук: 5.9.9 / Е. В. Перевалова. – Воронеж. 2023. – 63 с.

18. Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России: дис. ... д-ра. ист. наук: 07.00.02 / А. Ю. Полунов. – Москва: 2010. – 501 с.

19. Попов Э.А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11 / Э. А. Попов. – Ростов-на-Дону: 2006. – 362 с.

20. Рясенцев К.В. Политический консерватизм М.П. Погодина: 1800–1875. дис. …. канд. полит. наук: 23.00.01 / К. В. Рясенцев. – Москва: 2007. – 165 с.

21. Сергеев С.М. Идеология творческого традиционализма в русской обшествеиной мысли 80-90-х гг. XIX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / С. М. Сергеев. – Москва: 2002. – 273 с.

22. Суслов М.Д. Российская консервативная утопия на рубеже XIX - XX веков: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / С. М. Суслов. – Пермь, 2003. – 281 с.

23. Шестаков С.А. Консервативная политическая идеология в постсоветской России: дис. ... д-ра полит. наук: 23.00.11 / С. А. Шестаков. – Москва: 2003. – 440 с.

24. Шипилов С.Н. Эволюция идеологии русского пореформенного консерватизма: этнокультурные и политические аспекты (по произведениям М.Н. Каткова): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / С. Н. Шепилов. – Москва: 2009. – 167 с.

25. Юй Цзе Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III: коммеморативные практики и политическая конъюнктура, 1895–1914 годы. дис. ... канд. ист. наук: 5.6.1 / Юй Цзе. – Москва: 2023. – 201 с.

СПРАВОЧНИКИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ

1. Выдающиеся русские латвийцы / авт.: И. В. Ватолин и др. – Рига: «IK ZORIKS», 2008. – 160 с.

2. Добрянский Ф.Н. Вильна и окрестности. Путеводитель и историческая справочная книжка. – Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1883. – 318 с.

3. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – Москва: Сов. энциклопедия, 1990. – 682 с.

4. Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия / отв. ред. В.В. Журавлев. – Москва: РОССПЭН, 2005. – 704 с.

5. Политология. Энциклопедический словарь / Ю.И. Аверьянов и др. – Москва: Изд-во Московского коммерческого университета, 1993. – 431 с.

6. Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 639 с.

7. Советский энциклопедический словарь / науч.-ред. совет: А.М. Прохоров (пред.) и др. – Москва: Сов. энциклопедия, 1980. – 1600 с.

8. Философия: Энциклопедический словарь / под ред.: А.А. Ивина. – Москва: Гардарики, 2004. – 1072 с.

9. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. – Москва: Сов. энциклопедия, 1983. – 839 с.

10. Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XXVa, XXXIV. – Санкт-Петербург: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Евфрон, – 1898, 1902.

11. Ясинский М.Н. Обзор последних изданий Виленской археографической комиссии (Акты, изд. Вилен. археогр. комис. Т. 11–18. Вильна, 1880-1891 гг.). – Киев: Тип. Ун-та св. Владимира, В. Завадского, 1893. – 38 с.